



Тени грядущего зла

РЭЙ

БРЭДБЕРИ



Популярный американский писатель-фантаст Рэй Дуглас Брэдбери (род. в 1920 г.) знаком отечественному читателю по романам «Марсианские хроники», «451° по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», а также по рассказам «И грянул гром», «Ржавчина «Дракон» и многим другим. По мотивам его произведений созданы теле- и радиопостановки, снят художественный фильм.

В настоящий сборник входит ранее не публиковавшийся в нашей стране роман «И духов зла явилась рать», повествующий о борьбе двух подростков с Людми Осени, таинственными и жуткими хозяевами и рабами «темного карнавала» и рассказы, широкому читателю в основном неизвестные.



Рэй Брэдбери

ТЕНИ ГРЯДУЩЕГО ЗЛА

*

«...И духов зла явилась рать»

-

Рассказы

*



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«С Е В Е Р О - З А П А Д»**



...И ДУХОВ ЗЛА ЯВИЛАСЬ РАТЬ

роман

перевод Н. Димчевского

Е. Бабаевой

С признательностью Дженет Джонсон, которая научила меня писать новеллы, и Сноу Лонглей Хоуш, который очень давно учил меня поэзии в лос-анджелесской средней школе, и Джеку Гассу, который не так давно помог написать этот роман

Человек влюблен и любит то, что исчезает

У. Б. Йитс

Потому что они не заснут, если не сделают зла, пропадает сон у них, если не доведут они кого до падения,

Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения.

Притчи 4: 16–17

Я не знаю всего, что может прийти, но чем бы это ни было, я пойду к нему,
смеясь

Стабб в «Моби Дике»

Прежде всего отметим, что стоял октябрь, замечательный для мальчишек месяц. Нельзя сказать, что остальные месяцы никуда не годятся, но, как говорят пираты, бывают плохие и бывают хорошие. Возьмем, к примеру, сентябрь — плохой месяц: начинаются занятия в школе. Или август — хороший месяц: каникулы еще не кончились. Июль хорош, июль просто замечателен: в целом мире еще нет ничего, что хотя бы случайно напоминало о школе. Июнь же, несомненно, лучше всех: начало лета, до школы далеко, а до сентября еще миллиард лет...

Итак, стоял октябрь. Уже месяц, как идут школьные занятия, а вы еще гуляете, скачете, отпустив поводья. У вас еще есть время обдумать маскарадный костюм, который вы наденете в последнюю ночь месяца на собрание Христианской молодежной ассоциации. И тогда, в двадцатых числах октября, когда воздух пахнет дымом костров, на которых сжигают опавшие листья, и небо в сумерках оранжевое или пепельно-серое, кажется, что канун праздника Всех святых никогда не придет сюда, под сень ракут, теряющих последнюю листву, во дворы, где развеваются на легком ветру сохнувшие простыни.

Однако в один странный, длинный, страшный год канун праздника Всех святых пришел рано.

В тот год он наступил 24 октября в три часа пополудни, вместо того, чтобы прийти, как положено, 31 октября.

Тогда Джеймсу Найтшейду с Оук-стрит, 97 было тринадцать лет, одиннадцать месяцев и двадцать три дня. Уильяму Хэлоуэю, жившему в соседнем доме, исполнилось тринадцать лет, одиннадцать месяцев и двадцать четыре дня. И тот и другой приближались к четырнадцатилетию, оно, как пойманная птица, уже трепетало в их руках.

В ту октябрьскую неделю они за одну ночь сделались взрослыми и навсегда распрощались с детством.

Торговец громоотводами появился как раз перед бурей. Пасмурным октябрьским днем он прошел, опасливо оглядываясь, по улицам Гринтауна, небольшого городка в штате Иллинойс. Там, позади, молнии уже били в землю. Там, позади, буря неотвратимо надвигалась и скалила зубы, как огромный разъяренный зверь.

Торговец громко расхваливал свой товар, скрипел и лязгал огромной кожаной сумкой, где скрывались загадочные предметы, которые он предлагал у каждой двери, пока не подошел, наконец, к небрежно подстриженному газону.

Нет, не небрежная стрижка привлекла его внимание. Торговец громоотводами окинул пристальным взглядом двух мальчиков, устроившихся на склоне пологого холма. Чем-то очень похожие друг на друга, они вырезали из веток свистки и болтали о всякой всячине, довольные тем, что за минувшее лето сумели исходить вдоль и поперек весь Грин-таун, а с тех пор, как начались занятия в школе, каждый день бегали отсюда до озера и во-он оттуда до самой реки.

— Привет, ребята! — окликнул их человек в одежде цвета грозových облаков. — Старики дома?

Мальчики покачали головами.

— А у вас, у самих, деньги водятся?

Мальчики вновь покачали головами.

— Ладно. — Торговец прошел шага три, остановился и опустил плечи. Ему вдруг показалось, что он давно знает окна их домов и это холодное небо над головой. Он медленно повернулся и глубоко вздохнул. Ветер гудел в голых деревьях. Солнечный луч, скользнув сквозь узкий разрыв в облаках, упал на дуб и отчеканил из последних листьев несколько новеньких золотых монет. Но вот солнце исчезло; монетки были истрачены, все вокруг посерело; торговец встряхнулся, как бы сбрасывая странные чары, овладевшие им.

Он медленно побрел вглубь лужайки и спросил:

— Как тебя звать, паренек?

Первый мальчик, с волосами, точно пух осеннего чертополоха, слегка наклонил голову, прикрыл один глаз и посмотрел на торговца другим, ясным, как капля летнего дождя.

— Уилл, — ответил он, — Уильям Хэлоуэй.

Грозовой джентльмен повернулся ко второму подростку:

— А тебя?

Тот неподвижно лежал животом на осенней траве и, казалось, обдумывал, как бы ему назваться. Его волосы цвета лощеных каштанов были жесткими и спутанными, а глаза, неподвижно глядевшие в одну точку, отливали зеленоватым блеском горного хрусталя. Наконец, он небрежно сунул в рот сухую травинку и ответил:

— Джим Найтшейд.

Грозовой торговец кивнул, как если бы он все это знал наперед.

— Найтшейд, — повторил он, — имя вполне подходящее.

— Единственно подходящее, — подтвердил Уилл Хэлоуэй. — Я родился на одну минуту

раньше полуночи тридцатого октября. Джим родился на одну минуту *позже* полуночи уже тридцать первого октября.

— В канун праздника Всех святых. — Сказал Джим.

В этих словах открывалась повесть их жизни, звучала гордость их матерей, живущих в домах по соседству, вместе попавших в роддом; и почти Одновременно принесших в этот мир сыновей — одного светлого, другого темного. Это был рассказ об их общем празднике. Каждый год Уилл зажигал свечи на своем праздничном торте за минуту до полуночи. А Джим, через минуту после полуночи, и когда начинался последний день месяца, задувал их.

Все это очень долго и возбужденно рассказывал Уилл. И также долго Джим молчаливо соглашался с ним. И столь же долго торговец, еще недавно спешивший опередить грозу и бурю, слушал, переводя взгляд с одного мальчишеского лица на другое.

— Хэлоуэй, Найтшейд, так вы говорите, у вас нет денег?

Торговец, словно смущенный своим богатством, порылся в кожаной сумке и вытащил причудливо изогнутую железку.

— Вот. Возьмите это бесплатно! Зачем? Затем, что в один из этих домов ударит молния. И если вы не поставите эту штуковину, не миновать беды! А тогда известно что: огонь и угли, свиная поджарка и пепел! Хватайте!

Он бросил им изогнутый стержень. Джим не двинулся, но Уилл схватил железку и раскрыл рот от изумления.

— Ого, какой тяжелый! И какой смешной! Никогда не видел такого громоотвода. Смотри, Джим!

И только тогда Джим оживился, потянулся, как кот, повернул голову. Его зеленые глаза расширились, потом сузились.

Громоотвод воткнули в землю, и он стал похож не то на полумесяц, не то на крест. По краю стержня были припаяны маленькие причудливые петельки и завитушки, а всю поверхность его покрывали искусно выгравированные надписи на неведомых языках, имена, которые невозможно прочесть, числа, слагавшиеся в непостижимые суммы, пиктограммы зверо-насекомых, ошестинившихся всевозможными перьями и когтями.

— Это египетское, — Джим уткнул нос в один из рисунков на железе.

— Жук-скарабей.

— Верно, парень!

Джим прищурился:

— А там, как курица наследила — финикийское.

— Верно!

— Зачем? — спросил Джим.

— Зачем? — переспросил торговец. — Зачем египетский, арабский, абиссинский, индейский? Ну, хорошо. А на каком языке говорит ветер? Откуда родом буря? Из какой страны приходит дождь? Какого цвета молния? Куда девается гром, когда умирает? Ребята, теперь вы готовы к любому языку, к любому образу и форме огня святого Эльма, этих шаров голубого огня, которые крадутся по земле и шипят, как рассерженные коты. Это единственные в мире громоотводы, которые слышат, чувствуют, могут предсказывать любую бурю, независимо от ее языка, голоса или знака Нет такого оглушительного чужеземного грома, который этот штырь не мог бы свести до шепота!

Уилл нетерпеливо посмотрел на незнакомца.

— Куда, — спросил он, — в какой дом ударит молния?

— В какой? Не торопись, подожди. — Торговец пытливо взглядывался в лица подростков. — Есть люди — они слышат молнию, как кошка слышит журчанье молока, которое сосет младенец. Люди — одни отрицательны, другие положительны. Одни светят в темноте, другие гаснут. И вот вы двое... Я...

— Почему вы так уверены, что молния ударит именно здесь? — внезапно спросил Джим, и глаза его загорелись.

Торговец едва заметно вздрогнул:

— Потому что у меня есть нос, глаза и уши... Вон, смотрите, те два дома, их балки, их стропила... Прислушайтесь!

Ребята замерли, и им показалось, что дома слегка качнулись под холодным послеполюденным ветром. А может, и нет.

— Молниям, как и рекам, нужны русла, чтобы течь по ним. Один из этих чердаков — и есть такое высохшее русло, и оно испытывает непреодолимое желание разрешить молнии протечь по нему! Сегодня ночью!

— Сегодня ночью? — радостно удивился Джим и сел на траву.

— Непростая это будет гроза, — сказал торговец. — Это говорю вам я, Ури — неистовый, яростный — есть ли прекрасней имя для того, кто продает громоотводы? Сам ли я *выбрал* это имя? Нет. Подвинуло ли это имя *меня* к моему делу? Да! Став взрослым, я вдруг увидел небесные огни, пронзающие мир, заставляющие людей бежать, спасая свою жизнь. И тогда я подумал: я буду составлять таблицы ураганов, вычерчивать карты бурь, а потом побегу впереди стихии, потрясая моими чудесными жезлами, этими железными защитниками! Я обезопасил уже сотню уютных домов с их богобоязненными хозяевами. И когда я говорю вам — вы в опасности, слушайте! Лезьте на крышу; прибейте этот штырь повыше и заземлите его хорошенько до наступления ночи!

— Но на каком доме, на котором? — спросил Уилл.

Торговец отвернулся, высморкался в огромный платок, затем медленно пошел через лужайку, словно приближаясь к мощной адской машине, которая неслышно отсчитывала время.

Он подошел к дому Уилла, прикоснулся к веранде, провел рукой по столбу, по доскам крыльца, потом закрыл глаза и прислонился к стене, как бы прислушиваясь к тому, что скажет ему дом.

Затем, поколебавшись, осторожно перешел к дому Джима.

Джим замер, наблюдая за ним. Торговец протянул руку, провел по старой краске чуткими пальцами.

— Этот, — сказал он наконец. — Этот дом.

Джим гордо оглянулся.

Не оборачиваясь торговец спросил:

— Джим Найтшейд, это твой дом?

— Мой, — сказал Джим.

— Мне следовало бы знать это.

— Эй, а как насчет *меня* — спросил Уилл.

Торговец вновь принялся к дому Уилла.

— Нет, нет, разве что несколько искр прыгнут в водосточные трубы. Но настоящее представление разыграется здесь, у Найтшейдов! Так-то!

Торговец заторопился обратно через лужайку и взял свою огромную кожаную сумку.

— Пойду дальше. Буря близится. Не медли, Джим! Иначе — бам-тара-рам! И тебя уже не найдут. Твои пяти и десятицентовики расплавятся в электрическом пламени, пламя сотрет с них и индейские головы, и Эйба Линкольна, и мисс Колумбию. С четвертаков оциплют орлов, все превратится в ртуть в карманах твоих джинсов. Больше того! Любой мальчишка, пораженный молнией, сохраняет в своих зрачках последнее, что он увидел. Эй-богу! Эта фотография получается благодаря огню небесному, огню, который спустился с неба, чтоб унести душу вверх по блистающей лестнице! Торопись, мальчик! Укрепи громоотвод высоко на крыше, иначе на рассвете ты умрешь!

Гремя сумкой, полной железных стержней, торговец зашагал прочь, с опаской поглядывая на небо, на крыши домов, на деревья, а потом, полузакрыв глаза, стал принюхиваться и бормотать: «Да, плохи дела; она идет сюда, чувствую это; путь далекий, но если бежать быстро...»

Надвинув на глаза шляпу, оттенком напоминавшую тучи, человек в одежде цвета бури ушел, а деревья шумели ему вслед, и небо показалось вдруг ребятам сморщенным и постаревшим. Они стояли, прислушиваясь к ветру, и словно чуяли запах электричества, устремившегося к громоотводу, лежавшему между ними.

— Джим, — сказал наконец Уилл, — что же ты? Он же сказал: твой дом. Ты собираешься ставить громоотвод или нет?

— Нет, — улыбнулся Джим, — стоит ли портить удовольствие?

— Удовольствие? Ты что, спятил? Я сейчас притащу лестницу! А ты носи молоток, гвозди и проволоку!

Но Джим не двигался. Уилл мигом сорвался с места, и вскоре вернулся с лестницей.

— Джим, подумай о своей маме. Ты что хочешь, чтоб она сторела?

Уилл влез по лестнице, прислоненной к стене дома, и посмотрел вниз. Джим медленно подошел и начал подниматься следом.

Гром уже ворчал среди затянутых облаками холмов. На коньке крыши воздух был свежим и влажным. Поколебавшись, Джим тоже принялся за дело.

2

Лучше всего на свете книги о казнях, водолечении, о том, как выливают раскаленный свинец на головы незадачливых врагов. Так говорил Джим Найтшейд, который читал обо всем этом. Если в этих книгах не сообщается, как похитить первого гражданина государства, то там есть указания, как построить катапульту или запрятать черный пистолетище в потайном кармане костюма для карнавальная ночи.

Все эти замечательные сведения Джим выдохнул, не останавливаясь.

А Уилл вдохнул их и тотчас усвоил.

Уилл гордился громоотводом, приделанным к дому Джима. Джим, напротив, стыдился железного штыря, изуродовавшего крышу, считая, что тот свидетельствует об их трусости. День клонился к вечеру, с ужином было покончено, и они отправились в библиотеку, где бывали каждую неделю.

Как и все мальчишки, они никогда и нигде не ходили степенным шагом, а, назвав место финиша, неслись к нему так, что только пятки сверкали, да мелькали локти. Никто не победил. Никто и не старался победить. Так повелось в их дружбе — они всегда хотели

просто бежать плечом к плечу. Их руки вместе хлопнули по двери библиотеки, они вместе разорвали финишную ленточку, их теннисные туфли оставили параллельные следы на газонах, между подстриженных кустов, под деревьями, облюбованными белкой. Ни один не отстал, оба вышли победителями и тем самым спасли свою дружбу до иных, более серьезных испытаний.

Итак, было уже восемь часов, вечер дышал теплом, но когда они добежали до центра городка и подставили ветру свои разгоряченные лица, на них повеяло прохладой. Разогревшись во время пробежки, мальчики неожиданно ощутили за спиной крылья, и сами не заметили, как погрузились в неведомые воздушные потоки, и прозрачная река осеннего воздуха стремительно выбросила их туда, где они и собирались очутиться.

Они бросились вверх по лестнице — три, шесть, девять, двенадцать ступенек! Хлоп! Ладони ударили в дверь библиотеки.

Джим и Уилл улыбнулись друг другу. Все было прекрасно — и тихое дыхание октябрьских ночей, и библиотека с ее книжной пылью и зеленоватым светом уютных абажуров.

Джим прислушался.

— Что это?

— Наверно, ветер?

— Похоже на музыку... — Джим посмотрел куда то вдаль.

— Ничего не слышу.

Джим покачал головой:

— Затихла. А может ее еще и не было... Идем!

Они толкнули дверь и вошли.

И остановились.

Глубины библиотеки ждали их.

Снаружи, в обыденном мире, ничего особенного не случалось. Но здесь, в стране, созданной из бумаги и кожи, здесь именно ночью всегда что-нибудь происходило. Прислушайте, и вы услышите — кричат десятки тысяч людей, однако крики их может уловить разве что чуткое собачье ухо. Миллионы солдат бегут, бросая пушки; где-то точат ножи гильотин; по четверо в ряд беспрестанно маршируют китайцы... Да, все они невидимы и молчаливы, однако Джим и Уилл умели видеть, слышать и понимать их. Здесь хранились пряности далеких стран. Здесь дремали запахи раскаленных пустынь. Впереди на возвышении находилась стойка, где прелестная пожилая леди, мисс Уотрисс, ставила фиолетовые штампы на ваши книги, но внизу, чуть поодаль, раскинулись Тибет, Антарктика, Конго... Там другая библиотекаря, мисс Уиллс, шествовала через Внешнюю Монголию, спокойно раскладывая по полкам Пекин, Иокогаму и остров Целебес. Там же, внизу, в третьем книжном коридоре, какой-то пожилой человек шаркал в полутьме щеткой, подметая рассыпанные пряности...

Уилл с удивлением смотрел на него.

Это всегда было неожиданно и удивительно — этот пожилой человек, его работа, его имя.

Это Чарльз Уильям Хэлоуэй, подумал Уилл, — не дедушка, не старый дядя, скитавшийся где-то в дальних краях, но, подумать только, это же... мой отец...

А разве сам Чарльз Хэлоуэй, смотревший из полутьмы коридора, не был поражен, увидев сына, посетившего этот мир, затерянный на глубине двадцати тысяч морских

саженной? Он всегда казался несколько растерянным, когда Уилл неожиданно появлялся перед ним, словно они встречались в последний раз целую жизнь тому назад, и в то время как один из них старился и дряхлел, другой оставался молодым, и это стояло между ними...

Там, вдали, пожилой человек улыбался.

Они осторожно приблизились друг к другу.

— Это ты, Уилл? С утра ты вырос на добрый дюйм. — Чарльз Хэлоуэй оторвал взгляд от лица сына. — А, Джим! Глаза у тебя стали темнее, щеки бледнее. Ты сжигаешь себя с обеих концов, Джим?

— Как в пекле! — ответил Джим.

— Нет такого места — пекло. Но ад есть, вот здесь на полке, под буквой «А», начиная с Алигьери.

— Аллегории — это не для меня, — сказал Джим.

— О, как глупо с моей стороны, — засмеялся папа, — я имел в виду Данте Алигьери. Взгляни-ка сюда. Это картины мистера Доре, показывающие все, что происходит в аду. И вряд ли настоящий ад выглядит лучше. Здесь души, погруженные за грехи в мерзкий ил. Там кто-то распластан, и его разрывают на части.

— Здорово! — Джим быстро пролистал книгу и отложил в сторону. — А где есть картинки с динозаврами?

Папа покачал головой:

— Это там, в следующем ряду, — и, когда мальчишки повернулись, продолжил, — поглядите-ка сюда: Птеродактиль, Змей Горыныч... Или вот — Барабаны Судьбы или Сага о Громогласных Ящерах. Ты доволен, Джим?

— Очень!

Папа подмигнул Уиллу, тот в ответ тоже подмигнул. Так они стояли — мальчик с волосами цвета спелой кукурузы и мужчина, седой как лунь, мальчик с лицом, свежим как яблоко на ветке, и мужчина, щеки которого напоминали то же яблоко, но пролежавшее целую зиму в кладовой. Папа, папа, думал Уилл, почему, ну почему ты похож... на *меня*, отраженного в кривом зеркале!

Он вспомнил, как, поднявшись часа в два ночи напиться воды, смотрел вдаль через весь город, чтобы увидеть один-единственный огонек в высоком окне библиотеки, чтобы удостовериться: папа задержался на работе, засиделся, читая и бормоча что-то себе под нос один под этими зелеными как джунгли абажурами. Воспоминание принесло печаль и вместе с ней радость новой встречи со светом этих ламп и этим стариком — Уилл оборвал себя, чтобы найти другое слово — отцом, стоявшим в сумраке у стеллажей.

— Уилл, — сказал пожилой человек, который был привратником и уборщиком и которому выпало быть его отцом. — Что с тобой?

— Ох, прости, папа! — мальчик отбросил раздумья и пришел в себя.

— Тебе нужна книжка в белой шляпе или в черной?

— Шляпы? — переспросил Уилл.

— Итак, Джим, — они расхаживали взад-вперед, отец пробегал пальцами вдоль книжных корешков, — он носит маленькие черные шляпы и читает соответствующие книги. Вот здесь имя — Мориарти, так ведь, Джим? Но придет день, и он сдвинется от Фу Манчу сюда, к Макиавелли, к темной фетровой шляпе среднего размера. Или туда, прямо к доктору Фаусту — это большой черный стетсон. А здесь на полках — белошляпные книжки для тебя, Уилл. Вот Ганди. За следующей дверью живет Святой Томас. А этажом выше, заметь

хорошенько... Будда.

— Ты не возражаешь, — сказал Уилл. — Я возьму «Таинственный остров».

— К чему весь этот разговор о белых и черных шляпах? — сердито спросил Джим.

Отец отдал Уиллу Жюль Верна и ответил:

— Это так, между нами, много лет назад мне пришлось решать, какой цвет я предпочту.

— Ну, — сказал Джим, — и какой же вы выбрали?

Отец удивленно посмотрел на него и натянуто засмеялся.

— Твои вопросы, Джим, меня просто удивляют. Уилл, скажи маме, что я скоро буду.

Идите же, идите... Мисс Уотрисс! — тихонько позвал он библиотекаршу, сидевшую за стойкой. — К вам динозавры и таинственные острова!

Хлопнула дверь.

Чистые звезды мерцали в небесном океане.

— Черт возьми! — Джим потянул носом ветер с севера, затем повернулся к югу. — Где же буря, которую обещал этот проклятый торговец? Хотел бы я увидеть ту молнию, которая шарахнет в наш чердак!

Ветер играл одеждой и волосами Уилла, гладил его лицо.

— Она будет здесь, — тихо произнес он. — Утром.

— Кто сказал?

— Мурашки на моих руках. *Они* сказали.

— Отлично!

Ветер сдул Джима.

Уилл, как воздушный змей, подхваченный ветром, понесся за ним.

Собирая вещи, Чарльз Хэлоуэй смотрел вслед убегающим мальчишкам и еле сдерживал неизвестно откуда взявшееся желание побежать вместе с ними.

Он знал, что шепнул им ветер, куда повлек их, знал все их потаенные места, которые с годами перестают быть тайной. Где-то в глубине шевельнулась мрачноватая мысль: ты должен был бежать такой же ночью, чтобы печаль не смогла перерасти в боль.

Гляди-ка! — думал он. Уилл бежит, потому что бег — его внутренняя потребность. Джим бежит, потому что его влечет цель, которая маячит где-то вдалеке.

Но что удивительно — бегут они, тем не менее, вместе.

Почему же так, думал он, проходя по библиотеке и выключая одну за другой все лампы, может быть, все дело в сходстве линий на руках?

Почему некоторые люди во всем подобны рою саранчи, пиликающему, скрипящему, с множеством подрагивающих усиков, похожему на единый, большой, нервный клубок, живые нити которого сплетаются в узел; и узел этот вечно скользит, рисуя в воздухе невидимую петлю, медленно суживает круги и, затягиваясь, пытается задушить жизнь всего роя? Эти люди обречены поддерживать огонь в топках своих жизней, их губы закушены от этого постоянного напряжения, а глаза отражают только блеск яркого пламени, и начинается этот бесполезный труд — имя которому жизнь — с детской кровати.

Про них сказано: по замашкам царь, а по жизни тварь. Они питаются мраком, он живет и дышит в них.

Таков Джим с его волосами как плети ежевики, с его необузданными желаниями.

А Уилл? Он поздний персик, созревший высоко на дереве. Глядя на таких мальчишек, трудно сдержать слезы — такие они милые, здоровые и чистые. Они не режутся в карты, не высматривают, где бы стибрить десятицентовую точилку для карандашей, это не для них. Вы сразу узнаете их, едва они пройдут мимо; и такими они останутся на всю жизнь; им достанутся удары; боль, раны и синяки, и они всегда будут удивляться, почему, ну, почему это с ними случается? Как это могло с ними произойти?

А вот Джим уже теперь знает, как это случается, он наблюдает за происходящим, он видит его начало, он видит его конец, он зализывает раны, которые ожидал, и никогда не спрашивает, почему ранен: он заранее *знает*. Он *всегда* это знал. Кто-то другой знал то же самое задолго до него, знал в глубине времен; этот кто-то жадно пожирал в привычной ночной тьме мясо прирученных и диких животных. Своим мозгом Джим не представляет, что такое ад. Но телом своим великолепно знает, что это такое. И пока Уилл накладывает повязку на последнюю царапину, Джим отскакивает, избегает, уклоняется от ужасающего удара, который неминуемо должен обрушиться на него.

И вот они бегут — Джим сдерживаясь, чтобы быть вместе с Уиллом, Уилл прибавляя скорость, чтобы быть вместе с Джимом; Джим разбивает два окна в незнакомом доме, потому что рядом Уилл; Уилл бьет одно окно, вместо того, чтоб не разбить ни одного, потому что за ним наблюдает Джим. Господи, не так ли мы обретаем наши пальцы, измазанные в глине, из которой слеплены наши друзья? Такова дружба, она словно гончар, лепит нас самих и смотрит, какой образ мы вылепим из своего друга.

В сущности, подумал он, Джим и Уилл не знают друг друга. Но пусть дружат. Я поддержу их, когда...

Двери библиотеки захлопнулись за ним.

Пять минут спустя Чарльз Хэлоуэй направился в бар на углу за своим единственным и не больше, стаканчиком на сон грядущий. Он вошел в бар, когда какой-то человек говорил:

— ...я где-то читал, что когда изобрели спирт, итальянцы решили, будто это и есть та великая штука, которую они искали в течение столетий. Эликсир жизни! Вы не знали об этом?

— Нет. — Бармен стоял к нему спиной.

— Точно! — продолжал человек. — Вино после перегонки... Девятый-десятый век... Оно было похоже на воду.

Но оно обжигало. Я имею в виду не только его свойство жечь рот и желудок, но еще и то, что вы могли его буквально поджечь... Они думали, что нашли способ смешивать воду с огнем. Огненная вода, Эликсир Жизни, Бог мой! Так ли они заблуждались, полагая, что будто получена панацея, которая будет творить чудеса? Хочешь выпить?

— Сам я не хочу, — сказал Хэлоуэй, — но кто-то внутри меня хочет.

— Кто же?

Мальчик, которым я был когда-то, подумал Хэлоуэй, и который стал подобен отжившим листьям, опадающим осенними ночами на холодную мостовую.

Но он не мог вымолвить этого.

Чарльз выпил свой стаканчик, глаза его закрылись. Он прислушивался, как тепло разливается в груди, и ждал, не проникнет ли оно в самые кости, которые сложены как сучья для костра, но никогда еще не загорались.

Уилл остановился. Была пятница. Уилл смотрел на ночной город.

Когда большие часы на здании Суда пробили первый удар из девяти, еще горели все фонари и торговля в магазинах шла вовсю. Но последний, девятый удар так встряхнул всех, что зашатались пломбы в зубах; парикмахеры тотчас сдернули простыни, мигом напудрили клиентов и поспешили выпроводить их; в аптеке, зашипев как целый змеиный выводок, остановился аппарат для газировки воды; перестали жужжать неоновые мухи реклам; огромное нутро магазина дешевой распродажи с его десятью миллиардами металлических, стеклянных и бумажных пустяков, ждущих, когда их наконец купят, вдруг потемнело и погасло. Метались тени, двери хлопали, гремели ключи в замках, словно там ломали кости; люди, теряя каблуки, бежали по домам с проворством, которому позавидовали бы уличные продавцы газет.

Бам! Мальчики встретились.

— Слушай! — закричал Уилл. — Все бегут, словно здесь прошла буря!

— Так и есть! — крикнул в ответ Джим. — Ай, да мы!

Они били-колотили-гремели по железным решеткам, по чугунным люкам, пробежали мимо дюжины темных магазинов, дюжины полутемных, дюжины вовсе мертвых. Город вымер, когда они обогнули угол табачного магазина, чтобы взглянуть, как в темной витрине двигался деревянный индеец чероки.

— Эй!

Мистер Тетли, владелец магазина, выглянул из-за плеча индейца.

— Что, напугал?

— Нет!

Но Уилл задрожал, почувствовав вдруг приближение странного холодного дождя, обрушившегося на степь, как волны на пустынный берег.

Когда где-то в городе ударила молния, Уиллу захотелось спрятаться под шестнадцатью одеялами и подушкой впридачу.

— Мистер Тетли? — тихонько позвал Уилл.

Теперь, казалось, перед ними было два индейца, застывших в темноте, пропахшей табаком.

Мистер Тетли, забыв о своих шутках, замер и слушал, открыв рот.

— Мистер Тетли?

Он прислушивался к звукам, принесенным ветром из далекого далека, но не мог сказать, что же они означают.

Мальчики попятились.

Он не видел их. Он не двигался. Он только слушал.

Они оставили его. Они убежали.

В четырех кварталах от библиотеки на пустой улице мальчики встретили третьего деревянного индейца.

Мистер Кросетти стоял перед своей парикмахерской и держал в дрожащих пальцах ключ от двери; он не заметил, как они остановились.

Что же остановило их?

Слеза.

Сверкая, она катилась по левой щеке мистера Кросетти. Он тяжело дышал.

— Что с вами, сэр? По причине или без причины плачете вы, как ребенок!

Мистер Кросетти со всхлипом вздохнул:

— Чувствуете, как пахнет?

Джим и Уилл принюхались.

— Пахнет лакрицей!

— Нет, черт возьми, пахнет сахарной ватой!

— Я уже много лет не слышал этого запаха, — сказал мистер Кросетти.

Джим фыркнул:

— Подумаешь, да ей всегда кругом пахнет.

— Да, но кто замечает? И когда? Сейчас мой нос говорит мне: нюхай! И я плачу.

Почему? Потому что я вспоминаю, как много лет назад мальчишкой я уплетал эту вату за обе щеки. Господи, почему я научился думать и чувствовать за последние 30 лет?

— Просто вы были очень заняты, мистер Кросетти, — сказал Уилл, — у вас не было времени.

— Время, время... — Мистер Кросетти отер слезы. — Откуда взялся этот запах? Ведь нигде в городе не продается сахарная вата. Только в цирке.

— Ха, — сказал Уилл. — Это точно!

— Ну ладно, вы видите, Кросетти сделался-таки плаксой...

Парикмахер высморкался и отвернулся, чтобы закрыть дверь своего заведения, а Уилл взглянул на рекламу парикмахерской — крутящийся столб, по которому змеилась, притягивая взгляд, красная полоса: она возникала ниоткуда, струилась вверх по столбу и исчезала в никуда. Бессчетное число раз Уилл стоял здесь, наблюдая, как эта полоса появлялась, бежала вверх, кончалась, все же никогда не кончаясь.

Мистер Кросетти положил руку на выключатель, скрытый у основания столба.

— Нет, нет, — торопливо пробормотал Уилл и попросил: — Не выключайте его.

Мистер Кросетти взглянул на столб, словно впервые заметил его чудесные свойства. Он понимающе кивнул, глаза его вновь увлажнились.

— Откуда это приходит? Куда идет? Кто знает? Ни ты, ни он, ни я. О чудеса Господни! Ладно, оставим ее.

Хорошо знать, думал Уилл, что красная полоса будет змеиться до самого рассвета, что она будет появляться из ниоткуда и уходить в никуда, пока мы спим...

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

И они оставили парикмахера, стоящим лицом навстречу ветру, который слабо отдавал лакрицей и сахарной ватой.

Чарльз Хэлоуэй нерешительно дотронулся до вращающейся двери бара, словно седые волоски на тыльной стороне его руки, подобно антеннам уловили нечто странное, скользившее за стеклом во тьме октябрьской ночи. Возможно, где-то вспыхнули гигантские костры, и их пламя разгорается, предостерегая его от следующего шага. Или новое Великое Оледенение уже движется через земные пространства, и его морозное дыхание может в

одночасье принести гибель миллиарду людей. Возможно, само Время вытекало из необъятных песочных часов, где темнота превратилась в пыль и грозила засыпать, похоронить под собой все окружающее.

Или, может быть, это был всего лишь человек в черном, заглянувший в окно бара со стороны улицы. Одной рукой незнакомец придерживал зажатые под мышкой бумажные рулоны, в другой у него были щетка и ведро; и насвистывал он при этом вовсе неуместную сейчас мелодию.

Мелодия эта была из другого времени года и всегда навевала на Чарльза Хэлоуэя печаль, стоило ему краем уха услышать ее. Нелепая в октябре, она, тем не менее, звучала очень живо, и так трогательно, что казалось уже не имеет значения, в какой день и в каком месяце ее поют:

*Рождественского колокола звук.
Мне песню старую напоминает он.
Щемящие и сладкие слова
Все повторяют, что любовь жива,
Что мир земле и счастье людям
Веселый перезвон сулит!*

Чарльз Хэлоуэй затрепетал. Его охватило давно забытое чувство какого-то упоительного восторга, желание смеяться и плакать одновременно; он увидел невинных земных чад, скитающихся по заснеженным улицам в день перед Рождеством среди усталых мужчин и женщин, чьи лица были осквернены грехом, отмечены пороком, искалечены, разбиты жизнью, которая была без предупреждения, затем убегала, скрывалась, возвращалась и снова была.

*Сильнее праздник колокол качнул:
«Нет, Бог не умер, внаем — он уснул
Пусть сгинет зло,
Пусть правда возгласит,
Что мир земле и счастье людям
Веселый перезвон сулит!*

Насвистывание прекратилось.

Чарльз Хэлоуэй вышел из бара.

Далеко впереди человек, насвистывавший мелодию, молча работал около телеграфного столба. Затем он исчез в открытой двери магазина.

Чарльз Хэлоуэй, сам не зная зачем, пересек улицу и стал наблюдать за человеком, который наклеивал афишу внутри пустого, еще никем не арендованного магазина.

Вскоре человек вышел из двери со щеткой, ведром клея и рулоном свернутых афиш. Его горящие глаза плотоядно посмотрели на Хэлоуэя, потом он улыбнулся и поднял свободную руку.

Хэлоуэй опешил.

Ладонь незнакомца была покрыта тонкой шелковистой черной шерстью. Это было похоже...

Рука сжалась в кулак, махнула. Человек поспешно скрылся за углом. Чарльз Хэлоуэй, ошеломленный, охваченный жаром, едва удержался на ногах, повернулся и заглянул в пустой магазин.

Двое козел для пилки дров стояли параллельно друг другу в единственном пятне света.

На козлах лежал похожий на гроб брусок льда шести футов длиной. Он излучал тусклое зелено-голубое сияние. Он был как огромный холодный самоцвет, покоящийся на темном бархате.

На небольшом белом листе, приклеенном у окна, при свете лампы можно было прочитать каллиграфически выведенное объявление:

*Пандемониум Кугера и Даи. Театр Теней.
Театр марионеток, Цирк,
Скромный Карнавал на Лугу.
Прибывает Немедленно!
Только здесь на Выставке — одна из многих наших приманок:
САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!*

Глаза Хэлоуэя метнулись к афише на стекле.

САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!

И — назад к холодному длинному бруску льда.

Именно такой брусок помнился ему по выступлениям странствующих фокусников, когда он был еще мальчишкой; тогда местная компания по производству льда предоставила комедиантам большой кусок зимы, в котором за двенадцать дней до окончания зрелища замороженные девицы лежали для всеобщего обозрения в ледяной глыбе, пока люди смотрели представление, и акробаты прыгали вниз головой на сетку, растянутую над ареной, и один за другим шли объявленные номера, и, наконец, бледные леди, покрытые инеем, появлялись перед публикой, освобожденные волшебниками, чтобы со смехом скрыться в темноте за занавесом.

САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!

И тем не менее, в этом громадном куске зимнего стекла не было ничего, кроме замерзшей речной воды.

Нет. Не совсем.

Хэлоуэй почувствовал, как его сердце учащенно забилося.

Не таится ли внутри этого огромного зимнего самоцвета некий особенный вакуум? Сладострастная пустота, которая плавно и округло тянется от основания до вершины глыбы? Не жаждал ли этот вакуум, эта пустота наполниться теплой плотью, и не было ли это пространство чем-то похоже на... женщину?

Да.

Лед. И прелестные впадины, горизонтальный поток пустоты внутри холодного

кристалла.

Прелестное ничто. Изысканный абрис невидимой русалки, бесстрашно захватившей ледяную стихию.

Лед был холодным.

Пустота внутри льда была теплой.

Чарльз Хэлоуэй хотел уйти прочь отсюда.

И все же стоял в темноте этой странной ночи, вглядываясь в пустой магазин, пару козел и холодный, ждущий, арктический гроб, похожий в темноте на алмаз, на огромную Звезду Индии...

6

Джим Найтшед, вздохнув, остановился на углу Гикори и Мейн-стрит, с нежностью вглядываясь в соевое темную от густой листвы Гикори.

— Уилл?

— Нет! — Уилл остановился, сам удивленный своей решительностью.

— Это точно там. Пятый дом. Только *одну* минуту, Уилл, — мягко попросил Джим.

— Минуту? — Уилл скользнул взглядом по улице, которая стала теперь улицей Театра.

До нынешнего лета она была самой обыкновенной улицей, где они воровали персики, сливы и абрикосы. Но в августе, когда мальчишки как обезьяны лазали за недозрелыми яблоками, произошла «вещь», которая разом изменила дома, вкус фруктов и самый воздух среди шепчущихся деревьев.

— Уилл! — зашептал Джим. — Может как раз сейчас там что-то *происходит!*

Возможно, что-то происходит. Уилл тяжело сглотнул и почувствовал, как Джим сжал его руку.

Ибо это было гораздо меньше самой улицы, которая славилась яблоками, сливами и абрикосами, это был всего лишь дом с окном, выходящим в сад; Джим говорил, что это окно — сцена, а тень — занавес, и он поднят. В этой комнате, на этой странной сцене актеры разыгрывали мистерии, изрыгали страшные слова, много смеялись, вздыхали, бормотали; но многое из их шепота Уилл не понимал.

— Последний раз, Уилл.

— Сам же знаешь, что не последний.

Лицо Джима покрылось испариной, щеки пылали, глаза сверкали зеленым огнем. Уилл вспомнил, как в ту ночь они рвали яблоки, и как Джим вдруг вскрикнул: «Ой, смотри!»

И Уилл, повисший на ветках яблони, крепко зажатый сучьями, в страшном волнении уставился на диковинную сцену Театра, где незнакомые люди размахивали рубашками над головой, бросали одежду на ковер, стояли обезумевшие и безвольные, нагие, как подрагивающие на морозе лошади, протягивали руки, чтобы коснуться друг Друга...

Что они делают! — подумал Уилл. Почему они смеются? Что же с ними такое, что же это *такое?!*

Ему захотелось, чтобы погас свет.

Но он висел, крепко сжав дерево, неожиданно сделавшееся скользким под его ладонями, и смотрел на светящееся окно Театра, слышал смех; наконец замерз и разжал руки, соскользнул вниз, упал и какое-то время лежал, ошеломленный, а затем встал во тьме

и посмотрел на Джима, который все еще цеплялся за ветку. Лицо Джима, покрасневшее, с пылающими щеками и открытым ртом было обращено к окну. «Джим, Джим, спускайся вниз!» Но Джим не слышал. «Джим!» И когда Джим посмотрел, наконец, вниз, Уилл показался ему совсем чужим с его дурацкой просьбой отбросить жизнь и опуститься на землю. И тогда Уилл убежал, одинокий, думая слишком о многом, не думая вовсе ничего, не знаящий что подумать...

— Уилл, ну пожалуйста...

Уилл посмотрел на Джима, державшего книги.

— Мы ведь были в библиотеке. Разве этого мало?

Джим покачал головой.

— Возьми мои книжки.

Он протянул Уиллу книги и двинулся под шелестящие и шепчущие деревья. Пройдя три дома, он обернулся и крикнул:

— Уилл? Знаешь ты кто? Ты проклятый, старый, тупой епископальный баптист!

И Джим ушел.

Уилл крепко прижал книги к груди. Они стали влажными от его ладоней. «Не оглядывайся! — думал он. — Не буду! Не буду!»

Он заставил себя смотреть только в сторону своего дома, и пошел по этой дороге. Быстро.

7

На полпути к дому Уилл услышал за спиной тяжелое дыхание.

— Театр закрылся? — спросил Уилл, не оборачиваясь. Джим довольно долго молча шел рядом и лишь потом сказал:

— Дом пустой.

— Отлично!

Джим плюнул.

— Ты, проклятый баптистский проповедник!

Из-за угла словно перекасти-поле выкатился огромный ком блеклой бумаги, который подскочил, затем, трепеща на ветру, прижался к ногам Джима.

Уилл со смехом сграбастал бумагу, швырнул по ветру — пусть летит! И вдруг перестал смеяться.

Мальчишки, наблюдая, как блеклый шуршащий ком удаляется, пролетает между деревьями, внезапно замерли.

— Подожди-ка... — медленно сказал Джим.

И вдруг они закричали, запрыгали и побежали.

— Не порви его! Осторожней.

Бумага билась в их руках, как пойманная птица.

«Приходите двадцать четвертого октября!»

Их губы шевелились, следуя за словами, набранными шрифтом в стиле рококо.

«Кугера и Дака...»

«Карнавал!»

«Двадцать четвертого октября! Это завтра!»

— Не может быть, — сказал Уилл. — После Дня Труда карнавалов не бывает.

— Тысяча и одно чудо! Смотри!

«Мефистофель! Пьющий Лаву! Мистер Электрико!

Монстр Монгольфьер!»

— Воздушный шар, — сказал Уилл. — Монгольфьер — воздушный шар.

— «Мадемуазель Таро!» — прочитал Джим. — «Повешенный человек. Дьявольская гильотина! Разрисованный человек». Ого!

— Всего лишь старое пугало с татуировкой!

— Нет. — Джим дунул на бумагу. — Он *разрисованный*. Специально. Смотри! Покрып чудовищами! Целый зверинец! — Глаза Джима сверкали. — Гляди! Скелет! Разве это не замечательно, Уилл? Не просто тощий человек, нет, а «Скелет»! Смотри! Пылевая Ведьма! Что это за Пылевая Ведьма, Уилл?

— Грязная старая цыганка.

— Нет. — Джим прищурился, разглядывая картинки. — Цыганка, которая родилась в пыли, выросла в пыли, и в один прекрасный день со страху превратилась в пыль. «Египетский зеркальный лабиринт! Увидишь сам себя десять тысяч раз! Храм искушений святого Антония!».

— «Самая прекрасная... — начал Уилл.

— ...женщина в мире!» — закончил Джим.

Они посмотрели друг на друга.

— Разве *может* карнавал иметь Самую Прекрасную Женщину на Земле в каком-то вставном номере, Уилл?

— Ты когда-нибудь видел карнаваловых леди, Джим?

— Так, так... медведи гризли... Но как сюда попала эта афиша...

— Ох, заткнись ты!

— Ты не сердись на меня, Уилл?

— Нет.

Ветер вырвал бумагу из их рук.

Афиша взлетела над деревьями в каком-то сумасшедшем прыжке. И исчезла.

— Все это сущее вранье. — Уилл с трудом перевел дух. — Карнавалы не устраивают так поздно. Это просто глупость. Кто *пойдет* туда?

— Я. — Спокойно сказал Джим из темноты.

И я, подумал Уилл, и представил, как сверкнул нож гильотины, как египетские зеркала разбрасывают веера света, и как дьявольский человек с зеленовато-желтой кожей отхлебывает лаву, словно крепко заваренный чай.

— Эта музыка... — пробормотал Джим. — Орган-каллиопа... Она должна прийти *ночью!*

— Карнавалы приходят рано утром.

— А как насчет лакрицы и сахарной ваты — помнишь как пахло?

Уилл подумал о звуках и запахах, плывущих по воздушной реке оттуда, где темнели дома, подумал о мистере Тетли, которого слушает лишь деревянный индеец; о мистере Кросетти с его единственной слезой, сверкающей на щеке; о столбе с красной полосой, непрерывно скользящей вокруг и вверх, из небытия к вечности.

Зубы Уилла застучали.

— Пойдем домой.

— А мы уже дома! — удивленно воскликнул Джим.

Оказалось, что они уже подошли к своим домам.

Стоя на крыльце, Джим повернулся и тихо спросил:

— Уилл, ты не сердишься?

— Да нет же, черт возьми!

— Мы не пойдем на ту улицу к тому дому, к театру, еще месяц. Еще год! Я клянусь.

— Верю, Джим, верю.

Они стояли, держась за дверные ручки, и Уилл взглянул на крышу дома Джима, где в холодном свете звезд сверкал громоотвод.

Буря была. Бури не было.

Это не имело значения, он был рад, что Джим установил на коньке крыши это замечательное приспособление.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Их двери захлопнулись одновременно.

8

Уилл отворил дверь и тут же прикрыл ее. Время было позднее, и он старался не шуметь.

— Так-то лучше, — послышался голос мамы.

Проскользнув через холл, Уилл заглянул в гостиную, где расположились родители, его заботила сейчас лишь эта привычная картина: отец сидел на своем обычном месте (уже дома! значит, они с Джимом дали хорошего кругалю!) и рассеянно листал книгу, мама вязала, сидя в кресле у камина, и напевала что-то уютное, похожее на песенку закипающего чайника.

Он захотел быть с ними рядом, но не решился; они были совсем близко и вместе с тем далеко-далеко. Внезапно они показались ему ужасно маленькими в этой слишком просторной комнате, в этом слишком большом городе, в этом слишком огромном мире. Казалось, что в этом ничем не защищенном месте им угрожает что-то, готовое обрушиться на них из ночной тьмы.

И на меня тоже, подумал Уилл. И на меня.

И он полюбил их за эту их малость даже больше, чем раньше, когда они казались высокими и сильными.

Пальцы матери перебирали спицы, ее губы отсчитывали петли, она была счастливейшей женщиной, которую он когда-либо видел. Он вдруг вспомнил, как однажды зимним днем в оранжерее пробирался сквозь густые зеленые заросли, чтобы отыскать чайную тепличную розу, скромную и одинокую в этой пышной сочной листве. Такой же виделась ему и мать с ее улыбкой, теплой как парное молоко, она была счастлива, счастлива сама по себе, в этой комнате.

Счастлива? Как и почему?

Здесь же, в двух шагах от нее, сидел уборщик библиотеки, он был уже в домашней одежде, но его лицо все еще оставалось лицом человека, который более счастлив, когда остается ночью один в глубоких мраморных подвалах, в сквозняке коридоров, где он шаркает своей щеткой.

Уилл глядел на них и не мог понять, почему эта женщина так счастлива, а этот мужчина так печален.

Отец, глубоко задумавшись, глядел на огонь, рука его расслабленно повисла, в ней, как в чаше, лежал ком смятой бумаги.

Уилл прищурился.

Он вспомнил, как ветер подхватил мятую афишу, и она легко и быстро полетела среди деревьев. И вот точно такая же бумага смята отцовскими пальцами со строчками, набранными шрифтом в стиле рококо.

— А вот и я!

Уилл вошел в гостиную.

И тотчас лицо мамы осветилось улыбкой.

Папа, напротив, казалось, смутился, как будто его застали на месте преступления.

Уилл хотел спросить: «Что ты думаешь об этой афише?»...

Но отец спрятал смятый листок глубоко под чехол кресла.

Мама тем временем листала книги, принесенные из библиотеки:

— Они превосходны, Уилл!

Но Уилл не мог забыть о Кугере и Даке и сказал:

— Ветер действительно *принес* нас домой, папа. Улицы полны летающей *бумаги*.

Отец ничуть не удивился его словам.

— Есть что-нибудь новенькое, папа?

Рука отца тихонько полезла под чехол кресла. Он поднял серые, слегка взволнованные, очень усталые глаза и пристально посмотрел на сына:

— Каменный лев исчез с библиотечной лестницы. Теперь будет рыскать по городу, выискивая христиан. Никого не найдет. Захватит в плен только одну из здешних, а она хорошая кухарка.

— Вздор, — сказала мама.

Поднимаясь вверх по лестнице к себе в комнату, Уилл слышал то, что почти наверняка ожидал.

Тихое шуршание, как будто что-то бросили в огонь. Мысленно он увидел, как папа стоит у камина и смотрит, как пламя охватывает бумагу, скручивает ее...

«Кугер... Дак... Карнавал... Ведьма... Чудеса...»

Ему захотелось вернуться вниз, встать рядом с папой, который греет руки у огня.

Вместо этого он медленно поднялся по ступеням и захлопнул за собой дверь комнаты.

Иногда по ночам, лежа в постели, Уилл прижимал ухо к стене, чтобы послушать голоса родителей, и если они говорили об истинном и вечном, он продолжал слушать, а если разговор шел о делах повседневных, отворачивался. Если они беседовали о времени, о прошедших годах или о нем самом, или о городе, или о неисповедимости путей Господних, о Божьей справедливости, управляющей миром, он тайно слушал, уютно устроившись в теплой постели; эти слова произносились всегда отцом. Обычно он стеснялся беседовать с папой в кругу знакомых или даже наедине, впрочем, это уже особая тема. У папы был необыкновенный голос — то высокий, то низкий, обволакивающий, как ласковая рука, тихо плывущая в воздухе, словно белая птица, выводящая в полете свои узоры, он обострял слух и разум, пытался увидеть внутренним взором то, что недоступно в обычное время.

Особенность папиного голоса крылась в звуке, который исторгала истина... Этот звук в пустыне города или в обычной деревушке может очаровать любого мальчишку. Много ночей

Уилл дремал так, и его чувства были как остановившиеся часы, которые пропели вполголоса, прежде чем замолкнуть. Папин голос был полуночной школой, учившей постигать глубины времени, школой, где главным предметом была сама жизнь.

И сегодня выдалась именно такая ночь; глаза Уилла закрылись, голова прислонилась к прохладной штукатурке. Сначала папин голос тихо гудел, как далекий конголезский барабан. Мамин голос (со своим прекрасным сопрано она выступала в хоре баптистов) еще не вступил, он лишь подавал скромные реплики. Уилл представил себе, как отец потянулся, обращаясь к пустому потолку:

— ...Уилл... заставляет меня чувствовать себя таким *старым*... ведь по-настоящему-то, мужчина должен играть со своим сыном в бейсбол...

— Вовсе не обязательно, — мягко прозвучал женский голос. — Ты хороший человек.

— ...в плохое время. Черт побери, ведь мне было сорок, когда он родился! И *ты*. Люди говорят, где твоя дочь?... Господи, о какой чепухе думается, когда лежишь в постели.

Уилл услышал, как отец повернулся в темноте и сел. Чиркнул спичкой, раскурил трубку. Окна дребезжали от ветра.

— ...человек с афишами под мышкой...

— ...карнавал... — звучал материнский голос, — *этот* последний в нынешнем году?

Уилл хотел отвернуться, но не мог.

— ...самая прекрасная... женщина... в мире... — бормотал отцовский голос.

Мама тихо смеялась:

— Ты знаешь, что это не я.

Нет! подумал Уилл, это же из афиши! Почему же папа не говорит?

Потому, ответил он сам себе. Что-то продолжается. Ох, что-то продолжается!

Уилл вдруг увидел бумагу, которая вертелась среди деревьев, и эти слова: «Самая прекрасная женщина», и лихорадочный жар охватил его щеки. Он думал: Джим, Театр, обнаженные люди на сцене-окне в этом спектакле, ужасном, диковинном, безумном, как китайская опера, дзю-до, джиу-джитсу, индейские головоломки; и теперь отцовский голос, мечтательный, печальный, очень печальный, печальнейший голос... много, слишком много всего, чтобы понять. И вдруг он испугался того, что папа не захотел говорить об афише, которую он тайком бросил в огонь. Уилл выглянул из окна. Там! Как белое перо! Бледная бумага танцевала в воздухе.

— Нет, — прошептал он, — никакой карнавал не придет *так* поздно. Этого не может быть. — Он нырнул под одеяло, включил ночник и раскрыл книгу. На первой же картинке он увидел доисторическую рептилию с огромными крыльями, летящую в ночном небе миллион лет назад.

Черт возьми, подумал он, в спешке я утащил книжку Джима, а он схватил одну из моих.

Но это была чудесная рептилия.

И уже в полусне ему почудилось, что он слышит внизу шаги неугомонного отца. Хлопнула входная дверь. Отец возвращался на работу, поздно, без всякой причины, с щетками, или с книгами, дальше,, дальше...

А мама мирно спала, не зная, что он ушел.

Ни у кого в мире не было имени, которое так хорошо слетало с языка.

— Джим Найтшейд. Это я.

Джим был высокого роста, и теперь, вытянувшись, лежал на кровати, сплетенной из камыша; его костям было удобно в его теле, а его телу было привычно на его костях. Библиотечные книги, так и не открытые, лежали рядом.

Его глаза, полные ожидания, были темными, как сумерки, под ними залегли тени; его мать говорила, что это с тех пор, как он едва не умер в три года. Его темные волосы были цвета осенних каштанов, а на висках, на лбу, на шее и на запястьях его тонких рук бились темно-голубые жилки. Он был точно мрамор с темными прожилками, этот Джим Найтшейд, мальчик, который, взрослея, все меньше говорил и меньше улыбался.

Беда в том, что Джим видел лишь внешнюю сторону вещей и не мог увидеть то, что кроется позади видимого. А если ты всю свою жизнь никогда не смотришь на суть, и тебе уже тринадцать, ты и в *двадцать* лет будешь в плену этого мелкого суетного мира.

Уилл Хэлоуэй, даже когда был маленьким, любил вертеть знакомые явления так и этак, чтобы разглядеть их с разных сторон. Поэтому в тринадцать он имел уже целых шесть лет, наполненных яркими впечатлениями.

Джим знал каждый сантиметр своей тени, мог вырезать ее из плотной бумаги, свернуть в рулон или поднять на флагштоке как знамя.

А Уилл же до сих пор удивлялся, что тень следует за ним. Так было с ним, а что было, то было.

— Джим, ты проснулся?

— Да, мама.

Дверь приоткрылась и тут же захлопнулась. Он почувствовал, что совсем проснулся, но встать не хотелось.

— Джим, почему у тебя руки как лед. Не спи с открытым окном. Подумай о своем здоровье.

— Непременно.

— Не говори «непременно» таким тоном. Ты не можешь знать, что значит иметь троих детей и потерять всех, кроме одного.

— А у меня и не будет детей, — сказал Джим.

— Ты просто так говоришь.

— Я *знаю* это. Я знаю все.

С минуту она молчала.

— Что ты знаешь?

— Нет никакой пользы увеличивать число людей. Люди все равно умирают.

Он говорил очень спокойно и тихо, почти печально:

— Так?

— Почти так, — ответила мать. — *Ты* здесь, Джим. Если бы тебя не было, я бы давным-давно сдалась.

— Мам. — Долгое молчание. — Ты можешь вспомнить папино лицо? Я похож на него?

— Тот день, когда ты уйдешь, станет днем, когда он навсегда меня покинет.

— Никто не собирается уходить.

— Почему с самого рождения, Джим, ты такой беспокойный?.. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь двигался так много, только во сне. Обещай мне, Джим. Куда бы ты не уходил, возвращайся и приводи с собой кучу детишек. Пусть они бегают, шумят. И позволь

мне понятнчиться с ними, когда-нибудь.

— Вот уж не собираюсь вешать на себя такую обузу.

— Ты хочешь разбогатеть, Джим? И все-таки, я думаю, тебе придется взвалить на себя обузу.

— Ни за что.

Он посмотрел на мать. Лицо ее носило следы долгих и давних страданий. Под глазами залегли темные тени.

— Будешь жить и нести свою ношу, — сказала она из ночного сумрака. — Но когда придет время, скажи мне. Попрошайся со мной. Иначе я не могу позволить тебе уйти. Было бы ужасно, если бы ты ушел, не простясь.

Неожиданно она поднялась и опустила оконную раму.

— И почему это мальчишки любят распахнутые окна?

— Потому что кровь горячая.

— Кровь горячая... — повторила она, одиноко стоя у окна, и добавила. — Это история о всех наших горестях. Только не спрашивай почему.

Дверь закрылась за ней.

Оставшись один, Джим вновь поднял раму окна и выглянул в совершенно ясную ночь.

Буря, подумал он, ты *там*?

Да.

Чувствует... далеко к западу... парень что надо, быстро бежит по просторам земли!

Тень громоотвода пересекала дорогу.

Джим жадно вдохнул холодный воздух, и неожиданная радость охватила его.

Почему, подумал он, почему я не заберусь наверх, не выломаю, и не сброшу его вниз?

И потом посмотрю, что случится?

Конечно.

И *потом* посмотрю, что случится!

Как раз после полуночи.

Шаркающие шаги.

Вдоль пустынной улицы шел торговец громоотводами, рука в бейсбольной перчатке помахивала почти пустой кожаной сумкой, лицо было спокойно. Он завернул за угол и остановился.

Словно сделанные из мягкой бумаги, белые ночные бабочки бились в окно пустого магазина, будто старались заглянуть внутрь.

В окне на козлах для пилки дров, словно большая погребальная лодка из сияющего стекла, лежал громадный кусок льда Аляскинской холодильной компании.

И в этот лед была впаяна самая прекрасная женщина в мире. Улыбка медленно сползла с губ торговца громоотводами.

В сонной холодности льда эта женщина цвела вечной молодостью, подобно существу, погребенному под снежной лавиной тысячу лет назад.

Она была прекрасна, как предстоящее утро, и свежа, как завтрашние цветы, она была прелестна, как любая девушка, когда мужчина, закрыв глаза, видит ее лицо, словно

драгоценную камю, проступившую изнутри на его века.

Торговец громоотводами вспомнил, что в этом случае полагается вздохнуть.

Однажды, давным-давно, бродя среди мраморов Рима и Флоренции, он видел женщину, похожую на эту, но застывшую в камне. Однажды, блуждая по Лувру, он нашел женщину, похожую на эту, купавшуюся в летних лучах и написанную красками. Однажды после начала сеанса, прокрадываясь по прохладному гроту кинотеатра к свободному месту, он взглянул вверх и вдруг почувствовал себя мальчишкой, увидел хлынувшее на него потоком из темноты женское лицо, лицо, словно вырезанное из молочно-белой кости, сотканное из лунной плоти; он застыл, глядя на экран, замороженный движением ее губ, птицекрылым трепетанием ее глаз, снежно-бледно-мертвенно-мерцающим сиянием ее щек.

Так из прошлых лет нахлынули образы и воплотились внутри ледяного кристалла.

Какого цвета были ее волосы? Они были светлые, почти белые, и могли принять любой цвет, если бы освободились вдруг от ледяного покрова.

Какого она была роста?

Призма льда могла увеличить или уменьшить его в зависимости от того, с какой стороны вы подходили к пустому магазину, под каким углом смотрели в окно, облюбованное безмолвно-ночными, нежно-хлопающими, беспрестанно-бьющимися любопытными бабочками.

Но это неважно.

Самое главное — торговец громоотводами даже вздрогнул — он знал самое необыкновенное.

Если бы каким-то чудом внутри ледяного сапфира поднялись ее веки, и она взглянула на него, он узнал бы, какого цвета у нее глаза.

Он знал, какого цвета должны быть ее глаза.

Если б войти в этот пустой ночной магазин...

Если б дотронуться, тело руки могло бы... что?

Растопить лед.

Торговец громоотводами долго стоял перед окном, закрыв глаза.

Вздохнул.

Вздох его был горячим от внутреннего жара.

Он коснулся рукой двери магазина. Дверь дрогнула, открываясь. Ледяной арктический воздух охватил его. Он вошел.

Дверь закрылась.

Белая как снежинка ночная бабочка неслышно билась в окно.

Полночь миновала, и городские часы отбивают час, два и затем, ранним утром, три; эти удары стряхивают пыль со старых игрушек на чердаках, сбивают амальгаму старых зеркал, вызывают сны о часах у детей, спящих в своих постелях.

Уилл слышал бой городских часов.

Вынырнув из сна о прериях, он услышал мощное гудение локомотива, мерный стук плавно идущего поезда.

Уилл сел в постели.

В доме через дорогу, повторив то же движение, как в зеркале, сел Джим.

И тут заиграл паровой орган-каллиопа, совсем тихо, словно за миллион миль отсюда.

Уилл бросился к окну и выглянул из него, то же самое сделал Джим. Не говоря ни слова, они пристально смотрели поверх деревьев, кроны которых шумели как прибой.

Их комнаты были на самом верху, как и полагается комнатам мальчишек. Отсюда из своих окон они могли вести взглядами прицельный огонь на дистанции, доступные разве что артиллерии, они стреляли глазами дальше библиотеки, мимо городского выставочного зала, дальше складов, коровников, полей фермеров, туда, где расстилались пустынные прерии!

Там, на краю земли, манящая улитка железнодорожных путей уползала в даль, оставляя позади неистовые подмигивания лимонных или вишневых семафоров, обращенных к звездам.

Там, у пропасти, где кончается земное пространство, поднималась тонкая как перо струйка пара, подобная первому облачку грядущей грозы.

Вот появился и сам поезд — звено за звеном: локомотив, тендер, а затем пронумерованные, крепко-спящие, полностью заполненные сном вагоны, которые следовали за мерцающей, как светлячок, монотонно отстукивающей свою песню молотилкой на колесах, навевающей осеннюю дремоту даже самым ревом огня в топке. Ее адские огни заставили зардеться оглушенные грохотом холмы. Даже отсюда, издалека, казалось, что там у топки люди с бицепсами, как ляжки буйволов, сгребают огарки метеоров и бросают их в топку локомотива.

Паровоз!

Оба мальчика исчезли, вернулись и подняли свои бинокли.

— Паровоз!

Времен Гражданской войны! Такой трубы не было с 1900 года!

— И все остальное такое же старое!

— Флаги! Зверинец! Это карнавал!

Они прислушались. Сначала Уилл подумал, что слышит свое учащенное дыхание. Но нет — это доносилось с поезда, где рыдал паровой орган-каллиопа.

— Похоже на церковную музыку!

— Черта с два! Зачем карнавалу церковная музыка?

— Не поминай черта, — зашипел Уилл.

— Черт побери. — Джим раздраженно выглянул из окна. — Я весь день сдерживался. Все спят, никто не слышит — черт возьми!

Музыка проплывала мимо их окон. Гусиная кожа, проступившая от утреннего холода на руках Уилла, грозила превратиться в фурункулы.

— Это и *есть* церковная музыка. Только измененная.

— От этой болтовни я замерз, давай-ка лучше сбегает туда и посмотрим, как они устраиваются!

— В три часа утра?

— В три часа утра!

Джим исчез.

Через секунду уже было видно, как он кружится за окном, натягивая рубашку; а тем временем мрачный поезд исчезал в ночной мгле, пыхтя и раскачиваясь, волоча за собой окутанные черным дымом вагоны, клетки цвета лакрицы и смутные звуки органа-каллиопы, наигрывавшего сразу три гимна, которые перепутывались, исчезали, а может не звучали и

вовсе.

— Ничего не видно!

Джим соскользнул по водосточной трубе на лужайку.

— Джим! погоди!

Уилл, путаясь в одежде, наконец-то собрался.

— Джим, не уходи *один!*

И побежал следом.

12

Иной раз видишь, как бумажный змей парит так высоко и свободно, что кажется, он знает воздушные течения. Он летит куда захочет, затем выбирает место, которое ему нравится, именно это, а не другое, и ничего не значит, что вы дергаете за бечевку (он при желании просто разорвет ее); садится отдыхать, где ему вздумается, или тащит вас за собой злого и раздраженного.

— Джим! Подожди меня!

Джим сейчас и был таким вот бумажным змеем с отрезанным шнуром: он по собственному соображению уносился от Уилла, который только и мог, что бежать по земле за ним, ставшим вдруг таким странным и неузнаваемым, летящим высоко в безмолвной тьме.

— Джим, я здесь!

И, догоняя друга, Уилл думал: что ж, так было всегда, все давно известно. Я разговариваю. Джим бежит. Я выворачиваю камни. Джим выхватывает из-под камней всякую дрянь. Я взбираюсь на холмы. Джим кричит с колоколен. Я получил банковский счет. Джим получил копну волос, меньше кричать, рубашку на плечи, теннисные туфли на ноги. Почему я решил, что *он* богаче? Наверное, потому, думал Уилл, что я сижу на камне и греюсь на солнце, а старина Джим чувствует, как волоски на руках шевелятся от лунного света, и пляшет вместе с жабами. Я пасу коров. Джим приручает ядозуба. «Дурак!» — Кричу я Джиму. «Трус!» — Отвечает он мне. Вот так мы и живем!

При свете луны, взошедшей над холмами и высветившей росу на лугах, они выскочили из города, миновали поля, выбежали к железной дороге, спрятались и замерли под мостом.

Бам!

Карнавальная поездка загромыкала по мосту. Орган-каллиопа застенал и заплакал.

Джим уставился вверх:

— Там нет органиста!

— Не валяй дурака, Джим!

— Клянусь честью матери! Смотри!

Проносясь мимо, трубы органа сверкали под звездами, и действительно, никто не сидел за высоким пультом. Ветер вдувал в трубы ледяной от росы воздух, и возникала музыка.

Друзья побежали. Поезд скрылся за поворотом, раскачивая погребальный колокол, позеленевший и замшелый, словно поднятый со дна моря, и звонящий, звонящий. Затем паровоз свистнул, выпустил огромную струю пара, и Уилл вынырнул из-под нее, усыпанный жемчужными крупинками льда.

Поздними ночами Уилл слышал — часто ли, нет? — как поезда свистят в пути,

выпуская вдоль края сна струю пара, тонкую и далекую, даже если они проходили близко. Иногда он просыпался и, чувствуя слезы на щеке, спрашивал себя, почему плачет: поворачивался в постели, прислушивался и думал: это *они* заставили меня плакать, уходя на восток, отправляясь на запад, эти поезда, скрывающиеся среди просторов страны, они тонут в потоках снов, льющихся из городов.

Поезда эти и их печальные звуки навсегда потерялись между станциями, они не помнят, где были, не знают, где могли побывать, испуская за горизонтом свои последние слабые вздохи. Так было всегда со всеми поездами.

Но *этот* свисток!

Стенания всей жизни были собраны в нем из других ночей, дремавших в других годах; подвывание дремлющих ври луне собак, просачивание через стекла веранд январских ветров, несущих речной холод, от которого кровь стынет в жилах; плач тысячи тревожных сирен; или еще хуже! — обрывки дыхания, стоны протеста миллиарда людей, умерших или умирающих, но не желающих быть мертвыми, их стоны и вздохи, вырывающиеся из-под земли!

Слезы навернулись на глаза Уилла. Он опустил голову, встал на одно колено и притворился, что зашнуровывает ботинок.

Но потом он заметил, что Джим зажал уши и глаза руками, и глаза его тоже мокры от слез. Паровоз вопил. И Джим вопил, стараясь перекричать этот вопль. Свисток визжал. И Уилл визжал, пытаясь перекрыть этот визг.

Потом этот миллиард голосов стих, как если бы поезд нырнул в огненную бурю, охватившую землю, и растворился в ней.

Поезд несся, неслышно и стремительно; над ним развевались серые знамена, черное конфетти падало к подножью холма, распространяя слабый запах сахарной ваты; мальчики гнались за ним; воздух был таким холодным, что каждый вздох походил на порцию мороженого.

Они взобрались на последний холм.

— Вот это да... — прошептал Джим.

Поезд укатил вглубь лунного луга, куда городские парочки любили наведываться, чтобы полюбоваться восходом луны среди похожего на море поля, заполненного по весне травой, в конце лета сеном и снегом зимой; невыразимое удовольствие прогуливаться вдоль шуршащих берегов и любоваться луной, трепетавшей среди бескрайней равнины.

Наконец, карнавальная поездка замер в осенней траве, на заброшенной железнодорожной ветке вблизи леса, и друзья, подкравшись, спрятались в кустах, ожидая, что же будет дальше.

— Как тихо... — прошептал Уилл.

Поезд только что остановился посреди осеннего поля; ни души не было на паровозе, ни души в тендере, ни души в вагонах, мрачно черневших под луной, слышалось лишь легкое потрескивание остывающего металла.

— Тсс... — сказал Джим. — *Я чувствую: они идут сюда.*

Уилл ощутил, как мурашки поползли по телу.

— Ты думаешь, они *знают*, что мы подглядываем?

— Может быть, — ответил Джим возбужденно.

— Тогда почему орган играл сам по себе, без них?

— Когда я разберусь в этом, — Джим улыбнулся, — то скажу тебе. Смотри!

Зашуршало.

С неба, словно возникнув из ничего, опустился огромный, болотного цвета воздушный шар, похожий на луну.

Он тихо плыл по ветру в двухстах ярдах от места, где лежали мальчики.

— Гляди: под ним корзина! И там кто-то есть!

Но тут высокий человек спрыгнул с подножки; он был похож на капитана, который вышел проверить высоту прилива. Весь в черном, с затененным лицом, он направился к середине луга и, подняв к небу руки в черных перчатках, остановился.

Он несколько раз взмахнул руками.

И поезд ожил.

Как в театре марионеток, в одном из окон показалась голова, затем рука, затем другая голова. Два человека в черном пронесли по шелестящей траве темный столб шатра.

Было так тихо, что Уилл не смел пошевелиться, чтобы удрать отсюда, тогда как Джим, блестя глазами, жадно смотрел на происходящее.

Карнавал должен быть в грохоте, в реве, словно лесоповал в джунглях, где валят, крушат, скатывают огромные стволы, и люди работают с жаром и страстью среди львиного рыка, среди напряженных лошадиных мышц, среди слонов, которые стадами пробиваются сквозь ливни пота, а зебры ржут и стонут, схваченные полосами на своей шкуре, словно тенетами западни.

Этот же походил на старые немые фильмы, на театр черно-белых теней; серебристое жерло луны безмолвно курилось клубами света; движения рук были так тихи, что вы слышали, как ветер шевелит пушок на ваших щеках.

Множество теней суетилось возле поезда, перетаскивая клетки со зверями на луг, где с погасшими глазами бродила сама темнота, и орган безмолвствовал, если не считать едва различимой безумной мелодии, которую, странствуя по трубам, вызывал легкий бриз.

Распорядитель манежа стоял в середине круга. Воздушный шар неподвижно висел в небе, словно голова заплесневевшего зеленого сыра. Затем наступила полная темнота.

Последнее, что увидел Уилл, перед тем как облака совсем закрыли луну, был шар, внезапно устремившийся вниз.

В ночной тьме он почувствовал, как люди принялись за невидимую работу. Он ощущал воздушный шар как огромного жирного паука, перебирающего стропы, канаты и столбы, поднимающего в небо ткань, похожую на гобелен.

Облака поднялись выше. Смутно виднелся шар.

На лугу высился остов будущего цирка-шапито: опорные столбы стояли с натянутыми тросами в ожидании, когда их накроют брезентом.

Облака клубились в свете луны. Скрытый тенью, Уилл дрожал от холода и страха. Он почувствовал, что Джим пополз вперед, и схватил его за одеревеневшую лодыжку.

— Погоди! — сказал Уилл. — Они выносят брезент?

— Нет, — ответил Джим. — Ох, нет...

Каким-то непостижимым образом оба они знали, что тросы, накинутые на столбы, захватывают облака, раскраивают их, и в струях ветра их сшивает какая-то чудовищная тень, превращая в шатер. И наконец стало слышно, как полощутся по ветру огромные флаги.

Движение прекратилось. Густая тьма затихла.

Уилл лежал с закрытыми глазами и слышал биение огромных, черных как смоль крыл, словно какая-то чудовищная древняя птица спускается вниз, чтобы жить и дышать, вить гнездо на ночном лугу.

Облака рассеялись.

Воздушный шар улетел.

Люди ушли.

Шатры, как черный дождь, колыхались на столбах.

Внезапно открылась длинная дорога, ведущая к городу.

Уилл огляделся вокруг.

Ничего, кроме травы и шорохов.

Он медленно повернулся и посмотрел назад, где в темноте и безмолвии стояли пустые шатры.

— Мне это не нравится, — сказал он.

Джим не мог оторвать глаз от ночного зрелища.

— Да, — прошептал он — Да...

Уилл встал. Джим неподвижно лежал на земле.

— Джим! — позвал Уилл.

Джим дернул головой, словно его ударили. Затем встал на колени и попытался подняться. Его тело поворачивалось, но глаза были прикованы к черным флагам, к огромным рекламам, трепещущим подобно невиданным крыльям, к горнам и демоническим улыбкам.

Пронзительно закричала птица.

Джим вскочил. Он задыхался.

Тени облаков, вселяя панический ужас, гнали их от холмов к городу.

Двое мальчишек что есть духу бежали по пустынной дороге.

13

Из распахнутого окна библиотеки тянуло холодным ветром.

Чарльз Хэлоуэй неподвижно стоял перед ним.

Вдруг он оживился.

Внизу вдоль улицы пронеслись два мальчика, за каждым по пятам гналась тень. Они мягко прорисовывались в ночной тьме.

— Джим! — позвал пожилой человек. — Уилл!

Но голос его был едва слышен.

Мальчишки удирали по направлению к дому.

Чарльз Хэлоуэй выглянул из окна.

Еще раньше, бродя один по библиотеке и позволяя своей щетке болтать о вещах, которые никто другой не мог услышать, он уловил свисток паровоза и растянутые органом-каллиопой звуки церковных гимнов...

— Три... — вполголоса произнес он, стоя у окна. — Три часа утра.

На лугу, где стояли балаганы, палатки и шатры, карнавал ожидал посетителей. Он ждал того, кто сможет пересечь море травы. Большие балаганы надулись подобие кузнечным мехам. Они медленно выдыхали набранный воздух, который отдавал запахом каких-то древних чудовищ, притаившихся внутри.

Но одна лишь луна заглядывала в темноту брезентовых пещер. Невиданные чудовищные твари галопом мчались на карусели. В стороне раскинулись морские сажени Зеркального

Лабиринта, который вместил многократные повторения пустого тщеславия и суеты, где одна волна отражений набегаёт на другую тихо и безмятежно, седея с возрастом, выцветая и белея со временем. Иногда даже тень у входа могла вызвать целую радугу страха, испуга, ужаса, глубоко похороненных в прошлом.

Если человек встанет здесь, увидит ли он себя, отраженного в будущее, в вечность миллиард раз? Вернется ли к нему миллиард его образов, его завтрашнее лицо, и послезавтрашнее лицо, и лицо в старости, и еще старше, и еще? Найдёт ли он себя, затерянного в чудесной пыли там, вдали, в глубине времен, себя не пятидесяти, а шестидесятилетним, не шестидесяти, а семидесятилетним, не семидесяти, а восьмидесятилетним, девяносто-девяносто-девятилетним?

Лабиринт не спрашивал.

Лабиринт не говорил.

Он просто стоял и ждал, подобно огромному арктическому айсбергу.

— Три часа...

Чарльз Хэлоуэя охватил озноб. Его кожа сделалась холодной, как у ящерицы. Желудок наполнился свернувшейся кровью.

И все-таки он не мог отвернуться от окна библиотеки.

Далеко-далеко на лугу что-то блестело.

Лунный свет, сверкавший в громадном стекле.

Возможно, свет что-то говорил, возможно, это «что-то» было зашифровано.

Я пойду туда, подумал Чарльз Хэлоуэй. Я не хочу туда идти.

Мне нравится это, думал он, мне это не нравится.

Минуту спустя дверь библиотеки захлопнулась за ним.

По пути домой он прошел мимо окна пустого магазина.

Внутри стояли козлы для пилки дров.

Между ними разлилась лужа воды. В воде плавали куски льда. Во льду застыло несколько длинных прядей волос.

Чарльз Хэлоуэй заметил все это, но предпочел не рассматривать. Он повернулся и ушел. Вскоре улица была так же пуста, как витрина в скобяной лавке.

Далеко-далеко на лугу в Зеркальном Лабиринте мерцали тени, будто обрывки еще не существующей жизни попались в ловушку и ждали, когда их освободят.

Итак, Лабиринт ждал, его холодный пристальный взгляд был готов вобрать многих, кто как птица прилетал, чтобы посмотреть, увидеть и улететь с пронзительным криком.

Но ни одна птица не прилетала.

— Три, — сказал голос.

Уилл прислушался, озябший, но уже согревающийся, довольный, что есть крыша над головой, пол внизу, стены и дверь между ним и слишком большой опасностью, слишком большой свободой, слишком долгой ночью.

— Три...

Голос папы, который сейчас ходит внизу по холлу, разговаривает сам с собой.

— Три...

Ведь именно в это время, думал Уилл, пришел поезд. Неужели папа видел, слышал, следил?

Нет, он *не должен!* Уилл съежился в постели. Но почему? Он дрожал. Чего он боится?

Темный Карнавал стремительно приближается издалека, словно черные штормовые волны, готовые обрушиться на берег. И он, и Джим, и папа знают это, а город крепко спит, не ведая об этом.

Да. Уилл глубоко задумался. Да...

Три...

Три часа утра, думал Чарльз Хэлоуэй, сидя на краешке постели. Почему поезд пришел именно в этот час?

Потому, ответил он сам себе, что час этот особенный. Женщины никогда не просыпаются в три, не так ли? Они спят сном младенцев. А мужчины среднего возраста? Они хорошо знают этот час. О Господи, полночь — это совсем неплохо, вы просыпаетесь и снова засыпаете; час ночи или два, тоже терпимо, вы беспокойно мечетесь, однако продолжаете спать. В пять или шесть часов вы уже надеетесь, что вот-вот взойдет солнце. Но три, сейчас три часа, Господи Иисусе, три утра! Доктора говорят, что в это время тело ущербно. Душа покидает его. Кровь движется медленно. В этот час вы близки к смерти, и кажется, вам не спастись от нее. Сон — клочок смерти, но когда в три часа утра вы лежите без сна, уставясь в потолок, — это подлинная смерть! Вы грезите с открытыми глазами. Боже мой, если у вас хватит сил подняться, вы разрушите свои бредовые видения и вернетесь к жизни! Но нет, вы лежите, намертво придавленный ко дну. Идиотская рожа луны заглядывает в окно, чтобы посмотреть, как вы там распластались. Это долгий путь от заката и мучительный путь к рассвету, когда вы перебираете дурацкие игрушки, накопленные за целую жизнь, дурацкие прелестные игрушки, сделанные другими людьми, знавшими, что хорошо, а что плохо, и давным-давно умершими....И не было ли правдой, — вычитал он где-то, — что именно в три часа утра люди умирают в больницах чаще, чем в любое другое время?...»

Стоп! Он беззвучно заплакал.

— Чарли? — произнесла жена, не просыпаясь.

Он медленно снял ботинки.

Жена улыбалась во сне.

Почему?

Она бессмертна. У нее есть сын.

Но ведь он и твой сын тоже!

Однако какой отец действительно верит этому? Ведь он не несет бремени женщины, не чувствует такой боли. Какой мужчина, подобно матери, ложится спать поздней ночью и поднимается с ребенком в самую рань? Нежные, улыбающиеся женщины сами по себе достойная загадка. О, какие странные, удивительные часы эти женщины. Они выют гнезда во Времени. Они создают плоть, которая прочно поддерживает их и связывает с самой вечностью. Они живут, окруженные *дарами*, сознают свою силу и не нуждаются в благодарности. Да и зачем говорить о Времени, когда сами они и *есть* Время, когда они превращают мгновения в теплоту и жизнь? Как завидуют, а зачастую и ненавидят мужчины эти живые часы, этих женщин, которые знают, что они будут жить вечно. И что же мы делаем? Мы, мужчины, ожесточаемся, потому что не можем совладать ни с миром, ни с самими собой. Мы не видим непрерывности жизни, мы все разрушаем, падаем, слабеем,

останавливаемся, разлагаемся или спасаемся бегством. Итак, поскольку мы не можем создавать Время, что нам остается? Бессонница. Тоска.

Три часа пополуночи. Вот оно, наше вознаграждение. Три часа утра. Это полночь нашей души. Время отлива, когда душа угасает. И поезд прибывает в этот час безысходности и отчаяния... *Почему?*

— Чарли?..

Рука жены коснулась его.

— С тобой... *все в порядке*... Чарли?

Она вновь задремала.

Он ничего не ответил.

Он не мог объяснить, что с ним.

15

Поднялось желтое как лимон солнце.

Купол неба был голубым.

Звонкое пение птиц разносилось в воздухе.

Уилл и Джим выглянули из окон.

Вокруг ничего не изменилось.

Кроме выражения глаз Джима.

— Простой ночью... — сказал Уилл. — Это было на самом деле?

Оба пристально посмотрели на далекие луга.

Воздух был сладким, как сироп. Нигде, даже под деревьями, не было ни одной тени.

— Шесть минут! — закричал Джим.

— Пять!

Через четыре минуты кукурузные хлопья с молоком уже были проглочены, а мальчики, оставляя позади шлейф из красных осенних листьев, бежали вон из города.

Потом, запыхавшись от дикого бега, они зашагали спокойней и огляделись вокруг.

Карнавал был на месте.

— Ого... вот это да...

Карнавальные балаганы были лимонные, как солнце; латунь духового оркестра отливала цветом пшеничных полей. Флаги и знамена, как яркие синие птицы, хлопали крыльями над брезентовыми куполами цвета львиной шкуры. Из палаток, шатров и киосков, ярких, как леденцы, плыли по ветру замечательные, субботние запахи яичницы с беконом, горячих сосисок и блинов. Повсюду шныряли мальчишки, за ними следовали невыспавшиеся отцы.

— Самый обыкновенный старый карнавал, — сказал Уилл.

— Черт возьми, — добавил Джим. — Не приснилось же нам. Пошли!

Они прошли сотню ярдов вглубь карнавального городка. Они шли все дальше, и становилось ясно, что они не найдут людей, по-кошачьи пробиравшихся давешней ночью в тени воздушного шара, пока из грохочущих облаков сами собой складывались странные шатры и балаганы. Вместо этого они видели лишь заплесневелые веревки, побитый молью и непогодой, кое-как накинутый от дождя брезент да выцветшую на солнце мишуру. Афиши висели на столбах, как прибитые за крыло мертвые альбатросы, их трепало ветром, из-под них сыпалась старая краска, и они лепетали что-то о чудесах вовсе не чудесного тонкого

человека, толстого человека, человека с головой острой как кол, чечеточника и исполнителя хулы.

Мальчишки бродили по карнавальному городку, но не находили ни таинственного полночного шара, наполненного газом зла, и привязанного загадочными азиатскими узлами к кинжалам, воткнутым в черную землю, ни маньяков, способных на ужасную месть. Органкаллиопа возле билетного киоска не вопил о смертях и не мурлыкал про себя идиотские песенки. Поезд? Он отъехал по железнодорожной ветке в нагретую солнцем траву, он был старым, изъеденным ржавчиной, и казался громадным магнитом, притянувшим к себе через континенты многие ярды костей локомотива, шатуны и колеса, дымящиеся патрубки и старые кошмары, которые длятся лишь несколько секунд. Он нисколько не изменил свой черный погребальный силуэт. Он словно просил позволения остаться таким и лежал мертвым телом в осеннем прибое, распространяя вокруг запах отработанного пара и черного как порох железа.

— Джим! Уилл!

К ним шла улыбающаяся мисс Фоли, учительница седьмого класса.

— Ребята, что случилось? — спросила она. — У вас такой вид, будто вы что-то потеряли.

— Да, — согласился Уилл и добавил: — Вы не слышали, как ночью играл органкаллиопа?

— Каллиопа? Нет...

— Тогда почему, мисс Фоли, вы пришли сюда так рано? — спросил Джим.

— Просто я люблю карнавалы, — сияя, ответила мисс Фоли, маленькая, словно бы затерянная среди седин своих пятидесяти лет. — Сейчас я куплю сосисок и вы покушаете, а я поищу моего глупого племянника. Кстати, вы *видели* его?

— Вашего племянника?

— Да. Роберта. Он живет у меня уже две недели. Его отец умер, а мать болеет. Он из Висконсина. Я взяла его к себе. Он сегодня так рано убежал сюда. Обещал меня встретить. Но вы же знаете мальчишек! А вы что-то уж очень мрачные. — Она протянула им сосиски.

— Ешьте и выше нос! Атракционы откроются через десять минут. Я хочу посетить Зеркальный Лабиринт и...

— Нет, — сказал Уилл.

— Что нет? — спросила мисс Фоли.

— Только не Зеркальный Лабиринт. — Уилл проглотил кусок сосиски и мысленно взгляделся в мили отражений. Там невозможно достичь дна. Он стоит как зима и ждет, чтобы убить своим ледяным сверканием... — Мисс Фоли, — продолжил он и сам удивился тому, что говорит, — не ходите туда.

— Почему же?

Джим зачарованно поглядел на Уилла.

— Верно, скажи, почему туда нельзя?

— Там люди теряются... — поколебавшись, ответил Уилл.

— В этом, пожалуй, есть резон. Роберт мог там заблудиться, мог не найти выхода и будет теперь бродить, пока я не схвачу его за ухо и не вытащу оттуда...

— Никогда нельзя сказать, — говоря это, Уилл не мог оторвать взгляда от миллионов миль сверкающего стекла, — что может плавать там, внутри...

— Плавать! — мисс Фоли засмеялась. — Что за чудесные мысли приходят тебе сегодня,

Уилли. Пусть так, но ведь я старая рыба. Итак...

— Мисс Фоли!

Мисс Фоли покачнулась, но удержала равновесие, шагнула и скрылась в зеркальном океане. Мальчики смотрели, как она опускалась, погружаясь все глубже и глубже, и, наконец, вовсе растворилась в серебре.

Джим схватил Уилла.

— Что все *это* значит?

— Черт побери, Джим, эти зеркала! Ведь они... Мне это не нравится. Я к тому, что они *похожи* на случившееся прошлой ночью.

— Милый мальчик, ты перегрелся на солнышке, — фыркнул Джим. — Этот лабиринт там... — его голос оборвался. Он втянул холодный ветер, исходящий от отблесков и отражений Лабиринта, словно от ледяного дома.

— Джим? Ты что-то сказал?

Но Джим молчал. Потом вдруг хлопнул себя по затылку.

— Это и в самом деле бывает! — крикнул он в изумлении.

— Что бывает?

— Волосы! Я много раз читал про это. В жутких историях о них пишут в самом конце! Со мной это случилось сейчас!

— Черт возьми, Джим! И со мной тоже!

Они стояли, испуганные, чувствуя, как по шее бегают холодные мурашки, а волосы на голове стоят дыбом.

В зеркалах разворачивалось роскошное представление света и тени.

Они увидели двух, четырех, дюжину мисс Фоли, пробирающихся через Зеркальный Лабиринт.

Они не знали, какая из них была настоящая, поэтому помахали им всем сразу.

Ни одна из мисс Фоли не обратила на них внимания и не махнула в ответ рукой. Она двигалась точно слепая. И как слепая ощупывала и царапала ногтями холодное стекло.

— Мисс Фоли!

Ее глаза широко раскрылись, как от магниевой вспышки фотографа, кожа сделалась совершенно белой, как у статуи. Она двигалась в глубине стекла и что-то говорила... бормотала... хныкала. Вот она заплакала... закричала... завопила... Она билась о стекло головой, локтями, пьяно дергалась, как ослепленный мотылек, воздевала в отчаянии руки и снова царапала стекло. «Господи, помоги! — молила она. — Помоги, о Господи!».

И тут Джим и Уилл увидели в глубине зеркал свои собственные лица, такие же бледные, с широко открытыми глазами.

— Мисс Фоли, идите сюда! — Лицо Джима исказилось.

— Сюда! — но Уилл наткнулся лишь на холодное стекло.

Рука высунулась из пустого пространства. Старая женская рука, вынырнувшая в последний раз. Она судорожно схватилась за что-то, чтобы спастись. Этим что-то оказался Уилл. Она потащила его вниз, в пустоту.

— Уилл!

— Джим! Джим!

И Джим удержал его здесь, а он удержал мисс Фоли и выхватил из безмолвных, стремительнодвигающихся зеркал, из глубины необитаемых призрачных морей.

Она выскочила на волю, к солнечному свету.

Мисс Фоли, прижав руку к ушибленной щеке и тяжело дыша, жаловалась, бормотала, потом вдруг засмеялась и вытерла глаза.

— Спасибо вам, Уилл, Джим, ох, как же мне вас благодарить — ведь я чуть не утонула! Я имею в виду... Ах, Уилл, как ты был *прав*! Боже мой, вы *видели* ее, она потерялась, утонула там, бедная девочка! О бедная, пропавшая, милая... надо спасти ее, ох, мы *должны спасти* ее!

— Мисс Фоли, вы ушиблись. — Уилл твердо отвел ее вцепившиеся в него руки. — О ком вы? Там никого нет.

— Я видела ее! Пожалуйста! Посмотрите! Спасите ее!

Уилл метнулся ко входу в Лабиринт и остановился.

Билетный контролер окинул его ленивым пренебрежительным взглядом. Уилл вернулся к мисс Фоли.

— Клянусь, больше никто не входил туда, мэм. Это я виноват, я просто пошутил насчет воды и глубины, а вы, должно быть, заблудились там, и испугались.

Но если даже она и слышала его слова, то не воспринимала их и продолжала прижимать руку к губам, и голос ее был голосом человека, который вынырнул из морской глубины после того, как уже почти утонул, долго пробыл под водой без воздуха, без надежды на жизнь, и вдруг получил свободу.

— Ушла? Она на дне! Бедная девочка. Я знала ее. «Я *знаю* тебя!» — сказала я, как только увидела ее. Я махнула рукой, она тоже... «Привет!» Я побежала — бам! Я упала. Она упала. Дюжины, тысячи их упали. «Подожди!» — попросила я. О, она была такая красивая, такая милая, такая юная. Но она испугалась меня. «Что ты делаешь *здесь*? — спросила я. — Почему?», — и мне показалось, она сказала: «Я *настоящая*, а ты *нет!*» Она засмеялась уже глубоко под водой. Она убежала в Лабиринт. Мы *должны* ее найти! Прежде...

Опираясь на руку Уилла, Мисс Фоли последний раз судорожно вздохнула и стала успокаиваться.

Джим пристально вглядывался вглубь холодных зеркал, высматривая в них невидимых злодеев.

— Мисс Фоли, — спросил он, — на кого *она* была похожа?

Голос мисс Фоли был слабым, но спокойным:

— Дело в том... она выглядела... совсем как я много, много лет тому назад...

— А теперь я пойду домой, — сказала она.

— Мисс Фоли, мы проводим...

— Не надо. Оставайтесь. Со мной все в порядке. Веселитесь, ребята.

И она медленно пошла прочь, вниз, по дороге.

— Я тоже ухожу, — сказал Уилл.

— Нет, Уилл, — ответил Джим, — мы, брат, останемся до вечера, до самой темноты, когда *все* прояснится. Или тебе слабо?

— Нет, — пробормотал Уилл. — Но... разве кто-нибудь еще захотел нырнуть в Лабиринт?

Джим с болезненным любопытством вглядывался в бездонное море зеркал, где теперь отражался лишь чистый свет, в нем была пустота над пустотой, пустота под пустотой, пустота позади пустоты — и только.

— Никто. — Джим переждал два удара сердца и добавил: — Я догадываюсь...

Несчастье случилось на закате.

Исчез Джим.

Весь день они визжали от восторга почти на всех аттракционах, сбивали пустые молочные бутылки, давили стаканчики от мороженого, выигрывали призы, вбирая глазами, вдыхая и слушая все, что попадалось на пути через праздничную толпу, шагающую по листве.

И вдруг, совсем неожиданно, Джим исчез.

Никого не спрашивая, надеясь лишь на самого себя, Уилл, молча и уверенно пробирался сквозь вечернюю толчею, и когда небо стало темным, как слива, подошел к Лабиринту, заплатил десять центов, ступил внутрь и тихо позвал:

— Джим?..

Джим оказался там; он стоял, наполовину захваченный холодными стеклянными потеками, как человек, которого друг покинул на морском берегу, когда ушел далеко-далеко, и кажется чудом, что он вернется. Видимо, он стоял так уже долго, и казался застывшим и остекленевшим, как глаза, если не мигать целых пять минут; приоткрыв рот, он пристально смотрел, ожидая следующей волны зеркальных отражений, которая вот-вот накатится и откроет ему нечто еще большее, чем он уже успел увидеть.

— Джим! Вылезай оттуда!

— Уилл... — Джим слабо вздохнул. — Позволь мне побыть тут еще...

— Еще? Да ведь здесь, как в аду! — Уилл в один прыжок оказался возле Джима, схватил его за ремень и потащил за собой. Волоча ноги, Джим плелся сзади, и, казалось, не понимал, что его хотят вытащить из Лабиринта, сопротивлялся в благоговейном трепете перед каким-то невиданным чудом:

— О Уилл, — лепетал он, — о Уилли, Уилл, о Уилли...

— Джим, ты просто спятил. Говорю тебе, пошли домой!

— Что?.. Что?..

Похолодало. Небо стало темней, чем спелые сливы, и там, на самом верху, пылали облака, зажженные последними лучами солнца. Закат осветил лихорадочно горевшие щеки Джима, его открытый рот, расширенные, невозможно зеленые блестящие глаза.

— Джим, что ты там видел? То же, что и мисс Фоли?

— Что?..

— Сейчас получишь! Иди сюда! — Уилл толкал, дергал, пихал, почти тащил на себе своего возбужденного и безвольного друга.

— Не могу сказать тебе, Уилл, ты не поверишь, не могу сказать тебе... там, ох, там, там...

— Заткнись! — Уилл ударил его по руке. — Пугаешь меня, точно также, как она испугала нас. Сумасшедшие! Ведь уже пора ужинать. Дома подумают, что мы умерли и нас успели похоронить!

Они прибавили шагу и, путаясь в осенней траве, почти бежали по полю, удаляясь от балаганов.

Уилл смотрел вперед на очертания родного города, Джим постоянно оглядывался назад на развевающиеся, потемневшие в сумерках знамена.

— Уилл, мы должны сюда вернуться. Сегодня ночью...

— Прекрасно, возвращайся один.

Джим остановился.

— А мне казалось, ты не отпустишь меня одного. Ведь ты всегда будешь рядом, правда, Уилл? Будешь защищать меня?

— Смотрите, он нуждается в защите! — засмеялся Уилл.

Однако тут же оборвал смех, перехватив взгляд Джима, в котором было бешенство: дикая сила, сжав рот, дрожала в его тонких ноздрях и в неожиданно глубоко запавших глазах.

— Ох, Уилл, ты всегда будешь со мной?

Джим вздохнул, и Уилл почувствовал тепло этого вздоха, его охватило волнение, и он выпалил старый, знакомый ответ: «Да, да, ты ведь знаешь, да, да».

Собравшись идти дальше, они повернулись и разом зацепились за огромную как холм, загремевшую кожаную сумку.

17

Какое-то время они стояли перед этой непомерно большой сумкой.

Как бы ненароком, Уилл пнул ее ногой. Раздался лязг железа.

— Ого, — удивился Уилл, — это же сумка торговца громоотводами.

Джим сунул руку в кожаную пасть и вытащил металлический стержень, на котором тесно переплелись химеры и клыкастые китайские драконы с вытаращенными глазами и позеленевшими панцирями — каждый символ олицетворял свой мир; громоотвод сулил людям опасность, оттягивая мальчишеские руки особым весом и значением.

— Бури не было. Но он *ушел*.

— Куда он девался? И почему оставил сумку?

Они посмотрели на карнавальный городок, где темнели волны брезента. Вечерние тени равнодушно стирали последние краски. Пресыщенные и усталые люди усаживались в автомобили и отправлялись домой. Слышались гудки машин; мальчишки, опершись на рамы велосипедов, подзывали собак. Вскоре тьма поглотила дорогу, и только тень все еще крутящегося чертова колеса закрывала звезды.

— Люди так просто не бросают вещи, которыми живут, — сказал Джим. — Ведь это все, что есть у старика... Что-то очень важное, — Джим прерывисто вздохнул, — заставило его бросить свою сумку. Видно, он только что ушел отсюда.

— Что? Что же может быть таким важным, что забываешь *все* на свете?

— Почему так случилось, — Джим пытливо посмотрел в помрачневшее лицо друга, — никто тебе не скажет, если сам не *узнаешь*. Тут сплошные тайны и тайны. Грозовой торговец... Сумка грозowego торговца. Если мы теперь в нее не заглянем, мы никогда ничего не пойдем.

— Джим, через десять минут...

— Конечно! На дороге совсем стемнеет. Все разъедутся по домам Мы останемся одни... Разве ты не понимаешь — как это важно? Только *мы!* И потом двинемся обратно.

Бродя по Зеркальному Лабиринту, они видели два войска: миллиард Джимов и миллиард Уиллов, которые сталкивались, мелькали, исчезали... И так же, как эти войска,

исчезали толпы людей, заполнявших карнавальнй городок.

Мальчишки одиноко стояли среди сумеречных биваков, покинутых армией зрителей, представляя, что все в городе сидят сейчас в светлых комнатах перед тарелками с горячей вкуснятиной.

Красные буквы на табличке кричали: «Испорчено! Не подходить!»

— Эта штука висела тут весь день. Не верю я этим объявлениям, — сказал Джим.

Они рассматривали карусель, стоявшую в небольшой дубовой рощице. Налетевший ветер скрипел и стучал голыми сучьями. Лошади, козлы, антилопы, зебры со спинами, пронзенными медными дротиками, стояли под навесом карусели с оскаленными, словно у мертвых, зубами; в их испуганных глазах угадывался призыв к отмщению.

— Не смотри на меня так.

Джим легко перемахнул через брякнущую цепь, вспрыгнул на огромный как луна деревянный круг, где навсегда застыли околдованные безумные звери.

— Джим!

— Уилл, это же карусель! Мы ее еще не видели! Так...

Джим покачулся. Округлый лунный мир карусели наклонился и сдвинулся с места. Джим стал пробираться между медными стойками, окружавшими зверей. Он выбрал темно-сливового жеребца, сел на него верхом и покачался в седле.

— Эй, парень, пошел вон отсюда!

Из-за брезентового занавеса, скрывавшего механизм карусели, возник человек.

— Джим!

Обогнув трубы органа и обтянутые кожей барабаны, похожие на луны, человек изловчился, схватил и поднял вверх завопившего от страха Джима.

— Помоги, Уилл, помоги!

Уилл бросился к нему, перепрыгивая через раскрашенных зверей.

Человек криво улыбнулся, сделал вид, что хочет пожать руку Уиллу, но тут же сграбастал его и подвесил за ремень на высокий крюк рядом с Джимом. Мальчишки со страхом смотрели сверху вниз на своего мучителя, на его огненно-рыжие волосы, на горящие синим огнем глаза и перекатывающиеся под одеждой бицепсы.

— Испорчено, — сказал незнакомец. — Вы что, читать не умеете?

— Опустите их вниз, — прозвучал вдруг тихий и добрый голос.

Джим и Уилл увидели сверху высокого человека, стоявшего за оградой.

— Вниз, — повторил он.

Мальчишки были перенесены через медный лес, населенный дикими, но безропотными зверями, и посажены в пыль перед каруселью.

— Мы были... — попытался сказать Уилл.

— Вы были очень любопытны?

Этот второй человек казался высоким, как фонарный столб. Его бледное лицо со следами оспы напоминало луну, и так же, как луна, светило на тех, кто стоял внизу. Его жилет отливал цветом свежей крови. Его брови, волосы и костюм были коричнево-черными, словно лакричный корень, а солнечно-желтый самоцвет в булавке галстука сверкал так же

ярко как немигающие, будто выточенные из хрусталя глаза. Костюм незнакомца совершенно потряс Уилла. Казалось, он был сплетен из колючих стеблей ежевики, из закрученной, как часовая пружина, кабаньей щетины, и необыкновенно темной, глянцевиной пеньковой веревки. Он поглощал свет, на нем шевелились ряды колючек, казалось, длинное тело незнакомца должно зудеть, чесаться при каждом движении; казалось, этот человек должен мучиться, горько рыдать и рвать на себе одежду, чтобы избавиться от нее. Однако он стоял тут, лунно-тихий, облаченный в облегающий колючий костюм, и смотрел на Джима своими желтыми глазами. Он ни разу не взглянул на Уилла.

— Меня зовут Дак.

Он протянул белую визитную карточку. Она тут же стала голубой.

Шепот. Красная.

Щелк. Зеленый человек, отпечатанный на ней, висел на дереве.

Зашелестело. Ш-ш-ш-ш...

Замелькали слова: «Дак. А мой друг с рыжими волосами — это мистер Кугер. Кугер и Дак»...

Зашелестело, защелкало — ш-ш-ш-ш-ш...

На белом квадрате появлялись и исчезали буквы:

«...Комбинированные Теневые Шоу...»

Мгновенно стерлось.

Ведьма-высочка зашевелилась, разливая горшки с зельем.

«...и межконтинентальная Компания Театра Пандемониум...»

Он вручил карточку Джиму. Теперь на ней можно было прочитать:

НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

ОСМОТР, СМАЗКА, ЧИСТКА

И РЕМОНТ ЖУКОВ-МОГИЛЬЩИКОВ

(часов Смерти, которые спешат).

Спокойно, говорил себе Джим, читая это. Спокойно. Он сунул руку в карман, полный сокровищ, порылся там и что-то вынул.

На его ладони лежало мертвое коричневое насекомое.

— Вот, — сказал Джим, — почините *его*.

Мистер Дак разразился смехом:

— Великолепно! Я сделаю это!

Он протянул руку, рукав его рубашки задрался.

Ярко-пурпурные, темно-зеленые и голубые как молния угри, черви и латинские надписи обнаружили над его запястьем.

— Вот это да! — воскликнул Уилл. — Вы должно быть и есть «Татуированный человек!»

— Нет. — Джим изучающе посмотрел на незнакомца. — «Разрисованный человек» — есть разница.

Мистер Дак кивнул с явным удовольствием.

— Как тебя зовут, мальчик?

Не говори ему! — подумал Уилл и замер, удивленный своей мыслью. Почему не говорить?

Губы Джима напряженно подергивались.

— Саймон, — сказал он и улыбнулся, показывая, что это ложь.

Мистер Дак улыбнулся в ответ, чтобы показать, что он понимает это.

— Хочешь посмотреть еще, Саймон?

От смущения Джим не мог даже кивнуть в знак согласия.

Медленно, с видимым удовольствием мистер Дак засучил рукав до локтя.

Джим уставился на его руку. Она походила на кобру, которая извивалась, раскачивалась из стороны в сторону, готовясь нанести смертельный удар. Мистер Дак сжимал и разжимал кулак, перебирал пальцами. Мускулы играли и перекачивались под кожей.

Уиллу захотелось обежать вокруг, чтобы лучше рассмотреть руку, но он не мог двинуться с места и только думал: Джим, ох, Джим!

Они стояли рядом, Джим и этот длинный, и рассматривали друг друга так, словно один был отражением другого в темной витрине ночного магазина. Ежевично-колючий костюм длинного человека заставил пылать щеки Джима и привел в смятение его глаза, которые вместо кошачье-зеленых, какими они всегда были, сделались пасмурными, расширившимися, впитывающими увиденное. Джим стоял, словно бегун, одолевший длинную дистанцию: с запекшимся ртом, с руками, протянутыми, чтобы получить некий приз. И действительно, этим призом были картинка, подергивающиеся в пантомиме, когда мистер Дак заставлял иллюстрации, холодно застывшие на коже, повиноваться движениям его теплых пульсирующих запястий... На небе загорелись звезды и Уилл видел, а Джим не замечал, что последние горожане уже укатили в своих теплых машинах в город: наконец, Джим едва слышно произнес: «Черт возьми...», и мистер Дак опустил свой рукав.

— Спектакль окончен. Пора ужинать. Карнавал закрылся до утра. Все разошлись. Возвращайся, «Саймон», и катайся на карусели, когда ее починят. Возьми эту карточку и можешь кататься бесплатно.

Джим, не отрывая глаз от скрывшегося под рукавом запястья, взял карточку и сунул в карман.

— Прощайте!

Джим побежал.

Уилл со всех ног бросился за ним.

Джим, мчавшийся вихрем, вдруг на мгновение оглянулся, подпрыгнул и уже второй раз за сегодняшний день исчез.

Поравнявшись с деревом, около которого пропал Джим, Уилл посмотрел вверх и увидел друга, спрятавшегося между ветвями. Уилл оглянулся. Мистер Дак и мистер Кугер стояли к ним спиной, занятые каруселью.

— Быстрее, Уилл!

— Что?

— Они *увидят* тебя. Лезь скорее!

Уилл подпрыгнул. Джим помог ему взобраться наверх. Старое дерево раскачивалось. В кроне завывал ветер. Джим усадил тяжело дышавшего друга на ветке рядом с собой.

— Джим, уйдем отсюда!

— Заткнись! Смотри! — прошептал Джим.

Внутри карусельного механизма что-то зазвенело и забренчало, раздалось едва различимое шипение и свист пара в трубах органа-каллиопы.

— Что там было нарисовано, Джим?

— Картинка.

— Да, но какая?

— Это было... — Джим прикрыл глаза. — Там была нарисована змея... которая... в общем, змея.

Джим упорно отводил глаза.

— Ну, ладно, не хочешь — не рассказывай.

— Я же сказал тебе, Уилл, змея. Потом я устрою, чтобы он показал ее тебе, идет?

Нет, думал Уилл, не хочу я этого.

Он посмотрел на пустую дорогу, испещренную миллиардом следов, и внезапно подумал, что сейчас гораздо ближе к полуночи, чем к полудню.

— Я иду домой...

— Конечно, Уилл, уходи. Зеркальные Лабиринты, старые учительницы, потерянные сумки с громоотводами, исчезнувшие торговцы, танцующие картинки со змеями, карусели, на которых нельзя кататься... а ты собираешься домой!? Конечно, старый дружище Уилл, прощай!

— Я... — Уилл начал спускаться с дерева и вдруг замер.

— Все ясно? — послышался голос внизу.

— Ясно! — ответил кто-то с дороги.

Мистер Дак, находившийся не более чем в пятидесяти шагах отсюда, двинулся к красному пульту управления, который стоял возле билетной кассы. Он свирепо оглядывался вокруг, и взгляд его не миновал дерева, укрытого в своей кроне мальчиков.

Уилл крепко ухватился за сук, Джим изо всех сил вцепился в свою ветку, оба сжались и замерли.

— Запускай!

Раздался скрип, лязг, стук, высоко, а затем все ниже зазвенела, загудела медь, и карусель двинулась.

Но ведь она сломана, подумал Уилл, она же испорчена!

Он быстро посмотрел на Джима, который диким взглядом уставился в одну точку.

Карусель завертелась... да... но...

Она двигалась *наоборот*.

Маленький орган-каллиопа внутри карусельного механизма загрохотал своими рвущими нервы барабанами, заклацал тарелками, похожими на маленькие луны, застучал зубами кастаньет, хрипло, задыхаясь и кашляя, зарыдали его трубы, свистки и наигрывающие причудливые мелодии флейты.

Музыка, подумал Уилл, она *тоже* наоборот!

Мистер Дак резко повернулся, огляделся вокруг и посмотрел наверх, словно услышал мысли Уилла. Ветер с мрачным неистовством раскачивал деревья. Мистер Дак пожал плечами и отвернулся.

Пронзительно визжа и лязгая, карусель летела наоборот все быстрее и быстрее!

Тем временем огненно-рыжий мистер Кугер, который расхаживал взад-вперед по дороге, вдруг остановился под их деревом. Уилл мог запросто плюнуть ему на голову. Затем орган издал необычайно фальшивый, неистовый вопль, заставивший завывать и залаять собак всей округи; и мистер Кугер резко повернувшись побежал и прыгнул в мир крутившихся наоборот зверей, которые вперед хвостом неслись по бесконечному вращающемуся ночному пути неизвестно куда. Хлопнув рукой по медным стойкам, он бросился на сиденье, и полетел назад по кругу: с вставшими дыбом рыжими волосами, розовым лицом и пронзительными синими глазами; назад по кругу, назад по кругу под пронзительный визг

музыки, которая тоже словно засасывалась назад каким-то жутким нескончаемым вдохом.

Музыка, подумал Уилл, что же это за музыка? И как мне узнать, какая она настоящая? Он покрепче уцепился за сук и попытался уловить мелодию, а потом мысленно напеть ее самому себе, чтобы разгадать. Но медные колокола и барабаны били в его грудь, перевертывали сердце так, что он чувствовал, будто самый пульс его перевернулся, кровь двинулась в обратном направлении, сотрясая упрямыми толчками все тело; он был так поражен, что рисковал упасть, и старался лишь покрепче ухватившись, удержаться на ветке и впитать в себя зрелище крутящейся наоборот машины, и мистера Дака, настороженно стоящего у рычагов управления поодаль от карусели.

Джим первый заметил, что происходит, и пихнул Уилла ногой в плечо; тот посмотрел вниз, и Джим в каком-то неистовстве кивнул на человека, сидящего на карусели, когда тот проезжал мимо по очередному кругу.

Лицо мистера Кугера таяло и уменьшалось, словно вылепленное из розового воска.

Его руки становились кукольными.

Его кости сжались под одеждой; затем и одежда уменьшилась, соответственно сократившемуся телу.

Его лицо менялось, с каждым кругом он делался все меньше и меньше.

Уилл заметил, как Джим крутит головой вслед за каруселью.

Карусель двигалась как огромное лунное видение, дрейфующее задом наперед; нелепо толклись пронзенные дротиками лошади; задыхалась в последнем удушье музыка, пока мистер Кугер, простой как тени, простой как свет, простой как время, непрерывно молодел. Он становился моложе. И моложе. И моложе.

С каждым оборотом было видно, как его тело переплавлялось, подобно тому, как горящая свеча, расплавляясь и уменьшаясь, возвращается к своему началу. Он безмятежно вглядывался в пылающие над головой созвездия, смотрел на дерево, где устроились мальчики, и с каждым новым кругом каруселей, уносящих его от них, нос Кугера становился все более вздернутым, а уши все более напоминали прелестные розовые лепестки!

И вот уже нет тех сорока лет, с которых он начал свой спиральный спуск в прошлое, мистери Кугери теперь было девятнадцать.

Вместе с ним маршировал вспять по кругу парад лошадей, стоек, музыки; мужчина сделался молодым человеком, молодой человек превратился в мальчика...

Мистери Кугери было семнадцать, шестнадцать...

Еще один и еще круг под небом и деревьями, под Уиллом и Джимом, считающим обороты; ночной воздух нагрелся до летней жары от трения блестящей как солнце латуни, от неистового обратного полета зверей; движение это уносило восковую куклу назад и назад в молодость, в детство, омывало ее музыкой, тихими странными мелодиями до тех пор, пока все не прекратилось, не умерло В- нахлынувшей тишине; орган-каллиопа закрыл свои медные трубы, железные машины умолкли; и с последним, едва слышным жалобным воем, подобным шороху последних песчинок в песочных часах, карусель покачнулась, как морская водоросль на воде, и тихо стала.

Фигурка, сидевшая в белых резных деревянных санях, была очень маленькой.

Мистери Кугери было двенадцать лет.

Нет, это невозможно. Уилл не мог выдать ни слова. Нет, это совершенно невозможно. Джим тоже смотрел на бывшего мистери Кугери и молчал.

Маленькое нечто спустилось из умолкшего мира карусели вниз, его лицо было в тени,

но руки, сморщенные и розовые, как у новорожденного, потянулись к тусклому свету карнавальных фонарей.

Странный мужчина-мальчик быстро посмотрел вверх, потом вниз, распространяя вокруг себя волны страха. Уилл съежился и закрыл глаза. Он почувствовал, как ужасный пристальный взгляд стрелой пропорол листья и прошел мимо. Затем маленькое нечто мягко, как кролик, сошло на пустую дорогу.

Джим первый раздвинул листья, чтобы было лучше видно.

Мистер Дак растаял в вечерней тишине.

Казалось, все случившееся так заорожило Джима, что он упал на землю. Уилл упал чуть позже, и они стояли взбудораженные, ошеломленные, потрясенные этой безмолвной пантомимой, а потом побежали в ночь, в неизвестность. Держась за руки, они бежали через луг, не упуская из виду маленькую тень, и Джим смятенно, с дрожью в голосе говорил:

— Ох, Уилл, сейчас бы домой, до чего ж есть охота... Но нельзя — мы же такое увидели! И должны увидеть еще больше! Правда?

— Боже мой, — ответил Уилл печально, — я догадываюсь, что мы увидим.

И они продолжали погоню за странным существом, которое, возможно, помогло бы им понять происходящие вокруг чудеса.

19

Когда они вышли на шоссе, за холмами догорала бледная полоска вечерней зари, и то, что они преследовали, было так далеко впереди, что показалось им бликом, который мелькнул в свете фонарей, и скрылся в темноте.

— Двадцать восемь! — удивленно выпалил Джим. — Двадцать восемь раз.

— Ты про карусель? Это точно! — Уилл кивнул. — Двадцать восемь раз она прокрутилась наоборот, я считал.

Маленькое *нечто* впереди оглянулось и остановилось.

Джим и Уилл быстро спрятались за деревом, чтобы странное существо не заметило их.

«Оно», думал Уилл. Почему я говорю «оно»? Если сказать «он» — это мальчик, «он» — мужчина... но... *это* что-то то, что изменилось, не мальчик и не мужчина, вот почему я подумал «оно».

Они миновали городскую окраину; толкнув друга локтем, Уилл сказал:

— Джим, здесь должны быть *двое* с этой карусели — мистер Кугер и тот другой...

— Наверное. Только я буду следить за этим!

Они бежали мимо парикмахерской. Уилл смотрел, но не видел рекламу. Он прочитал, но не понял объявление. Прочитал и тут же забыл. Он думал о своем.

— Эй! Он повернул на Калпеппер стрит! Быстрей!

Они свернули за угол.

— Он удрал!

Длинная, освещенная фонарями улица была пуста.

Листья падали на асфальт, расчерченный мелом для игры в классики.

— Уилл, на этой улице живет мисс Фоли.

— Знаю, четвертый дом, но...

Джим, засунув руки в карманы, насвистывая, не торопясь пошел по улице, Уилл рядом с

ним. Подойдя к дому мисс Фоли, они посмотрели вверх.

В одном из слабо освещенных окон кто-то стоял.

Мальчик лет двенадцати, не больше.

— Уилл, — сдавленно вскрикнул Джим, — этот мальчик...

— Ее племянник?...

— Племянник, черта с два! Отвернись. Может, он умеет читать по губам. Иди помедленней. До угла и обратно. Видишь его лицо? Его глаза, Уилл! Глаза не меняются с возрастом, они одинаковые, хоть у молодого, хоть у старого, у шестилетнего или у шестидесятилетнего! Лицо мальчика, это да, но глаза мистера Кугера!

— Нет!

— Да!

Они остановились, чтобы немного успокоить бешено колотившиеся сердца.

— Нельзя стоять. — Они снова пошли. Джим, крепко сжимая руку Уилла, вел его за собой. — Ты видел глаза мистера Кугера, когда он поднял нас и хотел треснуть головами друг о дружку? Ты видел мальчишку, который спрыгнул с карусели? Когда мы прятались на дереве, он посмотрел вверх почти прямо на меня! Я точно в печку заглянул — такой жар! Я эти глаза никогда не забуду! И сейчас они там, в окне. Поворачивай обратно. Давай пойдем назад, как ни в чем не бывало... Надо предупредить мисс Фоли о том, кто прячется в ее доме, правда?

— Джим, только смотри, не напугай мисс Фоли или того, другого!

Джим не ответил. Идя рука об руку с Уиллом, он быстро взглянул на друга и подмигнул сияющими зелеными глазами.

И Уилл вдруг испытал к Джиму чувство, которое всегда появлялось у него, когда он вспоминал об одной собаке, которая была у них очень давно. Иногда эта собака, месяцами смирная и послушная, вдруг убегала неизвестно куда, несколько дней пропадала и, наконец, с трудом прихрамывала обратно, тощая, вся в репьях, воняющая болотом и отбросами; казалось, она обошла все помойки и свалки этого мира, а затем почему-то вернулась домой с умильной улыбкой на морде. Папа называл собаку Платоном, философом-пустынником, и говорил, что если бы можно было глядеть на мир ее глазами, мы узнали бы о нем все. Возвратившись, собака снова вела примерную жизнь и следовала всем образцам приличий, а затем исчезала, и все начиналось сызнова. Сейчас, идя рядом с другом, он, казалось, слышал, как Джим скулит и подвывает. Он чувствовал, как ошетинились все волоски на его теле. Он чувствовал, как настораживаются его уши, видел, как он принюхивается к темноте. Джим улавливал никому не известные запахи, слышал тиканье часов, показывавших совсем другое, не наше время. Даже язык его двигался как-то странно — он облизывал то нижнюю, то верхнюю губу, когда они опять остановились перед домом мисс Фоли.

В окне никого не было.

— Сейчас поднимусь и позвоню, — сказал Джим.

— Неужели ты хочешь встретиться с ним лицом к лицу?

— Мы должны проверить, разве нет? Пожать ему лапу, поглядеть в его глаза, и если *это* он...

— Разве мы не предупредим мисс Фоли до того, как с ним встретимся?

— Глупый, мы ей потом позвоним! Пошли!

Уилл вздохнул и заставил себя подняться по ступенькам; ему хотелось и в то же время не хотелось узнать, были ли у мальчика, жившего в доме, глаза мистера Кугера,

вспыхивающие между ресницами, как светляки в темноте.

Джим позвонил у двери.

— Что если выйдет он? — спросил Уилл. — Слушай, я так боюсь, что могу напустить в штаны. А почему ты не боишься, Джим, почему?

Джим оглядел свои совершенно спокойные руки.

— Будь я проклят! — сказал он и тут же удивленно выдохнул. — Ты прав! *Я не боюсь!*

Дверь широко распахнулась.

Мисс Фоли лучезарно улыбалась им, стоя на пороге.

— Джим! Уилл! Как мило!

— Мисс Фоли! — выпалил Уилл, — с вами *все в порядке?*

Джим свирепо поглядел на него. Мисс Фоли засмеялась:

— А что со мной должно случиться?

Уилл покраснел:

— Да это все те проклятые карнавальные зеркала...

— Какие глупости, я уже забыла про них. Что же, мальчики, может войдете?

Она широко распахнула дверь.

Уилл собрался было шагнуть вперед, но остановился.

За спиной мисс Фоли виднелся занавес из темно-синих, нанизанных на шнуры бусин, он был как грозовой ливень, хлеставший у входа в скромную гостиную.

Там, где ливень касался пола, виднелись носки пары пыльных маленьких ботинок. Там, за стеной ливня, стоял в нерешительности злой мальчик.

Злой? Уилл прищурился. Почему злой? А потому. Этого «потому» было вполне достаточно. Да, мальчик, и к тому же злой.

Мисс Фоли повернулась и позвала сквозь темно-синие непрерывно струящиеся бусины дождя: «Роберт?» Потом взяла Уилла за руку и легонько потянула его к занавесу. «Иди встречать моих учеников».

Стеклянный дождь продолжал литься. Внезапно, из него высунулась конфетная, сладко-розовая рука, она словно бы решила проверить, какая погода в холле.

Хорошенькое дельце, подумал Уилл, ведь он посмотрит мне в глаза! Он увидит карусель и самого себя на ней, и как едет назад, назад... *Я знаю* — это отпечаталось у меня в глазах, ведь тогда меня будто молнией ударило!

— Мисс Фоли! — сказал Уилл.

Теперь и розовое лицо выглянуло через замерший вокруг шеи ливень.

— Мы должны сказать вам ужасную вещь...

Джим толкнул Уилла в бок.

Теперь вслед за лицом и весь мальчик появился из-за ливня бусин. Дождь зашуршал у него за спиной.

Мисс Фоли внимательно наклонилась к Уиллу. Джим свирепо сжал его локоть. Уилл запнулся, покраснел, потом вдруг выкрикнул:

— Мистер Кросетти!

Совершенно неожиданно он очень ясно вспомнил объявление в окне парикмахерской. Объявление это он заметил, когда они пробегали мимо:

«ЗАКРЫТО.

ПАРИКМАХЕР БОЛЕН»

— Мистер Кросетти! — повторил он и быстро добавил: — Он умер!

— Что... парикмахер?

— Парикмахер? — эхом повторил Джим.

— Видите эту стрижку? — повернулся Уилл и, дрожа, поднес руку к голове. — Это его работа. А мы только что гуляли там, и висело объявление, и нам сказали...

— Какое несчастье. — Мисс Фоли протянула руку, чтобы вывести странного мальчика на середину холла. — Я так огорчена. Ребята, это Роберт, мой племянник из Висконсина.

Джим протянул руку. Племянник Роберт пытливо посмотрел на него.

— Что ты *разглядываешь*? — спросил он.

— Кажется, я тебя где-то видел, — ответил Джим.

«Джим!» — завопил про себя Уилл.

— Ты похож на моего дядю, — невинным голосом добавил Джим.

Племянник перевел взгляд на Уилла, который упорно смотрел в пол, опасаясь, что мальчик заметит его смятение и увидит отпечатавшуюся в глазах карусель. Ему вдруг безумно захотелось, чтобы загудела исполняемая наоборот музыка.

Ну, подумал он, посмотри ему в лицо?

И он взглянул на мальчика в упор.

Это было так дико и безумно, что пол закачался у него под ногами, ибо вместо лица он увидел розовую сияющую маску милого мальчугана, какие продаются к празднику Всех святых; только через дырки для глаз глядел мистер Кугер, смотрели его старые, старые глаза, светящиеся, как острые синие звезды, свету которых пришлось лететь миллион лет, прежде чем он достиг земли. Через маленькие ноздри, вырезанные в этой сияющей восковой маске, дыхание мистера Кугера выходило как пар, охлажденный льдом. Его язычок, словно пирожное с тем же названием, двигался позади белых, как маленькие конфетки, зубов.

Мистер Кугер, который прятался где-то позади прорезей для глаз, щелкал взглядом, словно «Кодаком». Хрусталики его глаз вспыхивали, как два солнца, обжигали, как красный перец, и замирали.

Он направил взгляд на Джима. *Щелчок — вспышка*. Он поймал Джима в объектив, сфокусировал, сфотографировал, проявил, высушил и сдал фотографию в архив — в темноту, таившуюся в глубине глаз. Еще один щелчок-вспышка...

И все же это был всего лишь мальчик, и стоял он в холле рядом с двумя другими мальчиками и женщиной...

И пока Джим демонстративно смотрел в противоположную сторону, нечто неосознанное и невозмутимое делало свои собственные фотографии, снимало самого Роберта.

— Ребята, вы ужинали? — спросила мисс Фоли. — Мы как раз садимся за стол...

— Мы пойдем!

Все посмотрели на Уилла так, словно были поражены тем, что тот не хотел остаться здесь навсегда.

— Джим... — начал он и запнулся. — Твоя мама одна дома...

— Да, верно... — неохотно ответил Джим.

— Я понимаю. — Племянник выдержал паузу, чтобы привлечь их внимание. Когда они посмотрели на него, мистер Кугер внутри племянника принялся делать неслышные *щелчки-вспышки*, щелчки-вспышки, вслушиваясь через игрушечные уши маски, наблюдая через игрушечно-прелестные глаза, аппетитно двигая ртом, в котором виднелся крохотный как у пекинеса язычок. — Что ж, может, придете попозже, на сладкое? А?

— Сладкое?

— Я приглашаю тетю на карнавал. — Мальчик погладил руку мисс Фоли, и та в ответ нервно засмеялась.

— Карнавал? — вскрикнул Уилл, и тут же понизил голос. — Мисс Фоли, вы сказали...

— Я сказала, что была глупой и испугалась самое себя, — твердо заявила мисс Фоли. — Эта субботняя ночь — самая лучшая для представлений в цирке-шапито, надо обязательно показать их моему племяннику.

— Надеюсь, вы присоединитесь к нам? — спросил Роберт, не отпуская руки мисс Фоли. — Позднее? А?

— Великолепно! — сказал Джим.

— Джим, — напомнил Уилл, — мы весь день не были дома. Твоя мама, наверное, скучает без тебя.

— Ах, я забыл про это, — язвительно ответил Джим и метнул на друга ядовитый взгляд.

Вспышка. Племянник сделал рентгеновский снимок обоих, на котором, без сомнения, было запечатлено, как холодные кости дрожат в их теплых телах. Он протянул руку.

— До завтра. Встретимся около цирка.

— Отлично! — Джим схватил маленькую руку.

— Пока! — Уилл выскочил из двери, затем повернулся к учительнице с последней мучительной просьбой:

— Мисс Фоли?..

— Да, Уилл.

Не ходите с этим мальчишкой, подумал Уилл. Не подходите близко к тем балаганам. Оставайтесь дома, пожалуйста! Но вместо этого он сказал:

— Мистер Кросетти умер.

Она кивнула, погладила его по голове, думая, что он вот-вот заплачет. И пока она так стояла, он с усилием выгасил Джима наружу, и дверь захлопнулась, отгородила их от мисс Фоли и маленького розового лица с линзами вместо глаз, готовыми еще раз шелкнуть двух таких разных мальчиков, неуверенно нащупывающих в октябрьской темноте ступеньки крыльца; в этот миг в памяти Уилла опять закрутилась карусель; ветер с шумом срывал и уносил листья... Уилл сплюнул:

— Джим, ты пожал ему руку! Мистеру Кугеру! Уж не собираешься ли ты *встретиться* с ним?

— Это мистер Кугер, совершенно верно. Его глаза. Если бы я встретил его сегодня ночью, мы бы объяснили ему, что понимаем, как он фотографирует, как охотится со своей вспышкой. Что тебя гложет, Уилл?

— Гложет *меня*?

Теперь, спустившись с крыльца, они ругались свирепым неистовым шепотом, поглядывая вверх, на пустые окна, где время от времени мелькала какая-то тень. Уилл остановился. Музыка снова завертелась в памяти. Он ошеломленно прищурил глаза.

— Джим, помнишь, музыка, которую играл орган, ну, когда мистер Кугер стал молодеть...

— Ну?

— Это был «Похоронный марш»! Только наоборот!

— Какой «Похоронный марш»?

— Какой! Джим, его мог только Шопен написать. *Этот* «Похоронный марш»!

— Но почему его играли наоборот?

— Мистер Кугер двигался *прочь* от могилы, а не к могиле, и становился моложе, меньше, вместо того, чтобы совсем состариться и упасть мертвым. Так ведь?

— Уилл, ты удивительный и ужасный!

— Конечно, но... — голос Уилла стал жестким. — Он там. Опять в окне. Помаши ему. Пока! А теперь иди и насвистывай что-нибудь... Только ради Бога не Шопена...

Джим помахал рукой. Уилл тоже помахал. И оба принялись насвистывать «О Сюзанна».

Тень тоже помахала им, маленькая тень в высоком окне.

Мальчишки почти побежали вниз по улице.

20

Два ужина были давно приготовлены в двух домах. Мать кричала на Джима, мать с отцом отчитывали Уилла.

Оба были отправлены наверх в свои комнаты голодными.

Началось это в семь часов. Закончилось в семь часов три минуты.

Двери захлопнулись. Замки защелкнулись.

Тикали часы.

Уилл стоял около двери. Телефон был за ней, но подойти к нему он не мог. Впрочем даже если бы он позвонил, что ответила бы ему мисс Фоли? По-настоящему-то ей нужно сейчас уехать из города... Вот не было печали! Но так или иначе, что он может ей сказать? Мисс Фоли, этот племянник вовсе не племянник? Этот мальчик совсем не мальчик? Разве она не засмеется в ответ? Конечно, засмеется. Потому что племянник он или не племянник, мальчик был мальчиком, или во всяком случае казался таковым.

Он повернулся к окну. Через дорогу, в своей комнате, Джим тоже думал, как им поступить. Оба боролись со своим порывом. Было еще слишком рано поднимать окна и свистящим шепотом звать друг друга. Родители внизу настраивали радиоприемник, который шепотком доносчика зудел им в уши.

Мальчишки завалились в свои постели в разных домах, нащупали под матрацами по плитке шоколада, спрятанной туда на всякий случай, и без всякого удовольствия угрюмо сжевали.

Часы тикали.

Девять. Девять тридцать. Десять.

Дверная ручка внизу тихонько щелкнула, наверное, это папа открыл дверь.

Папа! — думал Уилл, войди! Мы должны поговорить! Но папа лишь тяжело вздыхал в холле.

Он не войдет, подумал Уилл. Ходит где-то рядом, рассуждает вокруг да около, а самое главное остается в стороне, вот как получается. Но просто войти, посидеть, выслушать? Никогда этого не делал, да и сделает ли когда-нибудь?

— Уилл...

Уилл встрепенулся.

— Уилл... — сказал папа, обращаясь в пустоту, — будь осторожен.

— Осторожен? — воскликнула мать из другого конца холла. — *Это* все, что ты собираешься сказать?

— Что же еще? — Отец уже спускался по ступенькам крыльца. — Он прыгает. Я

ползаю. Как можно равнять нас? Он слишком молод; я слишком стар. О Господи, иногда я хочу, чтобы мы никогда...

Дверь захлопнулась. Отец уже шел по улице.

Уиллу захотелось рвануть вверх раму, распахнуть окно, позвать отца. Он показался ему вдруг таким маленьким в ночной тьме. Не беспокойся обо мне, папа, думал Уилл, лучше сам останься дома! Это небезопасно, уходить сейчас! Не ходи никуда!

Но он не закричал. Когда он наконец тихо поднял окно, улица была пуста, и он уже знал, что через какое-то время в библиотеке на другом конце города зажжется свет. Когда реки выходили из берегов, когда с неба падал огонь, каким замечательным местом была библиотека с ее тихими залами, с ее книгами. Какое счастье было знать, что никто тебя здесь не разыщет. Да и кто может отыскать, если ты уже в Танганьике, в Каире 1812 года, во Флоренции 1492!?

«Осторожен»...

Что папа имел в виду? Уловил ли он тот страх, слышал ли эту перевернутую музыку, бродил ли между шатров и балаганов? Нет. Едва ли.

Уилл бросил мраморный шарик чуть повыше окна Джима.

Удар. Молчание.

Он представил, как Джим сидит один в темноте, и его фосфоресцирующее дыхание пульсирует около него.

Удар. Опять молчание.

Это было непохоже на Джима. Обычно рама сразу поднималась, высывалась голова, готовая крикнуть, свистнуть особым посвистом, хихикнуть или состроить рожу.

— Джим, я ведь знаю, что ты там!

Удар.

Молчание.

Папа ушел в город. Мисс Фоли с... ты знаешь, с кем! — думал он. Черт побери... Джим надо что-то предпринять! Сегодня ночью!

Он бросил последний мраморный шарик.

...удар...

Шарик отскочил в густую траву.

Джим не подошел к окну.

Сегодня ночью, думал Уилл. Он крепко сжал кулаки. Затем, продрогший, совсем окоченевший, упал в холодную постель.

На аллее позади дома лежал огромный, сколоченный из сосновых досок настил. Он был там всегда, сколько Уилл помнил себя. К тому времени, как он был сколочен, цивилизация успела походя изобрести скучные, тяжелые, неупругие асфальтовые тротуары. Дедушка Уилла, человек крутого нрава и буйных порывов, который ничего не мог делать без шума и гама, наперекор всему решил во что бы то ни стало сохранить деревянные тротуары; с дюжиной подручных он перенес в аллею добрые сорок футов старого настила, где тот и пролежал долгие годы как останки некоего неведомого чудовища, иссушенный солнцем и обильно политый дождями.

Городские часы пробили десять.

Лежа в постели, Уилл вдруг понял, что размышляет о грандиозном дедушкином подарке, преподнесенном из другого времени. Он ждал, не раздастся ли голос деревянного тротуара. На каком языке он разговаривает? Впрочем, не все ли равно...

Мальчишки обычно не могут просто подойти к дому и позвонить, если нужно вызвать друзей. Они предпочитают швырнуть в забор комком земли, или забросить горсть желудей на крышу, или писать таинственные записки, вылетающие из воздушных змеев, крутящихся возле самых чердачных окон.

Так же было с Джимом и Уиллом.

Поздними ночами, если они собирались сыграть в чехарду на кладбищенских надгробиях или закинуть дохлую кошку в дымоход соседей, один или другой выстукивали чечетку на этом старом музыкальном тротуаре, как на ксилофоне.

С годами они находили все новые звучания, поднимая вверх край тротуара А и закрепляя его, или опуская край Б, пока не получалось то, что нужно, и два виртуоза могли исполнять на нем любые мелодии.

По мелодии, которая выстукивалась на деревянном настиле, вы могли безошибочно судить о рискованности ночного предприятия. Если Уилл слышал, как Джим с трудом отбивал на семи или восьми нотах «Вниз по реке Лебединой», он выбирался на улицу, зная, что лунная дорожка уже пролегла через протоку, ведущую к речным пещерам. Если Джим слышал чечетку Уилла, который как ошпаренный выбивал на досках мелодию, отдаленно похожую на «Марш через Джорджию», это значило, что сливы, персики или яблоки в садах уже поспели, и пора отправляться за добычей.

Потому-то нынешней ночью Уилл, затаив дыхание, ждал, когда раздастся мелодия, зовущая вперед.

Какую же мелодию выберет Джим, чтобы представить карнавал, мисс Фоли и мистера Кугера или злого племянника?

Десять часов пятнадцать минут. Десять тридцать.

Ничего не слышно.

Уиллу не нравилось, что Джим сидит в своей комнате и думает, о *чем*? О Зеркальном Лабиринте? Что он *видел* там? И, увидев, что решил предпринять?

Уилл беспокойно повернулся.

Особенно ему почему-то не нравилось думать о том, что у Джима нет отца, от этой мысли ниточка перекидывалась почему-то к представлениям в цирке, и все превращалось в темноту, которая заливала луга. И еще думалось о его матери, которая не хотела отпускать Джима от себя, и тому приходилось по ночам убегать из дому, уходить на улицу, чтобы подышать воздухом свободы, влиться в свободные ночные потоки, бегущие к большим и еще более свободным морям.

Джим! — подумал он. Ну, начинай же музыку!

И в десять тридцать пять он услышал.

Он слышал или ему только показалось, что слышит, как Джим высунулся из окна при свете звезд, спрыгнул на дорогу, и как весенний кот мягко направился к громадному ксилофону. И возникла мелодия! Была или не была она похожа на похоронную литургию, исполненную наоборот старым органом-каллиопой?!!

Уилл начал было поднимать раму окна, чтобы посмотреть, не почудилось ли ему. Но неожиданно и окно Джима тихо скользнуло вверх.

Значит, его и не было внизу на старом тротуаре! И одно лишь дикое желание Уилла создало мелодию! Уилл зашептал было что-то, но тут же умолк.

Джим, без единого звука, стремительно съехал вниз по водосточной трубе.

Джим! — подумал Уилл.

И уже стоявший на газоне Джим застыл, как если бы услышал, что его окликнули по имени.

Ты не уйдешь без меня, Джим?

Джим быстро взглянул наверх.

Даже если он и увидел Уилла, то не подал вида.

Джим, подумал Уилл, ведь мы все еще приятели, мы ищем то, что никто, кроме нас, не чует, слышим то, чего больше никто не слышит, у нас одни и те же стремления, одна и та же дорога. И сейчас впервые за всю нашу дружбу ты убегаешь украдкой! Оставляешь меня!

Но проезд между домами был уже пуст.

И словно ящерица скользила вдоль живой изгороди, где пробирался Джим.

Уилл долго вглядывался в сторону решетки ограды, видневшейся за живой изгородью, прежде чем подумал: я остался один. Если я потеряю Джима — первый раз за все время — тогда я тоже когда-нибудь в одиночестве окажусь на улице ночью. И куда мне идти? Туда же, куда идет Джим.

Господи, помоги мне!

Джим скользил тихо, как сова за мышью. Уилл бежал вприпрыжку, как безоружный охотник за совой. Их тени летели за ними по газонам, тронутым октябрем.

И когда они остановились...

Перед ними был дом мисс Фоли.

Джим оглянулся.

Уилл сделался кустом позади какого-то куста, стал тенью среди теней, и глаза его были как стеклянные линзы, наполненные звездным светом, они не выпускали Джима, шепотом взывавшего к окнам второго этажа:

— Эй, там...эй...

Что же это, подумал Уилл, он хочет, чтобы его вспороли, и в него, как в мешок, насыпали битого стекла от Зеркального Лабиринта?

— Эй, — осторожно позвал Джим, — ты!..

Вверх по тускло освещенной шторе поднялась тень. Маленькая тень. Племянник привел мисс Фоли домой, они были в разных комнатах ил и...О Боже, подумал Уилл, я хочу, чтобы она была дома и в безопасности. А может быть, он, как торговец громоотводами...

— Эй!..

Затаив дыхание, Джим пристально смотрел вверх с тем горячечным видом, какой у него бывал летними ночами, когда он смотрел представление в окне Театра в том доме через несколько улиц отсюда. Он вглядывался вверх со страстной дрожью, забыв обо всем на свете, Джим сейчас напоминал кота, стерегущего какую-то необыкновенную мышь, которая вот-вот выскочит. Казалось, он медленно тянулся ввысь, его кости росли, притянутые тем, что показалось и тотчас же скрылось в верхнем окне.

Уилл стиснул зубы.

Он почувствовал некую тень, просочившуюся сквозь дом, тень, подобную леденящему вздоху. Больше он не мог ждать. Он выскочил вперед.

— Джим!

Он схватил Джима за руку.

— Уилл, что *ты* здесь делаешь?!

— Джим, не говори с *ним*! Пойдем отсюда. Черт меня побери! Да он сожрет тебя и выплюнет кости!

Джим изогнулся, стараясь освободиться.

— Уилл, уходи домой! Ты все испортишь!

— Я боюсь его, Джим, что тебе от него надо? Днем... В Лабиринте ты что-то видел!!?

— Да...

— Черт побери, *что же*!

Уилл схватил Джима за рубашку и почувствовал, как колотится его сердце.

— Джим...

— Пошел отсюда. — Джим был ужасающе спокоен. — Если он узнает, что ты здесь, он не выйдет. Уилли, коль ты не уходишь, я скажу тебе, что я...

— *Что же*?

— Что я старше, запомни это, *старше* тебя!

Джим плюнул.

Уилл отпрянул назад, словно его ударила молния.

Он зачем-то посмотрел на свои руки и поднял одну, чтобы стереть слюну со щеки.

— О Джим, — печально промолвил он.

И ему почудилось движение карусели, скользящей по черным ночным водам, по кругу, по кругу; и Джим на черном жеребце, уплывающий вдаль и остающийся там, крутящийся в тени деревьев, и ему захотелось закричать: смотри! карусель! ты хочешь, чтобы она крутилась вперед, ведь так, Джим? вперед, а не назад! и ты на ней; один круг — и тебе пятнадцать, еще повернулась — и тебе шестнадцать, еще три раза — и девятнадцать! музыка! и тебе двадцать, и все, ты стал взрослым! не надо, Джим, останься здесь, где тебе тринадцать, почти четырнадцать, здесь, на пустой дороге, со мной, маленьким, юным и напуганным!

Уилл оттащил Джима от дома и что есть силы ударил по носу.

Затем он прыгнул на Джима, скрутил его, повалил, тот закричал и покатился в кусты. Он зажал Джиму рот, сдавил пальцами, а тот кусал их, задыхаясь от душившего его крика.

Открылась дверь.

Уилл совсем смял Джима, навалился на него, крепко зажимая ему рот.

На крыльце кто-то стоял. Крошечная тень внимательно оглядывала все вокруг, выискивая и не находя Джима.

Но это был просто мальчик Роберт, самый обыкновенный мальчик; он совершенно случайно вышел на улицу, держа руки в карманах и тихонько насвистывая; он хотел всего-навсего подышать ночным воздухом, как это обычно делают все мальчишки, охочие до приключений, которые нужно искать, потому что они редко случаются сами по себе.

Мертвой хваткой стиснув Джима и прижавшись к нему, Уилл уставился вверх и был просто потрясен, увидев совершенно нормального мальчика с веселым взглядом; он был маленький и легкий, и в нем не было ничего от мужчины — вот что выяснилось при свете

уличных фонарей.

В любой миг Роберт с веселым криком мог спрыгнуть к ним с крыльца, чтобы начать общую игру, поэтому крепко сцепленные руки, больно сдавившие кожу, были теперь просто ни к чему, ужас испарился, страх растворился в слезах облегчения, и страшный призрак, нарисованный воображением, растаял, как снежинка тает в широко раскрытом глазу. Там действительно стоял племянник, повернувшийся к ним круглым кремовым, свежим как персик лицом.

Он улыбался, глядя на двух мальчишек, непонятно почему валявшихся в траве.

Потом он нырнул в дом. Должно быть, он взбежал вверх по лестнице, порылся где-то и бросился вниз. Совершенно неожиданно, едва мальчишки прекратили драку, к ним на газон полился удивительный сверкающий звонкий дождь.

Племянник съехал по перилам крыльца и мягко, как пантера, спрыгнул, угодив точно в свою тень на траве. У него в руках сверкали удивительные звезды, которые он щедро разбрасывал вокруг. Они летели, скатывались, скользили, мерцали, и друзья лежали под дождем золотого и алмазного огня, который барабанил по их бокам и спинам.

— Караул! Помогите! Полиция! — заорал Роберт.

Уилл был так потрясен, что отпустил Джима.

Джим так изумился, что отпустил Уилла.

Они оба разглядывали разбросанные вокруг ледяные искры.

— Ничего себе несчастье — браслет!

— Кольцо! Ожерелье!

Роберт ударил ногой, с грохотом полетели две жестяные коробки.

Наверху в спальне вспыхнул свет.

— Полиция! — Роберт бросил к их ногам последнюю сверкающую каплю, спрятал свою персиковую улыбку, словно затолкал взрыв в ящик, из которого тот вырвался, и стрелой понесся вниз по улице.

— Подожди! — прыжком бросился за ним Джим. — Мы не тронем!

Уилл поставил ему подножку, и Джим упал.

Окно наверху открылось. Выглянула мисс Фоли. Стоя на коленях, Джим держал женские часики. Уилл окинул взглядом ожерелье, которое блестело в его руках.

— Кто тут! — закричала она. — Джим? Уилл? Что *это* у вас?!

Но Джим уже удирал. Уилл же остановился на миг, увидел пустое окно и услышал раздавшийся из него вопль — это мисс Фоли решила проверить, все ли на месте в комнате. Услышав этот ее жуткий крик, он понял, что учительница обнаружила кражу со взломом.

Бросившись бежать, Уилл осознал, что поступает точно так, как того хотел племянник. По-настоящему-то ему надо вернуться, собрать драгоценности, рассказать о случившемся мисс Фоли. Но он должен был спасти Джима!

Уже далеко позади он слышал вновь раздавшийся крик мисс Фоли, включающей в доме лампу за лампой. Уилл Хэлоуэй! Джим Найтшейд! Ночные воры! Это про нас, подумал Уилл, о Боже! Это про нас! Никто теперь *ничему* не поверит, что бы мы ни говорили! Ни о карнавалах, ни о каруселях, ни о зеркалах или злых племянниках — ничему не поверят!

Так бежали они, словно три зверя под звездами. Черная выдра. Кот. Кролик.

Я, подумал Уилл, я кролик.

Он был бледным, совсем белым от смертельного испуга.

Они ворвались в карнавальный городок со скоростью добрых двадцать миль в час (плюс — минус одна миля), — племянник впереди, Джим чуть поотстав, а Уилл далеко позади, задыхающийся, с колотящимся сердцем, с тяжелой усталостью в ногах.

Бежавший впереди племянник оглянулся, улыбку с его лица мигом стерло.

Одурачил я его, подумал Уилл, он-то надеялся, что я не побегу следом, рассчитывал, что я вызову полицию, мне не поверят, или что я побегу прятаться. Теперь он испугался, что я изобью его до полусмерти и захочу влезть на карусель, закружусь, сделаюсь старше и больше, чем сейчас. О Джим, Джим, мы должны схватить его, чтобы он остался молодым, и сорвать с него маску!

Но по тому, как бежал Джим, он знал, что помощи от него не получит. Джим бежал не за племянником. Он бежал к аттракционам под открытым небом.

Далеко впереди племянник исчез за одним из шатров. Джим следом за ним. В тот момент, когда Уилл добрался до дороги, пересекавшей карнавальный городок, карусель скрипнула, хлопнула и ожила. Среди шума, грохота и визга закрутившейся музыки, в вихре полуночной пыли розовощекий племянник вскочил на огромную платформу.

В десяти шагах от карусели стоял Джим и так смотрел на скачку лошадей, что высекал своими глазами искры из глаз проносящегося мимо жеребца.

Карусель крутилась, как положено, *вперед!*

Джим *подбирался* к ней.

— Джим! — закричал Уилл.

Племянник выразительно посмотрел на механизм карусели. Отнесенный ею и вновь возвратившийся, он вытянул руку и поманил розовыми пальчиками:

— Джим...чего ж ты?

Джим с готовностью шагнул вперед.

— Нет! — Уилл бросился ему наперерез.

Он ударил, обхватил и удержал Джима, они повалились на землю.

Удивленный племянник умчался в темноту, чтобы стать на один год старше. На один год старше, думал Уилл, он становится на год выше, больше, значительней!

— О Господи, Джим, быстрее! — Уилл вскочил и побежал к пульту управления каруселью, к сложным тайнам медных выключателей, фарфоровых изоляторов и шипящих проводов. Он ухватился за рукоятку регулятора. Но Джим, подскочив сзади, оттащил его.

Уилл, ты сломаешь ее! Нельзя!

Джим одним ударом вновь включил полную мощность.

Уилл завертелся на одном месте, сжав ладонями лицо. Потом они опять схватились, сцепились, готовые бороться до изнеможения, и в конце концов повалились около пульта управления.

Уилл увидел злого мальчишку, ставшего еще на год старше, скользящего по кругу в ночную темноту. Еще пять или шесть кругов, и он станет больше и сильнее, чем они вдвоем.

— Джим, он же убьет нас!

— Не меня, только не меня!

Уилл почувствовал вдруг, что его ударило током. Он пронзительно вскрикнул и отскочил, успев стукнуть по рукоятке регулятора. Пульт управления затрещал, зашипел. Из

него в небо вырвалась молния. Отброшенные взрывом, Джим и Уилл лежали на земле, наблюдая бешеное вращение карусели.

Дрянной мальчишка просвистел рядом, обхватив медную стойку. Он ругался. Он плевался. Он боролся с ветром и с центробежной силой. Хватаясь за лошадей и столбы, он пытался пробраться к наружному краю карусели. Его лицо то появлялось, то исчезало, то приходило, то пропадало. Он цеплялся. Он пронзительно орал. Пульт управления извергал голубые ливни. Карусель подпрыгивала и тряслась. Племянник поскользнулся, упал. Черный жеребец лягнул его в лицо стальным копытом. Над бровью проступила кровь.

Джим шипел, катался по земле и сыпал удары; Уилл оседлал его, прижал к траве и отвечал криком на крик, оба были бледны от испуга, сердце Уилла колотилось в унисон сердцу Джима. Электрические удары грохотали в пульте управления, выстреливая к звездам огни фейерверка. Карусель прокрутилась тридцать раз, прокрутилась сорок. «Уилл, отпусти меня!» Прокрутилась пятьдесят раз. Орган-каллиопа выл, исходя паром, который вскоре иссяк, и он перестал играть, лишь изредка принимаясь тараторить, когда последние клочья пара вырывались через клапаны. Молния вспыхнула над вспотевшими от борьбы мальчишками, ударила в безмолвную лошадь, и та обратилась в паническое бегство; вспышка озарила фигуру, лежащую на платформе, которая по величине была уже не с мальчика, и даже не с мужчину, а еще больше, еще много больше, и пролетела еще круг, еще круг, еще...

— Он, он, о, это он, погляди, Уилл, это он... — изумленно протянул Джим и начал всхлипывать; теперь оставалось только одно: прижаться к земле, прибиться к ней, пригвоздиться. — О Господи, Уилл, вставай! Мы *должны* заставить ее крутиться обратно!

В балаганах вспыхнул свет.

Но оттуда никто не показывался.

Почему? — почти обезумев, подумал Уилл. Взрывы? Электрическая буря? Эти странные люди думают, что так и надо, если весь мир перевернулся вниз головой? Где мистер Дак? В городе? Это не к добру. Что, где, зачем?

Ему показалось, что он слышит, как в теле, дергающемся на карусели, бешено колотится сердце, потом замирает, потом стучит опять быстро, затем опять медленно, очень быстро, очень медленно, невероятно быстро, затем медленно как луна, ползущая по небу в зимнюю ночь...

Кто-то или что-то на карусели слабо застонало.

Слава Богу, темно, подумал Уилл. Слава Богу, что я ничего не вижу. Там кто-то идет. Кто-то идет сюда. Это, чем бы оно ни было, идет опять. Там...там...

Мрачная тень на содрогающейся карусели пыталась подняться, но было уже поздно, поздно, слишком поздно, очень поздно, позднее позднего, о, чересчур поздно. Тень распалась. Карусель, словно вращающаяся планета, затмила воздух, солнечный свет, чувства и ощущения, оставив только тьму, холод и вечность.

Наконец пульт управления взорвался и разлетелся на части.

Все огни погасли.

Карусель сама собой медленно поворачивалась на холодном ночном ветру.

Уилл отпустил Джима.

Сколько же раз она прокрутилась? — подумал Уилл. Шестьдесят, восемьдесят... девяносто...?

Сколько раз? — спрашивало лицо Джима, искаженное ночным кошмаром; он не мог

оторвать глаз от мертвой карусели, вздрогнувшей последний раз и остановившейся среди мертвой травы; этого замершего мира, который теперь уже ничто — ни их сердца, ни руки, ни головы, — не могло сдвинуть с места.

Медленно, шаркая подошвами, они подошли к карусели.

Темная фигура лежала на дощатом полу у края круга, лица не было видно.

Одна рука свисала с платформы.

Это была не рука мальчика.

Она казалась огромной восковой ручищей, оплавившейся в огне.

Волосы человека были длинными, тонкими и белыми. Они развевались на ночном ветру, как нити молочая.

Мальчики наклонились, чтобы разглядеть лицо.

Глаза были закрыты, как у мумии. Провалившийся нос держался на одном хряще. Рот был как растерзанный белый цветок — казалось, перекрученные лепестки лежали тонкой восковой оболочкой над стиснутыми зубами, сквозь которые едва пробивалось дыхание. Человек выглядел маленьким по сравнению с одеждой, маленьким, как ребенок, но вытянутым, высоким и старым, таким старым, очень старым, не девяносто, не сто, нет, не сто десять, а сто двадцать или сто тридцать лет было ему, сто тридцать невозможных лет.

Уилл дотронулся до него.

Он был холодный, как лягушка.

От него пахло ночными болотами и длинными лентами, которыми египтяне пеленали мумии. Он был похож на лежащий в стеклянной витрине музейный экспонат, завернутый в холсты цвета никотина.

Но он был жив, он хныкал, как младенец, и усыхал и сморщивался перед смертью. Быстро, очень быстро.

Уилла вырвало тут же, у края карусели.

И тогда, держась друг за друга, чтобы не упасть, Джим и Уилл побрели к дороге по обезумевшим листьям, по невероятной траве, по невозможной земле; они спасались бегством...

Мотыльки суматошно мельтешили вверху в конусе света под качавшимся над перекрестком фонарем. Внизу, на безлюдной заправочной станции около пустыря, тоже царила суматоха. В похожей на гроб телефонной будке откуда можно поговорить с людьми, затерянными далеко за ночными холмами, два бледных испуганных мальчика были так взволнованны, так переполнены впечатлениями, что могли только стоять, изредка указывая один другому на пролетающую летучую мышь или на облака, скользившие по звездному небу.

Уилл повесил трубку. Полиция и скорая помощь были уже в пути.

Сначала, убежав от карусели, Уилл и Джим шептались, хрипели, кричали друг на друга, спотыкаясь и устав до изнеможения — им давно следовало бы идти домой спать, забыть все — нет! Им следовало бы вскочить в товарный поезд, мчащийся на запад — нет! Ибо мистер Кугер, если он остался в живых... что им делать с ним, с этим старым человеком, с этим очень старым человеком, с этим старым, старым, старым человеком, который станет их

преследовать по всему свету, пока не достигнет и не разорвет на части! Перепуганные и дрожащие, они завершили путь в этой телефонной будке и увидели, наконец, ревущую сиренами полицейскую машину, мчащуюся по дороге, а за ней — скорую помощь. Приехавшие люди увидели в мерцающем от мотыльков свете двух мальчишек, у которых зуб на зуб не попадал от страха.

Через три минуты все они двинулись по темной дороге вслед за Джимом, который говорил без умолку:

— Он жив. Он *должен* быть жив. Мы не можем объяснить, как это произошло. Мы очень сожалеем! — Он уставился на черные балаганы. — Вы слышите? Мы сожалеем!

— Не переживай так, парень, — посоветовал один из полисменов. — Иди, иди.

В полуночной синеве два полисмена, два студента-медика, похожие в своих халатах на привидения, и два мальчика обогнули колесо обозрения и подошли к карусели.

Джим тяжело вздохнул.

Скачущие сквозь ночь лошади застыли в середине круга. Звездный свет блестел на медных стойках. Вот и все.

— Он *ушел*...

— Он был здесь, мы клянемся! — сказал Джим. — Ему лет сто пятьдесят-двести, вот он и *умер!*

— Джим, — оборвал его Уилл.

Четверо мужчин устало двинулись прочь.

— Наверное, они унесли его в балаган, — сказал Уилл, шагая рядом с ними. Полисмен взял его за локоть.

— Ты говоришь, сто пятьдесят лет? — спросил он. — А почему не *триста*?

— Может, и так! О Господи! — Джим повернулся и позвал. — Мистер Кугер! Мы привели *помощь!*

В странном Балагане Уродов загорелся свет. Огромные знамена перед ним громко хлопали и переплетались на ветру, образуя арку в хлынувшем сверху потоке огней.

Полисмен посмотрел вверх. «Мистер Скелет; Пылевая Ведьма; Разрушитель Глотающий Лаву Везувия!» Каждое слово было выведено на отдельном флаге и трепетало на ветру.

Джим остановился у шумящего флагами балагана, где показывали уродов.

— Мистер Кугер? — с мольбой позвал он. — Вы *...там?*

Из-под колыхающегося брезента, казалось, доносится горячее звериное дыхание.

— Что? — спросил полисмен.

Джим посмотрел на хлопающий брезент и словно бы прочитал:

— Они сказали: «Да». Они сказали: «Входите».

Джим шагнул внутрь. Остальные последовали за ним.

Внутри, в полутьме, они с трудом разглядели за растяжками и столбами шатра высоко подвешенные, причудливо украшенные площадки и восседавших на них странствующих по свету изгоев с изуродованными лицами, головами и костями, которые чего-то ждали.

За шатким ломберным столиком четверо мужчин играли в оранжевые, лимонно-зеленые, солнечно-желтые карты с напечатанными на них лунными зверями и крылатыми солнечными людьми.

Здесь, подбоченясь, сидел Скелет, на котором можно было играть, как на флейте-пикколо; здесь был Пузырь, который можно было прокалывать каждую ночь и накачивать на

рассвете; здесь был лилипут, известный под именем Бородавки, которого можно было отправить посылкой по почте; и за ним — Карлик, такой маленький, что его лицо полностью скрывалось за картами, зажатыми в дрожащих, скрюченных артритом, искривленных как дубовые сучья пальцах.

Карлик! Уилл принялся судорожно вспоминать. Что-то об этих руках! Знакомое, знакомое... Где? Кто? Но тут он закрыл глаза от страха.

Там стоял мосье Гильотэн в черном трико, в длинных черных чулках, в черном капюшоне, покрывавшем голову, скрестив руки на груди, он чопорно застыл около своей жуткой машины; ее лезвие было вознесено под самый купол, ненасытный нож сверкал и сиял как метеор, жаждущий разрубить пространство. Под гильотиной, головой в специальной выемке, ожидая мгновенной смерти, лежал вытянувшийся во весь рост манекен.

Там стоял Разрушитель, заплетенный в мускулы и сухожилия, весь стальной и железный, со скрипящими челюстями, сминающий подкову как сливочную тянучку.

А там Глотающий Лаву Везувия, с обваренным языком и сожженными зубами; он подбрасывал и крутил раскаленные железные шары, брызжущие пламенем и искрами, оставляющие огненные следы под темным куполом балагана.

Неподалеку еще тридцать уродов выглядывали из своих будок, наблюдая за полетом этих огней, пока Глотающий Лаву не заметил пришедших; тогда его раскаленная вселенная посыпалась вниз. Солнца утонули в бочке с тухлой водой.

Пар ударил вверх. Все замерли, не произнеся ни слова.

Даже сверчки умолкли.

Уилл быстро огляделся.

Там, на громадной сцене, словно стрела, пущенная из духового ружья, бесшумно двигалась татуировочная игла, которую ловко держала розовая рука мистера Дака, Разрисованного Человека.

Картинки полностью покрывали его тело. Обнажившись до пупа, он жалил сам себя, рисуя этой жалящей стрекозой еще одну картинку на своей левой ладони. Вот он повернулся, показывая жужжащее насекомое, зажатое в руке. Но тут Уилл, пристально смотревший на что-то позади него, закричал:

— Вот он! Это мистер Кугер!

Полисмены и медики оживились.

Позади мистера Дака стоял Электрический Стул.

На этом стуле сидел совершенно измочаленный человек, которого мальчики видели на сломавшейся карусели лежащим, словно груда костей, едва хрипевшего, полумертвого, с бледно-восковым лицом. Теперь его подняли, подперли, стянули ремнями на этом жутком приспособлении, наполненном энергией молний.

— Это он! Он был... он *умирал*.

Пузырь опустился на ноги.

Высоченный Скелет засуетился.

Бородавка словно блоха запрыгал по опилкам.

Карлик уронил карты и неистово завертел сумасшедшими, идиотскими глазами.

Я *знаю* его, — подумал Уилл. — О Боже, что они *сделали* с ним!

Торговец громоотводами!

Вот кто это. Сдавленный, уничтоженный, превращенный в ничтожество, точно все

человеческое в нем было каким-то ужасным образом сжато в кулаке и раздавлено.

Торговец громоотводами.

Но тут с удивительной быстротой совершилось два события.

Мосье Гильотэн приготовился.

И лезвие, подобно соколу, выследившему добычу, устремилось вниз из-под брезентового неба. Шорох-скольжение-промельк-грохот-бам!

И отрубленная голова манекена упала и покатилась в корзину.

Уиллу показалось, что отрублена его собственная голова, стерто и уничтожено его собственное лицо.

Он хотел и одновременно не хотел, он боялся подбежать к гильотине, чтобы поднять отрубленную голову и проверить, не его ли у нее лицо. Но кто бы отважился на это? Никогда, никогда за миллиард лет никто не смел опустошить эту плетеную корзину.

И тут случилось второе происшествие.

К стоящей справа будке, похожей на саркофаг со стеклянной крышкой, механик присоединил переносный провод. Тотчас что-то щелкнуло в механизме, спрятанном под вывеской «мадемуазель Таро, Пылевая Ведьма». Восковая фигура внутри стеклянного ящика кивнула головой и указала носом на мальчиков именно в тот миг, когда они проходили мимо вместе с остальными. Ее холодная восковая рука сметала с выступов внутри гроба Пыль Судьбы. Ее глаза ничего не видели; они были занавешены черной, собранной в складки вдовьей вуалью. Она была восковым пугалом, именно таким, каким ему положено быть, и полисмены сияли, рассматривая ее, они улыбались, расхаживая вокруг мосье Гильотэна, им нравилось все это; теперь они совсем смягчились и, казалось, уже совершенно не тяготились тем, что были вызваны по тревоге в столь поздний час и попали на веселое представление в репетиционный мир акробатов и не совсем здоровых фокусников.

— Джентльмены! — Мистер Дак вместе со своими рисунками поднялся на площадку сбитую из сосновых досок, каждую его руку оплели целые заросли диковинных растений, а на бицепсах расположилось по гнезду египетских гадюк. — Добро пожаловать! Вы попали как раз вовремя! Мы репетируем наши новые номера! — Мистер Дак взмахнул рукой, и странные чудовища на его груди обнажили ядовитые клыки. Циклоп, для которого пупок мистера Дака служил прищуренным безумным глазом, при каждом шаге дергался и кривлялся на его животе.

Боже, подумал Уилл, он ли несет всю эту толпу на себе, или же толпа нарисованных на коже чудовищ толкает его вперед?

Уилл чувствовал, как уроды, расположившиеся на скрипящих подмостках и мягких опилках, заворуженно смотрели на разрисованного мистера Дака, они так же, как полисмены и медики, были околдованы этим миром шевелящихся рисунков, которые заполнили балаган и приковали всеобщее внимание своим странным движением и немymi криками.

И вдруг часть населения, нанесенного на кожу маэстро быстрой как оса татуировочной иглой, заговорила. Но на самом деле шевелились губы мистера Дака поверх этого каллиграфического взрыва, этой железнодорожной катастрофы чудовищ, в панике мечущихся по его блестящей от пота коже. Мистер Дак извлек из своей груди органные звуки. От этой странной музыки его нарисованное сине-зеленое население заметалось в панике, задрожали уроды, расположившиеся на опилках пола, вздрогнули в глубине души и Джим с Уиллом, которые, непонятно почему, ощущали и предчувствовали еще боле

уродливое, чем само уродство.

— Джентльмены! Мальчики! Мы только что завершили работу над новым номером! Вы будете первыми, кто увидит его! — крикнул мистер Дак.

Один из полисменов, рука которого случайно оказалась у кобуры пистолета, взглянул на огромный загон, где содержались звери:

— Этот мальчик сказал..

— *Сказал?* — Разрисованный Человек рассмеялся лающим смехом. Уроды подпрыгнули от восторга, но притихли, как только владелец карнавала, слегка похлопывая по телу, принялся успокаивать собственных нарисованных Чудищ, которые непонятным образом влияли на поведение уродов. — *Сказал?* Но что он *видел?* Ведь мальчишки всегда выдумывают невесть что, насмотревшись наших номеров, разве нет? Они дрожат как кролики, когда на арену выскакивают уроды. Но сегодняшняя ночь — особенная!

Полисмен взглянул туда, где позади мистера Дака виднелись какие-то мощи, составленные из кусков папье-маше, стянутые ремнями на Электрическом Стуле.

— Кто это?

— Это? — спросил мистер Дак, и Уилл заметил, как в его завешенных дымом глазах возникло и тут же погасло пламя. — Это новый трюк мистера Электрико...

— Неправда! — закричал Уилл. — Поглядите на старика! Поглядите!

Полисмены обернулись на его истошный крик.

— Разве вы не видите! — продолжал Уилл. — Он же мертвый! Его держат только ремни!

Медики пристально вглядывались в фигуру, словно слепленную из огромных хлопьев снега, брошенных на черный стул и привязанных к нему.

Черт возьми, думал Уилл, мы-то полагали, что все будет просто. Старый мистер Кугер был при смерти, мы вызвали скорую помощь, чтобы спасти его, надеялись, что, может, он простит нас, и карнавал не навредит нам, позволит уйти спокойно. А теперь вот это, и что-то еще будет? Он мертв! Уже слишком поздно! Теперь все они нас ненавидят!

Уилл стоял среди других людей, ощущая ледяной ветерок, тянувший от этой, будто только что вырытой из земли, мумии, от ее холодного рта и холодных глаз, закрытых смерзшимися веками. В промерзших ноздрях не шевелились седые волоски. Ребра мистера Кугера под изорванной рубашкой казались твердыми, как камень, зубы под землистыми губами — холодными, как сухой лед. Если его вынести днем на улицу, от него пошел бы пар.

Медики переглянулись и многозначительно кивнули.

Полисмен, увидев это, выступил вперед.

Мистер Дак поспешно протянул похожую на тарантула руку к электрическому щиту, блеснувшему медью.

— Джентльмены! Сто тысяч вольт испепелят сейчас тело мистера Электрико!

— Нет, не разрешайте ему! — завопил Уилл.

Полисмен сделал еще один шаг. Медики открыли рты, чтобы что-то сказать. Мистер Дак бросил на Джима быстрый требовательный взгляд. И Джим закричал:

— Нет! Все правильно.

— Джим!

— Уилл, правда, все в порядке!

— Назад! — Рука-тарантул сжала рубильник. — Этот человек в трансе! Это часть нашего нового трюка, я загипнотизировал его! Он погибнет, если вы разбудите его!

Медики закрыли рты. Полисмены застыли на месте.

— Сто тысяч вольт! Но он вернется к жизни, целый и невредимый!

— Нет!

Полисмен сграбастал Уилла.

Разрисованный человек и все люди и звери, собранные на нем, в безумии схватили и рванули рубильник.

В балагане погасли все огни.

Полисмены, медики и мальчишки подскочили, словно их ошпарили кипятком.

В мгновенно наступившем полуночном мраке, Электрический Стул сделался чем-то вроде камина, в котором старик горел синим пламенем как большое полено.

Полисмены отскочили назад, медики подались вперед, и уроды тоже, в глазах их сверкало голубое пламя.

Разрисованный человек, с рукой, прилипшей к рубильнику, пристально смотрел на старого, старого, старого человека.

Старик был мертв как камень, это так, но электричество уже заключило его в живые объятия. Оно скапливалось на ледяных раковинах его ушей, мерцало и вспыхивало в его ноздрях, глубоких, как заброшенные каменные колодцы. Голубыми зигзагами оно струилось по его согнутым, похожим на богомола пальцам, по его поднятым как у кузнечика коленям.

Рот разрисованного Человека широко раскрылся, быть может, он даже что-то крикнул, но никто ничего не слышал из-за страшного жара, из-за взрыва и шипенья энергии, которая растекалась вокруг привязанного к стулу человека. Вернись к жизни! — кричал он ему. Вернись к жизни! — кричали бушующие свет и цвет. Вернись к жизни! — кричал мистер Дак, которого никто не слышал, но внутри Джима и Уилла, умевших читать по губам, это прозвучало оглушительно громко. Это «Вернись к жизни!» заставило старого человека ожить, вздрогнуть, вздохнуть, освободить дух, расплавить восковую душу...

— Он мертв! — но никто не услышал Уилла, и крик его не мог одолеть грохот молний.

Живой! Губы мистера Дака мусолили и смаковали это слово. Живой. Возвращается к жизни. Он довел до предела регулятор напряжения. Живи, живи! Где-то, издавая резкий, пронзительный звук, протестовала динамо-машина, она пронзительно визжала, жалуясь, что у нее так по-скотски отбирают энергию. Свет стал бутылочно-зеленым. Мертв, мертв, думал Уилл. Но генераторы кричали: живи, живи! Это же кричало пламя, кричал огонь, кричали толпы чудовищ на разрисованном теле.

Волосы старика встали дыбом в возбуждающем электрическом поле. Искры, стекающие с его ногтей, кипящими брызгами падали на сосновые доски. Зеленое пламя бушевало и пульсировало под мертвыми веками.

Разрисованный человек с жестокой решимостью нагнулся над старой-старой, мертвой-мертвой фигурой; его гордость — нарисованные звери — потонули в поту, его правая рука двигалась в воздухе, выражая одно желание, одно требование: живи, живи!

И старик ожил.

Уилл хрипло вскрикнул.

Но никто не услышал его.

Словно разбуженное громом, мертвое веко само собой медленно поднялось.

Уроды вздохнули.

И тогда пронзительно закричал Джим, и Уилл, крепко сжавший его локоть, чувствовал, что этот крик рвется не только через рот, но и через кости; губы старика раздвинулись, и

ужасное шипение просочилось сквозь его стиснутые зубы.

Разрисованный Человек ослабил напряжение. Затем, повернувшись, упал на колени и вытянул руку.

Послышался слабый, слабый шорох, словно падали осенние листья. Шуршало где-то под рубашкой у старика.

Уроды изумились.

Старый-престарый человек вздохнул.

Да, подумал Уилл, они дышали за него, помогали ему, они оживляли его.

Вдох, выдох, вдох, выдох... Даже это выглядело как цирковой номер. Но что он мог сказать, что сделать?

— ...легкие, так...так...так... — шептал кто-то.

Кто? Пылевая Ведьма в своем стеклянном ящике?

Вдох. Уроды дышали. Выдох. Их плечи тяжело опустились.

Губы старого-старого человека дрогнули.

— ...удар сердца...раз...два...так...так...

Опять Ведьма? Уилл боялся взглянуть.

Словно маленькие часики, на шее старика забились, запульсировала вена.

И тут правый глаз старика очень медленно широко открылся — неподвижный и пристальный, словно объектив сломанного фотоаппарата, сквозь который он смотрел в вечно бездонное пространство. Тело старика потеплело.

Мальчики, стоявшие внизу, похолодели.

Теперь старый и до ужаса мудрый, зловещий глаз стал так широк и глубок, стал таким живым, что вобрал все, перекроил фарфорово-бледное лицо; а со дна его злой племянник зыркал по сторонам, перебирая уродов, медиков, полисменов и...

Уилл.

Уилл увидел себя, увидел Джима — два маленьких портрета отпечатались в роговице этого единственного глаза. Если бы старик закрыл глаз, он разрушил бы два этих образа движением века!

Разрисованный Человек, продолжая стоять на коленях, повернулся, наконец, рот его оскалился в улыбке.

— Джентльмены, мальчики, перед вами *действительно* человек, который живет с молнией!

Второй полисмен улыбнулся; его рука соскользнула с кобуры.

Уилл отодвинулся вправо.

Старый глаз, точно плевок, тотчас настиг его и впился, высасывая душу.

Уилл дернулся влево.

Пристальный глаз старика был флегматичен. Его запекшиеся губы с трудом раскрывались, чтобы повторить затрудненный вдох. Откуда-то из глубины вдруг возник голос, отразившийся от промозглых каменных стен его тела, и лишь потом изо рта выпало.

— Добро пожаловать-ть-ть-ть...

Слова тут же словно бы упали обратно.

— Добро...пожал-л-л-л-л...

Полисмены, одинаково улыбаясь, толкнули друг друга локтями.

— Нет! — внезапно закричал Уилл. — Это не представление, это не репетиция! Он был мертв! И он умрет опять, если вы отключите энергию!..

И тут же зажал себе рот рукой.

О Боже, подумал он, что я делаю? Я хочу, чтобы он ожил, чтобы он был! Но, Боже, еще больше я хочу, чтобы он умер, я хочу, чтобы все они умерли; они меня так напугали, что в животе будто кошки царапают, будто я проглотил ком шерсти!

— Простите... — прошептал он.

— Прекратите! — заорал мистер Дак.

Уроды окинули его смятенными и свирепыми взглядами. Что же еще случится со статуей, прикованной к холодному, искрящемуся стулу? Единственный глаз старо-го-старого человека закрылся. Рот сомкнулся, выдавив пузырек грязно-желтой слизи.

Разрисованный Человек, зловеще усмехаясь, ударил по рубильнику, установив его на предельную мощность. Затем сунул в мягкую как перчатка руку старика стальной меч. Ливень электричества, словно пружина старинного граммофона, ударил в дряблые щеки старика. Глаз снова открылся, похожий теперь на пулевое отверстие. Он жаждал найти Уилла, он нашел его изображение и принялся жевать его, глотать, есть. Губы прошипели:

— Я... уууувидел...мальчиковвввв...ввввошли...тебе...шатерррррр...

Замирающий голос получил новую порцию сил, он, словно проколотый булавкой шарик, выпускающий воздух, произнес несколько едва различимых слов:

— Мы... репетируем... я думал... играем... такойййй трюк...притворяюсь... мертвым...

Опять замолк, чтобы глотнуть кислорода как пива, электричества как вина.

— ...позвольте мне упасть...похоже...я...умеррррр...маль-чишкаааа...который кричал...убежал!..

Прежде чем сказать, старик словно очищал каждый слог от шелухи.

— Ха. — Пауза. — Ха. — Пауза. — Ха.

Электрические разряды ажурной строчкой прошивали его свистящие губы.

Разрисованный Человек предупредительно кашлянул.

— Это представление...оно *утомляет* мистера Элек-трико...

— О, конечно, — оживился один из полисменов.-Извините. — Коснулся козырька фуражки. — Замечательное представление.

— Замечательное, — сказал один из медиков.

Уилл вскинул глаза, чтобы увидеть, какое у него лицо, когда он говорит это, но Джим загораживал медика.

— Мальчики! Вот дюжина бесплатных билетов! — Мистер Дак достал билеты из кармана. — Подойдите сюда!

Джим и Уилл не двинулись с места.

— Вот повезло! — подмигнул один из полисменов.

Уилл застенчиво протянул руку к билетам ярко-пламенного цвета, но остановился, когда мистер Дак спросил:

— Ваши имена?

Полисмены подмигнули друг другу.

— Скажите ему, ребята.

Мальчики молчали. Уроды пялились на них.

— Саймон, — сказал Джим. — Саймон Смит.

Рука мистера Дака, в которой были билеты, сжалась.

— Оливер, — сказал Уилл, — Оливер Браун.

Разрисованный Человек с силой вдохнул воздух. Уроды тоже разом вдохнули. Этот мощный общий вдох, казалось, расшевелил мистера Электрико. Его меч дернулся. Кончик меча, подпрыгнув, ужалил Уилла искрой в плечо, затем зелено-голубые разряды прошипели под Джимом. Молния ударила и ему в плечо.

Полисмены засмеялись.

Широко раскрытый глаз старого-престарого человека засверкал.

— Я посвящаю вас в рыцари...ослы и дура-ки-и-и-и-и... Я посвящаю...тебя...мистер Слабак... и... мистер Бледная Немочь!..

Мистер Электрико замолчал. Меч коснулся их.

— Кор-р-рот-х-х-х-ая...печальная жизнь...для вас обоих!..

Узкая щель его рта закрылась, влажный глаз слипся. Сдерживая затхлое дыхание, он точно прислушивался к искрам, пробежавшим в крови, как пузырьки в шампанском.

— Билеты, — пробормотал мистер Дак. — Бесплатно. Бесплатно. Приходите в любое время. Приходите. Приходите.

Джим, а затем и Уилл схватили билеты.

Потом они стрелой бросились прочь из балагана.

Полисмены, улыбаясь, вышли следом.

Медики, похожие в своих белых халатах на привидения, с серьезными лицами последовали за ними.

Они нашли мальчиков спящими, съездившись на заднем сиденье полицейской машины. И даже когда те спали, было видно, как им хочется домой.

Зеркала, ожидающие ее в каждой комнате, она чувствовала лучше, чем другие, не открывая глаз, чувствуют, что за окном выпал первый снег.

Несколько лет назад мисс Фоли впервые заметила, что дом наводнен ее яркими тенями, ее отражениями. Она решила тогда, что лучше всего не замечать этих холодных пластин декабрьского льда в холле, над письменным столом, в ванной. Лучше всего легко скользить по тонкому льду. Ведь если остановиться и взглянуться, вес вашего внимания проломит тонкую корочку. Провалившись же в эту прорубь, вы могли утонуть в холодных, текучих глубинах, где на дне похоронено Прощлое, высеченное на мраморе надгробных памятников. Ледяная вода влилась бы в ваши вены. Переместившись под зеркальную оправу, вы могли бы стоять вечно не в силах оторвать взгляд от свидетельств Времени.

И вот сегодня ночью, прислушиваясь к удаляющемуся топоту трех мальчиков, ей вдруг почудилось, что в зеркалах падает снег. И ей захотелось протянуть руку туда, за их оправы, чтобы проверить, какая там погода. Но она «опасалась, что, сделав так, она тем самым заставит зеркала каким-то способом собрать ее образы в миллиардах отражений, собрать целую армию женщин, уходящих, чтобы стать девушками, девушек, уходящих, чтобы стать детьми и дальше — до бесконечности. Их так много, что можно задохнуться».

Итак, что же ей делать с зеркалами, посоветуйте, Уилл Хэлоуэй, Джим Найтшейд и... племянник?

Странно. Почему не сказать *мой* племянник?

Потому, подумала она, что с самого начала, едва он вошел в дом, она не поверила ему, и его доказательства родства вовсе не были доказательствами, и она продолжала ждать... чего?

Сегодняшний вечер. Карнавал. Племянник сказал, что она *должна* послушать музыку и *должна* покататься на карусели. Он намекнул, что лучше держаться подальше от Лабиринта, где спит зима. Лучше плыть по кругу на карусели, где лето, сладкое, как клевер, медовая трава и дикая мята, наполняющие это прелестное время.

Она посмотрела на темный газон, с которого еще не собрала разбросанные драгоценности. Непонятно как, но она догадалась, что с помощью этой инсценировки племянник хотел избавиться от двух мальчиков, которые могли предупредить ее, сказать, чтобы она ни в коем случае не ходила на карусель... Она взяла билет с каминной полки:

«КАРУСЕЛЬ.

Пропуск на одного».

Она ждала, когда вернется племянник. Но время шло, и она решила действовать. Нужно сделать что-то такое, что не повредит им, нет, а помешает вмешиваться в ее дела. Никто не должен стоять между ней и племянником, между ней и каруселью, между ней и прелестным, бегущим по кругу летом.

Племянник очень много сказал тем, что ничего не сказал, и что только держал ее руки, от его розовых губ пахло яблочным пирогом.

Она подняла телефонную трубку.

В городской дали она отыскала свет, горевший по ночам в здании библиотеки, к чему за

многие годы все привыкли. Она набрала номер. Ей ответил спокойный голос. Она спросила:
— Это библиотека? Мистер Хэлоуэй? Говорит мисс Фоли. Учительница Уилла. Через десять минут, пожалуйста, будьте в полицейском участке, мы там встретимся... мистер Хэлоуэй?

Никто не ответил.

— Вы все еще там?...

— Я мог бы поклясться, — сказал один из медиков, — когда мы приехали сюда... этот старик был мертв.

Скорая помощь и полицейская машина, возвращавшиеся в город, одновременно остановились на перекрестке. Один из медиков сказал эту фразу через окно машины. Полисмен ответил:

— Вы шутите!

Медики, сидевшие в скорой помощи, пожали плечами.

— Да. Конечно, шутим.

Они поехали впереди, их лица были спокойными и такими же белыми, как халаты.

Полисмены ехали следом. Джим и Уилл, примостившиеся на заднем сиденье, пытались сказать что-то еще, но полисмены принялись болтать и смеяться, вспоминая случившееся, так что Уилл и Джим решили продолжать уже начатую ими ложь, когда назвались чужими именами, и теперь заявили, что живут за углом, неподалеку от полицейского участка.

Они попросили ссадить их возле двух темных домов, не доезжая до участков, взбежали каждый на «свое» крыльцо, схватились за дверные ручки и подождали, пока патрульная машина свернет за угол; тогда они спустились, побежали следом, и остановились, глядя на желтые огни участка, сияющие как солнца в полуночной тьме; Уилл посмотрел наверх и вдруг увидел на лице Джима то, что происходило этим вечером, а Джим смотрел на окна участка, точно в любую минуту темнота могла заполнить их и погасить навсегда.

На обратном пути, подумал Уилл, выброшу эти билеты. Но смотри-ка...

Джим все еще держал билеты в руке.

Уилл вздрогнул.

Что думал Джим, что хотел, что собирался делать теперь, когда тот мертвый человек ожил и жил лишь благодаря пламени Электрического Стула? Ему по-прежнему нравятся карнавалы? Уилл размышлял. Слабые отблески происшедшего мелькали в глазах Джима, но Джим и после увиденного оставался Джимом, даже стоя здесь, где спокойный свет Юстиции падал на его скулы.

— Шеф полиции, — сказал Уилл, — он слушал нас...

— Да, — ответил Джим. — Он соображал так долго, что можно было сбегать на край света. Проклятье ада, Уильям, даже я не верю тому, что случилось за эти сутки.

— Но мы должны найти кого-нибудь еще выше, надо добиваться, ведь теперь мы знаем, в чем тут дело...

— Хорошо, и в чем же дело? Что они сделали плохого? Напугали женщину в Зеркальном Лабиринте? Так она сама себя испугалась, скажут в полиции. Обокрали дом? Хорошо, а где вор? Спрятался под кожей старика? Кто этому поверит? Кто бы поверил, что

старый-престарый человек недавно был двенадцатилетним мальчиком? Еще что? Торговец громоотводами исчез? Конечно, и оставил свою сумку. Но он мог просто-напросто уехать из города.

— Этот карлик там, в балагане...

— Я видел его, ты видел, он похож на торговца громоотводами, верно, только так ты докажешь, что он недавно был взрослым? Нет, не докажешь как и то, что Кугер только что был маленьким. Мы правы здесь, Уилл, на тротуаре, но у нас нет никаких доказательств, кроме того, что мы видели: мы просто дети; тут только их слово против нашего, а ведь полиция прекрасно провела там время. Черт, как все глупо! Если бы только было можно попросить прощения у мистера Кугера...

— Прощения? — возмутился Уилл. — У крокодила-людоеда? Господи, твоя воля! Ты что, не понимаешь, что нельзя иметь дела с этими живодерами и дураками?

— Живодерами? Дураками? — Джим задумчиво посмотрел на него, потому что эти слова напомнили ему то, как они рассказывали друг другу о чудовищах, которые появлялись, пролетали и исчезали в их снах. В страшных снах Уильяма «живодерь» стонали, бормотали, у них не было лиц. В таких же жутких снах Джима «дураки» разрастались и набухали, словно гигантские грибы, которые пожирали крысы, которых пожирали пауки, которыми в свою очередь лакомились кошки, потому что пауки были большими.

— Живодеры! Дураки! — сказал Уилл. — Ты хочешь, чтобы на тебя упал десятитонный сейф? Смотри, что случилось с этими двумя — мистером Электрико и тем ужасным сумасшедшим Карликом! Любая вещь может навредить людям на той проклятой карусельной машине. Мы знаем, мы сами видели. Может, они нарочно изуродовали торговца громоотводами, а может, по ошибке. Но как бы то ни было, он каким-то образом как в ловушку попал в эту карусель, поехал на ней и сделался сумасшедшим, он даже *не узнает* нас! Разве этого недостаточно, чтобы так перепугать, что забудешь самого Господа Бога, Джим? Ведь, возможно, и мистера Кросетти...

— Мистер Кросетти в отпуске.

— Может быть, так, а может, и нет. Вот его парикмахерская. Вот объявление: «Закрывается по случаю болезни». *Какой* болезни, Джим? Он что, объелся сладким на карнавале? Или получил морскую болезнь на всеми любимой карусели?

— Оставь это, Уилл.

— Нет, сэр, не оставлю. Конечно, конечно, карусель издает пронзительные звуки. Ты думаешь, *мне* нравится, что мне тринадцать лет? Нисколько! Но без дурацких выдумок, Джим, только честно: ведь на *самом деле* ты не хочешь, чтобы тебе было двадцать?

— О чем *еще* мы болтали все лето?

— Болтали, это верно. Но, бросившись очертя голову в эту машину и получив назад свое тело вытянутым в длину, ты бы не знал, Джим, что тебе с ним делать!

— Я бы знал, — сказал Джим в темноте, — я бы знал.

— Конечно, ты бы просто ушел и оставил меня здесь, Джим.

— Почему? — возразил тот. — Я не оставил бы тебя, Уилл. Мы были бы вместе.

— Вместе? Ты на два фута выше, смотришь с высоты своего роста? Ты смотришь на меня сверху вниз, Джим, и о чем бы мы говорили; ведь у меня карманы набиты шпагатом от воздушных змеев, мраморными шариками, крючками... и рядом ты — с чистыми, замечательно пустыми карманами, тебе это смешно; нам не о чем разговаривать, и ты можешь бежать быстрее, и в конце концов бросишь меня...

— Я никогда не брошу тебя, Уилл...

— Бросишь в одну минуту. Ладно, уходи, Джим, просто уходи, оставь меня, со мной ничего не случится — у меня в кармане нож на всякий случай, посижу под деревом, попою песенки, пока ты не свихнешься от всех этих лошадей, что бегут по кругу, но, слава Богу, они больше не крутятся...

— Это ты виноват! — закричал Джим и осекся.

Уилл выпрямился и сжал кулаки.

— Ты полагаешь, мне надо было отпустить молодого подлого и ужасного, чтобы получить на наши головы старого подлого и ужасного? Позволить ему прокатиться, чтобы он потом наплевал нам в глаза? И чтобы ты прокатился с ним, махая мне рукой, круг за кругом, и чтобы я махал тебе рукой, так, Джим?

— Т-сс, — прошипел Джим. — Все равно уже поздно. Карусель сломана...

— А когда ее починят, они прокатят на ней старого мерзкого Кугера обратно, сделают его моложе, так, что он сможет говорить и вспомнит наши имена, и потом они придут как людоеды за нами или только за мной; и вообще, если ты хочешь с ними подружиться... и вообще, иди и скажи им, как меня зовут, покажи, где я живу...

— Я никогда не сделаю этого, Уилл, — Джим примирительно прикоснулся к нему.

— Ох, Джим, Джим, ты зрячий или слепой? Всеу свое время, как говорит наш проповедник, все поодиночке, а не попарно, вспоминаешь?

— Всеу, — повторил Джим, — свое время...

И тут они услышали голоса из полицейского участка. В одной из комнат, справа от входа, говорила женщина, потом к ней присоединился мужской голос.

Уилл кивнул Джиму, они потихоньку пробрались через кусты и заглянули в окно.

Там сидела мисс Фоли. Там сидел отец Уилла.

— Ничего не понимаю, — говорила мисс Фоли. — Не могу и подумать, что Уилл и Джим сломали замок, украли, сбежали...

— Вы точно видели их? — спросил мистер Хэлоуэй.

— Когда я закричала, они повернулись лицом к свету.

Она ничего не говорит о племяннике, подумал Уилл. И, конечно, не скажет.

— Ты видишь, Джим, он заранее собирался звать на помощь, это была ловушка! Племянник *ждал*, когда мы появимся. Он нарочно хотел подстроить все так, чтобы мы попали в беду, и потом уже не имело бы значения, что мы кому-то говорили — полиции, родителям — никто не слушал бы наши рассказы о карнавалах, о каруселях, нам бы уже никто не поверил!

— Я не хочу никого обвинять, — говорила мисс Фоли. — Но если они не виноваты, то куда ж они делись?

— Они здесь! — крикнул кто-то.

— Уилл! — одернул его Джим.

Но было уже поздно.

Уилл подпрыгнул, ухватился за подоконник и перелез через окно.

— Они здесь, — сказал он, едва коснувшись пола.

Они тихо возвращались домой по освещенным луной улицам, мистер Хэлоуэй между двумя мальчиками. Когда они поравнялись с домом, отец Уилла остановился и вздохнул.

— Джим, я думаю, не стоит беспокоить твою маму так поздно. Если ты обещаешь сказать ей все сам за завтраком, я тебя отпущу. Ты можешь войти так, чтобы не разбудить ее?

— Конечно. Поглядите, что у нас есть.

— У нас?

Джим кивнул и повел их за собой; потом он пошарил по стене дома, где среди мха и листьев плюща скрывались железные скобы, которые они когда-то прибили, чтобы сделать потайную лестницу в комнату Джима. Мистер Хэлоуэй рассмеялся и грустно покачал головой.

— И давно вы так ходите? Нет, не отвечайте. Ведь и я был таким в вашем возрасте. — Он взглянул на плющ, поднимающийся к окну Джима. — Забавно получается: поздней ночью, вместо того, чтобы оставаться дома, вы спускаетесь в ад. — Он сдержал себя и спросил. — Надеюсь, вы не слишком долго бродите по улицам?..

— За всю неделю сегодня мы первый раз задержались за полночь.

Папа с минуту подумал.

— Если бы вам разрешили бродить по ночам, это все испортило бы, верно? Главное — потихоньку ото всех красться летней ночью к озеру, к кладбищу, к железнодорожным путям, к персиковым садам — вот что привлекательно.

— Господи, мистер Хэлоуэй, неужели и вы...

— Да, да. Но только не говорите про это маме. А теперь полезай наверх. — Он отошел и добавил. — Об одном прошу — не выходите больше на улицу *ни в одну* из ночей этого месяца.

— Да, сэр.

Джим как обезьяна вскарабкался к звездам, нырнул в окно, закрыл его и задернул штору.

Папа посмотрел на потайные ступеньки, спускающиеся от света звезд к свободному миру тротуаров, зовущих пробежать тысячи ярдов к высоким барьерам из темных кустов, к кладбищенски-тихим ночным решеткам заборов и стенам...

— Знаешь, что мне тяжелее всего, Уилл? То, что я не могу бегать, как ты.

— Да, сэр, — ответил ему сын.

— Давай сейчас договоримся, — сказал папа. — Завтра иди и опять извинись перед мисс Фоли. Внимательно осмотри ее газон. Ведь ночью при спичках и фонарях можно было и не заметить какую-нибудь драгоценность. Потом пойдешь к шерифу и все ему расскажи. Счастье, что ты сам объявился. Счастье, если мисс Фоли не будет настаивать на обвинениях.

— Да, сэр.

Они подошли к своему дому. Папа раздвинул плющ на стене.

— У нас тоже?

Он нащупал ступеньку под листьями.

— У нас тоже.

Стоя около плюща и спрятанными под ним ступеньками, ведущими наверх к теплым постелям и безопасным комнатам, мистер Хэлоуэй достал кисет и набил трубку, затем раскурил ее и сказал:

— Я знаю тебя. Ты *не сделал* ничего плохого. Ты ничего не крал.

— Нет.

— Тогда почему ты сказал полиции, что крал?

— Потому что мисс Фоли, непонятно зачем, хочет нас обвинить. Если она скажет, что мы, значит, мы. Ты помнишь, как она удивилась, когда увидела, что мы лезем в окно? Она не рассчитывала, что мы признаемся. Ну, а мы сознались. У нас достаточно врагов и без закона. Я подумал, что, если бы мы сказали правду, нашим врагам стало бы легче. И все-таки, мисс Фоли тоже победила, потому что теперь мы преступники. Теперь нам никто не поверит, что бы мы ни сказали.

— Я поверю.

— Неужели? — как ни старался Уилл найти тень, омрачившую лицо отца, он видел лишь свет, сиявший в его глазах.

— Папа, вчера ночью в три часа утра...

— В три утра...

Он видел, как папа вздрогнул, словно от холодного ветра; казалось, папа уже знал все и сейчас просто не может сдвинуться с места и как-то поддержать Уилла.

Уилл ничего не мог сказать. Скажет завтра, или еще когда-нибудь, потому что, возможно, с восходом солнца шатры свернут, уроды уберутся, оставив их одних, зная, что они достаточно напуганы, чтобы не выдать тайны, не проболтаться, держать язык за зубами. Возможно, завтра все это развеется как дым, возможно...возможно...

— Ну, Уилл? — с трудом проговорил папа, трубка в его руке почти погасла. — Продолжай же.

Нет, думал Уилл, пусть уж съедят Джима и меня, а не кого-нибудь еще. Ведь любому, кто знает, придется худо. Поэтому никто больше не должен знать. Вслух же он сказал:

— Через день-два я расскажу тебе все. Клянусь. Честью мамы клянусь.

— Честью мамы, — повторил отец, — этого для меня достаточно.

Ночь была свежая, и пыль на осенних листьях пахла так, словно ветер принес на дюны за городом пески Древнего Египта. Вот ведь, думал Уилл, в такое время еще могу рассуждать о пыли, которой четыре тысячи лет, о пыли древних людей, летящей над миром, и мне грустно, что никто не замечает этого, никто кроме меня и, может быть, папы, но даже мы не говорим об этом.

Было время, когда одна секунда разделяла череду мыслей на две половины: одни мысли были похожи на злого ошестинившегося пса, другие — на благодушно дремлющего ласкового кота. Пора было отправляться спать, но они все еще медлили, неохотно собираясь кружным путем побрести к подушке и к тихим ночным грезам. Было время, когда хотелось сказать очень много, но не говорилось ничего. Это было время после первых, но отнюдь не последних открытий. Хотелось знать все и не хотелось знать ничего. Это было неведомое наслаждение, которое даруется людям, которые говорят лишь тогда, когда они должны говорить. Но в этом же крылась и горечь.

Сейчас они не могли отказаться от этой минуты, которая сулила в будущем другие ночи, когда мужчина и мальчик, становящийся мужчиной, понимали друг друга с полуслова. Итак, Уилл осторожно начал:

— Папа? А я хороший человек?

— Думаю, что да. Я знаю, да.

— Но разве... разве это поможет, когда будет действительно трудно?

— Да.

— Это спасет меня, если я буду нуждаться в спасении? Если рядом будут только плохие люди и на мили кругом никого из хороших, что тогда?

— Это поможет.

— Это не очень-то радует, папа!

— Хорошее — не гарантия для твоего тела. Оно важно для спокойствия духа...

— Но иногда, папа, разве тебе не бывает так страшно, что даже...

— ...дух не спокоен!? — отец кивнул, и лицо его омрачилось.

— Папа, — спросил Уилл совсем тихо, — а *ты* хороший человек?

— Для тебя и для твоей мамы — да, я стараюсь. Но ни один человек не может назвать себя вполне хорошим. Я живу с собой уже целую жизнь, Уилл, я знаю о себе все самое худшее...

— И если все это сложить вместе?..

— Что получится? Когда хорошее или плохое приходит или уходит, я по большей части принимаю это спокойно, и поэтому со мной все в порядке.

— Тогда, папа, почему же ты не счастлив?

— На газоне, знаешь ли, в...давай посмотрим...час тридцать...Сейчас не время философствовать...

— Я хочу знать только это.

Наступило долгое молчание. Папа вздохнул.

Потом он взял Уилла за руку, подвел к крыльцу, усадил на ступеньку и раскурил свою трубку. Попыхивая трубкой, он сказал:

— Хорошо. Мама спит крепко. Она не знает, что мы здесь ведем секретный разговор... Мы можем поговорить. А теперь давай посмотрим, почему ты думаешь, что быть хорошим человеком значит быть счастливым?

— Я всегда так думал.

— Но теперь учись думать иначе. Иногда человек, который все время улыбается и выглядит самым счастливым во всем городе, в действительности обременен тягчайшим грузом грехов. Есть улыбки и *улыбки*. Хохочущий весельчак, рубаха-парень только на виду таков, а остальное время он прячется ото всех. У него свое веселье и своя вина. Люди, Уилл, любят грех, о, как они любят грех любого обличья, размера, цвета и запаха. Наступают времена, когда нам больше подходят корыта, чем столы. Слушаешь иной раз человека, слишком громко превозносящего других, и думаешь, не вышел ли он только что из свинарника, где стоит его корыто. С другой стороны, несчастный, бледный, обманутый человек, идущий рядом, человек, который видит всю вину и грех окружающих — он зачастую и есть тот самый хороший человек с большой буквы, Уилл. Ведь быть хорошим — это ужасно трудно; люди напрягаются изо всех сил и в результате иногда ломаются. Я знал таких. Ты работаешь вдвойне, и тебе так тяжело, будто ты фермер и одновременно его свинья. Я думаю, что пытаться быть хорошим — это все равно что попробовать однажды ночью взбежать по стене. Человек с высокими запросами иной раз теряет присутствие духа из-за ничтожного волоска, упавшего на него. Он не может позволить себе заботу о себе, он не станет вызволять себя из западни, куда угодил во время молитвы.

А как было бы замечательно, если бы ты мог просто *быть* прекрасным, *поступать* прекрасно, просто так, не думая. Но это трудно, верно ведь? Ведь бывает, что в холодильнике остается последний кусок лимонного торта, но он не твой, и ты лежишь среди ночи весь в испарине, и тебе ужасно хочется его съесть, стоит ли говорить об этом? Или — жаркий весенний день, а ты прикован к школьной парте, вдалеке же течет река, такая прохладная, гремящая водопадом. Мальчишки слышат ее зов за целые мили... Ми-нута за минутой, час за часом, всю жизнь, это никогда не кончается, и никогда не прекращается, и каждую секунду ты должен выбирать, и в следующую, и в следующую, быть хорошим или быть плохим — это и есть то, о чем тикают часы, то, о чем они говорят нам. Давай, купайся или седи на жаре, ешь кусок торта или лежи голодный и честный. Итак, ты остаешься на месте, но, сказать тебе, в чем тут секрет? Однажды, оставшись на месте, не думай о реке или о куске торта. Потому что иначе ты сойдешь с ума. Сложи все реки, в которых никогда не купался, все несъеденные пирожные, и ты получишь мой возраст, Уилл, получишь, то, что прошло мимо. Но ты можешь утешиться, подумав об опасностях, которых избежал — ведь много раз ты мог бы утонуть в реке или смертельно простудиться от замороженного лимонного торта. И преодолев глупое малодушие, может быть, ты воздержишься от желания воспользоваться всем, чем только возможно, и остановишься, подождешь; играй же в эту игру, но только осторожно.

Посмотри на меня: я женился, когда мне было тридцать девять, Уилл, понимаешь, тридцать девять! Но я был так занят борьбой с самим собой, ведь на трех шагах я спотыкался дважды, что решил не жениться, пока не преодолею себя и не стану навсегда хорошим. Слишком поздно я убедился в том, что нельзя ждать, пока достигнешь совершенства, нужно просто выбежать на улицу, падать и подниматься, и чтобы рядом был еще кто-то... Итак, однажды вечером я оторвался от великого поединка с самим собой, и когда твоя мать пришла в библиотеку за книгой, то вместо книги получила меня. И я увидел тогда, а ты видишь сейчас, наполовину плохого мужчину и наполовину плохую женщину, сложив хорошие половинки которых, получаешь одного человека со всем тем хорошим, что было раньше у двоих. Это и есть ты, Уилл. И странная вещь, сынок, и печальная. Ты всегда убегаешь далеко, а я сижу на крыше и пытаюсь приспособить книги вместо черепицы, и я довольно скоро понял, что ты, Уилл, мудрее, лучше и быстрее, чем я когда-либо буду.

Папина трубка погасла. Он замолк, чтобы выбить ее и снова набить табаком.

— Нет, сэр, — сказал Уилл.

— Да, — возразил отец. — Я был глуп и не знал этого. И мой здравый смысл подсказывает по этому поводу; ты мудрый.

— Забавно, — проговорил Уилл после долгого молчания. — Ты рассказал мне сегодняшней ночью больше, чем я тебе. Я еще немножко подумаю. Может быть, я скажу тебе кое-что за завтраком. Ладно?

— Ладно, если ты захочешь.

— Потому что... я хочу, чтобы ты был счастлив, папа.

Он стыдился слез, которые навернулись ему на глаза.

— Со мной все будет в порядке, Уилл.

— Я бы сделал все на свете, лишь бы ты стал счастливым.

— Уилл, Уильям... — Папа опять раскурил свою трубку, некоторое время наблюдал, как душистый дым растворяется в ночном воздухе, а потом продолжил. — Просто скажи мне, что я буду жить вечно. И все будет хорошо.

Его голос, подумал Уилл, я никогда не замечал — ведь он того же цвета, что и его волосы.

— Па, — сказал он, — не говори так печально.

— Просто я печальный человек. Я читаю книгу, и она делает меня печальным. Смотрю фильм — печально. Игры? Они все во мне переворачивают.

— А есть что-нибудь, что *не* делает тебя печальным? — спросил Уилл.

— Лишь одно. Смерть.

— Ну, ты даешь! — удивился Уилл. — Я-то думаю, что причина как раз в *этом*.

— Нет, — сказал человек с голосом, так подходившим к его волосам. — Смерть делает печальным все остальное. Но сама по себе она только страшит. Если бы не было смерти, все остальные вещи не старились бы, не портились, не ветшали...

И вот приходит карнавал, подумал Уилл, со Смертью как с кнутом в одной руке, с жизнью как с пряником в другой; одной рукой пугает, протягивает другую, чтобы у тебя потекли слюнки, Карнавал приходит сюда, у него *полны* обе руки.

Он вскочил.

— Послушай, папа! Ты будешь жить всегда! Верь мне, не сомневайся! Конечно, ты был немного нездоров, но ведь это прошло. Конечно, тебе пятьдесят четыре, но ведь это еще не старость. И еще одно...

— Что, Уилл?

Отец ждал. Уилл колебался. Он кусал губы и затем вдруг выпалил:

— К карнавалу и близко не подходи!

— Странно, — сказал отец, — я тоже хотел тебе это сказать.

— Я не вернулся бы туда и за миллиард долларов!

Однако, подумал Уилл, это не помеха для карнавала, который рыщет по городу, чтобы прийти ко *мне*.

— Папа, обещаешь?

— Почему ты не хочешь, чтобы я туда пошел, Уилл?

— Это я расскажу тебе завтра или на той неделе, или в будущем году. Только доверься мне, папа.

— Хорошо, сынок, — отец взял его за руку, — обещаю тебе.

И они оба как по сигналу повернулись к дому. Час был поздний, сказано было достаточно, и они чувствовали, что надо идти.

— Путь, по которому ты ушел, — сказал отец, — это путь, по которому ты войдешь.

Уилл тихонько подошел к стене, чтобы коснуться железных ступенек, спрятанных под шуршащим плющом.

— Папа, ты не станешь их *ломать*?..

Отец ощущал скобу пальцами.

— Когда тебе это надоест, ты сам их сломаешь.

— Мне никогда не надоест.

— Может быть, тебе сейчас так кажется? В твоём возрасте представляется, что никогда и ничего не надоест. Хорошо, сынок, лезь наверх.

Уилл заметил, как отец посмотрел наверх, словно разглядывая спрятанную под плющом лестницу.

— Ты тоже хочешь по ней забраться?

— Нет, нет, — поспешно ответил отец.

— А то давай, — улыбнулся Уилл.

— Мне и эта хороша. А ты полезай.

Он все еще смотрел на плющ, шевелившийся в тусклом утреннем свете.

Уилл подпрыгнул, ухватился за первую, вторую, третью скобу и посмотрел вниз.

Отсюда папа, стоявший там, на земле, выглядел маленьким, осевшим. Почему-то не хотелось оставлять его в ночи, словно покинутого в беде. Уилл поднял было руку, чтобы схватиться за следующую скобу, но остановился.

— Папа, — прошептал он, — тебе просто слабо!

— Это еще почему?! — молча кричал папин рот.

Он подпрыгнул и ухватился за скобу.

И с беззвучным смехом мальчик и мужчина, не останавливаясь, карабкались по стене дома, одновременно перехватывая руками и упираясь ногами в скобы.

Он слышал, как папа поскользнулся, но удержался и нащупал ступеньку.

Держись! — мысленно подбадривал он.

— Эх...!

Отец тяжело перевел дыхание.

Закрыв глаза, Уилл молился про себя: держись, держись...

Старик напряженно вздохнул, выругался свирепым шепотом и опять полез.

Уилл открыл глаза и продолжал карабкаться; оставшийся путь был высоким, прекрасным, приятным, удивительным и гладким! Они подтянулись и сели на подоконник, одинакового роста, одинакового веса, освещенные одними и теми же звездами, и сидели, обнявшись, давясь от приступа смеха, который навалился на них сразу, охватив обоих, но они сдерживались, опасаясь всевидящего Бога, мамы и ада; они плотно зажимали друг другу рты и чувствовали, как из них фонтаном бьет согласное горячее веселье; так продолжалось мгновенье за мгновеньем, и глаза их светились, они были полны влаги и любви.

Потом, в последний раз крепко обняв сына, папа ушел, дверь спальни закрылась.

Опьяненный чередой ночных событий, предчувствием еще более важных и сложных откровений, которые вдруг открылись в папе, Уилл отшвырнул ослабевшими руками одежду, отпихнул ее восхитительно натруженными и побаливающими ногами, и как бревно повалился в постель.

Он спал ровно час.

И потом, словно припомнив что-то, мельком увиденное, проснулся, сел и посмотрел на крышу дома, где жил Джим.

— Громоотвод! — ужаснулся он. — Громоотвод *исчез!*

Действительно, так оно и было.

Украли? Нет. Джим сам его снял? Да! Почему? Потому что решил, что все это ерунда. Уилл представил, как Джим с усмешкой залез, чтобы сбросить железяку: пусть только посмеет буря поразить *его* дом! Испугался? Нет. А — если даже и испугался, то страх сделался чем-то вроде нового костюма, который Джим решил примерить.

Джим! — Уилл хотел вдребезги разбить свое проклятое окно. Иди и приколоти его обратно! Прежде чем наступит утро, блистательный карнавал пошлет кого-нибудь узнать,

где мы живем; не знаю, как они придут и как будут выглядеть, но, Боже мой, твоя крыша такая *пустая!* Облака летят быстро, эта буря надвигается на нас, и...

Уилл остановился.

Интересно, какой шум издает воздушный шар, когда парит в воздухе?

Никакого.

Нет, не совсем так. Он шумит, он шелестит, как ветер, играющий тонкими занавесками, белыми как морская пена. Или издает звук, подобный тому, с которым звезды поворачиваются в твоём сне. А может звук возникает, словно восход или закат луны. И это лучше всего: как луна плавно движется в мировых глубинах, так проплывает по небу воздушный шар.

Как ты услышишь его, что предупредит тебя? Ухо, разве оно услышит? Нет. Но волоски на шее и персиковый пух в ушах — *они* уловят, и волоски на руке застрекочат как ножки кузнечика, трущиеся друг о друга и издающие странную музыку. Итак, ты знаешь, ты уверен, ты чувствуешь, лежа в постели, как воздушный шар плывет в небесном океане.

Уилл почувствовал движение в доме Джима; Джим в свою очередь с помощью тонких темных восприятий должен был ощутить, как высоко над городом раздвинулись ночные испарения, чтобы дать дорогу воздушному Левиафану.

Оба мальчика почувствовали тень, загородившую проезд между домами, оба подняли вверх оконные рамы, высунулись наружу, и раскрыли рты от изумления, потому что момент был выбран, как всегда, исключительно точно, это была восхитительная пантомима интуиции, безошибочно определившей опасность, это проявилась удивительная согласованность в действиях, выработанная за годы дружбы. Возшедшая луна посеребрила их лица, затем оба разом взглянули на небо.

И тут воздушный шар пронёсся сверху и исчез.

— Боже мой, что здесь делает воздушный шар? — спросил Джим, ожидая ответа.

Ведь выглядывая из окон, оба они знали, что ищет воздушный шар — это лучшая ищейка — у которой нет шума автомобильного двигателя, нет скрипа шин по асфальту, нет звука человеческих шагов, только ветер, несущий огромную амазонку сквозь облака, только торжественный полет плетеной корзины и бури, катящейся по небу.

Ни Джим, ни Уилл не захлопнули окон, не задернули штор, они неподвижно *стояли* и ждали, потому что опять *услышали* шум, подобный шороху, пронёсшемуся в чьем-то сне.

Температура упала до сорока градусов по Фаренгейту.

Подхваченный бурей шар с легким шорохом повернулся и стал тихо спускаться вниз, его слоновья тень дохнула холодом на газоны и блестящие алмазами росы, сквозь эту тень проглядывал лишь острый блик медного циферблата солнечных часов, лежащих на траве.

То, что они увидели затем, было чем-то неопределенным и шуршащим, затаившимся в свисающей вниз плетеной корзине. Что это — голова и плечи? Да, и луна накрыла все это серебряной мантией. Мистер Дак! — подумал Уилл. Разрушитель! — подумал Джим. Бородавка! — подумал Уилл. Скелет! Глотающий Лаву! Повешенный! Мосье Гильотэн!

Нет.

Пылевая Ведьма.

Ведьма, которая, по всей вероятности, выкапывает черепа и кости из пыли, а потом вышвыривает их вон.

Джим посмотрел на Уилла, а Уилл на Джима; оба прочитали по движению губ: *Ведьма!* Но почему на ночном воздушном шаре отправили восковую старуху? — думал Уилл, —

почему не кого-нибудь другого — со страшными клыками, с волчьим огнем или со змеиным ядом в глазах? Почему послали эту развалившуюся статую с веками слепого тритона, крепко сшитыми черной вдовьей нитью?

Но посмотрев вверх, они поняли, почему.

Восковая Ведьма оказалась на удивление живой. Слепая, она совала вниз свои ржавые, покрытые пятнами пальцы; они ощупывали, рассекали воздух, они резали и косили ветер, шелушили слои пространства, лущили невидимые звезды, затем они останавливались и, как ее нос, указывали на то, что нашли.

Мальчики поняли даже больше.

Они поняли, что она была слепой, но особенной слепой. Она могла окунуть свои руки в пространство, чтобы почувствовать глухие удары пульса всего мира, могла дотронуться до крыш домов, ощупать чердаки, снять урожай пыли, проверить сквозняки, которые дули сквозь холлы домов и души людей; сквозняки выпускались из кузнечных мехов, глухо били в запястья, тяжело ударяли в виски, пульсировали в горле и возвращались обратно в черные прокопченные меха. Так же точно мальчики ощущали, что шар, подобно осеннему дождю, опускается вниз, и Ведьма чувствует их души, обнаженные, открытые как дыхание, выходящее из ноздрей. Каждая душа представлялась ей огромным теплым отпечатком и *ощущалась* по-разному; Ведьма могла мять ее в руке, как глину, вдыхать ее особый запах; и Уилл слышал, как она вынюхивает его жизнь; их души различались по *вкусу*, и она смаковала их своим жующим ртом, своим высовывающимся как у гадюки языком; их души по-разному *звучали*, она впускала их в одно ухо и выпускала из другого!

Ее опущенные вниз руки *играли* воздухом — одна рука для Уилла, другая для Джима.

Тень шара окатывала их страхом, накрывала ужасом.

И вдруг Ведьма испарилась.

Шар, освободившийся от этого небольшого угрюмого балласта, взмыл вверх. Тень рассеялась.

— О Господи! — сказал Джим. — Теперь она знает, где мы живем!

Оба задыхались. Какой-то чудовищный груз медленно волочился по крыше дома Джима.

— Уилл! Она *добралась* до меня!

— Нет! Я думаю...

Что-то медленно проползло, шурша, от края к коньку крыши. Затем Уилл увидел, как шар, покругившись вверху, улетел по направлению к холмам.

— Она улетела, она уже далеко! Джим, она что-то *сделала* с твоей крышей. Гляди, какая силища, она шутя столкнула сверху шест!

Джим метнул в окно Уилла бельевую веревку, Уилл привязал ее к подоконнику, вылез наружу и, перебирая по веревке руками, добрался до Джима, который помог ему влезть в окно; они босиком пробрались через чулан и поднялись на чердак, похожий на тюремную камеру, старую, мрачную и безмолвную. Выбравшись на высокую крышу, Уилл с дрожью в голосе крикнул:

— Джим, *это* здесь!

Это было там, в лунном свете.

Это был след, похожий на тот, что оставляют улитки на асфальте тротуара. Он блестел под луной и выглядел серебристым и скользким. Но это был след *гигантской* улитки, которая, если бы существовала, весила бы добрую сотню фунтов. Серебряная полоса была в ярд шириной. Начавшись внизу у заполненного листьями сточного желоба, она, мерцая,

поднималась к коньку крыши и, перевалив через него, тянулась в лунном свете по другой стороне до самого края.

— Но зачем? — удивился Джим. — Зачем?

— Это легче увидеть, чем номера домов или названия улиц. Она так пометила твою крышу, что ее можно теперь увидеть ночью и днем за целые мили!

— Черт побери! — Джим нагнулся, чтобы потрогать след. Едва различимая, вонючая клейковина осталась на пальце. — Уилл, что же делать?

— Я знаю, — прошептал Уилл. — Они не вернутся назад до утра. Они сейчас не будут поднимать шум. У них есть какой-то план. Сейчас нужно только *одно*, что мы и сделаем!

Внизу на газоне, словно огромный удав, извивался шланг для поливки сада.

Стараясь не шуметь, чтобы никого не разбудить, Уилл быстро спустился вниз. Джим, сидевший на крыше, страшно удивился, когда он, запыхавшись, почти тотчас вернулся, сжимая в кулаке шипевший и брызгавший водой шланг.

— Уилл, ты гений!

— Конечно! Быстрее!

Они потащили шланг, чтобы напрочь смыть с кровли несущее беду серебро, отмыть злобную ртутную краску. Орудую шлангом, Уилл взглянул в даль, туда, где чистые тона ночи переходили в утреннюю зарю, и увидел шар, дрейфующий по ветру. Почувствовал ли он, что его замысел раскрыт, возвращается ли обратно? Намеревается Ведьма пометить крышу снова и не придется ли им отчищать ее снова и снова до самого рассвета.

Было бы хорошо, подумал Уилл, если бы я сумел остановить Ведьму. Ведь они не знают ни наших имен, ни адреса: мистер Кугер слишком близок к смерти, чтобы вспоминать или говорить. Карлик, если это даже торговец громоотводами — сумасшедший и, слава Богу, не придет в себя; не опомнится! И они не осмелятся беспокоить мисс Фоли до утра. Поэтому-то далеко в лугах со скрежетом зубовным и снарядили на поиски Пылевую Ведьму...

— Какой я дурак... — огорченно промолвил Джим, промывая крышу там, где раньше стоял громоотвод. — Почему я не оставил его *здесь*?

— Молния еще не ударила, — сказал Уилл, — и если мы будем действовать быстро, не ударит совсем. Теперь лей вот сюда!

Они усердно драили крышу.

Внизу с треском закрылось окно.

— Мама, — мрачно усмехнулся Джим, — она подумала, что идет дождь.

Дождь перестал.

Крыша стала чистой.

Они сбросили шланг-змею, и она, тяжело ударившись о ночную траву, на тысячу миль вокруг возвестила, что дело сделано.

Далеко за городом шар все еще висел между безнадежной полночью и многообещающим, хоть и невидимым еще солнцем.

— Чего она ждет?

— Может, она *унюхала*, что мы тут, наверху?

Они спустились вниз через чердак и вскоре уже лежали по своим комнатам в постелях,

отдыхая после лихорадочных разговоров, бросавших то в жар, то в холод, прислушиваясь к ударам сердец и к ходу часов, ускорявшихся с приближением рассвета.

На все, что они замышляют, подумал Уилл, мы *должны* ответить первыми. Ему захотелось вдруг, чтобы шар вернулся назад, чтобы Ведьма догадалась об исчезновении ее знака, чтобы спустилась вниз и снова оставила след на крыше. Почему?

А потому.

Он поймал себя на том, что смотрит на свое бойскаутское снаряжение — большой замечательный лук и колчан со стрелами, висящие на восточной стене комнаты.

Извини меня, папа, подумал он, и, улыбнувшись, встал. Настало время выйти на улицу в одиночку. Я не хочу, чтобы *она* вернулась к своим и рассказала обо всем, что мы сделали или, может быть, о том, что собираемся сделать.

Он снял со стены лук и колчан, осторожно поднял раму и выглянул наружу. Не нужно долго и громко кричать. Надо просто думать *особым* образом. *Они* не могут читать мысли, я знаю, наверняка, иначе не послали бы ее, *она* тоже не способна читать мысли, но *может* чувствовать тепло тела, улавливать особые температуры, особые запахи и особое волнение; и если дам ей знать о моих будто бы добрых намерениях, то может быть, может быть...

Далекий, навевающий дремоту бой часов возвестил четыре часа утра.

Ведьма, подумал он, *возвращайся*.

Ведьма, подумал он еще напряженней, так, что сердце запрыгало, крыша чистая, слышишь!? Мы вымыли ее своим собственным дождем! Ты должна вернуться и снова пометить ее! Ведьма!..

И Ведьма встрепелась.

Он почувствовал, как земля повернулась под воздушным шаром.

Приходи, Ведьма, я здесь один, я мальчик без имени, ты не можешь читать мои мысли, но я здесь, я плюю на тебя!

И я кричу во все горло, что мы обманули тебя, что наш замысел удался, так приходи же, приходи! Посмей прийти, посмей же!

За многие мили до него донеслось затрудненное дыхание.

Черт побери, подумал он вдруг; ведь я не хочу, чтобы она возвращалась к *этому* дому! Бегом! Он быстро оделся.

Сжимая оружие, Уилл ловко спустился по лестнице, спрятанной под плющом, и поспешил по мокрой траве.

Ведьма! Сюда! Он побежал, оставляя за собой следы, чувствуя бешеный, прекрасный подъем сил; он бежал, словно заяц, наевшийся какого-то неизвестного сладко-ядовитого корня, заставляющего скакать галопом. Коленки ударяли его в подбородок, ботинки давили мокрые листья, он перепрыгнул через живую изгородь; его руки были полны грозного ошестинившегося оружия, которое страшило и радовало, его зубы стучали, словно рот был набит мраморными шариками.

Он оглянулся. Шар висел совсем близко! Он появлялся и исчезал то за деревьями, то за облаками.

Куда я бегу? — подумал Уилл. Погоди-ка! Дом Редмена! Там давно никто не живет! Еще два квартала — и я у цели.

Слышалось только быстрое шарканье ног по листьям и громкое шипение странного существа в небе; лунный свет заливал снежной белизной всю округу, сверкали звезды.

Задыхаясь, с сильно бьющимся сердцем он подбежал к дому Редмена и молча закричал:

Сюда! Это *мой* дом!

Он почувствовал, как воздушная река переменяла в небе свое русло.

Отлично!

Рука уже поворачивала ржавую ручку двери. О Боже, подумал он, а что, если *они* ждут меня внутри?

Он открыл дверь, ведущую во тьму.

Там в непроглядности взметнулась пыль, словно струны арфы, зазвучала паутина. И больше — ничего.

Перепрыгивая через две ступеньки, Уилл помчался вверх по лестнице, вылез на крышу, спрятал свое оружие за трубой и встал, в ожидании, во весь рост.

Зеленый, словно покрытый слизью, разрисованный громадными изображениями крылатых скорпионов, древних птиц, огней, дыма, грозových облаков и молний шар, покачивая плетеной корзиной, со свистом спускался вниз.

Ведьма, думал Уилл, *сюда!*

Влажная тень задела его, словно крыло летучей мыши.

Уилл упал. Закрыв голову руками. Сгустившаяся тень задела его крылом и ударила.

Он лежал, обхватив трубу.

Тень полностью поглотила его.

В этом туманном сумраке было холодно, как на дне моря.

Но внезапно ветер переменялся.

Ведьма разочарованно зашипела. Шар поплыл вверх, кружась и словно стараясь стереть Уилла своей тенью.

Ветер! — подумал мальчик с бешеной радостью, — он на моей стороне!

Нет, не уходи! — думал он. — Вернись назад.

Он боялся, что Ведьма пронюхала его план.

И она действительно пронюхала. Его замысел вызывал у нее неодолимый зуд. Она нюхала, она задыхалась от него. Уилл видел, как ее ногти рассекали и царапали воздух, они словно пробегали по восковой табличке, отыскивая на ней какие-то отпечатки. Ведьма повернула ладони вниз, будто он был маленькой печкой, и она прилетела, чтобы погреть над ним озябшие руки. Корзина раскачивалась, точно маятник, и он разглядел ее плотно сжатые, слепые, зашитые глаза, ее уши, заросшие мхом, бледный, сморщенный как сухой абрикос рот мумии, который втягивал воздух, чтобы определить по вкусу, что было обманного в действиях и мыслях мальчишки. Он рисовался ей слишком хорошим, слишком необыкновенным, слишком прекрасным и пронизательным, чтобы быть настоящим. Она чувствовала, она знала это наверняка!

И, зная это, она сдерживала дыхание.

А шар между ее вдохом зависал на какое-то время неподвижно, замирал между небом и землей.

Но вот робко, неуверенно, едва осмеливаясь проверить то, что ей было нужно, Ведьма вдохнула. Шар, словно тяжело нагрузившись, снизился. Выдохнула — и он, словно освобожденный от груза, взмыл вверх!

И снова она ждала, сдерживала злобный вздох в перепутанной паутине своего крохотного, как у ребенка тела.

Уилл сделал «нос», передразнивая ее.

Она всосала воздух и тяжелый вдох заставил шар поползти вниз.

Ближе, ближе! — подумал Уилл.

Но она осторожно кружилась над ним, прислушиваясь и прислушиваясь к острому запаху пота. Уилл бегал по крыше по пятам за Ведьмой. Ты! — думал он, — ты хочешь меня измотать! Хочешь, чтобы у меня закружилась голова?

Оставалось попробовать последнюю уловку.

Он встал спиной к шару и замер.

Ведьма, подумал он, ты ничего не можешь.

Он ощутил звук, исходящий из слизистого зеленого облака, наполненного злобным духом, услышал в корзине пронзительные визг и возню, словно в мышеловке, и тут же тень охватила холодом его ноги, спину и шею.

Ближе!

Ведьма втянула воздух, вобрала тяжесть ночи, груз звезд и холодного ветра.

Ближе!

Слоновья тень ударила, и у него заложило уши.

Он слегка придвинул к себе лук и стрелы.

Тень поглотила его.

Словно паучьи лапы задели его — ее рука?

Сдерживая крик, Уилл пытался увернуться.

Ведьма, высунувшись из корзины, была не более чем в футах от него.

Он согнулся. Ухватился за что-то...

Ведьма учуяла, унюхала, поняла, что мальчишка держится крепко, и попыталась завизжать и выдохнуть.

Но вместо этого она устрашающе втянула воздух и вместе с ним всосала вес, отягощая шар. Корзина скрежетала по крыше.

Уилл натянул тетиву, но от волнения слишком сильно.

Лук разломился надвое. Уилл с недоумением рассматривал стрелу, оставшуюся у него в руках.

Ведьма радостно и победно с силой выпустила воздух.

Шар пошел вверх, ударив Уилла тяжело нагруженной корзиной, скрипящей сухими прутьями.

Ведьма опять злорадно закричала.

Тогда, ухватившись одной рукой за край корзины, другой, свободной рукой Уилл размахнулся и изо всех сил метнул стрелу в шар.

Ведьма замолчала. Она пыталась дотянуться до его лица.

Затем стрела, которая, казалось, летела целый час, пробила маленькое отверстие в оболочке шара. Потом наклонилась, и ее наконечник, словно нож, разрезающий головку зеленого сыра, вспорол шар. Дальше оболочка разрывалась уже сама, и отверстие походило на рот, раскрывшийся в улыбке на боку гигантской груши, а слепая Ведьма в это время бормотала, стонала, жаловалась, на ее губах пузырилась слюна, она пронзительно верещала, негодуя и возмущаясь; Уилл висел в воздухе, крепко ухватившись за корзину и болтая ногами, а шар выл и свистел, оплакивая свою быстро приближающуюся газовую смерть; и заключенный в темницу воздух, будто дыхание дракона яростно вырывался наружу, и шар еще поднимался от силы этой струи.

Уилл разжал руки. Ветер засвистел в ушах. Уилл перевернулся, ударился о кровлю старой крыши и покатился вниз по скату, провалился в пустоту и, закричав, в последний миг

уцепился за треснувший водосточный желоб, повис на нем и посмотрел в небо, отыскивая шар, который свистел, морщился и полз вверх как покалеченный зверь, изрыгающий в облака свое смрадное дыхание; точно смертельно раненный, но не желающий умирать мамонт, он выкашливал из утробы свои смердящие ветра.

Все это произошло в один миг. Уилл даже не успел обрадоваться счастливому избавлению, как, сорвавшись с крыши, полетел вниз, и дерево, раскинувшее свои сучья и ветви, как мягкий матрац, подхватило его. словно бумажный змей, он лежал на ветках лицом к луне и волей-неволей вынужден был слушать последние горестные жалобы Ведьмы, по спирали удалявшейся на шаре со своими нечеловеческими печальями и горестями прочь от дома, от улицы, от города.

Улыбка шара, его рана, его смертельный бред теперь кружились над лугами, из которых он прилетел; он опускался вниз позади спящих, ни о чем не подозревающих домов.

Уилл долго лежал, не в силах шевельнуться. Он с ужасом ожидал, что вот-вот соскользнет на черную землю и размозжит себе голову.

Сердце колотилось с такой силой, что, казалось, могло стряхнуть его с ветвей, но он радовался, слыша его удары, сознавая, что жив.

Наконец, немного успокоившись, он собрался с силами и, творя самую проникновенную молитву, спустился по стволу дерева вниз.

31

В остаток ночи ничего больше не случилось.

32

На рассвете оглушительной силы гром прокатился по холодным небесам. Дождь безмолвно упал на городские купола и крыши, и тут же захохотал, закудахтал в водосточных трубах, заговорил на неведомых тайных языках под окнами, за которыми Джим и Уилл досматривали отрывочные сны, выскальзывая из одного и примеряя другой, и все сны казались скроенными из одной и той же темной рассыпающейся ткани.

И под барабанную дробь дождя случилось одно знаменательное событие.

В промокших просторах, где расположился карнавал, неожиданно с судорожным спазмом вновь ожила карусель. Ее орган-каллиопа, извергая музыку, засвистел зловонным паром.

Возможно, лишь один человек в городе услышал и угадал, что карусель опять заработала.

Дверь в доме мисс Фоли открылась, затем захлопнулась, и вдоль улицы послышались торопливые шаги учительницы.

Молния исполнила свой уродливый танец над землей, и дождь превратился в ливень, и земля исчезла под водой.

В доме Джима и в доме Уилла, когда дождь сунул нос в окна, за которыми уже завтракали, сначала разговаривали спокойно, потом кричали, потом снова успокоились.

В четверть десятого Джим, надев плащ, кепку и калоши, прошмыгнул на улицу в

воскресную непогоду.

Он стоял, внимательно разглядывая свою крышу, где след гигантской улитки теперь был смыт напрочь. Затем он стал пристально глядеть на дверь Уилла, чтобы заставить ее открыться. Она отворилась. Появился Уилл. Из холла послышался голос его отца: «Хочешь, чтобы и я пошел?» Уилл решительно покачал головой.

Мальчишки шагали в мрачной задумчивости, пасмурное небо напоминало, что надо идти к полицейскому участку, чтобы рассказать о случившемся, к дому мисс Фоли, чтобы еще раз извиниться, но сейчас они просто шли, засунув руки в карманы, раздумывая о страшных вчерашних головоломках. Наконец, Джим нарушил молчание:

— Прошлой ночью, после того, как мы вымыли крышу, едва я уснул, мне приснилась похоронная процессия. Она двигалась вниз по Майнстрит, словно шла демонстрация.

— Или... как парад?

— Точно! Тысяча людей, все в черных пальто, в черных шляпах, в черных ботинках, и гроб *сорока футов в длину*.

— Врешь!

— Точно! Что можно хоронить в сорокафутовом гробу? — подумал я. И во сне подбежал и заглянул в гроб. Только не смейся.

— Не вижу ничего смешного, Джим.

— В этом длиннющем гробу лежало что-то такое большое, длинное, сморщенное, похожее на чернослив или на громадную виноградину, высохшую на солнце. Это было похоже на большую кожу или на высохшую голову великана.

— *Воздушный шар!*

— Ой, — Джим остановился. — Ты, наверное, видел такой же сон; Но... ведь воздушные шары не умирают, верно?

Уилл молчал.

— И их не хоронят, правда?

— Джим, я...

— Проклятый шар лежал, как какой-нибудь гиппопотам, выпускающий ветер из...

— Джим прошлой ночью...

— Черные перья качаются, оркестр с черным крепом на барабанах, с черными слоновыми костями вместо колотушек! И вот после такого сна приходится вставать утром и рассказывать маме о вчерашнем. Не все, разумеется, но ей и части было достаточно; она заплакала, закричала, потом опять заплакала, ведь женщины любят плакать, верно? Она называла меня своим преступным сыном, но ведь мы не *сделали* ничего плохого, правда, Уилл?

— Кто-то чуть было не прокатился на карусели.

Джим шел под дождем, не разбирая дороги.

— Не думаю, что мне еще раз этого захочется.

— Ты не *думаешь!*? После всего *что было!*? Черт возьми, сейчас я *расскажу* тебе кое-что! Ведьма, Джим, воздушный шар! Прошлой ночью, совсем один, я...

Но рассказывать не было времени.

Не было времени рассказать, как он ранил шар и тот улетел умирать в дальнюю сторону, унося с собой слепую женщину.

Не было времени, потому что шагая под холодным дождем, они вдруг услышали какой-то горестный звук.

Они проходили мимо пустыря, в глубине которого высился огромный дуб. От него сквозь дождливый сумрак и пробился к мальчикам этот звук.

— Джим, — насторожился Уилл, — кто-то *плачет*.

— Нет, — Джим продолжал шагать.

— Там маленькая девочка.

— Нет. — Джим не хотел даже взглянуть. — Что ей делать на улице под деревом в такую погоду? Идем.

— Джим, ты же *слышишь!*

— Нет, не слышу, не слышу!

Но плач становился все сильнее, он звучал в зарослях осенней травы, летел сквозь дождь, словно печальная птица, и Джиму пришлось повернуть, потому что Уилл уже шагал по пустырю.

— Джим, этот голос — я его знаю!

— Уилл, не ходи туда!

Джим остановился, но Уилл, спотыкаясь, шел, пока не оказался под деревом, пронизанным дождем; казалось, само небо опустилось и смешалось с осенней листвой, потекло серебристыми ручьями по стволу и ветвям; и под ними Уилл увидел маленькую девочку, закрыв лицо руками и припав к земле, она рыдала так, словно потерялась в ужасном лесу, словно не было вокруг ни города, ни людей.

Наконец, Джим подошел к дубу и спросил:

— Кто это?

— Не знаю. — Уилл почувствовал, как слезы подступили к глазам — он догадывался, кто эта девочка.

— Это не Дженни Холдридж, она...?

— Нет.

— Джейн Франклин?

— Нет. — Уилл чувствовал себя так, словно ему сделали укол новокаина в десну — язык не шевелился, губы онемели. — Нет...

Маленькая девочка рыдала, она знала, что они близко, но не глядела на них.

— Я— я... помогите мне... никто не поможет мне... мне... мне... я *не хочу* так...

Затем она немного успокоилась и подняла заплаканное лицо, с опухшими от слез глазами. Она была потрясена, увидев их рядом.

— Джим! Уилли! О Боже, это вы!

Она схватила Джима за руку. Он отдернул руку и крикнул:

— Нет! Я тебя не знаю, пойдём отсюда!

— Уилл, помоги мне, Джим, о, не уходите, не оставляйте меня! — Она судорожно всхлипнула и вновь залилась слезами.

— Нет, нет! — завопил Джим, заметался, бросился бежать, упал, вскочил на ноги, поднял кулак, чтобы ударить ее, но, весь дрожа, сдержался и опустил руку. — Ох, Уилл, Уилл, давай уйдем отсюда, прости меня, о Господи, Господи!

Девочка под деревом отпрянула, пристально посмотрела на них, потом застонала, обхватила себя руками и, покачиваясь, словно убаюкивая младенца, заговорила, почти пела, одиноко стоя в сумраке темного дерева, навсегда отрешенная от всего, и никто не мог вторить ей, и никто не мог прервать эту песню.

— ...кто-нибудь должен помочь мне... кто-нибудь должен помочь *ей*... — она словно

оплакивала чью-то смерть. — ...кто-нибудь должен помочь ей... никто не поможет... никто не... помог ей, если бы не я... ужасно... ужасно...

— Она знает нас, — тоскливо сказал Уилл, повернувшись к Джиму. — Я не могу ее оставить!

— Врет она! — с бешенством крикнул Джим. — Врет! Она нас не знает! Я никогда ее не видел!

— Она ушла, верните ее обратно, она ушла, верните ее обратно, — горевала девочка, закрыв глаза.

— Кого найти? — Уилл присел на корточки и робко дотронулся до ее руки. Она вцепилась в него, и тут же поняла, что это неправильно, потому что он начал вырываться. Она разжала руки и снова зарыдала; он стоял около нее, а Джим поодаль, по колено в сырых зарослях, звал Уилла идти, ему не нравилось все это, они должны, должны идти.

— Ох, она потерялась, — всхлипывала девочка, — она убежала туда и никогда не вернется. Вы найдете ее?.. Пожалуйста... пожалуйста...

Дрожащий Уилл погладил ее по щеке.

— Теперь не плачь, — шепнул он. — Все будет хорошо. Я найду ее, — сказал он с нежностью. Девочка открыла глаза. — Я Уилл Хэлоуэй, поняла? Я буду не я, если мы не вернемся. Через десять минут. Жди нас здесь. — Она кивнула. — Ты будешь ждать нас тут, под деревом? — Она снова кивнула. Уилл встал. Это обычное движение напугало ее, и она вздрогнула. Он помолчал, посмотрел на нее и сказал. — Я знаю, кто ты. — Он увидел, как на маленьком жалком личике раскрылись знакомые серые глаза. Увидел намокшие от дождя длинные черные волосы, бледные щеки.

— Я знаю, кто ты. Но я должен проверить.

— Кто в это поверит? — вновь заплакала она.

— Я верю, — сказал Уилл.

Она опустила на землю, зажав руки между коленок, дрожа от холода, вся такая тонкая, бледная, такая потерянная и маленькая.

— Ну, я пойду? — сказал он.

Она кивнула.

И он ушел.

На краю пустыря Джим ждал его, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Завидев Уилла он яростно крикнул:

— Этого не может быть!

— Это так, — сказал Уилл. — Глаза. Как тебе сказать... Так было с мистером Кугером и злым мальчишкой... Можем убедиться. Идем!

Он потащил Джима через город, и они остановились перед домом мисс Фоли; взглянули на темные окна, где в это мрачное утро не горел свет, поднялись по ступенькам, позвонили раз, два, три раза.

Ни звука.

Очень медленно парадная дверь, скрипнув, открылась.

— Мисс Фоли? — тихо позвал Джим.

Где-то внутри дома по оконным стеклам двигались дождевые тени.

— Мисс Фоли?..

Они стояли в прихожей, слушая, как рядом за дверью шумит дождь, как под ливнем содрогаются чердачные балки.

— Мисс Фоли! — позвали они громче.

Но в ответ раздался только шорох мыши, уютно угнездившейся за обоями.

— Она ушла в магазин, — сказал Джим.

— Нет, — возразил Уилл, — мы знаем, где она.

— Мисс Фоли, я знаю, вы здесь! — неожиданно дико закричал Джим и бросился вверх по лестнице. — Выходите!

Уилл ждал, пока он поищет и медленно спустится вниз. Как только Джим сошел с нижней ступеньки, они оба услышали музыку, доносившуюся через дверь парадного вместе со свежими запахами дождя и осенней травы.

Вдали за холмами орган-каллиопа высвистывал «Похоронный марш» наоборот.

Джим раскрыл дверь пошире и стоял под музыкой, как под дождем.

— Карусель. Они починили ее!

Уилл кивнул.

— Она, должно быть, услышала музыку и побежала. Но случилось что-то не то... Может карусель неправильно починили... Может, все время происходят несчастья. Вроде как с торговцем громоотводами, которого совсем перекорезили, сделали сумасшедшим. Может, карнавал любит несчастья, питается ими. А может, они сделали это с ней нарочно. Может, они хотели побольше разузнать о нас, как нас зовут, где мы живем, или хотели, чтобы она помогла навредить нам. Кто знает, что пришло им на ум? Может, она стала что-то подозревать или испугалась. Тогда они просто дали ей больше, чем она хотела или просила.

— Я ничего не понимаю...

Но теперь, стоя в дверях под холодным дождем, у них было время подумать о мисс Фоли, которая боялась зеркальных лабиринтов, мисс Фоли, которая совсем недавно одиноко бродила среди балаганов и, может быть, кричала, когда те делали то, что они, наконец, сделали с ней, кружа ее круг за кругом, круг за кругом, слишком много лет, больше, чем она мечтала сбросить, беря ее рану, превращая ее в маленькую, одинокую, беззащитную и сбитую с толку, потому что она не знала, что это значит, круг за кругом, пока не миновали все годы, и карусель закачалась, остановилась, как колесо рулетки, и она, оказалось, ничего не выиграла, напротив, все потеряла, и ей некуда податься, и некому рассказать про то, что случилось, и ничего не поделаешь... и это одинокое рыдание под деревом, под осенним дождем...

Так думал Уилл. И Джим подумал так же и сказал:

— Ох, бедняжка... бедняжка...

— Мы должны помочь ей, Джим. Кто ей еще поверит? Если бы она сказала кому-нибудь: «Я мисс Фоли!» — «Иди, иди!» — ответили бы ей. — Мисс Фоли уехала из города, исчезла! Проходи, девочка!» Ох, Джим, я готов биться об заклад, этим утром она обстучала дюжину дверей, моля о помощи, напугала людей своими воплями и криком, потом сдалась, убежала и спряталась под этим деревом. Полиция, наверное, ищет ее сейчас, ну так и что? Для них она просто плачущая девочка-бродяжка, они ее посадят под замок, и она сойдет с ума. Этот карнавал знает, как наказать, чтобы ты и пикнуть не смел. Они просто переделывают тебя так, что никто не узнает, и отпускают — все в порядке, иди и болтай что хочешь — тебя просто не станут слушать. Только мы слушаем, Джим, только ты и я, и больше никто в мире, и от этого я чувствую себя так, будто проглотил слизняка.

Они в последний раз взглянули на потоки дождя, бежавшие по окнам гостиной, где учительница так часто угощала их булочками и горячим шоколадом и махала рукой из окна;

они вспомнили, какой она была высокой, когда встречалась им в городе.

Они вышли на улицу, закрыли дверь и побежали обратно к пустырю.

— Нужно спрятать ее до тех пор, пока мы не сможем ей помочь...

— Помочь? — спросил Джим, задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы. — Мы не можем помочь даже *себе!*

— Я уверен, есть способ, он где-то рядом, просто мы не видим...

Они остановились.

Стук их собственных сердец перекрывался грохотом какого-то огромного сердца. Вопили медные трубы. Рычали тромбоны. Трубы ревели, как стадо встревоженных слонов.

— Карнавал! — задохнулся Джим. — А мы и не подумали! Он может прийти *прямо в город!* Парад! Или это похороны воздушного шара, которые мне приснились?

— Нет, это не похороны, и это только *кажется* парадом, они ищут нас или мисс Фоли, может, они хотят поймать ее! Они маршируют себе по старой улочке — все прекрасно и превосходно — а сами в это время шпионят, бухая в барабаны и трубя в трубы. Джим, мы должны успеть раньше них...

Сорвавшись с места, они бросились по аллее, но вдруг остановились и спрятались в кустах.

В дальнем конце аллеи показался карнавальная оркестр, фургоны со зверями, клоуны, уроды — все это двигалось и грохотало между ними и пустырем, где стоял большой дуб.

Вероятно парад прошел мимо них за пять минут. А следом за ним ушли, казалось, дождь и облака.

Шествие с барабанами удалялось. Мальчики побежали по аллее, пересекли улицу и вышли к пустырю.

Девочки под деревом не было.

Они обошли вокруг дуба, посмотрели вверх, не решаясь позвать ее.

Потом, перепуганные насмерть, побежали прочь, чтобы где-нибудь спрятаться.

Зазвонил телефон.

Мистер Хэлоуэй поднял трубку.

— Папа, это Уилли, мы не можем пойти в полицейский участок, и домой прийти сегодня не можем, скажи маме и передай маме Джима.

— Уилли, где вы?

— Мы должны прятаться. *Они* ищут нас.

— *Кто* «они», ради Бога?

— Я не хочу вмешивать тебя в это, папа. Поверь мне, мы будем скрываться только один или два дня, пока они не уйдут. Если мы придем домой, они увяжутся за нами и навредят тебе или маме, или маме Джима. Я должен идти.

— Уилли, погоди!

— Ох, папа, — сказал Уилл, — пожелай мне удачи.

Щелк.

Мистер Хэлоуэй выглянул наружу, посмотрел на деревья, на дома, на улицы, прислушался к удаляющейся музыке.

— Уилли, — сказал он в мертвый телефон, — удачи тебе...

Он надел пальто и шляпу и вышел на улицу, залитую неестественно мокрым сиянием солнца.

В воскресенье, незадолго до полудня, когда колокольные звоны всех церквей сталкивались и лились с неба как дождь, перед табачным магазином стоял деревянный индеец чероки; на вырезанных из дерева перьях его головного убора блестели капли дождя, он не слышал колокольного звона — ни из католической, ни из баптистской церкви, не замечал приближавшихся, блестящих под солнцем цимбал, не слышал глухо бьющегося языческого сердца карнавального оркестра, нарастающих ударов барабана, пронзительного, как голос старой плакальщицы, визга органа-каллиопы; скользящий как тень поток существ, более диковинных, чем он сам, не привлек ястребино-жесткого пристального взгляда индейца. Но удары барабана вызвали из церквей и из-под навесов толпы охочих до происшествий мальчишек, и тихих, и непоседливых; а когда колокола остановили свой серебряный ливень, к толпе присоединились прихожане, уставшие от сидения на церковных скамьях, и карнавал зашаркал ногами как мамонт, зашагал как лев, сверкая трубами и размахивая флагами.

Тень от деревянного томагавка индейца легла на железную решетку, вделанную в тротуар перед сигарным магазином. По этой решетке со слабым металлическим звоном много лет подряд проходили горожане, роняя обертки от жевательной резинки, золотые бумажки от сигаретных пачек, горелые спички, окурки и даже медные пенни, которые навсегда исчезали внизу под решеткой.

Теперь вслед за парадом сотни ног пробегали, топали по решетке, а карнавал вышагивал рядом на ходулях, ревел как тигр и грохотал как вулкан.

В это время под решеткой дрожали от страха две тени.

Напоминавший сверху огромного причудливого павлина, шествующего по брусчатке и асфальту, карнавал широко открытыми глазами уродов обыскивал и обшаривал крыши домов, церковные шпили, читал вывески дантистов и оптиков, проверял дешевые и скучные магазинчики, тогда как от грохота барабанов стекла витрин дребезжали, словно стеклянные блюдца, и восковые манекены тряслись за ними, точно люди, дрожащие от страха. Разглядывая все вокруг множеством жадных, ярких и невероятно жестоких глаз, шествие двигалось вперед, выискивая что-то и не находя.

Потому что те, кого оно искало, скрывались в темноте.

Это были Джим и Уилл, спрятавшиеся под решеткой на тротуаре у табачного магазина.

Согнутые и съежившиеся, они сидели, прижавшись друг к другу, закинув головы, тревожно глядя вверх и напряженно, словно пылесосы, вдыхая уличную пыль. Там, над ними, мелькали на холодном ветру платья женщин, черные плащи мужчин закрывали небо. Грохот цимбал заставлял испуганных детей прижиматься к материнским коленям.

— Они здесь! — сдавленно сказал Джим. — Прямо перед табачным магазином! Что делать, Уилл? Бежим отсюда!

— Нет! — хрипло ответил Уилл, сжимая колено Джима. — Это место у всех на виду! Они никогда не додумаются искать тут! Заткнись!

Глухой удар-р-р-р...

Решетка звякнула, задетая ботинком, который был так изношен, что из каблука торчали гвозди.

— *Папа!* — почти крикнул Уилл.

Он вскочил было и тут же, кусая губы, опустился назад.

Джим увидел мужчину, ходившего поверху туда-сюда, приближавшегося совсем близко к решетке или отходившего фута на три.

Я мог бы просто протянуть руку... — подумал Джим.

Но папа, бледный и взволнованный, заспешил дальше.

Уилл почувствовал, как екнуло сердце и душа задрожала, словно холодный студень.

Вдруг — бах!

Друзья вздрогнули.

Комок жвачки шлепнулся на кучу старой бумаги около ноги Джима.

И тут же к решетке припал пятилетний малыш, который пытался разглядеть потерянное лакомство.

Достань! — подумал Уилл.

Мальчишка встал на колени и протянул руку между прутьями решетки.

Уходи! — подумал Уилл.

У него появилось сумасшедшее желание схватить жвачку и затолкать малышу в рот.

Барабан грохнул в последний раз, и все стихло.

Джим и Уилл переглянулись.

Парад *остановился*, подумали они одновременно.

Малыш по локоть засунул руку под решетку.

В это время наверху, на улице, мистер Дак, он же Разрисованный Человек, обернулся и посмотрел на приведенную им реку, текущую уродами, клетками со зверями, сияющими на солнце барабанами и медными трубами, похожими на свернувшихся питонов. Он кивнул.

Парад рассыпался на части.

Уроды поспешно разбежались, половина к одному тротуару, половина к другому; они смешались с толпой, шныряли мимо афиш, высматривая что-то своими быстрыми, острыми, жалящими, как змеи, глазами.

Тень, которую отбрасывал малыш, холодным ветром прошлась по щеке Уилла.

Парад кончился, подумал он, теперь начинается поиск. — Мама, смотри! — малыш показал вниз через решетку. — *Там.*

В «Ночном убежище», у Неда, за полквартала от табачного магазина, Чарльз Хэлоуэй, изнуренный бессонницей и раздумьями, уставший от ходьбы, допивал вторую чашку кофе и уже собирался оплатить счет, когда внезапно наступившая на улице тишина насторожила и встревожила его. Раньше, чем осознал, он почувствовал глухое беспокойство, когда участники парада смешались с толпой гуляющих горожан. Не зная почему, Чарльз Хэлоуэй спрятал деньги.

— Свари-ка еще, Нед.

Нед разливал кофе, когда дверь распахнулась, кто-то вошел, и, вывернув его правую

руку, прижал к прилавку.

Чарльз Хэлоуэй изумленно уставился на руку, схватившую Неда.

Рука уставилась на него.

На обратной стороне каждого пальца был вытатуирован глаз.

— Мама, мама! Там внизу! Посмотри!

Мальш плакал, показывая на решетку.

Все больше теней скользило мимо, останавливалось.

И среди них — Скелет.

Высокий, как мертвое дерево зимой, он был весь похож на череп, весь был костями, этакое страшное чучело на ходулях, этот тощий Скелет, мистер Череп, который как на ксилофоне играл на своих костях над бумажным мусором и теплыми дрожащими мальчишками, спрятавшимися под решеткой.

Уходи! — думал Уилл, — Уходи же!

Но мальш упрямо тыкал пальцем, просунув руку сквозь решетку. Уходи.

Мистер Череп отошел.

Слава Богу, подумал Уилл, но тут же в испуге выдохнул: «Ох, нет!»

Потому что тут появился Карлик; он вразвалку шел по улице, на грязной рубаше позванивали колокольчики; он топтал свою жабью тень, его глаза были похожи на осколки коричневого мраморного шарика, они поблескивали и скрывали внутри что-то навсегда потерянное, мрачное, сгоревшее, сумасшедшее, они высматривали что-то, что нельзя найти, собственное потерянное «я», потерянных мальчиков, опять потерянное «я»; две части маленького раздавленного человека боролись между собой, заставляя вспыхивающие глаза вертеться туда-сюда, вокруг, вверх, вниз; одна половинка искала потерянное прошлое, другая — мелькающее перед глазами настоящее.

— Мама! — позвал мальш.

Карлик остановился и посмотрел на мальша, который был одного с ним роста. Их глаза встретились.

Уилл откинулся назад, пытаясь вжаться, вклеиться в бетонную стенку. Он почувствовал, что Джим сделал то же самое, но напряженно соображая, дрожа душой, которую старался упрятать в самую темень, подальше от маленькой драмы, разыгравшейся наверху.

— Иди сюда, Джуниор! — сказал женский голос.

Мальша потянули прочь.

Слишком поздно.

Потому что Карлик уже смотрел вниз.

В его глазах были потерянные где-то клочки и куски человека по имени Фури, который продавал громоотводы сколько-то дней, сколько-то лет тому назад в течение долгого, легкого, безопасного и чудесного времени, пока не родился его нынешний страх.

Ох, мистер Фури, подумал Уилл, что они сделали с вами. Бросили в мясорубку, смяли в стальном прессе, выдавили из вас вопли и слезы, заманили в складной ящик и так сжали, что ничего не осталось от вас, мистер Фури... ничего не осталось, но это...

Карлик. И в лице Карлика не осталось ничего человеческого, в нем теперь было больше механического, было что-то от машины, точно на самом деле это был фотоаппарат или кинокамера.

Хлопающие глаза, отражающие то, что надо, невидящие, открывающие пустую темноту позади зрачков. Щелк. Две линзы наводятся на резкость, экспонируют, и готова картинка —

отпечаток решетки.

А получилось ли на фотографии то, что под решеткой?

Сфотографировал он только металлические прутья, подумал Уилл, или то, что под ними?

Целую вечность эта мятая-премятая глиняная кукла, носившая имя Карлик, сидела на корточках, затем поднялась. Его выпученные как шары глаза, его аппараты со вспышкой все еще фотографировали? В действительности Джим и Уилл совсем не были видны, только их тени, их цвет и размер отразились в глазах-камерах Карлика. Они остались на пленке в фотографическом архиве черепа. И только позже — когда? — фотография проявилась бы диким, крошечным, забывчивым, расшатанным и потерянным мозгом. То, что скрывалось под решеткой, стало бы тогда действительно видно. И что потом? Разоблачение! Мечь! Уничтожение!

Щелк-щелк.

Мимо с веселым смехом бежали дети.

Карлик-ребенок, увлеченный догонялками, побежал за ними. Он бездумно перескочил совсем на другую сторону своего раздвоенного «я», что-то вспомнил и понял про себя, разыскивая нечто, сам не зная для чего.

Закрытое облаками солнце вдруг протянуло луч через все небо.

Два мальчика, зажатые в темной яме, едва дышали, стуча зубами от страха.

Джим крепко-крепко сжал руку Уилла.

Оба ожидали, что вот-вот другие глаза приблизятся и уставятся сквозь железную решетку.

Все пять сине-красно-зеленых татуированных глаз упали со стойки.

Чарльз Хэлоуэй, прихлебывающий крепкий кофе, легко повернулся на вращающемся стуле.

Разрисованный человек наблюдал за ним.

Чарльз Хэлоуэй кивнул.

Разрисованный человек не ответил, даже не мигнул, но пристально смотрел на привратника библиотеки, пока тот не решил, наконец, отвернуться, но не сделал этого, а просто продолжал *пристально глядеть*; сам совершенно спокойный, он смотрел на нахального незнакомца.

— Что это значит? — спросил владелец кафе.

— Ничего, — ответил мистер Дак, наблюдая за отцом Уилла. — Я ищу двух мальчишек.

Кто же они? Чарльз Хэлоуэй поднялся, расплатился и пошел к выходу, бросив: «Спасибо, Нед». Мельком он увидел, что человек с татуировкой держал руки, повернув их ладонями вверх к Неду.

— Мальчишки? — спросил Нед. — Какого возраста?

Дверь хлопнула.

Мистер Дак наблюдал за удаляющимся Чарльзом Хэлоуэем.

Нед что-то говорил.

Но Разрисованный Человек не слышал.

Выйдя из кафе, отец Уилла пошел по направлению к библиотеке, но остановился, постоял, направился было к зданию суда, опять остановился, соображая, куда же ему идти, похлопал себя по карману и, обнаружив, что курить нечего, повернул к табачному магазину.

Джим взглянул вверх, увидел знакомые стоптанные ботинки, промелькнувшее бледное

лицо, волосы как соль с перцем...

— Уилл, твой папа! Позови его. Он нам поможет!

Но Уилл не хотел звать отца.

— Я сам его позову! — сказал Джим.

Уилл стукнул Джима по руке и решительно покачал головой: нет, ни за что!

Почему? — беззвучно спросил Джим.

Потому, ответили губы Уилла.

Потому что... он пристально посмотрел вверх...

Сейчас, снизу, папа выглядел даже меньше, чем прошлой ночью у дома. И позвать его было все равно что позвать проходящего мимо мальчишку. Но им не нужен был еще один мальчишка, им был нужен генерал, нет, генералиссимус! Он попытался разглядеть лицо папы за витриной табачного магазина, и выяснить, может, оно выглядит старше, тверже, сильнее, чем прошлой ночью, умытое лунным молоком. Но он увидел лишь папины пальцы, которые нервно подергивались, да нерешительный рот.

— Одну... это... одну двадцатипятицентovou сигару...

— Бог мой, — послышался сверху голос мистера Тетли, — да вы просто богач!

Между тем Чарльз Хэлоуэй, сам не понимая зачем, тянул время, неторопливо снимая с сигары целлофановую обертку; он словно ждал какого-то знака, ждал, что произойдет нечто, что объяснит ему, куда он идет, почему вернулся сюда за сигарой, которую вовсе не собирался покупать. Ему показалось, что его два раза позвали, он быстро взглянул в окно на прохожих, увидел клоунов, несущих афиши, затем наклонился, чтобы зажечь сигару, хотя ему совсем не хотелось курить, от голубого газового пламени, вечно горевшего в маленькой серебряной трубке на прилавке; после этого он вышел, выпуская дым изо рта, бросил позолоченный ободок от сигары и увидел, как тот подскочил на металлической решетке у витрины и провалился; Хэлоуэй проследил за ним и заглянул вниз, туда, где...

Ободок сверкнул около ноги Уилла Хэлоуэя, его сына.

Чарльз Хэлоуэй посмотрел, как плывет дым сигары.

Там две тени, да, две тени! И глаза, с ужасом смотрящие из темного колодца под тротуаром. Он вскрикнул от неожиданности и нагнулся, чтобы ухватиться за решетку.

Он не рассмеялся над нелепостью ситуации, а, стоя среди спешащих мимо прохожих, тихонько спросил:

— Джим? Уилл? Что, адские штучки продолжаются?

В эту минуту в сотне футов отсюда Разрисованный Человек вышел из «Ночного убежища».

— Мистер Хэлоуэй... — сказал Джим.

— А ну-ка, вылезайте, — сказал Чарльз Хэлоуэй.

Разрисованный Человек, подхваченный толпой, медленно повернулся и направился к табачному магазину.

— Папа, нам нельзя! Не смотри вниз!

Разрисованный Человек был в восьмидесяти футах от них.

— Ребята, — сказал Чарльз Хэлоуэй, — полиция...

— Мистер Хэлоуэй, — хрипло прошипел Джим, — мы погибнем, если вы не будете смотреть вверх! Разрисованный Человек, если он...

— Какой человек? — спросил мистер Хэлоуэй.

— Человек с татуировкой!

В памяти мистера Хэлоуэя возникла стойка кафе и пять глаз, нарисованных на пальцах не то синими чернилами, не то электрическими искрами.

— Папа, посмотри на часы на здании суда; пока мы с тобой разговариваем, он уже...

Мистер Хэлоуэй выпрямился и посмотрел.

Разрисованный Человек был уже неподалеку.

Он остановился, изучающе разглядывая Чарльза Хэлоуэя.

— Сэр, — сказал Разрисованный Человек.

— Одиннадцать пятнадцать. — Чарльз Хэлоуэй посмотрел на часы на здании суда, затем сверил с ними свои часы и, не выпуская сигару изо рта, заметил: — Опаздывают на одну минуту.

— Сэр, — сказал Разрисованный Человек.

В яме, захлавленной окурками и обертками от жевачек, Уилл схватил Джима, Джим прижал к себе Уилла, когда четыре ботинка зашаркали по решетке наверху.

— Сэр, — сказал человек по имени Дак, изучая лицо Чарльза Хэлоуэя и сравнивая его черепные кости с костями других, похожих на него людей. — Объединенные шоу Ку-гера-Дака отобрали двух местных мальчиков; повторяю — двух! — которые являются нашими избранными гостями в течение всего нашего праздничного визита!

— Прекрасно, я... — Чарльз Хэлоуэй старался не смотреть на тротуар.

— Двое этих мальчиков...

Уилл смотрел, как гвозди на подметках Разрисованного Человека словно акульки клыки, сверкая, лязгают по решетке.

— ...словом, эти мальчики будут кататься на всех аттракционах, смотреть все представления, приветствовать артистов, они будут получать сувениры — волшебные сумки, бейсбольные биты...

— Кто же, — перебил его мистер Хэлоуэй, — эти счастливицы?

— Двое, отобранных по фотографиям, сделанным вчера у нас в карнавальном городке. Опознайте их, сэр, и вы разделите их судьбу. *Вот* эти мальчики!

Он *видит* нас здесь внизу! — подумал Уилл. — О Боже!

Разрисованный Человек протянул руки.

Отец Уилла пошатнулся.

Лицо Уилла, вытатуированное ярко-синей тушью, поглядело на него с ладони правой руки.

Нарисованное несмываемыми чернилами на левой ладони лицо Джима выглядело как живое.

— Вы их знаете? — Разрисованный Человек отметил, как сжалось горло мистера Хэлоуэя, как дрогнули его веки, как он съежился, будто его кости кузнечным молотом вбили одну в другую. — Как их зовут?

Осторожно, папа! — подумал Уилл.

— Я не... — сказал отец Уилла.

— Вы их знаете.

Руки Разрисованного Человека вздрагивали, притягивали взгляд, выпрашивая имена, они заставляли лицо Джима, нарисованное на правой ладони, и лицо Уилла, изображенное на левой ладони, вместе с настоящим лицом Джима, сидящего в яме под тротуаром, и настоящим лицом Уилла, тоже сидящего под тротуаром, дрожать, корчиться, сжиматься.

— Сэр, ведь вы не хотите, чтобы они потерялись?

— Нет, но...

— Что «но»? — Мистер Дак придвинулся ближе, гипнотизируя таинственностью картинной галереи, собранной на его коже, его глаза вместе с глазами всех его зверей и уродцев, проглядывающих сквозь рубашку, сквозь пальто, сквозь брюки, впивались в старого человека, жгли его огнем, исследовали его в тысячу раз внимательней, чем обычные глаза. Мистер Дак сунул свои ладони еще ближе, и издевательски повторил. — *Но?*

Мистер Хэлоуэй, стараясь чем-то отвлечься и хоть немного успокоиться, кусал сигару.

— Я думал в эту минуту...

— Что думал? — торжествующе спросил его мистер Дак.

— Один из них похож на...

— На *кого* похож?

Как ему не терпится, подумал Уилл. Ты не замечаешь этого, папа?

— Мистер, — сказал отец Уилла, — почему вы так нервничаете из-за двух мальчишек?

— Нервничаю?..

Мистер Дак улыбнулся, и улыбка его таяла, как сахарная вата.

Джим втиснулся в бетонный пол ямы, и стал похож на карлика, Уилл сжался и сделался лилипутом, и оба выжидающе смотрели вверх.

— Сэр, — сказал мистер Дак, — неужели мое воодушевление кажется вам нервозностью?

Отец Уилла заметил, как мускулы на его руках напрягались и опадали, корчились, словно шипящие гадюки, сплетенные в клубок, и хотя и нарисованные тушью, но наносящие злобные и ядовитые удары.

— Одна из этих картинок, — растягивая слова, сказал мистер Хэлоуэй, — похожа на Милтона Блумквиста.

Мистер Дак сжал кулак.

Ослепляющая боль ударила в голову Джима.

— Другая, — отец Уилла старался говорить по возможности мягко и вкрадчиво, — на Эвери Джонсона.

Ох, папа, подумал Уилл, ты молодчина!

Разрисованный Человек сжал другой кулак.

И тут же голову Уилла словно сдавили в тисках, он едва не завопил от боли.

— Оба мальчика, — закончил мистер Хэлоуэй, — недавно уехали в Милуоки.

— Вы, — холодно сказал мистер Дак, — лжете.

Отец Уилла вполне правдиво изобразил, что шокирован подобным утверждением.

— Я? Вы полагаете, я решусь испортить торжество будущих призеров?

— Дело в том, — сказал мистер Дак, — что десять минут назад мы узнали имена мальчиков. И мне просто захотелось еще раз проверить.

— И какие же это имена? — недоверчиво спросил отец Уилла.

— Джим, — ответил мистер Дак, — Уилл.

Джим скорчился в темноте. Уилл зажмурился и втянул голову в плечи.

Лицо отца Уилла можно было бы сравнить с прудом, в который бросили два темных каменных имени, и они утонули без малейшего всплеска.

— Одни имена? Джим? Уилл? В нашем городе не меньше сотни пар Джимов и Уиллов.

Уилл прижался к полу и, скорчившись, думал, кто же дал их имена мистеру Даку? Мисс Фоли? Но она ушла, ее дом пуст, в нем никого, кроме теней от дождя. Разве только...есть

еще один человек...

Маленькая девочка, рыдавшая под деревом и так похожая на мисс Фоли? Неужели малышка, которую мы пожалели? Это заинтересовало его. Скорее всего, в последние полчаса парад, проходя мимо, нашел ее; она уже несколько часов плакала, была испугана и готова сделать и сказать что угодно, лишь бы только вновь заиграла музыка, поскакали карусельные кони, и ей вернули ее возраст, поворачивая круг за кругом, а затем остановили ужасную машину, и она бы стала опять прежней. Обещал ли ей что-то карнавал или обманул, пригрозил, когда нашел под деревом и взял с собой? Маленькую девочку, плачущую, но не сказавшую всего, потому что...

— Джим. Уилл, — сказал отец Уилла. — Одни имена. А какие фамилии?

Мистер Дак не знал.

Мир чудовищ на нем фосфорически светился, потел, испуская отвратительную вонь из подмышек, извивался по железным мускулам его ног.

— Я полагаю, — сказал отец Уилла, которому стало вдруг до странности спокойно и восхитительно хорошо, — что лжете вы. Ведь вы не знаете фамилий. Далее, зачем вам, незнакомому человеку с карнавала, понадобилось лгать мне именно здесь, на городской улице, и нигде больше?

В ответ Разрисованный Человек с силой сжал свои каллиграфически расписанные кулаки.

Отец Уилла, бледнея, следил за тем, как сжимались пальцы, как побелели от напряжения суставы, как ногти вонзились в ладони, на которых были изображены лица мальчиков, оказавшиеся теперь зажатými в темных тисках, в тюрьме из его плоти, исполненной ярости и бешенства.

Две тени внизу металась в агонии.

Разрисованный Человек изобразил на своем лице совершеннейшее спокойствие и безмятежность.

Но из его правого кулака выкатилась и упала яркая капля.

Затем такая же капля упала с левого кулака.

Капли исчезли под стальной решеткой тротуара.

Уилл задыхался. Что-то мокрое чиркнуло его по лицу. Он провел рукой по щеке и посмотрел на ладонь.

То, что задело его, было ярко-красного цвета.

Он перевел взгляд с ладони на Джима, который все еще лежал, и подумал, что причина ранения, действительного или мнимого, могла быть только наверху, и оба они посмотрели наверх, на то место, где ботинки Разрисованного Человека выбивали искры, ударяя сталью о сталь.

Отец Уилла увидел, что кровь сочится из сжатых кулаков Разрисованного Человека, но заставил себя глядеть лишь на его лицо и сказал:

— Извините, больше я ничем не могу вам помочь.

Позади Разрисованного Человека из-за угла появилась, бормоча и ощупывая воздух руками, в шутовской цыганской одежде, с восковым лицом, с глазами, спрятанными за сливово-темными очками, Предсказательница Судьбы — Пылевая Ведьма.

Минутой позже, взглянув вверх, увидел ее Уилл. Не умерла! — подумал он. Унеслась вдаль, ушиблась, упала — да, но теперь вернулась назад и сходит с ума от злобы! Господи,

она высматривает *именно меня!*

Отец Уилла увидел ее. Кровь застыла у него в жилах, он невольно потер онемевшую грудь.

Толпа весело обсуждала яркий, хоть и потрепанный костюм цыганки, повторяла ее присказки. Ведьма протянула пальцы, которые словно ощупывали город, представлявшийся ей сложным пышным гобеленом. И заговорила нараспев:

— Скажу вам о ваших мужьях. Скажу вам о ваших женах. Скажу вам о ваших судьбах. Скажу вам про ваши жизни. Навестите меня, я многое знаю. Навестите меня во время представления. Скажу вам цвет его глаз. Скажу вам цвет его лжи. Скажу вам цвет его желаний. Скажу вам цвет ее души. Приходите же. Не уходите. Смотрите на меня, смотрите на меня.

Собравшиеся вокруг дети пугались, прятались, родители были в восторге, у них было чувство юмора и они могли оценить пение цыганки, сдобренное щепоткой житейской пыли. Пока она бормотала, время шло. Она то расправляла, то сжимала тончайшие перепонки между пальцами, с помощью которых чувствовала, как поднимается уличная пыль, как проносится мимо дыхание окружающих людей. Она могла прикоснуться к крыльям невидимых бактерий, к любой частице ничтожных созданий, к солнечному свету, падающему как тончайшая снежная слюда, и к глубоко спрятанным чувствам.

Уилл и Джим съежились до хруста в костях и слушали ее слова:

— Слепая, да, слепая. Но я вижу что вижу, вижу, где я есть, — тихо проговорила Ведьма. — Вон человек появился осенью в соломенной шляпе. Привет. А почему там мистер Дак и...старый человек...старый человек...

Не такой уж он старый! — мысленно крикнул Уилл, быстро взглянув вверх, где Ведьма встала на решетку, и уже третья тень упала на спрятавшихся мальчишек, обдав их влажным лягушечьим холодом.

— ...старый человек...

Мистер Хэлоуэй содрогнулся, словно несколько холодных ножей вонзилось ему в живот.

— ...старый человек...старый человек... — повторяла Ведьма.

И умолкла.

— Ах... — в ноздрях ее ошетинились волоски. Она широко раскрыла рот, чтобы посмаковать воздух. — Ах...

Разрисованный Человек оживился.

— Подождите! — выдохнула цыганка.

Она царапала ногтями по воздуху, словно по невидимой классной доске, издавая ужасный звук.

Уилл почувствовал себя скулящей, воющей собакой.

Ее пальцы медленно сползали вниз, различая спектральные линии, на которые распадался свет. В следующий миг ее указательный палец мог бы ткнуть в тротуарную решетку, указывая: там! там!

Папа! — подумал Уилл. — *Сделай что-нибудь!*

Собравшийся было уходить, Разрисованный Человек теперь с наслаждением следил за слепой, но провидящей пылевой леди, так вовремя появившейся здесь.

— Сейчас... — пальцы Ведьмы зудели.

— Сейчас! — громко повторил отец Уилла.

Ведьма вздрогнула.

— Еще одну такую же превосходную сигару! — крикнул Чарльз Хэлоуэй, торжественно направляясь назад к прилавку табачного магазина.

— Тише... — прошипел Разрисованный Человек.

Мальчики поглядели вверх.

— Сейчас... — Ведьма принюхивалась к ветру.

— Видите ли, сигара погасла, нужно снова прикурить! — мистер Хэлоуэй сунул сигару в вечное голубое пламя.

— Помолчите... — сказал мистер Дак.

— Не желаете ли закурить? — спросил папа.

После этих, казалось бы, приветливых слов, скрывавших в действительности жестокую решимость, Ведьма вздрогнула, уронила ушибленную руку и принялась вытирать ее о платье; она словно протирала антенну, чтобы улучшить прием, она, стерев с руки пот, вновь вытянула ее по ветру.

— О-о-о! — с наслаждением проговорил отец Уилла, выпуская целое облако сигарного дыма. Оно плотной завесой окутало Ведуму.

— Кх-ха!... — закашлялась она.

— Дерьмо! — рявкнул Разрисованный Человек, но мальчишки не разобрали на кого — то ли на женщину, то ли на отца.

— Закуривайте, купил специально для вас! — мистер Хэлоуэй выпустил еще одну тучу дыма, вручил мистеру Даку сигару и зашагал прочь.

Ведьма разразилась громким чиханьем, отскочила и, пошатываясь, побрела в дальний конец площади.

Разрисованный Человек бросился было схватить папу за руку, увидев, что тот отошел уже довольно далеко; он был раздосадован, что позволил ему уйти, в то же время он не мог обойтись и без цыганки, и последовал за ней, и все это происходило в каком-то неловком и неожиданном расстройстве всего, что замышлялось и уже начало осуществляться. Следуя за цыганкой, он услышал голос Чарльза Хэлоуэя: «Всего хорошего, сэр!»

Напрасно, папа! — подумал Уилл.

Разрисованный Человек вернулся.

— Ваше имя, сэр? — резко спросил он.

Не говори ему! — подумал Уилл.

Отец Уилла с минуту раздумывал, затем вынул сигару изо рта, стряхнул пепел и спокойно сказал:

— Хэлоуэй. Работаю в библиотеке. Заходите, как будет время.

— Будьте уверены, мистер Хэлоуэй, обязательно найду.

Ведьма поджидала его на углу.

Мистер Хэлоуэй поднял указательный палец, чтобы определить, куда дует ветер, и пустил на нее целую тучу табачного дыма.

Уходя, она угрожающе обернулась.

Разрисованный Человек плюнул и зашагал прочь, сжимая свои железные кулаки так, что на ладонях лопались и стирались чернильные портреты Джима и Уилла.

Наступила тишина.

Из-под решетки ни звука, и мистер Хэлоуэй подумал даже, не умерли ли мальчишки от страха.

Раскрыв рот, Уилл пристально смотрел мокрыми глазами вверх и думал: черт побери, почему я не видел этого раньше?

Ведь папа высокий. Папа действительно очень высокий.

Чарльз Хэлоуэй все еще не решаясь взглянуть под решетку, невольно рассматривал маленькие красные кляксы, оставшиеся на тротуаре; они капали из кулаков исчезнувшего мистера Дака и отмечали его путь за угол. Он с удивлением присматривался к себе, удивляясь тому, что он сделал и обретая новую цель, которая сейчас, когда невероятный поступок был совершен, вызывала чувство двойственности и странной безмятежности. Он никому не мог бы объяснить, почему назвал свое настоящее имя, и сам еще не понимал истинного значения этого поступка. Взволнованный и возбужденный, разглядывая цифры на часах здания суда, он заговорил, и мальчики внизу слушали его:

— Ох, Джим, ох, Уилл, продолжается что-то непонятное. Вы можете сидеть там, под землей, до конца дня? Прячьтесь пока. Нам нужно время. С чего начать, когда происходит такое? Ведь не нарушен ни один закон, ни одна буква закона — вот в чем штука. И все же я чувствую, что этот месяц будет отмечен смертью и похоронами. Волосы встают дыбом. Прячьтесь, Джим и Уилл, прячьтесь. Я скажу нашим мамам, что вы получили работу на карнавале — это веское основание, чтобы не приходить домой. Оставайтесь тут до темноты, а в семь приходите в библиотеку. Я тем временем проверю полицейские отчеты по карнавалам, газетные сообщения, которые отыщутся в библиотеке, посмотрю книги, старые фолианты — все это может пригодиться. Бог даст, к тому времени, когда стемнеет и вы появитесь, я что-нибудь придумаю. Так что не беспокойтесь. Благословляю тебя, Джим. Благословляю тебя, Уилл.

И низкорослый отец, который теперь был очень высоким, медленно удалился.

Он не заметил, как обронил сигару, которую держал в руке, и она, рассыпав ливень искр, упала сквозь решетку.

Она лежала в яме, косясь своим единственным огненно-розовым глазом на Джима и Уилла, которые, переглянувшись, сообразили, наконец, погасить ее.

Оглядываясь по сторонам своими сумасшедшими, дико сверкающими глазами, Карлик шагал на юг по Майн-стрит.

Неожиданно он остановился, прокрутил в голове ленту недавно отснятого фильма, бегло просмотрел ее, изучая, заскулил и двинулся наощупь обратно сквозь лес ног, чтобы угодить Разрисованному Человеку, которому и шепот, и крик были слышны одинаково хорошо. Мистер Дак выслушал его и сорвался с места, оставив Карлика ковылять сзади.

Добежав до индейца у табачного магазина, Разрисованный Человек поспешно встал на колени. Вцепившись в стальную решетку, он вглядывался в яму.

Внизу валялись пожелтевшие клочья газет, мятые обертки от конфет, окурки и грязные комочки жевачек.

Крик бешенства застрял в горле мистера Дака.

— Вы что-то *потеряли*?

Мистер Тетли выглянул из-за прилавка.

Разрисованный Человек кивнул, сжимая решетку.

— Я вычищаю под решеткой раз в месяц и часто нахожу деньги, — сказал мистер Тетли. — Сколько вы потеряли? Десять центов? Пятнадцать? Полдоллара? Разрисованный Человек свирепо вскинул глаза.

В окошечке кассового аппарата выскочила маленькая огненно-красная табличка: «Закрето».

Городские часы пробили семь.

Эхо от боя курантов прокатилось по темным залам библиотеки.

Затем послышался шорох, словно где-то в темноте упал осенний лист.

Это прошелестела перевернутая страница.

Далеко, в одном из похожих на пещеру хранилищ, склонившись к столу, освещенному лампой под травянисто-зеленым абажуром, сидел Чарльз Хэлоуэй, поджав губы и напрягая глаза, он листал страницы, выискивая в книгах нужные сведения. Он очень торопился, время от времени вглядываясь в осеннюю ночь, внимательно прислушиваясь к звукам с улицы. Затем возвращался к своим выпискам, вносил дополнения, наспех переписывал цитаты, что-то шепча себе под нос. Его голос усиливался, отражаясь от сводов библиотечных подвалов.

— Посмотрим-ка сюда!

— ...сюда! — вторили ночные коридоры.

— Эта картина!

— ...картина! — повторяли холлы.

— *И эта!*

— ...эта... — шелестела, оседая, пыль.

Это был самый длинный день в его жизни. Он бродил среди толпы, вел расследование, следуя за парадом. Он сдерживался, чтобы не рассказать лишнего матери Джима и матери Уилла, он не хотел, чтобы они знали больше, чем можно было знать в счастливое воскресенье; а между тем он сталкивался в уличной толпе с Карликом, обменивался кивками с Тупицей и Пожирателем Огня, пробегая по темным аллеям, пытался понять, что же испугало его, когда он внезапно увидел яму под решеткой у табачного магазина и угадал, что мальчики спрятались там, и что тот, кто их ищет, уже совсем рядом.

Вместе с толпой любопытных он пошел в карнавальный городок, но не заходил в балаганы, не катался на карусели, он просто наблюдал за происходящим до самого захода солнца, и только в сумерках решился осмотреть холодные стекла Зеркального Лабиринта; вошел в них, как в загадочные воды, и остановился на таком расстоянии, чтобы его можно было вытянуть обратно, пока он не утонул. Весь мокрый, промерзший до костей, он, прежде чем окончательно стемнело, смешался с толпой, которая толкала и грела его, а затем увлекла в город к библиотеке, к очень важным сейчас книгам...

Он разложил их на круглом столе в читальном зале, получилось подобие огромных часов, по которым можно узнать, изучить это новое наступившее время. Круг за кругом он обходил этот огромный циферблат, круг за кругом, искоса поглядывая на пожелтевшие страницы, казавшиеся крыльями мертвых ночных бабочек, приколотых к дереву.

Здесь был портрет Князя Тьмы. Затем следовали фантастические наброски на тему искушений Святого Антония. Далее — несколько гравюр из цикла «Причуды» Джованни

Батисты Брачелли, изображающие чудовищных гомункулусов, созданных алхимиками. На этом столе-циферблате без пяти минут двенадцать лежала рукопись доктора Фаустуса, на двух часах — «Магические знаки», на шести Чарльз Хэлоуэй перелистывал историю цирков, карнавалов, театров теней, кукольных театров, бродячих зверинцев, историю шутов, бродячих певцов, фокусников и магов. Еще здесь были «Законы Царства Духов», «Те, что вершат историю». На девяти часах: «Одержимый бесами», а выше лежали «Египетские приворотные зелья», и еще выше — книга «Муки проклятого», раскрытая на главе «Чары зеркал». Очень поздно, наверху циферблата этих литературных часов выделялись названия «Локомотивы и Поезда», «Мистерия Снов», «Между Полночью и Рассветом», «Шабаш Введьм» и «Сделки с Дьяволом». Все это было разложено на столе. Он мог свободно рассматривать весь циферблат.

Но на этих часах не было стрелок.

Он не мог сказать, какой час жизни наступил для него, для мальчиков или для этого захолустного городишки. И в итоге, что же он должен делать?

Прибытие в три часа утра; фантастический стеклянный лабиринт; воскресный парад; высокий человек с кишащими на его потной коже картинками цвета голубых электрических искр; несколько капель крови, падающих сквозь решетку; два испуганных мальчика, смотрящих вверх из-под земли; и он сам, один в мавзолейной тишине, пытающийся разгадать эту головоломку...

Что было там, что заставило его поверить их бессвязному лепету из-под решетки? Страх. Страх сам по себе был доказательством: он видел в своей жизни достаточно страха, чтобы сразу узнать его, как в летних сумерках узнаешь по запаху мясную лавку.

Что такое было в молчании разрисованного владельца карнавала, которое беззвучно говорило тысячами яростных, лживых, изуродованных слов?

Что было в том старике, которого он увидел поздно вечером под колышущимся тентом балагана; старик сидел на стуле, и надпись «Мистер Электрико» развевалась над ним, и энергия, от которой мурашки бежали по коже, змеилась по его телу подобно зеленым ящерицам?

Все, все, все это. И теперь эти книги. Эта. Он прикоснулся к ней — «Физиогномика. Как определить характер по чертам лица».

Были ли обрисованы там Джим и Уилл, еще ангельски чистые, почти невинные, напряженно глядящие на тротуар, по которому маршировал ужас? Представляли ли собой мальчики по этой книге идеал Мужчины, Женщины или Ребенка Благородного Происхождения, идеал Цвета, Уровня и Совершенного Характера?

А может быть, наоборот... Чарльз Хэлоуэй перевернул страницу... Снующие кругом уроды, Разрисованное Чудо, разве у них не были лбы Вспыльчивых, Безжалостных, Алчных, рты Похотливых или Несправедливых, зубы Хитрых, Непостоянных, Наглых, Тщеславных, зубы Кровожадного Зверя?

Нет. Книга выскользнула из рук и захлопнулась. Если судить по лицам, то уроды оказались бы не хуже, чем многие из тех, кого он видел за время своей долгой службы, уходя глубокой ночью из библиотеки.

Правильным было только одно.

Об этом говорили две строчки из Шекспира. Он выписал их, когда был в середине часов, составленных из книг, они отражали самую суть его мрачных предчувствий:

*Мне стоило лишь пожелать
И духов зла явилась рать.
Так неопределенно,
но так великолепно.
Он не хотел жить с этим.*

Однако, он знал это, он достаточно хорошо сжился с этим в течение нынешнего вечера, и мог прожить с этим весь остаток жизни.

Он выглянул в окно и подумал: Джим, Уилл, вы идете? *Доберетесь* ли вы сюда?

38

Библиотека, попозже — в семь с четвертью, в семь с половиной и в семь и три четверти вечера в воскресенье, окруженная глыбами тишины, наполненная книгами, которые высились на полках, как пирамиды вечности, и невидимые снега времени падали на их вершины.

За стенами библиотеки город дышал, выдыхая своих жителей в карнавальный городок и вдыхая их обратно; сотни людей проходили недалеко от того места, где Джим и Уилл лежали в кустах у библиотеки, то выглядывая наружу, то утыкаясь носами в землю.

— Молчи!

Оба уткнулись в траву. По другой стороне улицы двигалось что-то, что могло быть мальчишкой, могло быть Карликом, могло быть мальчишкой с разумом Карлика, могло быть чем-то вроде шуршащих листьев, которые ветер несет по тротуарам. Но вскоре это, чем бы оно ни было, исчезло; Джим приподнялся, Уилл продолжал лежать, уткнувшись лицом в землю.

— Пошли, ты чего?

— Библиотека, — сказал Уилл, — я боюсь теперь даже ее.

Все книги, подумал он, старые книги, которым по сто лет, прижались там одна к другой, сдирая кожу друг с друга, словно это десять миллионов хищников. Идешь вдоль темных стеллажей, и тисненые золотом названия смотрят на тебя. Между старым карнавалом, старой библиотекой и его собственным отцом, между всем старым...ладно...

— Я знаю, папа там, но папа ли *это*? А вдруг *они* Пришли, изменили его, сделали его своим, пообещали ему что-то, что не могут дать, а он думает, что могут; и вот мы войдем туда, а потом через пятьдесят лет кто-нибудь откроет книгу, и мы с тобой выпадем из нее, как два сухих крыла ночной бабочки, представляешь, Джим, заложат нас между страницами, спрячут, и никто никогда не догадается, куда мы делись...

Это было слишком сложно для Джима, которому нужно было действовать, чтобы быть спокойным. Уилл знал, что Джим не выдержит, примется стучать в дверь библиотеки. И они вместе принялись неистово колотить в нее, больше всего на свете желая перепрыгнуть из этой окружающей их ночи в ту ночь за дверью, согретую дыханием книг. Они решились — темнота библиотеки была лучше: едва открылась дверь, запах книг обдал их; словно запах пирогов из духовки, появился папа и засветились его призрачно-светлые волосы. Потом они пробирались по пустынным коридорам, и Уилл чувствовал сумасшедшее желание свистнуть,

как он часто свистел за кладбищем на закате, и папа расспрашивал, почему их так долго не было, и они старались припомнить все места, где они сегодня прятались.

Они прятались в старых гаражах, в заброшенных сараях, на самых высоких деревьях, на которые только могли залезть; и им было очень скучно сидеть там, и скука была хуже, чем страх, поэтому они спустились и явились к шерифу, и у них получилась очень хорошая беседа, и этот разговор дал им двадцать безопасных минут прямо в участке; потом у Уилла возникла идея пройти по церквям, и они облазили все колокольни в городе, распугав голубей; было ли безопасно в церквях и на колокольнях — неизвестно, но *чувствовалось*, что там безопаснее. Однако там они тоже изнывали от скуки, от томительного однообразия, и почти дошли до точки, им впору было сдать карнавалу, лишь бы покончить с мучительным бездействием, и в это время как раз закатилось солнце. От заката до этого часа было здорово — они пробирались к библиотеке, как если бы она была единственным дружественным фортом, и его теперь могли захватить арабы...

— Вот и добрались, — прошептал Джим и остановился. — Что же я шепчу? Да потому что мы весь день прятались, черт побери!

Он засмеялся и тут же примолк.

Ему показалось, что вдали, в подземных коридорах, послышались тихие шаги.

Но эти звуки были всего лишь эхом его смеха, вернувшимся из глубины книгохранилищ на мягких лапах пантеры.

И все же, когда они заговорили снова, то уже шепотом. Глубина лесов, темнота пещер, полумрак церквей и сумерки библиотеки одинаково побуждают говорить тихо, почти шепотом, заставляют притихнуть, ибо делается страшно, что призрак вашего голоса еще долго станет блуждать по коридорам, когда вас там уже не будет.

Наконец, они вошли в маленькую комнату и окружили стол, на котором Чарльз Хэлоуэй разложил книги, которые читал уже много часов подряд; и только здесь они посмотрели друг на друга, заметили мертвенную бледность лиц и без слов все поняли.

— Садитесь, — отец Уилла придвинул им стулья.

Затем каждый по очереди рассказал то, что знал — мальчики — о появлении торговца громоотводами, о предсказании бури, о длинном ночном поезде, о том, как мгновенно раскинулся карнавал, о шатрах и балаганах, залитых лунным светом, о рыданиях органа-каллиопы, на котором никто не играл; о лабиринте, где само время теряется в прошлом или водопадом зеркал обрушивается в будущее, о карусели с табличкой «ИСПОРЧЕНО»; мистера Кугере, и мальчике с глазами, видевшими все соблазны мира, порожденные и пропитанные гнусными грехами, мальчике с глазами человека, который жил вечно, видел слишком много и, возможно, хотел умереть, но не знал, как...

Друзья оборвали рассказ, чтобы перевести дух.

Мисс Фоли, опять карнавал, бешено крутящаяся карусель, ссохшаяся мумия Кугера, задыхающаяся в лунном свете, в серебряной пыли, его смерть и воскрешение, зеленые молнии, сотрясающие его скелет — как гроза без грома и дождя, — затем парад, яма у табачного магазина, где они прятались и вот, наконец, они здесь, рассказывают о своих приключениях.

Отец Уилла долго сидел, отрешенно глядя в центр стола. Затем губы его шевельнулись:

— Джим. Уилл, — вымолвил он. — Я вам верю.

Мальчики заерзали.

— Всему?

— Всему.

Уилл вытер глаза.

— Кажется, я сейчас заплачу... — сказал он сердито.

— У нас нет для этого времени! — возразил Джим.

— Времени действительно нет. — Отец Уилла поднялся, набил трубку, порылся по карманам, разыскивая спички, вытащил облупленную губную гармошку, перочинный нож, сломанную зажигалку и записную книжку, куда он заносил великие мысли, так и оставшиеся неостребованными, и еще разные мелочи, которые могли пригодиться для войны пигмеев, войны заранее проигранной. Рассматривая этот бесполезный мусор и удрученно качая головой, он нашел, наконец, затертый коробок спичек, раскурил трубку и принялся размышлять вслух, расхаживая по комнате.

— Похоже, мы имеем дело с каким-то особенным карнавалом. Откуда он пришел, куда идет, к чему стремится? Мы думали, что никогда прежде он в городе не был. Однако, ей-Богу, посмотрите-ка сюда.

Он достал пожелтевшую газету, датированную двенадцатым октября 1888 года и подчеркнул ногтем следующее:

«Д. К. Кугер и Д. М. Дак представляют пандемониум, театральную компанию. Объединенные шоу и музеи ненатуральных явлений международного класса!»

— Д. К. Д. М. — сказал Джим, — те же инициалы, что на рекламах, которые разбрасывали на этой неделе по всему городу. Но это не могут быть *те же самые люди*...

— Не могут? — отец Уилла обхватил себя руками. — У меня мурашки бегут по коже, когда я об этом думаю.

Он достал другие старые газеты.

— 1860. 1846. Те же самые рекламы. Те же имена. Те же инициалы. Дак и Кугер. Кугер и Дак, они появлялись и уходили, но только раз в каждые двадцать, тридцать, сорок лет, так что люди успевали забыть об этом. Где они были остальное время? Путешествовали. И *более*, чем путешествовали. Обратите внимание — всегда в октябре: октябрь 1846 г., октябрь 1860 г., октябрь 1888 г., октябрь 1910 г. и нынешний октябрь, сегодняшней ночью... — его голос дрогнул... «Остерегайтесь людей осени»...

— Что? Кто это сказал?

— Это старый религиозный трактат. По-моему, пастора Ньюгейтской тюрьмы Филиппа. Читал это еще мальчишкой. Как дальше?

Он попытался вспомнить. Провел языком по пересохшим губам. И вспомнил.

— «Иногда осень приходит рано и остается на всю жизнь, тогда октябрь следует за сентябрем и ноябрь за октябрём, и затем не наступает декабрь и Рождество, нет Вифлеемской звезды, нет праздника, но вновь приходит сентябрь и повторяется старый октябрь, и так продолжается годы, без зимы, весны или всеоживляющего лета. Для этих существ осень — самое подходящее время года, единственно приемлемое, у них нет выбора. Откуда они пришли? Из пыли. Куда они идут? В могилу. Кровь ли течет в их жилах? Нет: ночной ветер. Что шевелится в их голове? Могильный червь. Кто говорит их устами? Жаба. Что смотрит из их глаз? Змея. Что слушают их уши? Бездну между звездами. Они просеивают смятение людей и улавливают их души, они выедают разум и заполняют могилы грешниками. Они безумно стремятся вперед. В хлябях дождей они бегут быстро, подобно жукам, они крадутся, наступают и топчут, просачиваются, продвигаются, затмевают луны и замутичают чистые воды родников. Паутина, заслышав их приближение, дрожит и рвется.

Таковы люди осени. Остерегайтесь их».

— «Люди осени», — немного помолчав, сказал Джим, — это про них. Ясно!

— Тогда, — подхватил Уилл, — *мы...летние* люди?

— Не совсем, — Чарльз Хэлоуэй покачал головой. — Эх, вы-то ближе к лету, чем я.

Если я и был когда-то летним человеком, так очень-очень давно. Большинство из нас — половинка на половинку. Августовский полдень работает в нас, чтобы отсрочить ноябрьские холода. Мы держимся тем, что скопили Четвертого Июля. Но наступают времена, когда все мы становимся людьми осени.

— Только не ты, папа!

— Только не вы, мистер Хэлоуэй.

Он повернулся к ним и увидел лица одно бледней другого, руки, вцепившиеся в колени.

— Это другой разговор. Не горячитесь. Я исхожу из фактов. Уилл, ты уверен, что действительно *знаешь* своего папу? Разве можешь ты знать меня, а я тебя, если карнавал по какой-то причине выбрал именно нас и собирается выставить против всех?

— Вот это да... — выдохнул Джим. — Кто же вы?

— Мы *знаем*, кто он, будь все проклято! — возмутился Уилл.

— Разве? — сказал отец Уилла. — Давайте-ка посмотрим. Чарльз Уильям Хэлоуэй.

Ничего особенного, кроме того, что мне пятьдесят четыре года, которые всегда уникальны для человека, который их прожил. Родился в Суит Уотер, жил в Чикаго, потом в Нью-Йорке, размышлял в Детройте, болтался по разным местам, пока не добрался до сюда, провел всю жизнь в библиотеках страны, потому что любил одиночество, любил выискивать в книгах подтверждения тому, что видел на дорогах. Затем в середине этого побега от самого себя, который я называл путешествием, когда мне стукнуло тридцать девять, твоя мать бросила на меня всего один взгляд и оставила здесь. Но до сих пор я лучше всего чувствую себя в библиотеке, вдали от людской суеты. Последняя ли это моя остановка? Вполне возможно. Зачем я тут, в конце концов? Сейчас, кажется, единственно затем, чтобы помочь вам.

Он замолчал, вглядываясь в прекрасные юные лица мальчиков.

— Да, — сказал он затем задумчиво, — я слишком поздно вступил в игру, чтобы помочь вам.

По-ночному слепые окна библиотеки дребезжали от порывов холодного ветра.

Мужчина и два мальчика ждали, пока ветер стихнет.

Уилл сказал:

— Папа, ты всегда нам помогал.

— Спасибо на добром слове, но это не так. — Чарльз Хэлоуэй внимательно рассматривал свою ладонь. — Я глупец. Всегда смотрел поверх вас, старался разглядеть, что вас ждет, вместо того, чтобы поглядеть прямо на вас и увидеть то, что уже есть. И еще вот почему: люди в массе своей глупы. Каждый думает, что он сам ведет свой корабль по жизни, сам поднимается на него, закрепляет веревки, подводит пластырь к пробоине, сражается, прощает, смеется и плачет...и все до того дня, когда почувствует себя слабым, беспомощным, глупым и закричит: «На помощь!» И тогда оказывается, что все, что ему нужно — это чтобы ответили на призыв. Я отчетливо вижу в сегодняшней ночи по всей

стране разбросаны города, городки, захолустные местечки и поселки глупцов. И вот карнавал тут как тут, он трясет дерево, и оттуда дождем сыплются дураки. Должен сказать, дураки одиноки, и нет никого, кто может ответить на их призыв: «Помогите!» Разобщенные дураки — это урожай, который карнавал радостно убирает и пропускает через свою молотилку.

— Господи, — сказал Уилл, — какая безнадежность!

— Нет, нет. Уже то, что мы здесь разбираемся в разнице между летом и осенью, заставляет меня верить, что выход есть... Вы не останетесь глупыми, вы не станете лживыми, злобными и грешными, если вы захотите понять эту разницу. Выход есть, и даже не один. *Они*, этот мистер Дак и его шайка, не раскрывают свои карты, это было ясно еще там, у табачного магазина. Я боюсь его, но я вижу, что и он боялся меня. Мы оба боимся. А теперь, *как* мы можем использовать это?

— Как же?

— Самое первое. Давайте заглянем в историю. Если бы люди хотели навсегда остаться злыми, они могли бы это сделать, вы согласны? Согласны. Но разве мы выжили бы в лесу со зверями? Нет. В воде с барракудой? Нет. Когда-то мы решили убраться подальше от лап гориллы. Когда-то мы изменили своим плотоядным зубам и принялись жевать колоски и стебли. Мы работали на полях столько, сколько требовалось для пополнения сил, обновления крови, для поддержания своего небольшого отрезка жизни. С тех пор мы пошли по пути от обезьяны к ангелу и стали теперь на полпути. Это была замечательная идея, и мы боялись ее потерять, поэтому мы записали ее на бумаге и построили для нее здания, такие, как эта библиотека. И мы бродим внутри этих зданий, пережевывая эту идею как некий новый сладкий знак, пытаюсь предположить, как же все это началось, когда мы сделали первый шаг, когда решили стать иными, чем звери, рыбы и обезьяны. Мне кажется, сотни тысяч лет назад однажды ночью в пещере проснулся у костра один из косматых первобытных людей, пристально посмотрел на свою женщину и детей, спящих за кучами золы и отбросов, и впервые задумался о том, что они голодают и мерзнут, о том, что они умрут и навсегда уйдут из этого мира. Подумав об этом, он, должно быть, зарыдал. И протянул в ночи руку к женщине, которая однажды должна умереть, и к детям, которые должны последовать за ней. И на следующее утро он стал чуточку больше любить их, ибо увидел, что в них, как и в нем, есть зародыш смерти. И он почувствовал, как это семя пульсирует в его груди, развивается, растет день ото дня и толкает, ведет его тело в вечную тьму. Итак, этот человек первым узнал то, что все мы знаем теперь: час нашей жизни короток, а вечность простирается бесконечно. Вместе с этим знанием приходит жалость и милосердие, поэтому мы бережем других для грядущих, более тонких и таинственных благ любви. Итак, кто же мы? Мы существа, которые знают, и знают слишком много. Это ложится на нас таким бременем, что мы не знали, смеяться нам или плакать. Животные не умеют ни того, ни другого. Мы же плачем или смеемся в зависимости от времени года и от обстоятельств... И все-таки я все время чувствую, как карнавал наблюдает за нами, высматривает, что, как и почему мы делаем, и он захватит нас, как только решит, что мы созрели.

Чарльз Хэлоуэй умолк, заметив, как мальчики пристально смотрят на него; он покраснел и отвернулся.

— Мистер Хэлоуэй, — негромко воскликнул Джим, — это замечательно. Продолжайте же.

— Папа, — с восторгом сказал Уилл, — я никогда не знал, что ты можешь так *говорить*.

— В таком случае, тебе не мешало бы меня послушать здесь по ночам — ничего, *кроме* рассуждений. — Чарльз Хэлоуэй покачал головой. — Да, тебе следовало бы послушать. В любой день, который ты выбрал бы в прошлом, я рассказал бы тебе еще больше. О чем я рассуждал? Главным образом о любви, как мне думается... да... о любви.

Уилл сразу поскущел. Джим настороженно вслушивался, ожидая продолжения.

Это заставило Чарльза Хэлоуэя задуматься.

Что он мог сказать, что помогло бы им почувствовать его настроение? Мог ли он сказать, что любовь превыше всего, что в ней причина и основа всякого опыта? Что это цемент, который скрепляет жизнь? Мог ли он сказать обо всем, что перечувствовал и передумал сегодня ночью, в этом диком мире, вертящемся вокруг огромного солнца, которое преодолевает громадные пространства, летящие через чудовищные безмерности, и все это куда-то, а, может быть, прочь откуда-то? Могли он сказать: мы разделяем со всеми эту поездку на вселенской карусели со скоростью миллиард миль в час? У нас есть общая причина противостоять этой вселенской ночи. Вы начинаете с меньших причин. Почему любишь мальчика, запускающего бумажного змея в первые дни марта, когда весеннее небо великолепно? Потому что чувствуешь сам, как горят пальцы, обожженные бечевой. Почему любишь незнакомую девушку, склонившуюся над колодезем, которую видишь из окна проносающегося мимо поезда? Потому что твои губы вспоминают влажную прохладу железного ведра и полдень, который навсегда потерян в прошлом. Почему плачешь, видя незнакомца человека, умирающего при дороге? Потому что он напоминает тебе друзей, с которыми ты не виделся сорок лет. Почему смеешься, когда клоуны дерутся из-за куска торта? В этот миг мы пробуем на вкус не только сладкий крем, но и самую жизнь... Почему любишь женщину, которая стала твоей женой? Ее нос дышит воздухом мира, который я знаю, поэтому я люблю ее нос. Ее уши слышат мелодию, которую я мог бы напевать в полуночный час, поэтому я люблю ее уши. Ее глаза с восторгом следят за сменой времен года, поэтому я люблю ее глаза. Ее язык познал вкус айвы, персика, вишни, мяты, лимона, поэтому я люблю слушать, как он произносит слова. Ее плоть познала жар, холод, горе; я знаю огонь, снег и боль. Мы разделили с ней, много раз разделили опыт жизни. Мы вместе пережили миллионы мучительных событий. И отрезать хоть одно чувство — значит отрезать часть жизни. Если же отрезать два чувства, жизнь тут же расколется пополам... Мы любим то, что мы знаем, мы любим то, что мы есть. Общая причина есть у рта, уха, глаза, у языка, у руки, у носа, плоти, у сердца и души...

Но... как сказать об этом?

— Смотрите, — он решил попробовать, — что получится, если посадить в вагон поезда двух людей — солдата и фермера. Один начнет говорить о войне, другой о пшенице; они наскучат друг другу до того, что в конце концов завалятся спать. Но пусть один из них заговорит о беге на длинные дистанции, и если другой хоть раз в жизни пробежал милью, то они будут бегать всю ночь, как мальчишки, высекая из воспоминаний искры дружбы. Точно так же у всех мужчин есть *одна* общая тема — это женщины, и они могут говорить об этом весь день и всю ночь. Адская штука.

Чарльз Хэлоуэй остановился, покраснел, сознавая, что главная цель разговора еще впереди, но он не представлял, как же до нее добраться. Он пожевал губами.

Папа, не останавливайся, подумал Уилл. Когда ты говоришь, это заполняет все вокруг.

Ты спасешь нас. Продолжай.

Пожилой человек безошибочно понял взгляд сына, ту же самую мысль он прочел и в глазах Джима; затем медленно пошел вокруг стола, здесь прикасаясь к изображению ночной бестии, там потрогав картинку, на которой схватились в драке оборванные косматые старухи, притронулся к звезде, к серпу луны, к древнему солнцу, к песочным часам, в которых вместо песка сыпалась костяная мука.

— Когда я начал говорить, сказал ли я что-нибудь о том, что значит быть хорошим? Господи, я не знаю...

Увидев на улице, что стреляют в незнакомого человека, вы вряд ли поспешите на помощь. Но если за полчаса перед этим вы провели с ним десять минут и немножко узнали о нем и его семье, вы не раздумывая броситесь вперед и попытаетесь предотвратить убийство. Значит, знание — это хорошо. Незнание или нежелание знать — это плохо и безнравственно. Вы не можете действовать, если не знаете. Невежественное действие сбросит в пропасть вас самого. Господи Боже мой, наверное, вы можете принять меня за сумасшедшего. Можно подумать, что нам следовало бы гоняться по улицам и охотиться на воздушные шары как на слонов, как это делал Уилл, но в действительности прежде всего нам следует узнать все, что только можно, об уродах с карнавала и о том человеке, который управляет ими. Мы не можем быть хорошими, пока не узнаем, в чем суть плохого, поэтому стыдно не воспользоваться временем и не сделать этого. Закончится сегодняшнее представление, и толпы зрителей разойдутся по домам. Я чувствую, что тогда-то люди осени и нагрянут к нам. У нас есть в запасе, возможно, часа два времени.

Джим подошел к окну и взгляделся в даль, где стояли черные балаганы и орган-каллиопа играл, и мир поворачивался в ночи как огромная карусель.

— Разве это плохо? — спросил он.

— Плохо? — возмущенно крикнул Уилл. — Конечно плохо. И ты еще спрашиваешь?

— Успокойтесь, — сказал отец Уилла. — Джим задал хороший вопрос. Ведь на первый взгляд представления карнавала просто великолепны. Но человек, повидавший жизнь, обращает внимание вот на что: ты не можешь получить что-то из ничего. Ведь фактически ты получаешь от них пустышку, а полагаешь, что получил нечто. Проще говоря, они дают тебе пустые обещания, ты подставляешь им свою шею и — бам!

— Откуда они приходят? — спросил Джим. — Кто они?

Уилл вместе с отцом подошел к окну. И Чарльз Хэлоуэй сказал, взглядываясь в далекие балаганы:

— Может быть, в некие времена, еще до Колумба, это был просто человек, скитавшийся по Европе, звеневший колокольчиками, пришитыми к штанам у лодыжек; он нес на плече лютню, отчего его тень походила на тень горбуна. Может быть, миллион лет назад человек, по облику еще похожий на обезьяну, переполненный несчастьями других людей, вдруг нашел в этих несчастьях скрытую сладость, которую он принялся жевать, как мы жуем мятную жвачку, и несчастья других придавали ему бодрости и желание жить. Может быть, сын, оставшийся после него, усовершенствовал приспособления, изобретенные отцом для людских мучений — все эти капканы, ловушки, костоломы, обручи, сдавливающие голову, вызывающие судороги, все, что обманывает дух и истязает тело.

Эти люди стали сбрасывать отбросы в уединенные пруды, в которых от этого зародились и размножились комары, несущие болезни, москиты, кусавшие по ночам тело так, что оно вспухало, и потом карнавальные френологи, любовно прикасаясь к опухолям,

пророчествовали. Так — от одного человека здесь, от другого там, появились пронирыльные, как их скользкие взгляды, люди, которые злее собак, для которых лучший подарок — беда других, люди, потворствующие скупости, убожеству, для которых наслаждение — подслушивать у дверей спален, как несчастные мечутся во сне от угрызений совести.

Ночные кошмары — их хлеб. Они мажут его болью, как маслом. Они сверяют свои часы по скрипу жуков-могильщиков и торжествуют во все века. При постройке пирамид они были надсмотрщиками с ременными плетками и наслаждались соленым потом и горем рабов. Они шныряли по Европе на Белых Конях Чумы. Они нашептывали Цезарю о том, что он умрет, а потом продавали кинжалы на большой мартовской распродаже. Некоторые из них, ленивые шуты, подпирали императоров, тиранов и припадочных проповедников. Они странствовали по времени, как цыгане по дорогам, их становилось все больше, они распространялись по всему миру, где множились восхитительные виды боли и несчастий, на которых можно было хорошо нажиться. Караван катился по длинной дороге, они спешили за ним из времен готики и барокко; они смотрели на свои вагоны и экипажи, похожие на средневековые гробницы, украшенные резьбой, которые когда-то тащили лошади, мулы или, может быть, даже люди...

— А тогда, давно... — голос Джима срывался от волнения. — Были *те же самые* люди? Вы думаете, мистер Кугер и мистер Дак, им обоим по сто лет?

— Катаясь на этой карусели, они могут в любое время скинуть год-другой, когда захочется, верно?

— Выходит, тогда... — перед Уиллом словно разверзлась пропасть, — они могут жить *вечно!*

— И *вредить* людям. — Джим снова и снова возвращался к этой мысли. — Но почему же, почему же только вредить?

— А потому, — ответил мистер Хэлоуэй. — Тебе, например, чтобы попасть на карнавал, нужно горючее, бензин, газ или еще что-то, верно? Есть женщины, которые живут сплетнями, а что такое сплетни — это обмен головной болью и прокисшими плевками, ломотой в костях, рваной и залатанной плотью — словом, это буря безумия, так разве им будет приятно успокоение? Если бы у некоторых людей оказалось нечего жевать, их резцы выпали бы, а с резцами погибли бы и души. Добавьте к этому удовольствие, которое они получают на похоронах, их лицемерное кудахтанье на поминках; прибавьте сюда их кошачьи свадьбы, где родственники дерут друг с друга по три шкуры, а затем штопают их на скорую руку; приплюсуйте сюда врачей шарлатанов, шинкующих людей на ломтики, чтобы гадать на их внутренностях как на кофейной гуще, а после крепко сшивающих несчастных ниткой с оставленными на ней отпечатками липких пальцев, возведите в квадрат динамитную фабрику, производящую десять квадриллионов единиц взрывчатки, и вы получите темную силу одного такого карнавала.

Все подлости, которые мы скрываем, они заимствуют и усугубляют до предела. Они нетерпеливо желают чужих страданий, печали и болезни в миллиард раз сильнее, чем обычный человек. Для нашей жизни чужие грехи — как соль на рану. Нам своя рубашка ближе к телу. Но карнавал не заботит, что от него пахнет лунным светом, а не солнечным, он лишь ненасытно глотает страх и боль. Это его топливо, это сила, которая вращает карусель: безысходный ужас, терзающая агония вины, вопли от реальных и воображаемых ран. Карнавал всасывает этот газ, зажигает его и, пыхтя, движется по своему пути.

Чарльз Хэлоуэй перевел дыхание, прикрыл глаза и сказал:

— Как я узнал об этом? Я не знаю. Я чувствую это. Я определяю это на вкус. Это как палая листва, которую мы жгли два дня тому назад. Это как запах цветов на погребальных венках. Я слышу эту музыку. Я слышу, что ты говоришь мне, и половину из того, что ты мне не говоришь. Быть может, я всегда мечтал о таком карнавале и ждал, когда он придет, чтобы однажды побывать на нем и приветствовать его. И вот теперь это представление в балагане играет на моих костях, как на ксилофоне. Мой скелет знает.

Он говорит мне.

Я говорю вам.

— А могут они... — спросил Джим. — Я имею в виду... делают они... покупают ли они души?

— Зачем покупать, когда они могут получить их даром? — сказал мистер Хэлоуэй. — Ведь большинство людей хватается за шанс обменять все на ничто, на пустышку. И за это ничто, эту пустышку мы отдаем как безделушку свои бессмертные души. Больше того, при этом вам кажется, что дьявола тут вовсе нет. Я хочу сказать, что он представляет собой тип существа, которое научилось жить за счет душ, но не просто душ самих по себе. Это всегда беспокоило меня, когда я читал древние мифы. Я спрашивал себя, почему Мефистофель хотел заполучить душу? Что он делал с ней; какую извлекал из нее пользу? Погодите, вот я сейчас, как на блюдечке, преподнесу вам мою теорию. Так вот, по-моему, эти существа хотят зажечь души, которых бежит сон и которых днем терзает память о совершенных преступлениях. Мертвая душа не воспламеняется. Но живая, неистовствующая, мятущаяся, проклинающая себя душа — это истинная сладость для таких как они. Откуда мне это известно? Я наблюдаю. Они ведут себя как обыкновенные люди, только у них все эти черты глубже, острее.

Вот, например, мужчина и женщина вместо того, чтобы разойтись или убить один другого, предпочитают мучить друг друга всю жизнь, таскать за волосы, выдирать ногти; причинять боль становится им необходимо, как наркотик, без этого они не могут прожить и дня. Карнавал чует такие погибшие души за многие мили и стремится к ним, чтобы погреть руки над их болью. Он вынюхивает испорченных мальчиков, раньше времени ставших мужчинами, они мучаются, словно от зубной боли, и карнавал находит их за двадцать тысяч миль, летних мальчиков в постели зимней ночи. Он чувствует горечь и пожилых людей, таких, как я, которые невнятно оправдываются, потому что бесполезно, бесплодно прожили свой августовский полдень. Мы нуждаемся, хотим, просим — все это пылает в нашей крови, горит в наших душах, исходит изо рта, ноздрей, из глаз и ушей, точно радиоволны срывается с пальцев, как с антенн. Бог знает как, но хозяева уродов чувствуют наш зуд и беспокойство. Карнавал долго путешествовал по всему миру, на каждом перекрестке он встречал людей, давших ему возможность выпить добрую кружку похоти и агонии, чтобы зарядиться новой силой и энергией. Возможно, карнавал потому и существует, что пьет яды зла, которое мы причиняем друг другу, и усваивает ферменты наших ужасных раскаяний.

Чарльз Хэлоуэй фыркнул.

— Ну и ну, сколько же я наговорил и сколько передумал за последние десять минут?

— Да, — подтвердил Джим, — очень много.

— На каком же языке, черт возьми? — воскликнул Чарльз Хэлоуэй, ибо внезапно понял, что говорил не больше, чем в другие ночи, когда, оставшись один, самозабвенно обсуждал свои идеи с холлами и коридорами, которые отвечали лишь эхом, и потом навсегда забывали его слова. Целые книги о жизни написал он в воздухе больших комнат и огромных коридоров, и все это вылетело в вентиляцию. Теперь все это казалось фейерверком из цвета, звука и высоких слов, ослепившим мальчиков, пронзившим его самого, но не оставившим следа ни на сетчатке, ни в мозгу; и оказалось, что все это не больше, чем просто упражнение в декламации. И тогда он не без робости обратился к самому себе:

— Сколько же из всего этого правда? Одна мысль из пяти, две из восьми?

— Три из тысячи, — ответил Уилл.

Чарльз Хэлоуэй рассмеялся и вздохнул. И тогда Джим, перебив его, спросил:

— Это... это же... *смерть*?

— Карнавал? — уточнил он, раскурил трубку, выпустил струю дыма и принялся со всей серьезностью изучать украшавший трубку узор. — Нет. Но я думаю, он использует смерть как угрозу. Смерти нет. Ее никогда не было, и ее никогда не будет. Но мы нарисовали так много ее изображений, так много лет мы пытались постичь ее, связать и удержать, мы столько думали о ней, как о существе, странно живом и ненасытном... Однако она — это не более чем остановленные часы, утрата, конец, крах... Ничто. И карнавал мудро полагает, что мы больше боимся этого Ничто, чем некоего Нечто. Ведь с Нечто мы можем бороться. Но... Ничто? Куда вы ударите его? Есть ли у него сердце, душа, мозги, зад? Нет, нет и нет. Поэтому карнавал просто трясет перед нами огромным стаканчиком для игры в кости, наполненным Ничто, и получает свой выигрыш, как только мы в страхе бросаемся прочь. О, он показывает нам Нечто, что может в конце концов привести к Ничто, все правильно. Роскошный блеск зеркал там, на лугу, это ведь наверняка необработанное Нечто. Этого достаточно, чтобы выбить вас из седла. Ведь увидеть самого себя таким, каким будешь в девяносто лет, увидеть пар вечности, поднимающийся от тебя, как от сухого льда — это удар ниже пояса. Затем, когда он заставляет вас замереть и застыть, он исполняет прекрасную, захватывающую душу музыку, воскрешающую в памяти майский день, запах свежестыранного женского белья, качающегося на ветру на заднем дворе, эти звуки, словно пьянящий аромат сена в лугах, словно голубое небо, словно летняя ночь на озере, но все это продолжается до тех пор, пока в вашу голову не ударят барабаны, которые словно луны расположились вокруг органа-каллиопы. Так просто. Господи, я так желаю, чтобы зеркала придвинулись ко мне. И тогда — удар по изображению старика в зеркалах; и смотрят — оно трескается как лед, распадается, и эти осколки может заново собрать вместе только карнавал. Вы спросите, как? Вальсон наоборот на карусели, к «Прекрасному Огайо» или к «Веселой вдове». Но они умалчивают об одной штуке.

— Какой? — спросил Джим.

— А вот какой. Если ты жалкий грешник сейчас, то ты останешься жалким грешником в любом другом возрасте. Ведь изменение роста и размера тела не изменяет сознания. Если бы, Джим, я сделал тебя завтра двадцатипятилетним, твои мысли оставались бы все равно мыслями мальчика, и это было бы видно всякому! Или если бы они превратили *меня* в десятилетнего мальчугана, то мой мозг продолжал бы оставаться мозгом пятидесятилетнего мужчины, и новоиспеченный мальчик был бы смешнее, непонятнее, старше своих сверстников. И получается, что время как бы вывихнуто.

— Это как? — спросил Уилл.

— Если бы я снова стал молодым, моим друзьям по-прежнему оставалось бы по пятидесяти, шестидесяти лет, ведь так? И я оказался бы навсегда отрезанным от них, потому что не мог бы сказать им, что со мной случилось, правда? А если бы они узнали об этом, они бы возмутились.

Они бы возненавидели меня. Их интересы перестали бы быть и моими интересами, так? В особенности главное, что их беспокоит. Им остались бы болезни и смерть, а мне — новая жизнь. Разве в этом мире есть место для человека, который выглядит на двадцать, а сам старше Мафусаила; и кто мог бы перенести такое? Карнавал не уберезет вас от послеоперационного шока. Я держу пари, что шок есть, и больше того! Итак, что же происходит? Вы получаете свой подарок: безумие. Изменение тела, изменение всей обстановки, изменение и многого другого. С другой стороны, — вина, вина в том, что вы оставляете жену или мужа, оставляете друзей умирать в те сроки, в какие умирают все люди... Господи, да одно это доведет до безумия! Но карнавалу только этого и надо — еще больше страха, еще больше агонии подается ему на завтрак. А вы, задыхаясь в болотных испарениях, в которых барахтается ваша раздавленная совесть, лепечете, что хотите вернуться назад, сделаться таким же, как были! А карнавал слушает и кивает. Да, они обещают, что если вы будете вести себя хорошо, они вернут вам через некоторое время ваши полсотни лет или сколько там требуется... На одном только обещании вернуть к прежнему возрасту карнавальная поездка может разъезжать по миру, он полон безумных людей, они ждут, когда их выпустят из рабства, а на самом деле они — всего лишь кокс для топки его паровоза.

Уилл что-то пробормотал.

— Что? — спросил отец.

— Мисс Фоли, — простонал Уилл, — о бедная мисс Фоли, они захватили ее в точности, как ты говоришь... Сначала она получила от них то, что хотела, но это испугало ее, ей стало плохо, о, как горько она плакала, папа, как горько; теперь, держу пари, они обещали ей, что ей снова станет пятьдесят, если она выполнит то, что ей велят. Страшно подумать, что они сделают с ней, о папа, о Джим!

— Да поможет ей Бог, — отец Уилла с трудом протянул руку, чтобы отыскать старые портреты участников карнавала. — Ее, вероятно, поместили вместе с уродами. Кто же они? Может, грешники, которые, надеясь на освобождение, так долго странствовали с карнавалом, что приняли образ самого греха? Вот, например, Толстяк — кем он был раньше? Если бы я мог разгадать ту иронию, с какой действует карнавал, взвешивая на своих весах путь грешника, то сказал бы, что раньше он был хищником, охотившимся за всеми видами похоти и вожделения. Во всяком случае теперь он переполнен плотскими удовольствиями. И рядом с ним — Скелет, Тощий Человек, или что бы это ни было, не морил ли он свою жену и детей голодом, духовным и телесным? А Карлик? Был он или не был вашим другом, торговцем громоотводами, всю жизнь проведенным в дороге, он всегда бежал впереди молний и продавал громоотводы, оставляя другим возможность смело глядеть в лицо грозы; неизвестно, почему он соблазнился даровым катанием на карусели; он превратился не в мальчишку, а в спутанный клубок нелепого хлама. Или Предсказательница Судьбы, цыганка, Пылевая Ведьма? Может быть, когда-то она предпочитала жить завтрашним днем, пренебрегая сегодняшним, вроде меня, и была так наказана, обречена гадать о неистовых восходах и ужасных закатах для других. Ты говорил, что видел ее *совсем рядом*. А Болван? Робкий мальчик? Пожиратель Огня? А Сиамские Близнецы, Боже

милостивый, кто они были? Может быть, это воплощенная самовлюбленность? Мы никогда этого не узнаем. Они никогда не расскажут. Мы пробовали угадать и, вероятно, угадали неправильно, наверное, многое не так. А теперь — что нам делать. Куда мы пойдём отсюда?

Чарльз Хэлоуэй разложил на столе карту города и обвел карандашом место, где расположился карнавал.

— Сможем ли мы скрыться? Нет. С мисс Фоли и с таким количеством других людей, вовлеченных в эту историю, никак не сможем. Ладно, тогда как нам их атаковать, чтобы нас не расстреляли с первых шагов? И какое оружие нам выбрать...

— Серебряные пули! — выпалил Уилл.

— Куда загнул! — фыркнул Джим. — Они же не вампиры!

— Если бы мы были католиками, то взяли бы в церкви святой воды и...

— Брось ты, — сказал Джим, — все это чепуха из кинофильмов. В жизни так не бывает.

Или я неправ, мистер Хэлоуэй?

— Хочется, чтобы ты был прав, дорогой.

Глаза Уилла яростно сверкнули:

— Ладно. Остается одно — прихватить пару галлонов керосина, спички и сбегать на луг...

— Это противозаконно! — запротестовал Джим.

— Смотрите, кто это *говорит!*

— Продолжай!

Но тут все замолчали.

Шорох.

Слабый порыв ветра пронесся по библиотечным коридорам и влетел в комнату.

— Парадная дверь, — прошептал Джим. — Кто-то только что открыл ее.

Вдалеке раздался негромкий щелчок. Сквозняк, который только что прошелся по ногам мальчишек и растрепал волосы мужчины, исчез.

— Кто-то только что закрыл ее.

Молчание.

Только огромная темная библиотека со сложными лабиринтами спящих книг.

— Кто-то вошел.

Мальчишки приподнялись, тревожно полураскрыв рты.

Чарльз Хэлоуэй подождал, затем тихо сказал лишь одно слово:

— Прячьтесь.

— Мы не можем тебя оставить...

— Прячьтесь.

Мальчишки метнулись в сторону и исчезли в темном лабиринте полок и стеллажей.

Чарльз Хэлоуэй медленно глубоко вдохнул, потом выдохнул, затем заставил себя усесться обратно в кресло, приказал себе опустить глаза на пожелтевшие газеты и стал ждать, ждать, и затем опять... ждать.

Тень скользнула среди теней.

Чарльз Хэлоуэй почувствовал, что душа его уходит в пятки.

Бесконечно долго тень и сопровождающий ее человек шли по коридору. Тень казалась неторопливой и осторожной в своей медлительности, и все же она впиалась в Чарльза Хэлоуэя, она терзала его как сыр на терке, рвала и крошила его твердое спокойствие. И когда, наконец, тень дотянулась до двери, с ней вошли не один, не сотня, а тысяча людей, и заглянули в дверь комнаты.

— Меня зовут Дак, — сказал голос.

Чарльз Хэлоуэй разжал кулаки и вздохнул.

— Я более известен как Разрисованный Человек, — пояснил голос и добавил: — Где мальчики?

— Мальчики? — Отец Уилла повернулся, наконец, чтобы рассмотреть высокого мужчину, который стоял в дверях.

Разрисованный Человек принюхивался к желтой пылице, слетевшей с древних книг, и тут отец Уилла вдруг увидел мальчиков, вышедших из своего убежища и стоявших на свету; он даже подскочил от неожиданности, затем попытался заслонить их собой и остаться один на один с незванным гостем.

Разрисованный Человек сделал вид, что ничего не заметил.

— Мальчиков нет дома, — сказал он. — Оба дома пусты. Какая досада, они пропустят бесплатные представления.

— Мне кажется, я знаю, где они были. — Чарльз Хэлоуэй принялся расставлять книги по полкам. — Черт побери, если бы они знали, что вы здесь с бесплатными билетами, они были бы в восторге.

— Вот как? — улыбка мистера Дака растаяла, как брошенная в огонь розовая парафиновая игрушка. Затем он тихо и мягко добавил. — Я мог тебя убить.

Чарльз Хэлоуэй кивнул, медленно расставляя книги.

— Ты слышал, что я сказал? — рявкнул Разрисованный Человек.

— Да. — Чарльз Хэлоуэй взвесил на руке книги, словно они были его приговором. — Однако теперь ты не сможешь меня убить. Ты слишком приметен. Ты слишком примелькался за это время.

— Прочитал несколько газет и думаешь, что знаешь о нас все?

— Нет, не все. Но достаточно, чтобы испугаться.

— Пугайся, пугайся, — прошипела теперь уже целая толпа мрачных картинок, кишевших под его черной одеждой. — Один из моих друзей, тут неподалеку, может прикончить тебя так, что будет казаться, словно ты умер от самой обыкновенной сердечной недостаточности.

Сердце его бешено заколотилось, Чарльз Хэлоуэй почувствовал, что кровь ударила в виски и ослабели руки.

Ведьма, подумал он.

Должно быть, его губы непроизвольно дернулись, как бы произнося это слово.

Мистер Дак кивнул:

— Совершенно верно, Ведьма.

Чарльз Хэлоуэй продолжал расставлять книги по полкам, и тем сдерживал страшного гостя.

— Ну, что это там у тебя? — мистер Дак прищурился. — Библия? Очаровательно. Так по-детски и так освежающе старомодно.

— Вы читали ее когда-нибудь, мистер Дак?

— Конечно, читал! Каждая страница, каждый параграф и слово были прочитаны *при* мне, сэр! — Мистер Дак закурил сигарету и выпустил дым в сторону таблички «НЕ КУРИТЬ», а потом на отца Уилла. — Ты действительно воображаешь, что эта книга может повредить мне? Это твое единственное *реальное* оружие? Вот, гляди!

И прежде чем Чарльз Хэлоуэй сообразил, в чем дело, мистер Дак подбежал и выхватил у него Библию. Он держал ее обеими руками.

— Ты не удивлен? Смотри, я дотрагиваюсь, держу, даже *читаю* из нее.

Мистер Дакдохнул на страницы дымом, словно хотел пустить по ним рябь, как по воде.

— Ты надеешься победить меня этим ворохом свитков Мертвого моря? К сожалению, это всего-навсего мифы. Жизнь, а под жизнью я имею в виду множество очаровательных вещей, продолжается, она течет, постоянно меняется, выживают хищники, и я хищник не более, чем многие другие. Твой царь Давид и его литературная версия некоторых довольно скучных поэтических материй — стоящее описание *такого* понимания жизни, какому я посвятил много времени и трудов.

Мистер Дак швырнул Библию в мусорную корзину и больше не глядел на нее.

— Я слышу, как колотится твое сердце, — сказал мистер Дак. — У меня не столь тонкий слух, как у Цыганки, но я слышу. Ты все время поглядываешь куда-то за мое плечо. Мальчишки прячутся там, как кролики? Ладно. Мне безразлично, удерут они или нет. Ведь никто не поверит их болтовне, которая в сущности представляет неплохую рекламу для наших шоу; люди чувствуют приятное возбуждение, заранее облизываются и приходят взглянуть на нас, вкладывают деньги в наше дело. Вот ты, например, пришел к нам, посмотрел и не просто любопытства ради. Сколько тебе лет?

Чарльз Хэлоуэй поджал губы.

— Пятьдесят? — промурлыкал мистер Дак. — Пятьдесят один? — прожурчал он. — Пятьдесят два? Нам хочется быть помоложе, а?

— Нет!

— Зачем же так кричать. Пожалуйста, повежливее. — Мистер Дак прошелся по комнате, пробегая рукой по книгам, как если бы это были годы, которые надо сосчитать. — Ах, это действительно приятно — быть молодым. Разве плохо вновь стать сорокалетним? Сорок лет лучше, чем пятьдесят, а тридцать еще лучше.

— Я не буду вас слушать, — Чарльз Хэлоуэй закрыл глаза.

Мистер Дак слегка наклонил голову, затянулся сигаретой и заметил:

— Странно — чтобы не слушать, вы закрыли глаза. Было бы логичней заткнуть уши...

Отец Уилла зажал уши руками, но голос проходил и сквозь них. — Скажу вам вот что, — промолвил мистер Дак, стряхнув пепел, — если вы можете мне в течение пятнадцати секунд, я преподнесу вам ваш сороковой день рождения. Десять секунд, и вы празднуете тридцатипятилетие. Исключительно молодой возраст. Почти юноша, сравнительно, конечно. Я начну отсчитывать по моим часам, и если вы согласитесь, просто протяните руку, и тогда я просто отсеку тридцать лет вашей жизни! Выгодная сделка, как говорится в рекламных афишках. Подумайте об этом! Все начать сначала, все прекрасно, все свежо и великолепно, все сделать, обдумать и попробовать снова. Последний шанс! Начинаю. Раз. Два. Три. Четыре...

Чарльз Хэлоуэй сгорбился, почти пригнулся к полу, тяжело опираясь на полки, заскрежетал зубами, чтобы не слышать голоса, ведущего счет.

— Вы много теряете, старик, мой дорогой старый парнишка, — сказал мистер Дак. —

Пять. Теряете. Шесть. Теряете очень много. Семь. Ведь действительно теряете. Восемь. Растрчиваете на ерунду. Девять. Десять. Боже мой, да вы дурак! Одиннадцать. Хэлоуэй! Двенадцать. Почти прошло. Тринадцать. Прошло. Четырнадцать. Потеряли! Пятнадцать! Потеряли навсегда!

Мистер Дак опустил руку с часами.

Чарльз Хэлоуэй, задыхаясь, отвернулся, чтобы спрятать лицо в запахах старых книг, ощутить у щеки потертую кожу переплетов, почувствовать вкус древней пыли и засушенных между страницами цветов.

Мистер Дак уже стоял в дверях, собираясь уходить.

— Оставайтесь там, — приказал он. — Слушайте свое сердце. Я пришлю кое-кого остановить его. Но сначала, мальчики...

Толпа вечно бодрствующих существ, населявших его длинное тело, тихо шагнула вперед в темноту, унося с собой мистера Дака. Крики этих существ, их хныканье, их невнятные, мучительные восклицания звучали в его голосе:

— Мальчики? Вы там? Где бы вы не были... ответьте.

Чарльз Хэлоуэй бросился вперед, но тут же почувствовал, как комната повернулась и закружила его, как приказал этот тихий, этот легкий, этот очень приветливый голос мистера Дака. Чарльз Хэлоуэй упал на стул, думая об одном: слушай свое сердце! Опустившись на колени, он сказал: слушай свое сердце! Оно взрывается! О Боже, оно разрывается! — и не мог сдвинуться с места.

Разрисованный Человек кошачьей походкой вступил в лабиринт книг, стоящих на полках и мрачно ждущих чего-то.

— Мальчики?.. Вы слышите меня?..

Молчание.

— Мальчики?..

Где-то там, за миллионами книг, одинокие, неподвижные, потерянные за двумя дюжинами поворотов направо, тремя дюжинами поворотов налево, за переходами, за коридорами, ведущими к мертвым тупикам, запертым дверям, полупустым полкам, где-то в книжной копоти диккенсовского Лондона или Петербурга Достоевского, или в степях за ним, где-то в пергаментной пыли атласа или самой Географии, с чиханьем, спрятанным в пыли как капкан, скорчившись, лежали мальчики, мокрые от холодного пота и слез.

Спрятавшийся где-то Джим думал: *он подходит!*

Спрятавшийся где-то Уилл думал: *он близко!*

— Мальчики?..

Мистер Дак подошел, облаченный в доспехи из своих друзей, неся на себе коллекцию каллиграфических рептилий, которые покрывали его тело и светились в полуночной темноте. Мистер Дак шагал как чудовищная ящерица, покрытая пышной ризой стеклянных капель росы, защищенный броней нанесенных молнией изображений отвратительных плотоядных, позволявших ему бежать, опережая бури, благодаря сокрушительной силе тела. Там был птеродактиль с зубами и крыльями, острыми, как коса, который вскидывал его руки для полета под мраморными сводами. Вместе с намеченными тушью и вспыхивающими

огнями образами разящей, острой, как бритва, судьбы, явилась и обычная толпа прихлебателей, крепко прицепившихся к каждой конечности, сидящих на чуть изогнутых лезвиях плеч, *глядящих с* его хрипящей груди, висящих в беспорядке микроскопическими миллионами в пещерах его подмышек, вопящих, как летучие мыши, готовые к охоте и, если понадобится, к убийству. Словно черная волна, хлынувшая на пустынный берег, шумящая в темноте, наполненная фосфоресцирующими красотами и подпорченными грезами, мистер Дак продвигался вперед, шипя и свистя ступнями, ногами, телом и острым лицом.

— Мальчики?..

Тихий, мягкий, настойчивый голос точно лучший друг звал бедняг, прячущихся в своих норах, проносился по сухой книжной пустыне; он скользил, крался, спешил, пробирался на цыпочках, он постоял среди египетских скульптур, изображавших божественных животных, прошаркал по темным историям мертвой Африки, ненадолго задержался в Азии, а затем направился к странам новейшей истории.

— Мальчики, вы слышите меня, я знаю! На стене табличка: «ТИШИНА»! Хорошо, я буду говорить шепотом: один из вас все еще хочет того, что мы предлагаем. Ну же? Ну?

Джим, подумал Уилл.

Я, подумал Джим. Нет! О, нет! Не я!

— Выходи! — цедил сквозь зубы мистер Дак. — Я гарантирую вознаграждение! Любому!

Бам-барарам!

Мое сердце! подумал Джим.

Это я? — подумал Уилл, — или Джим?

— Я слышу вас. — Губы мистера Дака дрогнули. — Теперь ближе. Уилл? Джим? Тот, который такой находчивый и проворный, не Джим ли? Выходи, мальчик...

Нет! — подумал Уилл.

Я ничего не знаю, — смятенно подумал Джим.

— Конечно же, Джим... — Мистер Дак выбрал новое направление. — Джим, покажи мне, где твой друг. — И зашептал тихонько. — Мы заткнем ему глотку и устроим тебе катание, которое досталось бы ему, если бы он думал своей головой. Верно, Джим? — проворковал он кротко. — Ты уже ближе. Я слышу, как прыгает твое сердце?

Стой! — думал Уилл, обращаясь к своей груди.

Стой! — Джим задержал дыхание. Стой!

— Любопытно... не в этой ли нише?..

Мистер Дак повиновался толпе изображений, тащившей его вперед.

— Ты *здесь*, Джим?.. Или... там, позади?..

Он без всякого умысла толкнул тележку с книгами и она покатила на резиновых роликах в ночную темноту. Через некоторое время она врезалась во что-то, опрокинулась, и книги вывалились на пол, словно мертвые черные вороны.

— Вы оба ловко играете в прятки, — сказал мистер Дак. — Но есть кое-кто и половчей вас. Вы слышали этой ночью карусельный орган-каллиопу? А знаете ли вы, что кто-то очень дорогой вам катался на этой карусели? Уилл? Уилли? Уильям. Уильям Хэлоуэй. Где сейчас твоя мама?

Молчание.

— Она каталась на ночном ветру, Уилли-Уильям. По кругу. Мы посадили ее туда. По кругу. Мы оставили ее там. По кругу. Ты *слышишь*, Уилли. Один круг — год, еще один —

год, еще один, кругом, кругом!

Папа! — подумал Уилл. — Где ты!

В это время в маленькой комнате сидел Чарльз Хэлоуэй, прислушивался к своему колотящему сердцу и думал: Дак не найдет их, я не двинусь, пока он ищет, он не может найти их, они не станут его слушать, они ему не поверят! Он уйдет!

— Твоя мама, Уилл... — вкрадчиво нашептывал мистер Дак. — Круг за кругом, и угадай, куда, Уилли?

Мистер Дак в темноте между полками описал круг своей тонкой, как у привидения, рукой.

— По кругу, по кругу... и когда мы разрешили твоей маме слезть и показали ей, как она выглядит в Зеркальном Лабиринте, тебе следовало бы услышать *один-единственный* звук, который она издала. Она была похожа на кошку, проглотившую большой липкий клубок шерсти, от которого не избавиться, она не может даже орать из-за волос, торчащих из ее ноздрей, из ушей и глаз; так-то, мальчик, и она старая, старая, старая. Последнее, что мы видели, мальчик Уилли, это то, как она удирала, посмотрев на себя в зеркало. Она постучится в дом Джима, но когда его мама увидит двухсотлетнюю особу, распустившую нюни возле замочной скважины, вымаливающую смерть, как милостыню, мой мальчик, тогда мама Джима заставит ее замолчать, как это делают с паршивой кошкой — ударом ноги отшвырнет ее прочь, отправит побираться по улицам, и никто не поверит, Уилл, такому мешку с костями, что он был красавицей, подобной розе, твоей доброй мамочкой! Итак, Уилл, в наших силах побежать, чтобы найти ее и спасти, ведь мы-то знаем, кто она — верно, Уилл, правильно, Уилл, ведь правда, правда, *правда?!!*

Голос человека в темноте постепенно затихал, и вовсе смолк.

Теперь где-то в библиотеке кто-то едва слышно рыдал.

Ах...

Разрисованный Человек с удовлетворением выдохнул из влажных легких тошнотворные миазмы.

Даааааа...

— Здесь... — промурлыкал он. — Что? Каталог. На букве «М» хранятся мальчишки? «П» — приключения? «С» — спрятанные, «Т» — тайно? «У» — ужаснувшиеся? Или тут хранятся под буквой «Д» — Джим или под «Н» — Найтшейд, «У» — Уильям, «Х» — Хэлоуэй? Где две моих бесценных человеческих книги, могу я полистать их, а?

Он ударил правой ногой по нижней полке стеллажа.

Он поставил правую ногу на полку, встал на нее и поболтал левой ногой в воздухе.

— Там.

Его левая нога утвердилась на второй полке. Он постоял, потом его правая, растолкав книги, пробила дыру на третьей полке, и так он лез все выше и выше, на четвертую полку, на пятую, шестую, ощупывая темные библиотечные небеса, сжимая руками полки, и снова карабкался выше, чтобы перелистать вечную темноту и найти на ее страницах мальчишек, словно они — библиотечные штампы на книгах.

Его правая рука, великолепный тарантул, украшенный венком роз, сбила книгу о гобеленах Байе, которая закувыркалась, падая в черную бездну. Казалось, прошел век, прежде чем гобелены обвалом золота, серебра и небесно-голубых нитей ударились об пол, превратившись в руины красоты.

Его левая рука дотянулась до девятой полки и он, задыхаясь и ворча, обнаружил, что

книг там нет, полка пуста.

— Мальчики, вы здесь, на Эвересте?

Молчание. Лишь слабое рыдание, уже ближе.

— Тепло? Теплее? Еще теплее?

Глаза Разрисованного Человека оказались на уровне одиннадцатой полки.

В трех дюймах, лицом вниз, словно труп, лежал Джим Вайтшейд.

Полкой выше в черной катакомбе лежал залитый слезами Уильям Хэлоуэй.

— Вот и хорошо, — сказал мистер Дак.

Он протянул руку, потрепал Уилла по голове:

— Привет.

Уиллу показалось, что ладонь руки, медленно поднимавшаяся вверх, была похожа на восходящую луну.

На ней красовался его собственный портрет, сделанный синей тушью и огненно светившийся во тьме.

Джим тоже увидел руку возле своего лица.

Его портрет смотрел на него с ладони.

Рука с портретом Уилла сграбастала Уилла.

Рука с портретом Джима сграбастала Джима.

Крики и визги в темноте.

Разрисованный Человек напрягся. Изогнувшись, он не то спрыгнул, не то упал на пол.

Пинаясь ногами и крича, ребята полетели вместе с ним. Как ни странно, они приземлились на ноги, но не удержались, опрокинулись, и мистер Дак, зажавший в кулаках их рубашки, снова поставил их как надо.

— Джим! — сказал он. — Уилл! Что вы делали там, наверху? Надеюсь, не читали?

— Папа!

— Мистер Хэлоуэй!

Отец Уилла выступил из темноты.

Разрисованный Человек поставил мальчиков рядом и мягко обнял их одной рукой, затем пристально, с вежливым любопытством взглянул на Чарльза Хэлоуэя и потянулся к нему.

Папа Уилла успел ударить его, прежде чем тот схватил и стиснул его левую руку. Мальчики увидели, как Чарльз Хэлоуэй, задыхаясь, упал на колено.

Мистер Дак медленно сдавливал его левую руку и одновременно сжимал мальчиков другой рукой так, что у них затрещали ребра и перехватило дыхание.

Огненные круги, словно огромные отпечатки пальцев, поплыли в глазах Уилла.

Отец Уилла со стоном упал на оба колена, продолжая молотить Дака правой рукой.

— Будь ты проклят!

— Но, — тихо сказал владелец карнавала, — я уже...

— Будь ты проклят, будь ты проклят!

— Не слова, старик, — сказал мистер Дак, — не слова, книжные или собственные, но реальные мысли, реальные действия, быстрая мысль, быстрое действие — вот что

побеждает. Вот что!

Он в последний раз со всей силой сжал руку.

Мальчики слышали, как хрустнули кости, и Чарльз Хэлоуэй, вскрикнув, потерял сознание.

Двигаясь, словно в мрачном танце, Разрисованный Человек тащил за собой мальчиков, сбивая на ходу попавшие под руку книги.

Чувствуя, как пролетают мимо стены, книги, полы, Уилл сжимался в комок и ловил себя на глупой мысли: почему, думалось ему, почему от мистера Дака пахнет... паром органа-каллиопы!..

Неожиданно оба мальчика упали. Но прежде чем они могли пошевелиться или вздохнуть, их схватили за волосы, встряхнули как марионеток и повернули лицами к окну, выходящему на улицу.

— Мальчики, вы читали Диккенса? — шепотом спросил мистер Дак. — Критики ругают его за случайные стечения обстоятельств, которыми полны его романы. Но мы-то знаем — жизнь *вся* состоит из случайных совпадений, не правда ли? В ней хлопья счастья выются в вихре смерти, ведь счастье — это блохи, прыгающие с убитого быка. Смотрите!

Мальчики скорчились от боли в железной хватке голодных древних ящеров и ошестинившихся обезьян.

Уилл не знал, разрыдаться ли от радости или от отчаяния.

Внизу, возвращаясь домой из церкви, шли через улицу его мама и мама Джима.

Его мама не была на карусели, она не состарилась, не сошла с ума, не умерла, не попала в тюрьму, а идет живая и здоровая по октябрьской улице. Еще пять минут назад она была в церкви, не более чем в ста ярдах отсюда!

— Мамочка! — закричал Уилл, несмотря на то, что злая рука, упреждая крик, крепко зажала ему рот.

— Мамочка, — передразнил вполголоса мистер Дак, — приди, спаси меня!

Нет, — думал Уилл, спасайся *сама*, беги!

Но его мама и мама Джима просто беззаботно прогуливались.

— Мамочка! — завопил опять Уилл, и его голос, хоть и глухо, но прорвался через потную лапу, зажимавшую рот.

Мама Уилла за тысячу миль отсюда, на том тротуаре, остановилась.

Она *не могла* слышать! — подумал Уилл. — Однако...

Она оглянулась на библиотеку.

— Хорошо, — выдохнул мистер Дак. — Отлично, прекрасно!

Сюда! — подумал Уилл. — Посмотри на нас, мамочка! Беги за полицией!

— Почему она не посмотрит на это окно? — спокойно поинтересовался мистер Дак. — И не заметит нас троих, вставших словно для портрета. Посмотри же повыше. А потом беги к нам. Мы впустим тебя *сюда*.

Уилл подавил рыдание. Нет, нет.

Мама перевела взгляд от входной двери к окнам первого этажа.

— Сюда, — сказал мистер Дак, — второй этаж. Совершенное совпадение, давайте же сделаем его еще совершеннее.

Мама Джима что-то сказала. Обе женщины стояли на краю тротуара.

Нет, подумал Уилл, о, нет.

Они повернулись и пошли по ночным улицам воскресного города.

Уилл почувствовал, что Разрисованный Человек немного разочарован.

— Итак, больше никаких совпадений, никаких кризисов, ни одного спасенного или потерянного. Жаль. Да ладно!

Потащив за собой мальчиков, он спустился вниз, открыл парадную дверь.

Кто-то ожидал их в темноте.

Холодная, как ящерица рука пробежала по подбородку Уилла.

— Хэлоуэй, — сипло прошептала Ведьма.

Точно хамелеон уселся на нос Джима.

— Найтшейд, — проскрипел сухой, как старая метла, голос.

Позади нее, точно дрожа от страха, безмолвно стояли Карлик и Скелет.

Мальчики собрались было крикнуть, завопить, но снова Разрисованный Человек в один миг угадал их намерение и коротко кивнул старой пыльной женщине.

Ведьма тотчас бросилась вперед, стали видны ее черно-восковые, сшитые, сжатые словно у игуаны веки, ее огромный, похожий на хобот нос с ноздрями, запекшимися, как закопченные отверстия курительных трубок, ее чуткие пальцы, ловящие и вбирающие волны чужого сознания.

Мальчики застыли.

Ее ногти трепетали и подобно стрелам рассекали холодный воздух. Ее отвратительное лягушечье дыхание вызывало мурашки, когда она тихонько запела, замяукала, зажужжала своим малышам, своим мальчикам, своим товарищам по крыше с оставленным на ней следом, улитки, товарищам по брошенной стреле, по пораженному и утонувшему в небе воздушному шару...

— О заклятая игла, полети как стрекоза и зашей-ка эти рты, чтоб ни звука не издали!

И тут же ногти ее больших пальцев вонзились в их верхнюю и нижнюю губу, проткнули отверстия, проделали невидимую нить, затянули, проделали, затянули, стежок за стежком, стежок за стежком, пока их рты не стянулись как рюкзаки.

— О заклятая игла, полети как стрекоза, и зашей-ка эти уши, чтоб ни звука не слышали!

И тотчас же в уши Уилла как в воронку посыпался холодный песок, хоронивший ее голос, который постепенно заглушался, уходил в даль, затухал, ее пение стало походить на шорох, на шелест, пока вовсе не пропало.

В ушах Джима вырос густой мох, и они тотчас тоже были запечатаны.

— О заклятая игла, полети как стрекоза, и зашей-ка им глаза, чтобы видеть не могли!

Ее добела раскаленные кончики пальцев пробежали вокруг их глаз, прихватили веки, и с грохотом захлопнули их, словно огромные двери, закрывшие весь мир.

Уилл увидел взрыв, словно вспышку миллиарда ламп, затем наступила темнота, и невидимая игла где-то снаружи, за веками, скакала и шипела, будто оса, привлеченная горшком меда, нагретого на солнце, пока неслышный уже голос пел о навсегда зашитых глазах, навсегда погасшем дневном свете.

— Вот заклятая игла, завершила, стрекоза, свое дело с глазом, с ухом, с губой, с зубом, шов закончила сшивать, внутрь зашила темноту, пыли холм насыпала, сном глубоким нагрозила, ты теперь вяжи узлы, накачай молчанье в кровь, как песок в речную глубь. Так. Так. Так.

Отойдя в сторону, Ведьма опустила руки.

Ребята стояли молча. Разрисованный Человек выпустил их из своих объятий и отошел назад.

Женщина из пыли, торжествуя, обнюхивала созданных ею близнецов, в последний раз ощупывала их, наслаждаясь изваянными ею статуями.

Безумный Карлик топтался по теням мальчиков, как лакомство, обкусывал их ногти, нашептывал их имена.

Разрисованный Человек кивнул в сторону библиотеки:

— Часы привратника. Остановите их.

Широко раскрыв рот в предвкушении чужой гибели, Ведьма отправилась под мраморные своды библиотеки.

Мистер Дак приказал:

Левой, правой, ать, два, ать, два...

Мальчики спустились по ступеням; рядом с Джимом шел Карлик, рядом с Уиллом — Скелет.

Спокойный как сама смерть, Разрисованный Человек следовал за ними.

Где-то неподалеку, словно в добела раскаленной печи, горела рука Чарльза Хэлоуэя, переплавляясь в боль и напряженность. Он открыл глаза. И в этот миг услышал такой громкий вздох, словно захлопнулась дверь парадного, и в холле запел женский голос:

— Старик, старик, старик, старик?

На месте его левой руки с иступленной болью пульсировала кровавая масса и тем поддерживала его жизнь, его волю, его внимание. Он попытался сесть, но боль страшной тяжестью тянула его вниз.

— Старик?..

Не старик! В пятьдесят четыре года не старость, яростно подумал он.

И тут она пришла, по стертому каменному полу; ее пальцы, как крылья ночной бабочки, хлопали по корешкам книг, вслепую читая названия, из ее ноздрей вырывались ночные тени.

Чарльз Хэлоуэй извивался и полз, извивался и полз к ближайшему стеллажу, преодолевая боль, не в силах пошевелить языком. Он должен подняться, вскарабкаться на полки, туда, где книги станут его оружием, он будет бросать их на того, кто крадется там, в ночной тьме...

— Старик, я слышу твое дыхание...

Она медленно двигалась в сторону, откуда доносилось его дыхание, ее тело улавливало каждый всплеск его боли.

— Старик, я чувю твою боль...

Если бы он мог выбросить в окно руку вместе с болью! И она лежала бы там, колотясь как сердце, призывая к себе Ведьму, заставляя ее пойти по ложному пути в поисках этого ужасного костра боли. Он представил себе, как рука, изогнувшись, лежит на тротуаре, и Ведьма направляет свои чуткие ладони к этому бьющемуся, одинокому куску боли.

Но рука оставалась на месте, светилась, насыщая воздух запахом гари, торопя и призывая странную, похожую на монахиню цыганку, которая уже раскрыла свой алчный рот.

— Будь ты проклята! — закричал Чарльз Хэлоуэй. — Я здесь!

И тогда Ведьма, как одетый в черное манекен, быстро повернулась, подкатила, словно на роликах, и закачалась над ним.

Он даже не взглянул на нее. Такая тяжесть, отчаяние и напряжение охватили его, что он весь ушел в себя и видел лишь вихрем несущиеся тени ужаса.

— Все очень просто, — слышался шепот. — Остановите сердце.

Почему бы и нет, рассеянно подумал он.

— Медленно, — пробормотала она.

Да, подумал он.

— Медленно, очень медленно.

Его сердце, только что бившееся в груди, вдруг упало, пораженное странным недугом, оно дрогнуло, затем успокоилось и стало совсем легким.

— Еще медленнее, медленнее... — внушала она.

Как я устал, ты слышишь это, сердце? Он удивился.

Его сердце слышало. Словно недавно еще крепко сжатый кулак, оно стало расслабляться, один за одним разжимая пальцы.

— Остановись — будет хорошо, все забудь — хорошо, — прошептала она.

Ладно, почему бы и нет?

— Медленнее... совсем медленно.

Сердце спотыкалось, хромало.

И затем без всякой причины, разве что для того, чтобы в последний раз посмотреть вокруг, потому что хотел освободиться от боли, хотел уснуть... Чарльз Хэлоуэй открыл глаза.

Он увидел Ведьму.

Увидел ее пальцы, ощупывающие воздух, ощупывающие его лицо, его тело, обшаривающие сердце внутри тела и душу внутри сердца. Ее дыхание обдало его потоком болотных испарений, и в то же время он с безмерным любопытством наблюдал отвратительную слизь на ее губах, разглядывал складки на ее сморщенных зашитых веках, видел шею ящерицы, уши мумии, брови, похожие на грядки из сухого песка. Еще ни разу в своей жизни он не сталкивался с подобным существом, представлявшим сплошную головоломку, разгадка которой могла раскрыть величайший секрет жизни. Разгадка таилась в ней самой, она могла внезапно открыться в эту минуту, нет, в следующую, нет, в следующую, если понаблюдать за ее пальцами, похожими на скорпионов! если послушать ее монотонное пение и почувствовать как она извращала самый воздух. «Медленно! — шептала она. — ...медленно!», и его хрипящее сердце стремилось остановиться. Повиноваться ее манящим и щекочущим пальцам.

И вдруг Чарльз Хэлоуэй фыркнул. Тихонько захихикал...

Он ухватился за это. Почему? Почему я... хихикаю... в такое время!?!..

И тут же Ведьма уменьшилась примерно на четверть, это выглядело так, словно она сунула мокрые пальцы в розетку и ее ударило током.

Чарльз Хэлоуэй увидел, но не мог рассмотреть что произошло, почувствовал, но не мог убедиться в этом, ибо, почти мгновенно она бросилась вперед и принялась молча, не прикасаясь к нему, рисовать у его груди какие-то знаки, словно пытаясь с помощью чар остановить маятник часов.

— Медленно! — закричала она.

И тут бессмысленная, дурацкая, глупая улыбка, возникшая непонятно почему при воспоминании о воздушном шаре, с беззаботной легкостью остановилась на его губах.

— Совсем медленно!

Этот страх, это ее возбуждение и тревога, сменившиеся злобой, были для него не более, чем занятая головоломка» С небывалым любопытством он потянулся вперед, чтобы разглядеть и изучить каждую пору на ее лице, напоминавшем шутовскую маску, сделанную к празднику Всех святых. И тут же первая мысль, неожиданно пришедшая в голову, была: ничто не имеет значения. Жизнь в самом конце вдруг оказалась шуткой, но шутка эта была такая огромная, что ее следовало выставить в конце коридора, чтобы охватить взглядом и оценить ее бессмысленную длину и не имевший никакого значения вес; эта гора обладала такой нелепой необъятностью, что вы казались карликом в ее тени; и могли лишь потешаться над ее помпезностью. Сейчас, совсем рядом со смертью, в каком-то оцепенении, но очень четко он думал о миллиарде мелочей, совершаемых в жизни, о приездах и отъездах, познавательных поездках, когда он был мальчиком, юношей, затем мужчиной. Он собирал и складывал в кучу все свои недостатки, злые умыслы, игрушки тщеславия, среди дурацких книг, в которых остались безделушки, наполнявшие его жизнь.

И все же там не было ничего более абсурдного чем эта, называемая Цыганской Ведьмой, Читательницей Пыли, щекочущей, вот что, *щекочущей* воздух! Дурак! Она же не знает, что делает!

Он открыл рот.

И тут у него изо рта вырвался один-единственный хриплый смешок.

Ведьма отпрянула назад.

Чарльз Хэлоуэй не видел этого. Он был далеко отсюда и слишком поглощен, позволив шутке просочиться сквозь пальцы, выдохнув по собственной воле веселье, зажмурил глаза; веселье и шутка разорвались как шrapнель и ударили во все стороны.

— Ты! — закричал он, обращаясь ни к кому, ко всем, к самому себе, к ней, к ним, к этому, ко всему на свете. — Потеха! Ты!

— Нет, — запротестовала Ведьма.

— Прекрати щекотать! — задыхаясь, приказал он.

— Нет! — обезумев, она ринулась назад. — Нет! Спи! Медленно! Очень медленно!

— Щекотка — это да, это да! — захохотал он. — Ох-ха-ха! Стой же!

— Да, *останови* сердце! — взвизгнула она. — *Останови* кровь!

Ее собственное сердце тряслось, должно быть, как бубен, руки дрожали. Она замерла, осознав вдруг, что пальцы не повинуются ей, они поглупели.

— Бог мой! — он разрыдался прекрасными радостными слезами. — Оставь мои ребра, ох-ха-ха, бейся, бейся, мое сердце!

— Твое сердце, дааааа!

— Господи! — внезапно он широко раскрыл глаза, жадно глотнул воздух и словно мыльной водой вымыл все вокруг до невероятной чистоты и прозрачности. — Игрушка! — хохотал он. — Из твоей спины торчит ключ! Кто тебя завел?

И громоподобный хохот обрушился на женщину, обжег ее руки, опалил лицо, или, быть может, так показалось, потому что она подскочила, будто ошпаренная, пытаясь остудить свои опаленные руки, она сжала свои иссохшие груди, отскочила назад, на минуту остановилась и начала медленно отступать, проталкиваясь дюйм за дюймом, фут за футом, гремя книжными полками и стеллажами, нащупывая корешки томов, вырывая их с полок и обрушивая на пол. Бестолковые истории, надоевшие своему времени, многообещавшие, но не оправдавшие обещаний годы ударялись об ее лоб.

Затем она понеслась сломя голову, побежденная, преследуемая хохотом, которому

вторило эхо, и он звенел, плыл, заполнял мраморные подвалы, где она мчалась вихрем, расталкивая ревуший воздух, и с грохотом свалилась со ступенек.

Минутой позже она все же ухитрилась протиснуться через парадную дверь, и та *захлопнулась* за ней!

Ее бегство, падение и стук двери истощили его силы, он хохотал до изнеможения.

— О Боже, Боже, помоги мне остановиться! — умолял он свой необузданный хохот.

Наконец, хохот начал стихать, стал замирать в искреннем смехе, сменившемся приятным смешком, напоминавшем кудахтанье, затем слабым хихиканьем и просто глубоким дыханием, принесшим удовлетворение, и счастливо-утомленным покачиванием головой; и в ходе этих перемен, совершавшихся в горле и в груди, страшная боль в руке ослабевала и вскоре ушла совсем. Он лег возле стеллажей, положив голову на какую-то милую, видимо, очень добрую книгу, оросил ее слезами избавления и радости, заливавшими его щеки, и внезапно понял, что Ведьма исчезла.

Почему? — удивился он. — *Что же я сделал?*

С последним радостным восклицанием он медленно поднялся.

Что же случилось? О Господи, помоги! Сначала нужно лекарство, полдюжины таблеток аспирина, чтобы хоть на час успокоить руку, а потом *подумать*. В последние пять минут ты что-то выиграл, ведь так? Какая же победа похожа на эту? Думай! Попытайся вспомнить!

И, улыбаясь он оглядел нелепую левую руку, напоминавшую мертвого зверька, покоившегося на правой, согнутой в локте руке, затем спустился вниз в ночные коридоры и вышел в город...

Маленькое шествие беззвучно двигалось мимо вечно вращающегося нескончаемого серпантина на рекламном столбе парикмахерской мистера Кросетти, мимо гасящих огни или уже темных магазинов по опустевшим улицам, — люди уже разошлись по домам после вечерни или последнего представления на карнавале.

Уиллу казалось, что его каблуки стучат по тротуару где-то далеко внизу. Раз, два, раз, два, считал он про себя и думал: кто-то говорит мне: левой, правой, левой, правой... Это стрекоза шепчет: раз-два, раз-два...

И Джим тут? Уилл взглянул в сторону. Точно! Но кто там еще, такой маленький? Пропавший сумасшедший, в каждой дыре затычка, всюду сует свой нос, — Карлик? И рядом Скелет. И тогда позади, кто эти сотни, нет, тысячи людей, шагающие по пятам, дышащие в затылок?

Разрисованный Человек.

Уилл кивнул и заскулил высоко, почти неслышно, так что его могли услышать только собаки, совершенно беспомощные, бессловесные.

И посмотрев наискось через улицу, он увидел не одну, не двух, а трех собак, заинтересованных событием и составивших собственную процессию, которая то опережала шествие, то замыкала его, и их хвосты развевались как флажки полицейского отряда сопровождения.

Лайте! — подумал Уилл, глядя на все, словно на киноэкран. Лайте, зовите полицию!

Но собаки лишь улыбались в ответ и продолжали бежать.

Совпадение, подумал Уилл, ну, пожалуйста, одно *маленькое* совпадение!

Мистер Тетли! Да! Уилл видел, но не видел мистера Тетли! Он вкатывал деревянного индейца в магазин, закрывавшийся на ночь!

— Поверните головы, — проворчал Разрисованный Человек.

Джим повернул голову. Уилл тоже повернул голову.

Мистер Тетли улыбнулся.

— Улыбайтесь, — прошептал мистер Дак.

Оба мальчика улыбнулись.

— Привет! — сказал мистер Тетли.

— Скажите «Привет!» — зашептал им кто-то.

— Привет, — сказал Джим.

— Привет, — сказал Уилл.

Собаки залаяли.

— Бесплатные посещения карнавала, — шепнул мистер Дак.

— Бесплатные посещения... — сказал Уилл.

— Карнавала! — прогготал Джим.

Затем, словно хорошо отлаженные машины, они разом прекратили улыбаться.

— Веселитесь на здоровье! — пожелал всем мистер Тетли.

Собаки весело залаяли.

Шествие проследовало мимо.

— Забавно, — сказал мистер Дак. — Бесплатная карусель. Когда все разойдутся по домам, через полчаса, мы прокатим Джима на карусели. Ты все еще *хочешь* покататься, Джим?

Слышавший и не слышавший эти слова, замкнутый в себе, Уилл подумал: Джим, не слушай!

Глаза Джима блуждали, и было трудно определить, какие они, мокрые от слез или просто блестящие.

— Ты будешь путешествовать с нами, Джим; и если мистер Кугер не выживет (а это вполне вероятно, ведь мы еще не спасли его, хотя еще раз, пожалуй, попробуем), так вот, если он не выживет, Джим, как ты насчет того, чтобы мы стали партнерами? Я сделаю так, чтобы ты подрос до самого замечательного возраста, а? Двадцать два? Двадцать пять лет? Дак и Найтшейд, Найтшейд и Дак — прекрасные имена для таких, как вы и для таких представлений, с которыми мы объедем весь мир! Что скажешь, Джим?

Джим ничего не ответил, погруженный в навеянный Ведьмой сон.

Не слушай! — вопил про себя его лучший друг, который ничего не слышал, но услышал все.

— А Уилл? — спросил мистер Дак. — Давай крутанем его назад и еще раз назад, а? Превратим его в грудного младенца, в беби для Карлика, пусть он таскает этого клоуна-младенца, показывает в представлениях каждый день во все следующие полвека; как тебе это понравится, Уилл? Вечно быть младенцем? Не способным болтать и рассказывать все те прелестные вещицы, которые ты знаешь? Да, я думаю, это лучше всего. Игрушка, маленький обмочившийся дружок для Карлика!

Уилл, должно быть, завопил от ужаса.

Но не вслух.

И только собаки залаяли в ужасе, словно их забросали камнями.

Из-за угла показался человек.

Полисмен.

— Кто это? — пробормотал мистер Дак.

— Мистер Колб, — сказал Джим.

— Мистер Колб, — сказал Уилл.

— Игла, — прошептал мистер Дак, — стрекоза.

Уши Уилла пронзила боль. Глаза заросли мхом. Клей схватил зубы.

Он почувствовал, как что-то хлопает и машет возле лица, которое снова совершенно онемело.

— Скажи мистру Колбу: «Здравствуйте».

— Здравствуйте, — сказал Джим

—. Колб, — проговорил сквозь дрему Уилл.

— Привет, ребята, джентельмен.

— Повернитесь сюда, — приказал мистер Дак.

Они повернулись.

Они обернулись лицом к лугам, отвернулись от приветливых городских огней, от безопасных улиц и влились в безмолвный марш участников карнавала.

Растянувшаяся на мило беспорядочная процессия теперь двигалась в следующей последовательности:

По краю дороги, тяжело ступая негнушимися ногами по траве, шли Джим и Уилл, окруженные доброжелателями, которые без умолку расхваливали им иглу-стрекозу, приносящую чудодейственную пользу.

За добрые полмили позади, пытаясь догнать процессию, ковыляла, таинственным образом раненая Цыганка, у которой даже узор на пальцах символизировал пыль.

И еще дальше шел привратник отец, он то отставал, отвлеченный воспоминаниями далекого прошлого, то по-молодому ускорял шаг, когда думал о первой короткой схватке и неожиданной победе. Прижимая к груди левую руку, он на ходу жевал таблетки.

Мистер Дак на обочине оглянулся, словно некий внутренний голос поименно назвал ему отставших солдат, участвовавших в нынешнем маневре. Но голос затих, и он не был вполне уверен в том, что услышал. Он резко кивнул, и Карлик со Скелетом, не отпуская от себя Джима и Уилла, продрались через толпу прохожих.

Джим чувствовал, как поток веселых жизнерадостных людей омывает все вокруг, но не прикасается к нему. Уилл слышал чей-то смех, шумевший как водопад, и шел сквозь этот ливень веселья. Целый рой светлячков танцевал в небе; чертово колесо, освещенное грандиозным фейерверком распростерлось над ними.

Затем они оказались возле Зеркального Лабиринта и неуверенно пошли, сталкиваясь, наклоняясь и скользя по разлившимся перед ними ледяными прудами, в которых ужаленные мальчики, очень похожие на них самих, появлялись и исчезали тысячи раз.

Это я! — думал Джим.

Но я не могу помочь себе, подумал Уилл, и не имеет значения, сколько там моих отражений!

Толпа мальчиков, толпа отраженных рисунков, кишевших на теле мистера Дака, поскольку он снял пальто и рубашку, переполняли теперь лабиринт и двигались к восковым фигурам, выставленным в его конце.

— Сядьте, — приказал мистер Дак. — Оставайтесь тут.

Среди восковых фигур, среди убитых, застреленных, гильотинированных, задушенных мужчин и женщин, два мальчика сидели как египетские кошки, они не шевелились, не мигали и не глотали.

Несколько поздних посетителей с веселым смехом прошли мимо.

Они рассуждали о восковых фигурах.

Они не заметили тонкую струйку слюны, протянувшуюся в уголке рта одного из «восковых» мальчиков.

Они не заметили живого взгляда второго «воскового» мальчика, глаза которого до краев наполнились чистой влагой, и капля скользнула вниз по щеке.

А снаружи Ведьма ковыляла, пробираясь через заграждения из колышков и веревок-растяжек между шатрами.

— Леди и джентльмены!

Ночная толпа, состоявшая из трех или четырех сотен заядлых любителей зрелищ, как по команде повернулась на голос.

Разрисованный Человек, обнаженный до пояса, весь в кошмарных змеях, саблезубых тиграх, сладострастных человекоподобных обезьянах, хищниках, готовых к прыжку, весь оранжево-розовый, зелено-желтый, возвестил:

— Последнее бесплатное представление этого вечера! Спешите! Спешите!

Толпа ринулась к главным подмосткам, расположенным около балагана уродов, где уже стояли Карлик, Скелет и мистер Дак.

— Самый Поразительный, Опасный, часто Роковой, Всемирно известный ТРЮК С ПУЛЕЙ!

Толпа удивленно загалдела.

— Будьте любезны, винтовки!

Тощий человек с грохотом приволок и показал зрителям блеснувший стволами арсенал.

Ведьма замерла, когда мистер Дак громогласно объявил:

— А вот и наш смертетушитель, ловец пуль, рискующая собственной жизнью — мадемуазель Таро!

Ведьма затрясла головой, заскулила, но рука мистера Дака подхватила ее и как ребенка вытолкнула на подмостки; Ведьма упиралась, но Дак вышел вперед и продолжил:

— Пожалуйста, кто желает выстрелить! Прошу!

Толпа смущенно заволновалась.

Губы мистера Дака едва заметно шевельнулись. Вполголоса он спросил у Ведьмы: «Часы остановлены?»

— Нет, — захныкала она, — не остановлены.

— Нет? — он едва не взорвался.

Он бросил на нее испепеляющий взгляд, затем повернулся к зрителям и с треском провел пальцами по стволам винтовок.

— Желающие, пожалуйста!

— Остановите представление, — ломая руки, сдавленно крикнула Ведьма.

— Оно продолжается, будь ты проклята, — трижды проклята, — свирепо прошептал он.

Затем Дак незаметно собрал пальцами кожу на запястье, где красовалось изображение черной монахини, слепой женщины, и принялся давить и щипать его ногтями.

Ведьма скорчилась в судорогах, прижала руки к груди, заскрежетала зубами, застонала и затем вполголоса прошипела: «Спасибо!»

Толпа молчала.

Мистер Дак быстро кивнул.

— Я вижу, желающих нет... — он почесал разрисованное запястье. Ведьма содрогнулась. — в таком случае» представление отменяется и...

— Есть! Есть желающий!

Толпа повернулась на голос.

Мистер Дак отшатнулся, потом спросил:

— Где?

— Здесь.

Довольно далеко, у самого края толпы поднялась рука, и толпа расступилась.

Мистер Дак отчетливо видел одиноко стоящего мужчину.

Чарльз Хэлоуэй, горожанин, отец, супруг, склонный к самоанализу, ночной странник и привратник городской библиотеки.

Удовлетворенный рокот толпы затих.

Чарльз Хэлоуэй не двигался.

Он подождал, пока зрители расступились и открылся проход до самых подмостков.

Он не мог видеть выражение лиц стоявших на них уродов. Он окинул взглядом толпу и затем отыскал Зеркальный Лабиринт, наполненный пустым забвением, манивший отражениями, пробежавшими десять раз по тысяче миллионов световых лет, забвение перехватывало их, дважды перевертывало, глубоко погружая в ничто, лица падали в ничто, и желудок с тошнотворной тяжестью тоже обрывался в ничто.

Но, однако, почему в этих покрытых серебром стеклах не было отражений двух мальчиков? Почувствовал или не почувствовал он трепетными кончиками ресниц, если не самими глазами, их шествие по лабиринту, их ожидание там, позади зеркал, теплый воск их тел, среди стеклянного холода, ожидание минуты, когда их заведут ключом страха, ожидание возможности бегства?

Нет, сдержал себя Чарльз Хэлоуэй, об этом потом. Начнем-ка с другого!

— Иду! — крикнул он.

— Добро пожаловать, папаша! — сказал человек.

— Да, — ответил Чарльз Хэлоуэй. — Я сейчас.

И он прошел через толпу вперед.

Ведьма медленно завертелась, замороженная приближением ночного странника. Под темными стеклами очков дернулись ее веки, прошитые черными вошными нитками.

Мистер Дак, заполненный изображениями, составляющими целую цивилизацию, наклонился с подмостков, сияясь приветливо улыбнуться. Огненные колеса фейерверка крутились в его глазах: что, что, что?

И стареющий привратник с застывшей улыбкой, открывшей ряд целлулоидно-белых зубов, словно с рекламы печенья «Крекер Джек», продвигался вперед, и толпа расступалась перед ним, как море перед Моисеем, и смыкалась позади него, еще не понимающего, что же делать? Зачем он здесь? Но он твердо и уверенно пробирался вперед.

И вот нога Чарльза Хэлоуэя встала на первую ступеньку подмостков.

Ведьма дрожала.

Почувствовав это, мистер Дак бросил на нее резкий взгляд. Затем быстро наклонился, пытаясь подхватить пятидесятичетырехлетнего мужчину под здоровую правую руку.

Но пятидесятичетырехлетний мужчина не позволил не только взять себя за руку, но даже прикоснуться к себе, он покачал головой и бросил:

— Благодарю вас, не надо.

Поднявшись на подмостки, Чарльз Хэлоуэй помахал собравшимся.

В ответ раздались одобрительные хлопки.

— Но, — мистер Дак был поражен, — ваша левая рука, сэр... вы не сможете держать винтовку, целиться и стрелять одной рукой!

Чарльз Хэлоуэй побледнел.

— Я сделаю это, — сказал он. — Одной рукой.

— Ура! — закричал мальчишка внизу у подмостков.

— Валяй, Чарли! — раздался мужской голос.

Толпа засмеялась, зааплодировала еще громче, и мистер Дак покраснел. Он поднял руки, чтобы загородиться от волны ободряющих выкриков, хлынувших со стороны зрителей.

— Хорошо, хорошо! Посмотрим, *сможет* ли он это сделать!

Разрисованный Человек свирепо щелкнул затвором и швырнул винтовку смельчаку.

Толпа изумленно ахнула.

Чарльз Хэлоуэй напрягся. Он поднял правую руку. Винтовка шлепнулась на ладонь. Он сжал ее. Она не упала. Его движения были точны и уверенны.

Зрители заулюлюкали, осуждая поведение мистера Дака, и тот вынужден был на миг отвернуться, молча проклиная себя.

Отец Уилла, сияя, поднял винтовку.

Толпа неистовствовала.

И пока волна аплодисментов нахлынула, разбилась и откатилась назад, он снова посмотрел на лабиринт, где, хоть и не увидел, но почувствовал, смутные тени Уилла и Джима, зажатые между титаническими гранями отражений и иллюзий, затем он снова встретился взглядом с мистером Даком, смотревшим на него словно Медуза, посмотрел на слепую взволнованную монахиню полночи, робко пробирающуюся по подмосткам. Теперь она стояла в их дальнем конце, прижимаясь к красно-черному кругу мишени.

— Мальчик! — крикнул Чарльз Хэлоуэй.

— Эй, кто-нибудь! — закричал он.

Несколько мальчиков в толпе нерешительно приподнялись на носках.

— Мальчик! — крикнул Чарльз Хэлоуэй. — Подержи. Мой сын, вон там! Он будет добровольцем, *верно*, Уилл?

Ведьма взметнула вверх руку, чтобы определить меру отчаянной смелости, которая как взрывная волна ударила со стороны пятидесятичетырехлетнего мужчины. Мистер Дак завертелся волчком, словно пораженный метким выстрелом.

— Уилл! — позвал отец.

Уилл сидел, застывший, в Музее восковых фигур.

— Уилл! — еще раз позвал отец. — Иди сюда, сынок!

Толпа посмотрела налево, посмотрела направо, оглянулась назад.

Ответа не было.

Уилл сидел в Музее восковых фигур.

Мистер Дак наблюдал за всем этим уже с некоторым уважением, даже с известной долей восхищения, хоть и не без досады; казалось, он так же, как и отец Уилла, ждал, что же будет.

— Уилл, иди же, помоги своему старику! — весело крикнул мистер Хэлоуэй.

Уилл сидел в Музее восковых фигур.

Мистер Дак улыбнулся.

— Уилл! Уилли! Иди сюда!

Ответа не было.

Мистер Дак улыбнулся еще шире.

— Уилли! Разве ты не слышишь своего старого папу?

Мистер Дак перестал улыбаться.

Ибо эту последнюю фразу произнес чей-то голос из толпы.

В толпе засмеялись.

— Уилл! — позвала женщина.

— Уилли! — позвал кто-то еще.

— Йо-хо-хо! — закричал какой-то джентльмен.

— Иди же, Уильям! — подхватил мальчишеский голос.

В толпе смеялись все громче, весело толкаясь локтями.

Чарльз Хэлоуэй звал. *Они* звали. Чарльз Хэлоуэй кричал в даль. *Они* кричали в даль.

— Уилл! Уилли! Уильям!

Тень шевельнулась и закачалась в зеркалах.

Ведьма покрылась каплями пота, вспыхнувшими на свету как хрустальные подвески.

— Там!

Крики в толпе прекратились.

Чарльз Хэлоуэй тоже замолк, не решаясь больше произнести имя сына.

Ибо Уилл стоял у входа в лабиринт, подобно восковой фигуре, в которую он почти превратился.

— Уилл... — тихо позвал отец.

При этом звуке Ведьма вспотела еще больше.

Уилл как слепой двинулся через толпу.

И, опустив винтовку вниз: словно палку, чтобы мальчик уцепился за нее, отец помог ему взобраться на помост.

— Вот моя левая рука! — объявил отец.

Уилл не видел и не слышал, как толпа взорвалась неистовыми аплодисментами.

Мистер Дак не двигался, хотя Чарльз Хэлоуэй все это время наблюдал за ним, в его голове изрыгали пламя и грохотали пушки, но каждый выстрел лишь слабо шипел и тут же угасал. Мистер Дак не мог догадаться, что он замышлял. И уж коли на то пошло, и сам Чарльз Хэлоуэй еще не знал этого. Все происходило так, словно он написал эту пьесу много лет назад, сидя ночами в библиотеке, потом изорвал текст и вот сейчас пытался вспомнить написанное. Он полагался на тайные открытия в самом себе, обнажая миг за мигом, играя звуковыми воспоминаниями, нет! раскрывая перед собой собственное сердце и душу! И... *теперь?!*

Его сверкающая улыбка, казалось, нарушила слепоту Ведьмы! Невозможно! Она подняла руку к своим темным очкам, к зашитым векам.

— Попрошу всех подойти поближе! — предложил отец Уилла.

Толпа сбилась вокруг помоста. Подмости казались теперь островом среди людского моря.

— Смотрите на мишень!

Ведьма медленно таяла внутри своих лохмотьев.

Разрисованный Человек посмотрел налево и не ощутил обычного удовольствия от Скелета, который выглядел еще более тощим; не порадовал его и Карлик, стоявший справа и пребывавший в состоянии полного идиотизма и сумасшествия.

— Будьте любезны, пулю! — дружелюбно попросил отец Уилла.

Тысяча рисунков на подрагивающем, как у лошади теле мистера Дака не слышала просьбы, так почему бы расслышать ее самому мистеру Даку?

— Будьте любезны, — повторил Чарльз Хэлоуэй, — пулю! — И добавил смиренно. — Чтобы я мог попасть в блоху на старой цыганской бородавке!

Уилл стоял неподвижно.

Мистер Дак колебался.

В волнующемся людском море то тут, то там вспыхивали улыбки — сто, двести, триста белозубых улыбок, словно огромная приливная волна, поднятая лунным притяжением. Затем начался отлив.

Разрисованный Человек медленно протянул пулю. Его рука напоминала ленивую струю черной патоки, нехотя вытекающую из посуды; он протягивал пулю мальчику и одновременно наблюдал, заметит ли он; мальчик не заметил.

Но пулю взял его отец.

— Отметьте ее своими инициалами, — бросил мистер Дак привычную фразу.

— Нет, сделаем по-другому! — Чарльз Хэлоуэй вложил пулю в руку сына, чтобы тот ее подержал, а сам здоровой рукой достал перочинный нож, чтобы вырезать на пуле некий знак.

Что происходит? — подумал Уилл. — Я знаю, что происходит. Или я не знаю. Что же?

Мистер Дак увидел на пуле полумесяц, не счел это нарушением правил и зарядил ею винтовку, которую бросил отцу Уилла, и тот во второй раз ловко подхватил ее.

— Уилл, ты готов?

Свежее как персик лицо мальчика было сонным, — он то и дело клевал носом.

Чарльз Хэлоуэй в последний раз быстро взглянул на лабиринт и подумал: Джим, ты все еще там? Приготовься!

Мистер Дак повернулся было, чтобы пойти ободрить свою старую пыльную подругу, но остановился, услышав клацанье затвора; это отец Уилла достал патрон с пулей, чтобы убедить зрителей, что винтовка действительно заряжена. Это выглядело достаточно естественно, но преследовало еще и другую цель — когда-то давным-давно он читал, что в подобных случаях применялись поддельные пули, сделанные из воскового карандаша свинцового цвета. После выстрела такая пуля превращается в дым и пар, не успев вылететь из ствола. Разрисованный Человек, ловко подменивший пулю, уже сунул настоящую, отмеченную полумесяцем, в дрожащие пальцы Ведьмы. Она должна была спрятать ее за щекой. При выстреле она бы притворно дернулась, словно от удара пули, а затем «обнаружила» бы ее, выхватив из-за своих желтых крысиных зубов. Фанфары! Аплодисменты!

Разрисованный Человек, обернувшись на клацанье затвора, увидел Чарльза Хэлоуэя, державшего восковую пулю. Но вместо того, чтобы раскрыть подвох, Чарльз Хэлоуэй просто сказал:

— Давай-ка прорежем нашу метку поглубже, чтобы было лучше видно, а, малыш?

Он положил пулю в бесчувственную руку сына, достал перочинный нож, пометил восковую пулю тем же таинственным полумесяцем и загнал обратно в ствол винтовки.

— Готовы?!

Мистер Дак посмотрел на Ведьму.

Та некоторое время колебалась, потом слабо кивнула.

— Готов! — объявил Чарльз Хэлоуэй.

Вокруг ничего не изменилось — так же стояли балаганы и шатры, волновалась толпа зрителей, озабоченно суетились уроды, в страхе замерла Ведьма, спрятанный Джим должен был отыскаться, древняя мумия, раскаленная голубым огнем, все еще сидела на электрическом стуле, карусель ждала, когда кончится представление, толпа разойдется, и карнавал продолжит свой путь с мальчиками и привратником библиотеки, по возможности обманутым и одиноким.

— Уилл, — доверительно обратился Чарльз Хэлоуэй к сыну, поднимая потяжелевшую вдруг винтовку, — я положу ствол тебе на плечо. Поддерживай его рукой за середину, только осторожней. Бери, Уилл. — Мальчик поднял руку. — Так, сынок. Когда я скажу «Держи», удержи дыхание. Слышишь?

Голова мальчика едва заметно кивнула. Он спал. Он видел сон. Сном был кошмар. Кошмаром было происходящее.

Сквозь сон он услышал выкрик отца:

— Леди! Джентльмены!

Разрисованный Человек сжал кулак. Портрет Уилла, затерянный в нем, был раздавлен, как цветок.

Уилл скорчился.

Винтовка упала.

Чарльз Хэлоуэй сделал вид, что ничего не заметил.

— Я и Уилл в качестве моей здоровой левой руки хотим сделать один и только один самый опасный, подчас смертельный трюк с пулей!

Аплодисменты. Смех.

Пятидесятичетырехлетний привратник, словно сбросив несколько лет, быстро и ловко положил винтовку обратно на дрожащее плечо сына.

— Ты слышишь меня, Уилл? Слушай! Это для нас!

Мальчик слушал. Мальчик успокаивался.

Мистер Дак опять сжал кулак.

Уилл слегка задрожал.

— Мы попадем в самое яблочко, не так ли, сынок! — сказал отец.

Зрители одобрительно засмеялись.

А мальчик вдруг успокоился, ощущая на плече винтовку, а мистер Дак все сильнее стискивал покрытое персиковым пушком лицо, нарисованное на ладони, однако это больше не действовало, мальчик оставался спокоен среди смеха, который разливался вокруг, и тогда отец, придерживая приклад винтовки, громко сказал:

— А ну-ка, покажи свои зубы, Уилл!

Уилл растянул губы в улыбке, показывая зубы старухе, стоявшей около мишени.

Кровь отлила от лица Ведьмы.

Теперь и сам Чарльз Хэлоуэй улыбался во весь рот.

Словно стужа сковала Ведьму.

— Ну, парень, — сказал кто-то в толпе, — да это просто здорово. Гляди, как испугалась! Смотри!

Я-то вижу, думал отец Уилла. Его левая рука беспомощно висела, а правая касалась пальцем спускового крючка винтовки; он прицеливался, пока сын твердо держал ствол, направленный в лицо Ведьмы. И вот наступил последний миг, и в патроннике была восковая пуля, но что могла сделать восковая пуля? Эта пуля испарится в полете, какая от нее польза? Зачем они здесь, что они могут сделать? Глупо, глупо!

Нет! — подумал отец Уилла. — Стоп!

Он отбросил сомнения.

Он почувствовал, что губы беззвучно произносят слова.

Однако Ведьма услышала все.

В угасающем хохоте толпы, прежде чем согревающий звук смеха пропал полностью, он

произнес эти слова одними губами.

«Лунный полумесяц, которым я пометил пулю, вовсе не полумесяц».

«Это моя собственная улыбка».

«Я зарядил винтовку моей улыбкой».

Он произнес это один раз.

Он ждал, пока она поймет.

Затем он еще раз повторил свои слова.

И секундой раньше, чем Разрисованный Человек разгадал движения его губ, Чарльз Хэлоуэй слабо воскликнул: «Держи!», и Уилл задержал дыхание. Вдали, запрятанный среди восковых фигур, сидел Джим, и слюна капала с его подбородка. Притянутая ремнями к электрическому стулу, ни живая, ни мертвая мумия сдерживала зубами гудящую энергию. Рисунки на теле мистера Дака корчились от боли, залитые болезненным потом, когда он в последний раз стиснул кулак, но было слишком поздно! Совсем спокойный Уилл задержал дыхание, поддерживая винтовку. Совсем спокойно его отец сказал: «Сейчас». И выстрелил.

Один выстрел!

Ведьма со свистом вздохнула.

Вздохнул Джим в Музее восковых фигур.

И спящий Уилл.

И его отец.

И мистер Дак.

И все уроды.

И толпа.

Ведьма завопила.

Джим, сидевший среди восковых манекенов, выдохнул из легких весь воздух.

Уилл пронзительно закричал и проснулся.

Разрисованный Человек со злобным громким криком выдохнул воздух и поднял руку, чтобы остановить события Но Ведьма упала. Она упала с подмостков. Она упала в пыль.

С дымящейся винтовкой в здоровой руке Чарльз Хэлоуэй медленно выдохнул, ощущая каждую частицу воздуха, выходящую из легких. Он все еще смотрел через прицел на мишень, где только что была женщина.

Стоя на краю помоста, мистер Дак смотрел на вопящую толпу и прислушивался к выкрикам.

— С ней обморок...

— Нет, она просто поскользнулась!

— Она... застрелена!

Наконец, Чарльз Хэлоуэй подошел и встал рядом с Разрисованным Человеком, посмотрел вниз. Противоречивые чувства отразились на его лице: удивление, тревога, даже испуг, и некоторое странное облегчение и удовлетворение.

Женщину подняли и уложили на подмостках. Ее рот застыл в беззвучном крике, и лицо было таким, словно она радовалась тому, что произошло.

Он знал, что она мертва. Через мгновение и зрители узнали бы об этом. Он наблюдал,

как рука Разрисованного человека опустилась, чтобы дотронуться, проследить, почувствовать угасшую жизнь. Затем мистер Дак поднял ее за обе руки, как куклу, дергал, словно марионетку, стараясь заставить ее двигаться. Но тело отказывалось оживать.

Тогда он подал одну руку Ведьмы Карлику, другую Скелету, и они трясли, двигали ими, пытаясь создать видимость пробуждения, в то время как толпа зрителей пятилась назад.

— ...мертвая...

— Но... раны-то нет...

— Думаешь, просто шок?

Шок, думал Чарльз Хэлоуэй. Боже мой, неужели *это* убило ее? Или другая пуля? Когда я выстрелил, неужто *другая* пуля попала ей в горло? неужели она... подавилась моей улыбкой! Господи Иисусе!

— Все в порядке! Представление окончено! Она просто в обмороке! — объявил мистер Дак. — Представление окончено! — Он говорил, не обращая внимания на женщину, не глядя на толпу, но внимательно рассматривая Уилла, который стоял, оглядываясь по сторонам; выйдя из одного кошмара, он очутился в другом, и тут отец встал с ним рядом, а мистер Дак закричал:

— Все по домам! Представление окончено! Свет! Уберите свет!

Карнавальные огни замерцали.

Зрители, столпившиеся под слабеющим светом, повернулись как огромная карусель, и когда лампы совсем погасли, заторопились к нескольким оставшимся поодаль заводям света, словно надеясь погреться в них, прежде чем выйти на холодный ветер. Один за другим, один за другим огни угасали.

— Гасите свет! — крикнул мистер Дак.

— Прыгай! — сказал отец Уилла.

Уилл прыгнул. Уилл побежал вместе с отцом, который так и не выпустил из руки винтовку, выстрелившую улыбкой, сразившей цыганку и уложившей ее в пыль.

— Джим там?

Они были около лабиринта. Позади на подмостках бушевал мистер Дак:

— Убрать огни! Проваливайте домой! Все окончено!

— Неужели Джим там? — удивлялся Уилл. — Да, да, он там!

В Музее восковых фигур Джим не двигался, не мигал.

— Джим! — голос пронизал лабиринт.

Джим пошевелился. Джим моргнул. Задняя дверь, выход, была распахнута. Джим ощупью продвигался в ее сторону.

— Я иду за тобой, Джим!

— Нет, папа!

Уилл удержал отца, который стоял у первого поворота зеркал, чувствуя, как боль возвращается в руку, боль бежала вверх, чтобы взорваться около сердца, как шаровая молния.

— Папа, не ходи туда!

Уилл схватил его за здоровую руку.

Позади них опустели подмостки, мистер Дак убежал... Куда? Куда-то, где ночь поглотила свет, где все огни погасли, погасли, погасли, где все вокруг погрузилось в свистящую темноту, и толпа зрителей, словно листья, которые сдуло с огромного дерева, покатились по дороге; и отец Уилла стоял перед волнами стеклянных шквалов, бушующих в лабиринте, его рука была зажата в стальную рукавицу боли, и он знал, что ему придется

плыть через волны ужаса, чтобы бороться против того, кто ждал там, чтобы уничтожить его. Он видел уже достаточно много, чтобы знать. С закрытыми глазами можно было заблудиться. Но он знал, что с открытыми же глазами на него навалится такое отчаяние, такая мука, что невозможно будет миновать двенадцатый поворот. Но Чарльз Хэлоуэй отстранил руку Уилла.

— Джим там. Джим, жди меня! Я иду к тебе!

И Чарльз Хэлоуэй шагнул вглубь лабиринта.

Впереди струились потоки серебряного света, лежали пласты глубоких теней в зеркалах, отполированных, вытертых, промытых их собственными образами и отражениями других людей, чьи души, проходя мимо, чистили стекло своей агонией, полировали холодный лед своей самовлюбленностью или сглаживали углы и грани потом страха.

— Джим?

Он побежал. Уилл тоже побежал. Вдруг они остановились.

Огни в лабиринте тускнели, они угасали один за другим, они изменяли цвет, который становился синим, затем ослепительным сиреневым цветом летней молнии, затем свет вспыхнул словно тысячи старинных свечей под порывом ветра.

И между Чарльзом Хэлоуэем и Джимом, нуждающимся в спасении, стояла миллионная армия людей с болезненно искривленными ртами, с волосами цвета инея, с белыми бородами.

Они! Все они! — подумал он. — Это же я!

Папа! — подумал Уилл за его спиной, — не бойся. Это всего лишь ты. Все эти люди — всего лишь мой папа?

Но они не нравились ему. Они были старыми, слишком старыми и становились еще старше по мере того, как уходили дальше вглубь зеркал, они бешено жестикулировали, когда папа поднял руки, пытаясь отогнать этот дикий безумный повторяющийся бред.

Папа! — подумал он, — это же ты!

Но это было еще не все.

Огни погасли совсем.

Они, испуганные, стояли, стиснутые глухой душевной тишиной

Рука зарывалась в темноту, словно крот.

Рука Уилла.

Она погружалась в карман, рылась в нем, ощупывала, отвергая одно, выискивая другое, копала все глубже и глубже. Ибо он знал, что пока вокруг темно, этот миллион стариков мог увести, увлечь, схватить, уничтожить папу тем, что они *были!* В этом ночном безмолвии только за четыре секунды, пока он думал о них, они могли сделать с папой *все что угодно!* Если Уилл не поторопится, эти легионы из Будущего, все страхи и тревоги преходящей жизни станут так значительны, так зрелы, так правдивы, что невозможно стало бы отрицать — да, именно так папа выглядел бы завтра, послезавтра, через два дня и еще через много дней, и этот жуткий бег будущих лет раздавит папу!

Скорей же, скорей!

У кого карманов больше, чем у фокусника?

Только у мальчишки.

В чьих карманах всякой всячины *больше*, чем у фокусника? Только у мальчишки.

Уилл выхватил из кармана коробок спичек!

Боже, папа, скорей сюда!

Он чиркнул спичкой.

Охватившая их паника улеглась.

Они сгрудились вокруг них. Теперь, на свету, они широко раскрыли глаза, их рты изумленно покривились, как упали, когда они увидели собственные отражения, постаревшие, дрожащие, похожие на жуткие маскарадные маски. Стой! Кричало пламя спички. И тут же слева и справа, словно отряды стражей темноты, ворвались тени и бросились к этому губительному для них островку света в неистовом желании потушить спичку. Тогда они, дайте только срок, объединившись со злым роком, задушили бы этого старого, очень старого, слишком старого, ужасно старого человека.

— Нет! — сказал Чарльз Хэлоуэй.

Нет. Задвигался миллион мертвых губ.

Уилл ткнул спичкой. В зеркалах обезьянничавшие мальчишки повторили и умножили его движение.

— Нет!

Каждое зеркало отбросило копыя света, которые незримо впивались, проникая в самую глубину, отыскивая сердце, душу, легкие, чтобы заморозить кровь в жилах, перерезать нервы, парализовать, разрушить и отбросить как футбольный мяч сердце Уилла. Его отец, внезапно ослабев, упал на колени, и вслед за ним то же движение повторили его отражения в зеркалах, повторила толпа его ужасающих двойников, которые были старше, чем он сейчас, на неделю, на месяц, на два года, на двадцать, пятьдесят, семьдесят, девяносто лет! Каждую секунду, минуту и долгий послеполуночный час, в которые он мог сойти с ума, все тускнело, желтело, пока зеркала отражали его, пропускали сквозь себя, вытягивая из него кровь, иссушая его, почти безжизненного, а затем, кривляясь, угрожали превратить в могильную пыль, развеять по ветру его прах, похожий на мертвые крылья ночных бабочек.

— Нет!

Чарльз Хэлоуэй выбил спичку из рук сына.

— Папа, не делай этого!

Во вновь нахлынувшей темноте упрямое стадо стариков, бухая сердцами, продолжало двигаться вперед.

— Пап, мы должны *видеть*!

Уилл чиркнул второй, последней спичкой.

И в ее вспышке увидел, что папа совсем скорчился на полу, глаза зажмурены, кулаки стиснуты, это значит, что он и все остальные, все другие старики, едва погаснет огонь, должны будут тащиться, ковылять, ползти всю оставшуюся жизнь. Уилл схватил отца за плечо и стал трясти.

— О папа, папа, мне все равно, сколько тебе лет! Мне все равно! О папа, — рыдая, кричал он. — Я тебя люблю!

От этого крика Чарльз Хэлоуэй открыл глаза, увидел себя и других, таких же как он, и сына, поддерживающего его, увидел дрожащее пламя, увидел слезы, дрожавшие на его лице, и вдруг в памяти всплыл образ Ведьмы, ее поражение и его победа в библиотеке, все это смешалось со звуком выстрела, с полетом меченой пули, с волнами разбегающейся толпы.

Лишь мгновением дольше смотрел он на все свои отражения и на Уилла. Затем он едва слышно что-то произнес. Потом сказал чуть погромче.

И вот, наконец, он дал лабиринту, зеркалам и всему Времени, которое Позади, Вокруг, Сверху, Внизу или Внутри него самого, единственный возможный ответ.

Он широко раскрыл рот и закричал во всю мочь. Ведьма, если бы даже она ожила, узнала бы этот крик и умерла бы вновь.

Джим Найтшейд, пробравшись через заднюю дверь лабиринта, бросился бежать, затерялся среди карнавального городка, но вдруг остановился.

Разрисованный Человек, бежавший где-то между черных балаганов, остановился. Карлик замер.

Скелет обернулся.

Все прислушались.

Они слышали не крик, который издал Чарльз Хэлоуэй, нет.

Но ужасные звуки, следовавшие за ним.

Сначала одно единственное зеркало, а затем, после некоторой паузы, второе, затем третье, четвертое и еще, и еще, словно костяшки домино, выстроенные одна за одной, сбивали друг друга и валялись друг на друга, их поверхность мгновенно покрывалась паутиной трещин, ломавшей их жестокий взгляд, со звоном и треском они ломались и валялись на пол.

В минуту там образовалась эта неправдоподобная стеклянная лестница Иакова, сгибающаяся, разгибающаяся, отбрасывающая прочь образы, отпечатанные в зеркалах, словно на страницах книги света. В следующий миг все разлетелось вдребезги, будто врезавшийся в землю метеор.

Разрисованный Человек стоял как вкопанный, прислушиваясь к этому звону и грохоту, и вдруг почувствовал, что его собственные глаза, их кристальная поверхность покрылась трещинами и со звоном разбилась.

Это было, будто Чарльз Хэлоуэй снова стал мальчиком и пел в хоре в этом странном, дьявольском храме, и выводил самую прекрасную, самую высокую ноту добра и радости, которая сначала стряхнула с обратной стороны зеркал серебро, словно пыльцу с крылышек мотыльков, затем разрушила образы, таившиеся в зеркальных глубинах, затем превратила в руины и обломки само стекло. Дюжина, сотня, тысяча зеркал, и с ними старческие образы Чарльза Хэлоуэя обрушились на землю водопадом снега и лунного света.

И все из-за этого звука, который он образовал в своих легких, вывел в горло и выпустил изо рта.

И все потому, что он, наконец, принял все как есть; принял карнавал, принял холмы позади балаганов, людей на холмах, Джима и Уилла, и, главное, самого себя и свою жизнь, и, принимая, второй раз за ночь рисковал головой, и этим криком, этим звуком подтвердил, что принимает все это.

О чудо! Слово «иерихонская труба» его голос разрушил стекло вместе с призраками. Чарльз Хэлоуэй закричал и сотворил чудо. Он отнял руки от лица. Ясный свет звезд и умирающее сияние карнавала сомкнулись, даруя ему свободу. Отраженные в зеркалах

мертвецы исчезли, они похоронены под скользкие звуки цимбал среди брызг и стеклянного прибора, расплескавшегося у его ног.

— Свет... свет!

Кричал вдали чей-то голое.

Разрисованный Человек скрылся где-то среди балаганов и шатров.

Толпа зрителей разошлась.

— Папа, что ты *сделал*?

Но тут спичка обожгла пальцы Уилла и он уронил ее, однако теперь было достаточно тусклого света, струившегося вокруг, он увидел папу, который, ступая по звенящей неразберихе зеркального стекла, направлялся назад через опустевшие помещения, где недавно был лабиринт, а теперь не было ничего.

— Джим?

Дверь была распахнута. При свете бледной карнавальной иллюминации они успели увидеть восковые фигуры убийц.

Джима среди них не было.

— Джим?

Они смотрели на открытую дверь, через которую убежал Джим, чтобы затеряться в теплом сумраке ночи среди темных шатров.

И вот погасла последняя электрическая лампочка.

— Теперь мы *никогда* его не найдем, — сказал Уилл.

— Нет, — возразил из темноты отец, — мы найдем его.

Где? — подумал Уилл и остановился.

Далеко за дорогой скрипела карусель» орган-каллиопа вымучивал из себя музыку.

Там, подумал Уилл. Если Джим и есть где-нибудь» так непременно там, где музыка; старый смешной Джим, держу пари, что бесплатный билет на карусель все еще лежит у тебя в кармане! О, проклиная, проклиная, проклиная, закричал он, а затем подумал, нет! Нельзя проклинать, ведь он уже почти проклят! Но как же мы отыщем его во тьме без спичек, без света, и настолько двое среди всех их, и мы так одиноки?

— Как... — промолвил Уилл вслух.

Но отец тихо сказал: «Смотри!»

И Уилл шагнул к двери, которая теперь слегка осветилась.

Луна! Благодарю тебя, Господи!

Она только что поднялась над холмами.

— Вызвать полицию?

— Некогда, Надо что-то делать сию минуту, или не делать ничего. Есть три человека, о них-то мы и должны подумать...

— Уроды!

— Три человека, Уилл. Номер первый — Джим, номер два — мистер Купер, который жарится на своем электрическом стуле. Номер три — мистер Дак с его кожей, кишачей чудовищами. Спасти первого, столкнуть двух других в адское пекло и бежать. Тогда, я думаю, уроды тоже разбегутся. Ты готов, Уилл?

Уилл посмотрел яа дверь, на балаганы, на сияющее небо.

— Господи, благослови луну!

Взявшись за руки, они вышли из двери.

Словно приветствуя их, ветер трепал брезенты балаганов, похожие на изъеденные

Они бежали в тени балаганов, провонявших мочой, они бежали по лугам, пахнущим ледяным лунным светом.

Орган-каллиопа шептал, посвистывал, выводил трели.

Музыка! — подумал Уилл, — как она звучит, наоборот или правильно?

— Нам куда? — шепотом спросил отец.

— Вот сюда! — показал Уилл.

В сотне ярдов от подножия холмов-балаганов вспыхнул голубой свет, искры взлетали, падали и снова наступала темнота.

Мистер Электрико! — подумал Уилл. — Они пытаются сдвинуть его во времени, точно! Потасили его к карусели, чтобы убить или вылечить! И если они вылечат его, тогда, черт побери, тогда они вместе с Разрисованным Человеком... Где же Джим? Этой дорогой он шел в первый день, этой дорогой на следующий день, а... сегодня ночью? На чьей стороне окажется он, заведенный, как игрушка, чьим-то ключиком? На нашей! Старый дружище Джим! Конечно, на нашей! Но Уилл колебался. Неужели друзьями остаются навсегда? Если говорить о вечности, то можно ли их с Джимом сложить так, чтобы получилось что-то круглое, теплое и красивое?

Уилл посмотрел налево.

Там, запутавшись в развевающихся на ветру флагах и тросах, неподвижно стоял Карлик.

— Смотри, папа, — сдавленно крикнул Уилл, — а там Скелет.

Поодаль, словно засохшее дерево, стоял высокий человек, составленный из мраморных костей, обернутых египетскими папирусами.

— Эти уроды, почему они нас не останавливают?

— Боятся.

— *Нас?*

— Они испуганы, может, ранены, и теперь бродят неприкаянные. Они видели, что случилось с Ведьмой. Взгляни на них.

Они стоят, словно подпорки, словно столбы балаганов, натканные по всему лугу, они прячутся в тени и чего-то ожидают. Чего? Уилл проглотил комок, застрявший в горле. Может быть, они вовсе и не прячутся, а расположились в ожидании начала сражения. В условленное время мистер Дак подаст сигнал, и они тотчас нас окружают. Но сигнала не было. Мистер Дак был занят. Если бы он собирался сделать это, он бы давно крикнул своим уродам. Значит? Значит, мы никогда не услышим его крика.

Уилл шел по траве.

Отец немного впереди.

Когда они проходили мимо, уроды провожали их стеклянными, блестящими под лунной глазами.

Орган сменил мелодию. Он насвистывал печально и нежно, и музыка, огибая дугу балаганов, сливалась с потоком темноты.

Он играет правильно, от начала к концу! — подумал Уилл.

Точно! Сначала он играл мелодию задом наперед. Но потом остановился и начал снова,

на этот раз правильно. Что они задумали?

— Джим! — заорал Уилл во все горло.

— Шшшш!.. — оборвал его папа.

Он крикнул только потому, что услышал, как орган-каллиопа суммировал золотые годы, отмеренные вперед, он почувствовал, что Джим остался где-то в одиночестве, притянутый теплым соблазняющим притяжением, покачиваясь в такт мелодии восхода солнца; заинтересованный тем, на что может быть похоже превращение в шестнадцати, семнадцати, восемнадцатилетнего, и тогда, о, тогда и девятнадцатилетнего, и самое невероятное — в двадцатилетнего! Ветер Времени выдувал из медных труб прекрасную, веселую, манящую летнюю мелодию, и даже Уилл, услышав ее, побежал навстречу музыке, которая вырастала, словно персиковое дерево, увешанное вызревшими на солнце плодами...

Нет! — подумал он.

И вместо того, чтобы позвать навстречу притягательному и пугающему, заставить радостно подпрыгнуть, заслышав мелодию, гудение органа вызвало у него спазмы в горле, прервало дыхание, ударило в голову и ушло обратно в трубы каллиопы.

— Смотри, — тихо сказал отец.

Впереди между балаганами они увидели странное шествие.

Чем-то знакомая фигура, словно мрачный султан в паланкине, восседала на стуле, который поддерживали плечи разных размеров и форм.

После папиного крика процессия пошла вприпрыжку, а затем бросилась бегом!

— Мистер Электрико! — догадался Уилл.

Они несут его к карусели!

Процессия исчезла.

Ее заслонял балаган.

— Бежим кругом, туда! — Уилл потащил за собой отца.

Орган наигрывал что-то нежное, прелестное. Увлекая и маня Джима.

А когда принесут мистера Электрико?

Музыка заиграет наоборот, и карусель закрутится наоборот, чтобы скинуть его жесткую как крылья жука кожу, омолодить его, убрать годы!

Тут Уилл споткнулся и упал. Папа помог ему подняться.

А потом...

Впереди послышались человеческие голоса, затем раздалось что-то похожее на плач, тывканье и завыванье, точно *все*, кто там был, упали. Оттуда доносились стоны, кто-то задыхался, кто-то содрогался от судорожных вздохов, и потом толпа людей с сорванными голосами повторила стон вместе, хором.

— Джим! Они схватили Джима!

— Нет... — со странной интонацией прошептал Чарльз Хэлоуэй. — Может быть... Джим... или мы... схватили их...

Они подошли к последнему балагану.

Ветер бросил пыль им в лицо.

Уилл загородился рукой и зажал нос. Пыль была древней пряностью, золой кленовых листьев, оседавшей на землю. Образуясь в тени балагана, она просачивалась через брезент.

Чарльз Хэлоуэй чихнул. Странные фигуры подпрыгнули и стремительно побежали прочь, бросив что-то, что они несли.

Этим что-то был опрокинутый электрический стул с ремнями, свисавшими с

деревянных подлокотников и подножек, и увенчанный металлическим колпаком, болтавшимся на подголовнике спинки.

— Но, — сказал Уилл, — где же мистер Электрико! Я думаю, что... мистер Кугер!?

— *Это*, должно быть, было им.

— *Что*, должно быть, было им?

Но ответ уже витал здесь, он оседал на дорогу и кружился, в бесовских порывах ветра... Он был сожженной пряностью, осенним пеплом, который осыпал их, когда они повернули за балаган.

Убить или исцелить, подумал Чарльз Хэлоуэй. Он представил людей карнавала, поспешно бегущих несколько секунд тому назад, ковыляющих по затоптанной траве с пыльным мешком, набитым грудой старых костей, привязанным к стулу; возможно, это была попытка поддержать и сохранить жизнь, тогда как в действительности все это было не чем иным, как погребальным костром и никакой ветер не мог уже раздуть огонь в умерших и остывших углях. Однако они, должно быть, пытались. Сколько раз за последние сутки они уже совершали такие панические попытки, пытаясь остановить процесс распада, потому что пустячный толчок, слабейший вздох угрожали растрясти старого древнего Кугера в мякину, в пыль, в прах? Лучше всего было оставить его так как есть — пусть бы сидел в электрическом тепле своего стула, — и выставлять его в вечно продолжающемся представлении, и со временем попытаться снова вернуть ему прежний облик, однако обстоятельства изменились, и именно сейчас, когда огни погасли и стадо зрителей скрылось в темноте, надо было сделать это; это было нужно им всем — людям карнавала, напуганным единственной улыбкой, вырезанной на пуле, всем им был необходим Кугер такой, каким он был до его страшного преобразования — высоким, сильным, рыжеволосым. Но каких-то десять, двадцать секунд назад разлезлись последние остатки клея, связывавшего его, упал последний болт, скреплявший его жизнь, и безжизненная мумия, обратившись в клубы дыма и ноябрьские листья, была развеяна по ветру. Мистер Кугер был перемолот, развеян в лугах, словно шелуха кофейных бобов.

— О нет, нет, нет, нет, нет... — шептал кто-то.

Чарльз Хэлоуэй коснулся руки Уилла.

Уилл перестал кричать свое «нет, нет, нет». В эти последние несколько секунд он так же, как и отец, думал о мертвеце, которого несли, и о костяной муке, в которую тот обратился, чтобы удобрить соседние холмы...

Теперь оставался только пустой стул и частички слюды, осевшие на ремнях светящимися чешуйками. — Уроды, тащившие эту причудливую грудку старья, улепетывали под покровом темноты.

Мы заставили их убежать, думал Уилл, но что же заставило их бросить это!

Нет, не что-то. Кто-то.

Уилл прищурился.

Опустевшая карусель продолжала крутиться вперед сквозь время.

Но между упавшим стулом и каруселью кто-то стоял, не урод ли? Нет...

— Джим!

Папа толкнул Уилла локтем, и тот замолчал.

Джим, подумал он.

А где же сейчас мистер Дак?

Где-то здесь. Ведь это он запустил карусель, так? Да! Запустил, чтобы приманить их,

приманить Джима, и что еще?... Раздумывать было некогда, потому что...

Джим обогнул упавший стул и медленно пошел к пустой крутившейся карусели.

Он шел туда, куда должен был идти, он всегда это знал. Подобно флюгеру, он вращался и блуждал, указывая светлые горизонты и направления теплых ветров, а теперь повернулся и в полусне вздрогнул, ощутив притяжение до блеска начищенной меди, услышав летнюю музыку марша. Он не мог оторвать взгляда от карусели.

Еще шаг. Еще. Так Джим и шел.

— Задержи-ка его, Уилл, — сказал отец.

Уилл побежал.

Джим поднял правую руку.

Медные стойки карусели отражали свет и отбрасывали его в будущее, они вытягивали тело, словно густой сироп, и как ириску растягивали кости, они окрашивали щеки Джима в цвет солнечного металла и придавали жесткое выражение его глазам.

Джим дотянулся. Медные стойки застучали по его ногтям, вызывая новую мелодию.

— Джим!

Медные стойки мелькали желтыми бликами, словно лучи солнца, взошедшего среди ночи.

Музыка светлым фонтаном била ввысь.

— И-и-и-и-и-и-и-и...

И Джим тоже завизжал.

— И-и-и-и-и-и-и-и...

— Джим! — на бегу кричал Уилл.

Джим хлопнул ладонью по медной стойке. Она проскочила мимо.

Он хлопнул по другой стойке. На этот раз его ладонь крепко ухватила металл.

Пальцы потянули за собой запястье, вслед за запястьем потянулась рука, за рукой — плечо, за плечом — все тело. И Джима оторвало от земных корней.

— Джим!

Уилл подскочил к карусели, ухватил было Джима за ногу, но не удержал.

Джим закружился среди завывающей ночи на огромном, темном, по-летнему нагретом круге; Уилл бежал за ним.

— Джим, слезай, Джим, не оставляй меня *здесь!*

Стремительно разогнавшись, Джим крутился, крепко сжимая стойку одной рукой, уйдя в себя, повинувшись лишь последним темным инстинктам: свободной оставалась только другая рука, которую относил ветром, и она была единственной маленькой светлой частицей, которая еще помнила их дружбу.

— Джим, *прыгай!*

Уилл попытался ухватиться за эту руку, но промахнулся, споткнулся и едва не упал. С первого раза не получилось. Но Джим должен прокрутиться еще раз. Уилл стоял, ожидая следующего забега карусельных лошадей и стремительно летящего по кругу мальчика... Впрочем, теперь не совсем уже мальчика...

— Джим! Джим!

Джим, проснись! Теперь, после полукруга полета, его лицо выглядело то июльским, то декабрьским. Скуля и жалуясь, он цеплялся за столб. Он хотел и не хотел всего этого. Он желал, но отвергал, и снова пылко желал, захваченный этим полетом, жарким, влекущим потоком ветра и искрящегося металла, галопом июльских и августовских коней, чей стук

копыт напоминал звук падения зрелых плодов; его глаза сверкали.

— Джим! Прыгай! Папа, останови ее!

Чарльз Хэлоуэй огляделся, отыскивая пульт управления, который оказался в пятидесяти футах отсюда.

— Джим! — крикнул Уилл и почувствовал острую боль в боку. — Ты мне нужен! Вернись!

А там, на другой стороне карусели, летний, стремительно летящий Джим боролся с собственными руками, со стойкой, с полетом в хлещущей ветром пустоте, с навалившейся на него ночью и крутящимися в вышине звездами. Он отпускал стойку. Он хватал ее. И его правая рука, протянутая наружу, молила, словно Уилл был его последней надеждой.

— Джим!

Джим проехал круг. Там, внизу, на темной ночной станции, с которой его поезд отошел в неизвестность, в метели конфетти от прокомпостированных билетов, он увидел Уилла-Уилли-Уильяма Хэлоуэя, юного приятеля, юного друга, который будет для него еще более юным в конце этого путешествия, и не просто юным, но и вовсе незнакомым, смутным воспоминанием из какого-то другого времени, какого-то иного года... но сейчас этот мальчик, этот друг одиноко бежал за поездом, догоняя его, спрашивая, куда он едет? или требуя, чтобы он сошел с поезда? Что же ему нужно?

— Джим, ты помнишь *меня*?

Уилл бежал по кругу. Пальцы коснулись пальцев, ладонь коснулась ладони.

Снежно-белое лицо Джима смотрело вниз.

Уилл бежал за крутящейся каруселью.

Где папа? Почему он не выключает ее?

Рука Джима была теплой, знакомой, настоящей. Она накрыла его руку. Уилл сжал ее, пронзительно закричав:

— Джим, пожалуйста!

Но они продолжали крутиться, Джим ехал, Уилл в сумасшедшем галопе бежал следом.

— Пожалуйста!

Уилл резко дернулся. Джим тоже резко дернулся. Пойманная Джимом рука Уилла была охвачена июльским жаром. Она двигалась как пойманный зверек, которого удерживал и ласкал Джим, удаляясь по кругу в будущие времена. Так его рука, отправляясь в даль времени, становилась чужой ему, она узнавала то, о чем сам он мог лишь догадываться, лежа в полусне. Четырнадцатилетний мальчик с пятнадцатилетней рукой! И одновременно она была у Джима, он крепко стиснул ее и не выпускал. А лицо Джима, стало ли оно старше, совершив круг этого путешествия? Было ли ему сейчас уже пятнадцать!?

Уилл тянул к себе. Джим тянул к себе, в другую сторону.

Уилл упал на помост карусели.

Они *оба* оседлали ночь.

Теперь не только рука, весь Уилл целиком ехал со своим другом.

— Джим! Папа!

Как это славно — просто стоять, кататься, ехать вместе с Джимом, коли уж не смог ни стащить Джима с карусели, ни оставить его на ней, — вперед, вперед! Все соки его тела пришли в движение, потекли, ослепив его, ударив в уши, прострелив поясницу электрическими разрядами.

Джим кричал. Уилл кричал.

Они проскакали уже полгода в скользкой мимо темноте, наполненной теплыми запахами плодов, прежде чем Уилл, крепко схватив Джима за руку, решился выскочить из этих зовущих, прекрасных, растущих ввысь лет; он спрыгнул с круга, увлекая за собой Джима. Но Джим не мог выпустить из рук стойку, не мог отказаться, покинуть эту чудесную карусель.

— Уилл!

Вопил Джим, ухватившись одной рукой за друга, второй за карусель. Его душа, тело, одежда рвались на части.

Глаза Джима сделались слепыми, как у статуи.

Карусель вертелась.

Завопив, Джим свалился, перекувырнувшись в воздухе.

Уилл попытался поймать его, но Джим ударился о землю, покатился и затих.

Чарльз Хэлоуэй рванул рубильник щита управления.

Опустевшая карусель замедлила ход. Ее кони перешли на шаг и не спеша поскакали в сторону далекой ночи, перевалившей на вторую половину лета.

Чарльз Хэлоуэй и его сын опустили на колени около Джима, чтобы прощупать пульс и послушать сердце. Побелевшие глаза неподвижно смотрели на звезды.

— О Господи, — закричал Уилл, — неужели он умер?

52

— Умер?..

Отец Уилла провел рукой по похолодевшему лицу и по холодной груди Джима.

— Непохоже...

Вдалеке на дороге кто-то позвал на помощь.

Они посмотрели в ту сторону.

Внизу, огибая билетные кассы, спотыкаясь о растяжки балаганов и оглядываясь через плечо, бежал мальчик.

— Помогите! Он гонится за мной! — кричал мальчик. — Ужасный! Ужасный! Я хочу домой!

Мальчик подбежал и прижался к отцу Уилла.

— О помогите, я потерялся, я боюсь. Отведите меня домой. Это человек с татуировками!

— Мистер Дак! — удивился Уилл.

— Да, он! — затараторил мальчик. — Он там внизу! Ой, остановите его!

— Уилл, — отец поднялся на ноги, — позаботься о Джиме. Попробуй сделать искусственное дыхание. Хорошо, малыш, идем.

Мальчишка пустился бежать.

— Сюда, сюда!

Побежав следом, Чарльз Хэлоуэй присматривался к обезумевшему от страха мальчику, увлекавшему его за собой; он разглядывал голову, очертания фигуры, и в особенности, как линия спины переходила в бедра.

— Мальчик, — окликнул он его уже в двадцати футах от того места, где Уилл склонился над Джимом, — как тебя зовут?

— Некогда! — крикнул тот на бегу. — Джед. Скорее! Скорее!

Чарльз Хэлоуэй остановился.

— Джед, — позвал он. — Мальчик остановился и, обернувшись, потер ладонями локти. — Сколько тебе лет, Джед?

— Девять! — ответил мальчуган. — Черт побери, нам надо спешить. Мы...

— Прекрасный возраст, Джед, — перебил его Чарльз Хэлоуэй. — Всего лишь девять! Такой юный. Я *никогда* не был таким.

— Черт бы вас побрал! — злобно заорал мальчишка.

— Пожалуй, ты и сам возьмешь, кого захочешь, — сказал Хэлоуэй и шагнул к нему. Мальчик отшатнулся. — Ты боишься только одного человека, Джед. Меня.

— Вас? — мальчик все еще пятился назад. — Что за вздор! Ерунда! Почему же вас?

— Потому что иногда добро вооружено, а зло безоружно. Иногда трюки не получаются. Иногда людей не удается перестрелять поодиночке. Этой ночью из твоего «разделяй и властвуй» ничего не получится, Джед. Так, куда же ты ведешь меня, Джед? Может быть, в львиную клетку, которую ты приготовил для меня заранее? Куда-нибудь вроде Зеркального Лабиринта? Ну так что же, Джед? Давай-ка закатаем твой правый рукав, а, Джед!

Огромные глаза как лунные камни сверкнули на Чарльза Хэлоуэя.

Мальчик отпрянул назад, но он успел схватить его за рубашку, и вместо того, чтобы просто закатать рукав, сорвал всю ее целиком.

— Да, Джед, — почти спокойно заключил Чарльз Хэлоуэй. — Все в точности, как я и думал.

— Вы, вы, вы, вы!..

— Да, Джед, я — это я. Но главное — ты. Посмотри-ка на себя. И оглядел его.

А там по тыльной стороне мальчишеской руки, по пальцам и вдоль запястья ползли синие змеи с ядовито-голубыми злобными глазами, синие скорпионы метались рядом с голубыми акулами, вечно голодными, разевающими пасти, чтобы сожрать всех уродов, выколотых так тесно, что щека одного прижималась к щеке другого, кожа к коже, тело к телу. Уроды теснились по груди сверху донизу, толпились на мальчишеском торсе, прятались в складках кожи на этом маленьком-маленьком, слишком маленьком, продрогшем и дрожащем от страха теле.

— Что и говорить, Джед, тонкая работа, это просто искусство.

— Вы! — мальчик ударил его по лицу.

— Да, это все еще я, — Чарльз Хэлоуэй спокойно принял удар и стиснул мальчишку.

— Нет!

— О да, — сказал Чарльз Хэлоуэй, сжимая его правой рукой, тогда как изуродованная левая беспомощно свисала плетью. — Да, Джед, попробуй-ка теперь, вывернись, попробуй убеги. Да, ты здорово придумал. Заманить сначала меня, расправиться со мной, а потом вернуться за Уиллом. А если нагрянет полиция, что же, ты всего лишь десятилетний мальчик, а карнавал, конечно, он не твой, как можно! Стой смирно, Джед. Что ты дергаешься? Полиция не успеет и глазом моргнуть, а владельца карнавала и след простыл, разве не так, Джед? Замечательно придумано.

— Вы не должны меня обижать! — завопил мальчишка.

— Забавно, — ответил Чарльз Хэлоуэй. — А мне кажется, что должен.

Он почти нежно все крепче и крепче прижимал к себе мальчика.

— Убийца! — истошно завопил мальчишка. — Убийца.

— Я не собираюсь убивать тебя, Джед, или мистер Дак, или как тебя еще. Ты сам себя убьешь, потому что ты не можешь быть рядом с такими людьми как я, уж если не так близко, то по крайней мере так долго.

— Злой! — застонал мальчишка, изгибаясь и корчась. — Вы злой!

— Злой? — отец Уилла засмеялся, и от его смеха мальчишка покрылся пятнами, словно от осиних укусов, и он задрожал еще сильнее. — Злой? — Мужские руки крепко держали маленькое тело, словно липкая бумага муху. — Странно слышать это от тебя, Джед. Хотя, возможно, тебе так и кажется. Злому добро кажется злом. Я буду делать тебе только добро, Джед, я буду просто держать тебя, и наблюдать, как ты сам себя отравляешь. Я буду делать тебе добро, Джед, мистер Дак, мистер Владелец Карнавала, мальчик, пока ты не расскажешь, что случилось с Джимом. Разбуди его. Освободи его. Верни его к жизни.

— Не могу... не могу... — голос мальчика слабел, пропал, словно он падал в колодец, — ... не могу...

— Значит, ты не хочешь?

— ...не могу...

— Прекрасно, малыш, отлично, тогда вот тебе, вот, и еще, и еще...

Могло показаться, что отец и сын пылко обнимаются, встретившись после долгой разлуки; толпа рисунков, покрывавших тело мальчика, дрогнула, начала рассеиваться, рисунки таяли на глазах. Глаза мальчишки с ужасом смотрели на рот державшего его человека. Он увидел ту странную, можно сказать, даже приятную улыбку, которой он однажды уже улыбался Ведьме.

Чарльз Хэлоуэй еще крепче обнял мальчика и подумал, что Зло обладает только той силой, которую даем ему мы. Я не даю тебе ничего. Я беру. Умри. Умри. Умри.

Огоньки в испуганных глазах мальчика погасли как догоревшие спички.

Мальчишка и уже едва заметная толпа избитых и раздавленных чудовищ повалились на землю.

Казалось, должен был раздаться рев и грохот, как если б обрушилась гора.

Но послышался только легкий шорох, словно бумажный японский фонарик упал в пыль.

Чарльз Хэлоуэй долго стоял, глядя на тело, и глубоко, натужно дышал. В проходах между балаганами возникали и таяли причудливые тени уродов и людей; все они, отягощенные своими грехами, в страхе и растерянности, жалобно стонали, прислонившись к столбам шатров. Где-то там вышел на свет Скелет. В другом месте Карлик, который почти уже знал, кем он был раньше, выполз как краб из темной пещеры на свет и щурился, глядя на Уилла, склонившегося над Джимом, присматривался к отцу Уилла, в изнеможении согнувшегося над неподвижным телом мальчика, а карусель тем временем двигалась все медленнее, медленнее и, наконец, остановилась, покачиваясь как паром на волнах развеваемой ветром травы.

Карнавал походил на огромный погасший очаг, в котором мерцали угольки — это тени приблизились посмотреть, что произошло возле карусели, и глаза их горели.

Там, освещенный луной, лежал разрисованный мальчик по имени Дак.

Там же валялись убитые драконы, разрушенные башни крепостей, чудовища из

немыслимых времен, напоминавшие испорченные при чеканке монеты, птеродактили, похожие на бипланы, сбитые в древних войнах, изумрудные раки, выброшенные на белый песчаный берег приливом жизни, который никогда больше не повторится; все эти рисунки менялись на глазах, сдвигались, съеживались все больше по мере того, как маленькое тело остывало. Глаз на втянувшемся от холода пупке, казалось, непристойно подмигивал; сосок, изображавший глаз огромного мастодонта, сморщился, и чудовище ослепло, с ревом проклиная свою слепоту; каждая картинка, украшавшая раньше взрослого мистера Дака, теперь в миниатюре была перенесена на кожу мальчика, которая была точно ветхий брезент, натянутый на скелет ребенка.

Уроды один за одним появлялись из мрака и точно живая карусель скользили вокруг Чарльза Хэлоуэя, освободившегося от угнетавшей его тяжести.

Уилл на некоторое время оставил свои отчаянные попытки вернуть Джима к жизни; нет, он не испугался наблюдателей, вышедших из тьмы, для этого не было времени! А если бы он посмотрел на них внимательно, то обнаружил бы, что уроды просто глубоко дышат, как будто долгие годы не знали такого прекрасного свежего воздуха.

И пока Чарльз Хэлоуэй смотрел, и вместе с ним смотрели державшиеся на расстоянии фосфорические, как гнилушки, влажные, как у омаров, и холодно-бесстрастные глаза; мальчик, который был мистером Даком, холодел с каждым мгновением, потому что смерть разрушала охранявшие его изгороди из рисунков ночных кошмаров, сверкающих молний, мгновенных набросков, которые извивались, свертывались, прижимались к земле или взмывали ввысь, подобно ужасным знаменам проигранной войны, затем один за другим они начали исчезать с распростертого на земле тщедушного тела.

Многочисленные уроды со страхом смотрели вокруг, словно ущербная луна вдруг стала полной, и в ее ярком свете они смогли увидеть все, что ранее было скрыто темнотой; они растирали свои запястья, словно освободившись от цепей, терли шеи, будто страшная тяжесть свалилась с их сгорбленных плеч. Они с трудом выкарабкивались из могил, в которых были погребены заживо, протирали глаза, изумленно оглядываясь на нагромождения страданий, которые они испытали около замершей карусели. Если б хватило смелости, они наклонились бы, потрясая руками над этим бледным лицом с мертвенно улыбающимся ртом. Но если б это случилось, они оцепенели бы, увидев, как их собственные портреты, живые свидетельства их беспощадной алчности, злобы и отравляющей жизни вины, итоги увиденного их слепыми в сущности глазами, сказанного их искалеченными ртами, сделанного их заманивающими и обманывающими телами, как все это таяло на убогом могильном холмике снега, в который превратился всемогущий Дак. Там растаял Скелет! Ущербно-премудрый Карлик! Вот и Глотающий Лаву уже исчез с тела этого осеннего человека, следом за черным палачом, там рвался ввысь и исчезал пустой, летящий по ветру монгольфьер, Человек-Воздушный Шар, Пузырь Великолепный поднялся в чистый воздух — все это совершалось там! Рассеивались и исчезали дьявольские орды, по мере того как смерть дочиста отмывала разрисованную доску!

И вот уже обыкновенный мертвый мальчик, ничуть не изуродованный картинками, смотрел на звезды пустыми глазами мистера Дака.

— Ах-х-х-х-х...

Облегченно вздохнули хором странные люди.

И тут — может, орган-каллиопа в последний раз взревел голосом мистера Дака, может, это гром спросонья повернулся в облаках. Вдруг все сдвинулось и закрутилось. Уроды в

страхе бросились бежать. На север, на юг, на восток и на запад, освободившиеся от карнавала, от темного предначертания, свободные друг от друга, они бежали как свиньи, как кабаны, испуганные бурей.

Казалось, что каждый, убегая, дернул за растяжку и вытащил колышек, к которому крепился брезент балагана.

Теперь небо содрогнулось от гибельного выдоха среди грохота, треска и скрипа схлопнувшейся темноты, когда балаганы и шатры рухнули.

Стремительно, со свистом, как кобры летели растяжки, хлопали, скользили и словно бичи косили траву.

Тросы огромного Главного Балагана содрогались в конвульсиях, опорные столбы трещали как кости. Все качалось перед неминуемым падением.

Огромный шатер бродячего зверинца захлопнулся, как мрачный испанский веер.

Палатки и шатры, расставленные по лугу> повалились словно по команде, поданной ветром, поднявшимся при разрушении гиганта.

Затем, наконец, Главный Балаган, словно огромный доисторический летающий ящер, был втянут в Ниагару взбесившегося воздуха, лопнули триста пеньковых змей, расщепились и рухнули черные боковые опоры, словно зубы, вырванные из циклопической челюсти, по воздуху било разрушающееся крыло площадью во много акров, похожее на воздушный змей, пытающийся улететь, но связанный с землей, и должен был в конце концов уступить земному притяжению, должен был развалиться под своей собственной тяжестью.

Теперь этот огромный балаган выбрасывал жаркие гнилые вздохи, тучи конфетти, которое было древним уже в ту пору, когда каналы Венеции еще не оделись камнем, и выдавливал струи сладкого розового сиропа, похожие на ленивых удавов. Разрушаясь, шатры и балаганы сбрасывали кожу, безутешно стонали до последнего мига, пока высокие бревна, служившие спинным хребтом чудовища, не упали с грохотом и ревом пушечных залпов.

Орган-каллиопа еле хрипел.

Поезд покинутой игрушкой стоял в поле.

Уродливые, намалеванные маслом картинки хлопали в ладоши на последних, еще стоявших флагштоках, затем и они повалились на землю.

Скелет, единственный, кто не убежал, наклонился, поднял с земли тело хрупкого мальчика, который недавно был мистером Даком. И ушел в поля.

Через мгновенье Уилл увидел тонкого человека и его ношу, человек шел по склону холма следом за убежавшей карнавальной толпой.

Лицо Уилла отражало все происходившее, чутко воспринимая быструю смену событий, шум, крики, суматоху, смерть и бегущих прочь уродов. Кугер, Дак, Скелет, Карлик, который был торговцем громоотводами, не убегайте, вернитесь! Мисс Фоли, где вы? Мистер Кросетти! Все кончилось, Успокойтесь! Все в порядке! Возвращайтесь, возвращайтесь же!

Но ветер уже расправлял траву, примятую их ногами, и теперь они могут бежать вечно, пытаясь обогнать самих себя.

Поэтому Уилл вернулся назад, присел над Джимом, надавил на его грудь и отпустил, еще надавил и отпустил, затем, дрожа от страха, дотронулся до его щеки.

— Джим?..

Но Джим был холоден, как пласт вывернутой лопатой земли.

Под покровом холода, казалось, сохранилась непрочная последняя теплота, в бледной коже скрывался некий цвет, но когда Уилл пощупал запястье Джима, он не нашел пульса, когда приложил ухо к его груди, не услышал, как бьется сердце.

— Он мертв!

Чарльз Хэлоуэй подошел к сыну и опустился на колени перед его другом, чтобы дотронуться до неподвижного горла, до застывшей груди.

— Нет, — озадаченно произнес он, — не совсем...

— Мертвый!

Слезы хлынули из глаз Уилла. Он был разбит, потрясен, уничтожен.

— Прекрати реветь! — закричал отец. — Хочешь спасти его!?

— Слишком поздно... о папа!

— Замолчи! Слушай!

Но Уилл рыдал.

Тогда отец оттащил его в сторону и ударил. Один раз по левой щеке. И один раз сильно по правой.

Казалось, так он выбил из него все слезы, ни одной не осталось.

— Уилл! — отец свирепо ткнул пальцем в него и в Джима. — Прокляни это, Уилл, все это, всех этих — мистера Дака и его шайку, ведь им нравятся плачущие. Боже мой, как они любят слезы! Господи Иисусе, чем дольше ты рыдаешь, тем больше они пьют соли, стекающей с твоего подбородка. Завопи, завой — они как кошки ночуют тебя. Поднимись! Встань с колен, прокляни этот карнавал! Прыгай, пляши! Вопи и кричи от радости, Ты слышишь! Кричи, Уилл, пой, но больше всего смейся, это твое главное оружие — смейся!

— Я не могу!

— Ты должен! Это все, что у нас есть. Я знаю! В библиотеке! Ведьма сбежала, Бог мой, как она удирала! А потом, я же застрелил ее с помощью смеха. Всего лишь улыбка, Уилли, ночное отродье не выносит ее. Потому что в ней — солнце. Мы не сможем победить их, если будем печальными, Уилл!

— Но...

— Черт возьми! Ты видел зеркала! Эти зеркала наполовину затолкали меня в могилу. Они показали мне меня старой развалиной. Они ругали меня! Они до того запугали мисс Фоли, что она примкнула к их великому походу в никуда, присоединилась к дуракам, которые хотели овладеть всем! Это самое идиотское желание: овладеть всем! Бедные проклятые глупцы. Их заманило ничто, они словно собака, которая уронив кость, бросается за отражением кости в пруду. Уилл, ты видишь: *каждое* из зеркал повалилось. Как ледяная глыба в оттепель. Без камня, без ружья или ножа только от моих зубов, открытых в улыбке, от моего горла, языка и легких, издавших звуки смеха, я расстрелял эти зеркала просто смехом! Я уничтожил десять миллионов испуганных глупцов и дал возможность настоящему человеку встать на ноги! Стой на своих ногах, Уилл!

— Но Джим... — запинаясь, произнес Уилл.

— Полужив, полумертв. Джим и был таким. Испушенный злом. Теперь он зашел слишком далеко и, может быть, его не вернуть. Но он ведь боролся, чтобы спасти себя, правильно? Протянул тебе руку, чтобы упасть, освободиться от дьявольской машины, разве

не так? Поэтому мы закончим эту борьбу за него. Давай, двигай!

Уилл натужно дернулся, потянулся, пошел.

— Беги!

Уилл снова засопел, сдерживая слезы. Папа дал ему пощечину. Слезинки метеорами слетели со щек.

— А ну, пляши! Прыгай! Кричи!

Он подтолкнул Уилла, зашаркал рядом с ним, потом с силой сунул руку в карман, так, что лопнула подкладка, вывернул его наружу и выхватил что-то блестящее, серебристое.

Это была губная гармошка.

Папа выдул аккорд.

Уилл встал, опять уставившись на Джима.

Папа отвесил ему оплеуху.

— Не смотри! Беги!

Уилл пробежал пару шагов.

Папа выдул другой аккорд, дернул Уилла за локоть, потом схватил и подбросил его руки.

— Пой!

— Что?

— Да Господи, что угодно!

Гармоника, фальшивя, заиграла «Лебединую реку».

— Папа, — Уилл едва тащился, опустив голову, и добавил, — это ж глупо!

— Конечно! Мы и *хотим* этого! Глупый человек! Глупая гармоника! Фальшивая мелодия!

Папа радостно закричал. Он кружился как танцующий журавль. Но он еще не мог стать совсем простым и глупым. Он лишь *хотел* нашуметь, хотел *нарушить* тишину.

— Уилл, — крикнул он, — а ну-ка, погромче, посмешней! Проклятье ада! Не давай им пить твои слезы, а то они захотят еще! Уилл! Не отдавай им свой плач, ведь они вывернут его наизнанку и сделают своей улыбкой! Будь я проклят, если смерть наденет мою печаль как свой праздничный наряд. Не корми их печалью, Уилл, расслабься! Дыши глубже! Дуй!

Он схватил Уилла за волосы и потрянул его голову.

— Ничего... смешного... — вяло отозвался Уилл.

— Ишь ты! А разве это не смешно! Я! Ты! Джим! Все мы! Настоящие снайперы смеха
Смотри!

И Чарльз Хэлоуэй провел рукой по лицу, захлопал глазами, прижал нос, подпрыгнул как шимпанзе, завальсировал с ветерком, выбил в пыли чечетку, закинув голову, словно собирался лаять на луну, подхватил Уилла и потащил за собой.

— Смерть просто смешна, будь она проклята, Господи! Наклонись и — раз, два, три, Уилл. Легче шаг. Начнем с «Лебединой реки», а следующее что, Уилл?.. Дальше, дальше отсюда! Уилл, подай свой божественный голос. Скачи, парень!

Уилл подскакивал, приседал, его щеки разгорелись, горло очистилось, словно он съел лимон. Он почувствовал, что грудь распирает, будто в ней воздушный шар.

Папа подул в свою серебряную гармонику.

— Это где же старики... — затянул Уилл.

— Остановись! — заорал отец.

Слышалось лишь шарканье ног, прихлопывания, подпрыгивания, подталкивания.

А Джим? Джим был забыт.

Папа принялся щекотать Уилла между ребер.

— Эту песню поют леди из Камптоуна!

— Дуу-да! — закричал Уилл. — Дуу-да! — Теперь получилось уже с мелодией.

Воздушный шар в груди вырос, в горле запершило.

— Трек в Камптоуне — пять миль!

— О дуу-да!

Они изобразили менуэт.

И тут *это* случилось.

Уилл почувствовал, что воздушный шар в груди вырос до огромных размеров.

Он улыбнулся.

— Что? — удивился папа.

Уилл фыркнул. Уилл засмеялся.

— Что ты *сказал*? — спросил папа.

Сила наполненного горячим воздухом шара еще шире раздвинула улыбку, откинула голову Уилла назад.

— Папа! Папа!

Он запрыгал. Он схватил папу за руку. Он понесся как безумный, закричал уткой, закудахтал курчонком. Хлопнул ладонями по коленкам, отбил чечетку так, что пыль взвилась вверх.

— О Сюзанна!

— Не плачь!..

— ...из-за меня!..

— Я приду из...

— ...Алабамы к тебе...

— ...С банджо.

И они подхватили вместе:

— Груди-и-и!

Зажмурив глаза, папа наигрывал веселые аккорды, гармоника, присвистывая, стучала по его зубам, он кружился и подпрыгивал, выбивая дробь каблуками.

— Ха! — они столкнулись, едва не сбив друг друга с ног, треснулись головами, еще громче и порывистей выкрикивая. — Ха! О Боже, ха! О Боже, Уилл, ха! Ты слабак! Ха!

И этот бешеный смех перебивало лишь...

Чиханье!

Они кружились. И, наконец, стали приглядываться.

Кто лежал там, на освещенной луной земле?

Джим? Джим Найтшейд?

Не пошевелился ли он? Не раскрылись ли его губы, не дрогнули веки? Не порозовели щеки?

— Не смотри! — схватив Уилла за руку, папа увлек его плясать дальше.

Расставив руки, они пели просто ноты: до-си-до; гармоника жадно глотала эти неотесанные мелодии из рук папы, который словно аист отплясывал на негнущихся ногах и как индюк топорщил локти. Они перепрыгивали через Джима то туда, то обратно, словно тот был камнем, валявшимся на траве.

— Это кто там в кухне с Диной!

Это кто там в кухне...

— ...я знаю-ю-ю-ю!

Джим облизал губы.

Никто этого не заметил. А если они и заметили, то сделали вид, что не замечают, они боялись ошибиться.

Все остальное Джим сделал сам. Его глаза открылись. Он наблюдал за танцующими дураками. Он не верил своим глазам. Он был далеко, он путешествовал сквозь годы. И теперь, когда вернулся, не услышал удивленного окрика: «Эй, старина!» Они плясали джигу, плясали самбу. Казалось, он вот-вот заплачет. Но вместо этого, его рот дрогнул. Он издал подобие смеха. Потому что увидел глупого Уилла и его глупого старого папу, которые как гориллы скакали по лугу. Они перепрыгивали через него, хлопали руками, наклонялись, чтобы омыть его полноводным потоком своего громкого смеха, который не остановился бы, даже если б небо упало на землю или земля разверзнулась у них под ногами, они хотели смешать свое бурное веселье с его робким удивлением, зажечь свет жизни.

И, поглядывая вниз во время этого свободного восхитительного танца, Уилл думал: Джим не помнит, что был мертвым, поэтому сейчас мы не скажем ему ничего, когда-нибудь потом, но не сейчас, не... Ду-у-да-а! Ду-у-да-а!

Они даже не сказали: «Привет, Джим!» или «Потанцуй с нами», они просто протянули руки, словно он упал в суматохе карнавала и нуждался в помощи, чтобы подняться и присоединиться к ним. Они подхватили Джима. Джим взлетел. Джим принялся танцевать с ними.

Схватившись за руки, ладонь к ладони, они от души визжали, пели, радостно прыгали, и Уилл знал, что живая кровь омыла сердце друга. Они подхватили Джима как новорожденного, хлопали его по спине, заставляя дышать, выправляя неумелое еще дыхание.

Затем папа наклонился, упершись руками в колени, и Уилл перепрыгнул через него; Уилл наклонился и папа перепрыгнул, затем они встали один за другим, наклонились, хрипя свои песни, чувствуя приятную усталость во всем теле, и ждали продолжения чехарды, пока Джим, проглотив комок, застрявший в горле, разбежался и прыгал. Однако он не сумел перепрыгнуть через папу, они упали и покатались по траве, и эта куча-мала кричала совой и ослом, ревела как медные трубы, словно в первый день творенья и первожданной радости тех, кто еще не был изгнан из райского сада.

Потом они, наконец, уселись, хлопнули друг друга по плечам, обнялись и, покачиваясь из стороны в сторону от переполнявшего душу счастья, смотрели друг на друга, отдаваясь пьянящему радостному умиротворению.

И тогда они улыбнулись, и улыбки на их лицах загорелись словно факелы, и они посмотрели в даль полей.

Опоры темных шатров валялись как слоновьи бивни среди мертвых брезентов, трепетавших под ветром, словно лепестки чудовищной черной розы.

Во всем спящем мире лишь они трое, словно кошки, с наслаждением грелись под луной.

— Что случилось? — спросил, наконец, Джим.

— Лучше скажи, что *не* случилось! — крикнул в ответ папа.

И они снова рассмеялись, но вдруг Уилл обнял Джима, крепко прижал к себе и зарыдал.

— Эй, — сказал Джим спокойно, поглаживая его в ответ, — эй... эй...

— О Джим, Джим, — сказал Уилл, — мы будем дружить вечно.

— А как же, конечно, — спокойно ответил Джим.

— Все в порядке, — сказал папа. — Немного поплакали, немножко посмеялись, а теперь пошли домой.

Они поднялись на ноги и стояли, рассматривая друг друга. Уилл оглядывал отца и гордился им.

— О папа, папа, это *ты* сделал, ты это сделал!

— Нет, мы вместе это сделали.

— Но без тебя мы пропали бы. О папа, я же совсем тебя не знал. А теперь я тебя знаю.

— Неужели знаешь, Уилл?

— Очень даже знаю!

Они видели друг друга сквозь мерцающий ореол влаги.

— Ну, что же, тогда — здравствуй.

Папа протянул руку. Уилл пожал ее. Оба рассмеялись, вытерли глаза, и только тогда присмотрелись к убегающим к холмам следам на росе.

— Папа, они когда-нибудь вернуться?

— И нет. И да, — папа спрятал гармонику. — Нет, вернуться не они. Да, придут другие люди, которые будут похожи на них. Не обязательно с карнавалом. Бог знает, в каком обличье они появятся в следующий раз. Непременно придут. Они в дороге.

— Нет, — сказал Уилл.

— Да, — сказал папа. — Мы должны остерегаться их всю оставшуюся жизнь. Борьба только началась.

Они медленно шли вокруг карусели.

— На кого они будут похожи? Как мы их узнаем?

— Кто знает, — спокойно ответил папа, — может быть, они уже здесь.

Мальчики быстро оглянулись.

Но был только луг, карусель и они сами.

Уилл посмотрел на Джима, на отца, на себя и свои руки. Потом поднял взгляд на папу.

Папа печально и серьезно кивнул, затем показал на карусель, взобрался на нее и дотронулся до медной стойки.

Уилл взобрался к нему. Джим устроился рядом с Уиллом.

Джим погладил гриву лошади. Уилл похлопал ее по крупу.

Огромный круг карусели тихо наклонился, будто следуя за приливами и отливами ночи.

Только три раза по кругу вперед, подумал Уилл. Вот здорово!

Только четыре раза по кругу вперед, подумал Джим. Так-то, старик!

Только девять раз по кругу назад, подумал Чарльз Хэлоуэй. Бог мой!

И каждый угадал по глазам мысли другого.

Как просто, подумал Уилл.

Только разок, подумал Джим.

Но тогда, подумал Чарльз Хэлоуэй, стоило бы вам только начать, вы бы постоянно сюда возвращались. Еще одна поездка, и еще одна. А через некоторое время вы бы предложили покататься своим друзьям, и потом появилось бы еще больше друзей, и так до тех пор, пока, наконец...

Эта мысль поразила их всех в один и тот же момент.

...наконец, вы заведете владельца карусели, надсмотрщика над уродами... собственника некоей ничтожной части вечности, который путешествует с представлениями мрачного карнавала...

Может быть, сказали их глаза, *они уже здесь*.

Чарльз Хэлоуэй пробрался к механизму карусели, отыскал гаечный ключ и разбил на куски шестеренки, расплющил зубчатки. Затем стащил с карусели мальчишек, и ударил по пульту пока тот не сломался, разбросав прерывистые молнии.

— Возможно, в этом нет особой необходимости, — сказал Чарльз Хэлоуэй. — Возможно, она никуда не годится без уродов, которые дают ей энергию. Но... — Он на всякий случай ударил по ящику с пультом еще раз и выбросил гаечный ключ.

— Уже поздно. Наверное уже полночь.

И вслед за его словами послушно пробили часы на ратуше, часы на баптистской церкви, на методистской, на епископальной, на католической церкви — все часы пробили двенадцать. Ветер рассеял над землей семена Времени.

— Кто последний добежит до семафора, тот девчонка!

Мальчишек словно выстрелили из пистолета.

Отец колебался только мгновенье. Он ощутил смутную боль в груди. Что, если я побегу с ними? — подумал он. Разве важна смерть? Нет. Имеет значение только то, что случается перед смертью. А мы этой ночью совершили замечательное дело. Его даже смерть не сможет испортить. Мальчишки побежали к семафору... а почему бы не... *побежать за ними?*

И он побежал.

Господи! Как прекрасно было оставить следы жизни на росе в холодных полях этим новым, неожиданно похожим на Рождество утром. Мальчишки бежали как пони в упряжке, зная, что один из них первым дотронется до столба семафора, а другой вторым или совсем не дотронется, и сейчас эта первая минута нового утра не была минутой или днем, или утром невозвратной потери. Теперь не было времени изучать лица, рассматривать, выглядит ли один старше, и насколько моложе другой. Сегодня был такой день октября, такой день года, который неожиданно оказался лучше, чем можно было предположить всего лишь один час тому назад, день с луной и звездами, скользящими в грандиозном вращении, неминуемо ведущем к рассвету; и с ними, ковыляющими по полям, и с последними слезами этой ночи, и с поющим, смеющимся Уиллом, и с Джимом, ответившим на все вопросы своим бегом по волнам сухого жнивья в сторону города, где они могли прожить еще длинную череду лет в домах, стоящих напротив друг друга.

И вслед за ними медленно трусил средних лет мужчина со своими то серьезными и мрачными, то добродушными и веселыми мыслями.

Вполне возможно, что мальчишки замедлили бег. Они никогда об этом не задумывались. Возможно, Чарльз Хэлоуэй побежал быстрее. Он и сам не знал.

Уилл хлопнул, Джим хлопнул, папа хлопнул по столбу семафора в один и тот же миг.

И ветер присоединился к их ликующему трио.

Светлая луна смотрела на них с небес, неистовое веселье стихло, и они спокойно направились к городу.

РАССКАЗЫ



Ночью родился Сим. Он лежал, хныкая, на холодных камнях в пещере. Кровь толчками пробегала по его телу тысячу раз в минуту. Он рос на глазах.

Мать лихорадочно совала ему в рот еду. Кошмар, именуемый жизнью, начался. Сразу после рождения глаза его наполнились тревогой, которую сменил безотчетный, но от того не менее сильный, непреходящий страх. Он подавился едой и расплакался. Озираясь кругом, он ничего не видел.

Все тонуло в густой мгле. Постепенно она растаяла. Проступили очертания пещеры. Возник человек с видом безумным, диким, ужасным. Человек с умирающим лицом. Старый, высушенный ветрами, обожженный зноем, будто кирпич. Съежившись в дальнем углу пещеры, сверкая белками скошенных глаз, он слушал, как далекий ветер завывает над скованной стужей ночной планетой.

Не сводя глаз с мужчины, поминутно вздрагивая, мать Сима кормила сына плодами каменных гор, скальной травой, собранными у провалов сосульками. Он ел, выделял, снова ел и продолжал расти все больше и больше.

Мужчина в углу пещеры был его отец! Изо всего лица только глаза еще жили. В иссохших руках он держал грубое каменное рубило, его нижняя челюсть тупо, бессильно отвисла.

Все дальше проникая взглядом, Сим увидел стариков, которые сидели в уходящем в глубь горы туннеле. У него на глазах они начали умирать.

Пещера наполнилась предсмертными криками. Старики таяли, словно восковые фигуры, провалившиеся щеки обтягивали острые скулы, обнажались оскаленные зубы. Только что лица их были живыми, подвижными, гладкими, как бывает в зрелом возрасте. И вот теперь плоть высыхает, истлевает.

Сим заметался на руках у матери. Она крепко стиснула его.

— Ну, ну, — уговаривала она его тихо, озабоченно поглядывая на отца — не потревожил ли его шум.

Быстро прошлепали по камню босые ноги, отец Сима бегом пересек пещеру. Мать Сима закричала. Сим почувствовал, как его вырвали у нее из рук. Он упал на камни и покатился с визгом, напрягая свои новенькие, влажные легкие!

Над ним вдруг появилось иссеченное морщинами лицо отца и занесенный для удара нож. Совсем как в одном из тех кошмаров, которые преследовали его еще во чреве матери. Несколько ослепительных, невыносимых секунд в мозгу Сима мелькали вопросы. Нож висел в воздухе, готовый его вот-вот погубить. А в новенькой головенке Сима девятым валом всколыхнулась мысль о жизни в этой пещере, об умирающих людях, об увядании и безумии. Как мог он это осмыслить? Новорожденный младенец! Может ли новорожденный вообще думать, видеть, понимать, осмысливать? Нет. Тут что-то не так! Это невозможно. Но вот же это происходит с ним. Прошел всего какой-нибудь час, как он начал жить. А в следующий миг, возможно, умрет!

Мать бросилась на спину отца и оттолкнула в сторону руку с оружием. До Сима дошел

отголосок страшной эмоциональной сшибки двух конфликтующих разумов.

— Дай мне убить его! — крикнул отец, дыша прерывисто, хрипло. — Зачем ему жить?

— Нет, нет! — твердила мать, и тщедушное старое тело ее повисло на широченной спине отца, а руки силились отнять у него нож. — Пусть живет! Может быть, его жизнь сложится по-другому! Может быть, он проживет дольше нашего и останется молодым!

Отец упал на спину подле каменной люльки. Лежа рядом с ним и озираясь блестящими глазами, Сим увидел в люльке чью-то фигурку. Маленькая девочка тихо ела, поднося еду ко рту тоненькими ручками. Его сестра.

Мать вырвала нож из крепко стиснутых пальцев мужа и встала, рыдая и приглаживая свои всклокоченные седые волосы. Губы ее подергивались.

— Убью! — сказала она, злобно глядя вниз на мужа. — Не трогай моих детей.

Старик вяло, уныло сплюнул и безучастно посмотрел на девочку в каменной люльке.

— Одна восьмая ее жизни уже прошла, — проговорил он, тяжело дыша. — А она об этом даже не знает. К чему все это?

На глазах у Сима его мать начала как бы преобразаться, становясь похожей на смятый ветром клуб дыма. Худое костлявое лицо растворилось в лабиринте морщин. Подкошенная мукой, она села подле него, трясась и прижимая нож к своим высохшим грудям. Как и старики в туннеле, она тоже старилась, смерть наступала на нее.

Сим упорно плакал. Куда ни погляди, его со всех сторон Окружал ужас. Мысли Сима ощутили встречный ток еще чьего-то сознания. Он инстинктивно посмотрел на каменную люльку. И наткнулся на взгляд своей сестры, Дак. Два разума соприкоснулись, будто шарящие пальцы. Сим позволил себе расслабиться. Ум его начинал постигать мир.

Отец вздохнул, закрыл веками свои зеленые глаза.

— Корми ребенка, — в изнеможении сказал он. — Торопись. Скоро рассвет, а сегодня последний день нашей жизни, женщина. Корми его. Пусть растет.

Сим притих, и сквозь завесу страха в его сознание начали просачиваться картины.

Эта планета, на которой он родился, была первой от солнца. Ночи на ней обжигали морозом, дни были словно языки пламени. Буйный, неистовый мир. Люди жили в недрах горы, спасаясь от невообразимой стужи и огнедышащих дней. Только на рассвете и на закате воздух ласкал легкие ароматом цветов, и в эту пору пещерный народ выносил своих детей на волю, в голую каменистую долину. На рассвете лед таял, обращаясь в ручьи и речушки, на закате пламя остывало и гасло. И пока держалась умеренная, терпимая температура, люди торопились жить, бегали, играли, любили, вырвавшись из пещерного плена. Вся жизнь на планете вдруг расцветала. Стремительно тянулись вверх растения, в небе брошенными камнями проносились птицы. Мелкие четвероногие лихорадочно сновали между скал; все стремилось приурочить свой жизненный срок к этой быстротечной поре.

Невыносимая планета, Сим понял это в первые же часы после своего рождения, когда в нем заговорила наследственная память. Вся его жизнь пройдет в пещерах, и только два часа в день он будет видеть волю. В этих наполненных воздухом каменных руслах он будет говорить, говорить с людьми своего племени, без перерыва для сна, будет думать, думать, будет грезить, лежа на спине, но не спать.

И вся его жизнь продлится ровно восемь дней.

Какая жестокая мысль! Восемь дней. Восемь коротких дней. Невероятно, невозможно, но это так. Еще во чреве матери далекий странный голос наследственной памяти говорил Симу, что он стремительно формируется, развивается и быстро появляется на свет.

Рождение мгновенно, как взмах ножа. Детство пролетает стремглав. Юность — будто зарница. Возмужание — сон, зрелость — миф, старость — суровая быстротечная реальность, смерть — скорая неотвратимость.

Пройдет восемь дней, и он будет вот такой же полуслепой, дряхлый, умирающий, как его отец, который сейчас так подавленно глядит на свою жену и детей.

Этот день — одна восьмая часть его жизни! Надо с толком использовать каждую секунду. Надо усвоить знания, заложенные в мозгу родителей.

Потому что через несколько часов они будут мертвы.

Какая страшная несправедливость. Неужели жизнь так скоротечна? Или не грезилась ему в предродовом бытии долгая жизнь, не представлялись вместо раскаленных камней волны зеленой листвы и мягкий климат? Но раз ему все это виделось, значит, в основе грез должна быть истина? Как же ему искать и обрести долгую жизнь? Где? Как выполнить такую огромную и тяжелую задачу в восемь коротких, быстротекущих дней?

И как его племя очутилось в таких условиях?

Вдруг, словно нажали какую-то кнопку, в мозгу его возникла картина. Металлические семена, принесенные через космос ветром с далекой зеленой планеты, борясь с длинными языками пламени, падают на поверхность этого безотрадного мира... Из разбитых корпусов выбираются мужчины и женщины...

Когда?.. Давно. Десять тысяч дней назад. Оставшиеся в живых укрылись от солнца в недрах гор. Пламя, лед и бурные потоки стерли следы крушения огромных металлических семян. А люди словно оказались на наковальне под могучим молотом, который принялся их преобразовать. Солнечная радиация пропитала их плоть. Пульс участился — двести, пятьсот, тысяча ударов в минуту! Кожа стала плотнее, изменилась кровь. Старость надвигалась молниеносно. Дети рождались в пещерах. Круговорот жизни непрерывно ускорялся. И люди, застрявшие после аварии на чужой планете, прожили, подобно всем здешним животным, только одну неделю, причем дети их были обречены на такую же участь.

«Так вот в чем заключается жизнь», — подумал Сим. Не сказал про себя, ведь он не знал еще слов, мыслил образами, воспоминаниями из далекого прошлого, так уж было устроено его сознание, наделенное своего рода телепатией, проникающей сквозь плоть и камень, и металл. На какой-то ступени нового развития у его племени возник дар телепатии и образовалась наследственная память — единственные блага, единственная надежда в этом царстве ужаса. «Итак, — думал Сим, — я — пятитысячный в долгом ряду никчемных сыновей? Что я могу сделать, чтобы меня через восемь дней не настигла смерть? Есть ли какой-нибудь выход?»

Глаза его расширились: в сознании возникла новая картина.

За этой долиной с ее нагромождением скал, на небольшой горе лежит целое, невредимое металлическое семя — корабль, не тронутый ни ржавчиной, ни обвалами. Заброшенный корабль, единственный изо всей флотилии, который не разбился, не сломался, он до сих пор пригоден для полета. Но до него так далеко... И никого внутри, кто бы мог помочь. Пусть так, корабль на далекой горе будет его предназначением. Ведь только он может его спасти.

Новая картина...

Глубоко в недрах горы в полном уединении работает горстка ученых. К ним он должен пойти, когда вырастет и наберется ума. Их мысли тоже поглощены мечтой о спасении — мечтой о долгой жизни, о зеленых долинах без зноя и стужи. Они тоже, томясь надеждой,

глядят на далекий корабль на горе, на удивительный металл, которому не страшны ни коррозия, ни время.

Скалы глухо застонали.

Отец Сима поднял вверх иссеченное морщинами безжизненное лицо.

— Рассветает, — сказал он.

2

Утро расслабило могучие мускулы гранитной толщи. Наступил час обвалов.

Гулкое эхо туннелей подхватило звук бегущих босых ног. Взрослые, дети с нетерпеливыми, жаждущими глазами торопились наружу, где занимался день. Сим услышал вдали глухой рокот... потом крик, сменившийся тишиной. В долине грохотали обвалы. Нависшие камни, миллионы лет ждавшие своего часа, срывались с места, и если путь вниз по склону начинала одна огромная глыба, то по дну долины рассыпались тысячи осколков и раскаленных трением картечин.

Каждое утро каменный ливень уносил по меньшей мере одну жертву.

Скальное племя бросало вызов обвалам. Борьба со стихиями добавляла остроты в их и без того опасную, бурную, скоротечную жизнь.

Сим почувствовал, как руки отца резко поднимают его и несут по туннелю за тысячу ярдов — туда, откуда просачивается свет. Глаза отца пылали безумием. Сим не мог пошевелиться. Он догадывался, что сейчас произойдет. Неся на руках маленькую Дак, за отцом спешила мать.

— Постой! Осторожно! — кричала она мужу.

Высоко на горе что-то колыхнулось, стронулось.

— Пошли! — прорычал отец и выскочил наружу.

Сверху на них обрушился камнепад.

С нарастающей быстротой сменялись в голове Сима впечатления — рушащиеся громады, пыль, сотрясение... Пронзительно вскрикнула мать! Их качало, трясло.

Еще один шаг, и они под открытым небом. За спиной у них продолжало грохотать. У входа в пещеру, где схоронились мать и Дак, выросла груда обломков, среди них были две глыбы, фунтов по сто каждая.

Рев лавины перешел в шуршание струйки песка. Отец Сима разразился хохотом.

— Проскочили! Клянусь небом! Проскочили живьем!

Он презрительно глянул на скалы и плюнул.

— Тьфу!

Мать выбралась через обломки наружу вместе с Дак и принялась бранить отца:

— Болван! Ты мог убить Сима!

— Еще не поздно, — огрызнулся он.

Сим не слушал их перепалки. Он смотрел, будто замороженный, на обломки, завалившие вход в соседнюю пещеру. Там из-под груды камней, впитываясь в землю, бежала струйка крови. И все, больше ничего не видно... Кто-то проиграл поединок.

Дак побежала вперед на податливых, хлипких ножках — голенькая и целеустремленная.

Воздух в долине был словно профильтрованное сквозь горы вино. Небо — вызывающе голубого цвета; в полдень оно накалится добела, ночью — вспухнет багрово-черным

синяком с оспинами болезненно мерцающих звезд.

Мир Сима напоминал залив с приливами и отливами. Температурная волна то нахлынет в буйном всплеске, то схлынет. Сейчас в заливе было тихо, прохладно, и все живое стремилось на поверхность.

Звонкий смех! Звучит где-то вдалеке... Но как же так? Неужели кому-то из племени может быть до смеха? Надо будет потом попытаться выяснить, в чем дело.

Внезапно в долине забурлили краски. Пробужденные неистовой утренней зарей, в самых неожиданных местах выглядывали растения. Прямо на глазах распускались цветы. Вот по голой скале ползут бледно-зеленые нити. А через несколько секунд между листиками уже ворочаются зрелые плоды. Передав Сима матери, отец принялся собирать недолговечный урожай. Алые, синие, желтые плоды попадали в висящий у него на поясе меховой мешок. Мать жевала молодую, сочную зелень, пихала ее в рот Симу.

Его восприятие мира было удивительно емким. Он жадно впитывал знания. Любовь, брак, нравы, гнев, жалость, ярость, эгоизм, оттенки и тонкости, реальность и рефлексия — он на ходу осмысливал эти понятия. Одно подводило к другому. Вид колышущихся зеленых растений так подействовал на Сима, что разум его пришел в смятение и стал кружиться, подобно гироскопу, ища равновесия в мире, где недостаток времени принуждал, не дожидаясь объяснений, самому исследовать и толковать. Пища, расходясь по организму, помогла ему разобраться в собственном строении и в таких вещах, как энергия и движение. Словно птенец, вылупляющийся из яйца, Сим представлял собой почти законченную систему, полностью развитую и вооруженную необходимым знанием. Он был обязан этим наследственности и готовым образам, телепатически передаваемым каждому разуму, всякому дыханию. Удивительное, окрыляющее свойство!

Вместе — мать, отец и двое детей — они шли, обоняя запахи, глядя, как птицы с быстротой брошенного камня проносятся над долиной, и вдруг отец сказал:

— Помнишь?

Как это — «помнишь»? Сим лежал калачиком у него на руках. Разве вообще можно забыть что-то за те семь дней, что они прожили!

Муж и жена обменялись взглядами.

— Неужели это было всего три дня назад? — Она вздрогнула и закрыла глаза, сосредоточиваясь. — Даже не верится. Ах, как это несправедливо!..

Она всхлипнула, потом провела по лицу рукой и прикусила запекшуюся губу. Ветер тербил ее седые волосы.

— Теперь моя очередь плакать! Час назад плакал ты!

— Час... половина жизни.

— Пошли. — Она потянула мужа за руку. — Пойдем, осмотрим все, ведь больше не придется.

— Через несколько минут взойдет солнце, — ответил старик. — Пора возвращаться.

— Еще только минуточку, — умоляла женщина.

— Солнце застигнет нас.

— Ну и пусть застигнет меня!

— Что ты такое говоришь!

— Ничего я не говорю, равным счетом ничего, — рыдала женщина.

Вот-вот должно было появиться солнце. Зелень в долине начала жухнуть. Родился

обжигающий ветер. Вдалеке, где на скальные бастионы уже обрушились солнечные стрелы, искажая черты могучих каменных линий, срывались лавины — будто спадали мантии.

— Дак! — позвал отец.

Девочка откликнулась и побежала по горячим плитам долины, и волосы ее развевались, как черный флаг. С полными пригоршнями зеленых плодов она присоединилась к своим.

Солнце оторочило пламенем край неба, воздух всколыхнулся и наполнился свистом.

Люди пещерного племени обратились в бегство, на ходу крича и подбирая споткнувшихся ребятишек, унося в свои глубокие норы охапки зелени и плодов. В несколько мгновений долина опустела, если не считать забытого кем-то малыша. Он бежал по гладким плитам, но у него было совсем мало силенок, бежать оставалось еще столько же, а вниз по скалам уже катился могучий жаркий вал.

Цветы сгорали, обращаясь в пепел; травы втягивались в трещины, словно обжегшиеся змеи. Ветер, подобный дыханию домны, подхватывал цветочные семена, и они сыпались в трещины и расселины, чтобы на закате опять прорасти и дать цветы и семена, и снова пожухнуть.

Отец Сима смотрел, как по дну долины вдалеке бежит одинокий ребенок. Сам он, его жена, Дак и Сим были надежно укрыты в устье пещеры.

— Не добежит, — сказал отец. — Не смотри туда, мать. Такие вещи лучше не видеть.

И они отвернулись. Все, кроме Сима. Он заметил вдали какой-то металлический блеск. Сердце отчаянно забило в груди, в глазах все расплылось. Далеко-далеко, на самой вершине небольшой горы источало слепящие блики металлическое семя. Словно исполнилась одна из грез той поры, когда Сим еще лежал во чреве матери! Там, на горе, целое, невредимое — металлическое зернышко из космоса! Его будущее! Его надежда на спасение! Вот туда он отправится через два-три дня, когда — трудно себе представить — будет взрослым мужчиной.

Будто поток расплавленной лавы, солнце хлынуло в долину.

Бегущий ребенок вскрикнул, солнце настигло его, и крик оборвался.

С трудом волоча ноги, как-то вдруг постарев, мать Сима пошла по туннелю. Остановилась... протянула руки вверх и обломилась две сосульки, последние из намерзших за ночь. Одну подала мужу, другую оставила себе.

— Выпьем последний тост. За тебя, за детей.

— За *тебя*. — Он кивком указал на нее. — За детей.

Они подняли сосульки. Тепло растопило лед, и капли освежили их пересохшие рты.

Целый день раскаленное солнце низвергалось в долину. Сим этого не видел, но о мощи дневного пламени он мог судить по ярким картинам в сознании родителей. Вязкий, как ртуть, свет просачивался в пещеры, выжигая вес на своем пути, но глубоко не проникал. От него в пустотах было светло и расходилось приятное тепло.

Сим пытался отогнать от родителей наступающую старость, но сколько ни напрягал разум, призывая себе на помощь их образы, на глазах у него они превращались в мумии. Старость съедала отца, будто кислота. «Скоро со мной будет то же самое», — в ужасе думал Сим.

Сам он рос стремглав, буквально чувствуя, как в организме происходит обмен веществ. Каждую минуту его кормили, он без конца что-то жевал, что-то глотал. Образы, процессы начали связываться в его уме с определяющими их словами. Одним из таких слов было «любовь».

Для Сима в нем крылось не отвлеченное понятие, а некий процесс, легкое дыхание, запах утренней свежести, трепет сердца, мягкий изгиб руки, на которой он лежал, наклоненное над ним лицо матери. Сначала он видел то или иное действие, потом в сознании матери искал и находил нужное слово. Гортань готовилась к речи. Жизнь стремительно, неумолимо увлекала его навстречу вечному забвению.

Сим чувствовал, как растут его ногти, как развиваются клетки, отрастают волосы, увеличиваются в размерах кости и сухожилия, разрастается мягкое, бледное восковое вещество мозга. При рождении чистый и гладкий, будто кружок льда, уже секундой позже мозг его, словно от удара камня, покрылся сеткой миллионов борозд, извилин, обозначающих мысли и открытия.

Его сестренка Дак то прибежала, то убегала вместе с другими тепличными детьми и безостановочно что-то жевала. Мать дрожала над ним, она ничего не ела, у нее не было аппетита, а глаза будто заткало паутиной.

— Закат, — произнес наконец отец.

День кончился. Смеркалось, послышалось завывание ветра.

Мать встала.

— Хочу еще раз увидеть внешний мир... только раз...

Трясаясь, она устремила вперед невидящий взгляд.

Глаза отца были закрыты, он лежал подле стены.

— Не могу встать, — еле слышно прошептал он. — Не могу.

— Дак! — прохрипела мать, и дочь подбежала к ней. — Держи.

Она передала дочери Сима.

— Береги Сима, Дак, корми его, заботься о нем.

Последнее ласковое прикосновение материнской руки...

Дак молча прижала Сима к себе, ее большие влажные глаза зелено поблескивали.

— Ступай, — сказала мать. — Вынеси его на волю в час заката. Веселитесь. Собирайте пищу, ешьте. Играйте.

Не оглядываясь назад, Дак подошла к выходу. Сим изогнулся у нее на руках, глядя через плечо сестры потрясенными, неверящими глазами. У него вырвался крик, и губы каким-то образом сложились, дав выход первому в его жизни слову:

— Почему?..

Он увидел, как оторопела мать.

— Ребенок заговорил!

— Ага, — отозвался отец. — Ты расслышала, что он сказал?

— Расслышала, — тихо сказала мать.

Шатаясь, она медленно добрела до отца и легла рядом с ним. Последний раз Сим видел, как его родители передвигаются.

Ночь наступила и минула, и начался второй день.

Всех умерших за ночь отнесли на вершину невысокого холма. Траурное шествие было долгим: много тел.

Дак шла вместе со всеми, ведя за руку ковыляющего кое-как Сима. Он научился ходить за час до рассвета.

С холма Сим снова увидел вдали металлическое зернышко. Но больше никто туда не смотрел, и никто о нем не говорил. Почему? Может быть, есть на то причина? Может быть, это мираж? Почему они не бегут туда? Не молятся на это зернышко? Почему не попробуют добраться до него и улететь в космос?

Отзвучали траурные речи. Тела положили в ряд на открытом месте, где солнце через несколько минут их кремирует.

Затем все повернули обратно и ринулись вниз по склону, спеша использовать немногие минутки свободы — побегать, поиграть, посмеяться на воздухе, пахнущем свежестью.

Дак и Сим, щебеча, будто птицы, добывали себе пищу среди скал и делились друг с другом тем, что успели узнать. Ему шел второй день, ей — третий. Обоих подхлестывал бурный темп их скоротечной жизни.

Сейчас она повернулась к ним еще одной гранью.

Из-за скал наверху, держа в сжатых кулаках острые камни и каменные ножи, выскочило полсотни молодых мужчин. С криками они помчались к невысокой гряде скальных зубцов вдалеке.

«Война!» — отдалось в мозгу Сима. Новая мысль оглушила его, потрясла. Эти люди побежали сражаться и убивать других людей, что живут там, среди черных скал.

Но почему? Зачем сражаться и убивать — разве жизнь и без того не чересчур коротка?

От далекого гула схватки ему стало не по себе.

— Почему, Дак, почему?

Дак не знала. Может быть, они поймут завтра. Сейчас надо есть — есть для поддержания сил и жизни. Дак напоминала ящеричку, вечно что-то нащупывающую своим розовым языком, вечно голодную.

Кругом повсюду сновали бледные ребяташки. Один мальчуган юркнул, словно жучок, вверх по склону, сшиб Сима с ног и прямо перед носом у него схватил особенно соблазнительную красную ягоду, которую тот нашел под выступом.

Прежде чем Сим успел встать, мальчуган уже управился с добычей. Сим набросился на него, они вместе упали и покатались вниз причудливым комком, пока Дак, визжа, не разняла их.

У Сима сочилась кровь из ссадин. Какая-то часть его сознания, глядя как бы со стороны, говорила: «Это не годится. Дети не должны так поступать. Это плохо!»

Дак шлепками прогнала маленького разбойника.

— Уходи отсюда! — крикнула она. — Как тебя звать, безобразник?

— Кайон! — смеясь, ответил мальчуган. — Кайон, Кайон, Кайон.

Сим смотрел на него со всей свирепостью, какую могло выразить его маленькое юное лицо. Он задыхался. Перед ним был враг. Как будто Сим давно дожидался, чтобы враждебное начало воплотилось не только в окружающей среде, но и в каком-то человеке. Его сознание уже постигло обвалы, зной, холод, скоротечность жизни, но это все было связано со средой, с окружающим миром — неистовые бессознательные проявления неодушевленной природы, порожденные гравитацией и излучением. А тут, в лице этого

наглого Кайона, он познал врага мыслящего!

Отбежав в сторонку, Кайон остановился и ехидно прокричал:

— Завтра я буду такой большой, что смогу тебя убить!

С этими словами он исчез за камнем.

Мимо Сима, хихикая, пробегали дети. Кто из них станет его другом, кто — врагом? И как вообще за столь чудовищно короткий жизненный срок могут возникнуть друзья и враги? Разве тут успеешь приобрести тех или других?

Дак, читая мысли брата, повела его дальше. Продолжая поиск пищи, она лихорадочно шептала ему на ухо:

— Украла у тебя еду — вот и враг. Подарили длинный стебель — вот и друг. Еще враждуют из-за мыслей и мнений. В пять секунд ты нажил себе смертельного врага.

Жизнь так коротка, что с этим надо поторапливаться.

И она рассмеялась со странной для столь юного существа иронией, отражающей преждевременную зрелость мысли.

— Тебе надо будет биться, чтобы защитить себя. Тебя будут пытаться убить. Есть поверье, глупое поверье, будто часть жизненной энергии убитого переходит к убийце и за счет этого можно прожить лишний день. Понял? И пока кто-то в это верит, ты в опасности.

Но Сим не слушал ее. От стайки хрупких девчушек, которые завтра станут выше и смирнее, послезавтра оформятся, а еще через день найдут себе мужа, отделилась резвушка с волосами цвета фиолетово-голубого пламени.

Пробегая мимо, она задела Сима, их тела соприкоснулись. Сверкнули глаза, светлые, как серебряные монеты. И он уже знал, что обрел друга, любовь, жену, которая через неделю будет лежать с ним рядом на погребальном костре, когда солнце примется слущивать их плоть с костей.

Всего один взгляд, но он на миг заставил их окаменеть.

— Как тебя звать? — крикнул Сим вдогонку.

— Лайт! — смеясь, ответила она.

— А меня — Сим, — сказал он сконфуженно, растерянно.

— Сим! — повторила она, устремляясь дальше. — Я запомню.

Дак толкнула его в бок.

— Держи, ешь, — сказала она задумавшемуся брату. — Ешь, не то не вырастешь и не сможешь ее догнать.

Откуда ни возьмись появился бегущий Кайон.

— Лайт! — передразнил он, ехидно приплясывая. — Лайт! Я тоже запомню Лайт!

Высокая, стройная, как хворостинка, Дак печально покачала черным облачком волос.

— Я наперед могу тебе сказать, что тебя ждет, братик. Тебе скоро понадобится оружие, чтобы сражаться за эту Лайт. Но нам пора, солнце вот-вот выйдет.

И они побежали обратно к пещере.

Четверть жизни позади! Минуло детство. Он стал юношей. Вечером буйные ливни хлестали долину. Сим видел, как новорожденные потоки бороздили долину, отрезая гору с металлическим зернышком. Он старался все запомнить. Каждую ночь — новая река, свежее

русло.

— А что за долиной? — спросил Сим.

— Туда никто не доходил, — объяснила Дак. — Все, кто пытался добраться до равнины, либо замерзали насмерть, либо сгорали. Полчаса бега — вот предел изведенного края. Полчаса туда, полчаса обратно.

— Значит, еще никто не добирался до металлического зернышка?

Дак фыркнула.

— Ученые — они пробовали. Дурачье! Им недостает ума бросить эту затею. Ведь пустое дело. Чересчур далеко.

Ученые. Это слово всколыхнуло душу Сима. Он почти успел забыть видение, которое представлялось ему перед самым рождением и сразу после него.

— А где они, эти ученые? — нетерпеливо переспросил он.

Дак отвела взгляд.

— Хоть бы я знала, все равно не скажу. Они убьют тебя со своими опытами. Я не хочу, чтобы ты ушел к ним! Живи сколько положено, не обрывай свою жизнь на половине в погоне за этой дурацкой штукой там, на горе.

— Узнаю у кого-нибудь другого!

— Никто тебе не скажет! Все ненавидят ученых. Самому придется отыскивать. И допустим, что ты их найдешь... Что дальше? Ты нас спасешь? Давай спасай нас, мальчуган! — Она злилась, половина ее жизни уже прошла.

— Нельзя же все только сидеть да разговаривать, да есть, — возразил он. — И больше ничего!..

Он снова вскочил на ноги.

— Иди, иди, ищи их! — едко отрезала она. — Они помогут тебе забыть. Да, да. — Она выплевывала слова: — Забыть, что еще несколько дней — и твоей жизни конец!

Занявшись поиском, Сим бегом преодолевал туннель за туннелем. Иногда ему казалось, что он уже на верном пути. Но стоило спросить окружающих, в какой стороне лежит пещера ученых, как его захлестывала волна чужой ярости, волна смятения и негодования. Ведь это ученые виноваты, что их занесло в этот ужасный мир! Сим ежилась под градом бранных слов.

В одной из срединных пещер он тихо подсел к другим детям, чтобы послушать речи взрослых мужей. Наступил Час учения, Час собеседования. Как ни томили его задержки, как ни терзала нетерпение при мысли о том, что поток жизни быстро иссякает и смерть надвигается, подобно черному метеору, Сим понимал, что разум его нуждается в знании. Эту ночь он проведет в школе. Но ему не сиделось. Осталось жить всего пять дней.

Кайон сидел напротив Сима, и тонкогубое лицо его выражало вызов.

Между ними появилась Лайт. За прошедшие несколько часов она еще подросла, ее движения стали мягче, поступь тверже, волосы блестели ярче. Улыбаясь, она села рядом с Симом, а Кайона словно и не заметила. Кайон насутился и перестал есть.

Пещеру наполняла громкая речь. Стремительная, как стук сердца, — тысяча, две тысячи слов в минуту. Голова Сима усваивала науку. С открытыми глазами он словно погрузился в полусон, чуткую дремоту, чем-то напоминающую внутриутробное состояние. Слова, что отдавались где-то вдалеке, сплетались в голове в гобелен знаний.

Ему представились луга, зеленые, без единого камня, сплошная трава — широкие луга, волнами уходящие навстречу рассвету, и ни леденящего холода, ни жаркого духа

обожженных солнцем камней. Он шел через эти зеленые луга. Над ним, высоко-высоко в небе, которое дышало ровным мягким теплом, пролетали металлические зернышки. И все кругом протекало так медленно, медленно, медленно...

Птицы мирно сидели на могучих деревьях, которым нужно было для роста сто, двести, пять тысяч дней. Все оставалось на своих местах, и птицы не спешили укрыться, увидев солнечный свет, и деревья не съеживались в испуге, когда их касался солнечный луч.

Люди в этом сне ходили не торопясь, бегали редко, и сердца их бились размеренно, а не в безумном, скачущем ритме. Трава оставалась травой, ее не пожирало пламя. И люди говорили не о завтрашнем дне и смерти, а о завтрашнем дне и жизни. Причем все казалось таким знакомым, что, когда кто-то взял Сима за руку, он и это принял за продолжение сна.

Рука Лайт лежала в его руке.

— Гретишь? — спросила она.

— Да.

— Это для равновесия. Жизнь устроена несправедливо, вот разум и находит утешение в картинках, которые хранит наша память.

Он несколько раз ударил кулаком по каменному полу.

— Это ничего не исправляет! К черту! Не хочу, чтобы мне напоминали о том хорошем, что я утратил! Лучше бы нам ничего не знать! Почему мы не можем жить и умереть так, чтобы никто не знал, что наша жизнь идет не так, как надо?

Из искаженного гримасой полуоткрытого рта вырывалось хриплое дыхание.

— Все на свете имеет свой смысл, — сказала Лайт. — Вот и это придает смысл нашей жизни, заставляет нас что-то делать, что-то задумывать, искать какой-то выход.

Его глаза стали похожи на огненные изумруды.

— Я поднимался по склону зеленого холма, шел медленно-медленно, — сказал он.

— Того самого холма, на который я поднималась час назад? — спросила Лайт.

— Может быть. Что-то очень похожее. Только сон лучше яви. — Он прищурил глаза. —

Я смотрел на людей, они не были заняты едой.

— А разговором?

— И разговором тоже. А мы все время едим и все время говорим. Иногда эти люди в моем сне лежали с закрытыми глазами и совсем не шевелились.

Лайт глядела на него, и тут произошла страшная вещь. Ему вдруг представилось, что ее лицо темнеет и покрывается старческими морщинами. Волосы над ушами — будто снег на ветру, глаза — бесцветные монеты в паутине ресниц. Губы обтянули беззубые десны, нежные пальцы обратились в опаленные прутики, подвешенные к омертвелому запястью. На глазах у него увядала, погибала его прелесть. В ужасе Сим схватил Лайт за руку... и подавил рвущийся наружу крик: ему почудилось, что и его рука жухнет.

— Сим, ты что?

От вкуса этих слов у *него* стало сухо во рту.

— Еще пять дней...

— Ученые.

Сим вздрогнул. Кто это сказал? В тусклом свете высокий мужчина продолжал говорить:

— Ученые забросили нас на эту планету и погубили с тех пор напрасно тысячи жизней, бездну времени. Все их затеи впустую, никому не нужны. Не трогайте их, пусть живут, но и не жертвуйте им ни одной частицы вашего времени. Помните, вы живете только однажды.

Да где же они находятся, эти ненавистные ученые? Теперь, после уроков, после Часа

собеседования, Сим был полон решимости их отыскать. Теперь он вооружен знанием и может начинать свою битву за свободу, за корабль!

— Сим, ты куда?

Но Сима уже не было. Эхо бегущих ног затерялось в переходе, выложенном гладкими плитами.

Казалось, половина ночи потрачена напрасно. Он потерял счет тупикам. Много раз на него нападали молодые безумцы, которые рассчитывали присвоить его жизненную энергию. Вдогонку ему летели их бредовые выкрики. Кожу исчертили глубокие царапины, оставленные алчными ногтями.

И все-таки Сим нашел то, что искал.

Горстка мужчин ютилась в базальтовом мешке в недрах горы. На столе перед ними лежали неведомые предметы, вид которых, однако, родил отзвук в душе Сима.

Ученые работали по группам — старики решали важные задачи, молодые обучались, задавали вопросы; было здесь и трое детей. Все вместе образовали звенья единого процесса. Каждые восемь дней состав группы, работающей над той или иной проблемой, полностью обновлялся. Общая отдача была до нелепости мала. Ученые старились и умирали, едва достигнув творческой зрелости. Созидательная пора каждого составляла от силы двенадцать часов. Три четверти жизни уходило на учение, а за короткой порой творческой отдачи тут же следовали дряхлость, безумие, смерть.

Все обернулись, когда вошел Сим.

— Неужели пополнение? — сказал самый старый.

— Не думаю, — заметил другой, помоложе. — Гоните его прочь. Это, должно быть, один из тех, что подстрекают людей воевать.

— Нет-нет, — возразил старик. Шаркая по камню босыми ступнями, он подошел к Симу. — Входи, мальчик, входи.

Глаза у него были приветливые, уравновешенные, не такие, как у порывистых жителей верхних пещер. Серые спокойные глаза.

— Что тебе нужно?

Сим смешался и опустил голову, не выдержав спокойного ласкового взгляда.

— Жить, — прошептал он.

Старик негромко рассмеялся. Потом тронул Сима за плечо.

— Ты из какой-нибудь новой породы? Или, может быть, ты больной? — допытывался он почти всерьез. — Почему ты не играешь? Почему не готовишь себя к поре любви, к женитьбе, к отцовству? Разве ты не знаешь, что завтра вечером будешь почти взрослым? Не понимаешь, что жизнь пройдет мимо тебя, если ты не будешь осмотрительным?

Старик смолк.

С каждым вопросом глаза Сима переходили с предмета на предмет. Сейчас он смотрел на приборы на столе.

— Мне не надо было сюда приходить? — спросил он.

— Конечно, надо было, — прогремел старик. — Но это чудо, что ты пришел. Вот уже тысяча дней, как мы не получали пополнения извне! Приходится самим выращивать ученых, в собственной закрытой системе! Сосчитай-ка нас! Шесть! Шестеро мужчин. И трое детей. Могучая сила, верно? — Старик плюнул на каменный пол. — Мы зовем добровольцев, а нам отвечают: «Обратитесь к кому-нибудь другому!» или «Нам некогда!» А знаешь, почему они так говорят?

— Нет. — Сим пожал плечами.

— Потому что каждый о себе думает. Конечно, им хочется жить дольше, но они знают, что, как бы ни старались, вряд ли лично и м прибавится хоть один день. Возможно, потомки будут жить дольше. Но ради потомков они не согласны жертвовать своей любовью, своей короткой юностью, да хотя бы одним часом заката или восхода!

Сим прислонился к столу.

— Я понимаю, — серьезно сказал он.

— Понимаешь? — Старик рассеянно посмотрел на Сима. Потом вздохнул и ласково потрепал его по руке. — Ну конечно, понимаешь. Можно ли требовать от кого-нибудь, чтобы понимал больше. Ты молодец.

Остальные окружили кольцом Сима и старика.

— Мое имя Дайнк. Завтра ночью мое место займет Корт. Я к тому времени умру. На следующую ночь кто-то другой сменит Корта, а потом придет твоя очередь, если ты будешь трудиться и верить. Но прежде я хочу дать тебе подумать. Возвращайся к своим товарищам по играм, если хочешь. Ты кого-нибудь полюбил? Возвращайся к ней. Жизнь коротка. С какой стати тебе печалиться о тех, кто еще не родился? У тебя есть право на юность. Ступай, если хочешь. Ведь если ты останешься, все твое время уйдет только на то, чтобы трудиться, стариться и умереть за работой. Правда, ты будешь делать доброе дело. Ну?

Сим оглянулся на туннель. Где-то там завывал ветер, и пахло варевом, и шлепали босые ноги, и звучал, радуя сердце, молодой смех. Он сердито дернул головой, на глазах его блеснула влага.

— Я остаюсь, — сказал он.

6

Третья ночь и третий день остались позади. Наступила четвертая ночь. Сим втянулся в жизнь ученых. Ему рассказали про металлическое зернышко на вершине далекой горы. Рассказали про много зернышек — так называемые «корабли», и как они потерпели крушение, про то, как уцелевшие, которые укрылись среди скал, начали быстро стариться и в отчаянной борьбе за жизнь забыли все науки. В такой вулканической цивилизации знание механики не могло сохраниться. Всякий жил только настоящей минутой.

О вчерашнем дне никто не думал, завтрашний день зловеще глядел в глаза. Но та самая радиация, которая ускорила старение, породила и своего рода телепатическое общение, помогающее новорожденным воспринимать и осмысливать. А получившая силу инстинкта наследственная память сохраняла картины других времен.

— Почему мы не пробуем добраться до корабля на горе? — спросил Сим.

— Слишком далеко. Понадобится защита от солнца, — объяснил Дайнк.

— Вы пробовали придумать защиту?

— Мази и втирания, одеяния из камня и птичьих перьев, а также в последнее время из жестких металлов. Но ничто не помогает. Еще десять тысяч поколений, и нам, возможно, удастся изготовить охлаждаемый водой панцирь, который защитит нас на пути к кораблю. Но мы работаем очень медленно, и все на ощупь. Сегодня утром я, зрелый муж, взял в руки инструмент. Завтра, умирая, отложу его. Что может сделать человек за один день? Будь у нас десять тысяч человек, задачу удалось бы решить...

— Я пойду к кораблю, — сказал Сим.

— И погибнешь, — произнес старик в тишине, воцарившейся после слов Сима. Все смотрели на мальчика. — Ты очень эгоистичный юноша.

— Эгоистичный? — возмутился Сим.

Старик повел рукой в воздухе.

— Но такой эгоизм мне по душе. Ты хочешь жить дольше и готов все для этого сделать. Хочешь добраться до корабля. Но я говорю тебе, что ничего не выйдет. И все же, если ты будешь настаивать, я не смогу тебе помешать. По крайней мере, ты не уподобишься тем из нас, которые уходят на войну, чтобы выиграть несколько лишних дней жизни.

— На войну? — переспросил Сим. — О какой войне тут может идти речь?

По его телу пробежала дрожь. Непонятно...

— Об этом завтра, — сказал Дайнк. — А сейчас слушай.

Еще одна ночь прошла.

7

Настало утро. По одному из ходов, крича и плача, прибежала Лайт и упала прямо в объятия Сима. Она опять изменилась. Стала еще старше и еще прекраснее. Дрожа, она прижималась к нему.

— Сим, они идут за тобой!

В туннеле нарастал, приближаясь, звук шагающих босых ног. Показался Кайон. Он тоже вытянулся в длину, и в каждой его руке было по острому камню.

— А, вот ты где, Сим!

— Уходи! — яростно крикнула Лайт, замахиваясь на него.

— Без Сима не уйдем, — твердо ответил Кайон. И, улыбаясь, повернулся к Симу. — Если, конечно, он готов сражаться вместе с нами.

Дайнк, волоча ноги, вышел вперед, его глаза часто мигали, худые руки трепетали по-птичьи в воздухе.

— Ступайте! — гневно произнес он тонким голосом. — Этот юноша теперь ученый. Он работает с нами.

Кайон перестал улыбаться.

— Его ждет работа получше этой. Мы идем воевать с обитателями дальних скал. — Глаза Кайона беспокойно блеснули — Ты ведь пойдешь с нами, Сим?

— Нет, нет! — Лайт повисла на руке Сима.

Сим погладил ее плечо, потом повернулся к Кайону.

— Почему вы решили напасть на тех людей?

— Три лишних дня ждут того, кто пойдет с нами.

— Три лишних дня? Три дня жизни?

Кайон уверенно кивнул.

— Если мы победим, будем жить вместо восьми одиннадцать дней. Там, где они живут, в скалах есть особая горная порода, она защищает от радиации! Подумай, Сим, три долгих славных дня жизни. Идешь с нами?

— Идите без него, — вмешался Дайнк. — Сим — мой ученик!

Кайон фыркнул.

— Шел бы ты умирать, старик. Сегодня на закате от тебя останутся одни обугленные кости. Кто ты такой, чтобы командовать нами? Мы молоды, мы хотим жить дольше.

Одиннадцать дней. Невероятно! Одиннадцать дней! Теперь Сим понимал, что порождает войны. Кто не пойдет воевать за то, чтобы почти наполовину продлить свою жизнь! Столько лишних дней жизни! Да. В самом деле, почему нет!

— Три лишних дня, — произнес скрипучий голос Дайнка. — Если вы до этого доживете. Если вас не убьют в бою. Если. Если. Вы еще никогда не побеждали. Всегда проигрывали!

— Но на этот раз, — резко заявил Кайон, — мы победим!

Сим недоумевал.

— Но ведь мы все одной крови. Почему нельзя вместе жить там, где скалы защищают лучше?

Кайон рассмеялся, сжимая в руке острый камень.

— Те, что там живут, считают себя лучше нас. Так всегда думает тот, кто сильнее. К тому же и пещеры там меньше, в них помещается только триста человек.

Три лишних дня!

— Я пойду с вами, — сказал Сим Кайону.

— Отлично! — Что-то Кайон уж очень обрадовался.

Дайнк порывисто вздохнул.

Сим повернулся к Дайнку и Лайт.

— Если я сумею победить в бою, я буду на полмили ближе к кораблю. И у меня в запасе будет три лишних дня, чтобы попытаться дойти до него. Кажется, у меня просто нет выбора.

Дайнк печально кивнул.

— Да, это так. Я верю тебе. Ступай же.

— Прощайте, — сказал Сим.

Лицо старика отразило удивление, потом он рассмеялся, словно в ответ на беззлобную шутку.

— Верно, ведь я тебя больше не увижу... Ну что ж, прощай.

И они пожали друг другу руки.

Все вместе: Кайон, Сим, Лайт и другие дети, быстро вырастающие в бойцов, — они покинули пещеру ученых. И огонек в глазах Кайона не сулил ничего доброго.

Лайт пошла с Симом. Она собрала для него камни и понесла их. Уходить домой отказалась, сколько он ее ни убеждал. Они шагали через долину; близился восход.

— Прощу тебя, Лайт, ступай домой!

— Чтобы ждать возвращения Кайона? — сказала она. — У него задумано, что я стану его женой, когда ты умрешь.

Она сердито тряхнула своими неправдоподобными голубыми кудрями.

— Нет, я пойду с тобой. Если ты погибнешь в бою, я тоже погибну.

Лицо Сима посуровело. Он сильно вырос. За ночь мир словно съежился. Стайки детей, которые с ликующими криками собирали плоды, вызвали у него удивление, даже недоумение: неужели он сам всего четыре дня назад был таким? Странно. В голове Сима отложился гораздо более долгий срок, как будто он на самом деле прожил тысячу дней. Пласт событий и размышлений в его сознании был таким мощным, таким многоцветным и многообразным, что просто не верилось — да разве могло столько всего произойти за

считанные дни?

Бойцы бежали по двое, по трое. Сим посмотрел вперед, на торчащие вдали невысокие черные зубцы. «Сегодня мой четвертый день, — сказал он себе. — А я еще ни на шаг не приблизился к кораблю, ни к чему не приблизился, даже к той, — он слышал рядом легкую поступь Лайт, — которая несет мое оружие и собирает для меня спелые ягоды».

Половина жизни прошла. Или одна треть... Если он выиграет эту битву. Е с л и...

Сим бежал легко, упруго, непринужденно. «Сегодня я как-то особенно остро ощущаю свое бытие. Я бегу и ем, ем и расту, расту и с замиранием сердца обращаю взгляды на Лайт. И она тоже с нежностью глядит на меня. День нашей юности... Неужели мы тратим его впустую? Расходуем на вздор, на химеру?»

Издали донесся смех. В детстве смех настораживал Сима. Теперь он его понимал. Этот смех родился в душе человека, который взбирался на скалы высокие, собирал там листья зеленые, пил хмельное вино с сосулк утренних, ел плоды горные и впервые вкушал сладость юных губ.

Вот уже близко скалы противника.

А у Сима перед глазами — стройная осанка Лайт. Он словно впервые открыл для себя ее шею, коснувшись которой можно сосчитать биение сердца, и пальцы, которые трепетно льнут к твоим пальцам, и...

Лайт резко отвернулась.

— Гляди вперед! — крикнула она. — Следи за тем, что предстоит... Гляди только вперед.

У него было такое чувство, словно они пробегают мимо большого куска своей жизни, вся юность остается позади, и даже некогда оглянуться.

— Глаза устали смотреть на камни, — сказал он на бегу.

— Найди себе новые камни!

— Я вижу камни... — Голос его стал ласковым, как ее ладонь. Ландшафт уплывал назад. Сим будто летел в объятиях нежного, дремотного ветерка. — Вижу камни, ущелье, прохладную тень и каменные ягоды. Они — как роса. Тронешь камень, и ягоды сыплются вниз безвучной красной лавиной, и травы такие шелковистые...

— Не вижу! — Она побежала быстрее, глядя в другую сторону.

Он видел пушок на ее шее — будто тонкий серебристый мох на холодной стороне булыжников, что колышется от легчайшего дыхания. Потом представил самого себя, с напряженно сжатыми кулаками мчащегося вперед, навстречу смерти. На его руках вздулись упругие жилы.

Лайт протянула ему какую-то пищу.

— Я не хочу есть, — сказал он.

— Ешь, ешь, как следует, — строго велела она. — Чтобы были силы для битвы!

— Господи! — с болью воскликнул он. — Кому нужны эти битвы!

Навстречу им вниз по склону запрыгали камни. Один из бойцов упал с расколотым черепом. Война началась.

Лайт передала Симу оружие. Дальше они бежали без слов вплоть до боевого рубежа.

Сверху, из-за бастионов противника, на них обрушился искусственный обвал!

Теперь одна мысль владела Симом. Убивать, лишать жизни других, чтобы жить самому,

закрепиться здесь, продлить свою жизнь и попробовать достичь корабля. Он приседал, уклонялся, хватал камни и метал их вверх. В левой руке у него был плоский каменный щит, которым он отбивал летящие сверху обломки. Кругом раздавались хлопки. Лайт бежала рядом, ободряя его. Один за другим впереди упали двое, убиты наповал — грудь распорота до кости, кровь бьет фонтаном...

И ведь все понапрасну. Сим мгновенно осознал бессмысленность затеянной ими схватки. Штурмом эту скалу не взять. Глыбы катились сверху сплошной лавиной. Десять бойцов пали с черными осколками в черепах, еще у пятерых плетью повисли переломанные руки. Кто-то вскрикнул — белый коленный сустав торчал из кожи, распоротой метко брошенными кусками гранита. Атакующие спотыкались о тела убитых.

На скулах Сима заиграли желваки, он уже клял себя за то, что пришел сюда. И все-таки, прыгая то в одну, то в другую сторону, нырками уклоняясь от камней, он упорно смотрел вверх, на черные скалы. Жить там и сделать заветную попытку — это желание было сильнее всего. Он должен добиться своего! Но мужество готово было покинуть его.

Лайт пронзительно вскрикнула. Сим обернулся, обомлев от испуга, и увидел, что рука ее перебита, из рваной раны поперек запястья хлестала кровь. Она зажала руку под мышкой, чтобы умерить боль. Ярость всколыхнулась в его душе, он неистово рванулся вперед, бросая камни с убийственной точностью. Вот от меткого броска вражеский боец упал как подкошенный и покатился вниз по уступам. Наверное, Сим что-то кричал, потому что легкие его толчками извергали воздух и в горле саднило, а земля стремительно убегала назад.

Камень ударил его по голове и опрокинул на землю. На зубах захрустел песок. Мир рассыпался на багровые завитушки. Сим не мог встать. Он лежал и думал, что вот и пришел его последний день, последний час. Кругом продолжала кипеть схватка, и в полузабытьи он ощутил, как над ним наклонилась Лайт. Руки ее охладили его лоб, она хотела оттащить Сима в безопасное место, но он лежал, хватая ртом воздух, и твердил, чтобы она бросила его.

— Стой! — крикнул чей-то голос.

Казалось, война на миг приостановилась.

— Назад! — скомандовал быстро тот же голос.

Лежа на боку, Сим увидел, как его товарищи повернули и побежали назад, домой.

— Солнце восходит, наше время кончилось!

Он проводил взглядом мускулистые спины, мелькающие в беге ноги. Мертвых оставили лежать на поле боя. Раненые взывали о помощи. Но разве сейчас до раненых! Только бы стремглав одолеть бесславный путь домой и с опаленными легкими нырнуть в пещеры, прежде чем беспощадное солнце настигнет их и убьет.

Солнце!

Кто-то бежал в сторону Сима. Это был Кайон! Шепча ободряющие слова, Лайт помогла Симу встать.

— Идти сможешь? — спросила она.

— Кажется, смогу, — простонал он.

— Тогда пошли, — продолжала она. — Сперва потише, потом быстрее и быстрее. Мы дойдем, я знаю, что дойдем!

Сим выпрямился, шатаясь. Подбежал Кайон — лицо, искаженное свирепыми складками, сверкающие глаза еще не остыли после битвы. Оттолкнув Лайт, он схватил острый камень и резким ударом распорол Симу ногу. Ударил молча, без единого звука.

Потом отступил назад, по-прежнему не говоря ни слова, только осклабился, будто ночной хищник. Грудь его тяжело вздымалась, взгляд перебегал с окровавленной ноги Сима на Лайт и обратно. Наконец, он отдышался.

— Он не дойдет. — Кайон кивком указал на Сима. — Придется нам оставить его здесь. Пошли, Лайт.

Лайт кошкой набросилась на Кайона, норовя добраться до его глаз. Тонкий визг вырвался сквозь ее оскаленные зубы, пальцы молниеносно прочертили глубокие кровавые борозды на бицепсах, затем на шее Кайона. С бранью Кайон отпрыгнул от Лайт. Она бросила в него камнем. Он увернулся и, рыча, отбежал еще на несколько ярдов.

— Дура! — презрительно крикнул он. — Идем со мной. Сим умрет через несколько минут. Пошли!

Лайт повернулась к нему спиной.

— Если ты меня понесешь.

Кайон изменился в лице. Блеск пропал из его глаз.

— Времени мало. Мы оба погибнем, если я тебя понесу.

Лайт смотрела на него, как на пустое место.

— Неси же, я так хочу.

Не говоря ни слова, Кайон испуганно глянул на полосу алеющей зари и побежал. Его шаги умчались вдаль и затихли.

— Хоть бы упал и шею себе сломал, — прошептала Лайт, яростно глядя на пересекающий ущелье силуэт. Она повернулась к Симу. — Можешь идти?

От раны боль растекалась по всей ноге. Сим иронически кивнул.

— Если идти, часа за два до пещеры доберемся. Но у меня есть идея, Лайт. Понеси меня на руках.

Он улыбнулся собственной мрачной шутке.

Она взяла его за руку.

— И все-таки мы пойдем. Ну-ка...

— Нет, — сказал он. — Мы останемся здесь.

— Но почему?

— Мы пришли сюда, чтобы отвоевать себе новую обитель. Если пойдем обратно — умрем. Лучше уж я умру здесь. Сколько времени нам осталось?

Вместе они посмотрели туда, где всходило солнце.

— Несколько минут, — тускло, бесцветно сказала она, прижимаясь к нему.

Солнечный свет хлынул из-за горизонта, и на черных скалах появились багровые и коричневые подпалыны.

Глупец он! Надо было остаться и работать вместе с Дайнком, размышлять и мечтать.

Жилы на шее Сима вздулись, он вызывающе закричал, обращаясь к жителям черных пещер:

— Эй, вышлите кого-нибудь сюда на поединок!

Молчание. Голос отразился от скал. Стало жарко.

— Ни к чему это, — сказала Лайт. — Они не отзовутся.

— Слушайте! — снова закричал Сим. Раненая нога ныла от пульсирующей боли, он перенес вес на здоровую и взмахнул кулаком. — Вышлите сюда воина, да не труса! Я не убегу домой! Я пришел сразиться в честном поединке! Вышлите бойца, который готов воевать за право на свою пещеру! Я убью его!

По-прежнему молчание. Над краем прокатилась волна зноя.

— Эй, — с издевкой кричал Сим, широко раскрыв рот, закинув голову назад, опираясь руками на голые бедра, — неужели не найдется среди вас человека, который отважится сразиться с калеккой?

Молчание.

— Нет?

Молчание.

— Значит, я в вас ошибся. Просчитался. Ладно, останусь здесь, пока солнце не снимет черную стружку с моих костей, и буду вас поносить так, как вы этого заслуживаете.

Ему ответили.

— Я не люблю, когда меня поносят! — крикнул мужской голос.

Сим наклонился вперед, забыв об искалеченной ноге.

В устье пещеры на третьем ярусе показался плечистый силач.

— Спускайся, — твердил Сим. — Спускайся, толстяк, прикончи меня.

Секунду противник разглядывал Сима из-под насупленных бровей, затем медленно побрел вниз по тропе. В руках у него не было никакого оружия. В ту же секунду изо всех пещер высунулись головы — зрители предстоящей драмы.

Чужак подошел к Симу.

— Сражаться будем по правилам, если ты их знаешь.

— Узнаю по ходу дела, — ответил Сим.

Его ответ понравился противнику, он посмотрел на Сима внимательно, но без неприязни.

— Вот что, — великодушно предложил он, — если ты погибнешь, я приму твою спутницу под свой кров, и пусть живет без забот, потому что она жена доброго воина.

Сим быстро кивнул.

— Я готов, — сказал он.

— А правила простые. Руками друг друга не касаемся, наше оружие — камни. Камни и солнце убьют кого-то из нас. Теперь приступим...

8

Показался краешек солнца.

— Меня зовут Нхой. — Противник Сима небрежно поднял горсть камней и взвесил их на ладони.

Сим сделал так же. Он хотел есть. Уже много минут он ничего не ел. Голод был бичом жителей этой планеты, пустые желудки непрерывно требовали еще и еще пищи. Кровь вяло струилась по жилам, с жарким звоном стучала в висках, грудная клетка вздымалась и опадала, и снова порывисто вздымалась.

— Давай! — закричали триста зрителей со скал. — Давай! — требовали мужчины, женщины и дети, облепившие уступы. — Ну! Начинайте!

Словно по сигналу, взошло солнце. Его мощь ударила бойцов, будто плоским раскаленным камнем. Они даже качнулись, на обнаженных бедрах и спинах тотчас выступили капли пота, лица и ребра заблестели, как стеклянные.

Силач переступил с ноги на ногу и поглядел на солнце, как бы не торопясь начинать

поединок. Вдруг беззвучно, без малейшего предупреждения, молниеносным движением указательного и большого пальцев он выстрелил камень. Снаряд поразил Сима в щеку, он невольно попятился, и дикая боль ракетой метнулась вверх по раненой ноге и взорвалась в желудке. Он ощутил вкус просочившейся в рот крови.

Нхой хладнокровно продолжал обстрел. Еще три неуловимых движения его ловких рук, и три маленьких, безобидных по виду камешка, словно свистящие птицы, рассекли воздух. Каждый из них нашел и поразил свою цель — нервные узлы. Один ударил в живот, и все съеденное Симом за предшествующие часы чуть не выскочило наружу. Второй поразил лоб, третий — шею. Сим рухнул на раскаленный песок. Колени его резко стукнули о твердый грунт. Лицо стало мертвенно-бледным, плотно зажмуренные глаза проталкивали слезы между горячими подрагивающими веками. Но падая Сим успел с отчаянной силой метнуть свою горсть камней.

Они промурлыкали в воздухе. Один из них, только один, попал в Нхой. Прямо в левый глаз. Нхой застонал и закрыл руками изувеченное глазное яблоко.

У Сима вырвался горький всхлипывающий смешок. Хотя тут ему повезло. Глаз противника — мера его успеха. Это даст ему... время. «Господи, — подумал он, борясь со спазмой в желудке, жадно хватая ртом воздух, — живем в мире времени. Мне бы хоть немного, хоть крошечку!»

Окривевший Нхой, шатаясь от боли, обрушил град камней на корчащееся тело Сима, но меткость ему изменила, и камни либо пролетали мимо, либо попадали в противника уже на излете, потеряв грозную силу.

Сим заставил себя привстать. Краешком глаза он видел, как Лайт напряженно глядит на него, тихо выговаривая ободряющие и обнадеживающие слова. Он купался в собственном поту, будто его окатило ливнем.

Солнце целиком вышло из-за горизонта. Его можно было обонять. Камни отливали зеркальным блеском, песок зашевелился, забурлил. Во всех концах долины возникали миражи. Вместо одного бойца перед Симом, готовясь метнуть очередной снаряд, стояли во весь рост десятков Нхоев. Десяток озаренных грозным золотистым сиянием волонтеров вибрировали в лад, как бронзовые гонги!

Сим лихорадочно дышал. Ноздри его расширились и слипались, рот жадно глотал огонь вместо кислорода. Легкие горели, будто факелы из нежной ткани, пламя пожирало тело. Исторгнутый порами пот тотчас испарялся. Он чувствовал, как тело сжимается, ссыхается, и мысленно увидел себя таким, каким был его отец, — старым, чахлым, одряхлевшим! Песок... куда он делся? Есть ли силы двигаться? Да. Земля дыбилась под Симом, но он все-таки поднялся на ноги.

Перестрелки больше не будет.

Он понял это, с трудом разобрав слова, которые доносились сверху, со скал. Опаленные солнцем лица зрителей кричали, осыпая его насмешками и подбадривая своего воина:

— Стой твердо, Нхой, береги свои силы теперь! Стой прямо, потей!

И Нхой стоял, покачиваясь медленно, словно маятник, подталкиваемый раскаленным добела дыханием небес.

— Не двигайся, Нхой, береги сердце, береги силы!

— Испытание! Испытание! — повторяли люди вверху. — Испытание солнцем.

Самая тяжелая часть поединка... Напрягаясь, Сим глядел на расплывающиеся

очертания скал, и ему чудились его родители: отец с лицом покойника, с воспаленными зелеными глазами, мать — седые волосы, будто стелющийся дым, Он должен подняться к ним, жить ради них и с ними!

За его спиной тонко всхлипнула Лайт. Послышался удар мягкого тела о песок... Она упала. И нельзя обернуться. На это потребуется усилие, которое может повергнуть его в пучину боли и тьмы.

У Сима подкосились ноги. «Если я упаду, — подумал он, — останусь здесь лежать и превращусь в пепел. Так, а где Нхой?» Нхой стоял в нескольких ярдах от него, понурый, весь в поту, — вид такой, будто на хребет его обрушился молот сокрушающий.

«Упади, Нхой! Упади! — твердил про себя Сим. — Упади, упади! Упади, чтобы я мог занять твою обитель!»

Но Нхой не падал. Один за другим из его слабеющей руки на накаленный песок сыпались камни, зубы Нхой обнажились, слюна выкипела на губах, глаза остекленели. А он все не падал. Велика была в нем воля к жизни. Он держался, словно подвешенный на канате.

Сим упал на одно колено.

Торжествующее «Аааа!..» отдалось в скалах наверху. Они там знали: это смерть. Сим вскинул голову с какой-то деревянной растерянной улыбкой, словно его поймали на нелепом, дурацком поступке.

«Нет, — убеждал он себя, как во сне, — нет!..»

И снова встал.

Дикая боль превратила его в сплошной гудящий колокол. Все вокруг звенело, шипело, хлопотало. Высоко в горах скатилась лавина — беззвучно, будто опустился занавес, закрывающий сцену. Тишина, полная тишина, если не считать этого назойливого гудения. Перед взором Сима стояло сразу полсотни Нхоев в кольчугах из пота: глаза искажены мукой, скулы выпирают, губы растянуты, будто лопнувшая кожура перезрелого плода. Незримый канат все еще держал его.

— Ну вот, — Сим с трудом ворочал запекшимся языком между жарко поблескивающими зубами. — Сейчас я упаду, и буду лежать, и видеть сны.

Он произнес это медленно, стараясь продлить удовольствие. Заранее представил себе, как это будет. Как именно он все это проведет. Уж он постарается в точности выполнить программу. Сим поднял голову — проверил, наблюдают ли за ним зрители.

Они исчезли!

Солнце прогнало их. Всех, кроме одного-двух самых упорных. Сим пьяно рассмеялся и стал смотреть, как на его онемевших руках копятя капли пота, срываются, летят вниз и, не долетев до песка, испаряются.

Нхой упал.

Незримый канат лопнул. Нхой рухнул плашмя на живот, изо рта у него выскочил сгусток крови. Закатившиеся глаза безумно сверкали слепыми белками.

Упал Нхой. И вместе с ним упали все пятьдесят его призрачных двойников.

Над долиной гудели и пели ветры, и глазам Сима представилось голубое озеро с голубой рекой, и белые домики вдоль реки, и люди — кто входил или выходил из дома, кто гулял среди высоких зеленых деревьев. Деревья на берегу реки-миража были в семь раз больше человеческого роста.

«Вот теперь, — сказал себе наконец Сим, — теперь я могу падать. Прямо... в это... озеро».

Он упал ничком.

Но что это такое? Чьи-то руки поспешно подхватили его, подняли и стремительно понесли, держа высоко в ненасытном воздухе, будто пылающий на ветру факел.

«Это и есть смерть?» — удивился Сим и канул в крошечный мрак.

Его привели в себя струи холодной воды, которой ему плескали в лицо.

Он нерешительно открыл глаза. Лайт, положив его голову себе на колени, бережно кормила его. Сим был дико голоден и измучен, но все мгновенно заслонил страх. Превозмогая слабость, он приподнялся; над ним были своды какой-то незнакомой пещеры.

— Сколько времени прошло? — строго спросил он.

— Еще день не кончился. Лежи спокойно, — сказала она.

— День не кончился?

Она радостно кивнула.

— Ты не потерял ни одного дня жизни. Это пещера Нхой. Нас защищают черные скалы. Мы проживем три лишних дня. Доволен? Ложись.

— Нхой умер? — Он откинулся на спину, напряженно дыша, сердце отчаянно колотило в ребра. Но вот постепенно Сим отдышался. — Я победил, победил, — прошептал он.

— Нхой умер. И мы чуть не погибли. Нас подобрали в последнюю минуту.

Он принялся жадно есть.

— Нельзя терять ни минуты. Мы должны набраться сил. Моя нога...

Он поглядел на ногу, ощупал ее. Она была обмотана длинными желтыми стеблями, боль совсем исчезла. Вот и теперь, можно сказать на глазах, лихорадочный ток крови вовсю работал, продолжая свое исцеляющее действие под повязкой. «До заката нога должна быть здорова опять, — сказал он себе. — Должна».

Сим встал и, прихрамывая, начал ходить взад-вперед, будто пойманный зверь. Он ощутил взгляд Лайт, но не мог заставить себя ответить на него. В конце концов все-таки обернулся.

Однако она заговорила первая.

— Ты хочешь идти дальше к кораблю? — мягко спросила Лайт. — Сегодня вечером? Как только зайдет солнце?

Он набрал в легкие воздух, потом выдохнул.

— Да.

— А до завтра подождать ни за что нельзя?

— Нет.

— Тогда я иду с тобой.

— Нет!

— Если начну отставать, не жди меня. Здесь мне все равно не жизнь.

Долго они пристально смотрели друг на друга. Он безнадежно пожал плечами.

— Ладно. Я знаю, тебя не отговорить. Пойдем вместе.

Они ожидали в устье своей новой обители. Наступил закат. Камни настолько остыли, что по ним можно было ходить. Вот-вот придет пора выскакать наружу и бежать к

далекому, отливающему металлическим блеском зернышку на горе.

Скоро пойдут дожди. Сим представлял себе картины, которые не раз наблюдал: как ливень собирается в ручьи, а ручьи образуют реки, каждую ночь пробивающие новые русла. Сегодня река течет на север, завтра — на северо-восток, на третью ночь — строго на запад. Могучие потоки без конца бороздили долину шрамами. Старые русла заполнялись обвалами и землетрясениями. Следующий день рождал новые. Реки, их направление — вот о чем он много часов думал снова и снова. Ведь очень может быть, что... Ладно, время покажет.

Сим заметил, что здесь и пульс реже, и все жизненные процессы замедлились. Это особая горная порода защищала их от солнечной радиации. Конечно, ток жизни и тут оставался стремительным, но не настолько.

— Пора, Сим! — крикнула Лайт.

Они побежали. Бежали в промежутке между двумя смертями — испепеляющей и ледящей. Бежали вместе от скал к манящему кораблю.

Никогда в жизни они так не бегали. Настойчиво, упорно их бегущие ноги стучали по широким каменным плитам, вниз по склонам, вверх по склонам и дальше вперед, вперед... Воздух царапал их легкие, как наждаком. Черные скалы безвозвратно ушли назад.

Они не ели на бегу. Оба еще в пещере наелись вдоволь, чтобы сберечь время. Теперь только бежать: выбросить вверх ногу, мах назад согнутой в локте рукой, мышцы предельно напряжены, рот жадно пьет воздух, который из жгучего стал освежающим.

— Они глядят на нас?

Сквозь стук сердца слух его уловил прерывающийся голос Лайт.

Кто глядит?.. А, конечно, скальное племя. Когда в последний раз происходила подобная гонка? Тысячу, десять тысяч дней назад? Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то, решив попытать счастья, мчался во весь опор, провожаемый взглядами целого народа, сквозь овраги и через студеную равнину? Может быть, влюбленные на минуту забыли о смехе и пристально смотрят на две крохотные точки, на мужчину и женщину, что бегут навстречу своей судьбе? Может быть, дети, уписывая спелые плоды, оторвались от игр, чтобы посмотреть на эту гонку со временем? Может быть, Дайнк еще жив и, щуря тускнеющие глаза под насупленными бровями, скрипучим, дрожащим голосом кричит что-то ободряющее и машет скрюченной рукой? Может быть, их осыпают насмешками? Называют глупцами, болванами? И звучит ли в язвительном хоре хоть один голос, желающий им удачи, надеющийся, что они достигнут корабля?

Сим глянул на небо, уже тронутое приближающейся ночью. Из ничего возникли облака, и пелена дождя пересекла ущелье в двухстах ярдах перед ними. Молнии били в вершины вдаль, в смятенном воздухе распространился резкий запах озона.

— Полпути, — выдохнул Сим и увидел, как Лайт, повернув лицо, с тоской глядит на все, что они оставляли позади. — Теперь решай, если возвращаться, еще есть время. Через минуту...

В горах прорычал гром. Где-то вверху родился маленький обвал, который уже могучей лавиной рухнул в глубокую расщелину. Капли дождя покрыли пупырышками гладкую белую кожу Лайт. В одну минуту волосы ее стали влажными и блестящими.

— Поздно, — перекричала она хлесткий стук собственных босых ног. — Теперь осталось только бежать вперед!

Да, в самом деле поздно. Сим прикинул расстояние и убедился, что возврата нет.

Ноге больно... Он побежал медленнее. Вдруг подул ветер. Холодный, пронизывающий.

Но так как он дул сзади, то больше помогал, чем мешал, бежать. «Добрый знак?» — спросил себя Сим. Нет.

Потому что с каждой минутой становилось все яснее, как плохо он угадал расстояние. Время тает, а до корабля еще так далеко. Он ничего не сказал, но бессильная злоба на немощность собственных мышц вылилась жгучими слезами.

Сим знал, что Лайт думает так же, как он. Но она летела вперед белой птицей, словно и не касаясь земли. Он слышал ее дыхание — воздух входил в ее горло, будто острый кинжал в ножны.

Мрак захватил полнеба. Первые звезды проглянули между длинными прядями черных туч. Молния прочертила дорожку на гребне прямо перед ними. Гроза обрушилась на них стеной ливня и электрических разрядов.

Они скользили и спотыкались на мшистых камнях. Лайт упала, у нее вырвался гневный возглас, она поспешила подняться на ноги. Тело ее было в ссадинах и потеках грязи. Ливень хлестал ее.

Рыдание неба обрушилось на Сима. Струи дождя залили глаза, ручейки побежали вниз по спине, и он тоже готов был рыдать.

Лайт упала и осталась лежать. Она с трудом дышала, ее била дрожь.

Он поднял ее, поставил на ноги.

— Беги, Лайт, прошу тебя, беги!

— Оставь меня, Сим. Ступай, живей! — Она чуть не захлебнулась дождем. Всюду была вода. — Не трудись впустую. Беги без меня.

Он стоял, скованный холодом и бессилием, мысли его иссякли, огонек надежды готов был угаснуть. Кругом только мрак, холодные плети падающей воды и отчаяние...

— Тогда пойдем, — сказал он. — Будем идти и отдыхать.

Они прошли полсотни ярдов, медленно, не торопясь, будто дети на прогулке. Овраг перед ними до краев заполнился потоком, и вода с торопливым бурлящим звуком устремила к горизонту.

Сим что-то крикнул. Увлекая за собой Лайт, он опять побежал.

— Новое русло! — Он показал рукой. — Каждый день дождь прокладывает новое русло. За мной, Лайт!

Он наклонился над водой и нырнул, не выпуская руки Лайт.

Поток понес их, как щепки. Они силились держать голову над водой, чтобы не захлебнуться. Берега быстро убегали назад. С бешеной силой стискивая пальцы Лайт, Сим чувствовал, как стремнина бросает и кружит его, видел, как сверкают молнии в вышине, и в душе его родилась новая, исступленная надежда. Бежать дальше нельзя — что ж, тогда вода поработает за них!

Бурная хватка новой недолговечной реки колотила Сима и Лайт о камни, распарывала плечи, сдирала кожу с ног.

— Сюда! — Голос Сима перекрыл раскат грома.

Лихорадочно загребая рукой, он поплыл к противоположной стороне оврага. Горя, на которой лежит корабль, прямо перед ними. Нельзя допустить, чтобы их пронесло мимо. Они упорно сражались с неистовой влагой, и их прибило к нужному берегу. Сим подпрыгнул, поймал руками нависший камень, ногами стиснул Лайт и медленно подтянулся вверх.

Гроза прекратилась так же быстро, как началась. Молнии потухли. Дождь перестал. Тучи растаяли и растворились в небе. Ветер еще пошептал и смолк.

— Корабль! — Лайт лежала на земле — Корабль, Сим. Это та самая гора.

А к ним уже подкрадывалась стужа. Смертная стужа.

Борясь с изнеможением, они побрели вверх по склону. Холод лизал их тело, ядом проникал в артерии, сковывая конечности.

Впереди, в ореоле блеска, лежал свежоомытый корабль. Это было как сон. Сим не мог поверить, что осталось так мало... Двести ярдов. Сто семьдесят ярдов.

Землю стал обволакивать лед. Они скользили и без конца падали. Река позади них превратилась в твердую, бело-голубую холодную змею. Твердыми дробинками откуда-то прилетело несколько замешкавшихся капель дождя.

Сим всем телом привалился к обшивке корабля. Он чувствовал, осязал, трогал его! Слух уловил судорожное всхлипывание Лайт. Металл, корабль — вот он, вот он! Сколько еще человек касались его за много долгих дней? Он и Лайт дошли до цели!

Вдруг, словно в них просочился ночной воздух, по его жилам разлился холод.

А где же вход?

Ты бежишь, ты плывешь, ты чуть не тонешь. Клянешь все на свете, обливаешься потом, напрягаешь последние силы, и вот ты наконец добрался до горы, поднялся на нее, стучишь кулаками по металлу, кричишь от радости и... И не можешь найти входа.

Так, надо взять себя в руки. «Медленно, однако не слишком медленно, — сказал он себе, — обойди кругом весь корабль». Его испытующие пальцы скользили по металлу — настолько холодному, что влажная кожа грозила примерзнуть к обшивке. Теперь вдоль противоположной стороны... Лайт шла рядом с ним. Студеные длани мороза сжимались все крепче.

Вход.

Металл. Холодный, неподатливый. Узкая щель по краю люка. Отбросив в сторону осторожность, Сим принялся колотить по нему. Холод пронизывал до костей. Пальцы онемели, глазные яблоки начали коченеть. Он колотил то здесь, то там и кричал металлической дверце:

— Откройся! Откройся!

На минуту Сим потерял равновесие. Что-то подалось под его рукой... Щелчок!

Шумно вздохнул воздушный шлюз. Шурша металлом по резиновой прокладке, дверца мягко отворилась и ушла во мрак.

Сим увидел, как Лайт метнулась вперед, рывком поднесла руки к горлу и нырнула в тесную, полную света кабину. Не помня себя, он шагнул следом за ней.

Люк воздушного шлюза закрылся, отрезая путь назад.

Он задышался. Сердце билось все медленнее, будто хотело остановиться.

Они были заточены внутри корабля, и что-то происходило. Судорожно ловя ртом воздух, Сим упал на колени.

Тот самый корабль, к которому он пришел за спасением, теперь тормозил биение его сердца, омрачал сознание, чем-то отравлял его. С каким-то смутным, угасающим чувством томительного страха Сим понял, что умирает.

Чернота...

Словно в тумане Сим ощущал, как идет время, как сознание силится принудить сердце биться быстрее, быстрее... И заставить глаза видеть ясно. Но сок жизни медленно протекал по усмирным сосудам, и он слышал тягучий ритм пульса: тук... пауза, тук... пауза, тук...

Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, даже пальцем. Требовалось невероятное

усилие, чтобы поднять каменный груз век. И совсем невозможно повернуть голову, взглянуть на лежащую рядом Лайт.

Словно издалека слышалось ее неровное дыхание. Так раненая птица шуршит сухими, смятыми перьями. Хотя Лайт была совсем близко и он угадывал ее тепло, казалось, их разделяет непомерная даль.

«Я остываю! — думал он. — Уж не смерть ли это? Вялое течение крови, тихое биение сердца, холод во всем теле, тягучий ход мысли.

Глядя на верхнюю стенку корабля, он пытался разгадать это сложное сплетение трубок и приспособлений. Постепенно в мозгу рождалось представление о том, как устроен корабль, как он действует. В каком-то медленном прозрении он постигал смысл предметов, на которые переходил его взгляд. Не сразу. Не сразу.

Вот этот прибор с белой поблескивающей шкалой.

Его назначение?

Сим решал задачу с натугой, словно человек под водой.

Люди пользовались этим прибором. Касались его. Чинили. Устанавливали. Вообразили, а уже потом сделали его, установили, наладили, трогали, пользовались им. В приборе было как бы заложено определенное воспоминание, самый облик его, будто образ из сновидения, говорил Симу, как изготовляли эту шкалу и для чего она служит. Рассматривая любой предмет, он прямо из него извлекал нужное знание. Словно некая частица его ума обволакивала предмет, анатомировала и проникала в его суть.

Вот этот прибор предназначен, чтобы измерять время!

Миллионы часов времени!

Но как же так?.. Глаза Сима расширились, озарились жарким блеском. Разве есть люди, которым нужен такой прибор?

Кровь стучала в висках, в глазах помутилось. Он зажмурился.

Ему стало страшно. День был на исходе. «Как же так, — думал он, — жизнь уходит, а я лежу. Лежу и не могу двинуться. Молодость скоро кончится. Сколько времени еще пройдет, прежде чем я смогу двигаться?»

Через окошко иллюминатора он видел, как проходит ночь, наступает новый день и опять воцаряется ночь. В небе зябко мерцали звезды.

«Еще четыре-пять дней, и я стану совсем дряхлым и немощным, — думал Сим. — Корабль не дает мне пошевелиться. Лучше бы я оставался в родной пещере и там сполна наслаждался назначенной мне короткой жизнью. Чего я достиг тем, что пробился сюда? Сколько рассветов и закатов проходит понапрасну. Лайт рядом со мной, а я даже не могу ее коснуться».

Бред. Сознание куда-то вознеслось. Мысли металась в металлических отсеках корабля. Он слышал острый запах сварного металла. Чувствовал, как ночью обшивка напрягается, днем опять расслабляется.

Рассвет. Уже новый рассвет!

«Сегодня я достиг бы полной зрелости». Он стиснул зубы. «Я должен встать. Должен двигаться. Извлечь ту радость, какую может дать мне эта пора моей жизни».

Но он лежал неподвижно. Чувствовал, как сердце медленно перекачивает кровь из камеры в камеру и дальше через все его недвижимое тело, как она очищается в мерно вздымающихся и опускающихся легких.

Корабль нагрелся. Щелкнуло незримое устройство, и воздух автоматически охладился.

Управляемый сквозняк охладил кабину.

Снова ночь. И еще один день.

Четыре дня жизни прошло, а он все лежит.

Сим не пытался бороться. Ни к чему. Его жизнь истекла.

Его больше не тянуло повернуть голову. Он не хотел увидеть Лайт — такое же изуродованное лицо, какое было у его матери: веки, словно серые хлопья пепла, глаза, как шершавый зернистый металл, щеки, будто потрескавшиеся камни. Не хотел увидеть шею, похожую на жухлые плети желтой травы, руки, подобные дыму над угасающим костром, иссохшие руки, жесткие растрепанные волосы цвета вчерашней сорной травы!

А сам-то он? Как он выглядит? Отвислая челюсть, ввалившиеся глаза, иссеченный старостью лоб?..

Он почувствовал, что к нему возвращаются силы. Сердце билось невообразимо медленно. Сто ударов в минуту. Не может быть! А это спокойствие, хладнокровие, умиротворенность...

Голова сама наклонилась вбок. Сим вытаращил глаза. Глядя на Лайт, он удивленно вскрикнул.

Она была молода и прекрасна.

Лайт смотрела на него, у нее не было сил говорить. Глаза ее были словно кружочки серебра, лебединая шея — будто руки ребенка. Волосы Лайт были точно нежное голубое пламя, питаемое ее хрупкой плотью.

Прошло четыре дня, а она все еще молода... нет, моложе, чем была, когда они проникли в корабль. Она совсем юная.

Он не верил глазам.

Наконец она заговорила:

— Сколько еще это продлится?

— Не знаю, — осторожно ответил он.

— Мы еще молоды.

— Корабль. Мы ограждены его обшивкой. Металл не пропускает солнце и излучение, которые нас старят.

Она отвела глаза, размышляя.

— Значит, если мы будем здесь...

— То останемся молодыми.

— Еще шесть дней? Четырнадцать? Двадцать?

— Может быть, даже больше.

Она примолкла. Потом, после долгого перерыва, сказала:

— Сим?

— Да.

— Давай останемся здесь. Не будем возвращаться. Если мы теперь вернемся, ты ведь знаешь, что с нами случится?

— Я не уверен.

— Мы опять начнем стариться, разве нет?

Он отвернулся. Посмотрел на верхнюю стенку, на часы с ползущей стрелкой.

— Да. Мы состаримся.

— А вдруг мы состаримся... сразу. Может быть, когда выйдем из корабля, переход окажется слишком резким?

— Может быть.

Снова молчание. Сим сделал несколько движений, разминая руки и ноги. Ему страшно хотелось есть.

— Остальные ждут, — сказал он.

Ответные слова Лайт заставили его ахнуть.

— Остальные умерли, — сказала она. — Или умрут через несколько часов. Все, кого мы знали, уже старики.

Сим попытался представить себе их стариками. Его сестренка Дак — дряхлая согбенная временем... Он тряхнул головой, прогоняя видение.

— Допустим, они умерли, — сказал он. — Но ведь родились другие.

— Люди, которых мы даже не знаем.

— И все-таки люди нашего племени, — ответил он. — Люди, которые будут жить только восемь дней, или одиннадцать дней, если мы им не поможем.

— Но мы молоды, Сим! И можем оставаться молодыми!

Лучше не слушать ее. Слишком заманчиво то, о чем она говорит. Остаться здесь. Жить.

— Мы и так прожили больше других, — сказал он. — Мне нужны работники. Люди, которые могли бы наладить корабль. Сейчас мы с тобой оба встанем, найдем какую-нибудь пищу, поедим и проверим, в каком он состоянии. Один я боюсь его налаживать. Уж очень он большой. Нужна помощь.

— Но тогда надо бежать весь этот путь обратно!

— Знаю. — Он медленно приподнялся на локтях. — Но я это сделаю.

— А как ты приведешь сюда людей?

— Мы воспользуемся рекой.

— Если русло осталось прежним. Оно мог-л о сместиться.

— Дождемся, пока не появится подходящее для нас. Я должен вернуться, Лайт. Сын Дайнка ждет меня, моя сестра, твой брат — они состарились, готовятся умереть и ждут вестей от нас...

Больше книг на сайте - Knigolub.net

После долгой паузы он услышал, как Лайт устало придвигается к нему. Она положила голову ему на грудь и с закрытыми глазами погладила его руку.

— Прости. Извини меня. Ты должен вернуться. Я глупая эгоистка.

Он неловко коснулся ее щеки.

— Ты человек. Я понимаю тебя. Не нужно извиняться.

Они нашли пищу. Потом прошли по кораблю. Он был пуст. Только в пилотской кабине лежали останки человека, который, вероятно, был командиром корабля. Остальные, видимо, выбросились в космос в спасательных капсулах. Командир, сидя один у пульта управления, посадил корабль на горе, неподалеку от других упавших и разбившихся кораблей. То, что корабль оказался на возвышенном месте, сохранило его от бурных потоков. Командир умер вскоре после посадки — наверное, сердце не выдержало. И остался корабль лежать здесь, почти в пределах досягаемости для спасшихся, целый и невредимый, но потерявший способность двигаться — на сколько тысяч дней? Если бы командир не погиб, жизнь предков Сима и Лайт могла бы сложиться совсем иначе. Размышляя об этом, Сим уловил далекий зловещий отголосок войны. Чем кончилась эта война миров? Какая планета победила? Или обе проиграли, и некому было разыскивать уцелевших? На чьей стороне была правда? Кем был их враг? Принадлежал ли народ Сима к правым или неправым? Быть

может, это так и останется неизвестным.

Скорей, скорей изучить корабль! Он совсем не знал его устройства, но все постигал, идя по переходам и поглаживая механизмы. Да, нужен только экипаж. Один человек не справится с этой машиной. Он коснулся круглого рыла какой-то штуковины. И отдернул руку, словно обжегся.

— Лайт!

— Что это?

Он снова коснулся машины, погладил ее дрожащими руками, и на глазах у него выступили слезы, рот сперва открылся, потом опять закрылся... С глубокой нежностью Сим оглядел машину, наконец повернулся к Лайт.

— Этой штукой... — тихо, будто не веря себе, молвил он, — с этой штукой я... я могу...

— Что, Сим?

Он вложил руку в какую-то чашу с рычагом внутри. Через иллюминатор впереди были видны далекие скалы.

— Кажется, мы боялись, что придется очень долго ждать, пока к горе опять подойдет река? — спросил он с торжеством в голосе.

— Да, Сим, но...

— Река будет. И я вернусь, сегодня же вечером. И приведу с собой людей. Пятьсот человек! Потому что с этой машиной я могу пробить русло до самых скал, и по этому руслу хлынет поток, который надежно и быстро доставит сюда меня и других. — Он потер бочковидное тело машины. — Как только я ее коснулся, меня сразу осенило, что это за штука и как она действует! Гляди!

Он нажал рычаг.

С жутким воем от корабля протянулся вперед луч раскаленного пламени.

Старательно, методично Сим принялся высекать лучом русло для утреннего ливневого потока. Луч жадно вгрызался в камень, обратив день в ночь.

Сим решил один бежать к скалам. Лайт останется в корабле на случай какой-нибудь неудачи. На первый взгляд путь до скал казался непреодолимым. Не будет стремительной реки, которая быстро понесет его к цели, позволяя выиграть время. Придется всю дорогу бежать, но ведь солнце перехватит его, застигнет прежде, чем он достигнет укрытия!

— Остается одно: отправиться до восхода.

— Но ты сразу замерзнешь, Сим.

— Гляди.

Он изменил наводку машины, которая только что закончила прокладывать борозду в каменном ложе долины. Чуть приподнял гладкое дуло, нажал рычаг и закрепил его. Язык пламени протянулся в сторону скал. Сим подкрутил верньер дальности и сфокусировал пламя так, что оно обрывалось в трех милях от машины. Готово. Он повернулся к Лайт.

— Я не понимаю, — сказала она.

Сим открыл люк воздушного шлюза.

— Мороз лютый, и до рассвета еще полчаса. Но я побегу вдоль пламени, достаточно близко. Жарко не будет, но для поддержания жизни тепла хватит.

— Мне это кажется ненадежным, — возразила Лайт.

— А что надежно в этом мире? — Он подался вперед. — Зато у меня будет лишних полчаса в запасе. И я успею добраться до скал.

— А если машина откажет, пока ты будешь бежать рядом с лучом?

— Об этом лучше не думать, — сказал Сим.

Миг, и он уже снаружи — и попятился назад, как если бы его ударили в живот. Казалось, сердце сейчас взорвется. Среда родной планеты взвинтила его жизненный ритм. Он почувствовал, как учащается пульс и кровь клокочет в сосудах.

Ночь была холодна, как смерть. Гудящий тепловой луч, проверенный, обогревающий, протянулся от корабля через долину. Сим бежал вдоль него, совсем близко. Один неверный шаг, и...

— Я вернусь! — крикнул он Лайт.

Бок о бок с лучом света он исчез вдали.

Рано утром пещерный люд увидел длинный перст оранжевого накала и парящее вдоль него таинственное беловатое видение. Толпа бормотала, ужасалась, благоговейно ахала.

Когда же Сим наконец достиг скал своего детства, он увидел скопище совершенно чужих людей. Ни одного знакомого лица. Тут же он сообразил, как нелепо было ожидать другого. Один старик подозрительно рассматривал его.

— Кто ты? — крикнул он. — Ты пришел с чужих скал? Как твое имя?

— Я Сим, сын Сима!

— Сим! — пронзительно вскрикнула старая женщина, которая стояла на утесе вверху. Она заковыляла вниз по каменной дорожке. — Сим, Сим, неужели это ты?

Он смотрел на нее в полном замешательстве.

— Но я вас не знаю, — пробормотал он.

— Сим, ты меня не узнаешь? О Сим, это же я! Дак!

— Дак!

У него все сжалось в груди. Женщина упала в его объятия. Эта трясущаяся, полуслепая старуха — его сестра.

Вверху показалось еще одно лицо. Лицо старика, свирепое, угрюмое. Злобно рыча, он глядел на Сима.

— Гоните его отсюда! — закричал старик. — Он из вражеского стана. Он жил в чужих скалах! Он до сих пор молодой! Кто уходил туда, тому не место среди нас! Предатель!

Вниз по склону запрыгал тяжелый камень.

Сим отпрынул в сторону, увлекая сестру с собой.

Толпа взревела. Потрясая кулаками, все кинулись к Симу.

— Смерть ему, смерть! — бесновался незнакомый Симу старик.

— Стойте! — Сим выбросил вперед обе руки. — Я пришел с корабля!

— С корабля?

Толпа замедлила шаг. Прижавшись к Симу, Дак смотрела на его молодое лицо и поражалась, какое оно гладкое.

— Убейте его, убейте, убейте! — прокаркал старик и взялся за новый камень.

— Я продлю вашу жизнь на десять, двадцать, тридцать дней!

Они остановились. Раскрытые рты, неверящие глаза...

— Тридцать дней? — эхом отдавалось в толпе. — Как?

— Идемте со мной к кораблю. Внутри него человек может жить почти вечно!

Старик поднял над головой камень, но, сраженный апоплексическим ударом, хрипя, скатился по склону вниз, к самым ногам Сима.

Сим нагнулся, Пристально разглядывая морщинистое лицо, холодище, мертвые глаза,

вяло оскаленный рот, иссохшее недвижимое тело.

— Кайон!

— Да, — произнес за его спиной странный, скрипучий голос Дак. — Твой враг, Кайон.

В ту ночь двести человек вышли в путь к кораблю. Вода устремилась по новому руслу. Сто человек утонули, затерялись в студеной ночи. Остальные вместе с Симом дошли до корабля.

Лайт ждала их и распахнула металлический люк.

Шли недели. Поколение сменялось поколением в скалах, пока ученые и механики трудились над кораблем, постигая разные механизмы и их действие.

И вот наконец двадцать пять человек стали по местам внутри корабля. Теперь — в далекий путь!

Сим взялся за рычаги управления.

Подошла Лайт, сонно протирая глаза, села на пол подле него и положила голову ему на колено.

— Мне снился сон, — заговорила она, глядя куда-то вдаль. — Мне снилось, будто я жила в пещере, в горах на студеной и жаркой планете, где люди старились и умирали за восемь дней.

— Нелепый сон, — сказал Сим. — Люди не могли бы жить в таком кошмаре. Забудь про это. Сон твой кончился.

Он мягко нажал рычаги. Корабль поднялся и ушел в космос.

Сим был прав.

Кошмар наконец кончился.

Я живу в колодце. Я живу в нем подобно туману, подобно пару в каменной глотке. Я не двигаюсь, я ничего не делаю, я лишь жду. Надо мной мерцают холодные звезды ночи, блещет утреннее солнце. Иногда я пою древние песни этого мира, песни его юности. Как мне объяснить, кто я, если я не знаю этого сам? Я и дымка, и лунный свет, и память. И я стар. Очень стар. В прохладной тиши колодца я жду своего часа и уверен, что когда-нибудь он придет...

Сейчас утро. Я слышу нарастающие раскаты грома. Я чую огонь и улавливаю скрежет металла. Мой час близится. Я жду.

Далекие голоса.

— Марс! Наконец-то!

Чужой язык, он незнаком мне. Я прислушиваюсь.

— Пошлите людей на разведку!

Скрип песка. Ближе, ближе.

— Где флаг?

— Здесь, сэр.

— Ладно.

Солнце стоит высоко в голубом небе, его золотистые лучи наполняют колодец, и я парю в них, как цветочная пыльца, невидимый в теплом свете.

— Именем Земли объявляю территорию Марса равно принадлежащей всем нациям!

Что они говорят? Я нежусь в теплом свете солнца, праздный и незримый, золотистый и неутомимый.

— Что там такое?

— Колодец!

— Быть этого не может!

— Точно! Идите сюда.

Я ощущаю приближение теплоты. Над колодцем склоняются три фигуры, и мое холодное дыхание касается их лиц.

— Вот это да-а-а!

— Как ты думаешь, вода хорошая?

— Сейчас проверим.

— Принесите склянку и веревку!

— Сейчас.

Шаги удаляются. Потом приближаются снова. Я жду.

— Опускайте. Полегче, полегче.

Преломленные стеклом блики солнца во мраке колодца. Веревка медленно опускается. Стекло коснулось поверхности, и по воде побежала мягкая рябь. Я медленно плыву вверх.

— Так, готово. Риджент, ты сделаешь анализ?

— Давай.

— Ребята, вы только посмотрите, до чего красиво выложен этот колодец! Интересно, сколько ему лет?

— Кто его знает? Вчера, когда мы приземлились в том городе, Смит уверял, что марсианская цивилизация вымерла добрых десять тысяч лет назад.

— Ну, что там с водой, Риджент?

— Чиста, как слеза. Хочешь попробовать?

Серебряный звон струи в палящем зное.

— Джонс, что с тобой?

— Не знаю. Ни с того ни с сего голова заболела.

— Может быть, от воды?

— Нет, я ее не пил. Я это почувствовал, как только наклонился над колодцем. Сейчас уже лучше.

Теперь мне известно, кто я. Меня зовут Стивен Леонард Джонс, мне 25 лет, я прилетел с планеты Земля и вместе с моими товарищами Риджентом и Шоу стою возле древнего марсианского колодца.

Я рассматриваю свои загорелые, сильные руки. Я смотрю на свои длинные ноги, на свою серебристую форму, на своих товарищей.

— Что с тобой, Джонс? — спрашивают они.

— Все в порядке, — отвечаю я. — Ничего особенного.

Как приятно есть! Тысячи, десятки тысяч лет я не знал этого чувства. Пища приятно обволакивает язык, а вино, которым я запиваю ее, теплом разливается по телу. Я прислушиваюсь к голосам товарищей. Я произношу незнакомые мне слова и все же как-то их понимаю. Я смакую каждый глоток воздуха.

— В чем дело, Джонс?

— А что такое? — спрашиваю я.

— Ты так дышишь, словно простудился, — говорит один из них.

— Наверно, так оно и есть, — отвечаю я.

— Тогда вечером загляни к врачу.

Я киваю — до чего же приятно кивнуть головой! После перерыва а десять тысяч лет приятно делать все. Приятно вдыхать воздух, приятно чувствовать солнце, прогревающее тебя до самых костей, приятно ощущать теплоту собственной плоти, которой ты был так долго лишен, и слышать все звуки четче и яснее, чем из глубины колодца. В упоении я сижу у колодца.

— Очнись, Джонс. Нам пора идти.

— Да, — говорю я, восторженно ощущая, как слово, соскользнув с языка, медленно тает в воздухе.

Риджент стоит у колодца и глядит вниз. Остальные потянулись назад, к серебряному кораблю.

Я чувствую улыбку на своих губах.

— Он очень глубокий, — говорю я.

— Да?

— В нем ждет нечто, когда-то имевшее свое тело, — говорю я и касаюсь его руки.

Корабль — серебряное пламя в дрожащем мареве. Я подхожу к нему. Песок хрустит под ногами. Я ощущаю запах ракеты, оплывающей в полуденном зное.

— Где Риджент? — спрашивает кто-то.

— Я оставил его у колодца, — отвечаю я.

Один из них бежит к колодцу.

Меня начинает знобить. Слабая дрожь, идущая изнутри, постепенно усиливается. Я впервые слышу голос. Он таится во мне — крошечный, испуганный, — и молит: «Выпустите

меня! Выпустите!»). Словно кто-то, застрявший в лабиринте, носится по коридору, барабанит в двери, умоляет, плачет.

— Риджент в колодце!

Все бросаются к колодцу. Я бегу с ними, но мне трудно. Я болен. Я весь дрожу.

— Наверное, он свалился туда. Джонс, ведь ты был с ним? Ты что-нибудь видал? Джонс! Ты слышишь? Джонс! Что с тобой?

Я падаю на колени, мое тело сотрясается, как в лихорадке.

— Он болен, — говорит один, подхватывая меня. — Ребята, помогите-ка.

— У него солнечный удар.

— Нет! — шепчу я.

Они держат меня, сотрясаемого судорогами, подобными землетрясению, а голос, глубоко спрятанный во мне, рвется наружу: «Вот Джонс, вот я, это не он, не он, но верьте ему, выпустите меня, выпустите!»).

Я смотрю вверх, на склонившиеся надо мной фигуры, и мои веки вздрагивают. Они трогают мое запястье.

Сердце в порядке.

Я закрываю глаза. Крик внутри обрывается, дрожь прекратилась. Я вновь свободен, я поднимаюсь вверх, как из холодной глубины колодца.

— Он умер, — говорит кто-то.

— От чего?

— Похоже на шок.

— Но почему шок? — говорю я. Меня зовут Сешенс, у меня энергичные губы, и я капитан этих людей. Я стою среди них и смотрю на распростертое на песке тело. Я хватаюсь за голову.

— Капитан?!

— Ничего. Сейчас пройдет. Резкая боль в голове. Сейчас. Уже все в порядке.

— Давайте уйдем в тень, сэр.

— Да, — говорю я, не сводя глаз с Джонса. — Нам не стоило прилетать сюда. Марс не хочет этого.

Мы несем тело назад, к ракете, и я чувствую, как где-то во мне новый голос молит выпустить его. Он таится в самой глубине моего тела.

На этот раз дрожь начинается гораздо раньше. Мне очень трудно сдерживать этот голос.

— Спрячьтесь в тени, сэр. Вы плохо выглядите.

— Да, — говорю я. — Помогите.

— Что, сэр?

— Я ничего не сказал.

— Вы сказали «помогите».

— Разве я что-то сказал, Мэтьюз?

У меня трясутся руки. Пересохшие губы жадно хватают воздух. Глаза вылезают из орбит. «Не надо! Не надо! Помогите мне! Помогите! Выпустите меня!»).

— Не надо, — говорю я.

— Что, сэр?

— Ничего. Я должен освободиться, — говорю я и зажимаю себе рот руками.

— Что с вами, сэр? — кричит Мэтьюз.

— Немедленно все возвращайтесь назад на Землю! — кричу я.

Я достаю пистолет.

Выстрел. Крики оборвались. Я со свистом падаю куда-то в пространство.

Как приятно умирать после десяти тысяч лет ожидания! Как приятно чувствовать прохладу и слабость! Как приятно ощущать, что жизнь горячей струей покидает тебя и на смену идет спокойное очарование смерти. Но это не может продолжаться долго.

Выстрел.

— Боже, он покончил с собой! — кричу я и, открывая глаза, вижу капитана, лежащего около ракеты. В его окровавленной голове зияет дыра, а глаза широко раскрыты. Я наклоняюсь и дотрагиваюсь до него.

— Глупец. Зачем он это сделал?

Люди испуганы. Они стоят возле двух трупов, оглядываются на марсианские пески и видневшийся вдали колодец, на дне которого покоится Риджент. Они поворачиваются ко мне. Один из них говорит.

— Теперь ты капитан, Мэтьюз.

— Знаю.

— Нас теперь только шестеро.

— Как быстро это случилось!

— Я не хочу быть здесь! Выпустите меня!

Люди вскрикивают. Я уверенно подхожу к ним.

— Послушайте, — говорю я и касаюсь их рук, локтей, плеч.

Мы умолкаем. Теперь мы — одно.

— Нет, нет, нет, нет, нет, нет! — кричат голоса из темниц наших тел.

Мы молча смотрим друг на друга, на наши бледные лица и дрожащие руки. Потом мы все, как один, поворачиваем голову и обращаем взгляд к колодцу.

— Пора, — говорим мы.

— Нет, нет, нет, — кричат шесть голосов.

Наши ноги шагают по песку, как двенадцать пальцев одной огромной руки.

Мы склоняемся над колодцем. Из прохладной глубины на нас смотрят шесть лиц.

Один за другим мы перегибаемся через край и один за другим несемся навстречу мерцающей глади воды.

Я живу в колодце. Я живу в нем подобно туману, подобно пару в каменной глотке. Я не двигаюсь, я ничего не делаю, я лишь жду. Надо мной мерцают холодные звезды ночи, блещет утреннее солнце. Иногда я пою древние песни этого мира. Песни его юности. Как мне объяснить, кто я, если я не знаю этого сам? Я просто жду.

Солнце садится. На небо выкатываются звезды. Далеко-далеко вспыхивает огонек. Новая ракета приближается к Марсу...

Здесь могут водиться тигры

— Надо бить планету ее же оружием, — сказал Чаттер-тон. — Ступите на нее, распорите ей брюхо, отравите животных, запрудите реки, стерилизуйте воздух, протараньте ее, поработайте как следует киркой, заберите руду и пошлите ко всем чертям, как только получите все, что хотели получить. Не то планета жестоко отомстит вам. Планетам доверять нельзя. Все они разные, но все враждебны нам и готовы причинить вред, особенно такая отдаленная, как эта, — в миллиарде километров от всего на свете. Поэтому нападайте первыми, сдирайте с нее шкуру, выгребайте минералы и удирайте живее, пока эта окаянная планета не взорвалась вам прямо в лицо. Вот как надо обращаться с ними.

Ракета садилась на седьмую планету 84-й звездной системы. Она пролетела много миллионов километров. Земля находилась где-то очень далеко. Люди забыли, как выглядит земное Солнце. Их солнечная система была уже обжита, изучена, использована, как и другие, обшаренные вдоль и поперек, выдоенные, укрощенные, и теперь звездные корабли крошечных человечков — жителей невероятно отдаленной планеты — исследовали новые далекие миры. За несколько месяцев, за несколько лет они могли преодолеть любое расстояние, ибо скорость их ракет равнялась скорости самого бога, и вот сейчас, в десятитысячный раз, одна из таких ракет — участниц этой охоты за планетами — опускалась в чужой, неведомый мир.

— Нет, — ответил капитан Форестер. — Я слишком уважаю другие миры, чтобы обращаться с ними по вашему методу, Чаттертон. Благодарение богу, грабить и разрушать — не мое дело. К счастью, я только астронавт. Вот вы — антрополог и минералог. Что ж, действуйте — копайте, забирайтесь в недра и скоблите. А я буду только наблюдать. Я буду бродить и смотреть на этот новый мир, каким бы он ни был, каким бы он ни казался. Я люблю смотреть. Все астронавты любят смотреть, иначе они бы не были астронавтами. Если ты астронавт, тебе нравится вдыхать новые запахи, видеть новые краски и новых людей. Впрочем, существуют ли еще они — новые люди, новые океаны и новые острова?

— Не забудьте захватить с собой револьвер, — посоветовал Чаттертон.

— Только в кобуре, — ответил Форестер.

Оба они взглянули в иллюминатор и увидели целое море зелени, поднимавшееся навстречу кораблю.

— Интересно бы узнать, что эта планета думает о нас, — заметил Форестер.

— Меня-то она невзлюбит, — заявил Чаттертон. — И уж я, черт возьми, позабочусь о том, чтобы заслужить эту нелюбовь. Плевать я хотел на всякие там тонкости. Деньги — вот то, ради чего я прилетел сюда. Давайте высадимся здесь, капитан. Мне кажется, здешняя почва полна железа, если я хоть что-нибудь в этом смыслею.

Зелень была удивительно свежая — такой они видели ее разве только в детстве.

Озера, словно голубые капли, лежали меж отлогих холмов. Не было ни шумных шоссе, ни рекламных щитов, ни городов. «Какое-то бесконечное зеленое поле для гольфа, — подумал Форестер. — Гоня мяч по этой зеленой траве, можно пройти десятки тысяч километров в любом направлении и все-таки не кончить игры. Планета, созданная для отдыха, огромная крокетная площадка, где можно целый день лежать на спине, полужакрыв глаза, покусывать стебелек кашки, вдыхать запах травы, улыбаться небу и наслаждаться вечным праздником, вставая лишь для того, чтобы перелистать воскресный выпуск газеты

или с треском прогнать через проволочные ворота деревянный шар с красной полоской».

— Если бывают планеты-женщины, то это одна из них!

— Женщина — снаружи, мужчина — внутри, — возразил Чаттертон. — Там, внутри, все твердое, все мужское — железо, медь, уран, антрацит. Не поддавайтесь чарам косметики, Форестер, она одурачит вас.

Он подошел к бункеру, где хранился Почвенный Бур. Его огромный винтовой наконечник блестел, отсвечивая голубым, готовый вонзиться в почву и высосать пробы на глубине двадцати метров, а то и глубже — забраться поближе к сердцу планеты. Чаттертон кивком головы указал на Бур.

— Мы ее продырявим, вашу женщину, Форестер, мы продырявим ее насквозь.

— В этом я не сомневаюсь! — спокойно ответил Форестер.

Корабль пошел на посадку.

— Здесь слишком зелено, слишком уж мирно, — сказал Чаттертон. — Мне это не нравится. — Он обернулся к капитану. — Мы выйдем с оружием.

— С вашего разрешения, распоряжаться здесь буду я.

— Конечно. Но моя компания вложила в эти механизмы огромный капитал — миллионы долларов, и наш долг — обезопасить эти деньги.

Воздух на новой планете — седьмой планете 84-й звездной системы — был прекрасный. Дверца распахнулась. Люди вышли друг за другом и оказались в настоящей оранжерее.

Последним вышел Чаттертон с револьвером в руке.

В тот момент, когда он ступил на зеленую лужайку, земля дрогнула. По траве пробежал трепет. Загромыхало в отдаленном лесу. Небо покрылось облаками и потемнело. Астронавты внимательно смотрели на Чаттертона.

— Черт побери, да это землетрясение!

Чаттертон сильно побледнел. Все засмеялись.

— Вы не понравились планете, Чаттертон!

— Чепуха!

Наконец все стихло.

— Но, когда выходили мы, никакого землетрясения не было, — возразил капитан Форестер. — Очевидно, ваша философия пришлась планете не по душе.

— Совпадение! — усмехнулся Чаттертон. — Пошли обратно. Я хочу вытащить Бур и через полчаса взять несколько проб.

— Одну минутку! — Форестер уже не смеялся. — Прежде всего мы должны осмотреть местность, убедиться, что здесь нет враждебных нам людей или животных. А кроме того, не каждый год натыкаешься на такую планету. Уж очень она хороша! Надеюсь, вы не будете возражать, если мы прогуляемся и осмотрим ее.

— Согласен. — Чаттертон присоединился к остальным. — Только давайте поскорее покончим с этим.

Они оставили у корабля охрану и зашагали по полям и лугам, взбираясь на отлогие холмы, спускаясь в неглубокие долины. словно ватага мальчишек, которые вырвались на простор в чудеснейший день самого прекрасного лета и самого замечательного за всю историю человечества года, разгуливали они по лужайкам. Так приятно было бы поиграть здесь в крокет, и, пожалуй, если бы хорошенько прислушаться, можно было бы услышать шорох деревянного мяча, прошелестевшего в траве, звон от его удара по железным воротцам,

приглушенные голоса мужчин, внезапный всплеск женского смеха, донесшийся из какой-нибудь тенистой, увитой плющом беседки, и даже потрескивание льда в кувшине с водой.

— Эй! — крикнул Дрисколл, один из самых молодых членов экипажа, с наслаждением вдыхая воздух. — Я прихватил с собой все для бейсбола. Не сыграть ли нам попозже? Ну что за прелесть!

Мужчины тихо засмеялись. Да, что и говорить, это был самый лучший сезон для бейсбола, самый подходящий ветерок для тенниса, самая удачная погода для прогулок на велосипеде и сбора дикого винограда.

— А что, если бы нам пришлось скосить все это? — спросил Дрисколл. Астронавты остановились.

— Так я и знал: тут что-то неладно! — воскликнул Чаттертон. — Взгляните на траву. Она скошена совсем недавно!

— А может, это какая-нибудь разновидность дикон-дры? Она всегда короткая?

Чаттертон сплюнул прямо на зеленую траву и растер плевком сапогом.

— Не нравится, не нравится мне все это. Если с нами что-нибудь случится, на Земле никто ничего не узнает. Нелепый порядок: если ракета не возвращается, мы никогда не посылаем вторую, чтобы выяснить причину.

— Вполне естественно, — сказал Форестер. — Мы не можем вести бесплодные войны с тысячами враждебных миров. Каждая ракета — это годы, деньги, человеческие жизни. Мы не можем позволить себе рисковать двумя ракетами, если один полет уже доказал, что планета враждебна. Мы летаем на мирные планеты. Вроде вот этой.

— Я часто задумываюсь о том, — заметил Дрисколл, — что случилось с исчезнувшими экспедициями, посланными в те миры, куда мы больше не пытаемся попасть.

Чаттертон пристально смотрел на дальний лес.

— Они были расстреляны, уничтожены, зажарены. Что может случиться и с нами в любую минуту. Пора возвращаться и приступать к работе, капитан.

Они стояли на вершине небольшого холма.

— Какое дивное ощущение! — произнес Дрисколл, взмахнув руками. — А помните, как мы бегали, когда были мальчишками, и как нас подгонял ветер?словно за плечами вырастали крылья. Бывало, бежишь и думаешь: вот-вот полечу. И все-таки этого никогда не случалось.

Мужчины остановились, охваченные воспоминаниями. В воздухе пахло цветочной пылью и капельками недавнего дождя, быстро высохшими на миллионах былинки.

Дрисколл пробежал несколько шагов.

— О господи, что за ветерок! Ведь, в сущности, мы никогда не летаем по-настоящему. Мы сидим в толстой металлической клетке, но ведь это же не полет. Мы никогда не летаем, как летают птицы, сами по себе. А как чудесно было бы раскинуть руки вот так, — он распростер руки. — И побежать... — Он побежал вперед, сам смеясь своей нелепой фантазии. — И полететь! — вскричал он.

И полетел.

Время молча бежало на часах людей, стоявших внизу. Они смотрели вверх. И вот с неба донесся взрыв неправдоподобно счастливого смеха.

— Велите ему вернуться, — прошептал Чаттертон. — Он будет убит.

Никто не ответил Чаттертону, никто не смотрел на него; все были потрясены и только

улыбались.

Наконец Дрисколл опустился на землю у их ног.

— Вы видели? Черт побери, ведь я летал!

Да, они видели.

— Дайте-ка мне сесть! Ах, боже мой, я не могу прийти в себя! — Дрисколл, смеясь, похлопал себя по коленям. — Я воробей, я сокол, честное слово! Вот что — теперь попробуйте вы, попробуйте все!

Он замолчал, потом заговорил снова, сияя, захлебываясь от восторга:

— Это все ветер. Он подхватил меня и понес!

— Давайте уйдем отсюда, — сказал Чаттертон, озираясь по сторонам и подозрительно разглядывая голубое небо. — Это ловушка. Нас хотят заманить в воздух. А потом швырнуть вниз и убить. Я иду назад, к кораблю.

— Вам придется подождать моего приказа, — заметил Форестер.

Все нахмурились. Было тепло, но в то же время прохладно, дул легкий ветерок. В воздухе трепетал какой-то звенящий звук, словно кто-то запустил бумажного змея, — звук вечной Весны.

— Я попросил ветер, чтобы он помог мне полететь, — сказал Дрисколл, — и он помог.

Форестер отвел остальных в сторону.

— Следующим буду я. Если я погибну — все назад к кораблю!

— Прошу прощения, — вмешался Чаттертон. — Но я не могу этого допустить. Вы капитан. Мы не можем рисковать вами. — Он вытащил револьвер. — Вы обязаны признавать здесь мой авторитет и мою власть. Игра зашла слишком далеко. Приказываю вам вернуться на корабль!

— Спрячьте револьвер, — хладнокровно ответил Форестер.

— Остановитесь, безумцы! — Прищурившись, Чаттертон переводил взгляд с одного астронавта на другого. — Неужели вы еще не поняли? Этот мир живой. Он разглядывает нас и пока что играет с нами, а сам выжидает благоприятной минуты.

— Это мое дело, — отрезал Форестер. — А вы — если сию же минуту не спрячете револьвер — пойдете назад к кораблю под конвоем.

— Все вы сошли с ума! Если не хотите идти со мной, можете умирать здесь, а я иду назад, беру пробы и запускаю ракету.

— Чаттертон!

— Не пытайтесь удержать меня!

Чаттертон побежал. И вдруг громко вскрикнул.

Все подняли глаза — и тоже не удержались от крика.

— Он там, — сказал Дрисколл.

Чаттертон был уже высоко в небе.

Ночь опустилась незаметно, словно закрылся чей-то большой ласковый глаз. Оцепеневший от изумления Чаттертон лежал на склоне холма. Остальные сидели вокруг, усталые, но веселые. Он не желал смотреть на них, не желал смотреть на небо. Внутренне сжавшись, он хотел лишь одного — ощущать твердую землю, ощущать свои руки, ноги, все свое тело.

— Это было изумительно! — сказал астронавт, которого звали Кестлер.

Все они успели полетать, словно скворцы, орлы, воробьи, и были счастливы.

— Эй, Чаттертон, придите в себя и признайтесь: вам понравилось? — спросил Кестлер.

— Этого не может быть! — Чаттертон крепко зажмурился. — Она не могла сделать это. То есть могла, но только при одном условии — если воздух здесь живой. Он словно зажал меня в кулаке и поднял вверх. А сейчас, в любую минуту, он может убить всех нас. Он Живой!

— Отлично, — согласился Кестлер. — Допустим, что он живой. А у всего живого должна быть какая-то цель. Так вот, может быть, цель этой планеты как раз и состоит в том, чтобы сделать нас счастливыми!

Словно в подтверждение его слов, к ним подлетел Дрисколл, держа в каждой руке по фляге.

— Я нашел ручей с вкусной, чистой водой. Попробуйте!

Форестер взял флягу и поднес ее Чаттертону, предлагая выпить глоток, но Чаттертон покачал головой и отшатнулся. Он закрыл лицо руками.

— Это кровь здешней планеты. Живая кровь. Выпейте ее, и вместе с ней вы впустите в себя этот мир. Вы будете видеть его глазами, слышать его ушами. Нет, нет, благодарю.

Форестер пожал плечами и отхлебнул из фляжки.

— Вино! — воскликнул он.

— Не может быть!

— Это вино. Понюхайте его, попробуйте. Отличное белое вино.

— Французское столовое, — подтвердил Дрисколл, выпив свою порцию.

— Яд! — изрек Чаттертон.

Фляжка пошла по кругу.

Весь этот ласковый день они бездельничали — им так не хотелось нарушать царивший вокруг покой. Словно робкие юноши, которые оказались в обществе изысканной, прекрасной и знаменитой красавицы, они боялись каким-нибудь неосторожным словом или жестом испугнуть ее и лишиться очарования и прелести ее присутствия.

«Они еще не забыли землетрясения и не хотят, чтобы оно повторилось, — думал Форестер. — Так пусть же эти школьники наслаждаются Днем каникул и этой погодой, словно созданной для рыболовов. Пусть сидят под сенью деревьев или бродят по отлогим склонам холмов, но только пусть не бурят их буры, не щупают их щупы, не бомбят их бомбы».

Они набрали на небольшой ручеек, который вливался в кипящий пруд. Рыба, блестя чешуей, попадала в горячую воду и через минуту выплывала на поверхность пруда уже сваренная.

Чаттертон неохотно присоединился к общему ужину.

— Мы будем отравлены. В таких фокусах всегда таится ловушка. Сегодня я буду ночевать в ракете. А вы — как хотите. Я вспомнил карту из одной книги по истории, средневековья. Надпись на ней гласила: «Здесь могут водиться тигры». Так вот ночью, когда вы заснете, здесь вдруг объявятся тигры и людоеды.

Форестер покачал головой.

— Я готов согласиться с вами — эта планета живая. Это своеобразный замкнутый мирок. Но сейчас она нуждается в нас, чтобы показать себя, чтобы кто-то мог оценить ее красоту. Какой толк в театре, полном чудес, если нет зрителей?

Но Чаттертон уже не слушал его. Он нагнулся — его рвало.

— Меня отравили! Отравили!

Его держали за плечи, пока не кончилась рвота. Дали ему воды. Все остальные чувствовали себя отлично.

— Пожалуй, лучше вам больше ничего не есть, кроме наших корабельных продуктов, — посоветовал Форестер. — Так будет надежнее.

— Надо немедленно приступить к работе. — Чаттертон покачнулся и вытер губы. — Мы уже потеряли целый день. Если понадобится, я буду работать один. Я покажу этой проклятой планете...

И, пошатываясь, он побрел к кораблю.

— Он искушает судьбу, — прошептал Дрисколл. — Нельзя ли остановить его, капитан?

— Практически он является хозяином экспедиции. Но мы не обязаны ему помогать. В договоре есть пункт, по которому мы можем отказаться от работы в условиях, опасных для жизни. Так вот... Советую обращаться с этой Площадкой Для Пикника как можно бережнее, и она оплатит нам тем же. Не вырезайте инициалов на деревьях. Распрямите смятую траву. Подберите кожуру от бананов.

Между тем снизу, со стороны корабля, донесся оглушительный грохот. Из запасного люка выкатился огромный блестящий Бур. Чаттертон шел за ним следом и в микрофон отдавал распоряжения своему роботу:

— Сюда! Так!

— Ах, какой глупец!

— Стоп! — крикнул Чаттертон.

Бур вонзил свой длинный винтовой ствол в зеленую траву. Чаттертон помахал рукой астронавтам.

— Я ей покажу!

Небо содрогнулось.

Бур стоял в центре небольшой зеленой лужайки. Он врезался в землю и начал выбрасывать сырые комья дерна, бесцеремонно швыряя их в ведро для анализов, которое раскачивалось на ветру.

И вдруг, словно чудовищный зверь, потревоженный во время еды, Бур издал жалобный металлический стон. Из почвы у его основания начала медленно проступать синеватая жидкость.

— Назад, безмозглый дурак! — крикнул Чаттертон.

Бур неуклюже задвигался, словно в каком-то доисторическом танце. Извергая огненные искры, он громко гудел, как гудит мощный паровоз, делая крутой поворот. Он тонул. Черная слизь превращалась под ним в темную лужу.

Кашляя, вздыхая и пыхтя, Бур, словно огромный подстреленный и издыхающий слон, медленно погружался в черную пенистую топь.

— Боже милостивый! — задыхаясь, прошептал Форестер, не в силах оторваться от этого зрелища. — Вы знаете, Дрисколл, что это такое? Это асфальт. Его дурацкая машина угодила в асфальтовый колодец.

— Эй! — вне себя кричал Чаттертон Буру, бегая по краю маслянистого озера. — Сюда, наверх!

Но, подобно древним властителям Земли — динозаврам с их длинной трубчатой шеей, Бур, отбиваясь, дергаясь и скрипя, все больше уходил в черный пруд, откуда уже не было возврата к твердой и надежной земле.

Чаттертон обернулся к стоящим вдалеке астронавтам:

— Помогите! Сделайте что-нибудь!

Но Бур уже исчез.

Вязкая жидкость пузырилась и злорадствовала, поглотив чудовище. Потом все затихло. Только один огромный пузырь — последний — появился и лопнул. Разнесся древний запах нефти.

Члены экипажа подошли и остановились на краю маленького темного озера.

Чаттертон уже не кричал.

Он долго смотрел на безмолвный асфальтовый омут, потом отвернулся и обратил невидящий взгляд на холмы, на сочные зеленые лужайки. Дальние деревья вдруг покрылись зрелыми плодами и теперь бесшумно роняли их на землю.

— Я ей покажу, — тихо сказал он.

— Успокойтесь, Чаттертон.

— Я проучу ее, — повторил он.

— Присядьте, выпейте глоток вина.

— Я хорошенько проучу ее, я ей покажу, что со мной так поступать нельзя.

Чаттертон зашагал к кораблю.

— Не спешите, — посоветовал Форестер.

Чаттертон побежал.

— Я знаю, что делать, знаю, как отомстить ей!

— Остановите его! — крикнул Форестер и побежал за ним, но потом вспомнил, что умеет летать. «На корабле есть атомная бомба, — подумал он. — Если он до нее доберется...»

Остальные тоже подумали об этом и немедленно взмыли в воздух. Небольшая рошца преграждала Чаттертону путь к ракете. Выкрикивая проклятия, он бежал к рошце, забыв о том, что мог бы перелететь через нее. А может быть, он боялся полететь или уже потерял этот дар? Астронавты летели к кораблю, чтобы опередить Чаттертона, и капитан вместе с ними. Подлетев к ракете, они поспешно заперли входной люк. Они еще успели увидеть, как Чаттертон вбегал на опушку.

И стали ждать.

— Какой идиот! Он, кажется, совсем спятил!

Чаттертон так и не показавшись по эту сторону небольшого леса.

— Должно быть, он повернул назад и ждет, когда мы ослабим надзор.

— Пойдите, приведите его! — приказал Форестер.

Двое астронавтов полетели к рошце.

И вот сильный, но ласковый дождь пошел над зеленым миром.

— Последний штрих, — сказал Дрисколл. — Нам не пришлось бы строить здесь дом. Заметьте — на нас не упала ни одна капля. Дождь идет, но он идет вокруг, спереди, сзади. Какая изумительная планета!

Они стояли сухие посреди голубого прохладного дождя. Солнце скрылось. Луна, огромная луна цвета льда, взошла над освеженными холмами.

— Только одного не хватает на этой чудесной планете, — сказал кто-то.

— Да, — отозвались все задумчиво, протяжно.

— Что ж, надо пойти поискать, — предложил Дрисколл. — Ведь это логично. Ветер помогает нам летать, деревья и ручьи кормят, все здесь живое. Может, если мы попросим пригласить к нам...

— Я долго думал над этим, и сегодня, и прежде, — перебил его Кестлер. — Все мы холостяки, все мы летаем уже много лет и устали. Как приятно было бы наконец осесть где-то. Быть может, именно здесь. На Земле мы работаем не покладая рук, чтобы скопить немного денег на покупку домика, чтобы заплатить налоги. В городах — вонь. А здесь — здесь даже не нужен дом при такой прекрасной погоде. Если надоест однообразие, можно попросить дождя, облаков, снега — словом, перемен. Здесь вообще не надо работать — все делается даром.

— Это скучно. Так можно и свихнуться.

— Нет, — улыбаясь, возразил Кестлер. — Если жизнь пойдет слишком уж гладко, надо только изредка повторять слова Чаттертона: «Здесь могут водиться тигры». Ого! Что это?

Еле слышимый рев донесся из далекого сумеречного леса. Уж не пряталась ли там какая-нибудь гигантская кошка?

Все вздрогнули.

— Непостоянная планета, — холодно сказал Кестлер. — Совсем как женщина, которая готова на все, чтобы доставить удовольствие своим гостям, пока они с ней любезны. Чаттертон был не очень-то любезен.

— Да, Чаттертон... Где же он?

Словно в ответ на это, чей-то крик раздался вдали. Два астронавта, улетевшие на поиски Чаттертона, делали какие-то знаки с опушки леса.

Форестер, Дрисколл и Кестлер подлетели к ним.

— Что случилось?

Люди показали куда-то в глубь леса.

— Мы решили, что вам надо взглянуть на это, капитан, — пояснил один. — Какая-то чертовщина.

Другой показал на тропинку.

— Посмотрите сюда, сэр.

Следы огромных когтей отпечатались на тропинке, свежие, отчетливые.

— И вот сюда.

Несколько капель крови.

Тяжелый запах какого-то хищника повис в воздухе.

— Где же все-таки Чаттертон?

— Думаю, мы уже никогда не найдем его, капитан.

Слабее, слабее, все больше отдаляясь, звучал рев тигра, а потом и вовсе замолк в сумеречной тишине.

Астронавты лежали на упругой траве близ ракеты. Ночь была теплая.

— Совсем как во времена моего детства, — вздохнул Дрисколл. — Однажды мы с братом дождались самой теплой июльской ночи и отправились на лужайку перед зданием суда — считали звезды, болтали. Это была прекрасная ночь, лучшая ночь в году, а сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что и лучшая ночь в моей жизни... Разумеется, не считая сегодняшней, — добавил он.

— Я все думаю о Чаттертоне, — вставил Кестлер.

— Лучше не думать, — возразил Форестер. — Давайте поспим несколько часов — и в путь. Мы не можем позволить себе задержаться здесь даже на один день. И дело вовсе не в том, что случилось с Чаттертоном. Нет. Просто я боюсь, что если мы задержимся здесь, то

можем слишком сильно привязаться к этой планете. И никогда уже не захотим расстаться с ней.

Мягкий ветерок повеял вдруг над их головами.

— Я у ж е не хочу расставаться с ней. — Дрисколл подложил руки под голову, устраиваясь поудобнее. — Иона тоже не хочет расставаться с нами... Если мы вернемся на Землю и расскажем всем, как чудесна эта планета, — что тогда, капитан? Они ворвутся сюда и уничтожат ее.

— Нет, — задумчиво проговорил Форестер. — Во-первых, эта планета не допустит массового вторжения. Не знаю, как именно она это сделает, но, уж конечно, ей удастся придумать какие-нибудь любопытные штучки. А во-вторых, я слишком сильно привязался к ней, проникся уважением. Нет, мы вернемся на Землю и будем лгать. Мы скажем, что она враждебна людям. Ведь такой она и окажется по отношению к среднему человеку вроде Чаттерто-на, который явится сюда, чтобы причинить ей вред. Так что, в конечном счете, это и не будет ложью.

— Как странно! — заметил Кестлер. — Я совсем не боюсь. Чаттертон исчез, возможно, он убит, и убит самым ужасным образом. И все же мы лежим здесь, никто не убегает, никто не боится. Это глупо. И тем не менее это правильно. Мы доверяем ей, а она доверяет нам.

— А вы заметили? Стоит выпить немного этой воды — вина, и больше не хочется. Это планета умеренности.

Они лежали, прислушиваясь к ночным звукам, и им казалось, что большое сердце этого зеленого мира неторопливо, но горячо бьется внизу, под ними.

«Пить хочется!» — подумал Форестер.

Дождевая капля упала ему на губы.

Он тихо рассмеялся.

«Я одинок!» — подумал он.

И услышал вдали нежные, звонкие голоса.

Он стал смотреть в ту сторону. Несколько холмов, сбегаящая с них прозрачная река, а на отмели, в облаке водяных брызг, группа прекрасных женщин. Их лица мерцают. Как дети, они резвятся на берегу. И вдруг Форестер узнал о них и о их жизни все, что хотел. То были вечные странницы. Они бродяжничали, переходили с места на место, повинуюсь лишь собственному капризу. Здесь не было шоссеиных дорог, не было городов, здесь были только холмы, равнины да ветры, которые переносили эти белые фигурки, словно перышки, куда бы те ни пожелали. Стоило Форестеру мысленно задать вопрос, как кто-то невидимый тотчас шептал ему на ухо ответ. Мужчин там не было. Женщины сами продолжали свой род. Мужчины исчезли пятьдесят тысяч лет назад. А где эти женщины сейчас? Неподалеку от зеленого леска, рядом с винным ручьем, за шестью белыми камнями, у истока большой реки. Там, на отмелях, — женщины, которые могут стать прекрасными женами и вырастить чудесных детей.

Форестер открыл глаза. Остальные астронавты сидели возле него.

— Я видел сон.

Все они видели сны.

— ...Неподалеку от зеленого леска...

— ...рядом с винным ручьем...

— ...за шестью белыми камнями, — сказал Кестлер.

— ...и у истока большой реки, — закончил Дрисколл.

С минуту все молчали. И смотрели на серебристую ракету, блестящую в свете звезд.

— Ну, так как, капитан, мы пойдём или полетим?

Форестер не ответил.

— Капитан, — сказал Дрисколл, — останемся здесь навсегда. Не будем возвращаться на Землю. Люди никогда не прилетят сюда выяснять, что с нами случилось. Они будут думать, что все мы уничтожены. Ну, что вы скажете на это?

Лицо Форестера покрылось капельками пота. Он провел языком по пересохшим губам. Руки вздрагивали у него на коленях. Экипаж ждал.

— Это было бы чудесно, — наконец выговорил капитан.

— Ещё бы!

— Но... — Форестер вздохнул. — Но мы обязаны выполнить задание. Люди вложили в наш корабль деньги. И ради этих людей мы обязаны вернуться.

Форестер поднялся. Астронавты продолжали сидеть, не слушая его.

— Чертовски приятная ночь! — заметил Кестлер.

Они смотрели на отлогие холмы, на деревья, на реку, бегущую к иным горизонтам.

— Пошли на корабль, — с трудом выдавил из себя Форестер.

— Капитан...

— На корабль! — повторил он.

Ракета поднялась в небо. Глядя вниз, Форестер отчетливо видел каждую долину, каждое озеро.

— Надо было остаться, — промолвил Кестлер.

— Да, я знаю.

— Ещё не поздно повернуть назад.

— Боюсь, что поздно. — Форестер отрегулировал телескоп. — Посмотрите.

Кестлер посмотрел.

Лицо планеты изменилось. Тигры, динозавры, мамонты появились внизу. Вулканы извергали лаву, циклоны и ураганы проносились над холмами, стихии бушевали.

— Да, это настоящая женщина, — сказал Форестер. — Миллионы лет она ждала гостей, готовилась, навела красоту. Она надела для нас свой лучший наряд. Когда Чаттертон начал дурно обращаться с ней, она предостерегла его, а потом, когда он сделал попытку изуродовать ее, попросту уничтожила его. Как всякой женщине, ей хотелось, чтобы ее любили ради нее самой, а не ради ее богатств. Она предложила нам все, что могла, а мы — мы покинули ее. Она женщина, и оскорбленная женщина. Правда, она позволила нам уйти, но мы уже никогда не сможем вернуться. Она встретит нас вот этим...

И кивком головы он показал на тигров, циклоны и кипящие воды.

— Капитан... — начал Кестлер.

— Да?

— Сейчас уже поздно рассказывать об этом, но... перед самым взлетом я дежурил у воздушного шлюза. И позволил Дрисколлу уйти с корабля. Ему хотелось уйти. Я не смог отказать ему. Я взял это на свою ответственность. И сейчас он там, на планете.

Оба посмотрели в иллюминатор.

После долгого молчания Форестер сказал:

— Я рад. Я рад, что хоть у одного из нас хватило здравого смысла остаться.

— Но ведь он, должно быть, уже мертв!

— Нет, эта демонстрация там, внизу, устроена для нас. А может, это просто обман зрения. Среди всех этих тигров и львов, среди ураганов наш Дрисколл цел и невредим, ибо он сейчас единственный зритель. Ох, уж теперь она так избалует его, что... Да, он-то заживет там недурно, а вот мы с вами будем мотаться взад и вперед по Вселенной, разыскивая планету, которая была бы такой же чудесной, но так никогда и не найдем. Нет, мы не полетим назад спасать Дрисколла. А впрочем, она все равно не позволит нам сделать это. Полный вперед, Кестлер, полный вперед!

Ракета понеслась вперед, резко увеличив скорость.

И за миг до того, как планета скрылась в сияющей дымке тумана, Форестеру вдруг показалось, что он ясно видит Дрисколла. Вот, спокойно насвистывая, юноша выходит из зеленого леса, и весь этот очаровательный мир овеивает его своей прохладой. Для него одного течет винный ручей, готовят рыбу горячие ключи, созревают в полночь плоды на деревьях, а леса и озера ждут не дождутся его прихода. И он уходит вдаль по бесконечным зеленым лужайкам, мимо шести белых камней, что стоят позади роци, к отмелям широкой прозрачной реки.

Город ждал двадцать тысяч лет.

Планета двигалась по своему космическому пути, полевые цветы распускались и облетали, а город ждал. Реки планеты выходили из берегов, мелели и пересыхали, а город ждал. Ветры, некогда молодые и буйные, захирели, остепенились; облака в небесах, истрадавшиеся, разодранные в клочья, истерзанные, обрели покой и плыли в пустой белизне. А город ждал.

Город ждал, всеми своими окнами и черными обсидиановыми стенами, и небоскребами, и башнями без флагов, и нехоженными, незамусоренными улицами, и незахвачанными дверными ручками. Город ждал, а тем временем планета описывала в космосе дугу, следуя своей орбите вокруг сине-белого солнца. И времена года сменяли друг друга, и сменяли друг друга мороз и палящий зной, а потом опять наступали холода и опять зеленели поля и желтели летние лужайки.

Это произошло в летний полдень, в середине двадцатитысячного года — город дождался.

В небе появилась ракета.

Ракета пролетела высоко-высоко, развернулась, подлетела ближе и приземлилась на глинистом пустыре в пятидесяти ярдах от обсидиановой стены.

Послышались шаги ног, обутых в ботинки, ступающих по худосочной траве, и голоса людей из ракеты, обращенные к людям снаружи.

— Готовы?

— Все в порядке, ребята. Будьте начеку! Идем в город. Енсен, вы и Хачисон пойдете впереди, в охранении. Смотрите в оба.

Город отворил потайные ноздри в своих черных стенах и прочную вентиляционную шахту, запрятанную глубоко в теле города. Мощные потоки воздуха хлынули вниз по трубам сквозь густые фильтры, задерживающие пыль, к тончайшим, нежнейшим спиралькам и паутинкам, излучающим серебристое свечение. Снова и снова нагнетается и всасывается воздух, снова и снова вместе с теплым ветром город вдыхает запахи с пустыря.

«Пахнет огнем, упавшим метеоритом, раскаленным металлом. Из другого мира прибыл космический корабль. Пахнет медью, жженой пылью, серой и ракетной гарью».

Информация, отпечатанная на перфоленте, пошла, передаваемая желтыми зубчатыми колесиками, от одной машины к другой.

Щелк-щелк-щелк-щелк.

Затикал подобно метроному вычислитель. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек! Застрекотало печатающее устройство и мгновенно отстучало это известие на ленте, которая скользнула вниз и исчезла.

Щелк-щелк-щелк-щелк.

Город ждал, когда же послышатся мягкие шаги их каучуковых подошв.

Великанские ноздри города снова расправились.

Запах масла. Шагавшие люди распространяли по городу слабые запахи. Они попадали в гигантский Нос и там будили воспоминания о молоке, о сыре, о мороженом, о сливочном масле, об испарениях молочной индустрии.

Щелк-щелк.

— Ребята, будьте наготове!

— Джонс, не делай глупостей, достань свой пистолет!

— Город мертвый, чего бояться.

— Как знать.

От лающей речи ожили Уши. Столько веков они прислушивались к жалобным вздохам ветра, слышали, как опадает с деревьев листва, как из-под снега по весне потихоньку пробивается трава. И вот Уши, освежив смазку, принялись натягивать барабанные перепонки, туго-натуго, чтобы суметь расслышать тончайшие оттенки биения сердец пришельцев, неуловимые, как трепыхание мотылька. Уши напрягли слух, Нос накачивал полные камеры запахов.

От страха люди вспотели. Под мышками у них намокли островки пота, взмокли ладони, сжимавшие оружие.

Город потягивал своим Носом этот запах, пробуя, словно знаток, дегустирующий старинное вино.

Щелк-щелк-щелк-щелк.

Параллельно друг другу с катушек скользнули ленты с данными. Пот: хлориды — столько-то процентов; сульфаты — столько-то; азот мочевины, азот аммиачный... Выводы: креатинин, сахар, молочная кислота, т а к — т а к — так!

Звякнули и выскочили окончательные результаты.

Нос зашипел, выдавливая из себя отработанный воздух. Уши продолжали вслушиваться.

— Капитан, по-моему, нужно возвращаться к ракете.

— Приказы отдаю я, мистер Смит!

— Да, сэр.

— Эй, там, впереди! Видите что-нибудь?

— Ничего, сэр. Похоже, этот город опустел очень давно!

— Что теперь скажете, Смит? Опасаться нечего.

— Не нравится мне тут. Не знаю, почему. Вам знакомо это чувство, когда вы приходите куда-нибудь и вам начинает мерещиться, что вы тут уже бывали? Слишком уж этот город кажется знакомым.

— Бросьте! Эта планетная система находится в миллиардах миль от Земли. Мы никак не могли побывать здесь раньше. Наша ракета единственная из всех, которая может летать со световой скоростью.

— И все же я никак не могу отделаться от этой мысли. Надо уносить отсюда ноги.

Звук шагов оборвался. В неподвижном воздухе слышно было только дыхание Смита.

Ухо уловило его и приступило к действиям. Закрутились роторы и валы, сквозь клапаны и трубки заструились, мерцая, жидкости по каналцам. Сперва формула, затем — готовый продукт стали появляться один за другим. Через какие-то минуты по сигналу Носа и Ушей из широких пор в стенах на пришельцев стал изливаться пахучий пар.

— Запах. Слышите запах? А-ах! Зеленая травка. Вы когда-нибудь вдыхали запах приятнее? Клянусь, я готов стоять тут хоть до скончания века, лишь бы дышать этим воздухом!

Над стоящими людьми витал невидимый хлорофилл.

— А-ах!

Шаги возобновились.

— Ну, Смит, в этом-то что плохого? Вперед, вперед!

На миллиардную долю секунды Ухо и Нос позволили себе расслабиться.

Контригра удалась. Пешки продвигались дальше.

Теперь из дымки показались затуманенные глаза Города.

— Капитан! Окна!

— Что такое?

— Окна домов, вон там! Они двигались, я видел!

— А я нет.

— Они поворачивались и поменяли цвет, с темного на светлый.

— С виду обычные квадратные окна.

Размытые предметы стали видны резче. В машинных расщелинах города крутились смазанные оси, противовесы окунались в поддоны с зеленым маслом. Оконные рамы выгнулись. Окна засияли.

Внизу, по улице, шагали двое из охранения. За ними на безопасном расстоянии шли еще семеро. На них была одета белая форма, лица порозовели так, словно их отхлестали по щекам, глаза голубые. Ходят прямо, на задних ногах, в руках держат оружие из металла. Ноги обуты. Пола они мужского. У них есть глаза, уши, рты, носы.

По окнам пробежала дрожь. Они истончились. Незаметно расширились, словно бесчисленные зрачки.

— Говорю же вам, капитан, что-то неладное с окнами!

— Ерунда!

— Я возвращаюсь, сэр.

— Что?

— Я возвращаюсь к ракете.

— Мистер Смит!

— Я не собираюсь попадать в западню!

— Что, пустого города испугались?

Остальные натянуто улыбнулись.

— Смейтесь, смейтесь!

Улица была выложена булыжником. Каждый камень размером три дюйма в ширину и шесть в длину. Улица осела, но совсем незаметно для глаза. Улица взвешивала пришельцев.

В машинном бункере красная стрелка коснулась отметки: 178 фунтов... 210, 154, 201, 198... Каждый был взвешен, вес каждого записан, и запись уползла с катушки в густую темноту.

Теперь уже город окончательно пробудился!

Вентиляционные шахты вдыхали и выдыхали воздух, смешанный с табачным духом из рта пришельцев, с запахом зеленого мыла, который шел от рук. Глазное яблоко и то источало едва уловимый запах. Город подмечал все это. Сводная информация отсылалась дальше, чтобы там к ней прибавились новые данные. Хрустальные окна поблескивали, Ухо все туже натягивало свои барабанные перепонки... город всеми органами чувств, как невидимый снегопад, навалился на пришельцев, подсчитывая их вдохи и выдохи, глухие удары сердец, город вслушивался, всматривался, пробовал на вкус.

Улицы служили городу языком. И там, где проходили люди, вкус их ступней улавливался сквозь поры в камнях, а затем проверялся на лакмусовом индикаторе. Дотошно собранные сведения о химическом составе влились в нарастающий поток информации. Оставалось дожидаться, когда среди крутящихся колес и шуршащих спиц будет выдан

окончательный результат.

Шаги. Кто-то бежит.

— Вернитесь! Смит!

— Подите к черту!

— Хватай его, ребята!

Шум погони.

И — последнее. Город послушал, посмотрел, попробовал на язык, прощупал, взвесил и подвел итог. Осталось решить последнюю задачу.

На поверхности улицы распахнулась ловушка. Бегущий капитан незаметно для других исчез.

Он был подвешен за ноги. Горло ему перерезала бритва. Вторая бритва полоснула по груди, его скелет был вмиг очищен от всех внутренностей. В потайной камере под улицей капитан умер, распластанный на столе. Хрустальные микроскопы, уставившись, смотрели на красные переплетения мышц, бесплотные пальцы тыкали в сердце, которое все еще сокращалось. Лоскутья его раскроенной Ложи были приколоты к столу, а тем временем чьи-то руки перекладывали части его тела так и сяк, казалось, некий любознательный шахматист стремительно передвигает по доске красные фигуры.

Наверху, на улице, бежали люди. Они гнались за Смитом и что-то кричали ему вдогонку. Смит что-то кричал в ответ, а внизу, в таинственной комнате разливалась по капсулам кровь, встряхивалась, вертелась на центрифуге, намазывалась на предметные стеклышки и вновь отправлялась под микроскопы. Производились подсчеты, измерялись температуры. Сердце было разрезано на семнадцать долек, печень и почки — тщательно пополам. В черепе было просверлено отверстие и через него высосаны мозги, нервы были выдернуты, как провода из испорченного распределительного щита, мускулы проверялись на упругость. А в это время в электрическом чреве города Мозг подвел наконец под всем черту. И грандиозной работе всех машин мгновенно был дан отбой.

Итак.

Это — люди. Они прибыли из далекого мира, с определенной планеты, у них определенным образом устроены глаза, уши, характерная походка, они носят оружие, думают, дерутся, у них по-особенному устроено сердце и все прочие органы. Все соответствует древним записям.

Наверху люди гнались за Смитом.

Смит бежал к ракете.

Итак.

Они — наши враги. Это их мы дожидались двадцать тысяч лет, чтобы увидеться с ними снова. Это их мы ждали, чтобы отомстить. Все сходится. Они прилетели с планеты Земля. Двадцать тысяч лет назад они объявили войну Таоллану, они держали нас в рабстве, калечили и уничтожили страшной болезнью. Потом, после того как разграбили и растащили нашу планету, они удрали в другую галактику, чтобы самим спастись от этой болезни. Они позабыли и о той войне, и том времени, они позабыли и о нас. Но мы их не забыли. Они — наши враги. Известно достоверно. Наше ожидание окончилось.

— Смит, вернись!

А теперь, к делу! На красном столе, где лежало распостертое и выпотрошенное тело капитана, чьи-то руки вновь приступили к игре. Во влажное лоно вложены внутренности из меди, латуни, серебра, алюминия, каучука и шелка; паучки выткали золотую паутинку,

которая вживляется в кожу; вложено сердце, а в черепную коробку помещен платиновый мозг, который гудит и сыплет крохотными голубыми искорками, провода тянутся к рукам и ногам. Через минуту тело прочно зашито, швы на разрезах, у горла, на голове замазаны, заживлены наново.

Капитан сел и вытянул руки.

— Стоять!

На улице снова возник капитан, поднял пистолет и выстрелил.

Смит упал с пулей в сердце.

Все обернулись.

— Глупец! Города боится!

Они смотрели на тело Смита, лежавшее у их ног.

Они смотрели на капитана, кто широко раскрытыми глазами, кто прищурившись.

— Слушайте, — сказал капитан, — я должен вам кое-что сообщить.

Теперь город, который их взвесил, попробовал на вкус и обнюхал, который пустил в ход все свои средства, за исключением одного, последнего, приготовился пустить в ход и его — дар речи. Он говорил не враждебным языком массивных стен и башен, и не от имени каменной громады булыжных мостовых и крепостей, наштигованных машинами, а тихим голосом одного-единственного человека.

— Я больше не капитан, — сказал он, — и не человек.

Люди отпрянули.

— Я — город, — произнес он и заулыбался. — Я ждал двести веков, — сказал он. — Я ждал, пока вернутся сыновья сыновей других сыновей.

— Капитан, сэр!

— Я еще не все сказал. Кто создал меня? Город. Меня создали те, кто погиб. Древний народ, который жил здесь когда-то. Народ, который земляне бросили издыхать от страшной неизлечимой болезни, похожей на проказу. И древний народ, мечтая о том дне, когда земляне снова явятся сюда, построил этот город, и нарек его городом Возмездия, на планете Тьмы, на берегах Векового моря, близ Мертвых гор. Как поэтично! Этот город был задуман как весы, как лакмусовая бумажка, как антенна для проверки всех космических странников будущего. За двадцать тысяч лет здесь побывали всего две ракеты. Одна — с далекой галактики Эннт. Обитателей корабля проверили, взвесили, решили, что они не подходят по параметрам и выпустили из города живыми и невредимыми, так же, как ж пришельцев со второго корабля. Но сегодня наконец пожаловали вы! Отмщение будет полным. Вот уже двести веков, как тот народ мертв, но он оставил после себя этот город, чтобы вам был оказан в нем радушный прием.

— Капитан, сэр, вам нездоровится. Может, вам вернуться на корабль?

Город содрогнулся.

Мостовые разверзлись, и люди с воплями провалились вниз. Падая, они увидели мелькнувшие сверкающие лезвия, летящие им навстречу.

Спустя некоторое время кто-то позвал:

— Смит?

— Здесь!

— Енсен?

— Здесь!

— Джонс, Хачисон, Спрингер?

— Здесь, здесь, здесь.

Они выстроились у люка ракеты.

— Немедленно возвращаемся на Землю.

— Есть, сэр!

Разрезы на шеях были незаметны, как незаметны были и латунные сердца, серебряные внутренности и тонюсенькие золотые проволочки вместо нервов. Из голов доносилось едва слышное электрическое гудение.

— Это мы в два счета!

Девять человек суетились, загружая ракету золотистыми бомбами, начиненными микробами заразной болезни.

— Их нужно сбросить на Землю.

— Будет исполнено, сэр!

Люк захлопнулся. Ракета взмыла в небеса. Рокот ее двигателей удалялся, город лежал, раскинувшись на летних пустошах. Его зрение притупилось. Перестал напрягаться слух. Закрылись огромные вентиляционные шахты его Ноздрей, улицы больше ничего не взвешивали, не подытоживали, потайные машины нашли отдохновение в масляных ваннах. Ракета растворилась в небе.

Понемногу, растягивая удовольствие, город наслаждался роскошью умирания.

Каменные арки стремительно несли его по стране огромными скачками. Воды в нем пока не было, по его шлюзам гулял ветер. Возводили его не один год, он начинался на Севере и тянулся на Юг.

— Скоро уже, скоро, — говорили матери своим детям, — вот достроят Акведук и тогда на Севере, за тысячу миль, откроют шлюзы, и к нам побежит прохладная водичка для наших посевов, цветов, в наши бани, к нашему столу.

Дети смотрели, как камень за камнем растет Акведук. Он возвышался над землей на тридцать футов, через каждые сто ярдов были устроены водостоки в виде химеры с разинутой пастью, вода должна была политься из них тонкими струями в домашние бассейны и резервуары.

На Севере была не одна страна, а две. Вот уже долгие годы там раздавался звон сабель и треск щитов.

В Год Завершения Строительства Акведука эти две северные державы выпустили друг в друга миллион стрел и вскинули миллион щитов, сияющих, как миллион солнц. Стоял такой гул, словно где-то грохочет океанский прибой.

На исходе года Акведук был готов. На Знойном Юге люди спрашивали один другого в нетерпении:

— Когда же будет вода? Неужели из-за войны на Севере мы тут умрем от жажды, а наши поля засохнут?

Прискакал гонец.

— Чудовищная война, — сказал он. — Там идет дикая бойня. Больше ста миллионов погибших.

— Во имя чего?

— У них там возникли разногласия.

— Мы только и знаем, что разногласия.

Люди выстроились вдоль каменного Акведука. По сухим желобам бежали глашатаи с желтыми вымпелами в руках и кричали:

— Тащите кувшины и чаши, готовьте поля и плуги, открывайте бани, несите стаканы!

Тысячемильный Акведук наполнялся, впереди по желобу шлепали босые ступни глашатаев. Отовсюду, со всей раскаленной страны, стекались десятки миллионов людей, шлюзы были отворены, пришедшие стояли в ожидании с ведрами, кувшинами и кринками, воздетыми к пустым водостокам с рыльцами химер, в которых свистел ветер.

— Идет!

Слове это летело из уст в уста тысячи миль.

И вот издалека донесся плеск, такой, какой и должен быть, когда по каменному желобу канала течет жидкость. Сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее катила «на на Юг под лучами горячего солнца.

— Вот, уже с минуты на минуту! Слушайте! — переговаривались люди, поднимая стаканы.

И вот из шлюзов и разверстых пастей химер хлынуло, напилось на землю, в каменные бассейны, в стаканы, на поля. Влага напоила землю. Люди мылись в банях. С полей и из городов доносилось пение.

— Мамочка, мамочка! — Ребенок поднял стакан к глазам и взболтнул содержимое.

Какая-то взвесь закружила в стакане, лениво, нехотя. — Это не вода!

— Молчи! — шикнула на него мать.

— Вон она какая красная, — сказал ребенок, — и густая.

— Возьми мыло, умойся и поменьше задавай вопросов, попридержи язык, — велела мать. — Подними заслонки и марш на поле сажать рис.

В поле отец весело переговаривался со своими сыновьями:

— Вот будет здорово, если и дальше так пойдет: силосные ямы полны, а мы сами умыты.

— Не беспокойся. Президент посылает на Север своего представителя, убедиться, что разногласия там будут продолжаться еще долго.

— Продлилась бы эта война еще лет пятьдесят!

Они смеялись и распевали песни.

А ночью лежали довольные и прислушивались к теплему журчанию в Акведуке, он был наполнен до краев и походил на реку, текущую по их землям навстречу утренней заре.

Капитан Харт стоял у раскрытого люка ракеты.

— Почему они не идут? — спросил он.

— Откуда мне знать, капитан? — отозвался его помощник Мартин.

— И что же это за место? — спросил капитан, раскуривая сигару. Спичку он швырнул в сияющий луг, и трава загорелась.

Мартин хотел затоптать огонь ботинком.

— Нет, — приказал капитан Харт, — пусть горит. Может быть, они явятся посмотреть, что тут такое, невежи.

Мартин пожал плечами и убрал ногу от расплзающегося огня.

Капитан Харт взглянул на часы.

— Вот уже час, как мы приземлились, и что же? Где делегация встречающих, рукопожатия, где оркестр? Никого! Мы пролетели миллионы миль в космосе, а прекрасные граждане какого-то глупого городка на какой-то неведомой планете не обращают на нас внимания! — Он фыркнул, постучав пальцем по часам. — Что ж, даю им еще пять минут, а затем...

— И что затем? — спросил Мартин, неизменно вежливый Мартин, наблюдая за тем, как трясутся отвислые щеки капитана.

— Мы пролетим над их проклятым городом еще раз и напугаем их до смерти. — Голос его стал тише. — Мартин, может быть, они не видели, как мы приземлились?

— Видели. Они смотрели на нас, когда мы пролетали над городом.

— Почему же они не бегут сюда по лугу? Может быть, они спрятались? Они что, трусили?

Мартин покачал головой.

— Нет. Возьмите бинокль, сэр. Посмотрите сами. Они бродят вокруг. Но они не напуганы. Они... ну, похоже, что им все равно.

Капитан Харт прижал бинокль к усталым глазам. Мартин взглянул на него, отметив на его лице морщины раздражения, усталости, непонимания. Казалось, Харту уже миллион лет. Он никогда не спал, мало ел и заставлял себя двигаться все дальше, дальше. А теперь его старые, запавшие губы двигались под биноклем.

— Мартин, я просто не знаю, чего ради мы стараемся. Строим ракеты, расходуем силы, чтобы пересечь бездну, ищем их — и что получаем? Пренебрежение. Посмотрите, как эти идиоты бродят с места на место. Неужели они не понимают, какое великое событие только что произошло? Первый космический полет в их глухомань. Часто ли это происходит? Они что, пресыщены?

Мартин не знал.

Капитан Харт устало вернул ему бинокль.

— Зачем все это, Мартин? Я имею в виду космические полеты. Ищем, ищем. Внутри все сжато, и никакого отдыха.

— Может быть, мы ищем мира и покоя. На Земле этого точно нет, — сказал Мартин.

— Вы считаете, нет? — Капитан Харт задумался. — Со времен Дарвина, да? С тех пор как ушло все, во что мы раньше верили, все ушло за борт, да? Божественное провидение и все такое. Вы считаете, из-за этого мы и летаем к звездам, а, Мартин? Ищем потерянные

души, так, что ли? Пытаемся улететь с нашей порочной планеты на другую, чистую?

— Возможно, сэр. Во всяком случае, мы точно чего-то ищем.

Капитан Харт откашлялся, и голос его вновь стал твердым.

— Что ж, в данный момент мы ожидаем мэра города. Бегите туда, расскажите им, что мы — первая космическая экспедиция на планету. Капитан Харт шлет свои приветствия и желает видеть мэра. Вперед!

— Да, сэр. — Мартин медленно зашагал по лугу.

— Быстрее! — рявкнул капитан.

— Да, сэр! — Мартин пустился рысью, а отойдя подальше, снова двинулся не спеша, улыбаясь чему-то своему.

До возвращения Мартина капитан успел выкурить две сигары.

Мартин замер перед раскрытым люком, покачиваясь, похоже было, что он не в состоянии сфокусировать свой взгляд или связно мыслить.

— Ну? — рявкнул Харт. — Что случилось? Они придут приветствовать нас?

— Нет. — Мартину пришлось прислониться к ракете — у него кружилась голова.

— Почему же?

— Мы не имеем значения, — ответил Мартин. — Капитан, пожалуйста, дайте мне закурить. — Он протянул руку, вслепую нашаривая протянутую пачку, а глаза его, моргая, устремились к золотому городу. Он зажег сигарету и долго молча курил.

— Да скажите же что-нибудь! — вскричал капитан. — Они что, не заинтересовались нашей ракетой?

Мартин произнес:

— Что? Ах, ракета... — Он поглядел на сигарету. — Нет, не заинтересовались. Похоже, мы прилетели в неблагоприятное время.

— Неблагоприятное время!

Мартин терпеливо объяснил:

— Послушайте, капитан. Вчера в городе произошло нечто великое. Столь необычайное и великое, что мы оказа»-лись жалкими дублерами. Мне нужно сесть. — Он потерял равновесие и тяжело сел, задыхаясь.

Капитан сердито жевал сигару.

— Что произошло?

Мартин поднял голову, дым от сигареты, зажатой в неподвижных пальцах, поплыл по ветру.

— Сэр, вчера в городе появился необычайный человек — добрый, умный, сострадающий и бесконечно мудрый!

Капитан гневно воззрился на своего помощника.

— А нам что до него?

— Трудно объяснить. Это человек, которого они ждали веками — миллион лет, наверное. И вот вчера он вошел в их город. Потому-то, сэр, сегодня наша ракета для них абсолютно ничего не значит.

Капитан резко сел.

— Кто же он? Неужели Эшли? Неужели он прилетел раньше нас и украл мою славу? — Он стиснул руку Мартину. Лицо его было бледным, расстроенным.

— Не Эшли, сэр.

— Бертон! Я так и знал. Бертон прокрался вперед нас и испортил нам приземление!

Никому нельзя доверять.

— Не Бертон, сэр, — тихо сказал Мартин.

Капитан не мог ему поверить.

— Но ведь было всего три ракеты, и мы летели впереди всех. А этот человек, явившийся перед нами, как его зовут?

— У него нет имени. Оно ему и не нужно. На каждой планете его называют по-своему, сэр.

Капитан уставился на Мартина тяжелым недоверчивым взглядом.

— И что же он такого сделал, такого замечательного, что никто и не смотрит на наш корабль?

— Например, — твердо ответил Мартин, — он исцелил больных и утешил неимущих. Он выступил против лицемерия и грязного правления, и он беседовал с народом весь день.

— И что же, это так замечательно?

— Да, капитан.

— Не понимаю. — Капитан всмотрелся Мартину в глаза, в лицо. — Вы не напились, а? — Он отступил на шаг что-то заподозрив. — Не понимаю.

Мартин посмотрел назад, на город.

— Капитан, если вы не понимаете, я не могу вам объяснить.

Капитан проследил за его взглядом. Город выглядел тихим и прекрасным, и великий покой царил вокруг него. Капитан шагнул вперед, вынув изо рта сигару. Он прищурился, глядя на Мартина, на золотые шпили зданий вдалеке.

— Вы не хотите сказать... неужели вы имеете в виду... этот человек? Не может быть!..

Мартин кивнул:

— Да, сэр, именно это я имею в виду.

Капитан замер молча. Потом выпрямился во весь рост.

— Не верю.

В полдень капитан Харт быстро вошел в город, сопровождаемый лейтенантом Мартином и помощником, тащившим приборы. Время от времени капитан раздражался громким смехом, уперев руки в бока и покачивая головой.

Их встретил мэр города. Мартин установил треножник, прикрутил к нему коробку и подключил батарейки.

— Вы мэр? — Капитан ткнул в инопланетянина пальцем.

— Да, — ответил мэр.

Между ними стоял замысловатый аппарат, с которым управлялись Мартин и техник. Коробка обеспечивала мгновенный перевод с любого языка. Слова резко падали в ватную тишину города.

— Сначала о вчерашнем, — начал капитан. — Это правда?

— Да.

— У вас есть свидетели?

— Да.

— С ними можно поговорить?

— Говорите с любым из нас, — отвечал мэр. — Мы все свидетели.

Капитан тихо шепнул Мартину:

— Массовый гипноз. — И мэру: — Как же выглядел этот человек, этот чужестранец?

— Трудно описать, — мэр чуть-чуть улыбнулся.

— Почему же?

— Мнения могут разойтись.

— Что ж, сообщите нам по крайней мере свое, — сказал капитан. — Запишите, — приказал он Мартину через плечо.

Лейтенант нажал на кнопку портативного магнитофона.

— Ну, — начал мэр города, — это был очень добрый и мягкий человек. И он обладает большими познаниями во всем.

— Да-да, я знаю, знаю, — капитан помахал рукой. — Общие слова. Мне нужно нечто осязаемое. Как он выглядел?

— По-моему, это не важно, — отвечал мэр.

— Очень важно, — сурово оборвал его капитан. — Мне необходимо описание внешности этого типа. Если вы не хотите отвечать, я спрошу у других. — И Мартину: — Наверняка это Бертон! Одна из его шуточек, очередной розыгрыш!

Мартин холодно молчал, не глядя на капитана.

Капитан щелкнул пальцами:

— Так что он там делал — исцеления?

— Много исцелений, — подтвердил мэр.

— Могу я увидеть... одного исцеленного?

— Конечно, вот мой сын. — Мэр кивнул маленькому мальчику, и тот шагнул вперед. — У него была отсохшая рука. Теперь — смотрите.

Капитан снисходительно засмеялся.

— Да-да, но ведь это не доказательство. Я же не видел мальчика с отсохшей рукой. Я вижу лишь здоровую руку. Есть ли у вас доказательства того, что вчера у мальчика была больная рука, а сегодня здоровая?

— Мое слово — мое доказательство, — просто отвечал мэр.

— Послушайте! — вскричал капитан. — Вы хотите, чтобы я поверил вам на слово? Ну нет!

— Извините, — сказал мэр, глядя на капитана с выражением, в котором сочетались любопытство и жалость.

— Нет ли у вас изображения мальчика? — спросил капитан.

Через несколько мгновений принесли большой портрет, написанный маслом, на нем был изображен сын мэра с отсохшей рукой.

— Милый мой! — отмахнулся от портрета капитан. — Картину нарисовать может кто угодно. Картины лгут. Мне нужна фотография мальчика.

Фотографий не оказалось. Искусство фотографии было пока неизвестно на этой планете.

— Что ж, — вздохнул капитан, и лицо его задергалось. — Дайте мне поговорить с другими. Так все без толку. — Он ткнул пальцем в какую-то женщину. — Вы. — Она заколебалась. — Вы, вы, подойдите сюда, — приказал капитан. — Расскажите мне об этом чудесном человеке, явившемся к вам вчера.

Женщина смотрела решительно:

— Он ходил среди нас. И он был прекрасен и добр.

— А какого цвета у него глаза?

— Цвета солнца, цвета моря, цвета гор, цвета ночи.

— Достаточно. — Капитан воздел руки к небу. — Поняли, Мартин? Ничего! Какой-то

шарлатан бродил по городу, нашептывая им в уши сладкие пустяки, и...

— Прекратите, пожалуйста, — попросил Мартин.

Капитан отступил назад.

— Что такое?

— Вы слышали, что я сказал. Мне нравятся эти люди, я им верю. Вы вправе иметь собственное мнение, но держите его при себе, сэр.

— Не смейте так со мной разговаривать! — заорал капитан.

— С меня хватит вашего высокомерия, — отвечал Мартин. — Оставьте их в покое. У них появилось что-то хорошее, доброе, а вы явились в чужое гнездо и гадите в нем, и издеваетесь над ними. А я разговаривал с ними. Я ходил по городу и смотрел на их лица. В них есть нечто такое, чего у вас и быть не может — вера. Немного простодушной веры, и с ее помощью они горы сдвинут. Вы закипели от злости, потому что кто-то украл ваш триумф, кто-то добрался до них раньше и вы сделали ненужным!

— Я даю вам еще пять секунд, — заметил капитан. — Понимаю. Вы находились под сильным напряжением, Мартин. Целые месяцы в космосе, ностальгия, одиночество. А теперь еще и это. Я вам сочувствую, Мартин. Я не придаю значения вашему мелкому неповиновению.

— А я придаю значение вашему мелкому тиранству, — ответил Мартин. — Я уйду. Я остаюсь здесь.

— Вы не сможете!

— Да неужели? Попробуйте меня остановить. Я ведь за тем и прилетел сюда, хотя сам того не знал. Мне это нужно, это для меня. Везите вашу грязь куда-нибудь в другое место, попробуйте нагадить в других гнездах своим сомнением и своим — своим научным методом! — Он быстро огляделся. — У этих людей только что произошло нечто поистине настоящее, и нам еще повезло, что мы прилетели сюда почти вовремя! Неужели вы не можете вдолбить себе в голову, что чудо действительно произошло? На Земле об этом человеке говорили двадцать веков, после того как он прошел по нашему миру. Мы же так хотели увидеть его, услышать его слово, да все не удавалось. А сегодня мы опять упустили его — всего на несколько часов разминулись.

Капитан Харт взглянул на Мартина.

— Да вы плачете, как младенец. Прекратите.

— Мне плевать.

— А мне нет. Перед этими туземцами нужно сохранять выдержку. Вы переутомились. Я прощаю вас.

— Я не нуждаюсь в вашем прощении.

— Глупец! Неужели вы не поняли, что это всего лишь штучки Бертона? Обмануть, надуть, основать свои нефтяные и прочие концерны под религиозным прикрытием! Вы дурак, Мартин. Полнейший дурак! Пора бы уже знать цену землянам. Они способны на все: богохульство, надувательство, ложь, обман, кражу, убийство — лишь бы достичь своей цели. Все хорошо, что работает. Вы же знаете, Бертон — прагматик, каких мало!

Капитан тяжело вздохнул:

— Ну же, Мартин, признайтесь, именно на такие гнусности и способен Бертон — запутать бедных туземцев да ошипать их дочиста, когда созреют.

— Нет, — произнес Мартин, но уже задумчиво.

Капитан вновь воздел руки к небу.

— Да, клянусь, это был Бертон. Кто же еще? Его грязные, преступные методы. Да, конечно, можно и восхититься. Влетел к ним старый дракон в огне и пламени, окруженный сиянием, тут — доброе слово, там — любящее прикосновение, целительная мазь или заживляющий луч. Бертон, как есть он!

— Нет! — У Мартина упал голос. Он закрыл глаза руками. — Не верю!

— Вы просто не хотите поверить, — настаивал капитан. — Ну признайтесь же. Нечто подобное и способен выкинуть Бертон. Перестаньте видеть сны наяву, Мартин, проснитесь! Уже утро. Вокруг реальный мир, и мы — реальные люди, грязные, конечно, и Бертон грязнее всех!

Мартин отвернулся.

— Ну же, ну, Мартин. — Капитан Харт машинально похлопывал Мартина по спине. — Понимаю, для вас это шок. Стыд, позор и все такое прочее. Бертон — негодяй. Полегче, полегче, я справлюсь, положитесь на меня.

Мартин медленно зашагал к ракете.

Капитан Харт понаблюдал за ним, а потом, глубоко вздохнув, повернулся к женщине:

— Ну расскажите мне еще что-нибудь об этом человеке. Так вы говорили, сударыня?

Позднее, когда офицеры уселись за ужином вокруг маленьких столиков, поставленных на траву возле ракеты, капитан передал Мартину полученные сведения:

— Опросил три дюжины, и все несут ту же белиберду. Работа Бертона, не иначе. Уверен. Через день-другой он свалится сюда, чтобы утвердить свои права и увести у нас из-под носа все контракты. Думаю, надо подождать и испортить ему удовольствие.

Мартин, с красными глазами, мрачно взглянул на него.

— Я убью его.

— Ну-ну, Мартин, мой мальчик!

— Я убью его, помоги мне боже, убью.

— Ничего, мы его притормозим. Но вы должны признать, что он хитер. Непорядочен, но хитер.

— Негодяй!

— Обещайте мне не предпринимать ничего необдуманного. — Капитан Харт сверился с записями. — Говорят, произошло тридцать чудесных исцелений, слепой стал зрячим, и еще он излечил прокаженного. Да уж, Бертон умеет обдирать свои делишки, в этом ему не откажешь!

Раздался сигнал гонга, и через минуту к капитану подбежал член экипажа:

— Капитан, докладываю! Корабль Бертона идет на посадку! И корабль Эшли, сэр!

— Видите! — Капитан Харт стукнул кулаком по столу. — Вот они, шакалы, явились пожинать плоды! Дождаться не могут! Ну погодите, сейчас они у меня нарвутся! Однако им придется потесниться, чтобы пустить меня на свой пир, — я-то уж их заставлю!

Казалось, Мартина стошнит. Он молча глядел на капитана.

— Дело есть дело, мой милый, — сказал капитан.

Все подняли глаза вверх. Из небес выпали две ракеты.

Приземляясь, они едва не разбились.

— Что там случилось у этих дураков? — вскричал, подпрыгивая, капитан.

Люди уже бежали по дымящемуся луку к ракетам. Подбежал и капитан. Люк корабля Бертона с треском раскрылся.

Им на руки вывалился человек.

— Что случилось? — вскричал Харт.

Человек упал на землю. Они склонились над ним. Он был весь в ожогах. Все тело было покрыто шрамами, ранами и гнойной дымящейся кожей. Он поднял вверх опухшие глаза, и его вздувшийся язык с трудом шевельнулся в разбитых губах.

— Что случилось? — кричал Харт, встав на колени перед умирающим и дергая его за руку.

— Сэр, сэр, — шепнул тот. — Сорок восемь часов назад в секторе 79, недалеко от первой планеты этой системы, наш корабль и корабль Эшли попали в космическую бурю, сэр. — Что-то серое потекло из носа умирающего, изо рта его сочилась кровь. — Все погибли. Вся команда. Бертон мертв. Эшли умер час назад. Трое уцелели.

— Послушайте! — заорал Харт, наклоняясь над истекающим кровью человеком. — Вы впервые тут приземлились?

Молчание.

— Отвечайте!

Умирающий произнес:

— Нет. Буря. Бертон умер два дня назад. Первая посадка за шесть месяцев.

— Вы уверены? — орал Харт, тряся его изо всех сил, стискивая его руки в своих руках. — Уверены?

— Да, — ответили губы умирающего.

— Бертон умер два дня назад? Вы точно знаете?

— Да, да, — прошептал человек.

Голова его упала на грудь. Он был мертв.

Капитан встал на колени возле тела. Лицо капитана скривилось, мышцы непроизвольно сокращались. Члены экипажа отошли в сторону, глядя на него. Мартин ждал. Капитан попросил, чтобы ему помогли встать, и ему помогли. Они повернулись к городу.

— Это значит...

— Это значит? — переспросил Мартин.

— Это значит, что на эту планету прибыли только мы, — прошептал капитан. — И тот человек...

— Тот человек? — спросил Мартин.

Лицо капитана бессмысленно задергалось. Оно стало старым-престарым и совсем серым. Глаза его остекленели. Капитан сделал шаг вперед по сухой траве.

— Идем, Мартин, идем. Поддержите меня, ради меня самого, поддержите, я боюсь упасть. Нельзя терять времени...

Спотыкаясь, они побрели к городу по высокой сухой траве, навстречу ветру.

Через несколько часов они все еще продолжали сидеть в приемной мэра. Тысячи людей побывали здесь, чтобы поговорить с ними. Капитан продолжал сидеть, лицо у него было изможденное, но он все слушал, слушал. Столько света было в лицах тех, кто приходил, подтверждал, рассказывал, что он уже не мог смотреть на них. И все время руки его дергались и ерзали взад-вперед, по коленям, по ремню.

Когда все кончилось, капитан Харт повернулся к мэру и произнес, глядя на него странными глазами:

— Но вы же должны знать, куда он направился?

— Он нам не сказал.

— К какому-то из близлежащих миров? — добивался капитан.

— Не знаю.

— Вы должны знать!

— Вы видите его? — мэр указал на толпу.

Капитан огляделся.

— Нет.

— Тогда он, наверное, ушел.

— Наверное, наверное! — слабым голосом вскричал капитан. — Я допустил кошмарную ошибку, и я хочу видеть его — сейчас! До меня только теперь дошло, что произошло величайшее событие в истории. Подумать только, мы оказались причастны к такому! Существует один шанс из миллиардов, что мы прилетели на одну планету из миллионов через день после его посещения! Вы должны знать, куда он ушел.

— Каждый находит его сам, — мягко ответил мэр.

— Вы спрятали его! — Лицо капитана медленно исказилось, вернулось что-то прежнее, суровое. Капитан начал медленно подниматься.

— Нет, — отвечал мэр.

— Где он? — Пальцы капитана задержались у кожаного футляра, висевшего справа на поясе.

— Не могу вам точно сказать.

— А ну, говорите, да поживее. — И капитан вынул из кобуры оружие.

— Ничего не могу вам сказать.

— Лжец!

На лице мэра, не сводившего глаз с Харта, появилось выражение жалости.

— Вы устали, — сказал он. — Вы долго путешествовали, и вы прилетели от людей, которые давно уже живут без веры и тоже устали. А теперь вам так хочется веры, что вы сами себе мешаете. Если вы совершите убийство, вам будет труднее. Так вы его никогда не найдете.

— Куда он ушел? Ведь он сказал вам, и вы знаете. Ну же, говорите! — Капитан поднял оружие.

Мэр покачал головой.

— Скажите мне! Скажите мне!

Раздался выстрел — всего один. Мэр упал, ему ранило руку.

Мартин прыгнул вперед.

— Капитан!

Оружие метнулось в сторону Мартина.

— Не мешать!

Мэр поднял глаза вверх, придерживая раненую руку.

— Уберите оружие. Вы раните самого себя. Вы никогда не верили, а теперь считаете, что можете поверить, и лишь приносите людям вред.

— Вы мне не нужны, — молвил Харт, возвышаясь над мэром. — Я упустил его здесь, разминулся на день. Что ж, полечу дальше. И дальше. И дальше. На следующей планете я разминусь на полдня, потом — на четверть, на два часа, на час, на полчаса, на минуту. Но я догоню его! Слышите? — Он уже орал, склоняясь к лежавшему на полу. Он едва держался на ногах от усталости. — Идемте, Мартин. — Он опустил руку, оружие повисло.

— Нет, я остаюсь здесь.

— Болван! Оставайтесь, если хотите. А я полечу дальше, так далеко, как смогу, со всеми остальными.

Мэр поднял глаза на Мартина:

— Не волнуйтесь за меня, улетайте. Мои раны залечат.

— Я вернусь, — пообещал Мартин. — Я только дойду с ним до ракеты.

Они промчались через весь город. Любому было видно, каких трудов капитану стоило казаться нестибаемым, как в молодые годы. Добравшись до ракеты, он хлопнул по ее обшивке трясущейся рукой. Он убрал оружие. Потом он посмотрел на Мартина.

— Ну, Мартин?

— Да, капитан?

Капитан поднял глаза к небу.

— Вы уверены, что не полетите со мной?

— Нет, сэр. Не полечу.

— Нас ждет великое приключение, ей-богу. Я найду его!

— Вы решили лететь за ним, сэр? — спросил Мартин.

Лицо капитана сморщилось, он закрыл глаза.

— Да.

— Хотелось бы мне знать...

— Что?

— Сэр, когда вы его найдете — если найдете, — что вы попросите?

— Я... — Капитан заколебался, открыл глаза. Кулаки его сжимались, разжимались. Он минуту размышлял в недоумении, а потом заулыбался странной улыбкой. — Я — я попрошу у него немного мира и покоя. — Он прикоснулся к ракете. — Давно, давно уже я не... не мог расслабиться.

— А вы когда-нибудь пытались, капитан?

— Не понимаю, — сказал капитан Харт.

— Неважно. Прощайте, капитан.

— Прощайте, Мартин.

Команда стояла у входа. Лишь трое решили лететь вместе с Хартом. Семеро оставались здесь, с Мартином.

Капитан Харт оглядел их и выдал свое заключение:

— Глупцы!

Он влез в люк последним, быстро отдал честь, резко рассмеялся. Крышка люка захлопнулась.

Ракета поднялась в небо, подобно огненной колонне.

Мартин смотрел на нее, пока она не скрылась из виду.

На другом конце луга стоял мэр в окружении нескольких сограждан. Он поманил Мартина рукой.

— Улетел, — сказал Мартин, подойдя к мэру.

— Да, улетел, бедняга, — отозвался мэр. — Так и будет летать, с планеты на планету, неустанно ища, и вечно, вечно будет опаздывать — на час, на полчаса, на десять минут, на минуту. Наконец, он опоздает всего на несколько секунд. А когда он облетит три сотни миров и ему будет семьдесят или восемьдесят лет, он упустит его на долю секунды, а потом еще на долю секунды. И так и будет летать, думая, что вот-вот поймает то, что он оставил здесь, на нашей планете, в нашем городе, сейчас...

Мартин смотрел мэру прямо в глаза, и мэр протянул ему руку.

— Да разве можно в нем сомневаться? — Он поманил за собой остальных и повернулся к городу лицом. — Идемте. Нас ждут. Он там.

И они вошли в город.

Нескончаемый дождь

Дождь продолжался — жестокий нескончаемый дождь, нудный, изнурительный дождь; ситничек, косохлест, ливень, слепящий глаза, хлюпающий в сапогах; дождь, в котором тонули все другие дожди и воспоминания о дождях. Тонны, лавины дождя кромсали заросли и секли деревья, долбили почву и смывали кусты. Дождь морщил руки людей наподобие обезьяньих лап; он сыпался твердыми стеклянными каплями; и он лил, лил, лил...

— Сколько еще, лейтенант?

— Не знаю. Миля. Десять миль, тысяча.

— Вы не знаете точно?

— Как я могу знать точно?

— Не нравится мне этот дождь. Если бы только знать, сколько еще до Солнечного Купола, было бы легче.

— Еще час, самое большее — два.

— Вы в самом деле так думаете, лейтенант?

— Конечно.

— Или лжете, чтобы нас подбодрить?

— Лгу, чтобы вас подбодрить. Хватит, поговорили!

Двое сидели рядом. Позади них — еще двое, мокрые, усталые, обмякшие, как размытая глина под ногами.

Лейтенант поднял голову. Когда-то его лицо было смуглым, теперь кожа выщвела от дождя; выщвели и глаза, стали белыми, как его зубы и волосы. Он весь был белый, даже мундир побелел, если не считать зеленоватого налета плесени.

Лейтенант чувствовал, как по щекам бегут струи воды.

— Сколько миллионов лет прошло, как здесь, на Венере, прекратились дожди?

— Не острите, — сказал один из второй двойки. — На Венере всегда идет дождь. Всегда. Я жил здесь десять лет, и ни на минуту, ни на секунду не прекращался ливень.

— Все равно, что под водой жить. — Лейтенант встал и поправил свое оружие. — Что ж, пошли. Мы найдем Солнечный Купол.

— Или не найдем, — заметил циник.

— Еще час или около этого.

— Вы меня обманываете, лейтенант.

— Нет, я обманываю самого себя. Бывают случаи, когда надо лгать. Моим силам тоже есть предел.

Они двинулись по тропе сквозь заросли, то и дело поглядывая на свои компасы. Кругом — никаких ориентиров, только компас знал направление. Серое небо и дождь, заросли и тропа, и где-то далеко позади — ракета, на которой они летели и вместе с которой упали. Ракета, в которой лежали два их товарища — мертвые, омываемые дождем.

Они шли гуськом, не говоря ни слова. Показалась река — широкая, плоская, бурая. Она текла в Великое море. Дождевые капли выбили на ее поверхности миллиарды кратеров.

— Давайте, Симмонс.

Лейтенант кивнул, и Симмонс снял со спины небольшой сверток. Химическая реакция превратила сверток в лодку. Следуя указаниям лейтенанта, они срубили толстые сучья и быстро смастерили весла, после чего поплыли через поток, торопливо гребя под дождем.

Лейтенант ощущал холодные струйки на лице, на шее, на руках. Холод просачивался в легкие. Дождь бил по ушам и глазам, по икрам.

— Я не спал эту ночь, — сказал он.

— А кто спал? Кто? Когда? Сколько мы ночей спали? Тридцать ночей — что тридцать дней! Кто может спать, когда по голове хлещет, барабанит дождь... Все бы отдал за шляпу. Любую, лишь бы перестало стучать по голове. У меня головная боль. Вся кожа на голове воспалена, так и саднит.

— Черт меня занес в этот Китай, — сказал другой.

— Впервые слышу, чтобы Венеру называли Китаем.

— Конечно. Вспомните древнюю пытку. Тебя приковывают к стене. Каждые полчаса на тебя падает капля воды. И ты теряешь рассудок от одного ожидания. То же самое здесь, только масштабы побольше. Мы не созданы для воды. Мы не можем спать, не можем как следует дышать, мы на грани помешательства от того, что без конца ходим мокрые. Будь мы готовы к аварии? запаслись бы непромокаемой одеждой и шлемами. Главное, по голове все барабанит и барабанит. Тяжелый такой... Словно картечь. Я не выдержу долго.

— Эх, где Солнечный Купол! Кто их придумал, тот знал свое дело.

Плывя через реку, они думали о Солнечном Куполе, который ждал где-то в зарослях, ослепительно сияя под дождем. Желтое строение, круглое, светящееся, яркое, как солнце. Пятнадцать футов в высоту, сто футов в поперечнике; тепло, тихо, горячая пища, никакого дождя. А в центре Солнечного Купола, само собой, — солнце. Небольшой, свободно парящий шар желтого пламени под самым сводом, и ты можешь его видеть отовсюду, сидя с книгой или сигаретой, или с чашкой горячего шоколада, в котором плавают сливки. Оно ждет их, золотистое солнце, на вид такое же, как земное; ласковое, немеркнувшее; и на то время, что ты праздно проводишь в Солнечном Куполе, можно забыть о дождливом мире Венеры.

Лейтенант обернулся и посмотрел на своих товарищей, что скрипя зубами налегали на весла. Они были белые, как грибы, — как он сам. Венера все обесцвечивает за несколько месяцев. Даже лес казался огромной декорацией из кошмара. Откуда ему быть зеленым без солнца, в вечном сумраке, под нескончаемым дождем? Белые-белые заросли; бледные, как плавленый сыр, листья; стволы, будто ножки гигантских поганок; почва, словно из влажного камамбера... Впрочем, не так-то просто увидеть почву, когда под ногами потоки, ручьи, лужи, а впереди пруды, озера, реки и, наконец, море.

— Есть!

Они выскочили на раскисший берег, шлепая по воде. Выпустили газ из лодки и сложили ее в коробку. Потом, стоя под дождем, попытались закурить. Минут пять, если не больше, бились они, дрожа, над зажигалкой, затем, пряча сигареты в ладони, сделали несколько затяжек. В следующий миг табак уже раскис, и тяжелые капли выбили сигареты из сжатых губ.

Они пошли дальше.

— Стойте, минутку, — сказал лейтенант. — Мне показалось, что я что-то увидел.

— Солнечный Купол?

— Я не уверен. Дождь не дал разглядеть.

Симмонс побежал вперед:

— Солнечный Купол!

— Назад, Симмонс!

— Солнечный Купол!

Он исчез за дождевыми струями. Остальные ринулись вдогонку.

Они догнали его на прогалине и стали, как вкопанные, глядя на него и его находку.

— Ракета...

Она лежала там, где ее покинули. Выходит, они кружили и очутились в том самом месте, откуда начали свой долгий путь... Среди обломков лежали двое погибших, изо рта у них росла зеленоватая плесень. На глазах космонавтов плесень расцвела, но дождь сбил лепестки и плесень увяла.

— Как же это случилось?

— Видно, поблизости прошла электрическая буря. Она испортила наши компасы. В этом все дело.

— Верно.

— Что же делать теперь?

— Идти снова.

— Черт дери, мы топтались на месте!

— Ладно, Симмонс, постарайся взять себя в руки.

— В руки, в руки! Этот дождь сведет меня с ума!

— У нас хватит еще продуктов дня на два, если быть экономными.

Дождь плясал по их коже, по мокрой одежде; струи дождя бежали с кончика носа, с ушей, пальцев, колен. Они были словно заброшенные в дебрях каменные бассейны; из каждой поры сочилась вода.

Вдруг издали донесся грозный рев.

Из пелены дождя вынырнуло чудовище.

Чудовище опиралось на тысячу голубых электрических ног. Оно приближалось быстро и неотвратимо. Каждый его шаг был как удар с плеча. Там, где ступали голубые ноги, деревья падали и сгорали. Могучие вихри озона заполнили влажный воздух, дым метался во все стороны, разбиваемый дождем. Чудовище было длиной с полмили, вышиной с милю, оно ощупывало землю, словно слепой исполин. Иногда, на короткое мгновение, оно оказывалось совсем без ног. В следующий миг из его брюха вырвались тысячи хлыстов, которые беспощадно жалили заросли.

— Электрическая буря, — сказал один из четверки. — Она вывела из строя компасы. Теперь идет на нас.

— Ложись! — приказал лейтенант.

— Бегите! — заорал Симмонс.

— Не дурите. Ложитесь. Она бьет в самые высокие точки. Мы еще можем спастись. Ложитесь не ближе пятидесяти футов от ракеты. Глядишь, потратит на нее весь свой заряд, а нас минует. Живей!

Они шлепнулись наземь.

— Идет? — почти сразу послышался вопрос.

— Идет.

— Приблизилась?

— Осталось двести ярдов.

— А сейчас?

— Вот она!

Чудовище повисло над ними. Оно обронило десять голубых стрел-молний, и они

вонзились в ракету. Ракета вздрогнула, точно гонг от удара, и издала глухой металлический звук. Чудовище обронило еще пятнадцать стрел. Они плясали в причудливой пантомиме, поглаживая деревья и мокрую землю.

— А-а! — Один из космонавтов вскочил на ноги.

— Ложись, идиот! — крикнул лейтенант.

— А-а!

Еще десяток молний поразили ракету. Лейтенант повернул лежащую на руке голову и увидел ослепительно голубые вспышки. Он видел, как раскальваются вдребезги деревья. Он видел, как чудовищное темное облако, словно черный диск, повернуло над ними и метнуло вниз сотню электрических стрел.

Тот, что вскочил на ноги, теперь бежал, будто в огромном зале с колоннами. Он метался, петлял среди колонн, но они вдруг рухнули и послышался такой звук, словно муха села на раскаленную проволоку-ловушку! Такие ловушки были дома на ферме лейтенанта в годы его детства. Три товарища слышали запах человека, обращенного в золу.

Лейтенант спрятал лицо.

— Не поднимать головы! — распорядился он.

Он боялся, что вот-вот сам вскочит и побежит.

Озарив лес еще десятком молний, буря двинулась дальше. Снова кругом был один сплошной дождь. Он быстро унес запах горелого, и три товарища сели, ожидая, когда угомонится отчаянно колотящееся сердце.

Потом они пошли к телу, надеясь, что еще можно вернуть его к жизни. Они не могли смириться с мыслью, что уже ничего нельзя сделать. Это была естественная реакция людей, которые не хотят признать смерть, пока не убедятся, пока не коснутся ее и не решат — хоронить или предоставить это быстро поднимающейся поросли.

Тело было словно скрученная сталь, обернутая сожженной кожей. Будто восковая кукла, которую бросили в печь и извлекли из огня, когда лишь тонкая пленка воска осталась на обугленном скелете. Только зубы не почернели, и они сверкали, как причудливый белый браслет, зажатый в черном кулаке.

— Зачем он вскочил...

Они сказали это почти одновременно.

На глазах у них тело стало исчезать под покровом растений. Вьюнки, плющ, даже цветы для покойного...

Буря, шагая на голубых ходулях, исчезла вдали.

Они пересекли реку, ручей, поток и еще дюжину рек, ручьев, потоков. Реки, новые реки рождались у них на глазах, а старые меняли русла; реки цвета ртути, реки цвета серебра и молока.

Они вышли к морю.

Великое море... На Венере был всего один материк. Он простирался на три тысячи миль в длину и на тысячу в ширину, окруженный со всех сторон Великим Морем, покрывающим всю остальную часть дождливой планеты. Великое море лениво лизало бледный берег.

— Нам туда. — Лейтенант кивнул на юг. — Я уверен, что в той стороне находятся два Солнечных Купола.

— Раз уж начали, почему сразу не построили еще сотню?

— Всего их на острове сто двадцать штук, верно?

— К концу прошлого месяца было сто двадцать шесть. Год назад в конгрессе на Земле предложили построить еще два-три десятка, да только сами знаете, как сложно с ассигнованиями. Пусть лучше несколько человек свихнутся от дождя.

Они зашагали на юг.

Лейтенант, Симмонс и третий космонавт, Пикар, шагали под дождем, который шел то реже, то гуще, то реже, то гуще; под ливнем, который хлестал и лил, не переставая барабанил по суше, по морю и по идущим людям.

Симмонс первый заметил его.

— Вот он!

— Что там?

— Солнечный Купол!

Лейтенант моргнул, стряхивая с век влагу, и заслони́л глаза сверху рукой, защищая их от хлестких капель.

Поодаль, у моря, на краю леса, что-то желтело. Да, это он — Солнечный Купол!

Люди улыбались друг другу.

— Похоже, вы были правы, лейтенант.

— Удача!

— От одного вида сил прибавляется. Вперед! Кто первый?! Последний будет сукин сын! — Симмонс затрусил по лужам. Остальные механически последовали его примеру. Они устали, запыхались, но скорость не сбавляли.

— Вот когда я кофе напьюсь, — пропыхтел, улыбаясь, Симмонс. — А булочки с изюмом — это же объедение! А потом лягу, и пусть солнышко печет... Тому, кто изобрел Солнечные Купола, орден надо дать!

Они побежали быстрее, желтый отсвет стал ярче.

— Наверное, сколько людей тут помешалось, пока не появились убежища. А что! Очень просто. — Симмонс отрывисто выдыхал слоги. — Дождь, дождь! Несколько лет назад. Встретил приятеля. Моего друга. В лесу. Бродит вокруг. Под дождем. И все твердит. «Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю...» И так далее. Без конца. Рехнулся, бедняга.

— Береги дыхание!

Они продолжали бежать.

Они смеялись на бегу и, смеясь, достигли двери Солнечного Купола.

Симмонс рывком распахнул дверь.

— Эгей! — крикнул он. — Где булочки и кофе, подавайте их сюда!

Никто не отозвался.

Они шагнули внутрь.

В Солнечном Куполе было пусто и темно. Ни желтого искусственного солнца, парящего в прозрачной мгле в центре голубого свода, ни накрытого стола. Холодно, словно в склепе, а сквозь тысячи отверстий в своде пробивался дождь. Струи падали на ковры и мягкие кресла, разбивались о стеклянные крышки столов. Густые заросли, словно Исполинский мох, покрывали стены, верх книжного шкафа, диваны. Крупные капли, срываясь сверху, хлестали по лицам людей.

Пикар тихонько рассмеялся.

— Пикар, прекратить!

— Господи, вы только посмотрите: ни солнца, ни пищи — ничего. Венески — это их рук дело! Конечно!

Симмонс кивнул, роняя капли со лба. Вода бежала по его серебристым волосам и белесым бровям.

— Время от времени венески выходят из моря и нападают на Солнечный Купол. Они знают, что если уничтожат Купола, то могут нас погубить.

— Но разве наша охрана не вооружена?

— Конечно. — Симмонс шагнул на относительно сухой клочок пола. — Но с последнего нападения прошло пять лет. Бдительность ослабла, и они захватили здешнюю охрану врасплох.

— Где же тела?

— Венески унесли их с собой, в море. У них, говорят, есть свой способ топить пленников. Медленный способ, вся процедура длится около восьми часов. Просто очаровательно.

— Держу пари, что не осталось ни крошки еды, — усмехнулся Пикар.

Лейтенант неодобрительно взглянул на него, потом сделал многозначительный жест Симмонсу. Симмонс покачал головой и зашел в помещение, расположенное у стены. Там была кухня. Раскисшие буханки хлеба беспорядочно валялись на полу, мясо обросло нежно-зеленой плесенью. Из множества дыр в потолке струился дождь.

— Восхитительно. — Лейтенант смотрел на дыры. — Боюсь, нам вряд ли удастся законопатить это сито и навести порядок.

— Без продуктов? — Симмонс фыркнул. — К тому же солнечные генераторы разбиты вдребезги. Лучшее, что можно придумать, — идти до следующего Солнечного Купола. Сколько до него отсюда?

— Недалеко. Помнится, как раз тут поставили два Купола очень близко один от другого. Если обождать здесь, может подойти спасательный отряд...

— Наверно, они уже приходили и ушли. Месяцев через шесть пришлют ремонтную бригаду, — когда поступят средства от конгресса. Нет, уж лучше не ждать.

— Ладно. Съедем остатки нашего рациона и пойдем.

— Если бы только дождь перестал колотить меня по голове, — заметил Пикар. — Хоть на несколько минут. Просто, чтобы я вспомнил, что такое покой.

Он сжал голову обеими руками.

— Помню, в школе за мной сидел один изверг и щипал, щипал, щипал меня каждые пять минут. И так весь день. Это длилось неделями, месяцами. Мои руки были в синяках, кожа вздулась. Я думал, что сойду с ума от этого щипанья. И он меня довел. Кончилось тем, что я действительно взбесился от боли, схватил металлический треугольник для черчения и чуть не убил этого ублюдка. Чуть не отсек ему башку, чуть не выколол глаза, меня еле от него оторвали. И все время кричал: «Чего он ко мне пристаёт?» Господи! — Дрожащие руки все сильнее стискивали голову, глаза были закрыты. — А что я могу сделать сейчас? Кого ударить, кому сказать, чтобы перестал, оставил меня в покое. Дождь, проклятый дождь, не дает передышки, щиплет и щиплет, только и слышно, только и видно, что дождь, дождь, дождь!

— К четырем часам мы будем у следующего Солнечного Купола.

— Солнечного Купола? Такого же, как этот?! А если они все разгромлены? Что тогда? Если во всех куполах дыры и всюду хлещет дождь?!

— Что ж, попытаем счастья.

— Мне надоело пытаться счастья. Все, чего я хочу, — крыша над головой и хоть чуточку покоя. Хочу побыть один.

— Туда всего восемь часов хорошего хода.

— Не беспокойтесь, я не отстану. — Пикар рассмеялся, отводя взгляд.

— Давайте поедим, — сказал Симмонс, пристально наблюдая за ним.

Они снова пошли вдоль побережья на юг. На пятом часу пути им пришлось свернуть, так как дорогу преградила река, настолько широкая и бурная, что на лодке не одолеть. Они поднялись на десять километров вверх по реке и увидели, что она бьет из земли, словно кровь из смертельной раны. Обойдя исток, они под непрекращающимся дождем снова спустились к морю.

— Я должен поспать, — сказал Пикар, оседая на землю. — Четыре недели не спал. Ни минуты не уснул... Спать, здесь...

Небо стало темнее. Надвигалась ночь, а на Венере ночью царил такой мрак, что опасно двигаться. У Симмонса и лейтенанта тоже подкашивались ноги.

Лейтенант сказал:

— Ладно, попробуем. Может быть, на этот раз получится. Хотя эта погода не очень-то благоприятствует сну.

Они легли, положив руки под головы так, чтобы вода не захлестывала рот и закрытые глаза. Лейтенанта трясло.

Он не мог уснуть.

Что-то ползло по нему. Что-то словно обтягивало его живой, копошащейся пленкой. Капли, падая, соединялись с другими каплями, и получились струйки, которые просачивались сквозь одежду и щекотали кожу. Одновременно на ткань садились, тут же пуская корни, маленькие растения. А вот уж и плющ обвивает все тело плотным ковром; он чувствовал, как крохотные цветы образуют бутоны, раскрываются и роняют лепестки. А дождь все барабанил по голове. В призрачном свете — растения фосфоресцировали в темноте — он видел фигуры своих товарищей: будто упавшие стволы, покрытые бархатным ковром трав и цветов. Дождь хлестал по его шее. Он повернулся в грязи и лег на живот, на липкие растения; теперь дождь хлестал по спине и ногам.

Он вскочил на ноги и стал лихорадочно стряхивать с себя воду. Тысячи рук трогали его, но он не мог больше выносить, чтобы его трогали. Содрогаясь, он что-то задел. Ну, конечно, Симмонс стоял под струями дождя, дрожа, чихая и кашляя. В тот же миг вскочил и Пикар и с криком заметался вокруг них.

— Постойте, Пикар!

— Прекратите! Прекратите! — кричал Пикар. Потом схватил ружье и выпустил в ночное небо шесть зарядов.

Каждая вспышка освещала полчища дождевых капель, которые на миг застывали в воздухе, словно ошеломленные выстрелами, — пятнадцать миллиардов капель, пятнадцать миллиардов слез, пятнадцать миллиардов бусинок или драгоценных камней на фоне белого бархата витрины. Свет гас, и капли, что задерживали свой полет, чтобы их могли запечатлеть, падали на людей, жалея их, словно рой насекомых, воплощение холода и страданий.

— Прекратите! Прекратите!

— Пикар!

Но Пикар вдруг будто онемел. Он не метался больше, стоял неподвижно. Лейтенант осветил фонариком его мокрое лицо: Пикар, широко раскрыв рот и глаза, смотрел вверх, дождевые капли разбивались о его язык и глазные яблоки, булькали пеной в ноздрях.

— Пикар!

Он не отвечал и не двигался. Влажные пузырьки лопались на его белых волосах, по шее и кистям рук катились прозрачные алмазы.

— Пикар! Мы уходим. Идем дальше. Пошли!

Крупные капли срывались с его ушей.

— Слышишь, Пикар!

Он точно окаменел.

— Оставьте его, — сказал Симмонс.

— Мы не можем уйти без него.

— А что же делать, нести его? — Симмонс плюнул. — Поздно: он уже не человек... Знаете, что будет дальше? Он так и будет стоять, пока не захлебнется.

— Что?

— Неужели вы не слыхали об этом? Пора уже знать. Он будет стоять задрав голову, чтобы дождь лил ему в рот и нос. Будет вдыхать воду.

— Не может быть!

— Так было с генералом Ментом. Когда его нашли, он сидел на утесе, запрокинув голову, и дышал дождем. Легкие были полны воды.

Лейтенант снова осветил немигающие глаза. Ноздри Пикара тихо сипели.

— Пикар! — Лейтенант ударил ладонью по его безумному лицу.

— Он ничего не чувствует, — продолжал Симмонс. — Несколько дней под таким дождем, и любой перестанет ощущать собственные руки и ноги.

Лейтенант в ужасе поглядел на свою руку. Она онемела.

— Но мы не можем бросить Пикара.

— Вот все, что мы можем сделать. — Симмонс выстрелил. Пикар упал на затопленную землю.

— Спокойно, лейтенант, — сказал Симмонс. — В моем пистолете найдется заряд и для вас. Спокойно. Подумайте как следует: он все равно стоял бы так до тех пор, пока не захлебнулся. Я сократил его мучения.

Лейтенант скользнул взглядом по распростертому телу.

— Вы убили его.

— Да. Иначе он погубил бы нас всех. Вы видели его лицо. Он помешался.

Помолчав, лейтенант кивнул.

— Это верно.

И они пошли дальше под ливнем.

Было темно, луч фонарика проникал в стену дождя лишь на несколько футов. Через полчаса они выдохлись. Пришлось сесть и ждать, ждать утра, борясь с мучительным чувством голода. Рассвело: серый день, нескончаемый дождь... Они продолжали путь.

— Мы просчитались, — сказал Симмонс.

— Нет. Через час будем там.

— Говорите громче, я вас не слышу. — Симмонс остановился, улыбаясь. — Уши. — Он коснулся их руками. — Они отказали. От этого бесконечного дождя я онемел весь, до

костей.

— Вы ничего не слышите? — спросил лейтенант.

— Что? — Симмонс озадаченно смотрел на него.

— Ничего. Пошли.

— Я лучше обожду здесь. А вы идите.

— Ни в коем случае.

— Я не слышу, что вы говорите. Идите. Я устал. По-моему, Солнечный Купол не в этой стороне. А если и в этой, то, наверно, весь свод в дырах, как у того, что мы видели. Лучше я посижу.

— Сейчас же встаньте!

— Пока, лейтенант.

— Вы не должны сдаваться, осталось совсем немного.

— Видите — пистолет. Он говорит мне, что я останусь. Мне все осточертело. Я не сошел с ума, но скоро сойду. А этого я не хочу. Как только вы отойдете достаточно далеко, я застрелюсь.

— Симмонс!

— Вы произнесли мою фамилию, я вижу по губам.

— Симмонс.

— Поймите, это всего лишь вопрос времени. Либо я умру сейчас, либо через несколько часов. Представьте себе, что вы дошли до Солнечного Купола, — если только вообще дойдете, — и находите дырявый свод. Вот будет приятно!

Лейтенант подождал, потом зашлепал по грязи. Отойдя, он обернулся и окликнул Симмонса, но тот сидел с пистолетом в руке и ждал, когда лейтенант скроется. Он отрицательно покачал головой и махнул: уходите.

Лейтенант не услышал выстрела.

На ходу он стал рвать цветы и есть их. Они не были ядовитыми, но и не прибавили ему сил; немного погодя его вывернуло наизнанку.

Потом лейтенант нарвал больших листьев, чтобы сделать шляпу. Он уже пытался однажды; и на этот раз дождь быстро размыл листья. Стоило сорвать растение, как оно немедленно начинало гнить, превращаясь в сероватую аморфную массу.

— Еще пять минут, — сказал он себе, — еще пять минут, и я войду в море. Войду и буду идти. Мы не приспособлены к такой жизни, ни один человек Земли никогда не сможет к этому привыкнуть. Ох, нервы, нервы...

Он пробился через море листвы и влаги и вышел на небольшой холм.

Впереди, сквозь холодную мокрую завесу, угадывалось желтое сияние.

Солнечный Купол.

Круглое желтое строение за деревьями, поодаль. Он остановился и, качаясь, смотрел на него.

В следующее мгновение лейтенант побежал, но тут же замедлил шаг. Он боялся. Он не звал на помощь. Вдруг это тот же Купол, что накануне. Мертвый Купол без солнца?

Он поскользнулся и упал. «Лежи, — думал он, — все равно ты не туда забрел. Лежи. Все было напрасно. Пей, пей вдоволь».

Но лейтенант заставил себя встать и идти вперед, через бесчисленные ручьи. Желтый свет стал совсем ярким, и он опять побежал. Его ноги давили стекла и зеркала, руки рассыпали бриллианты.

Он остановился перед желтой дверью. Надпись: Солнечный Купол. Он потрогал дверь онемевшей рукой. Повернул ручку и тяжело шагнул вперед.

На пороге он замер, осматриваясь. Позади него в дверь барабанил ливень. Впереди, на низком столике, стояла серебряная кастрюлька и полная чашка горячего шоколада с расплывающимися на поверхности густыми сливками. Рядом на другом подносе — толстые бутерброды с большими кусками цыпленка, свежими помидорами и зеленым луком. На вешалке, перед самым носом, висело большое мохнатое полотенце; у ног стоял ящик для мокрой одежды; справа была кабина, где горячие лучи мгновенно обсушивали человека. На кресле — чистая одежда, приготовленная для случайного путника. А дальше кофе в горячих медных кофейниках, патефон, тихая музыка, книги в красных и коричневых кожаных переплетах. Рядом с книжным шкафом — кушетка, низкая, мягкая кушетка, на которой так хорошо лежать в ярких лучах того, что в этом помещении самое главное.

Он прикрыл глаза рукой. Он успел заметить, что к нему идут люди, но ничего не сказал. Выждав, открыл глаза и снова стал смотреть. Вода, стекая с одежды, собралась в лужу у его ног; он чувствовал, как высыхают его волосы и лицо, грудь, руки, ноги.

Он смотрел на солнце.

Оно висело в центре купола — большое, желтое, яркое.

Оно светило бесшумно, и во всем помещении царила полная тишина. Дверь была закрыта, и только обретающая чувствительность кожа еще помнила дождь. Солнце парило высоко под голубым сводом, ласковое, золотистое, чудесное.

Он пошел вперед, срывая с себя одежду.

— Уже?

— Сейчас.

— Когда же?

— Скоро.

— А ученые точно знают? Это вправду будет сегодня?

— Смотри, сама увидишь!

Дети жались друг к другу, как цветы, как сорная трава, толкались, суетились, каждый хотел увидеть скрытое солнце.

Шел дождь.

Дождь шел уже семь лет: тысячи дней, наполненных дождем, сплошь состоящих из дождя; гул и дробь ливня, хрустальные водопады града, неистовые ураганы, словно цунами, что затопляют острова. Тысячи лесных чащоб истребил дождь, и тысячу раз они возрождались, чтобы снова погибнуть. Так всегда было на Венере, и такой ее знали собравшиеся в классе школьники, дети космонавтов, прилетевших в этот дождевой мир, чтобы освоить его и прожить здесь всю свою жизнь.

— Кончается, кончается!

— Правда!

Марго стояла поодаль, в стороне от детей, которые не помнили ни одной минуты без дождя, дождя, дождя... Им было по девять лет, и, если даже семь лет назад выдался день, когда солнце вышло на час и явило свой лик изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам она слышала, как они мечтают, потревоженные неясными видениями. И Марго знала, что им снится золото или желтый карандаш, или огромная монета, на которую можно купить весь мир. Она знала, им чудится тепло — так жаркая волна вдруг приливает к лицу человека, пробегает по телу, рукам, ногам. А проснувшись, они всякий раз слышали монотонную дробь нескончаемого потока прозрачных бусинок, сыплющихся на крышу, дорожку, сады, леса. И сны улетучивались.

Весь вчерашний день в классе читали про солнце. Как оно похоже на лимон, какое оно жаркое! И дети писали о солнце маленькие рассказы и стихотворения.

По-моему, солнце — цветок,

Что расцветает на час.

Это написала Марго. Тихий голос прочел стихотворение в примолкшем классе, а снаружи шел дождь.

— Это не ты сочинила! — крикнул кто-то из мальчиков.

— Нет, я, — сказала Марго, — я сама.

— Уильям! — вмешалась учительница.

Но это было вчера. Сейчас дождь стал реже, и дети толпились возле огромных окон.

— Где учительница?

— Сейчас вернется.

— Где же она? Мы все прозеваем!

Они вертелись, будто спицы в стремительно вращающемся колесе.

Марго стояла одна. Хрупкая, болезненная девочка, она выглядела так, словно несколько лет пробыла под дождем и он растворил всю синеву ее глаз, всю алость губ, всю желтизну волос. Она была старой, выцветшей фотографией из запыленного альбома, и когда говорила — это случалось редко, — голос ее был словно призрак. Сейчас, стоя в сторонке, она пристально смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстыми стеклами.

— Что ты там увидела? — спросил Уильям.

Марго молчала.

— Отвечай, когда спрашивают!

Он толкнул ее. Но она продолжала стоять неподвижно, будто не ощутила толчка.

Дети сторонились Марго, не хотели на нее смотреть. Она чувствовала, как они ее избегают. А все потому, что она никогда не участвовала в играх, которые затевались в гулких тоннелях подземного города. Кто-нибудь осалит ее и пустится наутек, а она стоит на месте, только глазами хлопает. Когда весь класс пел о радости, о жизни, о веселых играх, ее губы чуть шевелились. Только когда пели о солнце и лете, Марго подпевала, глядя на залитые дождем окна.

Но самым большим преступлением Марго было, конечно, то, что она прилетела сюда с Земли всего пять лет назад, когда ей было четыре года, и помнила солнце, его золотые лучи и голубое огайское небо. Они же всю свою жизнь провели на Венере, им было всего два года в прошлый раз, когда появилось солнце, и они давным-давно позабыли его цвет, его лик, тепло его лучей. А Марго помнила.

— Оно похоже на монету, — сказала она однажды, закрыв глаза.

— Неправда! — закричали дети.

— Оно похоже на огонь в печи, — сказала она.

— Врешь, врешь, ничего ты не помнишь! — кричали дети.

Но Марго помнила, и, тихо отойдя в сторону, глядела на исчерченные струйками стекла.

А как-то раз, с месяц тому назад, она отказалась принять душ в школьной душевой. Закрыв руками темя и уши, она кричала от страха, что вода попадет ей на голову. С тех пор Марго смутно ощущала, что она не такая, как другие дети, и они тоже чувствовали эту разницу.

Говорили, будто в следующем году отец и мать Марго заберут ее обратно на Землю. Другого выхода просто не оставалось, хотя это и означало для ее семьи потерю многих тысяч долларов. По всем этим причинам, серьезным и маловажным, дети недолго любили Марго. Им не нравилось ее белоснежное лицо, ее выжидательное молчание, ее хрупкость и ее будущее.

— Уходи! — Мальчик снова толкнул ее. — Чего ты ждешь?

Только тут она повернулась и посмотрела на него. Ее глаза сказали, чего она ждет.

— Слышишь, нечего здесь торчать! — злобно крикнул мальчик. — Ничего ты не увидишь!

Губы Марго дрогнули.

— Ничего! — кричал он. — Это все понарошку, правда? — Он повернулся к остальным. — Сегодня ничего не будет! Верно я говорю?

— Как же так? — шептала Марго, беспомощно глядя на них. — Ведь сегодня... ученые предсказали... они сообщили... они знают... солнце...

— Все понарошку! — ответил мальчик и больно толкнул ее. — Эй, ребята, запрем ее в чулан! Скорей, пока не пришла учительница!

— Не надо, — прошептала Марго, садясь на пол.

Дети налетели со всех сторон, схватили ее и понесли.

Марго отбивалась, умоляла, плакала, но они протащили ее по подземному коридору в большую комнату, толкнули в чулан и заперли дверь. Из чулана доносились приглушенные крики, дверь дрожала от толчков и ударов изнутри. Дети, смеясь, выбежали в коридор и вернулись в класс одновременно с учительницей.

— Дети, вы готовы? — Она глянула на часы.

— Да! — дружно ответили они.

— Все здесь?

— Да!

Дождь почти перестал.

Они гурьбой протиснулись в большую дверь.

Дождь прекратился.

Словно в самый разгар фильма о лавинах, тайфунах, ураганах, вулканических извержениях, что-то поломалось в будке кинемеханика. Сперва — звук: внезапно установилась полная тишина, не стало слышно воя ветра и раскатов грома. Потом кто-то выдернул из аппарата ленту и заменил ее неподвижным изображением безмятежного тропического ландшафта. Мир оцепенел. Тишина была такой подавляющей и неправдоподобной, что казалось, не то тебе заложило уши, не то ты совсем оглох. Дети поднесли руки к ушам. Дверь за ними бесшумно закрылась, и они ощутили дыхание замершего в ожидании мира.

Появилось солнце.

Оно было очень большое, цвета пламенной бронзы. Его окружало ослепительно голубое небо. Лес горел в лучах солнца. Миг — и дети, освободившись от чар, с ликующим визгом помчались навстречу весне.

— Не убегайте чересчур далеко! — крикнула им вслед учительница. — Помните, в вашем распоряжении всего два часа. Не то попадете под дождь!

А дети все бежали вперед, обратив лицо к небу и чувствуя на щеках горячую ласку солнца. Они сняли курточки и подставили руки солнечным лучам.

— Правда, это лучше, чем солнечные лампы?

— В сто раз!

Они остановились в гуще леса, покрывавшего Венеру, удивительного леса, который рос прямо на глазах, неистово, буйно. Подстегнутые быстротечной весной, мясистые ветви тянулись вверх, расцветали, извивались, как щупальца осьминога. Лес, много лет лишенный солнечных лучей, был цвета резины и пепла, камня и сыра, чернил и луны.

Дети, смеясь, лежали на упругом живом ковре и слушали, как он сипит и хлюпает под ними. Они бегали между деревьями, скользили, падали, играли в «кучу малу», в прятки, в салки. Но большинство долго, до слез смотрели на солнце, тянули руки к удивительной синеве и золотистому свету, вдыхали небывало свежий воздух и жадно слушали тишину, словно паря в ласковом море безмолвия и покоя. Они спешили все увидеть и прочувствовать. Потом сорвались с места и забегали, крича, по кругу, будто выскочившие из логова зверьки. Они бегали так целый час и никак не могли остановиться.

И вдруг...

В самый разгар ликования одна девочка пронзительно вскрикнула.

Все замерли.

Она стояла на прогалине, вытянув руку.

— Ой, смотрите!.. — пролепетала она.

Дети нерешительно подошли и посмотрели на ее раскрытую ладонь.

Посередине ладони лежала большая блестящая капля.

И девочка начала плакать.

Дети посмотрели на небо.

— Ой! Ой!..

Редкие холодные капли падали им на нос, на щеки, в открытые рты. Легкая тучка затянула солнце. Подул прохладный ветерок.

Они повернулись и пошли назад, в подземный дом. Руки уныло повисли, улыбки исчезли.

Прогремел гром. Миг — и, словно листья, подхваченные порывом ветра, они, толкая друг друга, понеслись взапуски. Засверкали молнии, ближе, ближе: десять километров, пять, один километр, полкилометра... Внезапно стало темно, как в полночь.

В дверях они на мгновение остановились. Но хлынул ливень, и они затворили двери. Снаружи доносился тяжелый гул водяной лавины, вездесущий и непрерывный.

— Теперь еще семь лет ждать?

— Да, семь лет.

Кто-то вскрикнул:

— Марго!

— Что?

— Она еще там, в чулане!

— Марго...

Они стояли, словно прибитые гвоздями к полу, глядя друг на друга, потом потупились. Посмотрели в окно, где снова упорно, безостановочно лил дождь. Они не могли глядеть друг другу в глаза. Их лица стали бледными и серьезными. Они смотрели вниз, на руки, на ноги.

— Марго...

— Ну?.. — произнесла одна из девочек.

Никто не двинулся с места.

— Пошли, — прошептала она.

Они медленно двинулись через прихожую. Холодная дробь дождя, вой ветра, раскаты грома, зловещие отблески голубых молний сопровождали их.

Они медленно вошли в комнату и остановились возле двери чулана.

Оттуда не доносилось ни звука.

Они еще медленнее отворили дверь и выпустили Марго.

Завтра Рождество. Они уже ехали на космодром, и все же родители беспокоились: ведь их сыну в первый раз предстояло лететь на ракете, это было его первое космическое путешествие. И им очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. Поэтому, когда пришлось оставить на таможне подарок для сынишки и елочку с маленькими белыми свечками — они были всего на несколько унций тяжелее, чем разрешалось — родителям показалось, что их лишили радости и праздник безнадежно испорчен.

Мальчик сидел в зале ожидания. Отец и мать возвращались после неприятного разговора с сотрудниками Межпланетной Службы и перешептывались.

— Что будем делать?

— Ничего. А что мы можем?

— Дурацкие правила!

— Жаль. Он так хотел елочку.

Завыла сирена. Пассажиры хлынули к ракете, готовой стартовать к Марсу. Мать с отцом плелись в самом хвосте, а их притихший бледный сынишка шел между ними.

— Ничего, как-нибудь... — сказал отец.

— Что?.. — спросил мальчик.

Ракета взлетела, унося их в космическую тьму. Она неслась, оставляя за собой огненный след, а позади осталась Земля, на которой был день 24 декабря 2052 года. Они летели туда, где нет времени: ни месяцев, ни лет, ни часов. Остаток «дня» они спали. Около полуночи по нью-йоркскому времени малыш проснулся.

— Я хочу поглядеть в окно.

На корабле был всего один иллюминатор — большое «окно» из очень толстого стекла, в верхнем отсеке.

— Не сейчас, давай сходим туда попозже, — предложил отец.

— Я хочу посмотреть, куда мы летим.

— Подожди, пока не время, — сказал отец.

Он проснулся уже давно и ворочался с боку на бок: оставленный подарок и елочка со свечками не шли у него из головы. Праздник омрачен. Но, поразмыслив, он решил, что выход все же есть, и встал. Если ничего не сорвется, путешествие пройдет весело.

— Сынок, — сказал он, — ровно через полчаса Рождество.

— О-о! — вырвалось у мамы.

Одно только воспоминание о празднике огорчало ее. Она надеялась, что сын позабудет о нем.

Мальчик сразу оживился.

— Я знаю, я получу подарок, да? У меня будет елка? Вы исполните то, что обещали?

— Да, конечно, и еще кое-что, — улыбнулся отец.

— Но ведь... — вмешалась мама.

— Да, да, именно так, — сказал отец. — А теперь извините, я скоро вернусь.

Минут через двадцать он вернулся и с улыбкой сказал:

— Теперь уже скоро.

— А можно подержать твои часы? — попросил мальчик. Ему дали часы, и он тихо сидел, держа тикающие часы и не шевелясь, сгорая от любопытства и нетерпения.

— Уже Рождество! Рождество!.. А где мой подарок?

— Идем, — сказал отец, опустил руку сынишке на плечо, и они вышли из каюты, спустились в холл, потом куда-то поднялись. Мама шла за ними и говорила: «Я ничего не понимаю, я ничего не понимаю...»

— Сейчас поймешь, — сказал отец. — Вот мы и пришли.

Они остановились перед закрытой дверью, которая вела в большой отсек. Отец постучал. Сначала три раза, потом еще два — это был условный знак. Дверь отворилась, свет в отсеке погас. Из темноты доносились таинственные голоса и шепоты.

— Заходи, сынок, — сказал отец.

— Там темно.

— Дай руку. Мама, идем.

Они вошли. Дверь за ними захлопнулась, стало очень темно, а впереди мерцал огромный стеклянный глаз — иллюминатор — окно в полтора метра высотой и в два шириной. И в него смотрел Космос.

Мальш стоял зачарованный.

Мать с отцом, словно замороженные, застыли позади.

Голоса в темной комнате запели старинные рождественские песни. Мальчик робкими шагами пошел к иллюминатору, прижался лицом к холодному стеклу. И долго-долго стоял и смотрел в непроглядную космическую ночь, на вечно горящие мириады маленьких белых свечек.

— Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату.

— А что с ней?

— Не знаю.

— Так в чем же дело?

— Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел, или пригласи психиатра, пусть он посмотрит.

— При чем здесь психиатр?

— Ты отлично знаешь, при чем. — Стоя посреди кухни, она глядела на плиту, которая, деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых — Понимаешь, детская изменилась, она совсем не такая, как прежде.

— Ладно, давай посмотрим.

Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома типа «Все для счастья», который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой), — дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники.

— Ну? — сказал Джордж Хедли.

Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра, высота — десять метров; она одна стояла пятнадцать тысяч. «Дети должны получать все самое лучшее», — заявил тогда Джордж.

Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень. Гладкие, двухмерные стены. Но на глазах у Джорджа и Лидии Хедли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, я появился африканский вельд^[1] — трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем.

Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот.

— Лучше уйдем от солнца, — предложил он, — уж больно естественное. И вообще, я ничего такого не вижу, все как будто в порядке.

— Подожди минуточку, сейчас увидишь, — сказала жена.

В этот миг скрытые одорофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе облачком красного перца. А вот и звуки: далекий топот антилопных копыт по упругому дерну, шуршащая поступь крадущихся хищников.

В небе проплыл силуэт, по обращенному вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень.

— Мерзкие твари, — услышал он голос жены.

— Стервятники...

— Смотри-ка, львы, вон там, вдали, вон, вон! Пошли на водопой. Видишь, они там что-то ели.

— Какое-нибудь животное. — Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от слепящего солнца. — Зебру... или жирафенка...

— Ты уверен? — Ее голос звучал как-то странно.

— Теперь-то уверенным быть нельзя, поздно, — шутливо ответил он. — Я вижу только обглоданные кости да стервятников, которые подбирают ошметки.

— Ты не слышал крика? — спросила она.

— Нет.

— Так, с минуту назад?

— Ничего не слышал.

Львы медленно приближались. И Джордж Хедли — в который раз — восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства — за абсурдно низкую цену Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку. Как сейчас, например!

Вот они, львы, в пятнадцати футах, такие правдоподобные — да-да, такие до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена... Желтый цвет львиной шкуры и жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытых, влажных от слюны пастей.

Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли.

— Берегись! — вскричала Лидия.

Львы ринулись на них.

Лидия стремглав бросилась к двери, Джордж непроизвольно побежал следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнута, он смеется, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого.

— Джордж!

— Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!

— Они чуть не схватили нас!

— Стены, Лидия, светящиеся стены, только и всего, не забывай. Конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно — Африка в вашей гостиной! — но все это лишь повышенного воздействия цветной объемный фильм и психозапись, проектируемые на стеклянный экран, одорофоны и стереозвук. Вот, возьми мой платок.

— Мне страшно. — Она подошла и всем телом прильнула к нему, тихо плача. — Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно.

— Послушай, Лидия...

— Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку.

— Конечно... конечно. — Он погладил ее волосы.

— Обещаешь?

— Разумеется.

— И запири детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами.

— Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер детскую комнату на несколько часов — что было! Да и Венди тоже... Детская для них — все.

— Ее нужно запереть, и никаких поблажек.

— Ладно. — Он неохотно запер тяжелую дверь. — Ты переутомилась, тебе нужно

отдохнуть.

— Не знаю... Не знаю. — Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось. — Возможно, у меня слишком мало дела. Возможно, остается слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом, не уехать куда-нибудь?

— Ты хочешь сказать, что готова сама жарить мне яичницу?

— Да. — Она кивнула.

— И штопать мои носки?

— Да. — Порывистый кивок; глаза полны слез.

— И заниматься уборкой?

— Да, да... Конечно!

— А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим.

— Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом — и жена, и мама, и горничная. Разве я могу состязаться с африканским вельдом? Разве могу искупать и отмыть детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одной дело, айв тебе тоже. В последнее время ты стал ужасно нервным.

— Наверно, слишком много курю.

— У тебя такой вид, словно и ты не знаешь, куда себя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро, выпиваешь немного больше обычного по вечерам и принимаешь на ночь снотворное чуть больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным.

— Я?.. — Он помолчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит.

— О Джорджи! — Она поглядела мимо него на дверь детской комнаты. — Эти львы... Они ведь не могут выйти оттуда?

Он тоже посмотрел на дверь — она вздрогнула, словно от удара изнутри.

— Разумеется, нет, — ответил он.

Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал в другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернутся поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда.

— Мы забыли кетчуп, — сказал он.

— Простите, — произнес тонкий голосок внутри стола, и появился кетчуп.

«Детская... — подумал Джордж Хедли. — Что ж, детям и впрямь не вредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой». Это солнце... Он до сих пор чувствовал на шее его лучи — словно прикосновение горячей лапы. А эти львы. И запах крови. Удивительно, как точно детская улавливает телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах — пожалуйста, вот они. Представят себе зебр — вот зебры. И солнце. И жирафы. И смерть.

Вот именно. Он механически жевал пищу, которую ему приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте? Задолго до того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти кому-нибудь. В два года ты стреляешь в людей из пугача...

Но это... Жаркий безбрежный африканский вельд... Ужасная смерть в когтях льва...
Снова и снова смерть.

— Ты куда?

Он не ответил ей. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к детской. Он приложил ухо к двери. Откуда-то доносился львиный рык.

Он отпер дверь и распахнул ее. В тот же миг его слуха коснулся далекий крик. Снова рычание льва... Тишина.

Он вошел в Африку. Сколько раз за последний год он, открыв дверь, встречал Алису в стране чудес или фальшивую черепаху, или Алладина с его волшебной лампой?

— Ну, комната, действуй! Мне нужен Алладин.

Никакого впечатления. Львы что-то грызли, трясая косматыми гривами.

— Алладин!

Он вернулся в столовую.

— Проклятая комната, — сказал он, — поломалась. Не слушается.

— Или...

— Или что?

— Или не может послушаться, — ответила Лидия. — Потому что дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации.

— Возможно.

— Или же Питер заставил ее застрять.

— Заставил?

— Открыл механизм и что-нибудь подстроил.

— Питер не разбирается в механизме.

— Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта...

— И все-таки...

— Хелло, мам! Хелло, пап!

Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую: щеки — мятный леденец, глаза — ярко-голубые шарики, от джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолете.

— Вы как раз успели к ужину, — сказали родители вместе.

— Мы наелись земляничного мороженого и сосисок, — ответили дети, отмахиваясь руками. — Но мы посидим с вами за столом.

— Вот-вот, подойдите-ка сюда, расскажите про детскую, — позвал их Джордж Хедли.

Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга.

— Детскую?

— Про Африку и все прочее, — продолжал отец с наигранным добродушием.

— Не понимаю, — сказал Питер.

— Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке: Том Свифт и его Электрический Лев, — усмехнулся Джордж Хедли.

— Никакой Африки в детской нет, — невинным голосом возразил Питер.

— Брось, Питер, мы-то знаем.

— Я не помню никакой Африки. — Питер повернулся к Венди. — А ты?

— Нет.

— А ну, сбегай, проверь и скажи нам.

Она повиновалась брату.

— Венди, вернись! — позвал Джордж Хедли, но она уже ушла. Свет провожал ее словно рой светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую.

— Венди посмотрит и расскажет нам, — сказал Питер.

— Что мне рассказывать, когда я сам видел.

— Я уверен, отец, ты ошибся.

— Я не ошибся, пойдём-ка.

Но Венди уже вернулась.

— Никакой Африки нет, — доложила она, запыхавшись.

— Сейчас проверим, — ответил Джордж Хедли.

Они все вместе пошли по коридору и открыли дверь в детскую.

Чудесный зеленый лес, чудесная река, пурпурная гора, ласкающее слух пение, а в листве — очаровательная, таинственная Рима, на длинных распущенных волосах которой, словно ожившие цветы, трепетали многоцветные бабочки. Ни африканского вельды, ни львов. Только Рима, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступают слезы.

Джордж Хедли внимательно осмотрел новую картину.

— Ступайте спать, — велел он детям.

Они открыли рты.

— Вы слышали?

Они отправились в пневматический отсек и взлетели, словно сухие листья, вверх по шахте в свои спальни.

Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене.

— Что это у тебя в руке?

— Мой старый бумажник, — ответил он и протянул его ей.

От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови.

Он затворил дверь детской и надежно ее запер.

В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит.

— Так ты думаешь, Венди ее переключила? — спросила она наконец в темноте.

— Конечно.

— Превратила вельд в лес и на место львов вызвала Риму?

— Да.

— Но зачем?

— Не знаю. Но пока я не выясню, комната будет заперта.

— Как туда попал твой бумажник?

— Не знаю, — ответил он, — ничего не знаю, кроме одного: я уже жалею, что мы купили детям эту комнату. И без того они нервные, а тут еще такая комната...

— Ее назначение в том и состоит, чтобы помочь им избавиться от своих неврозов.

— Ой, так ли это.... — Он посмотрел на потолок.

— Мы давали детям все, что они просили. А в награду что получаем — непослушание, секреты от родителей...

— Кто-то сказал: «Дети — ковер, иногда на них надо наступать»... Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно — они стали несносны. Уходят и приходят, когда им вздумается, с нами обращаются так, словно мы — их отпрыски. Мы их портим, они нас.

— Они переменялись с тех самых пор — помнишь, месяца два-три назад? — когда ты

запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк.

— Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия.

— Объяснил, а я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться.

— Я вот что сделаю: завтра приглашу Дэвида Макклина и попрошу его взглянуть на эту Африку...

— Но ведь Африки нет, теперь там сказочная страна и Рима.

— Сдается мне, к тому времени снова будет Африка.

Мгновением позже он услышал крики.

Один... другой... Двое кричали внизу. Затем — рычание львов.

— Венди и Питер не спят, — сказала ему жена.

Он слушал с колотящимся сердцем.

— Да, — отозвался он. — Они проникли в детскую комнату.

— Эти крики... они мне что-то напоминают.

— В самом деле?

— Да, мне страшно.

И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками.

— Отец, — сказал Питер.

— Да?

Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже.

— Ты что же, навсегда запер детскую?

— Это зависит...

— От чего? — резко спросил Питер.

— От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать... скажем, со Швецией, или Данией, или Китаем...

— Я думал, мы можем играть во что хотим.

— Безусловно, в пределах разумного.

— А чем плоха Африка, отец?

— Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку!

— Я не хочу, чтобы запирали детскую, — холодно произнес Питер. — Никогда.

— Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом.

Попробуем жить по золотому принципу: «Каждый делает все сам».

— Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки, без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?

— Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия?

— Это будет отвратительно. Мне было совсем не приятно, когда ты убрал автоматического художника.

— Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок.

— Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять! Других стоящих занятий нет.

— Хорошо, ступай? играй в Африке.

— Так вы решили скоро выключить наш дом?

— Мы об этом подумывали.

— Советую тебе подумать еще раз, отец.

— Но-но, сынок, без угроз!

— Отлично. — И Питер отправился в детскую.

— Я не опоздал? — спросил Дэвид Макклин.

— Завтрак? — предложил Джордж Хедли.

— Спасибо, я уже. Ну, так в чем дело?

— Дэвид, ты разбираешься в психике?

— Как будто.

— Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил — тогда ты заметил что-нибудь особенное?

— Вроде нет. Обычные проявления агрессии, тут и там налет паранойи, присущей детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного.

Они вышли в коридор.

— Я запер детскую, — объяснил отец семейства, — а ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи.

Из детской доносились ужасные крики.

— Вот-вот, — сказал Джордж Хедли. — Интересно, что ты скажешь?

Они вошли без стука.

Крики смолкли, львы что-то пожирали.

— Ну-ка, дети, ступайте в сад, — распорядился Джордж Хедли. — Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены как есть. Марш!

Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу.

— Хотел бы я знать, что это, — сказал Джордж Хедли. — Иногда мне кажется, что я вижу... Как думаешь, если принести сильный бинокль...

Дэвид Макклин сухо усмехнулся.

— Вряд ли...

Он повернулся, разглядывая одну за другой все четыре стены.

— Давно это продолжается?

— Чуть больше месяца.

— Да, ощущение неприятное...

— Мне нужны факты, а не чувства.

— Дружище, Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю: это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда созревает беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры.

— Неужели до этого дошло?

— Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы, в частности, для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинкам на стенах изучать психологию ребенка и исправлять ее. Но в данном случае детская вместо того, чтобы избавлять от разрушительных наклонностей, поощряет их!

— Ты это и раньше чувствовал?

— Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайки. Что произошло?

— Я не пустил их в Нью-Йорк.

— Еще?

— Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроки. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу.

— Ага!

— Тебе это что-нибудь говорит?

— Все. На место рождественского деда пришел бука. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердцах. Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите ее запереть. Не удивительно, что здесь появилась ненависть. Вот — даже небо излучает ее. И солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. Как и для многих других — слишком многих — для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрете. Не сумеете сами яйца разбить! И все-таки советую выключить все. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год мы из дурных детей сделаем хороших, вот увидишь.

— А не будет ли это слишком резким шоком для ребят — вдруг навсегда запереть детскую?

— Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь?

Львы кончили свой кровавый пир.

Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин.

— Теперь я чувствую себя преследуемым, — произнес Макклин. — Уйдем. Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы.

— А львы — совсем как настоящие, верно? — сказал Джордж Хедли. — Ты не допускаешь возможности...

— Что?!

— ...что они могут стать настоящими?

— По-моему, нет.

— Какой-нибудь порок в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?..

— Нет.

Они пошли к двери.

— Мне кажется, комнате не захочется, чтобы ее выключили, — сказал Джордж Хедли.

— Никому не хочется умирать, даже комнате.

— Интересно: она ненавидит меня за мое решение?

— Здесь все пропитано паранойей, — ответил Дэвид Макклин. — До осязаемости. Эй! — Он нагнулся и поднял окровавленный шарф. — Твой?

— Нет. — Лицо Джорджа окаменело. — Это Лидии.

Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату.

Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бранились, металась по комнатам.

— Вы не смеете так поступать с детской комнатой, не смеете!

— Угомонитесь, дети.

Они в слезах бросились на диван.

— Джордж, — сказала Лидия Хедли, — включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг.

— Нет.

— Это слишком жестоко.

— Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще, пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит Бог, нам необходимо сменить обстановку!

И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку.

Казалось, дом полон мертвецов. Будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажатии кнопки.

— Не позволяй им это делать! — завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате. — Не позволяй отцу убивать все. — Он повернулся к отцу. — До чего же я тебя ненавижу!

— Оскорблениями ты ничего не достигнешь.

— Хоть бы ты умер!

— Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов — отныне мы будем жить.

Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней.

— Ну, еще немножечко, на минуточку, только на минуточку, — кричали они.

— Джордж, — сказала ему жена, — это им не повредит.

— Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту, учтите, потом выключу совсем.

— Папочка, папочка, папочка! — запели дети, улыбаясь сквозь слезы.

— А потом — каникулы. Через полчаса вернется Дэвид Макклин, он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь — не больше одной минуты.

Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев наверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия.

— Я буду рада, когда мы покинем этот дом, — вздохнула она.

— Ты оставила их в детской?

— Мне тоже надо одеться. О, эта ужасная Африка. И что они в ней находят?

— Ничего, через пять минут мы будем на пути в Айову. Господи, какая сила загнала нас в этот дом?.. Что нас побудило купить этот кошмар?

— Гордыня, деньги, глупость.

— Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем.

В этот самый миг они услышали голоса обоих детей.

— Папа, мама, скорей сюда, скорей!

Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно.

— Венди! Питер!

Они ворвались в детскую. В пустынном вельде — никого, ни души, если не считать львов, глядящих на них.

— Питер! Венди!

Дверь захлопнулась.

Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу.

— Откройте дверь! — закричал Джордж Хедли, дергая ручку. — Зачем вы ее заперли? Питер! — Он заколотил в дверь кулаками. — Открой!

За дверью послышался голос Питера:

— Не позволяй им выключать детскую комнату и весь дом.

Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь.

— Что за глупые шутки, дети! Нам пора ехать. Сейчас придет мистер Макклин и...

И тут они слышали...

Львы с трех сторон в желтой траве вельда, шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках.

Львы.

Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми.

— Вот и я, — сказал Дэвид Макклин, стоя на пороге детской комнаты. — О, привет!

Он удивленно воззрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоем и желтый вельд; над головами — жаркое солнце. У него выступил пот на лбу.

— А где отец и мать?

Дети обернулись к нему с улыбкой.

— Они сейчас придут.

— Хорошо, уже пора ехать.

Мистер Макклин заметил вдали львов — они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев.

Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее.

Львы кончили есть и один за другим пошли на водопой.

Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Макклина. Много теней. С ослепительного неба спускались стервятники.

— Чашечку чаю? — прозвучал в тишине голос Венди.

Роби Моррисон был раздражен. Шагая под тропическим солнцем, он слышал шум разбивающихся о берег волн. На острове Выпрямления царила унылая тишина.

Был год 1997, но для мальчика это не имело значения.

Затерявшись в глубине сада, десятилетний Роби тихонько бродил по дорожкам. То был Час Размышлений. За садовой стеной, к северу, жили дети с Высоким Коэффициентом Умственного Развития. Там были спальни, где он и другие мальчики спали в особым образом устроенных кроватях. По утрам, словно пробки из бутылок, они выскакивали оттуда, бросались в душевые, потом наспех проглатывали пищу и с помощью пневматической подземки переносились почти через весь остров к зданию Семантической школы. Потом — на Физиологию. После Физиологии — снова в подземку. А затем, через люк в высокой садовой стене, Роби выпускали в сад, где он должен был проводить этот час бесплодных размышлений, предписанных Психологами острова.

У Роби имелось свое мнение на этот счет: «Чертовски глупо».

Сегодня в нем клокотал дух противоречия. Он с завистью смотрел на волны: они были свободны, они приходили и уходили. Глаза его потемнели, щеки пылали, маленькие руки нервно подергивались.

Где-то в саду мягко зазвенел колокольчик. Еще пятнадцать минут размышлений. Уф! А потом в столовую-автомат, чтобы набить желудок, подобно тому как чучельщик набивает чучело птицы.

А после приготовленного по последнему слову науки ленча снова в туннель — на Социологию. Правда, попозже, к концу теплого скучного дня, можно будет поиграть в Главном саду. Но что это за игры! Игры, которые какой-нибудь помешанный Психолог извлек из своих ночных кошмаров. Таково твое будущее! Ты, мой мальчик, должен жить так, как это предсказывали люди прошлого, люди 1920, 1930, 1942 года! Все вокруг тебя должно быть бодрым, оживленным, гигиеничным, чересчур, чересчур бодрым! И никаких нудных старых родственников поблизости. Не то у тебя появятся разные вредные комплексы. Все под контролем, мой милый мальчик!

Казалось бы, Роби находился сегодня в самом подходящем расположении духа для того, чтобы воспринять что-нибудь необыкновенное.

Но это только казалось.

Когда минутой позже с неба упала звезда, он разозлился еще больше.

Это был сфероид. Он трещал и вертелся, пока не замер на теплой зеленой траве. Распахнулась узкая дверца.

Все происходящее напомнило мальчику его сон. Сон, который он, полный презрения и упрямства, не пожелал записать сегодня утром в своем психоаналитическом дневнике. Мысль об этом сне всплыла в его мозгу, как только узкая дверь распахнулась и из нее вышло «нечто»

«Нечто».

Юные глаза, видя предмет впервые, должны как то освоиться с ним. Роби не знал, что такое «нечто», вышедшее из шара. Поэтому, хмурясь, Роби начал ломать голову, соображая, на что оно было больше всего похоже.

И вдруг «нечто» превратилось во «что-то».

Теплый воздух сделался холодным. Блеснул свет, очертания предмета стали изменяться, таять и вот «что-то» приняло определенную форму.

Возле металлической звезды, растерянно озираясь, стоял высокий, худой, бледный человек.

У человека были красные, испуганные глаза. Он дрожал.

— А-а, я знаю вас, — разочарованно протянул Роби. — Вы Песочный человек^[2] — только и всего.

— Песочный человек?

Незнакомец весь заколыхался, словно облако горячего пара, поднимающееся от расплавленного металла. Дрожащими руками он начал испуганно ощупывать свои длинные рыжие волосы, словно ему никогда еще не приходилось видеть их или трогать. Песочный человек с ужасом смотрел на свои руки, ноги, на все свое тело, как будто оно было для него совершенно ново. Песочный человек? Какое трудное слово! И процесс речи тоже был для него новым. Он, кажется, хотел уже бежать, но что-то удерживало его.

— Да, да, — сказал Роби. — Вы снитесь мне каждую ночь. О, я знаю, о чем вы думаете. Наши учителя говорят, что симантические духи, призраки, эльфы и песочные люди — это всего лишь названия, и за ними не стоит никакая реальная сущность, никакие реальные предметы — одушевленные или неодушевленные. Но все это чепуха. Мы, мальчишки, знаем на этот счет побольше учителей. То, что вы здесь, доказывает, что учителя ошибаются. Стало быть, песочные люди все же существуют?

— О, нет, не давай мне названия! — неожиданно вскричал Песочный человек. Теперь он как будто понял, о чем речь. И почему-то был в невыразимом испуге. Он продолжал щипать, дергать и щупать свое длинное тело, словно оно-то и внушало ему ужас. — Не давай мне названия, не давай мне ярлыка.

— Пфф! А почему бы это?

— Я — сущность! — возопил Песочный человек. — Я не ярлык! Я именно сущность. Позволь мне уйти!

Маленькие, зеленые, как у кошки, глаза Роби заблестели. Он приложил палец к губам.

— Это мистер Грилл прислал вас сюда? Держу пари, что он! Держу пари, что это какой-то новый психологический тест!

Роби был в бешенстве. Когда же они перестанут следить за каждым его шагом? Они регламентируют его игры, еду, занятия, они отняли у него товарищей, мать, отца, а теперь придумали еще этот трюк.

— Я не от мистера Грилла, — взмолился Песочный человек. — Выслушай меня, пока никто не пришел, не увидел меня здесь и окончательно не испортил все!

Роби топнул ногой.

Задыхаясь от волнения, Песочный человек отскочил назад.

— Выслушай меня! — крикнул он. — Я не человек. Это ты человек. Здесь, на Земле, мысль отлила в форму человека вашу плоть — твою и всех вас! Вы все сделаны по одному шаблону. Но не я! Я — чистейшая сущность.

— Лжешь! — И Роби снова топнул ногой.

Видимо, совершенно отчаявшись, Песочный человек начал быстро бормотать какие-то непонятные вещи:

— Нет, мальчик, это правда! Мысль отливала твои атомы в твою теперешнюю форму целые столетия. Если бы ты смог преодолеть, разрушить это убеждение, убеждения твоих

друзей, учителей и родных, тебе тоже удалось бы изменить форму, стать чистой сущностью! Такой, как Свобода, Независимость, Гуманность или как Время, Пространство и Справедливость.

— Вас подослал Грилл, он вечно мучает меня!

— Нет, нет! Атомы способны видоизменяться. Все вы на Земле затвердили некоторые ярлыки, как, например, Мужчина, Женщина, Ребенок, Голова, Руки, Пальцы, Ноги. «Нечто» превратилось в «что-то».

— Уйдите от меня! — не выдержал Роби. — У меня сегодня тест, мне надо подумать.

Он сел на камень и заткнул уши.

Песочный человек опасливо оглянулся, словно ожидая какой-то беды. Стоя возле Роби, он начал дрожать и плакать.

— Земля могла быть совсем иной! — крикнул он. — Мысль, пользуясь ярлыками, долго кружила, приводя в порядок хаотический космос. И теперь все отмахиваются даже от попытки представить себе мир в другой форме.

— Убирайтесь! — с отвращением выдохнул Роби.

— Я приземлился возле тебя, совершенно не подозревая об опасности. Мне было просто любопытно. Когда я нахожусь в своем сферическом межзвездном корабле, чужие мысли не могут изменять мою форму. Я путешествую от мира к миру уже целые века, но еще ни разу не попадался так глупо.

По его лицу текли слезы.

— А вот теперь — о господи, что за несчастье! — ты дал мне название, ты поймал меня, запер с помощью мысли в тюрьму! С помощью этой нелепой фантазии о Песочном человеке! Чудовищно! Я не могу побороть ее, не могу стать таким, как прежде! А раз я не могу стать таким, как прежде, мне никогда уже не влезть в мой шар. Я слишком велик. Теперь я буду навеки прикован к Земле. Освободи меня!

Песочный человек стонал, плакал, кричал. Роби размышлял. Он спокойно беседовал с самим собой. Чего он хочет больше всего? Убежать с острова? Глупо. Они каждый раз ловили его. Чего же? Может, ему хочется поиграть во что-нибудь? Да, неплохо бы поиграть в обыкновенные, нормальные игры — только без психонаблюдения. Да, да, это было бы здорово! Поиграть бы в «Поддай жестянку» или в «Верти бутылку»... Или просто достать бы резиновый мяч — с ним можно играть одному, бросать его в садовую стену, а потом, когда он отскочит, самому же и ловить. Да, да. Красный мяч.

— Перестань... — крикнул вдруг Песочный человек.

Наступила тишина.

Красный резиновый мяч подпрыгивал на земле.

Вверх, вниз, вверх, вниз прыгал красный резиновый мяч.

— Ой! — Роби только сейчас заметил его. — Откуда взялся этот мяч? — Он ударил его о стену, потом поймал. — Вот здорово!

Роби не заметил отсутствия незнакомца, который что-то кричал ему всего несколько секунд назад.

Песочный человек исчез.

Вдали, в горячей тишине сада, что-то загрохотало. Это цилиндр мчался по туннелю к круглому люку в стене. Слабо зашипев, дверь распахнулась. Размеренные шаги зашуршали на дорожке, и мистер Грилл появился возле пышного цветника тигровых лилий.

— Привет, Роби! Ой!.. — Мистер Грилл остановился, его круглощекое розовое лицо выразило испуг и изумление. — Что это тут у тебя, малыш? — крикнул он.

Роби швырнул заинтересовавший Грилла предмет в стену.

— Это? Резиновый мяч.

— Мяч? — Маленькие голубые глазки Грилла сощурились, сделавшись еще меньше. Потом он пришел в себя. — Ну да, конечно. На секунду мне показалось, что он... что я...

Роби еще раз бросил мяч.

Грилл откашлялся.

— Пора идти на ленч. Час размышлений кончился. Я не вполне уверен, что патер Локк одобрит твои игры. Они не предусмотрены нашими правилами.

Роби тихонько чертыхнулся.

— Ну, так и быть! Играй. Я ничего ему не скажу.

Мистер Грилл был настроен великодушно.

— А мне вовсе и не хочется играть.

Роби насупился и залез носком сандалии прямо в грязь. Эти учителя все портят. Вас даже стошнить не может без их разрешения.

Грилл сделал попытку задобрить мальчика.

— Если ты сейчас же пойдешь на ленч, я разрешу тебе потом посмотреть по телевизору на маму.

— Лимит времени — две минуты, десять секунд, ни больше, ни меньше, — таков был язвительный ответ Роби.

— Вечно ты недоволен, Роби.

— Когда-нибудь я убегу — вот увидите!

— Хватит, малыш. Ты ведь знаешь, что мы опять поймаем тебя и приведем обратно.

— Кажется, я вообще не просил привозить меня сюда.

Глядя на свой новый красный мяч, Роби вдруг закусил губу. Ему показалось, что мяч... ну, что он как будто... да, что он шевельнулся. Чудно! Он взял мяч в руку. Мяч вздрогнул.

Грилл потрепал мальчика по плечу.

— Твоя мать неврастеничка. Вредная среда. Тебе лучше быть здесь, на острове. У тебя высокий коэффициент умственного развития, и ты должен гордиться тем, что живешь здесь, так же как и остальные одаренные дети. Ты неустойчив, мрачен, и мы стараемся изменить это. Со временем ты станешь полной противоположностью твоей матери.

— Я люблю мою маму.

— Ты привязан к ней, — спокойно поправил его мистер Грилл.

— Я привязан к маме, — повторил Роби, чем-то встревоженный. Красный мяч дернулся в его руках, хотя он не трогал его. Он взглянул на него с изумлением.

— Тебе же будет хуже, если ты будешь любить ее, — заметил Грилл.

— Вы чертовски глупы, — сказал Роби.

Грилл надулся.

— Не ругайся, Роби. К тому же ты не мог всерьез произнести слово «черт». Оно уже давным-давно вышло из употребления. Учебник семантики, раздел седьмой, страница четыреста восемнадцатая. Ярлыки и сущность.

— Вспомнил! — крикнул Роби, озираясь по сторонам. — Здесь только что был Песочный человек, и он сказал, что...

— Пошли! — сказал мистер Грилл. — Пора на ленч.

Тарелки с едой выскочили из автоматов на пружинных подставках. Роби молча взял овальную тарелку и шаровидный сосуд с молоком. Красный резиновый мяч пульсировал и бился, как сердце, в том месте, где он его спрятал — под рубашкой. Прозвучал гонг. Роби торопливо проглотил еду. Начался беспорядочный бег к туннелю. Словно перышки, дети были переброшены через весь остров на Социологию, а потом, в середине дня, опять на площадку для игр. Часы уходили.

Роби ускользнул в глубину сада, чтобы побыть одному. Ненависть к этому притупляющему, раз навсегда установленному распорядку, к учителям и сверстникам-ученикам — бушевала в нем каким-то очистительным потоком. Он сидел один и думал о своей матери, которая была так далеко. Он вспоминал до мельчайших подробностей ее лицо, ее запах, ее голос и то, как она обнимала и гладила, и целовала его. Он опустил голову на руки, и вскоре они стали влажными от его слез.

Он уронил свой красный резиновый мяч.

Нечаянно. Он думал только о матери.

Густые заросли всколыхнулись. Что-то двигалось в их дебрях быстро-быстро.

Какая-то женщина бежала в высокой траве.

Она убегала от Роби, но вдруг поскользнулась, громко вскрикнула и упала.

Что-то блеснуло в лучах солнца. Женщина бежала по направлению к этому серебристому блестящему предмету. Сфероид. Серебряный звездный корабль! Но откуда же появилась она? И почему бежала к шару? Почему упала, когда он, Роби, взглянул на нее? Кажется, она была не в силах подняться. Роби вскочил со своего камня и помчался к ней. Он поравнялся с женщиной и остановился.

— Мама! — вскричал он.

Ее лицо дрогнуло, и черты его стали меняться подобно тающему снегу. Потом на нем появилось выражение жестокости, оно сделалось четким и красивым.

— Я не мать тебе, — сказала она.

Он не слышал ее слов. Он слышал лишь собственное учащенное дыхание, вырывавшееся из дрожащих губ. Он был так слаб от пережитого потрясения, что едва стоял на ногах. Он протянул к ней руки.

— Неужели ты не понимаешь? — Лицо ее было холодно. — Я не мать тебе. Не называй меня так. Зачем мне название?пусти меня обратно к моему кораблю. Я убью тебя, если непустишь!

Роби пошатнулся.

— Мама, разве ты не узнаешь меня? Ведь я — Роби, твой сын! — Ему хотелось только одного — поплакать возле нее, рассказать ей о долгих месяцах тюрьмы. — О, пожалуйста, вспомни меня!

Ее пальцы схватили его за горло.

Она душила его.

Он попытался вскрикнуть. Но этот крик был пойман, загнан обратно в его легкие, готовые разорваться. У него подкосились ноги.

И вдруг, вглядываясь в ее холодное, злое, жестокое лицо, Роби нашел ответ — нашел ответ, хотя ее пальцы все крепче сжимали его горло и в глазах у него было уже почти совсем темно.

В ее лице он увидел черты Песочного человека.

Песочный человек! Звезда, упавшая с летнего неба, Серебряный шар — корабль, к которому бежала эта «женщина». Исчезновение Песочного человека, появление красного мяча, исчезновение красного мяча, а сейчас появление матери. Все это имело какую-то связь.

Матрицы. Стереотипы. Навыки мышления. Шаблоны. Материя. История Человека, его тело, все, что происходит во Вселенной.

Сейчас она убьет его.

Ей нужно, чтобы он перестал думать, — тогда она будет свободна.

Мысли. Мрак. Теперь он уже почти не мог пошевелиться. Он был очень-очень слаб. Сначала ему показалось, что «она» — его мать. Он ошибся. И сейчас «она» убьет его. А что, если он все-таки будет думать и придумает еще что-нибудь? Попытайся, Роби. Ну же, попытайся! Он весь напрягся. Во мраке и хаосе его мысли работали упорно-упорно.

С диким воплем его «мать» начала уменьшаться, сжиматься.

Он напряг последние силы.

Ее пальцы выпустили его горло. Яркое лицо сморщилось. Тело съежилось, осело.

Он был свободен. Тяжело дыша, он встал на ноги.

Вдалеке, сквозь заросли, он увидел серебристый сфероид, лежащий в лучах солнца. Пошатываясь, он направился к нему и вдруг вскрикнул, потрясенный внезапно возникшим у него в голове планом.

Он торжествующе рассмеялся. И еще раз посмотрел туда, где только что было «оно». Что осталось от женщины, которая у него на глазах изменила свою форму, словно расплавленный воск? Он превратил ее во что-то другое, новое.

Садовая стена вздрогнула — цилиндр подземки с шипением поднимался по туннелю. Это приближался мистер Грилл. Роби должен поторопиться, не то его план рухнет.

Роби подбежал к сфероиду, заглянул внутрь. Управление простое. И вполне достаточно места для его маленькой фигурки. Только бы осуществился его план. Он д о л ж е н осуществиться. Он осуществится.

Весь сад задрожал от грохота приближавшегося цилиндра. Роби расхохотался. К черту мистера Грилла! К черту этот остров!

Он протиснулся в сфероид. Здесь было много такого, чему он мог научиться. Это придет не сразу. Пока он еще совсем новичок в этой науке, но и то немного, что он уже успел узнать, спасло ему жизнь, а сейчас поможет сделать еще нечто.

Чей-то голос раздался за его спиной. Знакомый голос. До того знакомый, что Роби содрогнулся. Шаги маленьких детских ног зашуршали в кустарнике. Маленькие ноги, маленькая фигурка. Тихий умоляющий голосок.

Роби схватился за рычаги управления. Это побег! Он совершится, и никто ничего не заподозрит. Просто. Изумительно. Грилл никогда не узнает.

Дверца шара захлопнулась. Вперед!

Корабль с Роби на борту поднялся в летнее небо.

Мистер Грилл вышел из люка в садовой стене. Он оглянулся, ища Роби. Горячий свет брызнул ему в лицо, когда он торопливо зашагал по дорожке.

Вот он! Роби был здесь, перед ним. Маленький Роби Моррисон стоял, глядя в небо, сжимая кулаки, и что-то крича в пустоту. Во всяком случае, Грилл видел там только пустоту.

— Хелло, Роби! — окликнул его Грилл.

При звуке его голоса мальчик судорожно дернулся. Он весь колыхался. Цвет, плотность, качество — все мгновенно менялось. Грилл прищурился, решив, что все это только померещилось ему от солнца.

— Я не Роби! — крикнул мальчик. — Роби сбежал! Он оставил меня вместо себя, чтобы одурачить вас и чтобы вы не погнались за ним! Он одурачил и меня! — крикнул ребенок с сердитым рыданием. — Нет, нет, не смотрите на меня так! Не думайте, что я Роби, от этого мне станет еще хуже. Вы ожидали, что застанете его, а нашли меня и превратили меня в Роби! Вы отлили меня в его форму, и теперь я уже никогда, никогда не смогу измениться. О боже!

— Ну, пойдём же, Роби.

— Роби никогда не вернется. Я всегда буду им. Я был резиновым мячом, женщиной, Песочным человеком. Но, поверьте мне, я — атом, способный видоизменяться, и ничего больше. Отпустите меня!

Грилл медленно отступал. Он криво улыбался.

— Я — сущность. Я не ярлык! — крикнул мальчик.

— Да, да, конечно. Ну, а теперь, Роби, подожди меня минуточку здесь, вот здесь... Я сейчас, я сейчас, я сейчас созвонюсь с психоклиникой.

Через несколько минут целый отряд санитаров бежал по саду.

— Будьте вы все прокляты! — вскричал мальчик, сопротивляясь. — Убирайтесь к дьяволу!

— Тише! — спокойно возразил Грилл, помогая остальным запихнуть ребенка в цилиндр подземки. — Сейчас ты употребил ярлык, который не имеет под собой никакой сущности!

Цилиндр умчал их в туннель.

Серебристая звезда еще мерцала в летнем небе, но вскоре исчезла.

Он лежал между чистыми, до хруста выглаженными простынями, и под рукой, на столике, рядом с затененной розовой лампой всегда стоял стакан с густым апельсиновым соком. Чарльзу стоило только позвать, и родители — тут как тут — заглядывали в его комнату. Акустика здесь была превосходная: он слышал, как унитаз прочищает по утрам свое фарфоровое горло, как дождь хлещет по крыше, как хитрая мышца пробирается тайными ходами в стене, как внизу в клетке заливается канарейка. Болезнь до предела обострила его чувства.

Чарльзу исполнилось тринадцать. Стояла середина сентября, и земля полыхала всеми красками осени. Он лежал в постели уже третьи сутки, когда что-то начало происходить с его правой рукой.

Он видел, как горячая, покрытая потом, она одиноко покоилась на покрывале. Потом стала судорожно подергиваться и вдруг застыла, медленно изменяя цвет.

В тот день пришел доктор и принялся постукивать по его худосочной груди, словно по барабанчику.

— Ну, как мы нынче? — спросил он, улыбаясь. — Знаю, знаю, можешь не отвечать: «Моя простуда в порядке, чего не скажешь обо мне!» — Доктор засмеялся им же самым выдуманной и тщательно прорепетированной остроте.

И Чарльз внезапно понял, что плоская бородатая шутка абсолютно точна — побледнев, он вспомнил все и содрогнулся. Доктор, Конечно, не догадывался, как жестоко прозвучал его смех.

— Доктор, — прошептали бескровные губы. — Рука... Она не моя сейчас. Этим утром она превратилась во что-то другое. Я хочу, чтобы вы сделали ее прежней, доктор!'

Врач улыбнулся и потрепал мальчика по руке.

— А мне она кажется вполне нормальной, сынок. Просто у тебя была небольшая лихорадка.

— Но она переменилась, доктор! — закричал Чарльз, жалостливо баюкая свою бледную обезумевшую руку. — Это правда!

Доктор сморгнул.

— Ну что же, прими вот эту розовую пилюлю. — И он положил таблетку Чарльзу на язык. — Глотай!

— Это поможет руке стать снова моей, да?

— Разумеется, разумеется.

Дом молчаливо провожал доктора, катившего вниз по дороге под белесым сентябрьским небом. Где-то очень далеко, в кухонном мире тикали часы. Чарльз лежал, наблюдая за рукой.

Рука была чужая.

Снаружи задул ветер. Листья стучались в холодное стекло.

В четыре часа началось превращение второй руки. Казалось, лихорадка переселилась в нее — рука пульсировала, изменялась, клетка за клеткой, она колотилась, словно горячее сердце. Ногти поголубели, а затем сделались красными. Все это продолжалось целый час, а после рука приняла свой обычный вид. Но она обманывала. Она больше не принадлежала мальчику. Он лежал, оцепенев от жути, а потом забылся в изнеможении.

В шесть часов мать принесла суп. Чарльз не захотел даже притронуться к нему.

— У меня больше нет рук, — произнес он, не открывая глаз.

— Но твои руки на месте, — возразила мать.

— Нет! — всхлипнул он. — Их — нет. Кажется, там, где они должны быть — обрубки.

О мама, мама. Боже ты мой, как же мне страшно!

Ей пришлось самой покормить его.

— Мама, пожалуйста, пускай доктор сейчас же приедет. Мне очень плохо.

— Доктор придет сегодня в восемь, — пообещала мать и вышла.

В семь часов, когда темень, нахлынув, взяла дом в кольцо, Чарльз сидел в постели и внезапно почувствовал, что это происходит сначала с одной, а затем и с другой ногой.

— Мама! Быстрее сюда! — закричал он.

Но мать снова опоздала.

Когда она вышла, Чарльз перестал сопротивляться, откинулся на подушку, ощущая нервную колотьбу в ногах, которые раскалились и запламенели; он почувствовал, что в комнате заметно потеплело. Жар двигался от кончиков пальцев к лодыжкам, а затем стал постепенно захватывать колени.

— Можно войти? — Доктор стоял в дверях и улыбался.

— Доктор! — закричал Чарльз. — Скорее, поглядите на мои ноги!

Доктор неторопливо откинул одеяло.

— Вот и ты. Целехонький, здоровехонький. Взмокший, правда. Небольшая лихорадка. Я ведь запретил тебе вертеться, гадкий ты мальчишка. — Он ущипнул влажную розовую щеку — Ну что, пилюли помогли? Рука в порядке?

— Нет, нет! Впридачу и левая, и ноги!

— Ну, ладно, ладно, я дам тебе еще три пилюли — по одной на каждую конечность, договорились, мой маленький персик? — И доктор засмеялся.

— А они помогут? Пожалуйста, скажите, что со мной?

— Легкий приступ скарлатины, осложненный небольшой простудой, вот и все.

— Это такие бактерии, которые живут и размножаются во мне, да?

— Да.

— Вы уверены, что это скарлатина? Я ведь не сдавал анализов!

— Я надеюсь, что смогу распознать скарлатину по виду больного, — холодно произнес доктор, щупая ему пульс.

Чарльз молча лежал до тех пор, пока доктор не принялся решительно упаковывать черный чемоданчик. Тогда в тишине комнаты зазвучал робкий мальчишеский голос, и глаза осветились давнишними воспоминаниями:

— Я когда-то читал книгу... Там говорилось об окаменелых деревьях, о том, как древесина превращается в камень. Деревья падают и гниют, в них проникают кристаллы и начинают свое строительство. И, хотя со стороны стволы еще выглядят как деревья, на самом деле это уже — камни.

Он замолчал. В теплой тишине комнаты слышалось только его дыхание.

— Ну и?. — спросил доктор.

— Я просто подумал, могут ли бактерии развиваться? Я знаю из биологии, нам рассказывали об одноклеточных организмах, амебах и всяком таком, как миллионы лет назад эти штуки взяли и собрались все вместе. А клетки продолжали слипаться, расти, и вот, появились, ну скажем, рыбы или, например, мы, но все это лишь скопление клеток, которые

решили соединиться. Так? — Чарльз облизал обветрившиеся губы.

— И что же из всего этого следует? — Доктор склонился над мальчиком.

— Я должен, поймите, доктор. Я обязан вас предупредить! — закричал Чарльз. — Ведь такое может повториться. Вы представьте, ну, просто представьте, что так же, как миллионы лет назад, множество микробов объединились и решили образовать нечто...

Его руки ползли, подбираясь к горлу.

— И они решили захватить человека! — кричал Чарльз.

— Захватить человека?

— Да, заменить человека. Стать мною, моими руками, ногами! Что, если болезнь каким-то образом знает, как можно убить человека и жить вместо него?

Руки сомкнулись на шее.

Доктор с воплем бросился к постели.

В девять часов родители проводили доктора к машине и подали чемоданчик. Стоя на пронизывающем ночном ветру, они несколько минут обсуждали создавшееся положение.

— И, главное, проверяйте, не развязался ли он, — настаивал доктор. — Я бы не хотел, чтобы он себя изувечил.

— Это пройдет, доктор? — мать на мгновение задержала его ладонь.

Он потрепал ее по плечу.

— Не я ли был вашим домашним врачом целых тринадцать лет? Это просто лихорадка. Он бредит...

— Но синяки у него на горле... Он чуть было сам себя не задушил!..

— Главное — держать его пока связанным; к утру все пройдет.

Машина скользнула на темную осеннюю дорогу.

В три часа утра Чарльз лежал с открытыми глазами в своей маленькой темной комнатке. Белье намокло от пота. Он весь горел. К этому моменту у него не осталось ни рук, ни ног и начало превращаться тело. Мальчик, не двигаясь, лежал на кровати и только с безумной сосредоточенностью смотрел в безбрежное пространство потолка. Какое-то время он метался, орал, но от этих усилий лишь ослабел и охрип. Мать несколько раз поднималась, чтобы переменить влажное полотенце у него на лбу. Теперь он лежал молча. Он был связан по рукам и ногам.

Он чувствовал, как оболочка его тела начинает изменяться, органы — перемещаться, а легкие внезапно взорвались, словно меха, наполненные горючим. Комната осветилась тревожными бликами, похожими на мерцание очага.

Теперь у него больше не было тела. Оно исчезло. Совсем. То есть оно осталось, но при этом было выключено, как под наркозом, внутри же все пылало и вибрировало. Казалось, нож гильотины аккуратно отделил его голову, и вот теперь она, сияя, лежала на подушке, залитой лунным светом, а тело все еще жило, но принадлежало уже кому-то чужому. Болезнь поглотила его — и, поглотив, воспроизвела сама себя.

И короткие волосы на руках, ногти и шрамы на ногах, и маленькая родинка на правом бедре — все было воссоздано безупречно.

«Я мертв, — думал он, — меня убили, и все же я как бы жив. Мое тело умерло, теперь это только болезнь, и ведь никто никогда об этом не узнает. Я буду есть, пить, гулять, но это буду уже не я, а нечто иное. Что-то настолько плохое, настолько злое, что мне даже и не

представить. И это нечто станет покупать ботинки, есть мороженое, и, быть может, через какое-то время женится, и будет плодить новое зло в несметных количествах! И никто не будет подозревать об этом...»

Теперь волна жара заскользила вверх по шее, ударила в щеки, и они зажглись, словно он выпил стакан горячего вина. Губы пересохли, а веки, словно подпаленные листья, охватило огнем. Из ноздрей маленькими язычками вырвалось голубое пламя.

Ну вот и все, подумал он. Сейчас это захватит голову и укрепитесь в глазах, в каждом зубе, в каждой извилине мозга, в каждой волосинке и изгибе ушей. И от меня совсем ничего не останется.

Он чувствовал, как мозг наполнился кипящей ртутью. Как левый глаз, будто улитка, повернулся в глазной впадине, а затем вынырнул уже иным. Он окривел. Левый глаз больше ему не принадлежал. Теперь это была вражеская территория. Язык исчез, его словно отрезали. Левая щека онемела. Левое ухо не воспринимало звуков. Оно тоже принадлежало кому-то другому. Это нечто, что зародилось в нем, и были те самые минералы, подменившие суть дерева, болезнь заменила каждую живую здоровую клетку.

Он попробовал закричать и услышал свой громкий, пронзительный вой. Мозг открыл шлюзы, потоком унесло правый глаз и правое ухо, он ослеп и оглох, превратившись в сплошное пламя, кошмар, ужас. Он превратился в смерть.

Стояло ясное утро, и свежий ветер подталкивал в спину доктора, поднимающегося по тропинке к дому. Внезапно в окне он увидел полностью одетого мальчика. Чарльз не помахал в ответ на приветствие.

— Что это? Ты встал? Господи!

Доктор взлетел по ступеням, задыхаясь, ворвался в спальню.

— Почему ты встал с кровати?! — накинулся он на мальчика и сразу же простучал грудную клетку, проверил пульс и потрогал лоб.

— Совершенно невероятно! Здоров! Здоров, клянусь Господом!

— Я больше никогда не заболею. Никогда в жизни, — объяснил мальчик, спокойно глядя в огромное окно. — Никогда.

— Надеюсь, что так. Выглядишь ты прекрасно, Чарльз.

— Доктор?

— Да, Чарльз?

— Могу я пойти сейчас в школу?

— Думаю, что лучше отложить это до завтра. Ты нетерпелив...

— Да. Мне нравится школа. Ребята. Я хочу играть с ними, драться, плевать, дергать девчонок за косички, пожимать руки учителям, перелопатить всю одежду в раздевалке, и еще хочу вырасти и поехать путешествовать, и пожимать руки разным людям, а потом жениться, и нарожать кучу детей, и ходить в библиотеки, и брать книги — я хочу всего этого! — говорил мальчик, не отрывая взгляда от окна, в котором сияло сентябрьское утро. — Каким это именем вы меня только что назвали?

— Что? — переспросил пораженный доктор. — Я назвал тебя Чарльзом, как же еще?

— В конце концов, лучше, чем никак. — Мальчик пожал плечами.

— Я рад, что ты хочешь вернуться в школу, — сказал доктор.

— Я действительно жду этого с нетерпением, — улыбнулся мальчик. — Спасибо вам за помощь, доктор. Вашу руку.

— С удовольствием.

Они важно обменивались рукопожатиями, пока свежий ветер лился в распахнутое окно. Они, наверное, целую минуту трясли друг другу руки, и мальчик, улыбаясь, благодарно смотрел на старика.

Затем, смеясь, сбежал с доктором вниз и проводил его к машине. Сзади шли родители и радовались благополучному исходу.

— Здоров на все сто! — объявил доктор. — Просто невероятно!

— И силен! — улыбнулся отец. — Можете себе представить — развязался сам! Не так ли, Чарльз?

— Неужели? — спросил мальчик.

— Именно! Но каким образом тебе это удалось?!

— О, — проговорил мальчик. — Столько времени прошло...

— Очень много!

Все засмеялись, а мальчик потихоньку поставил босую ступню на дорожку и дотронулся до красных муравьев, суетливо метавшихся по тропинке. Его глаза таинственно вспыхнули. Пока родители болтали с пожилым доктором, муравьи остановились, задержались и, скорчившись, замерли на цементе.

— До свидания!

Помахав из окошка автомобиля, доктор уехал.

Мальчик пошел к дому. По дороге он смотрел на город и тихонько мурлыкал под нос «Школьные годы».

— Как хорошо, что он снова здоров, — сказал отец.

— Ты только погляди! Он прямо рвется в школу!

Мальчик молча обернулся. Потом крепко по очереди обнял их и несколько раз поцеловал.

Затем все так же молча бросился в дом. В гостиной он быстро распахнул птичью клетку и, запустив туда руку, погладил канарейку. Один раз.

Потом закрыл дверцу, отступил на несколько шагов и стал ждать...

День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было беспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс, безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далах; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.

Неожиданно рельсы задрожали.

Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забилося чье-то сердце.

Черный дрозд взмыл над морем.

Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась и пошла вдоль по берегу небольшая дрезина, в великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор.

На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развеивал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, они глядели нетерпеливо, иногда печально, и все время настороженно — что дальше?

На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.

— Бензин кончился.

Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак.

Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.

— Море красивое, правда? — сказала женщина.

— Мне нравится, — сказал мальчик.

— Может быть, заодно сделаем привал и поедем?

Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдали.

— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.

— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.

Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину.

— Сколько мы проехали сегодня?

— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее, на следующий день, если хочешь, в Пало Альто.

Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.

— Давайте есть!

Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег.

Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сэндвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.

— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.

— Да.

— И больше никого, нигде?

— Больше никого.

— А прежде на свете были люди?

— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.

— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. — Мальчик просеял между пальцами горсть песка. — Людей было столько, сколько песка тут на пляже? А что с ними случилось?

— Не знаю, — ответил мужчина, и это была правда.

В одно прекрасное утро они проснулись и мир был пуст.

Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки, как всегда поутру, блестели машины перед коттеджами, но не было слышно ничьего «до свиданья» не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника.

Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и, даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал:

— Интересно, когда мы ему осточертеем и он всех нас выметет вон?

— Да, до чего дошло, — подхватила она. — И не остановишь, как же мы глупы, правда?

— А замечательно было бы... — Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!

Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.

— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?

— Наверно, да, — ответил он. — Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю и море, и все что растет — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.

— Но мы-то должны остаться. — Она тихо улыбнулась.

— Хорошо было бы. — Он задумался. — Впереди — сколько угодно времени. Самые

длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето...

Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета.

Наконец она сказала:

— А нам не будет одиноко?

Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море травы-муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно, должно быть, потому, что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.

Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:

— Все исчезли.

Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.

Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:

— Теперь мне надо придумать, что делать.

— Что делать? Как... разве ты не пойдешь на работу?

— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся. — Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Все, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!

И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.

— Они не умерли, — сказал он. — Просто... ушли.

— А другие города?

Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско.

Молчание. Молчание. Молчание.

— Все, — сказал он, вешая трубку.

— Я чувствую себя виноватой, — сказала она. — Их нет, а мы остались. И... я радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.

— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучали. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?

— Но... но тогда нам нужно заводить еще детей.

— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину,

разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?

Он взял с маленькой дрезины кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу.

— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим...

Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку.

Отец продолжал:

— Зимуем в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападём на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка...

Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилось на песок и получился мокрый комочек.

Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели. И по одной щеке тянулась влажная дорожка.

Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.

Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:

— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суэта, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?

Она подумала, потом кивнула.

И тут оба вздрогнули.

Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.

Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там где оставила след слезинка.

— Ты... — сказал он и вздохнул. — Ты... Папа, тебе гоже не с кем играть.

Жена хотела что-то сказать.

Муж хотел взять руку мальчика.

Мальчик отскочил назад.

— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!

Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.

Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал.

— Не надо. Оставь его.

Тут же оба оцепенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море.

Что, думала она, что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?

Бутылка плыла по волнам.

Мальчик перестал плакать.

Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них, лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни живое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.

Он написал наше желание? — думала женщина. Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?

Или написал что-то свое, пожелал для себя одного, чтобы проснуться завтра утром — и он один в безлюдном мире, больше никого, ни мужчины, ни женщины, ни отца, ни матери, никаких глупых взрослых с их глупыми желаниями, подошел к рельсам и сам, в одиночку, повел дрезину через одичавший материк, один отправился в нескончаемое путешествие, и где захотел — там и привал.

Это или не это?

Наше или свое?..

Она долго глядела в его лишенные выражения глаза, но не прочла ответа, а спросить не решилась.

Тени чаек парили в воздухе, осеняя их лица мимолетной прохладой.

— Пора ехать, — сказал кто-то.

Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам желтой лентой, ракушки сложили кучкой на доски, муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море — там, далеко, у самого горизонта, поблескивала бутылка с запиской.

— Если попросить — исполнится? — спросил мальчик. — Если загадать — сбудется?

— Иногда сбывается... даже чересчур.

— Смотря чего ты просишь.

Мальчик кивнул, мысли его были далеко.

Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперед, куда предстояло ехать.

— До свиданья, берег, — сказал мальчик и помахал рукой.

Дрезина покатила по ржавым рельсам. Ее гул затих и пропал. Вместе с ней вдали, среди холмов, пропали женщина, мужчина, мальчик.

Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок.

Море сильно шумело.

Маленький убийца

Она не могла сказать, когда к ней в первый раз пришла мысль о том, что ее убивают. В последний месяц были какие-то странные признаки, неуловимые подозрения; ощущения, глубокие, как океанское дно, где водятся скрытые от людских глаз монстры, разбухшие, многорукие, злобные и неотвратимые.

Комната плавала вокруг нее, источая бациллы истерии. Порой ей попадались на глаза какие-то блестящие инструменты. Она слышала голоса. Видела людей в белых стерильных масках

«Мое имя? — подумала она. — Как же меня зовут? Ах, да! Алиса Лейбер. Жена Дэвида Лейбера».

Но от этого ей не стало легче. Она была одинока среди невнятно бормочущих людей в белом. И в ней была жуткая боль и отвращение, и смертельный ужас.

«Меня убивают у них на глазах. Эти доктора, эти сестры, они не понимают, что со мной происходит. И Дэвид не знает. Никто не знает, кроме меня и его — убийцы, этого маленького убийцы. Я умираю и ничего не могу им сказать. Они посмеются надо мной. Скажут, что это бред. Они увидят убийцу, будут держать его на руках, и никто не подумает, что он виновен в моей смерти. И никто не поверит мне. Меня успокоят ложью, похоронят в незнании, меня будут оплакивать, а моего убийцу — ласкать. Где же Дэвид? — подумала она. — Наверное в приемной, курит сигарету за сигаретой и прислушивается к тиканью часов».

Пот выступил у нее на теле, и она испустила предсмертный крик:

— Ну же! Ну! Убей меня! Но я не хочу умирать! Не хочу-у!

И пустота, вакуум. Внезапно боль схлынула. Изнеможение и мрак. Все кончилось. О Господи! Она погружалась в черное ничто, все дальше, дальше...

Шаги. Мягкие приближающиеся шаги. Где-то далеко чужой голос сказал:

— Она спит. Не беспокойте ее.

Запах твида, табака, одеколona «Лютеция». Над ней склонился Дэвид. А позади него специфический запах доктора Джефферса. Она не стала открывать глаза.

— Я не сплю, — спокойно сказала она.

Это удивительно: она была жива, могла говорить и почти не ощущала боли.

— Алиса, — сказал Дэвид. Он держал ее за руки.

«Ты хотел посмотреть на убийцу, Дэвид?» — подумала она.

— Я слышала, ты хотел взглянуть на него Ну что ж, кроме меня тебе его никто не покажет.

Она открыла глаза.

Очертания комнаты стали резче. Она сделала слабый жест рукой и откинула одеяло.

Убийца со своим маленьким красным личиком спокойно смотрел на Дэвида Лейбера. Его голубые глазки были безмятежны.

— Эй! — воскликнул Дэвид, улыбаясь. — Да он же чудесный малыш!

Доктор Джефферс ждал Дэвида Лейбера в тот день, когда он приехал забрать жену и новорожденного домой. Он усадил Лейбера в кресло в своем кабинете, угостил сигарой, закурил сам, пристроившись на краешке стола. Откинув голову, он пристально посмотрел на

Дэвида и сказал.

— Твоя жена не любит ребенка, Дэвид.

— Что?!

— Он ей тяжело дался. И ей самой потребуется много любви и заботы в ближайшее время. Я не говорил тогда, но в операционной у нее была истерика. Она говорила странные вещи, я не хочу их повторять. Могу сказать только, что она чувствует себя чужой ребенку. Возможно, все можно уяснить одним вопросом. — Он глубоко затянулся и спросил: — Это был желанный ребенок?

— Почему ты спрашиваешь?

— Это очень важно.

— Да, да, конечно. Это был желанный ребенок! Мы вместе ждали его. И Алиса была так счастлива, когда поняла, что...

— Это усложняет дело. Если бы ребенок не был запланирован, все свелось бы к тому случаю, когда женщине ненавистна сама идея материнства. Значит, к Алисе все это не подходит. — Доктор Джефферс вынул изо рта сигару и задумчиво почесал подбородок. — Видно, здесь что-то другое. Может быть, что-нибудь, скрытое в прошлом, сейчас вырывается наружу. А может быть, временные сомнения и недоверие матери, прошедшей через невыносимую боль и предсмертное состояние. Если так, то немного времени — и она исцелится. Но я все-таки счел нужным поговорить с тобой, Дэйв. Это поможет тебе быть спокойным и терпеливым, если она начнет говорить, что хотела бы... чтобы ребенок родился мертвым. Ну, а если заметишь что-нибудь странное, приезжайте ко мне втроем. Ты же знаешь, я всегда рад видеть старых друзей. А теперь давай-ка выпьем по одной за... за младенца.

Был чудесный весенний день. Их машина медленно ползла по улице, окаймленной зелеными бульварами. Голубое небо, цветы, теплый ветерок. Дэйв много болтал, пытаясь увлечь Алису разговором. Сначала она отвечала односложно и равнодушно, но постепенно оттаяла. Она держала ребенка на руках, но в ее позе не было ни малейшего намека на материнскую теплоту, и это причиняло почти физическую боль Дэйву. Казалось, она просто везла фарфоровую статуэтку.

— Ты, наверное, уже решила, как мы его назовем? — спросил он, принужденно улыбнувшись.

Алиса равнодушно смотрела на пробегающие за стеклом деревья.

— Давай пока не будем думать об этом. Лучше подождем, пока не найдем для него какое-нибудь исключительное имя. Не дыми, пожалуйста, ему в лицо. — Ее предложения монотонно следовали одно за другим.

Последнее не содержало ни материнского упрека, ни интереса, ни раздражения.

— Прости, пожалуйста. — Дэйв засутился и выбросил только что раскуренную сигару в окно.

Ребенок лежал на руках матери. Тени от деревьев пробежали по его лицу. Голубые глаза были широко раскрыты. Из крошечного розового ротика доносилось мерное посапывание. Алиса мельком взглянула на ребенка и передернула плечами.

— Холодно? — спросил Дэйв.

— Я совсем продрогла, Закрой, пожалуйста, окно, Дэвид.

Ужин, Дейв принес ребенка из детской и усадил его на высокий, недавно купленный стул, подоткнув со всех сторон подушками.

— Он еще маленький, чтобы сидеть на стуле, — заметила Алиса, пристально разглядывая свою вилку.

— Ну все-таки забавно, когда он сидит с нами, — улыбаясь, сказал Дэйв. — И вообще у меня все хорошо. Даже на работе. Если так пойдет дальше, я получу в этом году не меньше пятнадцати тысяч. Эй, посмотри-ка на этого красавца. Весь расслабился.

Вытирая ребенку рот, он заметил, что Алиса даже не повернулась в сторону сына.

— Я понимаю, это не очень интересно, — сказал он, снова принимаясь за еду, — но мать могла бы проявлять больше внимания к собственному ребенку.

Алиса резко выпрямилась.

— Не говори так! По крайней мере, в его присутствии! Позже, если уж это необходимо.

— Позже?! — воскликнул он. — В его присутствии, в его отсутствии... Да какая разница? — Внезапно он пожалел о сказанном и обмяк. — Ладно, ладно. Я же ничего не говорю.

После ужина она позволила ему отнести ребенка наверх, в детскую. Она не просила его об этом. Она позволила ему. Вернувшись, он заметил ее у радиоприемника. Играла музыка, которую она явно не слышала. Глаза ее были закрыты. Когда Дэйв вошел, она вздрогнула, порывисто бросилась к нему и прижалась губами к его губам. Дэйв был ошеломлен. Теперь, когда ребенка не было в комнате, она снова ожила. Она была свободна.

— Благодарю тебя, — шептала она. — Благодарю тебя за то, что на тебя всегда можно положиться, что ты всегда остаешься самим собой.

Он не выдержал и улыбнулся:

— Моя мать говорила мне: «Ты должен сделать так, чтобы в твоей семье было все, что нужно».

Она устало откинула назад свои блестящие темные волосы.

— Ты перестарался. Иногда я мечтаю о том, чтобы у нас было так, как после свадьбы. Никакой ответственности, никаких детей — Она сжимала его руки в своих, лицо ее казалось неестественно белым. — О Дэйв! Когда-то были только ты и я. Мы защищали друг друга, а сейчас мы защищаем ребенка, но мы сами никак не защищены от него. Ты понимаешь? Там, в больнице, у меня хватало времени, чтобы подумать об этом. Мир полон зла...

— Действительно?

— Да, это так! Но законы защищают нас от него А друг от друга нас защищает любовь Я не смогла бы сделать тебе ничего плохого, потому что ты защищен моей любовью. Ты уязвим для меня, но любовь охраняет тебя Я совсем не боюсь тебя, потому что любовь смягчает твои неестественные инстинкты, гнев, раздражение. Ну, а ребенок? Он еще слишком мал, чтобы понимать, что такое любовь и что такое законы. Когда-нибудь мы научим его этому, но до тех пор мы абсолютно уязвимы для него.

— Уязвимы для ребенка? — Дэйв отодвинулся и пристально посмотрел на нее.

— Разве ребенок понимает разницу между тем, что правильно, а что нет?

— Он научится понимать.

— Но ведь ребенок такой маленький... Он просто не знает, что такое мораль и совесть... — Она оборвала свою мысль и резко обернулась. — Этот шорох. Что это?

Лейбер огляделся:

— Я ничего не слышал...

Она, не мигая, смотрела прямо перед собой. Лейбер пересек комнату, открыл дверь в библиотеку и включил свет:

— Здесь никого нет. — Он повернулся к жене. — Ты устала. Идем спать.

Они погасили свет и молча поднялись наверх.

— Прости меня за все эти глупости. Я, наверное, действительно очень устала, — сказала Алиса.

Дэвид кивнул. Она нерешительно помедлила перед дверью в детскую. Потом резко взялась за ручку и распахнула дверь.

Он видел, как она подошла к кроватке, наклонилась над ней и отшатнулась, как будто ее ударили.

— Дэвид!

Лейбер быстро подошел к ней.

Лицо ребенка было ярко-красным и очень влажным, его крошечный ротик открывался и закрывался, открывался и закрывался, глаза были темно-синими. Он беспорядочно двигал руками, сжимая пальцы в кулачки.

— О, — сказал Дэйв, — да он, видно, долго плакал.

— Плакал? — Алиса покачнулась и, чтобы удержать равновесие, схватилась за перекладину кроватки. — Я ничего не слышала.

— Но ведь дверь была закрыта!

— Поэтому он тяжело дышит, и лицо у него такое красное?

— Конечно. Бедный малыш. Плакал один, в темноте. Пускай он сегодня спит в нашей комнате. Если опять заплачет, мы будем рядом.

— Ты испортишь его, — сказала Алиса.

Лейбер чувствовал на себе ее пристальный взгляд, когда катил кроватку в их спальню. Он молча разделся и сел на краешек кровати. Потом поднял голову, чертыхнулся в душе и щелкнул пальцами:

— Совсем забыл сказать тебе. В пятницу я должен лететь в Чикаго.

— О Дэвид, — прошептала Алиса.

— Я откладывал эту поездку уже два месяца, а теперь это просто необходимо. Я обязан ехать.

— Мне страшно оставаться одной...

— С пятницы у нас будет новая кухарка. Она поживет с тобой, а я буду отсутствовать всего несколько дней.

— Я боюсь. Я даже не знаю, чего. Ты не поверишь, если я скажу тебе. Кажется, я схожу с ума.

Он был уже в постели. Алиса выключила свет, подошла и, откинув одеяло, легла рядом.

— Если хочешь, я могу подождать несколько дней, — неуверенно сказал он, впитывая тепло и аромат ее тела.

— Нет, поезжай, — ответила Алиса, — это важно, я понимаю. Только я никак не могу перестать думать о том, что сказала тебе. Законы, любовь, защита. Любовь защищает тебя от меня. Но ребенок... — Она глубоко вздохнула. — Что защищает тебя от него?

Прежде чем он смог ответить, прежде чем он смог сказать ей: как глупо так рассуждать о младенце, она внезапно включила ночник, висевший над кроватью.

— Смотри, — воскликнула Алиса.

Ребенок лежал и глядел на них широко раскрытыми голубыми глазами.

Дэвид выключил свет и лег. Алиса, дрожа, прижалась к нему:

— Это ужасно — бояться существа, тобой же рожденного.

Ее голос понизился до шепота, стал почти неслышим:

— Он пытался убить меня! Он лежит и слушает, о чем мы говорим. Ждет, пока ты уедешь, чтобы тогда уж наверняка убить меня. Я клянусь тебе! — Она разразилась рыданиями.

— Ну, ну! Успокойся, — обнял ее Дэвид.

Она долго плакала в темноте. Было уже очень поздно, когда она наконец уснула. Но даже во сне все еще продолжала вздрагивать и всхлипывать. Дэвид тоже задремал. Но прежде чем его ресницы окончательно сомкнулись, уже погружаясь в глубокий поток сновидений, он услышал странный приглушенный звук. Сопение сквозь маленькие пухлые губы. Ребенок... И потом — сон.

Утром светило солнце. Алиса улыбалась. Дэвид крутил свои часы над детской кроваткой:

— Видишь, малыш? Что-то блестящее. Что-то красивое.

Алиса улыбалась. Она сказала, чтобы он отправлялся в Чикаго. Она будет молодчиной, ему не о чем беспокоиться. Она позаботится о ребенке. Да, она позаботится о нем. Все будет в порядке.

Самолет взлетел в небо и взял курс на восток. Впереди было солнце, облака и Чикаго, приближавшийся со скоростью 600 миль в час. Дэйв окунулся в атмосферу указаний, телефонных звонков, банкетов, деловых встреч. Тем не менее он каждый день посылал письмо или телеграмму Алисе и малышу.

На шестой день вечером в его номере раздался долгий телефонный звонок, и он сразу понял, что на проводе Лос-Анджелес.

— Алиса?

— Нет, Дэйв. Это Джефферс.

— Доктор?!

— Собирайся, старина. Алиса больна. Лучше бы тебе следующим же рейсом вылететь домой. У нее пневмония. Я сделаю все, что могу. Если бы не сразу после родов! Она очень слаба.

Лейбер положил трубку. Поднялся, не чувствуя ни рук, ни ног. Тело стало чужим. Комната наполнилась серым туманом.

— Алиса, — проговорил он, невидящим взглядом уставившись на дверь.

Пропеллеры замерли, отбросив назад время и пространство. Только в собственной спальне к Дэйвиду стало возвращаться ощущение окружающей среды. Первое, что он увидел — фигуру доктора Джефферса, склонившегося над постелью, в которой лежала Алиса.

Доктор медленно выпрямился и подошел к Дэйву.

— Твоя жена — слишком хорошая мать. Она больше заботилась о ребенке, чем о самой себе...

На бледном лице Алисы промелькнула горькая улыбка. Потом она начала рассказывать. В ее голосе слышались гнев, страх и полная обреченность.

— Он никак не хотел спать. Я думала, он заболел. Лежал, уставившись в одну точку, а поздно ночью начал кричать. Очень громко, и всю ночь напролет, каждую ночь... Я не могла успокоить его и прилечь на минутку.

Доктор Джефферс медленно кивнул.

— Довела себя до пневмонии. Ну, теперь мы ее начинили антибиотиками и дело идет на поправку.

— А ребенок? — устало спросил Дэвид.

— Здоров, как бык. Гуляет с кухаркой.

— Спасибо, доктор.

Джефферс собрал свой чемоданчик и, попрощавшись, ушел.

— Дэвид! — Алиса порывисто схватила его руку. — Это все из-за ребенка. Я пытаюсь обмануть себя, думаю, может, все это глупости. Но это не так! Он знал, что я еле на ногах стою после больницы, поэтому и кричал каждую ночь. А когда не кричал, то лежал совсем тихо. Если я зажигала свет, он смотрел на меня в упор, не мигая.

Дэвид почувствовал, что все в нем напряглось. Он вспомнил, что и сам не раз видел эту картину. Ребенок молча лежал в темноте с открытыми глазами. Он не плакал, а пристально смотрел из своей кровати.

Дэвид постарался отогнать эти мысли. Это было безумие.

Алиса между тем продолжала рассказывать.

— Я хотела убить его. Да, хотела. Через день после твоего отъезда. Я пошла в его комнату и положила руки ему на горло. И так я стояла долго-долго. Но я не смогла! Тогда я завернула его в одеяло, перевернула на живот и прижала лицом к подушке. Потом я выбежала из комнаты.

Дэвид пытался остановить ее.

— Нет, дай мне закончить, — хрипло сказала она, глядя в сторону. — Когда я выбежала из детской, я думала, все это просто. Дети задыхаются каждый день. Никто бы и не догадался. Но когда я вернулась, чтобы застать его мертвым, Дэвид, он был жив! Да, он перевернулся на спину, дышал и улыбался! После этого я не могла прикоснуться к нему. Я бросила его и не приходила даже кормить. Наверное, о нем заботилась кухарка, не знаю. Знаю только, что своим криком он не давал мне спать, и я мучалась все ночи и металась по комнате, и теперь я больна. А он лежит и думает, как бы убить меня. Попроще. Он понимает — я слишком много знаю о нем. Я не люблю его. У меня от него нет никакой защиты и не будет никогда.

Алиса выговорила. Бессильно откинувшись на подушку, она некоторое время лежала с закрытыми глазами, затем уснула. Дэвид долго стоял над ней не в силах сдвинуться с места. Кровь стыла в его жилах, казалось, все клетки замерли в оцепенении.

На следующее утро он сделал единственное, что ему оставалось. Он пошел к доктору Джефферсу и все ему рассказал. Ответ доктора был весьма хладнокровным:

— Не стоит расстраиваться, старина. В некоторых случаях матери ненавидят своих детей, и мы, врачи, считаем это совершенно естественным. У нас есть даже специальный термин для этого явления — амбивалентность. Способность ненавидеть любя. Любовники, например, очень часто ненавидят друг друга. Дети ненавидят матерей...

Лейбер прервал его:

— Я никогда не испытывал ненависти к своей матери.

— Конечно, ты не признаешь этого. Люди не любят признаваться в таких вещах. Зачастую эта ненависть бывает абсолютно бессознательна.

— Но Алиса признает, что ненавидит своего ребенка.

— Точнее скажем, у нее есть навязчивая идея. Она сделала шаг вперед от примитивной амбивалентности. Кесарево сечение дало жизнь ребенку и чуть было не стоило жизни

матери. Она винит ребенка в своем предсмертном состоянии и в пневмонии. Она путает причину и следствие и сваливает вину за свои беды на самый удобный объект. Господи! Да мы все так делаем! Мы спотыкаемся о стул и проклинаем его, а не нашу неловкость. Если мы промазали, играя в гольф, то ругаем клюшку, мячик, неровную площадку. Если неприятности в бизнесе, мы обвиняем Бога, погоду, судьбу, но только не самих себя. Я могу повторить тебе только то, что говорил раньше. Люби ее. Духовный покой и гармония — лучшее лекарство. Найди способы продемонстрировать ей свои чувства, придай ей уверенности в себе. Помоги ей понять, какое невинное и безобидное существо — ребенок. Убеди ее, что ради ребенка стоило рискнуть жизнью. Придет время, все уляжется, она забудет о смерти и полюбит ребенка. Если через месяц не успокоится, дай мне знать. Я подыщу хорошего психиатра. А теперь иди к Алисе, и не надо делать такую постную физиономию.

Когда наступило лето, страсти, казалось, действительно стали утихать. Дэвид, хотя и был поглощен работой, находил время и для своей жены. Она, в свою очередь, много времени проводила на воздухе — гуляла, играла с соседями в бадминтон. Стала более уравновешенной. Казалось, она забыла о своих страхах...

Алиса проснулась дрожа. За окном лил дождь и завывал ветер. Алиса схватила мужа за плечо и трясла, пока он не проснулся и не спросил сонным голосом, что случилось.

— Кто-то здесь, в комнате. Он следит за нами, — прошептала она.

Дэйв включил свет.

— Тебе показалось, — сказал он. — Успокойся, все хорошо. У тебя уже давно этого не было.

Она глубоко вздохнула, когда он выключил свет, и внезапно сразу уснула. Дэйв обнял ее и задумался о том, какая славная и вместе с тем странная женщина его жена. Прошло примерно полчаса.

Он услышал, как скрипнула и приоткрылась дверь в спальню. Дэвид знал, что за дверью никого нет, а потому нет смысла вставать и закрывать ее.

Однако ему не спалось. Он долго лежал в темноте. Кругом была тишина. Наверное, прошел еще час.

Вдруг из детской раздался пронзительный крик. Это был одинокий звук, затерянный в пространстве из звезд, темноты и дыхания Алисы, лежащей рядом.

Лейбер медленно сосчитал до ста. Крик продолжался. Стараясь не потревожить Алису, он выскользнул из постели, надел тапочки и прямо в пижаме двинулся из спальни.

«Надо спуститься вниз, — подумал он. — Подогреть молока и...»

Дэвид поскользнулся на чем-то мягком и полетел в темноту. Инстинктивно расставив руки, ухватился за перила лестницы и выругался.

Предмет, на который он наступил, скользнул вниз и шлепнулся на ступеньку. Волна ярости накатила на Дэйва:

— Какого черта нужно разбрасывать вещи на лестнице!

Он наклонился и поднял предмет, чуть было не лишивший его жизни.

Пальцы Дэйва похолодели. У него перехватило дыхание. Вещь, которую он держал в руках, была игрушкой. Нескладной, сшитой из лоскутков куклой, купленной им для ребенка.

На следующий день Алиса сама решила отвезти его на работу. На полпути она вдруг свернула к обочине и затормозила. Затем медленно повернулась к мужу:

— Я хочу куда-нибудь уехать. Я не знаю, сможешь ли ты сейчас взять отпуск, если нет, то отпусти меня одну. Пожалуйста. Мы могли бы кого-нибудь нанять, чтобы присмотрели за ребенком. Но мне необходимо уехать на время. Я думала, я отделаюсь от этого... от этого ощущения, но я не могу Я не могу оставаться с ним в комнате. Он смотрит на меня, как будто смертельно ненавидит. Я не могу заставить себя прикоснуться к нему... Я хочу уехать, прежде чем что-нибудь случится.

Он молча вышел из машины, обошел ее кругом и знаком попросил Алису подвинуться.

— Все, что тебе нужно, — это побывать у психиатра. Если он предложит тебе отдохнуть, я согласен. Но так это не может продолжаться. У меня просто голова идет кругом. — Дэвид устроился за рулем и включил зажигание. — Дальше я поведу машину сам.

Она опустила голову, пытаясь удержать слезы.

Когда они подъехали к конторе Дэйва, Алиса повернулась к нему:

— Хорошо. Договорись с доктором, я готова поговорить, с кем ты скажешь.

Он поцеловал ее.

— Вот теперь, мадам, вы рассуждаете разумно. Ты в состоянии добраться домой самостоятельно?

— Конечно, чудак.

— Тогда до ужина. Поезжай осторожно.

— Я всегда так езжу. Пока.

Отступив на обочину, Дэвид посмотрел вслед удаляющейся машине.

Придя в кабинет, он первым делом позвонил Джефферсу и попросил договориться о приеме у хорошего психиатра.

День тянулся невыразимо долго, дела не клеились. Его сознание было окутано каким-то туманом, в котором ему виделось искаженное ужасом лицо Алисы, повторяющей его имя. Ей все-таки удалось внушить ему свои страхи. Она сумела убедить его, что ребенок не совсем нормален.

Он диктовал какие-то нудные письма Разговаривал с бестолковыми клерками. Подписывал никому не нужные бумаги. В конце дня он был, как выжатый лимон, голова раскалывалась от боли, и радовало его только то, что можно наконец поехать домой.

В лифте он подумал: «А что, если б я сказал Алисе про игрушку — про ту тряпичную куклу, о которую поскользнулся ночью на лестнице? Бог мой, да это совсем выбило бы ее из колеи. Нет. Ни за что. Мало ли что бывает.»

Уже начинало смеркаться, когда такси подкатило к дому. Расплатившись с шофером, Дэвид вышел из машины и зашагал по бетонной дорожке.

Дом почему-то казался очень молчаливым, необитаемым. Дэвид вспомнил, что сегодня пятница и, значит, кухарка со второй половины дня свободна. Алиса же, наверное, уснула, измотанная своими страхами.

Он вздохнул и повернул ключ в замочной скважине. Дверь беззвучно поддалась на хорошо смазанных петлях.

Дэвид вошел, бросил шляпу на стул рядом с портфелем. Затем начал снимать плащ, случайно взглянул на лестницу и замер..

Лучи заходящего солнца проникали через боковое окно и освещали яркие лоскутки тряпичной куклы, лежавшей на верхней ступеньке.

Но на куклу он почти не обратил внимания. Его взгляд был прикован к Алисе, лежавшей на лестнице в неестественной позе сломанной марионетки, которая больше не может

танцевать. Она была мертва.

Если не считать грохота ударов его сердца, в доме царила абсолютная тишина. Алиса была мертва!!!

Он бросился к ней, сжал в ладонях ее лицо. Тронул ее за плечи. Попытался посадить, бессвязно выкрикивая ее имя. Все было напрасно.

Он оставил ее и бросился наверх. Распахнул дверь в детскую, подбежал к кроватке.

Ребенок лежал с открытыми глазами. Его личико было таким потным и красным, будто он долго плакал.

— Она умерла, — сказал Лейбер ребенку, — она умерла.

Он захохотал сначала тихо, потом все громче и громче. В таком состоянии и застал его Джефферс, который был обеспокоен звонком и пришел проведать Алису.

После нескольких крепких пощечин Дэвид пришел в себя.

— Она упала с лестницы, доктор. Она наступила на куклу и упала. Сегодня ночью я сам чуть было не упал из-за этой куклы. А теперь...

Джефферс энергично потряс его за плечи.

— Доктор, доктор, — Дэвид улыбнулся, как пьяный, — вот забавно. Я наконец придумал имя для этого малыша.

Доктор молчал.

— Я буду крестить его в воскресенье. Знаешь, какое имя я ему дам? Я назову его Люцифером.

Было уже 11 часов вечера. Все эти странные и почти незнакомые люди, выразившие свое соболезнование, наконец ушли. Дэвид и Джефферс сидели в библиотеке.

— Алиса не была сумасшедшей, — медленно сказал Дэвид, — у нее были основания бояться ребенка.

Доктор предостерегающе поднял руку:

— Она обвиняла его в своей болезни, а ты — в убийстве. Мы знаем, что она наступила на игрушку и поскользнулась. При чем же здесь ребенок?

— Ты хочешь сказать Люцифер?

— Не надо так называть его.

Дэвид покачал головой.

— Алиса слышала шорох по ночам, какой-то шум в холле. Ты хочешь знать, кто его издавал? Ребенок. В свои четыре месяца он прекрасно умеет передвигаться в темноте и подслушивать наши разговоры. А если я зажигал свет, ребенок ведь такой маленький. Он может спрятаться за мебелью, за дверью...

— Прекрати! — прервал его Джефферс.

— Нет, позволь мне сказать то, что я думаю. Иначе я сойду с ума. Когда я был в Чикаго, кто не давал Алисе спать и довел ее до пневмонии? Ребенок! А когда она все-таки выжила, он попытался убить меня. Это ведь так просто — оставить игрушку на лестнице и кричать в темноте, пока отец не спустится вниз за молоком и не поскользнется. Просто, но эффективно. Со мной это не сработало, а Алиса мертва.

Дэвид закурил сигарету.

— Мне уже давно нужно было сообразить. Я же включал свет ночью. Много раз. И всегда он лежал с открытыми глазами. Дети обычно все время спят, если они сыты и здоровы. Только нет Он не спит, он думает.

— Дети не думают.

— Но он не спит, а, значит, мозги у него работают. А что мы, собственно, знаем о психике младенцев? У него были причины ненавидеть Алису. Она подозревала, что он — не совсем нормальный ребенок. Совсем, совсем необычный. Что ты знаешь о детях, доктор? Общий ход развития? Да. Ты знаешь, конечно, сколько детей убивают своих матерей при рождении. За что? А может, это месть за то, что их выталкивают в этот непривычный для них мир? — Дэвид наклонился к доктору. — Допустим, что несколько детей из миллионов рождаются способными сразу передвигаться, видеть, слышать, как многие животные и насекомые. Насекомые рождаются самостоятельными. Многие звери и птицы становятся самостоятельными за несколько недель. А у детей уходят годы на то, чтобы научиться говорить и уверенно передвигаться. А если один ребенок на миллиард рождается совсем не таким? Если от рождения он наделен разумом и способен думать? Инстинктивно, конечно. Он может прикинуться обычным, слабым, беспомощным, кричащим. И без особого ущерба для себя ползать в темноте по дому и слушать, слушать. А как легко подложить какой-нибудь предмет на лестницу! Как легко кричать всю ночь и довести мать до пневмонии! Как легко при рождении так прижаться к матери, что несколько ловких движений обеспечат перитонит!

— Ради Бога, прекрати, — Джефферс вскочил на ноги. — Какие чудовищные вещи ты говоришь!

— Да, я говорю чудовищные вещи. Сколько матерей умирает при родах! Сколько их, давших жизнь странным маленьким существам и заплатившим за это своей жизнью? А кто они, эти существа? О чем думают их мозги, находящиеся во тьме материнской утробы? Примитивные маленькие мозги, подогреваемые клеточной памятью, ненавистью, грубой жестокостью, инстинктом самосохранения.

А самосохранение в этом случае означает устранение матери — ведь она подсознательно понимает, какое чудовище рождает на свет. Скажи-ка, доктор, есть ли на свете что-либо более эгоистичное, чем ребенок?

Доктор нахмурился и покачал головой. Лейбер опустил сигарету.

— Я не приписываю такому ребенку сверхъестественной силы. Достаточно уметь ползать, всего на несколько месяцев опережая нормальное развитие. Достаточно уметь слушать. Достаточно уметь кричать всю ночь. Этого достаточно, даже более, чем достаточно.

Доктор попытался обратить все в шутку:

— Это обвинение в преднамеренном убийстве. В таком случае убийца должен иметь определенные мотивы. А какие мотивы могут быть у ребенка?

Лейбер не заставил себя ждать с ответом:

— А что может быть на свете более удобным и спокойным, чем состояние ребенка в чреве матери? Его окружает блаженный мир питательной среды, тишины и покоя. И из этого совершенного уюта ребенок внезапно выталкивается в наш огромный мир, который своей несхожестью со всем, что было раньше, кажется ему чудовищным. Мир, где ему холодно и неудобно, где он не может есть, когда и сколько хочет, где он должен добиваться любви, которая раньше была его неотъемлемым правом. И ребенок мстит за это. Мстит за холодный воздух и огромные пространства, мстит за то, что у него отнимают привычный мир. Ненависть и эгоизм, заложенные в генах, руководят его мыслями. А кто виноват в этой грубой смене окружающей среды? Мать! Так абстрактная ненависть ребенка ко всему внешнему миру приобретает конкретный объект, причем чисто инстинктивно. Мать

извергает его, изгоняет из своей утробы. Так отомсти ей! А кто это существо рядом с матерью? Отец? Гены подсказывают ребенку, что он тоже каким-то образом виноват во всем. Так убей и отца тоже!

Джефферс прервал его:

— Если то, что ты говоришь, хоть в какой-нибудь степени близко к истине, то каждая мать должна бояться или, по крайней мере, остерегаться своего ребенка.

— А почему бы и нет? Разве у ребенка нет идеального алиби? Тысячелетия слепой человеческой веры защищают его. По всем общепринятым понятиям он беспомощен и невинен. Но ребенок рождается с ненавистью. И со временем положение еще более ухудшается. Новорожденный получает заботу и внимание. Когда он кричит или чихает, у него достаточно власти, чтобы заставить родителей прыгать вокруг него и делать разные глупости. Но проходят годы, и ребенок чувствует, что его власть исчезает и никогда уже не вернется. Так почему не использовать ту полную власть, которую он пока имеет? Почему не воспользоваться положением, которое дает такие преимущества? Опыт предыдущих поколений подсказывает ему, что потом уже будет слишком поздно выразить свою ненависть. Только сейчас нужно действовать. — Голос Лейбера понизился почти до шепота. — Мой малыш лежит по ночам в кроватке с влажным и красным лицом. Он тяжело дышит. От плача? Нет, от того, что ему приходится выбираться из кроватки и в темноте ползти по комнате. Мой малыш... Я должен убить его. Иначе он убьет меня.

Доктор поднялся, подошел к столу и налил в стакан воды.

— Никого ты не убьешь, — спокойно сказал он. — Тебе нужно отдохнуть. Я дам тебе таблетки, и ты будешь спать двадцать четыре часа. А потом мы подумаем, что делать дальше. Прими это.

Дэвид проглотил таблетки и запил их водой. Он не сопротивлялся, когда доктор провожал его в спальню и укладывал спать. Джефферс подождал, пока он уснет, и ушел, погасив свет и взяв с собой ключи Дэвида.

Сквозь тяжелую дремоту Дэвид услышал какой-то шорох у двери. «Что это?» — слабо пронеслось в сознании. Что-то двигалось в комнате. Но Дэвид Лейбер уже спал.

Было раннее утро, когда доктор Джефферс вернулся. Он провел бессонную ночь, и какое-то смутное беспокойство заставило его приехать раньше, хотя он был уверен, что Лейбер еще спит.

Открыв ключом дверь, Джефферс вошел в холл и положил на столик саквояж, с которым никогда не расставался. Что-то белое промелькнуло наверху лестницы. А может, ему просто показалось?

Внимание Джефферса привлек запах газа в доме. Не раздеваясь, он бросился наверх, в спальню Лейбера. Дэвид неподвижно лежал на кровати. Комната была наполнена газом, со свистом выходящим из открытой форсунки отопительной системы, находящейся у самого пола. Джефферс быстро нагнулся и закрыл кран. Затем он распахнул окно и бросился к Лейберу. Тело Дэвида уже похолодело. Смерть наступила несколько часов назад.

Джефферса душил кашель, глаза застилала слезы. Он выскочил из спальни и захлопнул за собой дверь. Лейбер не открывал газ. Он физически не мог бы этого сделать. Снотворное должно было отключить его по крайней мере до полудня. Это не было самоубийство. А может все-таки..?

Джефферс задумчиво подошел к двери в детскую. К его удивлению, дверь оказалась

запертой на замок. Джефферс нашел в связке нужный ключ и, открыв дверь, подошел к кровати. Она была пуста.

С минуту доктор был в оцепенении, затем неторопливо произнес вслух:

— Дверь захлопнулась. И ты не смог вернуться обратно в кровать, где был бы в полной безопасности. Ты не знал, что эти замки могут сами случайно защелкиваться. Самые грандиозные планы рушатся из-за таких вот мелочей. Я найду тебя, где бы ты ни прятался... — Доктор смолк и поднес ладонь ко лбу. — Господи, кажется, я схожу с ума. Я говорю, как Алиса и Дэвид. Но их уже нет в живых, а значит, у меня нет выбора. Я ни в чем не уверен, но у меня нет выбора!

Он спустился вниз и достал из саквояжа какой-то предмет. Где-то сбоку послышался шорох, и Джефферс быстро обернулся. «Я помог тебе появиться в этом мире, а теперь должен помочь уйти из него», — подумал он и сделал несколько шагов вперед, подняв руку. Солнечный свет заиграл на предмете, который он держал в руке.

— Смотри-ка, малыш! Что-то блестящее, что-то красивое!

Это был скальпель.

Ну, конечно, он уезжает, ничего не поделаешь: настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может, даже в Калифорнию, — двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он сорок три года назад.

— Уилли! — окликнули снизу.

— Сейчас!

Он подхватил чемодан. В зеркале на комодке он увидел свое отражение: золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется.

— Пора! — снова окликнул женский голос.

— Иду!

Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.

— Вот и я! — крикнул с порога Уилли.

У Анны стало такое лицо — вот-вот заплачет.

— О господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?

— Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых три года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю — пора собираться в дорогу.

— Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли.

— Я вам буду писать каждое рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо.

— Мы были рады и счастливы. — Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. — Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что тебе нельзя остаться.

— Вы славные люди, лучше всех, у кого я жил, — сказал Уилли.

Он был четырех футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы.

И тут Анна все-таки заплакала.

— Уилли, Уилли...

Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет; она смотрела смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.

— Не так-то легко уходить, — сказал Уилли. — Привыкаешь. И рад бы остаться. Но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить: мол, какой ужас! Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались! Мол, подумать страшно! Ну, и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это

были три года, спасибо вам!

Все трое направились к двери.

— Куда ты теперь, Уилли?

— Сам не знаю. Куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и остановлюсь.

— Ты когда-нибудь вернешься?

— Да, — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. — Лет через двадцать по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей.

Они стояли на крыльце, овеваемые прохладой летнего утра, очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощанья. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.

— А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?

Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли.

— Да я уже пять раз переменял родителей — лет двадцать так путешествую, побывал в пяти городах.

— Ладно, жаловаться нам не на что, — сказал Стив. — Хоть три года был сын, все лучше, чем ничего.

— Ну что ж, — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу, под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь, — самый настоящий мальчишка.

Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей проносится по траве и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони — и так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли.

Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние три года, уже истраченные без остатка, и пять лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и в самом деле было одиннадцать, двенадцать, четырнадцать лет, и в ушах зазвучали голоса:

— Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка?

— Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?

— Уилли, ты уже куришь?

Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом — голос матери:

— Сегодня Уилли исполняется двадцать один!

И тысяча голосов:

— Приходи, когда тебе исполнится пятнадцать, сынок, тогда, может, и найдется для тебя работа.

Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь — бесконечная лента лет скручена, свернута в тугий комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось двенадцать. Он слышал шаги по траве: ребята идут к нему, вот они стали вокруг и заслонили солнце, они выросли.

— Уилли, ты куда собрался? — Кто-то пнул ногой его чемодан.

Как они вытянулись. В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над

головами, поманило — и они тянутся к нему, вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянушка, покорная властному притяжению небес, они растут и растут, им по тринадцать, по четырнадцать, они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось месяца четыре назад.

— Пошли играть, мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?

— Ну-у, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем.

И они обгоняют его, их притягивают солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему двенадцать, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев:

— Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив.

— У вас в роду все такие коротышки, Анна?

И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди «своих» снова надо вырвать все корни.

— Уилли, ты куда собрался?

Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны — к фонтанчику для питья.

— Еду на неделю погостить к родным.

— А-а.

Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан да, может, чуть позавидовали — вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места...

— Покидаемся немножко? — предложил Уилли.

Они согласились без особой охоты, просто чтоб уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал; белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль, жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед-назад! Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик Бенд штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители, первый год! Вперед-назад! Генри и Элис Болц, Лаймвил, штат Айова, 1935 год! Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итоны Робинсоны! 1939! 1945! Бездетная чета — одна, другая, третья! Стучись в дверь — в одну, в другую.

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Уильям. Можно мне...

— Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?

Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа.

— Похоже, что ты издалека, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?

— Нет.

— Так ты сирота, мальчик?

...И другой стакан молока.

— Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает, почему. Бывает же так. Что поделаешь. Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?

— Нету у меня дома.

— У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.

— Нету у меня никакого дома, и родных на свете никого. Может быть... можно... можно, я у вас сегодня переночую?

— Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, — говорит муж. — Мы никогда не думали взять в дом...

— У нас нынче на ужин цыпленок, — перебивает жена. — Хватит на всех, хватит и на гостя...

И летят, сменяются годы, голоса, лица, люди, и всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер — последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон, вечер, когда она открыла его секрет; она сидит в качалке, он слышит ее голос:

— Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю — такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать — вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости, да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать! До сих пор помню стихи Вордсворта: «Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени дерев, у синих вод». Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки, хоть я знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше всего недостает во взрослых людях — девять из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни энергии, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Уилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки? Ты счастлив? Легко у тебя на душе — или ты только с виду такой?

Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила свое:

— Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли и оказалось, что на работу меня никуда не берут, я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех.

«Сынок, — говорили мне, — ты же не лилипут, а если и лилипут, все равно, с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи». И я пустился бродить по свету и все думал: кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю, как мальчишка, так лучше мне и оставаться мальчишкой. Вой — не вой, плачь — не плачь, что толку! Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял: «Эх, нету у меня детей... вот были бы у меня детишки...» И все качал головой. А я как сидел неподалеку, с куском шницеля на вилке, так и застыл! В эту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашла и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, что мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегая на посылках, может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело — чтоб мать на меня радовалась да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я. И улыбнулся ему...

— Но послушай, Уилли, — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили. — Наверно, тебе иногда бывает тоскливо? И, наверно, хочется... разного... что нужно взрослому человеку?

— Я молчу и стараюсь это побороть, — сказал Уилли. — Я только мальчишка, — говорю я себе, — и я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры, все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым, и ребенком. Надо быть мальчишкой — и только. И я играю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз, бывало...

Он умолк.

— Люди, у которых ты жил, ничего не знали?

— Нет. Сказать им — значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дому — пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался — пускай меня усыновят. Так было лучше всего... пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, пять лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и кончено. Рано или поздно всему приходил конец.

— И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это — сорок лет с лишком оставаться ребенком?

— Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом... еще несколько лет, и я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты — все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче и я спокойно доиграю свою роль.

Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм — он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.

— В конце концов, ты ж не на край света уезжаешь, Уилли.

— Да, это верно... — Он все не трогался с места.

— Ну, пока, Уилли! Через неделю увидимся!

— Пока, до свиданья!

И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья, позади остались ребята и улица, где он жил, а когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.

И вот последнее, что он увидел и услышал: белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей взад-вперед, взад-вперед, и звенели голоса: «Раз-два-голова, три-четыре-отрубили!» — будто птицы кричали прощально, улетая далеко на юг.

Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, предрассветным холодом, и еще пахнет холодным железом — неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне... Он проснулся и взглянул в окно, на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие, приглушенные голоса, в холодном сумраке взад-вперед, взад-вперед качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.

— Сэр, — тихонько позвал Уилли.

Проводник остановился.

— Какой это город? — в темноте прошептал мальчик.

— Вэливил.

— Много тут народу?

— Десять тысяч жителей. А что? Разве это твоя остановка?

— Как тут зелено... — Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой городок. — Как тут славно и тихо, — сказал он.

— Сынок, — сказал ему проводник, — ты знаешь, куда едешь?

— Сюда, — сказал Уилли и тихо поднялся, и в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро, деловито собирать свои пожитки.

— Смотри, паренек, не наделай глупостей, — сказал проводник.

— Нет, сэр, — сказал Уилли, — я глупостей не наделаю.

Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, и редеет туман, и встает прохладное утро.

Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко, навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.

— Чего? — закричал проводник и приставил ладонь к уху.

— Пожелайте мне удачи! — крикнул Уилли.

— Желаю удачи, сынок! — крикнул проводник и улыбнулся, и помахал рукой. — Счастливо, мальчик!

— Спасибо! — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес.

Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих три минуты — двенадцатилетний мальчик на старой деревянной платформе, — и только потом наконец обернулся, и ему открылись поутреннему пустые улицы.

Вставало солнце, и, чтоб согреться, он пошел быстрым шагом — и вступил в новый город.

— Мы тебя ненавидим! — кричали шестнадцать мальчиков и девочек, окруживших Майкла. Дела его были плохи. Перемена уже кончилась, а мистер Ховард еще не появился.

— Мы тебя ненавидим!

Спасаясь от них, Майкл вскочил на подоконник. Дети открыли окно и начали стукать его вниз. В этот момент в класс вошел мистер Ховард.

— Что вы делаете! Остановитесь! — закричал он, бросаясь на помощь Майклу, но было уже поздно.

До мостовой было три этажа.

Майкл пролетел их и умер, не приходя в сознание.

Следователь беспомощно развел руками. Это же дети. Им всего восемь-девять лет. Они же не понимают, что делают.

На следующий день мистер Ховард уволился из школы.

— Но почему? — спрашивали его коллеги.

Он не отвечал, и только мрачный огонек вспыхивал у него в глазах. Он думал, что, если скажет правду, они решат, что он совсем свихнулся.

Мистер Ховард уехал из Мэдисон-сити и поселился неподалеку, в маленьком городке Грин-бэй.

Семь лет он жил, зарабатывая рассказами, которые охотно печатали местные журналы.

Он так и не женился. У всех его знакомых женщин было нечто общее — желание иметь детей.

На восьмой год его уединенной жизни, осенью, заболел один приятель мистера Ховарда, учитель. Заменить его было некем, и мистера Ховарда уговорили взять его класс.

Речь шла о замещении на несколько недель, и, скрепя сердце, он согласился.

Хмурым сентябрьским утром он пришел в школу.

— Иногда мне кажется, — сказал мистер Ховард, — что дети — это захватчики, явившиеся из другого мира.

Он остановился, и его взгляд испытующе заскользил по лицам маленьких слушателей. Одну руку он заложил за спину, а другая, как юркий зверек, перебежала от лацкана пиджака к роговой оправе очков.

— Иногда, — продолжал он, глядя на Уильяма Арнольда, Россела Новеля, Дональда Боуэра и Чарли Хэнкупа, — иногда мне кажется, что дети — это чудовища, которых дьявол вышвыривает из преисподней, потому что не может совладать с ними. И я твердо верю, что все должно быть сделано для того, чтобы исправить их грубые примитивные мозги.

Большая часть его слов, влетавших в мытые-перемытые уши Арнольда, Новеля, Боуэра и компании, оставалась непонятой. Но тон был устрашающим — все уставились на мистера Ховарда.

— Вы принадлежите к совершенно другой расе. Отсюда ваши интересы, ваши принципы, ваше непослушание, — продолжал свою вступительную речь мистер Ховард. — Вы не люди, вы — дети. И пока вы не станете взрослыми, у вас не должно быть никаких прав и привилегий.

Он сделал паузу и опустился на мягкий стул, стоявший у вытертого до блеска учительского стола.

— Вы, кажется, живете в мире фантазий, — сказал он, мрачно усмехнувшись. — Чтобы никаких фантазий у меня в классе! Вы у меня поймете, что, когда получаешь линейкой по рукам, это не фантазия, не волшебная сказка и не рождественский подарок! — Он фыркнул, довольный своей шуткой. — Ну, напугал я вас? То-то! Вы этого заслуживаете. Я хочу, чтобы вы не забывали, где находитесь. И запомните — я вас не боюсь. Я вас не боюсь!

Он, довольный, откинулся на спинку стула. Взгляды мальчиков были прикованы к нему.

— Эй! А вы о чем там шепчетесь? О черной магии?

Одна девочка подняла руку:

— А что такое «черная магия»?

— Мы обсудим это, когда два наших юных друга расскажут, о чем они беседовали. Ну, молодые люди, я жду!

Поднялся Дональд Боуэр:

— Вы нам не нравитесь. Вот о чем мы говорили.

Он сел на место.

Мистер Ховард сдвинул брови:

— Я люблю правду. Спасибо тебе за честность. Но я не терплю дерзостей. Ты останешься сегодня после уроков и вымоешь все парты в классе.

Возвращаясь домой из школы, мистер Ховард наткнулся на четырех учеников из своего класса. Чиркнув своей тростью по тротуару, он остановился около них.

— Что вы здесь делаете?

Два мальчика и две девочки бросились врассыпную, как будто трость мистера Ховарда прошлась по их спинам.

— А ну, — потребовал он. — Подойдите сюда и объясните, чем вы занимались, когда я подошел.

— Играли в «отраву», — сказал Уильям Арнольд.

— В «отраву»? Так-так, — мистер Ховард язвительно улыбнулся. — Ну и что же это за игра?

Уильям Арнольд прыгнул в сторону.

— А ну вернись сейчас же! — заорал мистер Ховард.

— Я же показываю вам, — сказал мальчик, перепрыгнув через цементную плиту тротуара, — как играют в отраву: если мы подходим к покойнику, мы через него перепрыгиваем.

— Что-что? — не понял мистер Ховард.

— Если вы наступите на могилу покойника, то вы отравлены, падаете и умираете, — вежливо пояснила Изабелла Скелтон.

— Покойники, могила, «отрава», — передразнил ее мистер Ховард. — Откуда вы все это взяли?

— Видите? — Клара Пэррис указала портфелем на тротуар. — Вот на той плите указаны имена двух покойников.

— Это просто смешно, — сказал мистер Ховард, посмотрев на плиту. — Здесь написаны имена подрядчиков, которые делали плиты для этого тротуара.

Изабелла и Клара обменялись взглядами и возмущенно уставились на обоих мальчиков.

— Вы же говорили, что это могилы! — почти одновременно закричали они.

Уильям Арнольд смотрел на носки своих ботинок:

— Да, в общем-то... я хотел сказать... — Он поднял голову. — Ой! Уже поздно. Я пойду

домой. Пока!

Клара Пэррис смотрела на два имени, вырезанных в плите.

— Мистер Келли и мистер Террил, — прочитала она. — Так это не могила? Они не похоронены здесь? Видишь, Изабелла, я же тебе говорила...

— Ничего ты не говорила, — надулась Изабелла.

— Чистейшая ложь, — стукнул тростью мистер Ховард. — Самая примитивная фальсификация. Чтобы этого больше не было. Арнольд и Боуэр, вам понятно?

— Да, сэр, — пробормотали мальчики неуверенно.

— Говорите громко и ясно! — приказал мистер Ховард.

— Да, сэр! — дружно ответили они.

— То-то же, — мистер Ховард двинулся вперед.

Уильям Арнольд подождал, пока он скрылся из виду и сказал:

— Хоть бы какая-нибудь птичка накакала ему на нос.

— Давай, Клара, сыграем в «отраву», — нерешительно предложила Изабелла.

— Он все испортил, — хмуро сказала Клара. — Я иду домой.

— Ой, я «отравился», — закричал Дональд Боуэр, падая на тротуар. — Смотрите! Я отравился! Умираю!

— Да ну тебя, — зло сказала Клара и побежала домой.

В субботу утром мистер Ховард выглянул в окно и выругался. Изабелла Скелтон что-то чертила мелом на мостовой прямо перед его окном и прыгала, монотонно напевая себе под нос. Негодование мистера Ховарда было так велико, что он тут же вылетел на улицу с криком «А ну, прекрати!», чуть не сбив девочку с ног. Он схватил ее за плечи и хорошенько потряс.

— Я только играла в классы, — заскулила Изабелла, размывая слезы грязными кулаками.

— Кто тебе разрешил здесь играть? — Он наклонился и носовым платком стер линии, которые она нарисовала мелом. — Маленькая ведьма. Тоже мне придумала, классы, песенки, заклинания. А все выглядит так невинно! У-у, злодейка! — Он размахнулся, чтобы ударить ее, но передумал.

Изабелла, всхлипывая, отскочила в сторону.

— Проваливай отсюда. И скажи всей своей банде, что им со мной не справиться. Пусть только попробуют сунуть сюда нос!

Он вернулся в комнату, налил полстакана бренди и выпил залпом. Потом весь день он слышал, как дети играли в пятнашки, прятки, колдуны. И каждый крик этих маленьких монстров болью отзывался в его сердце. «Еще неделя — и я сойду с ума, — подумал он. — Господи, почему ты не сделаешь так, чтобы все сразу рождались взрослыми?!»

Прошла неделя. Между ним и детьми быстро росла взаимная ненависть. Ненависть и страх, нервозность, внезапные вспышки безудержной ярости и потом молчаливое выжидание, затишье перед бурей.

Меланхолический аромат поздней осени окутал город. Дни стали короче, быстро темнело.

«Они меня не тронут, не посмеют тронуть, — думал мистер Ховард, потягивая одну рюмку бренди за другой. — Глупости все это. Скоро я уеду отсюда, уеду от них. Скоро я...»

Что-то стукнуло в окно. Он поднял глаза и увидел белый череп.

Дело было в пятницу, в восемь вечера. Позади была долгая, трудная неделя в школе. А тут еще перед домом вырыли котлован — надумали менять водопроводные трубы. И ему всю неделю пришлось гонять из котлована этих сорванцов — ведь они так любят торчать в таких местах, прятаться, лазить туда-сюда, играть в свои дурацкие игры. Но, слава Богу, трубы уложены. Завтра рабочие зароят котлован и сделают новую цементную мостовую. Плиты уже привезли. Тогда эти чудовища найдут себе другое место для игр.

Но вот сейчас... за окном белел череп.

Не было сомнения, что чья-то маленькая рука двигала его и постукивала им по стеклу. За окошком слышалось приглушенное хихиканье.

Мистер Ховард выскочил на улицу и увидел трех убегающих мальчишек. Ругаясь, на чем свет стоит, он бросился за ними в сторону котлована. Уже стемнело, но он очень четко различал их силуэты. Мистеру Ховарду показалось, что мальчишки остановились и перешагнули через что-то невидимое. Не успев обдумать увиденное, он ускорил бег, но тут нога его за что-то зацепилась и он рухнул в котлован.

«Веревка...» — пронеслось у него в сознании, прежде чем он со страшной силой ударился головой о трубу. Теряя сознание, он почувствовал, как лавина грязи обрушилась на его ботинки, брюки, пиджак, шею, голову, заполнила рот, уши, глаза, ноздри...

Утром, как обычно, хозяйка постучала в дверь мистера Ховарда, держа в руках поднос с кофе и румяными булочками. Она постучала несколько раз и, не дождавшись ответа, вошла в комнату.

— Странное дело, — сказала она, оглядевшись. — Куда мог подеваться мистер Ховард? Этот вопрос она неоднократно задавала себе в течение многих лет...

Взрослые — люди ненаблюдательные. Они не обращают внимания на детей, которые в погожие дни играют в «отраву» на Оук-Бэй-стрит. Иногда кто-нибудь из детей останавливается перед цементной плитой, на которой неровными буквами выдавлено «М. Ховард».

— Вилли, а кто это «мистер Ховард»?

— Не знаю, наверное, тот человек, который делал эту плиту.

— А почему так неровно написано?

— Откуда я знаю. Ты «отравился»! Ты наступил!

— А ну-ка, дети, дайте пройти! Вечно устроят игру на дороге...

Он помнил, как сосредоточенно, со знанием дела бралась бабушка за холодные цыплячьи потроха и вытягивала наружу удивительные штуки: влажные лоснящиеся кольца кишок, от которых шел густой мясной дух, комок сердца, весь из мышц, желудок с горсткой семян. Как аккуратно и красиво взрезывала бабушка цыпленка, протискивала внутрь свою пухленькую ручку и лишала его потрохов. Все внутренности бабушка раскладывала по отдельности: что-то она опускала в кастрюли с водой, что-то заворачивала в газету, для собаки, наверное. Затем подходило время набивать «чучело»: бабушка начиняла цыпленка специально приготовленным тестом и, наконец, заканчивала хирургическую операцию проворной сверкающей иглой, тугими стежками: раз, раз, раз.

В жизни одиннадцатилетнего Дугласа это действие занимало очень важное место.

В скрипучих ящиках кухонного стола он насчитал двенадцать ножей. Его старенькая бабушка, добрая седая колдунья с мягкими чертами лица, пользовалась этим реквизитом для сотворения своих чудес.

Дугласу полагалось вести себя тихо. Ему разрешалось стоять напротив бабушки и смотреть, но только не отвлекать ее пустой мальчишечьей болтовней от священнодействия! Разве не загляденье смотреть, как бабушка посыпает цыпленка из дырчатых серебряных приборов порошком из мумий, а может, толчеными костями индейцев, и бормочет себе под нос беззубым ртом таинственные заклинания.

— Бабуль, — сказал Дуглас, нарушив наконец молчание, — а у меня внутри тоже так?

И ткнул в цыпленка.

— Да, — ответила бабушка. — Только чуть больше порядка, а так то же самое...

— Во мне всего больше! — добавил Дуглас, гордый своими внутренностями.

— Да, — сказала бабушка, — больше.

— А у дедушки еще больше. Он так выпячивает свой живот, что может опираться на него локтями.

Бабушка рассмеялась и покачала головой.

— А у Люси Вильямс с нашей улицы, так у нее... — начал было Дуглас.

— Замолчи! — шикнула на него бабушка.

— Но у нее же...

— Не твоего ума дело, что там у нее! У нее совсем другое.

— А почему у нее другое?

— Вот помяни мое слово, прилетит однажды стрекоза и заштопает тебе рот, — сказала бабушка строго.

Дуглас выждал, а потом спросил:

— Бабушка, откуда ты знаешь, что у меня внутри все такое же?

— Знаю. Давай-ка, чеши отсюда!

Зазвонил колокольчик входной двери.

Дуглас пробежал по коридору и сквозь стекло входной двери увидел соломенную шляпу. Колокольчик звенел все настойчивей. Дуглас отворил.

— Доброе утро, малыш, хозяйка дома?

На Дугласа смотрели холодные глаза человека с вытянутым, гладким, древесного оттенка лицом. Незнакомец был высокий, худой. В руках он держал чемодан и «дипломат»,

под мышкой — зонтик. На нем были роскошные толстокожие перчатки, а на голове — соломенная шляпа, новая до неприличия.

Дуглас подался назад.

— Она занята.

— Я по объявлению, хотел бы снять комнату наверху.

— У нас десять постояльцев, и эту комнату уже сдали. Уходите!

— Дуглас! — За спиной внезапно выросла бабушка. — Здравствуйте! — сказала она незнакомцу. — Не обращайтесь внимания на ребенка.

Человек, без тени улыбки на лице, неуклюже переступил через порог на негнущихся ногах. Дуглас смотрел, как он поднимается по лестнице и исчезает из виду. Слышно было, как бабушка расписывает ему удобства, которыми отличается комната наверху.

Вскоре она спустилась вниз, чтобы выложить из бельевого шкафа стопку белья на вытянутые руки Дугласа и отправить его наверх, и живо, одна нога здесь, другая — там.

На пороге комнаты Дугласа словно что-то остановило. Комната как-то странно изменилась и все от того, что в нее только что вошел этот незнакомец. На кровати лежала его ломкая и ужасная соломенная шляпа, зонтик подпирал стену, как палка, и смахивал при этом на дохлую летучую мышь со сложенными черными крыльями.

Незнакомец стоял посреди комнаты, которая лишилась своего прежнего лица, весь длинный-предлинный.

— Вот! — Дуглас разбросал по кровати белье. — Мы садимся за стол ровно в полдень. Если вы не спуститесь к обеду вовремя, суп остынет. Бабушка готовит суп так, чтобы не слишком его перегреть!

Высокий таинственный незнакомец отсчитал десять новеньких медных пенсов и со звоном опустил Дугласу в карман куртки.

— Мы будем друзьями, — сказал он мрачно.

Чудно! Чтоб у взрослого человека и одни только пенсы, притом целая куча! И ни одной серебряной монетки, ни единого десятицентовика или четвертачка. Ничего, кроме блестящих медяков.

Дуглас хмуро поблагодарил его.

— Вот поменяю их на десятицентовую монету и брошу в копилку. У меня там шесть долларов пятьдесят центов мелочью. Я готовлюсь ехать в лагерь в августе.

— А теперь мне нужно помыться, — сказал высокий незнакомец.

Однажды в полночь Дугласа разбудили раскаты грома. Дом содрогался от порывов ветра, в окно колотил ливень. А потом ударила молния и беззвучно встряхнула все вокруг. Он помнил, какой чужой и страшной стала его комната, озаренная мгновенной вспышкой.

Теперь то же самое случилось и с этой комнатой. Он стоял и снизу вверх смотрел на чужака. Отныне эта комната не была похожа на самое себя, в ней произошла какая-то непостижимая перемена, и все из-за незнакомца, который, как стремительная молния, залил комнату своим собственным светом. Дуглас медленно пятился к двери, незнакомец двигался за ним.

Дверь захлопнулась у него перед носом.

Деревянная вилка с картофельным пюре отправилась в рот и вернулась обратно за новой порцией. Когда бабушка позвала обедать, мистер Коberman, так звали нового постояльца, принес с собой деревянную вилку, деревянный нож и деревянную ложку.

— Миссис Сполдинг, — сказал он тихим голосом, — вот, я передаю вам мой прибор, за едой я хотел бы пользоваться им, будьте так добры, когда будете накрывать на стол, не забывайте о нем... Сегодня я пообедаю, но с завтрашнего дня буду только завтракать и ужинать.

Бабушка сбилась с ног, бегая взад-вперед из кухни в столовую, подавая дымящиеся бобы, суп и пюре, стремясь угодить новому постояльцу и произвести на него впечатление. А в это самое время Дуглас сидел за столом и позвякивал своей серебряной вилкой о тарелку — он обнаружил, что его брэнчание раздражает мистера Кобермана.

— А я знаю фокус, — сказал Дуглас. — Смотрите.

И дзинькнул зубцом вилки, оттянув его пальцем. Он показывал в разные углы стола, как волшебник. И куда бы он ни ткнул, раздавалось протяжное металлическое пение, словно оттуда подает голос сказочный эльф. Тут все, конечно, просто. Он незаметно прижимал рукоятку вилки к столу. От дерева исходил дрожащий звук, и казалось, будто стол поет. Посмотришь со стороны — форменное колдовство.

— Там! И там! И з д е с ь! — выкрикивал Дуглас и самозабвенно играл на зубцах вилки.

Он показал в сторону суповой тарелки мистера Кобермана, и тарелка зазвенела.

Лицо мистера Кобермана одеревенело, на него стало страшно смотреть. Его передернуло. Он оттолкнул от себя тарелку с супом. И откинулся на спинку стула.

Вошла бабушка.

— Что-нибудь не так, мистер Коберман?

— Я не могу есть этот суп.

— Почему?

— Потому что я сыт и больше не хочу, спасибо.

Мистер Коберман покинул комнату, вращая глазами от ярости.

— Ну, что ты еще тут выкинул? — строго спросила бабушка Дугласа.

— Ничего такого. Бабушка, а почему у него деревянные ложки?

— Это тебя не касается! И вообще, когда наконец начнется твоя школа?

— Через семь недель.

— Это ж целая вечность! — ужаснулась бабушка.

Мистер Коберман работал по ночам. Каждое утро он заявлялся с таинственным видом к восьми, поглощал свой более чем скромный завтрак и заваливался спать в своей комнате, откуда не доносилось ни звука, и так дрых целый день, в самую умопомрачительную жару, а вечером вместе с остальными постояльцами поедал обильный ужин.

Из-за того, что у мистера Кобермана такой распорядок дня, Дугласу наказано было не шуметь. С этим нельзя было смириться. Поэтому как только бабушка уходила в гости к соседям, Дуглас принимался топтать вверх и вниз по лестнице, бить в барабан, запускать в дверь мистера Кобермана гольфовым шаром и орать, стоя у его двери, по три минуты без передышку, или спускать воду в туалете по семь раз подряд.

Мистер Коберман так ни разу и не шелохнулся. В его комнате царили мрак и безмолвие. Он не жаловался. Его вообще не было слышно. Он спал себе и спал. Это было подозрительно, даже очень.

Дуглас чувствовал, что в его груди ровным огнем горит раскаленная добела ненависть. Эта комната стала Землей Кобермана. А когда там жила мисс Сэдлоу, в ней все так и светилось от пестроты. Теперь же одни безжизненные голые стены, холодные, неродные, все

прибрано, вылизано, разложено по полочкам.

На четвертый день утром Дуглас поднялся наверх.

Между первым и вторым этажом было большое окно, состоящее из шестидюймовых цветных стекол: оранжевых, лиловых, синих, красных, — обрамлявших обычное прозрачное стекло. В те волшебные ранние утренние часы, когда солнечные лучи падали на лестничную площадку и скользили вниз по перилам, Дуглас стоял зачарованный у этого окна и любовался на окружающий мир сквозь разноцветные стекла.

Вот он, синий мир: синее небо, синие люди, синие трамваи, а вот семят синие собаки.

Он подошел к другому стеклу. А теперь — янтарный мир! Две женщины лимонного цвета проплыли мимо, напоминая дочерей Фу-Мань-Чжу! Дуглас хихикнул. Даже золото солнечного света становится в этом стекле чище.

В восемь утра внизу по тротуару прошагал мистер Коберман, возвращаясь со своей ночной работы. Ручка зонтика зацеплена за локоть, соломенная шляпа сидит на голове, приклеенная лучшим бриллиантом.

Дуглас подошел к новому стеклу. Мистер Коберман превратился в красного человека в красном мире с красными деревьями и цветами, но это еще не все.

Тут дело было в... самом мистере Кобермане.

Дуглас напряг зрение.

От красного стекла с мистером Коберманом что-то происходило. Что-то происходило с его лицом, костюмом и руками. Казалось, на нем растаяла одежда. Дуглас готов был поклясться, что на какое-то жуткое мгновение ему стали видны внутренности мистера Кобермана. От увиденного он остолбенел и припал к красному стеклу, глядя в него во все глаза.

Вдруг мистер Коберман посмотрел вверх, увидел Дугласа и замахнулся зонтиком, словно хотел ударить. И очертя голову бросился бежать через красную лужайку к входной двери.

— Молодой человек! — кричал он, взлетая по лестнице. — Чем это ты занимаешься?

— Просто смотрю, — пролепетал Дуглас.

— Ах, смотришь! — вопил мистер Коберман.

— Да, сэр. Смотрю сквозь стеклышки, и все становится разноцветным.

— Разноцветным, говоришь, — мистер Коберман покосился на стекла и побледнел.

— Как будто разноцветные миры: синий, красный, желтый...

Мистер Коберман взял себя в руки. Вытер платком лицо и засмеялся.

— Значит, разноцветные, — сказал он и пошел к своей двери. — Ну ладно, играй, играй.

Дверь захлопнулась. Коридор опустел. Мистер Коберман был у себя.

Дуглас пожал плечами и принялся смотреть сквозь новое стекло.

— Ух-ты! А теперь все фиолетовое!

Через полчаса, когда Дуглас копался в своей песочнице за домом, раздался грохот и звон. Он вскочил.

Через минуту на заднее крыльцо вышла бабушка, поигрывая ремнем для правки бритвы.

— Дуглас! Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не смел бросать у дома баскетбольный мяч! С таким же успехом можно было бы разговаривать со стенкой!

— Да я тут сидел, — запротестовал Дуглас.

— А ну, пойдика сюда, полюбуйся на свою работу, несносный мальчишка!

Огромное цветное окно рухнуло на лестничную площадку и разлетелось вдребезги, превратившись в радужное месиво. Среди осколков лежал мяч.

Не успел Дуглас рта раскрыть, чтобы сказать хоть слово в оправдание, как на его спину посыпались хлесткие жгучие удары, целая дюжина. И каждый раз, когда он с криком пытался присесть, ремень снова и снова обжигал его.

Некоторое время спустя Дуглас, сидя в песочнице, как страус, прятал свои переживания в песок и пытался утихомирить боль. Он-то знал, кто запустил мячом в окно. Человек в соломенной шляпе, человек с зонтом, человек из серой холодной комнаты. Да, да, да. Капнула слеза, другая. Ладно, погоди у меня!..

Слышно было, как бабушка подметает битое стекло. Она вынесла осколки во двор и высыпала в мусорный ящик. Метеоритным дождем полетели синие, розовые, желтые брызги.

Когда она ушла, Дуглас заставил себя встать и, все еще хныча от побоев, пошел туда и спас три кусочка этого драгоценного стекла. Мистеру Коберману цветные стекла не по нутру — стеклышки звякнули в ладони у Дугласа — значит, они стоят того, чтобы их сохранить.

Дедушка возвращался из редакции каждый вечер в пять часов, чуть раньше постояльцев. Когда коридор наполнялся звуком тяжелых шагов и массивная, красного дерева палка со стуком занимала свое место в подставке у вешалки, Дуглас бежал обнять необъятный живот деда и посидеть у него на колене, пока тот читает газету.

— Дедушка! Привет!

— Кто это вертится у меня под ногами? А! Привет, кроха!

— Бабушка сегодня опять цыпленка зарезала. До чего же интересно смотреть, как она это делает, — сказал Дуглас.

Дед оторвался от чтения.

— Уже второй цыпленок на этой неделе. Бабушка у нас по цыплятам специалист. Говоришь, интересно смотреть. Хм, хладнокровный малый!

— Я так, из любопытства.

— Да уж, — громыхнул дед, нахмутив брови. — Помнишь тот день, когда на станции погибла молодая женщина? Ты подошел как ни в чем ни бывало и стал глазеть на нее, а там кровь... — Дед хмыкнул. — Ну и тип же ты! Таким и оставайся. Ничего и никогда не бойся в жизни. Это ты, наверное, в отца пошел. Они, военные, такой народ, а ты был с ним, пока в прошлом году не переехал к нам жить.

Долгая пауза.

— Деда...

— Что?

— Вот если у человека нет сердца или легких, или, там, желудка, а он все равно ходит себе, живет? Это как?

— Это было бы чудо, — сказал дед громоподобным голосом.

— Я не про чудо, а... вот если бы у него внутри все было по-другому, ну не так как у нас с тобой?

— Какой же он тогда человек?

— Да, пожалуй, не человек. А у тебя, дедушка, есть сердце и легкие?

— Сказать по правде, не з н а ю. Не видел ни разу. В жизни к врачам не ходил,

рентгенов не делал. Так что, кто меня знает, а вдруг я внутри сплошной, как картошка.

— А у меня есть желудок?

— Еще бы! Как не быть! — воскликнула бабушка, стоя в дверях гостиной. — Я же этот желудок кормлю! И легкие у тебя есть, орешь так, что мертвый проснется. И руки у тебя грязные, марш мыться. Ужин готов. Дед, за стол. Дуглас, давай пошевеливайся.

В толчее постояльцев, спускавшихся к ужину, дед, если у него и возникло намерение продолжить странный разговор, возможность эту упустил. Задержись ужин хоть на минуту, ни бабушка, ни картошка этого бы не перенесли.

За столом весело болтали постояльцы. Один только мистер Коberman сидел молчаливый и угрюмый. Но вот дедушка откашлялся, и за столом воцарилась тишина. Он поговорил пару минут о политике, а затем сменил тему, и разговор зашел о странных смертельных случаях, что произошли недавно в городе.

— Этого достаточно, чтобы заставить старого редактора газеты держать ушки на макушке, — сказал дедушка, обводя всех взглядом. — Вот взять хотя бы молоденькую мисс Ларсон, что жила по ту сторону оврага. Три дня назад ее нашли мертвой, и непонятно от чего. Только все ее тело было разрисовано какими-то диковинными татуировками. А выражение на лице застыло такое, что и сам Данте содрогнулся бы. А та молодая женщина, как ее звали? Уайтли? Она так и не вернулась домой.

— Такие вещи происходят сплошь и рядом, — сказал мистер Бритц, механик из гаража, пережевывая что-то. — Вы заглядывали когда-нибудь в Бюро по розыску без вести пропавших? У них там вот такой список исчезнувших людей. — И показал какой. — Кто скажет, что с ними со всеми стряслось?

— Кому еще добавки? — спросила бабушка.

Дуглас смотрел и думал о том, что у цыпленка теперь два вида потрохов: те, что сотворил Бог, и те, что добавил человек.

Как насчет третьего вида?

А?

Почему бы и нет?

Разговор теперь шел о загадочной смерти того-то и того-то; да, а на прошлой *неделе*, помните, от сердечного приступа умерла Марион Барсумян, но, может, это не имеет отношения к тем смертям? Или имеет? Да вы с ума все посходили! Хватит об этом. Зачем вести такие разговоры за обеденным столом! Ну, вот и хорошо.

— Ума не приложу, — сказал мистер Бритц. — Может, у нас в городе завелся вампир?

Мистер Коberman перестал жевать.

— И это в тысяча девятьсот двадцать седьмом-то году? — воскликнула бабушка. — Вампир? Да бросьте!

— А что тут такого? — продолжал мистер Бритц. — Их приканчивают серебряными пулями. Или вообще любым серебряным предметом. Вампиры серебро на дух не переносят. Я как-то в книжке одной вычитал.

Дуглас смотрел на мистера Коbermana, который ел деревянным ножом и вилкой, а в кармане держал одни только новенькие медные пенсы.

— Так не годится, сразу наклеивать ярлыки, — сказал дедушка. — Откуда нам знать, что такое гоблины или вампиры, или тролли. Это может быть все, что угодно. Их по полочкам не разложишь, и никто тебе не скажет, чего от них ждать, а чего нет. Это было бы

наивно. Они — те же люди. Люди, которые способны выкидывать разные штуки. Да. Я, пожалуй, так бы их определил: это люди, которые выкидывают разные штуки.

— Прошу прощения, — сказал мистер Коberman, встал из-за стола и отправился на свою ночную работу.

Звезды, луна, ветер, тиканье часов, отсчитывающих ударами время до рассвета, восход солнца, вот и наступило новое утро, новый день, вот и мистер Коberman вышагивает по тротуару, возвращаясь с ночной смены. Дуглас держится от него на почтительном расстоянии, он как маленькая машинка, которая жужжит и внимательно наблюдает своими глазами-микроскопами.

В полдень бабушка отправилась в бакалейную лавку за продуктами. И, как уже повелось, когда бабушки не бывало дома, Дуглас поорал целых три минуты перед дверью мистера КоBермана. И как обычно, ни звука в ответ. Стояла зловещая тишина.

Дуглас сбежал вниз по лестнице, взял ключ, серебряную вилку и три осколка разноцветного стекла, которые он сохранил от разбитого окна. Вставил ключ в замочную скважину и тихонечко толкнул дверь.

Шторы были опущены, в комнате стоял полумрак. Мистер Коberman лежал поверх покрывала в ночной сорочке и мерно дышал: вдох, выдох. Он не шевелился. Лицо его было неподвижно.

— Эй, мистер Коberman!

Размеренное дыхание эхом отлетало от бесцветных стен.

— Мистер Коberman, эй!

Дуглас подошел ближе, ухнул об пол шар от гольфа. Закричал. Опять никакого ответа.

— Мистер Коberman!

Дуглас склонился над мистером Коbermanом и прямо у него перед носом принялся играть на зубцах серебряной вилки.

Тут мистер Коberman тяжело застонал, задергался в судорогах.

Отозвался-таки! Отлично! Замечательно!

Дуглас достал из кармана осколок синего стекла. Посмотрел сквозь него и очутился в синей комнате, в мире синевы, который был совсем непохож на знакомый ему мир. Так же, как был непохож и красный мир. Синяя мебель, синяя кровать, синие стены и потолок, синяя столовая утварь из дерева на крышке секретера и мрачное синее лицо мистера Коbermanа, синие руки, синяя грудная клетка ровно дышит, то поднимается, то опускается. А...

В широко раскрытых глазах мистера Коbermanа зияла хищная тьма.

Дуглас отпрянул. Оторвал от глаз синее стеклышко.

Глаза у мистера Коbermanа закрыты.

Посмотришь сквозь синее стекло — глаза открыты. Уберешь стекло — закрыты. Посмотришь опять сквозь стекло — снова открыты. Уберешь — закрыты. Вот это да! Дуглас экспериментировал с дрожью в коленках. Через синее стеклышко Дугласу казалось, что из-под опущенных век мистер Коberman пожирает его своими кровожадными глазами. Без синего же стекла веки мистера Коbermanа были плотно смежены.

А вот туловище мистера Коbermanа...

Его ночная сорочка растворилась. Тут все дело было в синем стекле. Или, может, в самой одежде, или в том, что она была надета на мистера Коbermanа. Дуглас вскрикнул.

Сквозь стенки желудка мистера Коbermanа было видно, что там у него внутри!

Внутри он был весь сплошной. Или почти весь, потому что, приглядевшись, можно было разобрать очертания каких-то странных фигур.

Ошеломленный, Дуглас простоял в раздумье минут пять, на ум пришли синие, красные, желтые миры, которые существовали бок о бок, подобно разноцветным стеклам, окаймлявшим большое белое прозрачное стекло на лестничной площадке. Цветные стекла, бок о бок, разные миры. Так вот почему он разбил окно.

— Мистер Коberman, просыпайтесь!

Молчание.

— Мистер Коberman, где вы работаете по ночам? Мистер Коberman, где вы работаете?

Потянуло легким ветерком, затрепетала синяя занавеска.

— В красном мире? Может, в зеленом или в желтом, а, мистер Коberman?

Все было подернуто синей стеклянной тишиной.

— Я сейчас, — сказал Дуглас.

Он спустился на кухню, вытянул большой скрипучий ящик стола и достал самый большой и самый острый нож.

Сжимая его в руке, Дуглас прокрался в прихожую, снова поднялся на второй этаж, тихонечко открыл дверь в комнату мистера Коbermanа, вошел и прикрыл ее за собой.

Бабушка была занята тем, что пробовала пальцем корочку пирога, когда Дуглас вошел на кухню и положил на стол нечто.

— Бабуль, это что?

Она посмотрела поверх очков.

— Не знаю.

Нечто было квадратное, вроде коробки, и упругое. Ярко-оранжевого цвета. Из него торчали четыре трубки квадратного сечения. От него шел странный запах.

— Ты когда-нибудь видела такую штуковину, ба?

— Нет.

— Так я и думал.

Дуглас оставил предмет на столе и вышел из кухни. Через пять минут он вернулся и принес еще что-то.

— Ну, а вот это?

И положил на стол ярко-розового цвета цепь с лиловым треугольником на конце.

— Не мешай, — отмахнулась бабушка, — цепь как цепь.

Когда он пришел в третий раз, у него были заняты обе руки. Кольцо, квадратик, треугольник, пирамида, прямоугольник и много-много еще всякой всячины. И все гибкое, эластичное, словно из студня.

— Это еще не все, — сообщил Дуглас, складывая предметы на стол. — Там, где я взял эти, их еще полным-полно.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказала бабушка, давая понять, что ей не до него.

— А ты была неправа, бабушка.

— Насчет чего?

— А насчет того, что все люди изнутри одинаковые.

— Порешь тут всякую чепуху.

— Где моя копилка?

— На камине, там, где ты ее оставил.

— Спасибо, — сказал Дуглас и потопал в гостиную за копилкой.

В пять из редакции вернулся дедушка.

— Деда, давай поднимемся наверх.

— Давай. А что там такое?

— Хочу тебе кое-что показать, не очень приятное, но будет интересно.

Дед усмехнулся и последовал за внуком в комнату мистера Кобермана.

— Бабушке говорить не надо, ей не понравится, — предупредил Дуглас.

И распахнул дверь.

— Смотри.

У деда отвисла челюсть.

Последующие несколько часов Дуглас запомнил на всю жизнь. Над обнаженным телом мистера Кобермана склонился судебный врач с ассистентами. Внизу бабушка все спрашивала кого-то:

— Что же там происходит, наверху?

Дедушка качал головой и говорил уже который раз:

— Я увезу Дугласа в долгое путешествие, лишь бы он позабыл эту отвратительную историю. Какая мерзость!

— Почему мерзость? Что в этом мерзкого? Мне совсем не страшно, — недоумевал Дуглас.

Судебный врач поежился и сообщил:

— Коберман мертв.

С ассистента градом лил пот.

— Вы видели все эти штуковины в кастрюлях с водой и завернутые в бумагу?

— Да, видел. Это ужас, ужас!

Патологоанатом снова склонился над телом мистера Кобермана.

— Ребята, обо всем этом лучше помалкивать. Это не убийство. Мальчишка совершил благодеяние. Одному богу известно, чем бы это могло обернуться, если бы не он.

— Что же такое этот Коберман? Вампир? Монстр?

— Может быть. Не знаю. Нечто... нечеловекоподобное.

Доктор скользнул пальцами по шву.

Дуглас гордился своей работой. Ему пришлось здорово потрудиться. Он внимательно наблюдал за бабушкой и запоминал. Иголка с ниткой и все такое. Короче, Дуглас обработал Кобермана под стать тем несчастным цыплятам, которых потрошила бабушка. Чистая была работа.

— Я слышал, мальчик говорил, что Коберман был жив и после того, как из него было выпотрошено все *э т о*. — Доктор кивнул в сторону треугольничков и пирамидок, плававших в кастрюлях. — Был жив, подумать только!

— В самом деле?

— Да.

— От чего же тогда он отдал концы?

Доктор вытянул из шва несколько ниточек.

— Вот от чего... — сказал он.

Под солнцем холодно блеснуло наполовину обнажившееся сокровище: шесть долларов и шестьдесят центов серебром, покоившихся в груди мистера Кобермана.

— Сдается мне, что Дуглас очень разумно поместил свой капитал, — сказал доктор, поспешно зашивая обратно «начинку».

«Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен; это был век мудрости, это был век глупости... это были годы Света, это были годы Мрака... у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди...»

Было лето 1929 года в Гринтауне, штат Иллинойс, и мне, Дугласу Сполдингу, только что исполнилось двенадцать. Во всех концах одурманенного летним зноем города, в котором не было ни хорошо, ни плохо, только жарко, жарко, мальчишки, приклеенные к псам, и псы на мальчишках, как на подушках, лежали под деревьями, и деревья баюкали их, шепча листвою безнадежное: «Больше Ничто Никогда Не Случится». И ничто не двигалось в городе, если не считать талых капель, которые падали с огромной, с гроб величиной глыбы льда на витрине скобяной лавки. И не было ни одного холодного человека, если не считать мисс Фростбайт, ассистентки странствующего иллюзиониста, втиснутой внутрь этой глыбы, в полость под стать ее фигуре. Вот уже третий день она лежала так для всеобщего обозрения, третий день, уверяли люди, не дышала, не ела, не говорила. Последнее, казалось мне, для женщины должно быть жестокой пыткой.

И все-таки в разгар этого долгого, проникнутого ожиданием полудня что-то случилось. Пес вдруг оттолкнул меня и сел, прислушиваясь, и язык его висел, будто конец небрежно повязанного красного галстука, а карие глаза остекленели, впитывая даль. Где-то там у депо, среди жарких куч паровозного шлака, важно отдуваясь, крича горячей луженой глоткой, в волне дробного лязга на станцию въехал поезд. С поезда сошел человек. И я, простертый на земле у входа в подвал дедова дома, услышал далекие шаги, они приблизились и застыли перед объявлением «Стол и Кров». Открыв глаза, я увидел, как он поднимается по ступенькам — качающаяся трость и чемодан, длинные волосы, каштановые с проседью, и шелковистые усы, и борода клинышком, — и ореол учтивости окружал его, словно стайка птиц. На крыльце он остановился, чтобы обозреть Гринтаун.

Может быть, он слышал вдали гудение из парикмахерской, где мистер Винески, который вскоре станет его врагом, с видом прорицателя щипал косматые головы и жужжал своей электромашинкой. Может быть, он слышал, как вдали, в пустующей библиотеке, по хрупким солнечным лучам скользила вниз золотистая пыль, а в закутке кто-то скрипел и постукивал, и опять, и опять скрипел чернильным пером: тихая женщина, словно заточенная в норе одинокая, большая мышь. Она тоже войдет в жизнь этого нового человека. Возможно, он и в самом деле слышал то, чему суждено было стать частью его жизни. А пока незнакомец отвернулся от своего Будущего и увидел Настоящее — меня, увидел, как мы с Псом привстали, глядя на него, гостя из Прошлого.

— Диккенс! — Он приветственно взмахнул рукой. — Меня зовут Чарлз Диккенс!

Дверь захлопнулась. Он был внутри, вместе с бабушкой, и расписывался в книге постояльцев, когда я тоже хлопнул дверью и, затаив дыхание, уставился на имя, которое он так четко выводил на бумаге.

— Чарлз Диккенс, — разобрала опрокинутые буквы бабушка, за всю свою жизнь не прочитавшая ни одной книги. — Красивое имя.

— Красивое?! — воскликнул я. — Разрази меня гром! Это великое имя! Но я был уверен...

— Да? — Приезжий, ему было лет под шестьдесят, повернулся, и я увидел его глаза,

такие же ласковые, как у Пса.

— Я думал, что вы...

— Умер! — Чарлз Диккенс рассмеялся. — Ничего подобного! Жив-здоров! И очень рад встретить здесь читателя, и почитателя, и знатока!

И вот уже мы поднимаемся наверх, бабушка несет чистое постельное белье, я несу чемодан, а навстречу нам не идет — плывет, не человек — корабль: мой дедушка.

— Дедушка, — сказал я, готовясь увидеть его замешательство, — познакомься с мистером Чарлзом Диккенсом!

Дедушка стиснул и тряхнул руку приезжего.

— Друзья Николаса Никльби — мои друзья!

Мистер Диккенс опешил от такого излияния, тотчас опомнился, поклонился, сказал: «Благодарю, сэр» — и пошел дальше вверх по лестнице, а дедушка подмигнул, ущипнул меня за щеку и был таков, я только рот разинул.

В отведенной ему комнате, пока бабушка хлопотала, мистер Диккенс стащил с себя тяжелое, почти зимнее пальто и кивнул на чемодан.

— Куда-нибудь, все равно, Малыш. Ты не возражаешь, если я буду звать тебя Малыш? Ой-ой, Малыш, я, кажется, куда-то задевал свой блокнот и карандаш. Ты не мог бы...

— Могу! — И я мигом вернулся с дешевым блокнотом и «Тайкондерогой № 2».

Мистер Диккенс медленно повернулся кругом, обозревая потолок, на котором бегали яркие блики.

— Я был в пути две ночи и два дня, и в пути у меня созрел замысел. День Бастилии — слышал о нем, Малыш? Ко дню Бастилии новая книга должна выйти в плавание. Ты сможешь мне взломать затворы дока революции, Малыш? Поможешь?

Я лизнул карандаш.

— Вверху страницы: название. Название. Название. — Он задумался, закрыв глаза и потирая щеку. — Малыш, какое-нибудь хорошее, неизбитое название для романа, действие которого происходит наполовину в Лондоне, наполовину в Париже...

— По... — рискнул я.

— Ну?

— Повесть, — продолжил я.

Нетерпеливое:

— Ну, ну?

— Повесть о двух городах?

— В самую точку! Мэм, это умнейший мальчик.

Бабушка посмотрела на меня, как на незнакомца какого-нибудь, потом взбила, вспушила подушку.

— Пиши, Малыш, — сказал мистер Диккенс, — пиши, пока не забыл: «Повесть о двух городах». Теперь посередине листа: «Книга первая: Возвращен к жизни. Глава первая: То время».

Я написал. Бабушка положила чистые розовые полотенца. Мистер Диккенс прищурился, что-то погудел, повернулся и нараспев заговорил:

— «Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы Света, это были годы Мрака; это была весна надежд, это была зима...»

— Господи, — сказала бабушка, — как красиво вы говорите.

— Мэм... — Автор благодарно кивнул. — Малыш, на чем я остановился?

— Зима отчаяния, — ответил я.

Все уже сидели за столом, когда я появился: руки еще мокрые, волосы влажные и причесанные.

— Да уж... — Бабушка поставила на стол блюдо с жареным цыпленком. — Давно ты не опаздывал к кормушке.

— Если бы вы знали! — сказал я. — Где только я не побывал сегодня, Луврский дилижанс на Луврской дороге! Париж! Столько путешествовали, даже рука заоченела.

— Париж? Лувр? Рука заоченела? — Жильцы уставились на меня.

— Он хочет сказать — с мистером Диккенсом, — объяснил дедушка.

— Диккенсом? — переспросил мистер Винески, парикмахер и главный жилец.

— Мы считаем великой честью, — дедушка гордо разрезал свою часть цыпленка, — что в нашем доме поселился писатель, который начинает новую книгу, и Дуглас — его секретарь. Верно, Дуг?

— Весь день работали, четверть отмахали! — сказал я.

— Диккенс! — вскричал мистер Винески. — Полно, не может быть, чтобы вы поверили...

— Я верю, — сказал дедушка, — тому, что говорит мне человек, пока он не скажет другое. Тогда я верю в другое.

— Самозванец, — фыркнул парикмахер.

— Человек, — сказал дедушка. — К нам в дом пришел достойный человек. Он говорит, что он — Диккенс. Это его имя, другого я не знаю. Он дает понять, что пишет книгу. Я прохожу мимо его двери, заглядываю в комнату, — да, он в самом деле пишет книгу. Что ж, я должен ему запретить? Когда очевидно, что ему необходимо написать эту книгу...

— «Повесть о двух городах», — подсказал я.

— «Повесть о двух городах», — продолжал дедушка. — Никогда не спрашивайте писателя, какого угодно писателя, почему он пишет, зачем он пишет, откуда он, куда направляется. Придет время, он скажет сам.

— Да вы тут в здравом уме или нет? — простонал мистер Винески.

— Тсс! — сказала бабушка.

Потому что вниз по лестнице спустился, в двери столовой появился и подошел к обеденному столу он, человек с длинными волосами, с бородкой клинышком, с шелковистыми усами, и он кивнул и улыбнулся, словно перед ним аудитория, а он лектор. Дедушка встал и мягко, тепло произнес:

— Леди и джентльмены, это наш новый жилец и, мы надеемся, друг — мистер Ч. Диккенс. Мистер Диккенс, добро пожаловать.

...Ух ты, какая замечательная жизнь началась!

Не было дня, чтобы я не являлся к мистеру Диккенсу и не просиживал у него половину утра, а он диктовал, и мы путешествовали из Парижа в Лондон, обратно в Париж, делая остановки для завтрака и лимонада, а после бутербродов с яичницей — опять в Лондон, и я — секретарь мистера Ч. Диккенса, Гринтаун, Иллинойс — был счастлив, ведь я сам мечтал, когда вырасту, стать писателем, и вот я познаю великое таинство с лучшим из них.

Только мистер Винески, парикмахер, заботил меня, мистер Винески, мой хороший друг, мой герой, трудом которого я от души восхищался, ваятель — ни больше, ни меньше.

Обычно я половину лета проводил в его парикмахерской, глядя, как он превращает безобразных людей в прекрасных принцев — вот какой он был мастер. Теперь же, кажется, я так загляделся на Лондон и Париж, что забыл любоваться мистером Винески и его чудесами. И мистер Винески — теперь-то я это вижу — каждый вечер, приходя домой, заставлял за столом этого длинноволосого писаку, которому давно бы пора постричься, и тут же сидел я, глядя на мистера Диккенса так, словно я Пес, а он Бог.

И вот однажды вечером, с месяц после того как мы начали «Повесть о двух городах», мистер Винески во время обеда вдруг вскочил на ноги, указал пальцем на мистера Диккенса и сказал:

— Вы, сударь, мошенник и негодяй. Вы никакой не Чарлз Диккенс. Сдается мне, что вы — Красный Джо Пайк из Уилкисборо, разыскиваемый полицией за подлог, или же вы Билл Хаммер из Хорнбилла, штат Арканзас, которого разыскивают за подлые гадости и мелкие кражи в Ускалузе. Но кем бы и чем бы вы ни были — вы, сбивающий с толку этого мальчика и издевающийся над нашей доверчивостью, я даю вам двадцать четыре часа на то, чтобы вы убрались вон из этого города, не то я приглашу начальника полиции и попрошу его заняться вами. Либо я, либо вы, сударь, один из нас должен оставить этот дом. Простите меня, бабушка и дедушка Сполдинг, но я не могу молчать! Мне надоело слушать про сочинение романов, которые сочинены пятьдесят лет назад! Выйдите из-за стола, сударь, не то я ударю вас по лицу!

— Мистер Винески! — тревожно воскликнул дедушка, поднимаясь.

— Сударь, — спокойно сказал Чарлз Диккенс, тоже поднимаясь, — мистер Винески прав. Похоже, пришла пора мне уходить, ибо я, очевидно, истощил всеобщее терпение, понимание и снисходительность.

— Мистер Диккенс! — крикнул я.

Но прежде чем я смог его остановить, он уже был наверху и хлопнул дверью, и все сидели, словно оглушенные, а мистер Винески растерянно ковырялся в еде.

Я пошел наверх и постучался в дверь, но она была заперта. Мистер Диккенс был у себя в комнате, однако не хотел отзываться, сколько я ни стучал.

Поздно вечером мистер Винески надолго ушел на прогулку, никому не сказав, куда пошел.

— Чтоб мне лопнуть, — сказал я, выйдя на переднее крыльцо и застав там дедушку, который сидел один и курил трубку. — Вызывайте плотника. Все рухнуло.

Дедушка ничего не ответил, долго курил молча, наконец заговорил:

— Придется тебе самому быть своим плотником, Дуг.

— Это как понимать?

— Ты в разгар боя переметнулся от одного генерала к другому, и теперь один из генералов затужил. Вряд ли он знает, почему затужил, но уж точно, что затужил и чувствует себя обиженным.

— Вот так штука! — Я покачал головой в отчаянии. — Но сейчас я готов ненавидеть Винески.

— Не надо. Ты подметал волосы с половиц его цирюльни. Теперь ты затачиваешь карандаши для нестриженого романиста. Мистер Винески? У него ни жены, ни семьи, только его работа. Бездетному человеку, знает он об этом или нет, нужен еще кто-то на свете. А тебя, Дуг, оттеснили от него прочь.

— Я... — И я запнулся, и глаза мои вдруг стали плохо видеть. — Завтра я вымою окна

парикмахерской и протру красно-белый шест.

Дедушка тихо кивнул.

— Я знаю, ты это сделаешь, сынок. Ты сделаешь.

Ночью я не мог уснуть. Городские часы пробили двенадцать, потом час, потом два и наконец три. Тут я услышал тихий плач и вышел в коридор, чтобы послушать у дверей нашего жилья.

— Мистер Диккенс? — Я тронул дверь. Она была не заперта.

Плач продолжался, словно бы приглушенный двумя руками, прижатыми ко рту.

— Мистер Диккенс? — Я отважился отворить дверь.

Он лежал, освещенный луной, — слезы струятся из глаз, широко раскрытые глаза устремлены на потолок, — лежал неподвижно.

— Мистер Диккенс?

— Здесь таких нет, — сказал он. Его голова покачалась из стороны в сторону. — Нет таких в этой комнате, на этой кровати, в этом мире.

— Вы, — сказал я. — Вы — Чарли Диккенс.

— Пора бы тебе сообразить, — отвечал он почти спокойно, только чуть прерывающимся голосом, — уже три часа утра.

— Я знаю одно, — сказал я. — Каждый день я видел, как вы писали. Каждую ночь я слышал, как вы говорили.

— Верно, верно.

— И вы заканчиваете одну книгу, потом начинаете другую, и у вас каллиграфический почерк.

— Так и есть. — Он кивнул. — Да-да, так и есть.

— Ну! — Я обогнул его кровать. — Так с какой стати вам каяться и сокрушаться, вам, всемирно известному писателю?

— Ты знаешь, и я знаю, что я мистер Никто из Ниоткуда, на пути к Вечности, с потухшим фонарем и без единой свечи.

— К черту, — сказал я и пошел к двери. Меня разозлило, что он выходит из игры. Испортить такое чудесное лето! — Спокойной ночи! — Я стукнул дверной ручкой.

— Постой!

В этом ужасном тихом крике было столько тоски, почти боли, что я опустил руку, но оборачиваться не стал.

— Малыш, — сказал старик, лежащий на кровати.

— Ну? — ворчливо отозвался я.

— Не будем горячиться. Сядь.

Я медленно сел на хлипкий стул возле тумбочки.

— Поговори со мной, Малыш.

— Господи, в три часа...

— ...утра, вот именно. Отвратительнейшее время суток. Закат далеко позади, до восхода десять тысяч миль. В такую пору человек нуждается в друзьях. Дружище Малыш, поговори со мной, спроси меня о чем-нибудь.

— О чем вас спросить?

— По-моему, ты знаешь.

Я подумал, вздохнул.

— Ну ладно. Кто вы?

Минуту он очень тихо лежал на своей кровати, потом незримо длинным кончиком носа нащупал на потолке нужные слова и сказал:

— Я человек, который не дорос до своей мечты.

— Что это значит?

— Это значит, Дуг, что я, когда был молод, кроил себе платье не по плечу. Я так и не дорос до лучшего костюма, который висел в моем чулане. Я не стал тем, чем хотел стать.

Теперь я тоже притих.

— А кем вы мечтали стать?

— Писателем.

— Вы пробовали? — спросил я.

— Пробовал?! — воскликнул он и едва не разразился неуместным диким смехом. — Пробовал... — Он взял себя в руки. — Пресвятая богородица, да ты бы видел, сынок, сколько было потрачено слюны, чернил и пота. Я израсходовал тонны чернил, исписал гору бумаги, разбил вдребезги шесть дюжин пишущих машинок, изгрыз и сточил десять тысяч мягких карандашей «Тайкондерога».

— Ух ты!

— Вот именно: «Ух ты!»

— А что вы писали?

— Чего я не писал! Поэмы. Эссе. Трагедии. Фарсы. Рассказы. Романы. Тысяча слов в день, парень, ежедневно, тридцать лет подряд — не было дня, чтобы я не писал и не насиловал бумагу. Миллионы слов переходили с кончика моего пера на бумагу, а с бумаги в пузатую печку.

— Вы все сжигали!

— А что я должен был делать, Дуг? Оклеивать стены? Латать кальсоны? Моя писанина никуда не годилась.

— Этого не могло быть!

— Не могло, да было. Не «так себе», не «ничего, сойдет». А попросту кошке под хвост. Друзья знали это, редакторы знали это, учителя знали это, издатели знали это, и в один необычный прекрасный день, около четырех часов дня, когда мне исполнилось пятьдесят, даже я увидел это.

— Но нельзя писать тридцать лет и ни разу не...

— Угадать впопад? Нащупать заветную струну? Смотри пристально, Дуг, смотри долго, — ты видишь человека с необычным талантом, поразительным даром, единственного в веках человека, который вывел на бумаге пять миллионов слов и не создал ни одного, способного встать на свои хрупкие ноги и воскликнуть: «Эврика! Сделано!»

— Вы не напечатали ни одного рассказа?

— Даже шутки в две строки. Даже газетного стишка-однодневки. Даже объявления: «Ищу...» Удивительно, правда? Быть до того редкостно скучным, до того бесповоротно бездарным, что от твоих слов ни смешка, ни слезинки, ни обиды, ни ярости. Ваш покорный слуга — поистине редкий экземпляр. Я воздвиг памятник ничтожеству на зыбучих песках. И знаешь, что я сделал в тот день, когда открыл, что из меня никогда не выйдет писателя? Я убил самого себя.

— Убили?

— Во всяком случае, писаку, который жил во мне. Взял все с собой в долгое железнодорожное путешествие, сел на открытой площадке последнего вагона для курящих, и

полетели клочки моих рукописей, как испуганные птицы. Я рассыпал роман по Небраске, мои поэмы в духе Гомера раскидал по Северной Дакоте, любовными сонетами усеял Южную Дакоту. Я оставил свои эссе в мужском туалете гостинцы «Гарвей» в Клир-Спринге, штат Айдахо. Поля и нивы знают мою прозу. Великолепное удобрение; наверно, после меня там небывалые урожаи кукурузы. В этом долгом летнем путешествии я вез с собой два чемодана моей собственной души и воздавал должное своему никудышному «я». Когда я достиг далекой конечной станции, чемоданы были пусты, было много выпито, мало съедено, пролита толика слез в уединенном купе, зато я отдал все якоря, весь мертвый груз, все мечты. Ход замедлился, вышел пар, и я, благодарение всевышнему, закончил свое путешествие с покоем и уверенностью в душе. Будто я снова родился на свет. Что я такого сделал? Прошел по земле и засорил ее бумагой, задал мусорщикам с острыми палками работы до второго пришествия. И однако я сказал себе: «Постой, в чем дело, что произошло? Я... я новый человек».

Он видел все это на потолке, и я тоже видел, словно кинофильм на стене в лунную ночь. Мистер Диккенс продолжал:

— «Я новый человек», — сказал я себе, и когда я в конце долгого лета, которое было летом избавления и нежданного возрождения, сошел с поезда, то взглянул в засиженное мухами зеркало на вокзале в Суитуотер, штат Миссури, — моя борода отросла за два месяца без бритья, и волосы стали длиннее, и я вытащил маникюрные ножницы, и моя рука принялась делать то, что ей велел некий тайный голос. Она стригла и резала бороду, оставила клинышек, оставила усы, потом я все подправил бритвой, всмотрелся сам в себя, отступил и тихо сказал: «Чарли Диккенс — это вы?»

Человек на кровати негромко рассмеялся, вспоминая.

— Да-да, парень, так и сказал. «Чарли, говорю, мистер Диккенс, неужто это вы?» И я кивнул сам себе и воскликнул: «А кто же еще, кто еще; разрази меня гром? Сударь, пропустите, я тороплюсь на важную лекцию!» И я отошел в сторону, и я вышел в город, и я знал теперь, кто я, мне стало даже жарко при мысли о том, что я еще могу свершить в моей новой жизни, сколько работы — и какой работы — у меня впереди! Да-да, Малыш, где-то эта мысль зрела. Видно, все эти годы, что я писал и глотал горькие пилюли поражений, мое доброе старое подсознание твердило: «Ты держись. Дела обернутся совсем скверно, но в последнюю минуту я тебя выручу». И возможно, спасло меня как раз то, что прежде губило. Почтение к старшим на писательском поприще. Бог мой, Малыш, как я пожирал Толстого, упивался Достоевским; Генри Джеймс — пир, Мопассан — плотный завтрак, Флобер — вино и цыпленок на вольном воздухе! Возможно, я слишком много читал и чересчур преклонялся перед богами. Но когда исчезли мои труды, их труд остался. Вдруг оказалось, что я не могу забыть их книг, Малыш.

— Не могли?..

— Представь себе, я не мог забыть ни строчки, ни слова из абзацев и целых книг, какие когда-либо прошли перед моими алчными, всепожирающими глазами.

— Фотографическая память?

— Вот именно! В самое яблочко!

— Чтоб мне лопнуть, вы хотите сказать...

— Диккенс, Гарди, Толстой, — Малыш, все их книги все эти годы сидят в этой старой башке, этом допотопном фотоаппарате. Попроси меня заговорить языком Киплинга. Я могу. Книги про Оз? Все перескажу! Крути меня, как обруч, я — Отелло. Скажи, чтобы сел, я —

Макбет. Или лечь? Я Гамлет, умирающий долго и замысловато.

— А потом? — спросил я.

— А потом я принялся писать все книги Диккенса, одну за другой. С тех пор вот езжу по городам, парень, пишу и играю роль, играю и пишу, читаю лекции, всегда наполовину одержимый, известный и неведомый, признанный и отвергнутый, и так уже несколько лет. Останавливаюсь там, чтобы закончить «Копперфильда», тут, чтобы завершить «Домби и сын». Иногда на всю зиму забиваюсь в берлогу, и никто не подозревает, что во мне дремлет Чарли Диккенс, а потом выйду из куколки, словно весенний мотылек, и — дальше. Иногда на целое лето оседаю в каком-нибудь городе, пока не выгоняют. Да-да, выгоняют. Потому что такие, как твой мистер Винески, не прощают полета воображения, Малыш, хотя бы этот полет был таким заземленным, что дальше некуда. Он не способен считаться с людьми, парень. Ему невдомек: чтобы жить, мы все должны делать то, что должны. Кто смеется, кто плачет, кто сражается, кто бежит, и все это одно и то же — способ существовать. Его кормят ножницы, и он не понимает моего пера в чернилах и бумаги в буквах. И мне остается лишь вещи в охапку и уходить.

— Нет! — вскричал я. — Вы не можете уехать, пока не закончите книгу!

— Малыш, глупыш, ты что, в самом деле...

— Мистер Диккенс, — сказал я, — мир ждет вашего следующего хода, он важнее всего остального на целом свете. Вы не можете прервать на середине «Повесть о двух городах».

— Малыш, Малыш... — бормотал он.

Он откинулся на подушку и закрыл глаза.

Я схватил карандаш и блокнот.

— Вы не можете, мистер Диккенс, не можете. Я жду.

Жду.

И наконец, не открывая глаз, мистер Диккенс сказал:

— Где мы остановились вчера, парень?

— Мадам Дефарк вязала на гильотине.

— Да, — сказал мистер Диккенс. — Мадам Дефарк — гильотина. Ладно, парень, давай Слушай. Пиши...

Он говорил. Я писал. Часы пробили четыре утра. Мистер Диккенс уснул. Я вышел на цыпочках из комнаты и затворил дверь.

— Доброе утро, мистер Диккенс!

Я с маху сел на стул в столовой. Мистер Диккенс уже наполовину управился с горкой блинов. Я откусил от своего блина и увидел еще более высокую гору бумаги на столе между нами.

— Мистер Диккенс? «Повесть о двух городах»... Вы ее... закончили?

— Готово. — Мистер Диккенс ел, не поднимая глаз. — Встал в шесть. Работал вовсю. Готово. Конец. Все.

— Ух ты! — сказал я.

Вдруг он поднялся, бросив недоеденный завтрак, и поспешно вышел в коридор.

Я услышал, как хлопнула наружная дверь, выскочил на крыльцо и увидел мистера Диккенса уже на дорожке, с чемоданом в руках.

Он шел так быстро, что мне пришлось бежать, чтобы догнать его. Он торопился на вокзал, и я то отставал, то снова забегал вперед.

— Мистер Диккенс, книга закончена, но еще не издана!

— Ты распорядишься этим, Малыш!

— Но я не умею пристраивать книги! И вообще, вы не можете сейчас уезжать. До конца лета далеко. Вас ждет еще работа, нас обоих ждет работа!

— Например? — Он убежал от меня.

Я преследовал его, тяжело дыша.

— Например, «Мартин Чезлвит» и «Крошка Доррит».

— Твои друзья, Малыш?

— Ваши, мистер Диккенс. И если вы не напишете, они не будут жить.

— Как-нибудь перебьются. — Он завернул за угол, и я заметался вокруг него, словно птица.

— Чарли, останьтесь, я вам что-то дам. Новое название. «Записки Пикквикского клуба» — правда, здорово? «Записки Пикквикского клуба»!

Мы проходили мимо библиотеки, на каждый его шаг я делал три, и вдруг я схватил его за руку и дернул так, что он остановился.

— Мистер Диккенс, поезд отходит в полдень, до тех пор еще два часа, верно? Подарите мне десять минут из этих двух часов, или, честное слово, я пойду домой и не буду дочитывать «Повесть о двух городах»!

Удивительно. Это его остановило. Он посмотрел на меня сперва недоверчиво, потом с непритворной обидой.

— Малыш, — мягко произнес он. — Ты это искренне?

— Мне наплевать, что будет дальше с Сиднеем Картоном!

— Но ведь это лучшее, самое лучшее из всего, что я когда-либо написал, Малыш, — сказал он. — Ты должен ее прочитать.

— Почему? — закричал я. — С какой стати?

— Почему? — Он пытливо посмотрел на меня, потом назвал причину. — Потому, Малыш, что я писал ее для тебя.

— Я прочту при одном условии, — ответил я. — Если вы пойдете со мной и познакомитесь с одним человеком.

— Десять минут? — спросил он.

— Десять минут.

Мы поднялись по ступенькам библиотеки и вошли.

Библиотека была будто каменный карьер, над которым десять тысяч лет не выпадали дожди. Погляди в одну сторону, сколько хватает глаз, — тишина. Погляди в другую сторону — безмолвие.

Мы, мистер Диккенс и я, остановились на пороге безмолвия. Мистер Диккенс дрожал. И вдруг я вспомнил, что за все лето ни разу не видел его здесь. Он боялся, что я сейчас подведу его к полкам с художественной литературой и там будут все его книги — уже написанные, напечатанные, обрезанные, переплетенные, выданные, прочтенные и возвращенные на полку.

Будто я способен на такую глупость! И все-таки он взял меня за локоть и лихорадочно прошептал:

— Малыш, зачем мы здесь? Пошли. Здесь никого нет.

— Прислушайтесь! — прошипел я.

Далеко-далеко, где-то за стеллажами, послышался такой звук, словно бабочка

повернулась с боку на бок во сне. И еще — будто крохотный ноготок скреб крышку.

— Слышите! — прошептал я.

Глаза мистера Диккенса расширились.

— Я знаю этот звук, — сказал он, помолчав, затаив дыхание, и кивнул. — Там кто-то пишет.

— Да, сэр.

— Пишет пером. И пишет... да... пишет стихи, — вымолвил мистер Диккенс. — Ну конечно, где-то там кто-то пишет стихотворение, верно? Завитушка, завитушка, черточка, завитушка. Это не цифры, Дуг, не цифры, и не сухие факты. Слышишь — взмах, слышишь — взлет? Стихи, клянусь богом, да, сэр, никакого сомнения — стихи!

— Мэм! — позвал я. Бабочка перестала шевелиться.

— Не прерывай ее! — зашикал на меня мистер Диккенс. — В разгар вдохновения! Пусть пишет!

Бабочка снова принялась чиркать. Завитушка, завитушка, черточка...

— Мэм! — позвал я так мягко, так настойчиво.

Что-то зашуршало в коридорах, и показалась заведующая библиотекой — женщина без возраста, ни молодая, ни старая, женщина бесцветная, ни смуглая, ни бледная, женщина без роста, ни маленькая, ни высокая, — женщина, которая часто говорила сама с собой, там, среди сумрачных пыльных стеллажей, говорила шепотом, словно шелестели страницы.

Она шла, неся неяркую лампу своего лица, освещая себе путь своим взором. Губы шевелились — она перебирала слова в безбрежном пространстве за ее туманными зрачками.

Чарли жадно читал ее губы. Он кивнул. Он подождал, когда она остановится и увидит нас. Вдруг взгляд ее прояснился.

Она тихо ахнула, потом рассмеялась над собой.

— О Дуглас, это ты и... — Ее лицо подобрело. — Ведь вы друг Дуга, мистер Диккенс верно?

Чарли смотрел на нее с тихим, почти пугающим обожанием.

— Мистер Диккенс... — Я тронул его за локоть. — Разрешите представить вам.

— «И Смерть меня не остановит»... — прочел Чарли по памяти, закрыв глаза.

Библиотекарша мигнула, и лоб ее побелел, словно в лампе прибавили свет.

— Мисс Эмили, — сказал он.

— Ее зовут... — начал я.

— Мисс Эмили, очень приятно. — Он протянул ей руку.

Она коснулась кончиков его пальцев.

— Очень приятно, — отозвалась она. — Но как...

— Мисс Эмили, — сказал он, — вы — поэт. Я слышал, как вы там скрипели пером.

— Что вы, пустяки.

— Выше голову, больше смелости, — ласково молвил он. — Это вовсе не пустяки. Я видел, как вы говорили про себя, когда шли, несколько строк. Я умею читать по губам, мэм.

— О! — Она глотнула. — Тогда вы знаете...

— «И Смерть меня не остановит» — чудесное стихотворение.

— Мои собственные стихи такие скверные, — волнуясь, произнесла она. — Вот я и переписываю ее сочинения, чтобы научиться.

— Переписываете кого? — ляпнул я.

— Превосходный способ учиться.

— Правда, в самом деле? — Она пристально поглядела на Чарли, проверяя, не шутит ли он. — Ваши слова для меня очень много значат, мистер Диккенс. — Она зарделась. — Я прочла все ваши книги.

— Все? — Он попятился.

— Все те, — поспешно добавила она, — которые вы до сих пор издали, сэр.

— Он только что закончил еще одну, — вставил я. — «Повесть о двух городах».

— А вы, мэ-эм? — любезно спросил Чарли.

Она раскрыла свои ладошки, словно выпуская птицу.

— Я? Что вы, я не послала ни одного стихотворения даже в городскую газету.

— Вы должны это сделать! — воскликнул он с искренним чувством и убеждением. —

Завтра же. Нет, сегодня!

— Но, — ее голос потускнел, — мне даже некому сперва прочесть их.

— Полно, — спокойно возразил Чарли, — вот Малыш, вот перед вами — прошу, возьмите мою карточку — Ч. Диккенс, эсквайр. Который, с вашего позволения, при случае охотно заглянет сюда, чтобы проверить, все ли благополучно в этом аркадском хранилище книг. — Он положил свою карточку на ее библиотечную конторку, прямо перед глазами у нее. — Но мы отнимаем у вас драгоценное время. Муза ждет. Дражайшая леди, до свиданья.

Мистер Диккенс решительно вывел меня на солнце и чуть не споткнулся на ступеньках о свой чемодан.

Посреди газона мистер Диккенс замер на месте и сказал:

— Небо синее, парень.

— Да, сэр.

— Трава зеленая. А ветер — ты вдохни, какой благоухающий ветер. — Он повернулся, взял меня за оба плеча и поглядел мне в лицо. — Мир полон нуждающихся, Малыш, и ты их чуешь. Мир кишит покинутыми, и ты их находишь. Мир — живая мозаика, и сегодня ты, во всяком случае, сложил вместе две плитки.

Я кивнул, улыбаясь, глядя вниз.

— Верно. Мне давно хотелось привести вас в библиотеку, но... в общем...

— В общем, — сказал он, — пошли домой.

— Ух ты! — Я схватил чемодан.

Он ласково помешал мне.

— Нет, мне нужно, чтобы у тебя были свободные руки. Карандаш есть?

— И бумага. — Я принялся опоражнивать карманы, чтобы найти скомканный лист бумаги и карандаш с мышинный зуб.

— Пиши название, Малыш...

Мы шли под зелеными летними деревьями. Мистер Диккенс поднял вверх свою трость и стал выводить загадку на небесах.

— Лав... — угадал я, прищуриваясь.

Он написал в воздухе второй слог.

— ...ка, — перевел я.

Еще один слог.

— древ... — прочитал я.

Последнее движение тростью.

— ...ностей!

— Годится такое название, Малыш?

— Великолепно, мистер Диккенс... Чарли!

— Начинаю диктовать роман, Малыш! Глава первая. Я лизнул карандаш и взмахнул им.

Записал: «Глава первая».

— Однажды, — сказал Чарли, идя вслепую, с закрытыми глазами.

«Однажды», — вывел я.

...Ну вот почти и вся история. Мне кажется, вы сами догадаетесь, что было дальше.

Всего только месяц спустя мы пробежали через весь город. Кто? Ну как же: Пес, Чарли Диккенс, заведующая библиотекой — да-да, заведующая библиотекой — и я, с полными горстями риса и конфетти. Рис и конфетти разлетелись по воздуху, и поезд медленно ушел вдаль, и они стояли на площадке последнего вагона и махали, пока не скрылись, и я кричал «до свиданья» и ревел, и ревнивый Пес жевал мои лодыжки от счастья, что я снова один, и мистер Винески ждал в парикмахерской, чтобы вручить мне метлу и снова видеть меня своим сыном.

В первый день осени я получил мое первое письмо от обвенчанной и путешествующей литературной четы.

Весь день я не вскрывал письма, а вечером вышел на переднее крыльцо, сел рядом с дедушкой, разорвал наконец конверт и принялся читать вслух.

— «Дорогой Малыш, — было написано ее рукой, — сегодня вечером мы в Авроре, завтра будем в Фелисити, послезавтра вечером — в Элгине. У Чарли вся неделя занята лекциями и впереди светлые надежды. Мы с Чарли усердно работаем и — нужно ли говорить? — очень счастливы, чрезвычайно счастливы. Он называет меня Эмили. Малыш, ты вряд ли знаешь, чье это имя, но так звали одну поэтессу, и я надеюсь, что ты когда-нибудь возьмешь в библиотеке ее книги^[3]. Ну вот, Чарли смотрит на меня и говорит: «Это моя Эмили», — и я почти что верю ему. Нет, не почти, а верю.

Мы помешанные, Малыш. Люди так говорят, мы сами это знаем, и все равно продолжаем в том же духе. Помешаться на чем-то вместе даже очень хорошо. Быть помешанной и одинокой — этого я бы больше не выдержала. Чарли шлет тебе привет и просит передать, что он начал писать новую замечательную книгу, пожалуй, лучшую из всего, что он пока сочинил, она будет называться «Холодный дом». Еще он просит передать тебе, что он твой покорный слуга, и как и я, твой бывший библиотечный друг.

Р. S. Чарли говорит, что твой дедушка — вылитый Платон, только не говори ему.

Р. Р. S. Чарли — мой ненаглядный».

Письмо было подписано: «Э. Д.»

Я сложил его и передал дедушке, чтобы он мог прочитать еще раз.

— Так-так, — пробормотал дедушка, держа в руке письмо и устремив взгляд в осенний сумрак. — Так-так.

Я Долго сидел, глядя на багряный край сентябрьского неба и холодные звезды.

— Знаешь, — заговорил я наконец, — по-моему, они вовсе не помешанные.

— По-моему, тоже, — сказал дедушка, раскуривая трубку и задувая спичку. — По-моему, тоже.

Волна отрезала меня от остального мира — от птиц в небе, от детей на пляже, от моей матери на берегу. На мгновение наступила зеленая тишина. Затем волна снова вернула меня небу, песку, кричащим детям. Я вышел из воды в мир, и ждал он меня такой же, как раньше, ничуть не изменившись.

Я побежал по пляжу.

Мама растерла меня махровым полотенцем.

— Стой здесь и сохни, — сказала она. Я стоял и смотрел, как струйки воды на руках исчезают под лучами солнца и на их месте образуется гусиная кожа.

— Ну и ветер, — сказала мама. — Надень-ка свитер.

— Подожди, я хочу посмотреть на пупырышки, — ответил я.

— Гарольд, — упрекнула меня мама.

Я натянул свитер и стал смотреть, как катятся и разбиваются о берег волны. Они падали легко и даже с каким-то изяществом: ни один пьяница не мог бы упасть так естественно, как это получалось у них.

Стоял сентябрь — его последние дни, когда наступает какая-то необъяснимая тоска. На пляже, длинном и пустынном, было всего несколько человек. Дети перестали играть в мяч. Был ветер, и из-за этого им почему-то тоже стало грустно. Они сели на песок, чувствуя, как на бесконечный пляж наступает осень.

Будки, в которых торговали пирожками, были забиты длинными золотистыми досками, впитавшими в себя запахи горчицы, лука, мяса, — все, что осталось от долгих, веселых летних дней. Они напоминали ряд гробов, в которые заколотили лето. В домиках постепенно захлопывались ставни, на двери вешались замки, и появившийся ветер, чуть касаясь песка, уничтожал бесчисленные отпечатки июля и августа. И сейчас, в сентябре, не осталось ничего, только у самой воды виднелись следы от моих теннисок со знаком фирмы.

Песок забивался под навес, вился на дорожках, карусель была покрыта брезентом: лошади застыли в воздухе на своих медных подставках, оскалившись и замерев в галопе. И только ветер, как музыка, свистел в складках брезента.

Я стоял. Все были в школе. Все, кроме меня. Завтра я уже буду ехать в поезде на запад через все Соединенные Штаты. Мы с мамой пришли на этот пляж в последний раз.

В этой пустынности было нечто такое, что мне самому захотелось удрать куда-нибудь.

— Мама, я хочу пробежаться по пляжу, — сказал я.

— Хорошо, но возвращайся скорее и не подходи близко к воде.

Я побежал. Песок взвивался за мной, и ветер подхватывал меня. Знаете, как это — ты бежишь, расставив руки, словно крылья, и ощущаешь ветер каждой клеточкой кожи.

Мама удалялась от меня все дальше и дальше и скоро превратилась в маленькую темную точку. Я был один.

Какое необычное чувство для двенадцатилетнего ребенка, когда он один. Ведь он так привык к тому, что всегда кто-то есть рядом. Единственная возможность остаться одному — это в своих мыслях. Вокруг так много людей, которые твердят детям, как нужно себя вести, что он вынужден бежать, хотя бы мысленно, на какой-то свой берег, где он может побыть в своем собственном мире.

А теперь я действительно был один.

Я вошел в воду, чувствуя, как она холодит мой живот. До этого, на людях, я не осмеливался взглянуть и подойти к этому месту, посмотреть в воду и произнести одно имя. Но сейчас...

Вода, словно волшебница, разрезает вас пополам, и кажется, что вы состоите из двух половин и нижняя часть тает, растворяется, исчезает. Вода была прохладной, и время от времени наткнувшись на меня волна изящно разлеталась пышными кружевами.

Я произнес ее имя. Я повторил его несколько раз:

— Тэлли! Тэлли! Тэлли!

В детстве всегда кажется, что на ваш зов непременно должны ответить. Вы чувствуете, что любое желание может осуществиться. И может быть, это не так уж неверно.

Я вспомнил, как Тэлли плыла по озеру майским днем и ее светлые косички тянулись за ней. Она плыла и смеялась, и солнце блестело на ее маленьких детских плечах. Я вспомнил, как на месте, где она плыла, осталась лишь гладкая поверхность воды, как закричала мать Тэлли, как спасатель нырнул в озеро, и как Тэлли никогда больше не вернулась.

Спасатель искал ее, но она исчезла. Когда он возвратился, между его толстыми пальцами торчали лишь куски водорослей, а Тэлли не было. Она не будет больше сидеть рядом со мной в школе и бегать за мячом по кирпичной мостовой летними вечерами. Она ушла слишком далеко, и озеро не вернет ее.

И сейчас, унылой осенью, когда небо такое огромное, и озеро такое огромное, и пляж такой бесконечно длинный, я пришел сюда в последний раз, один.

Я снова и снова повторял ее имя: «Тэлли! Тэлли!»

Я слышал легкий шум ветра, похожий на шепот морских раковин. Волна ласково окутала мою грудь, потом ноги, поднимаясь и опускаясь вверх и вниз, всасываясь в следы от ног.

— Тэлли! Вернись, Тэлли!

Мне было всего двенадцать лет, но как сильно я любил ее. Это была любовь, словно ветер, песок и море, неотделимые друг от друга. Она возникла из долгих теплых дней на пляже; тихих, скучных, томительных дней в школе. Она возникла из осенних дней прошлых лет, когда, возвращаясь из школы, я нес ее учебники.

— Тэлли!

Я произнес ее имя в последний раз. Я дрожал. Я чувствовал, что на лице у меня вода, не понимая, как она туда попала. Волна не могла плеснуть так высоко.

Я повернулся, вышел на песок и простоял там с полчаса, надеясь, что Тэлли даст знать о себе хоть каким-нибудь знаком, какой-нибудь частью себя. Потом я опустился на колени и построил замок из песка — прекрасный замок, такой, какие Тэлли и я много построили вместе. Но на этот раз я построил только половину замка и встал.

— Тэлли, если ты слышишь меня, приди и дострой его!

Я пошел к далекой точке, которая была моей мамой.

Подступившие волны постепенно размывали замок, понемногу сглаживая и превращая его в ровную поверхность.

Я тихо шел по берегу.

Где-то еле слышно звякнула карусель, но это был только ветер.

На следующий день я уехал.

У поезда плохая память — он все оставляет где-то далеко позади. Он забывает поля

Иллинойса, реки детства, мосты, озера, долины, дома, горе и радости. Все это расстилается за ним и исчезает за горизонтом.

Я вытянулся, окреп, мое детское восприятие мира изменилось, я вырос из своей одежды, перешел из начальной в среднюю школу, затем в колледж. А потом я встретил девушку из Сакраменто. Мы встречались некоторое время, затем поженились. Тогда мне было двадцать два года, и я почти забыл, как выглядит восток страны.

Маргарет предложила поехать туда, чтобы провести там наш заповедный медовый месяц.

Поезд, как память, возвращается к тому, что осталось позади много лет назад.

Городок Лейк Блая появился вдали.

На Маргарет было прекрасное новое платье, и она казалась в нем красавицей. Она наблюдала, как старый мир втягивает меня в свою жизнь. Когда поезд подкатил к станции и наш багаж был выгружен, она взяла меня за руку.

Как эти годы изменили людей — их лица, фигуры. Когда мы шли вместе по городу, я никого не узнавал. В некоторых лицах я видел отзвуки прошлого — в них еще жили воспоминания о походах по тропинкам оврага. Я видел лица, сохранившие улыбку со времен начальной школы, подвесной карусели и веселых взлетов на качелях. Но я не пытался заговорить, я шел, смотрел на них и чувствовал, как воспоминания накапливаются во мне, словно куча осенних листьев для костра.

Мы пробыли там целых две недели и обошли все окрестности. Это были счастливые дни. Мне казалось, что я люблю Маргарет. Во всяком случае, я так думал.

В один из последних дней мы пришли с ней на берег. Еще не кончилось лето, но на берегу уже появились первые признаки запустения. Людей было мало, несколько будок, где торговали пирожками, были заперты и заколочены, а ветер, как всегда, ждал нас, чтобы спеть свою песню.

Я почти видел свою маму, сидящую на песке так, как она любила сидеть. Мне снова, как и тогда, захотелось остаться одному, но я не мог заставить себя сказать это Маргарет. Я просто взял ее за руку.

Было уже поздно. Все дети ушли домой, и только несколько мужчин и женщин оставались, наслаждаясь ветром и солнцем.

К берегу пристала спасательная лодка. Из нее стал медленно вылезать спасатель, держа что-то в руках.

Я похолодел. У меня перехватило дыхание, и я почувствовал себя маленьким, крошечным, почти невидимым, напуганным двенадцатилетним существом. Выл ветер. Я не видел Маргарет. Я видел только берег — спасатель медленно выбирался из лодки с серым, не очень тяжелым мешком в руках. Его лицо было такое же серое и морщинистое, как этот мешок.

— Побудь здесь, Маргарет, — сказал я.

Не знаю, почему я так сказал.

— Почему?

— Просто побудь здесь, и все...

Я медленно шел по берегу туда, где стоял спасатель. Он взглянул на меня.

— Что это? — спросил я.

Спасатель окинул меня долгим взглядом и ничего не сказал. Он опустил серый мешок на песок, и выступившая с легким шумом вода тут же исчезла.

— Что это? — настойчиво повторил я.

— Странно, — тихо сказал спасатель.

Я ждал.

— Странно, — глухо произнес он. — Я еще не видел ничего более странного. Она утонула очень давно.

Я повторил эти слова следом за ним.

Он кивнул головой.

— Лет десять назад. В этом году никто из детей не тонул. Начиная с 1933 года здесь утонуло двенадцать детей, но мы всех находили через несколько часов. Я помню, что всех, кроме одного. Это тело находилось в воде, стало быть, десять лет. Не очень приятное зрелище.

Я смотрел на серый мешок в его руках.

— Откройте его, — сказал я.

Не знаю, почему я так сказал. Ветер завыл еще сильнее.

Он переложил мешок в другую руку.

— Скорее откройте его! — закричал я.

— Лучше не надо, — сказал он. Наверное, потом он увидел мое лицо. — Она была совсем малышка.

Он чуть приоткрыл мешок. Этого было достаточно.

Пляж опустел. Оставались только небо, ветер, вода и наступающая унылая осень. Я опять взглянул туда, на нее.

Я что-то повторял снова и снова. Какое-то имя. Спасатель посмотрел на меня.

— Где вы нашли ее? — спросил я.

— Дальше по берегу, вон там на мелководье. Как долго все это тянулось для нее.

Я покачал головой.

— Да, да, боже мой.

Я подумал о том, что люди растут; я вырос, но она не изменилась — она все еще маленькая, все еще юная. Смерть не дает вырасти или измениться. У нее все еще золотистые волосы. Она навсегда останется юной, и я всегда буду любить ее. Боже, я всегда буду любить ее.

Спасатель завязал мешок.

Через несколько секунд я понял, что иду вдоль берега. Я остановился и посмотрел вниз. «Вот здесь спасатель нашел ее», — сказал я про себя.

Тут, у самой кромки воды, стоял наполовину выстроенный замок из песка, точно такой же, какие я, бывало, строил с Тэлли — половину она, половину я.

Я смотрел на него. Я опустился на колени и увидел следы маленьких ног, идущих из озера и снова уходящих в него навсегда.

Тогда я понял.

— Я помогу тебе достроить его, — сказал я.

Я сделал это. Я строил замок очень медленно. Потом я встал и побрел, стараясь не смотреть, как замок исчезает под волнами, как исчезает и все на земле.

Я шел по пляжу, туда, где незнакомая женщина по имени Маргарет с улыбкой поджидала меня.

В год 400-й от рождества Христова сидел на троне за Великой Китайской стеной император Юань. Его страна зеленела после дождей и мирно готовилась принести урожай, а люди в этой стране хоть и не были самыми счастливыми, но не были и самыми несчастными.

Рано утром, в первый день первой недели второго месяца после Нового года, император Юань пил чай в беседке и веером нагонял на себя теплый ветерок, когда к нему по красным и синим плиткам, выстилавшим дорожку, прибежал слуга, крича:

— Государь, о государь, чудо!

— Да, — ответил император, — воздух сегодня поистине восхитителен!

— Нет, нет, чудо! — повторил слуга, кланяясь.

— И чай приятен моим устам, и это поистине чудо.

— Нет, не то, государь!

— Ты хочешь сказать, взошло солнце и настает новый день. И море лазурно. Это прекраснейшее из всех чудес.

— Государь, какой-то человек летает!

— Как! — Император перестал обмахиваться.

— Я видел человека в воздухе, и у него крылья, и он летает! Я услышал голос, зовущий с небес, и увидел дракона, поднимающегося ввысь, и в пасти у него был человек. Дракон из бумаги и бамбука, дракон цвета солнца и травы!

— Утро раннее, — произнес император, — и ты только что проснулся.

— Утро раннее, но что я видел — видел. Иди, и ты увидишь тоже.

— Садись тут со мной, — сказал император. — Выпей чаю. Если это правда, то, должно быть, очень странно увидеть, как человек летает. Нужно время, чтобы понять это, как нужно время, чтобы подготовиться к тому, что мы сейчас увидим.

Они пили чай.

— Государь, — сказал вдруг слуга, — только бы он не улетел!

Император задумчиво встал.

— Теперь можешь показать мне, что ты видел.

Они вышли в сад, миновали травянистую лужайку и мостик, миновали рожицу и вышли на невысокий холм.

— Вон там! — указал слуга.

Император взглянул на небо.

А в небе был человек, и он смеялся с такой высоты, что его смех был едва слышен; и этот человек был одет в разноцветную бумагу и тростниковый каркас, образующий крылья, и великолепный желтый хвост, и он парил высоко над землей, как величайшая птица из всех птиц, как новый дракон из древнего драконова царства.

И человек закричал с высоты, в прохладном утреннем воздухе:

— Я летаю, летаю!

Слуга махнул ему рукой:

— Мы тебя видим!

Император Юань не шевельнулся. Он глядел на Великую Китайскую стену, только сейчас начавшую выходить из тумана среди зеленых холмов; на этого чудесного каменного

змея, величаво извивающегося среди полей. На прекрасную стену, с незапамятных времен охраняющую его страну от вражеских вторжений, несчетные годы защищающую мир. Он видел город, прикорнувший у реки, и дороги, и холмы, — они уже начали пробуждаться.

— Скажи, — обратился он к слуге, — видел ли этого летающего человека еще кто-нибудь?

— Нет, государь, — ответил слуга; он улыбался небу и махал ему рукой.

Еще несколько мгновений император созерцал небо, потом сказал:

— Крикни ему, чтобы он спустился ко мне.

Слуга сложил руки у рта и закричал:

— Эй, спускайся, спускайся! Император хочет видеть тебя!

Пока летающий человек спускался в утреннем ветре, император зорко оглядывал окрестности. Увидел крестьянина, прекратившего работу и глядевшего в небо, и запомнил, где крестьянин стоит.

Зашуршала бумага, захрустел тростник, и летающий человек опустился на землю. Он гордо приблизился к императору и поклонился, хотя с его нарядом ему было неудобно кланяться.

— Что ты сделал? — спросил его император.

— Летал в небесах, государь, — ответил человек.

— Что ты сделал? — повторил император.

— Но я только что сказал тебе! — воскликнул летавший.

— Ты не сказал вообще ничего. — Император протянул свою тонкую руку, прикоснулся к разноцветной бумаге, к птичьему корпусу машины. От них пахло холодным ветром.

— Разве она не прекрасна, государь?

— Да, слишком даже прекрасна.

— Она единственная в мире! — засмеялся человек. — И я сам ее придумал.

— Единственная в мире?

— Клянусь!

— Кто еще знает о ней?

— Никто. Даже моя жена. Она решила бы, что солнце ударило мне в голову. Думала, что я делаю бумажного дракона. Я встал ночью и ушел к далеким скалам. А когда взошло солнце и повеял утренний ветерок, я набрался храбрости, государь, и прыгнул со скалы. И полетел! Но моя жена об этом не знает.

— Ее счастье, — произнес император. — Идем.

Они вернулись ко дворцу. Солнце уже сияло высоко в небе, и трава пахла свежестью. Император, слуга и летающий человек остановились в обширном саду.

Император хлопнул в ладоши.

— Стража!

Прибежала стража.

— Схватить этого человека!

Стража схватила его.

— Позвать палача, — приказал император.

— Что я сделал? — в отчаянии вскричал летавший. — Что я сделал? — Пышное бумажное одеяние зашелестело от его рыданий.

— Вот человек, который построил некую машину, — произнес император, — а теперь спрашивает у нас, что он сделал. Он сам не знает что. Ему важно только делать, а не знать,

почему и зачем он делает.

Прибежал палач с острым, сверкающим мечом. Остановился, изготовил мускулистые, обнаженные руки, лицо закрыл холодной белой маской.

— Еще мгновение, — сказал император. Подошел к стоявшему поблизости столику, где была машина, им самим построенная. Снял с шеи золотой ключик, вставил его в крошечное отверстие, несколько раз повернул, и механизм заработал.

Это был сад из золота и драгоценных камней. Когда механизм работал, то на ветвях деревьев пели птицы, в крохотных рощцах бродили звери, а маленькие человечки перебегали с солнца в тень, обмахивались крошечными веерами, слушали пение изумрудных птичек и останавливались у миниатюрных журчащих фонтанов.

— Разве это не прекрасно? — спросил император. — Если ты спросишь меня, что я сделал, я отвечу тебе. Я показал, что птицы поют, что деревья шумят, что люди гуляют по зеленой стране, наслаждаясь тенью и зеленью, и пением птиц. Это сделал я.

— Но, государь... — Летавший упал на колени, заливаясь слезами. — Я тоже сделал нечто подобное! Я нашел красоту. Взлетел в утреннем ветре. Смотрел вниз на спящие дома и сады. Ощущал запах моря и со своей высоты даже видел его далеко за горами. И парил как птица. Ах, нельзя рассказать, как прекрасно там наверху, в небе: ветер веет вокруг, и несет меня то туда, то сюда, как перышко, и утреннее небо пахнет... А какое чувство свободы! Это прекрасно, государь, это так прекрасно!

— Да, — печально ответил император. — Я знаю, что это так. Ибо я и сам чувствовал, как мое сердце парит вместе с тобою в небе, и размышлял: «Каково это? Какое ощущение? Какими видишь с этой высоты далекие озера? А мои дворцы? А слуги? А город вдаль, еще не проснувшийся?»

— Пощади меня!

— Но бывает и так, — продолжал император еще печальнее, — что человеку приходится жертвовать чем-нибудь прекрасным, дабы сохранить то прекрасное, которое у него уже есть. Я не боюсь тебя, тебя самого, но боюсь другого человека.

— Кого же?

— Какого-нибудь другого, который, увидев тебя, построит такую же машину из цветной бумаги и бамбука. Но у этого человека может оказаться злое лицо и злое сердце, и он не захочет смотреть на красоту. Такого человека я и боюсь.

— Почему? Почему?

— Кто может сказать, что когда-нибудь такой человек не взлетит к небу в такой машине из бамбука и бумаги и не сбросит огромные каменные глыбы на Великую стену? — спросил император, и никто не смел ни шевельнуться, ни вымолвить слово.

— Отрубить ему голову! — приказал император.

Палач взмахнул блестящим ножом.

— Сожгите дракона и его создателя и пепел обоих схороните вместе, — сказал император.

Слуги кинулись исполнять приказание.

Император обратился к своему слуге, который первым увидел летающего человека:

— Обо всем этом молчи. Все это было очень грустным и прекрасным сном. Крестьянину, которого мы видели в поле, скажи, что ему будет заплачено, если он сочтет это видением. Но если вы скажете хоть слово, вы оба умрете.

— Ты милосерден, господин.

— Нет, я не милосерден, — возразил император. Он смотрел, как за садовой оградой слуги сжигают прекрасную, пахнущую утренним ветром машину из бумаги и тростника. Видел темный дым, поднимающийся к небу. — Нет, я в отчаянии и очень испуган. — Он смотрел, как слуги роют яму, чтобы схоронить пепел. — Что такое жизнь одного человека в сравнении с жизнью миллионов! Пусть эта мысль будет мне утешением.

Он снял ключик с цепочки на шее и снова завел механизм чудесного сада. Стоял и глядел вдаль, на Великую стену, на миролюбивый город, на зеленые поля, на реки и дороги. Вздохнул. Крохотный механизм зажужжал, и сад ожил. Под деревьями гуляли человечки, на залитых солнцем полянках мелькали зверьки в блестящих шубках, а в ветвях деревьев порхали голубые и золотистые птички и кружились в маленьком небе.

— Ах! — вздохнул император, закрывая глаза, — Ах, эти птички, птички...

— Да у тебя на это всего одна минута уйдет, — настаивала миловидная супруга дядюшки Эйнара.

— Я отказываюсь, — ответил он. — На отказ секунды достаточно.

— Я все утро трудилась, — сказала она, потирая свою стройную спину, — а ты даже помочь не хочешь. Вон какая гроза собирается.

— И пусть собирается! — сердито воскликнул он. — Хочешь, чтобы меня из-за твоих простыней молния стукнула!

— Да ты успеешь, тебе ничего не стоит.

— Сказал — не буду, и все. — Огромные непромокаемые крылья дядюшки Эйнара нервно жужжали за его негодующей спиной.

Она подала ему тонкую веревку, на которой было подвешено четыре дюжины мокрых простынь. Он с отвращением покрутил веревку кончиками пальцев.

— До чего я дошел, — буркнул он с горечью, — До чего дошел, до чего...

Он едва не плакал злыми, едкими слезами.

— Не плачь, только хуже их намочишь, — сказала она. — Ну, скорей, покружись с ними.

— Покружись, покружись... — Голос у него был глухой и очень обиженный. — Тебе все равно, хоть бы ливень, хоть бы гром.

— Посуди сам: зачем мне просить тебя, если бы день был погожий, солнечный, — рассудительно возразила она. — А если ты откажешься, вся моя стирка насмарку. Разве что в комнатах развесить...

Эти слова решили дело. Больше всего на свете он ненавидел, когда поперек комнат, будто гирлянды, будто флаги, болтались-развевались простыни, заставляя человека ползать на карачках. Он подпрыгнул. Огромные зеленые крылья гулко хлопнули.

— Только до выгона и обратно!

Сильный взмах, прыжок, и он взлетел, взлетел, рубя крыльями прохладный воздух, глядя его. Быстрее, чем вы бы произнесли: «У дядюшки Эйнара зеленые крылья», он скользнул над своим огородом, и длинная, трепещущая петля простыней забила в гуле, в воздушной струе от его крыльев.

— Держи!

Круг закончен, и простыни, сухие, как воздушная кукуруза, плавно опустились на чистые одеяла, которые заранее были расстелены в ряд.

— Спасибо! — крикнула Эйнару жена.

Он буркнул в ответ что-то неразборчивое и улетел под яблоню думать свою думу.

Чудесные шелковистые крылья дядюшки Эйнара были словно паруса цвета морской волны, они громко шуршали и шелестели за его спиной, если он чихал или быстро оборачивался. Мало того, что он происходил из совершенно особой Семьи, его талант было видно простым глазом. Все его нечистое племя — братья, племянники и прочая родня, укрывшись в глухих селениях за тридевять земель, творило там чары невидимые, всякую ворожбу, они порхали в небе блуждающими огоньками, рыскали по лесу лунно-белыми волками. Им в общем-то нечего было опасаться обычных людей. Не то что человеку, у которого большие зеленые крылья...

Но ненависти он к своим крыльям не испытывал. Напротив! В молодости дядюшка Эйнар по ночам всегда летал, ночь для крылатого самое дорогое время! День придет, опасность приведет, так уж заведено. Зато ночью! Ночью как он парил над островами облаков и морями летнего воздуха!.. В полной безопасности. Возвышенный, гордый полет, наслаждение, праздник души.

Теперь он больше не мог летать по ночам.

Несколько лет назад, возвращаясь с пирушки (были только свои) в Меллинтауне, штат Иллинойс, к себе домой на перевал где-то в горах Европы, дядюшка Эйнар почувствовал, что, кажется, перепил этого густого красного вина... «А, ничего, все будет в порядке», — произнес он заплетающимся языком, летя в начале своего долгого пути под утренними звездами, над убаюканными луной холмами за Меллинтауном. Вдруг, как гром среди ясного неба...

Высоковольтная передача.

Точно утка в силках! И шкворчит огромная жаровня! И в зловещем сиянии голубой дуги — почерневшее лицо! Невероятный, оглушительный взмах крыльев, он метнулся назад, вырвался из проволочной хватки электричества и упал.

На лунную лужайку под опорой он упал с таким шумом, словно с неба обронили большую телефонную книгу.

Рано утром следующего дня дядюшка Эйнар поднялся на ноги, тяжелые от росы крылья лихорадочно дрожали. Было еще темно. Тонкий бинт рассвета опоясал восток. Скоро сквозь марлю проступит кровь, и уж тогда не полетишь.

Оставалось только укрыться в лесу и там, в чаще, переждать день, пока новая ночь не окрылит его для незримого полета в небесах.

Вот каким образом он встретил свою жену.

В тот день, необычно теплый для начала ноября в Иллинойсе, хорошенькая юная Брунилла Вексли, судя по всему, отправилась доить затерявшуюся корову. Во всяком случае, она держала в одной руке серебряный подойник и, пробираясь сквозь чащу, остроумно убеждала невидимую беглянку идти домой, пока вымя не лопнуло от молока. Тот факт, что корова, скорее всего, сама придет, как только ее соски соскучатся по пальцам доярки, Брунилле Вексли несколько не занимал. Ей, Брунилле, лишь бы по лесу бродить, пух с цветочков сдувать, да травинки жевать; этим она и была занята, когда набрела на дядюшку Эй-нара.

Он крепко спал возле куста и походил на самого обыкновенного человека под зеленым пологом.

— О! — взволнованно воскликнула Брунилла. — Мужчина. В плащ-палатке.

Дядюшка Эйнар проснулся. Палатка раскрылась за его спиной, точно большой зеленый веер.

— О! — воскликнула Брунилла, коровий следопыт. — Мужчина с крыльями!

Вот как она реагировала. Разумеется, она оторопела, но Брунилла еще ни от кого в жизни не видела обиды, а потому никого не боялась, и ведь так интересно было встретить крылатого мужчину, ей это даже польстило. Она заговорила. Через час они уже были старыми друзьями, через два часа она совершенно забыла про его крылья. И он незаметно для себя рассказал, как очутился в этом лесу.

— Я уж и то заметила, что у вас вид какой-то пришибленный, — сказала она. — Правое крыло совсем скверно выглядит. Давайте-ка лучше я вас отведу к себе домой и

подлечу его. Все равно, с таким крылом вам до Европы не долететь. Да и кому охота в такое время жить в Европе?

Он сказал спасибо, но нельзя... неудобно как-то.

— Ничего, я живу одна, — настаивала Брунилла. — Сами видите, какая я дурнушка.

Он пылко возразил.

— Вы добрый, — сказала она. — Но я дурнушка, зачем обманывать себя. Родные померли, оставили мне ферму, ферма большая, а я одна, и до Меллинтауна далеко, не с кем даже словечком перемолвиться.

Он спросил, неужели она его не боится.

— Скажите лучше: радуюсь, восхищаюсь... — ответила Брунилла. — Можно?

И она с легкой завистью погладила широкие зеленые перепонки, прикрывавшие его плечи. Он вздрогнул от прикосновения и прикусил язык.

Словом, что тут говорить: пойдете на ферму, там есть лекарства и притирания и... «Ой! какой ожог через все лицо, ниже глаз!»

— Счастье, что вы не ослепли, — сказала она. — Как же это случилось?

— Понимаете... — начал он, и они очутились на ферме, не заметив даже, что целую милю прошли, не сводя глаз друг с друга.

Прошел день, за ним другой, и он простился с ней у порога, пора и честь знать, от души поблагодарил за примочки, заботу, кров. Смеркалось — шесть часов вечера, — а ему до пяти утра надо успеть пересечь целый океан и материк.

— Спасибо, всего хорошего, — сказал он, взмахнул крыльями в сумеречном воздухе и врезался в клен.

— О! — вскричала она и бросилась к бесчувственному телу.

Придя в себя час спустя, дядюшка Эйнар уже знал, что ему больше никогда не летать в темноте. Его тончайшая ночная восприимчивость исчезла; крылатая телепатия, которая предупреждала, когда на пути выростала башня, гора, дерево, дом, безошибочное ясновидение и чувствительность, которые вели его сквозь лабиринт лесов, скал, облаков, — все бесповоротно выжег этот удар по лицу, голубое жгучее электрическое шипение...

— Как?.. — тихо простонал он. — Как я вернусь в Европу? Если полечу днем, меня заметят и — жалкий анекдот! — могут сбить! А то еще в зоопарк поместят, страшно подумать! Брунилла, скажи, как мне быть?

— О, — прошептала она, глядя на свои руки, — что-нибудь придумаем...

Они поженились.

На свадьбу явилось все его племя. Они летели с могучей, шуршащей и шелестящей осенней лавиной кленовых, дубовых, вязовых и платановых листьев, сыпались вниз с ливнем каштанов, словно зимние яблоки глухо гукали оземь, мчались с ветром, с проникающим всюду дыханием уходящего лета. Обряд? Он был краток, как жизнь черной свечи, что зажгли и задули, и только вьется в воздухе тонкий дымок. Но ни краткость обряда, ни его необычность, ни загадочный смысл не были замечены Брунилой, она всем существом слушала тихий рокот крыльев дядюшки Эйнара, далекий прибой, который подвел итог таинству. Что же до дядюшки Эйнара, то рана, перечеркнувшая его лицо, почти зажила, и, стоя под руку с Брунилой, он чувствовал, как Европа тает, исчезает и теряется вдали.

Ему не требовалось особенно хорошего зрения, чтобы взлететь прямо вверх и так же прямо опуститься. И не было ничего удивительного в том, что в свадебную ночь он поднял Брунилла на руки и полетел с ней в небеса.

Фермер, живущий от них в пяти милях, глянул в полночь на низко плывущую тучу и заметил слабые вспышки, треск.

— Зарница, — решил он и пошел спать.

Они спустились только утром, вместе с росой.

Брак был удачный. Стоило ей взглянуть на него, и мысль о том, что она единственная в мире женщина, которая замужем за крылатым человеком, переполняла ее гордостью.

— Кто еще может о себе так сказать? — спрашивала Брунилла свое зеркало. И ответ гласил: — Никто!

А ему за ее внешностью открылась замечательная красота, великая доброта и понимание. Приноравливаясь к ее образу мыслей, он кое в чем изменил свой стол, в комнатах старался не очень размахивать крыльями; битая посуда, да разбитые лампы были ему, что нож острый, он держался от стекла подальше. И часы сна переменились, ведь он теперь все равно не летал по ночам. В свою очередь она приспособила стулья так, чтобы его крыльям было удобно, тут прибавила набивки, там убавила, а слова, которые она ему говорила, были теми словами, за которые он ее любил.

— Все мы в коконах скрыты, каждый в своем, — сказала она однажды. — Видишь, какая я дурнушка? Но настанет день, я выйду из кокона и расправлю крылья, такие же чудные, как твои.

— Ты уже давно вышла, — ответил он.

Она подумала над его словами и согласилась.

— Да... И я точно знаю, в какой день это было. В лесу, когда я искала корову, а нашла палатку!

Они рассмеялись, и в его объятиях она чувствовала себя такой прекрасной, что не сомневалась: замужество исторгло ее из некрасивой оболочки, точно сверкающий меч из ножен.

У них появились дети. Сперва появилось опасение (лишь у него), что они будут крылатые.

— Вздор, я только рада буду! — сказала она. — Не будут под ногами болтаться.

— Зато в твоих волосах запутаются! — воскликнул он.

— О! — ужаснулась она.

Родилось четверо, три мальчика и девочка, да такие непоседы, словно у них и впрямь были крылья. Росли они, как грибы; не прошло и нескольких лет, как дети в жаркие летние дни упрашивали папу посидеть с ними под яблоней, сделать крыльями холодильник и рассказать захватывающую дух сияющую сказку про острова облаков в океане небес, про химеры, которые лепит из тумана ветер, какой вкус у звездочки, тающей у тебя во рту, или у студеного горного воздуха, каково быть камнем, падающим с Эвереста, и в последний миг, расправив крылья-лепестки, у самой земли расцвести зеленым цветком.

Вот так сложился его брак.

И вот сегодня, шесть лет спустя, сидит дядюшка Эйнар под яблоней, сидит, тоскует, раздражительный, злой. Не потому, что ему так хочется, а потому что и столько времени спустя он не может летать в вольном ночном небе: его чудесное свойство так и не вернулось к нему, сидит уныло, пригорюнившись — зеленый летний зонт, покинутый и забытый легкомысленными отпускниками, которые некогда искали убежища в его прозрачной тени. Неужто так и придется всегда сидеть, не смея днем расправить крылья в поднебесье — как бы кто не увидел? Неужто единственное, на что он способен, — быть бельесушкой для жены,

веером для ребятишек в жаркий августовский полдень? Да, он и прежде всегда выполнял поручения Семьи, летая быстрее ветра! Бумерангом проносился над горами и долами и пушинкой спускался на землю. У него всегда водились деньги: крылатому человеку бездельничать не дадут! А теперь? Горечь и боль! Его крылья забились, встряхнули воздух, получился какой-то скованный гром.

— Пап! — позвала маленькая Мег.

Дети стояли перед ним, глядя на его хмурое лицо.

— Пап, — сказал Рональд, — сделай еще гром!

— Сейчас еще холодно, март, а вот скоро будут и дожди, и вдоволь грома, — ответил дядюшка Эйнар.

— Пойдем с нами, посмотришь! — предложил Майкл.

— Да ну, побежали скорее! Пусть его, сидит и мечтает!

Ему сейчас было не до любви, не до детей любви, не до любви детей. Он весь отдался мечте о небесах, поднебесной высоте, горизонтах, воздушных далях; будь то днем или ночью, при звездах, луне или солнце, облачно или ясно, — когда ни воспаришь, впереди — не догнать! — летят небеса, горизонты, дали. А он... А он кружит над выгоном, у самой земли: не дай бог увидят...

Прозябание в темной дыре!

— Март! Март! — пела Мег. — Мы на горку идем, пап, пошли с нами! Там даже из городка дети будут!

— На какую еще горку? — буркнул дядюшка Эйнар.

— На Змеевку, какую же еще! — дружно откликнулись дети.

Он наконец посмотрел на них.

У каждого был в руках большой бумажный змей, и горящие нетерпением детские лица предвкушали шальную радость. Коротенькие пальцы сжимали мотки белей бечевки. Снизу у красно-сине-желто-зеленых змеев висели хвосты из шелковых лоскутков.

— Мы будем запускать наших змеев! — сказал Рональд. — Пойдешь с нами?

— Нет, — печально ответил он. — Нельзя, чтобы меня кто-нибудь увидел, могут быть неприятности.

— А ты спрячься в лесу за деревьями и смотри оттуда, — предложила Мег. — Мы сами сделали змеев, сами! Знаем, как делать!

— Откуда же вы знаете?

— Ты наш отец! — дружно крикнули дети. — Вот откуда!

Он долго глядел на них. Он вздохнул.

— Сегодня Праздник змеев?

— Да, папа.

— Я выиграю, — сказала Мег.

— Нет, я! — заспорил Майкл.

— Я, я! — запищал Стивен.

— Силы небесные! — воскликнул дядюшка Эйнар, подпрыгнув высоко в воздух, и крылья его загремели, будто громогласные литавры. — Дети! Мои дорогие, славные, обожаемые дети!

— Папа, что случилось? — Майкл даже попятился.

— Ничего, ничего, ничего! — распевал Эйнар.

Он расправил крылья, напряг их до предела, все силы собрал... Бамм! Точно

исполинские медные тарелки! Дети даже упали от сильного вихря!

— Нашел, нашел! Я снова вольная птица! Как искра в трубе! Как перышко на ветру! Брунилла! — Он повернулся к дому. — Брунилла!

Она вышла на его зов.

— Я свободен! — воскликнул он, приподнявшись на цыпочки, разругавшийся, высокий. — Слышишь, Брунилла, зачем мне ночь! Я могу летать днем! И ночь ни при чем! Теперь каждый день летать буду, круглый год! Господи, да что я время теряю. Смотри!

И на глазах у встревоженных домочадцев он оторвал у одного из змеев лоскутный хвост, привязал его себе к ремню сзади, схватил моток бечевки, один конец зажал в зубах, другой отдал детям — и полетел, полетел в небеса, подхваченный буйным мартовским ветром!

Через фермы, через луга, отпуская бечевку в светлое дневное небо, ликуя, спотыкаясь, бежали-торопились его дети, а Брунилла стояла на дворе, провожая их взглядом, и смеялась, и махала рукой, и видела, как ее дети прибежали на Змееву горку, как встали там, все четверо, держа бечевку нетерпеливыми, гордыми пальцами, и каждый дергал, подтягивал, направлял... И все дети Меллинтауна прибежали со своими бумажными змеями, чтобы запустить их с ветром, и они увидели огромного зеленого змея, как он взмахивал и парил в небесах, и закричали:

— О, о, какой змей! Какой змей! О, как мне хочется такого змея! Где, где вы его взяли?

— Это наш папа сделал! — воскликнули Мег и Майкл, и Стивен, и Рональд и лихо дернули бечевку, так что змей, жужжащий, рокошущий змей в небесах нырнул, и снова взмыл, и прямо на облаке начертил большой волшебный восклицательный знак!

Высоко-высоко, выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой летела Сеси. Невидимая, как юные весенние ветры, свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах... Она парила в горlinkах, мягких, как белый горноста́й, отдыхала в деревьях и жила в цветах, улета́я с лепестками от самого легкого дуновения. Она сидела в прохладной, лимонно-зеленой, как мята лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматом псе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой, как слеза, влаге, которая испарялась из пахнущей мускусом почвы.

«Весна... — думала Сеси. — Сегодня ночью я побываю во всем, что живет на свете».

Она вселялась в франтоватых кузнечиков на пятнистом гудроне шоссе, купалась в капле росы на железной ограде. В этот неповторимый вечер ей исполнилось ровно семнадцать лет, и душа ее, поминутно преображаясь, летела, незримая, на ветрах Иллинойса.

— Хочу влюбиться, — произнесла она.

Она еще за ужином сказала то же самое. Родители переглянулись и приняли чопорный вид.

— Терпение, — посоветовали они. — Не забудь, ты не как все. Наша Семья вся особенная, необычная. Нам нельзя общаться с обыкновенными людьми, тем более вступать в брак. Не то мы лишимся своей магической силы. Ну скажи, разве ты захочешь утратить дар волшебных путешествий? То-то... Так что будь осторожна. Будь осторожна!

Но в своей спальне наверху Сеси чуть-чуть надушила шею и легла, трепещущая, взволнованная, на кровать с пологом, а над полями Иллинойса всплыла молочная луна, превращая реки в сметану, дороги — в платину.

— Да, — вздохнула она, — я из необычной Семьи. День мы спим, ночь летаем по ветру, как черные бумажные змеи. Захотим — можем всю зиму проспять в кротах, в теплой земле. Я могу жить в чем угодно — в камушке, в крокусе, в богомоле. Могу оставить здесь свою невзрачную оболочку из плоти и послать душу далеко-далеко в полет, на поиски приключений. Лечу!

И ветер понес ее над полями, над лугами.

И коттеджи внизу лучились ласковым весенним светом, и тускло рдели окна ферм.

«Если я такое странное и невзрачное создание, что сама не могу надеяться на любовь, влюблюсь через кого-нибудь другого», — подумала она.

Возле фермы, в весеннем сумраке, темноволосая девушка лет девятнадцати, не больше, доставала воду из глубокого каменного колодца. Она пила.

Зеленым листком Сеси упала в колодец. Легла на нежный мох и посмотрела вверх, сквозь темную прохладу. Миг — и она в невидимой суетливой амебе, миг — и она в капле воды! И уже чувствует, как холодная кружка несет ее к горячим губам девушки. В ночном воздухе мягко отдались глотки.

Сеси поглядела вокруг глазами этой девушки.

Проникла в темноволосую голову и ее блестящими глазами посмотрела на руки, которые тянули шершавую веревку. Розовыми раковинами ее ушей вслушалась в окружающий девушку мир. Ее тонкими ноздрями уловила запах незнакомой среды. Ощутила, как ровно, как сильно бьется юное сердце. Ощутила, как вздрагивает в песне чужая гортань.

«Знает ли она, что я здесь?» — подумала Сеси.

Девушка ахнула и уставилась на черный луг.

— Кто там?

Никакого ответа.

— Это всего-навсего ветер, — прошептала Сеси.

— Всего-навсего ветер. — Девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко.

Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая, остов из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чайная роза, рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами — белые-белые зубы, брови красиво изогнуты, волосы ласково, мягко гладят молочно-белую шею. Поры были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну, щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове — все равно что греться в пламени камина, поселиться в мурлыканье спящей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю.

«А мне здесь славно», — подумала Сеси.

— Что? — спросила девушка, словно услышала голос.

— Как тебя звать? — осторожно спросила Сеси.

— Энн Лири. — Девушка встрепелась. — Зачем я это вслух оказала?

— Энн, Энн, — прошептала Сеси. — Энн, ты влюбишься.

Как бы в ответ на ее слова, с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебню. Появилась повозка, на ней сидел рослый парень, его могучие ручищи крепко держали натянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор.

— Энн!

— Это ты, Том?

— Кто же еще? — Он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди.

— Я с тобой не разговариваю! — Энн отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой.

— Нет! — воскликнула Сеси.

Энн опешила. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали Томом. Сеси заставила ее уронить ведро.

— Смотри, что ты натворил!

Том подбежал к ней.

— Смотри, это все из-за тебя!

Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком.

— Отойди!

Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сеси видела его голову — крупную, лоб — высокий, нос — орлиный, глаза — блестящие, плечи — широкие и налитые силой руки, которые бережно гладили туфли платком. Глядя вниз из потаенного чердака красивой головки, Сеси потянула скрытую проволочку чревовещания, и милый ротик тотчас открылся:

— Спасибо!

— Вот как, ты умеешь быть вежливой?

Запах сбри от его рук, запах конюшни, пропитавший его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сеси, лежащее в постели далеко-далеко за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она что-то увидела во сне.

— Только не с тобой! — ответила Энн.

— Т-с, говори ласково, — сказала Сеси, и пальцы Энн вами потянулись к голове Тома.

Энн отдернула руку.

— Я с ума сошла!

— Верно. — Он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный. — Ты хотела потрогать меня?

— Не знаю. Уходи, уходи! — Ее щеки пылали, словно розовые угли.

— Почему ты не убегаешь? Я тебя не держу. — Том выпрямился. — Ты передумала?

Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу почему.

— Нет, — ответила Энн.

— Да! — воскликнула Сеси. — Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине, папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнечики, листья — я во всем на свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний вечер, в такой вечер, как этот... О, прошу тебя, пойдём на танцы!

Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке.

— Хорошо, — сказала Энн Лири. — Я пойду с тобой на танцы, Том.

— А теперь — в дом, живо! — воскликнула Сеси. — Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье, утюг в руки, за дело!

— Мама, — сказала Энн, — я передумала.

Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купанья, плита раскаляла утюг для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее ошетинился шпильками.

— Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится Том!

— Верно. — И Энн в разгар приготовлений вдруг застыла на месте.

«Но ведь весна!» — подумала Сеси.

— Сейчас весна, — сказала Энн.

«И такой чудесный вечер для танцев», — подумала Сеси.

— ...для танцев, — пробормотала Энн Лири.

И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки, теплая грудь скользит в ладонях, и Сеси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мылила там, а теперь — встать! Вытереться полотенцем! Духи! Пудра!

— Эй, ты! — Энн окликнула свое отражение в зеркале: белое и розовое, словно лилии и гвоздики. — Кто ты сегодня вечером?

— Семнадцатилетняя девушка. — Сеси выглянула из ее фиалковых глаз. — Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?

Энн Лири покачала головой.

— Не иначе, в меня вселилась апрельская ведьма.

— Горячо, горячо! — рассмеялась Сеси. — А теперь одеваться.

Ах, как сладостно, когда красивая одежда облекает пышущее жизнью тело! И снаружи уже зовут...

— Энн, Том здесь!

— Скажите ему, пусть подождет. — Энн вдруг села. — Скажите, что я не пойду на танцы.

— Что такое? — сказала мать, стоя на пороге.

Сеси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот копыт, скрип колес на лунной дороге и вдруг подумала: «Полечу, найду Тома, проникну в его голову, посмотрю, что чувствует в такую ночь парень двадцати двух лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто птица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири.

— Энн!

— Пусть уходит!

— Энн! — Сеси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли.

Но Энн закусила удила.

— Нет, нет, я его ненавижу!

Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сеси подчинила себе руки девушки... сердце... голову... исподволь, осторожно: «Встань!» — подумала она.

Энн встала.

«Надень пальто!»

Энн надела пальто.

«Теперь иди!»

«Нет!» — подумала Энн Лири.

«Ступай!»

— Энн, — заговорила мать, — не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?

— Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.

Энн и Сеси вместе выбежали в весенний вечер.

Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки своих величавых, пышных перьев, комната, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится, кружится в танце Энн Лири...

— Какой сегодня чудесный вечер! — сказала Сеси.

— Какой чудесный вечер! — произнесла Энн.

— Ты какая-то странная, — сказал Том.

Вихревая музыка окутала их мглой, закружила в струях песни; они плыли, качались, тонули и вновь всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, вздохах, под звуки «Прекрасного Огайо».

Сеси напевала. Губы Энн разомкнулись, и зазвучала мелодия.

— Да, я странная, — ответила Сеси.

— Ты на себя непохожа, — сказал Том.

— Сегодня да.

— Ты не та Энн Лири, которую я знал.

— Совсем, совсем не та, — прошептала Сеси за много-много миль оттуда.

— Совсем не та, — послушно повторили губы Энн.

— У меня какое-то нелепое чувство, — сказал Том.

— Насчет чего?

— Насчет тебя. — Он чуть отодвинулся и, кружа ее, пристально, пытливо посмотрел на разрянувшееся лицо. — Твои глаза, — произнес он, — не возьму в толк.

— Ты видишь меня? — спросила Сеси.

— Ты вроде бы здесь, и вроде бы где-то далеко отсюда. — Том осторожно ее кружил, лицо у него было озабоченное.

— Да.

— Почему ты пошла со мной?

— Я не хотела, — ответила Энн.

— Так почему же?..

— Что-то меня заставило.

— Что?

— Не знаю. — В голосе Энн зазвенели слезы.

— Спокойно, тише... тише... — шепнула Сеси. — Вот так. Кружись, кружись.

Они шуршали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их.

— И все-таки ты пошла на танцы, — сказал Том.

— Пошла, — ответила Сеси.

— Хватит. — И он легко увлек ее в танце к двери, на волю, неприметно увел прочь от зала, от музыки и людей.

Они забрались в повозку и сели рядом.

— Энн, — сказал он и взял ее руки дрожащими руками, — Энн.

Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе и не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн, теперь ее глаза были открыты.

— Энн, было время, я любил тебя, ты это знаешь, — сказал он.

— Знаю.

— Но ты всегда была так переменчива, а мне не хотелось страдать понапрасну.

— Ничего страшного, мы еще так молоды, — ответила Энн.

— Нет, нет, я хотела сказать: прости меня, — сказала Сеси.

— За что простить? — Том отпустил ее руда и насторожился.

Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листьями.

— Не знаю, — ответила Энн.

— Нет, знаю, — сказала Сеси. — Ты высокий, ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер, я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой.

И она протянула холодную чужую руку за его сопротивляющейся рукой, взяла ее, стиснула, согрела.

— Что с тобой сегодня, — сказал, недоумевая, Том. — Те одно говоришь, то другое. Сама на себя непохожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал — ты как-то переменилась, сильно переменилась. Стала другая. Появилось что-то новое... мягкость какая-то... — Он подыскивал слова. — Не знаю, не умею сказать. И смотрела не так. И голос не тот. И я знаю: я опять в тебя влюблен.

«Не в нее, — сказала Сеси, — в меня!»

— А я боюсь тебя любить, — продолжал он. — Ты опять станешь меня мучить.

— Может быть, — ответила Энн.

«Нет, нет, я всем сердцем буду тебя любить! — подумала Сеси. — Энн, скажи ему это, скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь».

Энн ничего не сказала.

Том тихо придвинулся к ней, ласково взял ее за подбородок.

— Я уезжаю. Нанялся на работу, сто миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?

— Да, — сказали Энн и Сеси.

— Так можно поцеловать тебя на прощанье?

— Да, — сказала Сеси, прежде чем кто-либо другой успел ответить.

Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы.

Энн сидела будто белое изваяние.

— Энн! — воскликнула Сеси. — Подними руки, обними его!

Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла.

Он снова поцеловал ее в губы.

— Я люблю тебя, — шептала Сеси. — Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, а я тебя люблю, хоть бы она тебя никогда не полюбила.

Он отодвинулся и сидел рядом с Энн такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько.

— Не понимаю, что это делается?.. Только сейчас...

— Да? — спросила Сеси.

— Сейчас мне показалось... — Он протер руками глаза. — Неважно. Отвезти тебя домой?

— Пожалуйста, — сказала Энн Лири.

Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка, а кругом ранняя весенняя ночь — всего одиннадцать часов, — и мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером.

И Сеси, глядя на поля, на луга, думала: «Все можно отдать, ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе, с этой ночи и навсегда». И она услышала издали голоса своих родителей: «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за простого смертного. Берегись. Ведь ты этого не хочешь?»

«Да, хочу, — подумала Сеси. — Я даже этим готова поступиться хоть сейчас, если только я ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами, не надо вселяться в птиц, собак, кошек, лис — мне нужно одно: быть с ним. Только с ним. Только с ним».

Дорога под ними, шурша, бежала назад.

— Том, — заговорила наконец Энн.

— Да? — Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды.

— Если ты когда-нибудь, в будущем, попадешь в Грин-Таун в Иллинойсе — это несколько миль отсюда, — можешь ты сделать мне одолжение?

— Возможно.

— Можешь ты там зайти к моей подруге? — Энн Лири сказала это запинаясь, неуверенно.

— Зачем?

— Это моя хорошая подруга... Я рассказывала ей про тебя. Я тебе дам адрес. Минутку.

Повозка остановилась возле дома Энн, она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колесо, стала писать при свете луны.

— Вот. Разберешь?

Он поглядел на листок и озадаченно кивнул.

— «Сеси Элиот. Тополевая улица, 12, Грин-Таун, Иллинойс», — прочел он.

— Зайдешь к ней как-нибудь? — спросила Энн.

— Как-нибудь, — ответил он.

— Обещаешь?

— Какое отношение это имеет к нам? — сердито крикнул он. — На что мне бумажки, имена?

Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман.

— Пожалуйста, обещай! — взмолилась Сеси.

— ...обещай... — сказала Энн.

— Ладно, ладно, только не приставай! — крикнул он.

«Я устала, — подумала Сеси. — Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются. У меня всего на несколько часов сил хватает, когда я ночью вот так странствую... Но на прощание...».

— ...на прощание, — сказала Энн.

Она поцеловала Тома в губы.

— Это я тебя целую, — сказала Сеси.

Том отодвинул от себя Энн Лири и поглядел на нее, заглянул ей в самую душу. Он ничего не сказал, но лицо его медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, каменные губы смягчились, и он еще раз пристально всмотрелся в озаренное луной лицо, белеющее перед ним.

Потом помог ей сойти с повозки и быстро, даже не сказав «спокойной ночи», покатил прочь.

Сеси отпустила Энн.

Энн Лири вскрикнула, точно вырвалась из плена, побежала по светлой дорожке к дому и захлопнула за собой дверь.

Сеси чуть помешкала. Глазами сверчка она посмотрела на ночной весенний мир. Одну минутку, не больше, глядя глазами лягушки, посидела в одиночестве возле пруда. Глазами ночной птицы глянула вниз с высокого, купающегося в лунном свете вяза и увидела, как гаснет свет в двух домиках — ближнем и другом, в миле оттуда. Она думала о себе, о всех своих, о своем редком даре, о том, что ни одна девушка в их роду не может выйти замуж за человека, живущего в этом большом мире за холмами.

«Том. — Ее душа, теряя силы, летела в ночной птице под деревьями, над темными полями дикой горчицы. — Тем, ты сохранил листок? Зайдешь когда-нибудь, как-нибудь при случае, навестить меня? Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел, почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя — всем сердцем и навсегда?»

Она остановилась, а кругом — прохладный ночной воздух, и миллионы миль до городов и людей, и далеко-далеко внизу фермы и поля, реки и холмы.

Тихонько: «Том?»

Том спал. Была уже глубокая ночь; его одежда аккуратно висела на стульях, на спинке кровати. А возле его головы на белой подушке ладонью кверху удобно покоилась рука, и на ладони лежал клочок бумаги с буквами. Медленно-медленно пальцы согнулись и крепко его сжали. И Том даже не шелхнулся, даже не заметил, когда черный дрозд на миг тихо и мягко прильнул к переливающемуся лунными бликами окну, бесшумно вспорхнул, замер — и полетел прочь, на восток, над спящей землей.

Был полдень 22 августа 1961 года. Вилли Берсинджер сидел за рулем своего старого драндулета и смотрел на городок Рок-Джакшн, штат Аризона. Его нога, обутая в шахтерский ботинок, покоилась на педали акселератора. Вилли тихо беседовал со своим компаньоном.

— Да-а, Сэмюэл, городок что надо. Вот так, проведешь пару месяцев на прииске «Боже упаси», тебе и стекляшки в музыкальном автомате покажутся витражами. Город нам необходим. Без него мы проснемся в одно прекрасное утро и увидим, что превратились в вяленую говядину и окаменевшие леденцы. Ну и город, конечно, нуждается в нас.

— Это как же? — удивился Сэмюэл Фиттс.

— Мы приносим с собой то, чего у города нет — горы, ручьи, ночи в пустыне, звезды... и все такое...

А ведь правда, думал Вилли, глядя на дорогу, когда человек попадает в глухой уголок, он черпает из историков тишины. Он пропитывается безмолвием полыни, прислушивается к урчанию пумы, гудящей, как улей в полуденной тиши, а из глубоких ущелий льется молчание речных отмелей. Все это человек вбирает в себя, а в городе — размыкает губы и выдыхает.

— Заваливаешься в парикмахерскую и плюх в свое кресло. Хорошо! — размечтался Вилли. — По стенкам развешаны календари с похабными картинками, а под ними толпится народ, и все глазенот на меня в надежде, что мне захочется пофилософствовать о скалах, о миражах и о Времени, которое таится среди скал и дожидается, когда же Человек оттуда уйдет. Я дышу, и с каждым выдохом частички дикой природы тончайшей пылью оседают на людях. Прекрасно. Я говорю, речь моя спокойна, легка и размеренна...

Он представил, как у слушателей загораются глаза. Когда-нибудь они все кинутся в горы, побросают семьи и уйдут от своей заводной автоматической цивилизации.

— Приятно ощущать себя нужным, — сказал Вилли. — Мы нужны горожанам как воздух, Сэмюэл. Встречай гостей, Рок-Джакшн!

В листах обшивки посвистывал ветер. Вот они уже проехали городские окраины и... вкатились в царство трепета и смятения.

Едва они проехали каких-нибудь сто футов, как Вилли резко нажал на тормоза. Из-под колпаков колес посыпалась ржавчина. Машину охватила дрожь.

— Что-то тут не ладно, — сказал Вялли. Он оглядел все вокруг своим рысьим взглядом, потянул воздух большим носом. — Запах, чувствуешь запах?

— Нет, не чувствую, — заерзал на месте Сэмюэл, — а что...?

Вилли косо посмотрел на него.

— Ты когда-нибудь видел, чтобы деревянный индеец у табачной лавки был выкрашен в небесно-голубой цвет?

— Нет, ни разу.

— Тогда посмотри вон туда. А видел ты когда-нибудь розовую собачью конуру, оранжевый нужник, сиреневую поилку для птиц? Так вот же они! Там, там и там!!!

Оба привстали в скрипучей машине.

— Сэмюэл, — прошептал Вилли, — посмотри, весь город, каждое полено в поленнице, перила, заборы, сектантский приют, мусорные грузовики — весь распроклятый город, ты только глянь! Их же покрасили всего час назад!

— Не может быть! — вскричал Сэмюэл Фиттс.

Но оркестровый павильон и баптистская церковь, железнодорожная станция и пожарная часть, сектантский приют и окружная тюрьма, ветлечебница, бунгало и коттеджи, оранжереи, башенки на крышах, вывески и почтовые ящики, телеграфные столбы и мусорные урны — все и вся сверкало пшеничным золотом, зеленью яблок-дичков и поцирковому броской алой краской. Казалось, вот только что Создатель повыдергивал из земли все, начиная с баков для воды, кончая молельнями, выкрасил и оставил сушиться.

Но и это еще не все: там, где раньше были сорняки, теперь сплошь росла капуста, зеленый лук, салат, теснились диковинные подсолнухи, поворачивающие свои головки вслед за солнцем с такой точностью, что по ним можно было сверять часы. Под бесчисленными деревьями цвели анютины глазки, прохладные и влажные, как носы у щенят, они томно глядели на стриженные изумрудно-зеленые лужайки, словно сошедшие с рекламных проспектов, приглашающих посетить Ирландию.

В довершение ко всему мимо пробежали десять парней: чисто выбритые, волосы тщательно уложены, рубашки, брюки, тенниски — все сверкает как снеговые горы.

— Этот город свихнулся, — заключил Вилли, провожая их взглядом. — Чудеса. Мистика. Сэмюэл, какой диктатор захватил власть? Неужели протолкнули закон, заставляющий мальчишек ходить чистыми, красить каждую зубочистку и каждый горшок с геранью? Слышишь запах? Это новые обои, в каждом доме! Этих людей покарал Страшный суд! Ну не может человеческая натура исправиться за одну ночь. Ставлю все золото, что я намыл за этот месяц: все эти чердаки и подвалы вычищены и вылизаны. Готов поспорить на что угодно, на город свалилось нечто такое...

— Ну, конечно, я даже слышу, как в саду поют херувимы, — запротестовал Сэмюэл. — Выдумашь тоже, конец света! А впрочем, по рукам. Считай, золото уже мое.

Машина свернула за угол, в воздухе носились запахи скипидара и известки. Сэмюэл фыркнул и выбросил за борт обертку от жвачки. То, что последовало за этим, немало удивило его. На улицу выбежал старик в новых брюках, схватил бумажку и погрозил кулаком удаляющейся машине.

— Ну форменный конец света, — пробормотал Сэмюэл Фиттс. — Да... но пари остается в силе.

Они открыли дверь в парикмахерскую. В ней было полно клиентов, одни уже пострижены, напомажены, гладко выбриты, розоволицы, а другие еще ждут своей очереди, чтобы устроиться в кресле и выгнуться дугой. Тем временем трое парикмахеров во всю орудовали ножницами и гребешками. И посетители, и парикмахеры говорили разом, и в зале стоял гвалт, как на бирже.

При появлении Вилли и Сэмюэла шум моментально утих. Можно было подумать, в дверь выстрелили из ружья.

— Сэм... Вилли...

В тишине кто-то из сидящих поднялся, кто-то из стоящих присел, все уставились на них.

— Сэмюэл, — проговорил Вилли одним только краешком рта, — у меня такое ощущение, что сюда пожаловала Красная Смерть. — Потом громче. — Всем — привет! Я пришел дочитать вам лекцию под названием «Любопытная флора и фауна Великих американских пустынь», а также...

— Не-е-т!!!

Старший парикмахер, Антонелли, бросился к нему, схватил за руку и зажал ладонью

рот, словно нахлобучил колпачок на горящую свечу.

— Вилли, — зашептал он, с опаской озираясь по сторонам, — обещаю тебе только одно: ты сейчас пойдешь, купишь иголку с ниткой и зашьешь себе рот. Молчи, если жизнь тебе дорога.

Вилли и Сэмюэл почувствовали, что их подталкивают вперед. Двое, уже побритых и постриженных, вскочили со своих мест, хотя их никто не просил. Старатели забрались в кресла и тут увидели свои отражения в сияющих зеркалах.

— Сэмюэл! Ты только сравни: мы и они!

— Да-а, — сказал Сэмюэл, моргая, — во всем этом городе только нам с тобой по-настоящему нужно побриться.

— Чужаки! Пришельцы! — Антонелли усадил их поглубже в кресла, словно собирался давать им наркоз. — Вы и сами не подозреваете, какие вы чужаки!

— Нас не было каких-то два месяца... — Лицо Вилли в тот же миг было залеплено дымящимся полотенцем: его сдавленные приглушенные стоны стихли. В душной темноте был слышен низкий строгий голос Антонелли.

— Теперь ты будешь как все. Опасен не твой видок, нет. Гораздо опаснее твоя старательская болтовня: в такое время городских ребят можно легко вывести из себя.

— В какое такое время! — Вилли отдернул мокрое полотенце ото рта. — Что еще стряслось с вашим городишком?

— Не только с нашим, — Антонелли посмотрел вдаль. — Феникс, Таксон, Денвер. Все города Америки. Мы с женой на той неделе едем туристами в Чикаго. Представляешь, Чикаго, весь выкрашен, выскоблен, как новенький. Они его теперь называют Жемчужиной Востока! Питтсбург, Цинциннати, Буффало — то же самое! А все от того... Гм-гм... ну, ладно, встань, подойди к телевизору, вон у стены, и включи.

Вилли отдал Антонелли дымящееся полотенце, подошел к телевизору, включил и стал прислушиваться к гудению, покрутил ручки. На экран пала снежная пелена.

— Теперь радио, — сказал Антонелли.

Вилли почувствовал, что все наблюдают за его попытками настроиться то на одну станцию, то на другую.

— Что за черт, — процедил он наконец, — ни телевизор не работает, ни радио.

— Не работают, — спокойно сказал Антонелли.

Вилли вернулся в кресло, лег и закрыл глаза.

— Слушай же, — Антонелли нагнулся над ним, взволнованно дыша. — Представь, четыре недели назад, в субботу, около полудня: мамы и ребятишки смотрят по телевизору всяких магов да клоунов, в салонах красоты женщины смотрят показ мод, в парикмахерской и в лавках мужская половина следит за бейсболом и состязаниями по ловле лосося — весь цивилизованный мир сидит у телевизоров. Нигде ни звука, ни шороха, только на черно-белых экранах. И тут...

Антонелли остановился, чтобы приподнять краешек полотенца.

— Пятна на солнце, — выговорил он с трудом.

Вилли весь сжался.

— Самые большие за всю историю человечества, — сказал Антонелли. — Весь мир захлебнулся в электрической буре. С экранов все стерло начисто. И все, конец.

Он говорил отрешенным голосом, словно описывал арктический ландшафт. Он намыливал щеки Вилли не глядя. Вилли смотрел по сторонам, смотрел, как падает и падает

снег на гудящем экране, на вечную, нескончаемую зиму. Ему казалось, он слышит, как у людей, стоящих в зале, трепещут сердца.

Антонелли продолжал свою надгробную речь.

— Только к вечеру до нас дошло, в чем дело. Через два часа после солнечной бури все телемастера в Соединенных Штатах были подняты на ноги. Каждый думал, что телевизор барахлит только у него. Радио тоже замолчало, на улицы, как в старые времена, высыпали мальчишки, разносчики газет, и только тогда мы, ужаснувшись, узнали, что солнечные пятна эти надолго, может еще и нас переживут.

Посетители заволновались.

Рука Антонелли, вооруженная бритвой, задрожала, и ему пришлось прервать работу.

— Вся эта зияющая пустота, эти падающие хлопья... О-ох! Мурашки от них по коже! Это все равно, что твой хороший приятель, который развлекает тебя в гостиной, вдруг умолкает, и лежит перед тобой ледяной и бледный. Он мертв, и ты чувствуешь, что холодеешь вместе с ним.

В тот вечер все бросились в кино. Фильмы были так себе, но это напоминало праздник у сектантов до полуночи. Кафе шипели от газировки; в тот вечер, когда нагрянула Беда, мы выдули двести стаканов ванильной и триста шоколадной. Но нельзя же каждый вечер ходить в кино и глотать газировку. Тогда что же? Собрать родню, поиграть в нарды или перекинуться в картишки?

— Можно еще пулю в лоб, — заметил Вилли.

— Конечно, но людям нужно было выбраться из своих сумрачных домов, ставших обиталищами привидений. Во всех гостиных воцарилась кладбищенская тишина. Ох, уж мне эта тишина...

— Кстати, о тишине... — Вилли немного привстал в кресле.

— На третий вечер, — моментально перебил его Анто-нелли, — мы все еще пребывали. в шоке. От окончательного сумасшествия спасла нас какая-то женщина. Она вышла из дому, держа в одной руке кисть, а в другой...

— Ведро краски, — закончил Вилли.

Все вокруг заулыбались его догадливости.

— Если когда-нибудь психологи возьмутся учреждать медали, то в первую очередь они должны наградить эту женщину и других женщин из таких же маленьких городов, которые спасли мир от гибели. В потемках они набрали на чудесное исцеление...

Вилли представил, как это было. Он увидел папаш и сыновей со зверскими лицами, увидел, как они ползают перед своими дохлыми телевизорами и все еще надеются, что чертов ящик проорет «Первый мяч!» или «Вторая подача!» А когда они очнулись от забытья, то заметили в полумраке своих добрых жен и ласковых матерей с возвышенными мыслями на челе и с малярными кистями и ведрами краски в руках. И тут их глаза и лица загорелись благородным огнем.

— Боже, это разнеслось как десной пожар! — воскликнул Антонелли. — От дома к дому, из города в город. Бум 1932 года со складными картинками и бум 1928 года, когда все носились с шариками на резинках — ерунда по сравнению с этим. Ведь тут Все Засучили Рукава и Принялись Вкалывать, вот это был Бум так Бум! Город разнесли на мелкие кусочки и заново склеили. Краску шлепали на все, что стояло неподвижно хотя бы десять секунд; люди забирались на башни со шпильями, сидели верхом на заборах и сотнями летели с крыш и лестниц. Женщины красили шкафы и чуланы, дети — свои игрушки, тележки и воздушных

змеев. Если бы они ничем не занялись, можно было бы строить стену вокруг города и переименовать его в Говорливый Ручеек. Во всех городах, где люди забыли, как открывать рот, как разговаривать друг с другом — то же самое. Мужчины так бы и ходили притихшие и пришибленные, если бы женщины не всучили им кисти и не показали ближайшую некрашеную стену!

— Похоже, с этим вы уже покончили, — сказал Вилли.

— За последнюю неделю краска в магазинах кончалась три раза. — Антонелли с гордостью посмотрел на город. — На покраску больше времени и не ушло бы, если, конечно, мы не вздумали бы красить живые изгороди и распылять краску над каждой травинкой. Теперь, когда все чердаки и подвалы вычищены, наш пыл обращен на... короче, наши женщины снова маринуют помидоры, закатывают компоты из фруктов, варят варенье из малины и земляники. Подвалы забиты. И церковь не обошли вниманием. Играем в кегли, по вечерам режемся в дикий бейсбол, собираем шумные компашки, пиво хлещем во всю... Музыкальный магазин распродал пятьсот гавайских гитар, двести двенадцать обыкновенных, четыреста шестьдесят фарфоровых флейт и деревянных дудочек-казу — и все за четыре недели. Я учусь на тромбоне, Мак — на флейте. По четвергам и субботам оркестр дает вечерние концерты. Ручные мороженицы? Берт Тайсон продал их на прошлой неделе двести штук. Двадцать восемь дней, Вилли, Двадцать Восемь Дней, Которые Потрясли Мир!

Вилли Берсинджер и Сэмюэл Фиттс сидели и пытались вообразить все это, оправиться после тяжелого удара.

— Двадцать восемь дней в парикмахерской не было отбоя от посетителей, бредутся по два раза в день, — говорил Антонелли и брил Вилли. — Прежде, до заварухи с телевизорами, парикмахеры считались самыми болтливыми людьми на свете. Теперь же за этот месяц нам потребовалась целая неделя, чтобы догнать остальных. Мы встряхнулись, оживились, теперь мы выпаливаем четырнадцать слов на каждые их десять. О качестве говорить не приходится, зато количество ужасающее. Слышал, какой шум стоял, когда вы вошли? Но когда мы смиримся с Великим Забвением, разговоры пойдут на убыль.

— Так вы это называете?

— Для многих так оно и есть.

Вилли Берсинджер усмехнулся и покачал головой.

— Теперь я понял, почему ты не дал мне выступить с лекцией, когда я пришел.

Ну, конечно, как же я сразу не догадался, подумал Вилли. Каких-то четыре недели назад дикая природа обрушилась на город и перепугала всех до смерти. Из-за солнечных пятен в западном полушарии так наслушались тишины, что этого им хватит на десять лет вперед. А тут еще я заявился со своей порцией тишины и со своей непринужденной болтовней о пустынях, безлунных ночах, звездном небе и легком шелесте песка, струящегося по руслам пересохших рек. Страшно подумать, что бы со мной могли сделать, если бы Антонелли не заткнул мне глотку. Да меня вываляли бы в смоле и перьях и вышвырнули бы из города.

— Антонелли, — сказал он вслух. — Спасибо тебе.

— Не за что, — сказал Антонелли. Он взял ножницы и расческу — Так, на висках покороче, а на затылке подлиннее?

— На висках подлиннее, а на затылке покороче, — сказал Вилли Берсинджер и опять закрыл глаза.

Спустя час Вилли и Сэмюэл забрались в свой драндулет. Пока они сидели в

парикмахерской, кто-то выкрасил и отполировал их машину.

— Светопреставление. — Сэмюэл протянул Вилли мешочек с золотым песком. — Светопреставление с большой буквы.

— Оставь у себя. — Вилли сидел за рулем, погруженный в мысли. — Давай лучше на эти деньги съездим в Феникс, в Таксон, в Канзас-Сити, а? Мы здесь сейчас лишние. Пока телевизоры не начнут опять петь, плясать и вышивать елочкой, нам тут делать нечего. А то еще чего доброго из наших ртов выскользнет какая-нибудь оранжевая ящерица или упорхнет ястребенок и... вслед за ними выберется вся пустыня — тогда нам не поздоровится.

Вилли, прищурившись, посмотрел на шоссе перед собой.

— Он сказал «Жемчужина Востока». Представляешь, этот старый, грязный город, Чикаго, весь свеженький и чистенький, как младенец на утреннем солнышке. Ей-богу, давай махнем в Чикаго!

Вилли завел мотор, прогрел немного и посмотрел на город.

— Человек выживет, — пробормотал он, — все снесет, все сдюжит. Как жалко, что мы не застали перемену, эту великую перемену. Это было время испытаний. Сэмюэл, может, ты помнишь, что мы смотрели по телевизору вообще?

— Как-то вечером смотрели схватку женщины с медведем, два раунда из трех.

— Ну и кто победил?

— Черт его знает. Женщина, наверное.

Машина тронулась, увозя Вилли Берсинджера и Сэмюэла Фиттса. Они были пострижены, волосы напояжены, хорошо уложены и источали сказочный аромат. Щеки после бритья порозовели, ногти блестели на солнце. Мимо проплывали свежеполитые деревья с подрезанными ветками, переулки-оранжереи, дома цвета нарциссов, сирени, фиалки, розы и мяты. На дороге не было ни пылинки.

— Жемчужина Востока, мы идем к тебе!

На дорогу выбежала собака. От нее разило духами, а шерсть была завита перманентной завивкой. Она попробовала ухватить зубами покрывку и лаяла, пока машина не скрылась из виду.

Я не бывал в Дублине целую вечность. Меня носило по свету взад и вперед, да все как-то мимо Ирландии. И вот не прошло и часу, как я поселился в отеле «Ройал Гиберниан», — зазвонил телефон, а в трубке голос Норы. Бог ты мой!

— Чарльз? Чарли? Чак? Ну как, разбогател наконец? А разбогатевший писатель не желает, часом, обзавестись сказочным замком?

— Нора! — засмеялся я. — Ты вообще здороваешься когда-нибудь?

— Жизнь слишком коротка, чтоб ее тратить еще и на приветствия. Тут и попрощаться-то как следует некогда. Послушай, а ты бы мог купить Гринвуд?

— Нора, это же ваш родовой замок — двести бурных лет истории! Что же станет тогда с разгульной светской жизнью Ирландии, со всеми ее пирушками, пьянками, сплетнями? Нет, что ты, как можно!

— И можно, и нужно. Знаешь, у меня тут сундуки с деньгами прямо под дождем. А я о н а во всем доме. Все слуги убежали помогать Аге. Чак, я здесь последний день. Я хочу, чтобы ты посмотрел на Призрака глазами писателя. Что, мороз по коже? Приезжай. Я отдам свой дом, с привидениями впридачу. Ах, Чарли, Чак, Чарльз!

Щелк. Молчание.

Через десять минут за окнами моего автомобиля замелькали зеленые холмы, машина, рыча на поворотах извилистой дороги, неслась навстречу синему озеру, шелковистым лугам — к загадочному и легендарному Гринвуду.

Я усмехнулся: что бы она там ни болтала, вечеринка сейчас наверняка в самом разгаре, на полпути к упоительной гибели. Берти, скорее всего, прилетел из Лондона, Ник — из Парижа, Алисия, конечно, прикатила из Голви. А какого-нибудь режиссера в темных очках поймали час назад по телефону, и он спрыгнул с парашютом или опустился с небес на вертолете, но на роль манны небесной не потянет. Ну, а Марион опять заявился со сворой своих пекинесов, которые налакались и блюют похлеще своего хозяина.

Чем сильнее я давил на газ, тем веселее становилось на душе.

Часам к восьми ты уже будешь хорош, думал я, к полуночи вконец отупеешь от толкотни и завалишься спать, и продрыхнешь до полудня. А в воскресенье, за ужином, напьешься уже основательно. Где-то разыгрывается постельный вариант игры в «третий лишний». Участвуют: графини ирландские, французские и прочие леди, с одной стороны, и звери-самцы, гуманитарии из Сорбонны, с другой. Их сегодня много набежало с усами (какой же поцелуй без усов). И плевать, что грядет понедельник, он где-то далеко, за миллион миль. Вторник. Возвращаюсь в Дублин, почти ползу, боюсь растрясти себя по дороге, как будто я — большой, изнаывающий от боли зуб мудрости. Горечь общения с женщинами истощила меня, все тело ноет от воспоминаний.

С трепетом вспоминаю свой первый приезд к Норе; мне шел тогда двадцать второй год.

Старая, выжившая из ума герцогиня с акульими зубами и наштукатуренным лицом затолкала меня в спортивный автомобиль и рванула к Норе по этой самой дороге пятнадцать лет назад.

— Норин зверинец придется тебе по душе, цветничок тоже, — орала она мне в ухо, стараясь перекричать ветер. — Публика у нее собирается на любой вкус: хочешь зверюги, хочешь укротители, тигры, киски, розы, сорняки, что угодно. В ручьях у нее водится всякая

рыбка, и холодная, и горячая. А в парниках зреют плотоядные монстры, наглотались жутких удобрений и вымахали аж до потолка. Приезжаешь к Норе в пятницу в чистом белье, а в понедельник уползаешь весь грязный и пропотевший. Ты словно пережил, вдохновился и написал все Босховы Соблазны, прошел сквозь Ад, видел Страшный Суд и Конец Света! У Норы в замке живет как за теплой щекой великана, тебя ежечасно жуют и пережевывают. Дом проглотит тебя. А когда замок выдавит из тебя последние соки и обсосет твои юные сладкие косточки, он выплюнет их, и ты окажешься под холодным дождем, на станции, один, позабыт-позаброшен.

— Они что, хотят утопить меня в желудочном соке? — Я старался переорать мотор. — Переварит он меня, как же! Подавится. Никакому замку меня не проглотить! Не позволю пресыщаться своим Первородным Грехом!

— Гы-гы-гы! Глупенький! — загоготала графиня. — Да тебе уже к утру воскресенья все косточки обгложут!..

Я выбрался из лабиринта памяти, словно из лесу. Машина плавно шла на хорошей скорости, я сбросил газ: слишком уж заходило у меня сердце от восторга, затуманилось в голове, кровь отхлынула из жил — и я убрал ногу с педали.

Под небом озерной синевы, у озера небесной сини стоял величественный Гринвуд, замок Норы. Он расположен среди самых круглых в Ирландии холмов, его окружают самые густые в Ирландии леса и самые высокие деревья. Его башни, построенные неизвестными зодчими и ушедшими в небытие народами, возвышаются уже тысячу лет. Для чего? Никто не знает. Гринвудские сады зацвели в первый раз пятьсот лет назад. А лет двести назад по чьей-то прихоти между древним кладбищем и галереей затесались амбары и подсобки. Здание женского монастыря землевладельцы превратили в конюшню, а к замку девяносто лет назад пристроили новые крылья. У озера развалины охотничьего домика, здесь дикие лошади уносятся в море трав, здесь есть озерки с ледяной водой, а в пустошах затерялись одинокие могилы грешниц; отринутые миром, они остались изгоями и после смерти, столь чудовищны были их преступления.

Как будто в знак приветствия, солнце вспыхнуло в десятках окон. Ослепленный, я резко нажал на тормоза. Я сидел, зажмурив глаза и облизывая губы.

Я вспомнил свой первый вечер в Гринвуде.

Дверь открыла Нора собственной персоной, совершенно голая.

— Вы успели как раз к шапочному разбору! — возвестила она.

— Ерунда! А ну, сынок, поддержи. Это тоже. — Герцогиня в три приема молниеносно сбросила с себя одежду, прямо в дверях, на сквозняке, и стала как очищенная устрица.

Я и опомниться не успел. Я стоял как вкопанный с ее одеждой в руках.

— Ну, парень, настал твой смертный час, — прокаркала герцогиня, преспокойно вошла в дом и исчезла в толпе изысканно одетых гостей.

— Меня побили моим же собственным оружием, — воскликнула Нора. — Теперь, чтобы выдержать конкуренцию, надо одеваться. Жаль, а я т а к надеялась, что у вас отвиснет челюсть.

— Она и сейчас у меня еще отвисает, — заверил ее я.

— Идемте, поможете мне одеться.

Мы ходили по спальне, путаясь ногами в разбросанной одежде, источавшей тончайший мускусный аромат.

— Подержите мои трусики, я в них влезу. А что, вы и есть тот самый Чарли?

— Рад познакомиться.

Я залился краской. А потом разразился хохотом, не в силах справиться с приступом смеха.

— Прошу извинить, — выговорил я наконец, застегнув на ее спине лифчик. — Бывает же такое, еще только вечер, а я вас одеваю.

Где-то хлопнула дверь. Я стал озираться по сторонам в поисках герцогини.

— Исчезла, — пробормотал я, — дом уже поглотил ее.

В самом деле, все, что она напороочила, сбылось: я увидел ее снова только в понедельник, хмурый и дождливый. Она уже не помнила, ни как меня зовут, ни моего лица.

— Боже праведный, — вырвалось у меня. — Что это?

Все еще одевая Нору, я подошел с ней к дверям библиотеки. Внутри сияло, как в ослепительном зеркальном лабиринте. Гости обернулись.

— Вот это, — показала Нора, — Манхэттенский городской балет, они перенеслись сюда через океанские льды на реактивной струе. А слева Гамбургские танцоры, эти прилетели с другого конца света. Компания подобралась прямо-таки божественная. Соперничающие танц-банды по незнанию языка не могут дразниться и ехидничать, вот и приходится им весь свой сарказм изливать в пантомиме. Отойди в сторонку, Чарли, Валькирии должны превратиться в девушек с Рейна. А вот эти мальчики как раз и есть Девушки с Рейна. Побереги тыл!

Нора оказалась права.

Битва началась.

Нежные хрупкие лилии с ревом, рыком, воем и визгом наскочили друг на друга, а потом, обессиленные, расползлись, рассыпались, разбежались по десяткам комнат, десятки дверей с грохотом захлопнулись за ними. Мерзость стала мерзким альянсом, а мерзкий альянс превратился в горящую, пылающую, пышущую бесстыдством страсть. Хорошо, хоть господь потрудился убрать все это с глаз долой.

Все смешалось в блестящей, сверкающей круговерти писателей, художников, поэтов, хореографов, пронеслись-промелькнули суббота с воскресеньем.

И меня захлестнул телесный водоворот и безудержно понес навстречу унылой, удручающей реальности понедельника.

Сколько лет, сколько вечеринок канули бесследно. И вот я снова здесь.

Высится громада Гринвуда, вся затаилась.

Музыка молчит. Машины не подъезжают.

«Э, что за изваяние сидит там на берегу? — спросил я себя, — Новое? А вот и нет. Это же...»

Нора. Сидит одна, подобрав ноги под платье, на ней лица нет, и смотрит, как замороженная, на Гринвуд, как будто это не я приехал, словно и нет меня вовсе.

— Нора..?

Ее глаза застыли, они видят только замок, его стены, замшелые кровли и окна, в которые глядится бесстрастное небо. Я обернулся и тоже посмотрел на замок.

Что-то было не так. Может, замок осел фута на два в землю? А может, это земля осела вокруг замка, и он остался на мели, покинутый, на леденящем ветру?

Может, от землетрясения стекла перекосились в рамах, и теперь каждому входящему в дом гостю окна корчат рожи и гримасы?

Входная дверь была распахнута настежь, и меня коснулось дыхание дома.

Коснулось едва-едва. Вот так же бывает, проснешься среди ночи, слышишь теплое дыхание жены и вдруг цепенеешь от ужаса, потому что это не ее дыхание, не ее запах?

Хочешь растолкать ее, окликнуть. Кто она, что она, откуда? Сердце глухо колотится в груди, а ты лежишь и не можешь уснуть. Рядом кто-то чужой.

Я зашагал по лужайке, и в окнах замка мгновенно ожила тысяча моих отражений. Я остановился над головой Норы, и все замерло.

Я и тысяча моих подобий тихо уселись на траву.

Нора, милая Нора, думал я, мы вместе, мы снова вместе.

Тот первый приезд в Гринвуд...

А потом мы виделись изредка, мимоходом, подобно тому, как люди мелькают в сутолоке толпы, как влюбленные, разделенные проходом в электричке, как случайные попутчики в поезде, который свистит, возвещая о скором приближении станции. Мы держались за руки или позволяли своим телам вжиматься друг в друга до боли под натиском толпы, которая вываливается на остановке из битком набитого вагона. А потом никаких прикосновений, ни единого словечка, ничего.

Каждый год мы разбредались каждый в свою сторону и в голову нам не приходило, что мы можем вернуться, что взаимное притяжение еще приведет нас друг к другу. Уходило еще одно лето, закатывалось солнце, и Нора возвращалась, волоча за собой пустое ведро для песочка, возвращался и я с побитыми коленками. Пляжи опустели, окончен странный сезон. Остались мы одни, чтобы сказать: «Привет, Нора» — «Привет, Чарльз». А ветер тем временем крепчает, море мрачнеет, словно из пучины поднялось огромное стадо осьминогов и замутило воды своими чернилами.

Я часто спрашивал себя, придет ли когда-нибудь день, когда круг наших скитаний замкнется и мы останемся вместе. И вот однажды, лет двенадцать назад, такой момент наступил. От нашего теплого, ровного дыхания наша любовь обрела равновесие, подобно перышку на кончике пальца.

Это случилось, потому что мы встретились с Норой в Венеции, она была оторвана от дома, вдалеке от Гринвуда, где вполне могла бы принадлежать кому-нибудь другому, а вовсе не мне.

Но нас почему-то волновали одни только разговоры о постоянстве. На следующий день, облизывая губы, ноющие от грубых, жадных поцелуев, мы так и не нашли в себе силы сказать друг другу «давай поженимся», «пусть это длится вечно», «хоть квартира, хоть дом, только не Гринвуд, ради всего святого, только не Гринвуд», «останься!». Может, полуденное солнце слишком безжалостно высвечивает наши изъяны? Скорее всего, гадким детям опять стало скучно. А может, нас испугала тюрьма для двоих! Как бы там ни было, но наше перышко, которое ненадолго обрело равновесие на волнах нашего дыхания, благоухающего шампанским, улетело. Неизвестно, кто из нас первым задержал дыхание. Под предлогом срочной телеграммы Нора сбежала в Гринвуд.

Связь оборвалась. Писем скверные детки не писали. Я понятия не имел, сколько песочных замков она разметала, а она не знала, сколько пижам вылиняло на мне от пота. Я женился. Развелся. Странствовал по свету.

И вот опять мы пришли из разных сторон и встретились в этот необыкновенный вечер у обыкновенного, знакомого озера. Мы окликаем друг друга молча, мы бежим навстречу друг другу, не двигаясь с места, будто и не было стольких лет разлуки.

— Нора.

Я взял ее за руку. Рука холодная.

— Что случилось?

— Случилось!?! — Она рассмеялась, умолкла и отвернулась.

Я вдруг рассмеялся опять. Смех был мучительно тяжелый, чреватый слезами.

— Мой милый, дорогой Чарли, думай что угодно, что мы тут взбесились, сошли с ума, свихнулись... Что случилось, говоришь ты, случилось?!

Она погрузилась в пугающее молчание.

— Где прислуга, где гости..?

— Вчера вечером, — сказала она, — все кончилось.

— Чтобы у тебя была пирушка, да всего на один вечерок! Быть этого не может! В воскресенье по утрам на лужайке всегда валяется уйма всякого сброда в простынях. Так зачем..?

— Так зачем я тебя позвала сегодня, ты хочешь спросить. Да, Чарльз? — Нора все так же, не отрываясь, смотрела на замок. — Чтобы передать тебе Гринвуд, Чарли. В дар. Если, конечно, замок примет тебя, если ты сумеешь его заставить...

— Не нужно мне никакого замка! — взорвался я.

— Э-э, Чарли, дорогой, дело не в том, нужен ли замок тебе, а в том, нужен ли ты замку. Он всех нас вышиб.

— Вчера вечером..?

— Вчера вечером последний большой прием в Гринвуде «кончился провалом. Мэг прилетела из Парижа. Ага прислал роскошную девочку из Ниццы. Роджер, Перси, Ивлин, Джон — все были здесь. Был и тот тореадор, который чуть не прикончил того драматурга из-за балерины. И ирландец, тоже драматург, который вечно падает со сцены спьяну. Вчера вечером, между пятью и семью, в эту дверь вошли девяносто семь гостей. К полуночи не осталось ни души.

Я прошелся по лужайке, на траве следы колес трех десятков машин, еще свежие.

— Он расстроил нам всю вечеринку, — донесся слабый голос Норы.

Я обернулся в удивлении.

— Кто «он»? Замок?

— О, играла замечательная музыка, но на верхних этажах было слышно какое-то уханье. Мы смеялись, а верхние этажи отвечали нам зловещим эхом. Вечеринка скомкалась. Бисквиты становились поперек горла. Вино лилось по подбородку. Никто не смог сомкнуть глаз и на три минуты. Не верится? Правда, все получили свои пирожные и разъехались, а я спала на лужайке совсем одна. Знаешь почему? Пойди посмотри, Чарли.

Мы подошли к распахнутой двери Гринвуда.

— На что смотреть?

— А на все. На замок, на его комнаты. Открой его тайну. Подумай хорошенько, а потом я открою тебе и скажу, почему я не смогу здесь больше жить и почему я должна оставить этот дом, и почему ты можешь взять Гринвуд, если захочешь. А теперь заходи. Один.

И я вошел.

Я осторожно ступал по золотистому дубовому паркету огромного холла. Полубовался обюссонским гобеленом, что висел на стене. Долго разглядывал древнегреческие беломраморные медальоны, выставленные в хрустальной витрине на зеленом бархате.

— Ничего особенного, — крикнул я Норе, которая осталась снаружи. Уже вечерело, становилось прохладно.

— Нет. Все особенное, — отозвалась она. — Ступай дальше.

По библиотеке разливался густой приятный запах кожаных переплетов. Пять тысяч книг отсвечивали потертыми вишневыми, белыми и лимонными корешками.

Книги мерцали золотым тиснением, притягивали броскими заголовками. А вот камин на целый штабель дров. Из него вышла бы прекрасная конура на добрый десяток волкодавов. Над камином изумительный Гейнсборо, «Девы и цветы». Картина согревала своим теплом многие поколения обитателей Гринвуда. Полотно было окном в лето. Хотелось перегнуться через это окно, надышаться ароматами полевых цветов, коснуться дев, посмотреть на пчел, что усеяли блестками звенящий воздух, послушать, как гудят эти крылатые моторчики.

— Ну как? — донесся голос издалека.

— Нора! — крикнул я. — Иди сюда. Тут совсем не страшно! Еще светло!

— Нет, — послышался грустный голос. — Солнце заходит. Что ты там видишь, Чарли?

— Я опять в холле, на винтовой лестнице. Теперь в гостиную. В воздухе ни пылинки. Открываю дверь на кухню. Море бочек, лес бутылок. А вот кухня... Нора, с ума сойти.

— Я и говорю, — простонал жалобный голос. — Возвращайся в библиотеку. Встань посередине комнаты. Видишь Гейнсборо, которого ты всегда так любил?

— Он тут.

— Нет его там. Видишь серебряный флорентийский ящик для сигар?

— Вижу.

— Ничего ты не видишь. А красно-бурое кресло, на котором ты пил с папой брэнди?

— На месте.

— Ах, если бы на месте, — послышался вздох.

— Тут — не тут, видишь — не видишь! Нора, да что ты в самом деле! Неужели не надоело!

— Еще как, Чарли! Ты так и не п о ч у я л, что стряслось с Гринвудом?

Я стал озираться по сторонам, пытаюсь обонянием уловить тайну дома.

— Чарли, — голос Норы доносился издалека, с порога замка. — ...четыре года назад, — послышался слабый стон. — Четыре года назад... Гринвуд сгорел дотла.

Я бросился к выходу.

— ЧТО?! — вскричал я.

— Сгорел. Четыре года назад. До основания, — сказала она.

Я отошел на три шага назад, посмотрел на стены, окна.

— Нора, но вот же он, целехонький!

— Нет, Чарли, это не Гринвуд.

Я потрогал серые камни, красные кирпичи, зеленый плющ. Провел рукой по испанской резьбе на входной двери.

— Не может быть, — сказал я в ужасе.

— Может, — отозвалась Нора. — Все новое, сверху донизу. Новое, Чарли. Новое. Новехонькое.

— И д в е р ь?

— Да, прислали в прошлом году из Мадрида.

— И мощные дорожки?

— Да, камень добыли близ Дублина два года назад. А окна привезли из Уотерфорда весной.

Я вошел в дом.

— А паркет?

— Отделан во Франции, прислали прошлой осенью.

— Ну... ну, а гобелен?

— Соткан недалеко от Парижа, в апреле повесили.

— Но он же как две к а п л и... Нора!

— Чтобы сделать копии с мраморных медальонов, я ездила в Грецию. Хрустальную витрину тоже заказала, в Реймсе.

— А как же библиотека?!

— Все книги до единой переплетены и оттиснуты золотом заново и расставлены на такие же книжные полки. Одна библиотека мне влетела в сто тысяч фунтов.

— Как две капли, Нора, — воскликнул я. — Боже, как две капли.

Мы стояли в библиотеке. Я ткнул пальцем в серебряный сигарный ящик флорентийской работы.

— Ну уж его-то вы наверняка вытащили из огня!

— Нет, нет. Я же художник. Я запомнила, как он выглядел, сделала эскиз, отвезла во Флоренцию. В июле подделка была готова.

— А Гейнсборо!?

— Присмотрись повнимательнее! Это Фритци сработал. Фритци, ну тот самый, махровый битник с Монмартра, помнишь, художник. Он заляпает краской холст, потом делает из него воздушного змея и запускает в небо, а ветер с дождем творят за него красоту. Потом он продает эту картину за сумасшедшую цену. Так вот, оказывается, Фритци в тайне поклоняется Гейнсборо. Он меня убьет, если узнает, что я проболталась. Эти «Девы» написаны им по памяти. Здорово?

— Здорово, здорово! Боже мой, Нора, неужели все это правда?

— Как бы мне хотелось, чтобы это было ложью. Ты, наверное, думаешь, я спятила? Ведь у тебя мелькнула такая мысль? Чарли, ты веришь в добро и зло? Я не верила. Я как-то сразу постарела, увяла. Мне стукнуло сорок. Эти сорок стукнули меня, как локомотив. Ты знаешь, мне кажется... замок сам себя уничтожил.

— Как ты сказала, с а м?.. себя?

Она прошлась, заглядывая в комнаты, где уже начинали сгущаться сумеречные тени.

— Мне было восемнадцать, когда мне привалило богатство. Если мне напоминали о Стыде, я отвечала: «Чепуха!». Если призывали к Совесть, я кричала в ответ: «Чушь собачья!». Но в те годы чаша была пуста. С той поры много всяких помоев вылилось на меня, и вот, к своему ужасу, я обнаружила, что стою в этой чаше по уши в старой грязи. Теперь я знаю, что на свете есть и совесть, и стыд.

Я ношу в себе память о тысяче молодых мужчин, Чарльз.

Они врезались в мою память и погребены в ней. Когда они уходили из моей жизни, Чарльз, мне казалось, они уходят навсегда. Это теперь я наверняка знаю, ни один из них не исчезал бесследно, от кого оставалась сладостная боль, от кого рана. Боже, как я упивалась этой болью, наслаждалась этими ранами. До чего ж мне было хорошо, когда меня терзали, мучили. Я думала, что время и путешествия исцелят меня, сотрут следы железных объятий. Но теперь я вижу — на мне сплошь чужие отпечатки. Чак, на мне живого места нет, я стала словно дактилоскопическая карта ФБР, я вся испещрена отпечатками пальцев, как египетский свиток значками. Сколько шикарных мужчин вонзались и перепаживали меня, и казалось, никогда не будет мне за это наказания. Так вот же оно. Я запятнала весь дом,

осквернила его. Словно изрыгнутые из чрева подземки, мои друзья, которые не признавали ни стыда, ни совести, битком набивались в мой дом и массой потной плоти растекались, пожирали взасос, наслаждаясь воплями и мучениями своих жертв, крики рикошетом отскакивали от стен. Замок приступом брали убийцы, Чарльз, каждый приходил за тем, чтобы убивать своим коротким мечом одиночество другого. А что он обретал? Лишь минутное вожделение, стоны.

Вряд ли в этом доме жил хоть один счастливый человек, теперь я понимаю это, Чарльз.

Хотя, конечно, видимость счастья была. Еще бы, когда вокруг столько хохота, столько вина, в каждой постели человеческий бутерброд, и мясо такое розовенькое, что так и подмывает цапнуть. И думаешь: «Расчудесно-то как! Вот это веселье!»

Но все это ложь, Чарли, мы-то с тобой знаем, а дом глотал эту ложь и при мне, и при папе, и при дедушке, и до него... В доме всегда жилось весело, читай, кошмарно. Убийцы калечили в этих стенах друг друга лет двести, а то и больше. Все стены отсырели, дверные ручки липнут к пальцам. Лето на холсте у Гейнсборо увяло. А убийцы приходили и уходили, оставляя после себя одну только грязь да грязную память о себе. И все это скапливалось в доме.

Что будет, если наглотаешься такой грязи, а, Чарли? Ведь стошнит?

Моя собственная жизнь как рвотное. Я подавилась своим прошлым.

Так же и с домом.

И вот однажды я, доведенная до отчаяния, под ярмом своих грехов, наконец услышала, как одно старое зло трется о другое и шуршит в постелях на мансарде. И от случайной искры занялся весь дом. Сначала я услышала, как пожар хозяйничает в библиотеке и поглощает мои книги, потом послышалось, как огонь хлещет вина в подвале. Но я уже вылезла из окна и спускалась вниз по плющу. Мы собрались с прислугой на лужайке, позаимствовали из сторожки шампанское и бисквиты и устроили пикник на берегу озера.

Было четыре утра. Пожарные приехали из города к пяти, только для того, чтобы полюбоваться, как рушится кровля и фонтаны искр бьют выше неба и бледной луны. Мы угостили их шампанским и смотрели, как догорает Гринвуд. На рассвете здесь было пепелище.

Ему не оставалось ничего другого, как покончить с собой. А? Как ты думаешь, Чарли? Он столько натерпелся от моей родни и от меня.

Мы стояли в холодном холле. Я наконец пришел в себя.

— Да, Нора, пожалуй.

Мы зашли в библиотеку, Нора достала кипу чертежей и стопку тетрадей.

— И вот тогда, Чарли, я вдохновилась идеей: отстроить Гринвуд заново, собрать его по кусочкам, возродить птицу Феникс из пепла. И чтобы никто не прознал о его гибели, ни ты, ни кто другой в мире, пусть остаются в неведении. Слишком велика моя вина перед замком. Хорошо все-таки быть богатой. Можно подкупить пожарников шампанским, а местную прессу — четырьмя ящиками джина. О том, что от Гринвуда остались одни головешки, знали только в округе, в радиусе мили. Будет еще время поведать обо всем миру. А сейчас за работу! Я умчалась в Дублин к своему адвокату, у которого папа хранил чертежи замка. Мы просиживали с моим секретарем, месяцами разглядывая головоломки с греческими лампами и римской черепицей. Я закрывала глаза и припоминала дюйм за дюймом детали каждого gobelena, каждую каемочку, интерьеры в стиле рококо с их завитушками, все-все бронзовые финтифлюшки, подставку для дров в камине, рисунок на щитках выключателей, ведра для

золы и дверные ручки. И когда был составлен список из тридцати тысяч наименований, я привезла сюда самолетом плотников из Эдинбурга, мастеров по укладке черепицы из Сиены, каменотесов из Перуджи. Четыре года они стучали молотками, прибивали, укладывали облицовку. Дело двигалось, Чарли, а я тем временем бродила, слонялась по фабрике, что близ Парижа, и смотрела, как паучки ткут для меня ковры и гобелены. Гонялась за лисами в Уотерфорде, где для меня выдували стекло.

Я даже не знаю, Чарли, когда, кому еще удавалось такое. Мы же построили все, как было. Говорят: «Забудь прошлое», «Пусть сгинет!». А я думала: нет, Гринвуд должен стоять, как стоял. Только теперь у старого на вид Гринвуда будет одно преимущество, он будет поистине новым. Хорошее, доброе начало, думала я. Когда я восстанавливала Гринвуд, я жила тихо, не пускаясь ни в какие авантюры. Мое предприятие уже само по себе было авантюрой.

Когда я возродила дом, мне казалось, я сама родилась заново. Я подарила дому вторую жизнь, а себе радость. Я думала, наконец-то в Гринвуде поселится счастливый человек.

И вот две недели назад все было завершено, отесали последний камень, уложили последнюю плитку.

Я разослала приглашения во все концы света. Чарли, вчера вечером все съехались сюда: целая стая львов из Нью-Йорка, мужчины хоть куда, от них веяло ароматом хлебного дерева — дерева жизни, компания быстроногих афинских мальчиков, негритянский кордебалет из Иоганнесбурга, три сицилийских бандита, а может, актера. Семнадцать скрипачек; когда они бросают смычки и задирают юбки, с ними можно делать что угодно. Четыре чемпиона игры в поло. Один чемпион по теннису, чтобы разогнать мне немножко кровь по жилам. Один очень милый поэт, француз. Ах, Чарльз, должна была состояться пышная церемония открытия Замка Феникс, владелица Нора Гриндон. Откуда же нам было знать, что мы окажемся неуютны замку?

— Неужели замок может решать, кто ему угоден, а кто нет?

— Да. Ведь он такой юный, а все остальные такие дряхлые, сколько бы им ни было на самом деле. Он новорожденный. А мы прогнили, протухли. Он добрый. А мы злыдни. Ему была противна наша скверна, он не хотел лишаться своей чистоты. Вот он и выгнал нас.

— Но как?

— Как? Просто оставаясь самим собой. В воздухе повисла такая тишина, Чарли, ты не представляешь. Нам казалось, кто-то умер.

Потом прошло еще сколько-то времени. Гости молчали. До них все дошло, они расселись по своим машинам и укатили. Оркестр заглох. Оркестранты уехали на своих десяти машинах. Вся компания разъезжалась. На дороге вдоль озера выстроилась вереница машин, можно было подумать, они отправляются на пикник, но, увы, всего лишь на аэродром, в порт или в Голви. Все зябнут, никто ни с кем не разговаривает, в доме стало пусто, слуги лихорадочно накручивают педали, а я осталась одна. Окончен последний бал, бал, которого не было и быть не могло. Я уже говорила, что спала всю ночь на лужайке, наедине со своими мыслями. Я поняла, что настал конец всему, что все труха, а что построишь из трухи? В темноте стоял мощный, величественный, изумительный дом. Как же мне было больно и обидно сопеть тут, у его подножья. Моя песенка спета. А у него еще только все начинается.

Нора окончила свой рассказ.

Мы сидели молча. За окнами сгущались сумерки, тьма прокрадывалась в замок. Ветер

морщил озеро.

— Невероятно. Но не можешь же ты вот так взять и уехать отсюда, — сказал я.

— Чтобы окончательно рассеять все твои сомнения, проведем последнее испытание.

Попробуем провести здесь ночь.

— Попробуем?

— Нас и до рассвета не хватит. Давай зажарим яичницу, выпьем немного вина и ляжем спать, чтоб было не очень поздно. Ложись в одежде, прямо на заправленную кровать, потому что тебе захочется одеться и, думаю, очень скоро.

Мы поели, не говоря ни слова, выпили вина. Послушали, как новые бронзовые часы отбивают по всему дому новое время.

В десять Нора проводила меня в мою комнату.

— Не бойся, — сказала она мне уже с лестницы, — дом не желает нам зла. Просто он опасается, что мы можем причинить ему боль. Я буду читать в библиотеке. Когда будешь уходить, неважно, в каком часу, зайдешь за мной.

— Я усну сном праведника, — сказал я.

— Ты так уверен? — усмехнулась Нора.

Я подошел к своему ложу, лег и курил в темноте, без страха, без лишней самоуверенности. Я просто спокойно ждал, что же будет.

В полночь я не спал.

Я не спал в час.

И в три я не заснул.

В доме ни скрипа, ни вздоха, ни шороха. Я лежу и стараюсь дышать в лад с домом.

В половине четвертого дверь моей спальни медленно отворилась.

И я почувствовал дуновение сквозняка на лице и руках.

Я медленно привстал с кровати.

Прошло пять минут. Сердце стало биться спокойнее.

Я услышал, как где-то внизу открывается входная дверь.

И опять ни скрипа, ни шепота. Только щелчок. По коридорам еле слышно разгуливает ветер.

Я встал и вышел в холл.

Сверху, в колодце лестничных пролетов, я увидел то, что и ожидал: распахнутая входная дверь. Паркет залит лунным светом, поблескивают и громко тикают новенькие свежесмазанные дедушкины часы.

Я спустился вниз и вышел из замка.

— А, вот и ты, — сказала Нора. Она стояла у моей машины, на дороге.

Я подошел к ней.

— Ты вроде и слышал что-то и не слышал, так? — спросила Нора.

— Так.

— Теперь ты готов покинуть Гринвуд, Чарльз?

Я оглянулся на дом.

— Почти.

— Теперь ты убедился, что к старому возврата не будет? Теперь ты почувствовал, что наступила новая заря и новое утро? Ты чувствуешь, как вяло бьется мое сердце, перегоняя мою гнилую кровь, как иссохла у меня душа? Ты и сам не раз слышал, как бьется мое сердце у твоей груди, знаешь, какая я старая. Знаешь, как пуста я изнутри, какой мрак и уныние

царят во мне. М-да...

Нора посмотрела на замок.

— Прошлой ночью, в два часа, я, лежа в постели, услышала, как открывается парадная дверь. Я поняла, что дом просто отворил запоры, распахнулся и плавно открыл дверь. Я вышла на лестницу. Посмотрела вниз и увидела ручеек лунного света, проникающий в холл. Дом словно говорил мне: «Ступай, уходи отсюда вон, по этой серебристой дорожке и уноси с собой всю свою темень. Ты носишь в себе плод. У тебя во чреве поселилась призрачная горечь. Твой ребенок никогда не увидит света. И однажды он тебя погубит, потому что ты не сможешь от него избавиться. Так чего же ты ждешь?»

Мне было страшно спуститься и захлопнуть дверь. К тому же я знала, что это правда, Чарльз, и я знала, что уже не смогу уснуть. Тогда я спустилась вниз и вышла из дома.

Есть у меня в Женеве мрачный вертеп, я поселюсь там. А ты, Чарли, ты моложе и чище меня. Я хочу, чтобы замок стал твоим.

— Не так уж я молод.

— Но все же моложе меня.

— И не так уж чист. Он и меня гонит. Дверь в мою спальню, только что... тоже распахнулась.

— Ах, Чарли, — вздохнула Нора и коснулась моей щеки, — ах, Чарльз.

И сказала тихо:

— Прости.

— За что? Уйдем вместе.

Нора открыла дверцу машины.

— Можно, я сяду за руль? Мне это сейчас просто необходимо, промчать, пролететь всю дорогу до Дублина. Хорошо?

— Хорошо. А как же твои вещи?

— Все, что осталось внутри, пусть достанется замку... Ты куда?

Я остановился.

— Нужно же захлопнуть дверь.

— Не нужно, — сказала Нора. — Оставь, как есть.

— Но... ведь люди же зайти могут.

У Норы появилась на устах слабая улыбка.

— Могут, но только хорошие люди. Так что не страшно.

Я кивнул и нехотя вернулся к машине. Собирались тучи. Пошел снег. Он падал белыми хлопьями с освещенного луной неба. Мягкий и ласковый, как безобидный лепет ангелочков.

Мы залезли в машину и захлопнули дверцы. Нора завела мотор.

— Готов? — спросила она.

— Готов.

— Чарли, — сказала она, — когда мы будем в Дублине, ты поживешь со мной несколько дней? Я хочу сказать, просто поживешь. Мне нужно, чтобы кто-то был рядом. Ладно?

— Конечно.

— Как бы я хотела... — сказала она.

В ее глазах стояли слезы.

— ...Ах, как бы я хотела сгореть и родиться заново. Я смогла бы тогда подойти к замку и войти в него, и жить в этом доме вечно, как молочница, купаясь в клубнике со сливками.

Ах, к чему теперь все эти разговоры?

— Поехали, Нора, — сказал я тихо.

Мотор взревел, мы вырвались из долины, пронеслись мимо озера так, что только гравий летел из-под колес. Взлетали на холмы, прошили заснеженный лес. На последнем повороте все Норины слезинки уже высохли. Она гнала без оглядки, под сто, сквозь густой снегопад и еще более непроглядную ночь, навстречу черному горизонту и промерзшему каменному городу. И всю дорогу я держал ее за руку.

В один не слишком погожий и не слишком хмурый, не слишком знойный и не слишком студёный день по пустынным горам с суматошной скоростью катил допотопный потрепанный «форд». От лязга и скрежета металлических частей взмывали вверх трясогузки в рассыпчатых облачках пыли. Уходили с дороги ядовитые ящерицы — ленивые поделки индейских камнерезов. С шумом и грохотом «форд» все глубже вторгался в немую глухомань.

Старина Уилл Бентлин оглянулся с переднего сиденья и крикнул:

— Сворачивай!

По крутой дуге Боб Гринхилл бросил машину за рекламный щит. Тотчас оба повернулись. Они глядели на дорогу над гармошкой сложенного верха и заклинали поднятую колесами пыль:

— Успокойся! Ложись! Пожалуйста!

И пыль медленно осела.

Как раз вовремя.

— Пригнись!

Мимо них, с такой яростью, точно прорвался сквозь все девять кругов ада, прогремел мотоцикл. Над лоснящимся рулем в стремительном броске навстречу ветру изогнулся человек с изборожденным складками, чрезвычайно неприятным лицом, в защитных очках, насквозь пропеченный солнцем. Рычащий мотоцикл и человек промчались по дороге.

Старики выпрямились в своем рыдване, перевели дух.

— Счастливого пути, Нед Хоппер, — сказал Боб Гринхилл.

— Почему? — спросил Уилл Бентлин. — Почему он всегда преследует нас?

— Уилли-Уильям, раскинь мозгами, — ответил Гринхилл. — Мы же его удача, его козлы отпущения. Зачем ему упускать нас, если погоня за нами делает его богатым и счастливым, а нас бедными и умудренными?

И они с невеселой улыбкой поглядели друг на друга. Чего не сделала с ними жизнь, сделали размышления о ней. Тридцать лет прожито вместе под знаком отказа от насилия, то бишь от труда. «Чую, жатва скоро», — говаривал Уилли, и они покидали город, не дожидаясь, когда созреет пшеница. Или: «Вот-вот яблоки начнут осыпаться!» И они удалялись миль этак на триста — чего доброго, в голову угодит.

Повинуясь руке Боба Гринхилла, автомобиль медленно, точно укрощенная лавина, сполз обратно на дорогу.

— Уилли, дружище, не падай духом.

— Это уже давно пройдено, — сказал Уилли. — Теперь яг учусь мириться.

— Мириться с чем?

— Что мне сегодня попадетсЯ клад, сундук консервов — и ни одного ключа для консервных банок. А завтра — тысяча ключей и ни одной банки бобов.

Боб Гринхилл слушал, как мотор разговаривает сам с собой под капотом, словно старик шамкает о бессонных ночах, дряхлых костях, истертых до дыр сновидениях.

— Не везет, не везет, — ан, вдруг, повезет, Уилли.

— Ясное дело, да когда же это будет? Мы с тобой продаем галстуки, а через улицу кто сбывает такой же товар на десять центов дешевле?

— Нед Хоппер.

— Мы находим золотую жилу в Тонопа, и кто первым подает заявку?

— Старина Нед.

— Всю жизнь на его мельницу воду льем, разве не так? Не поздно ли затевать что-нибудь свое, на чем бы он не нагрел руки?

— Самое время, — возразил Роберт, уверенно ведя машину. — Вся беда в том, что ни ты, ни я, ни Нед никак не решим, что нам, собственно, надо. Мечемся из города в город, увидели — схватили. И Нед тоже увидел — схватил. Ему это не нужно, он только потому хватается, что нам это приглянулось. И держит, пока мы не махнули дальше, потом все бросает и тянется хвостом за нами, лишь бы еще Какой-нибудь хлам добыть. Вот когда мы поймем, что нам надо, в ту же минуту Нед шарахнет от нас прочь, навсегда сгинет. А, черт с ним. — Боб Гринхилл вдохнул свежий, как утренняя роса, воздух, струившийся над ветровым стеклом. — Все равно хорошо. Это небо. Эти горы. Пустыня и...

Он осекся.

Уилл Бентлин взглянул на него.

— Что случилось?

— Почему-то... — Боб Гринхилл вытаращил глаза, а его дубленые руки сами медленно повернули баранку, — ...нам нужно... свернуть... с дороги...

«Форд» содрогнулся, переваливая через обочину. Они съехали в пыльную канаву, выкарабкались из нее и очутились на выступе, который, словно полуостров, возвышался над пустыней. Боб Гринхилл, будто загипнотизированный, протянул руку и повернул ключ зажигания. Старик под капотом перестал сетовать на бессонницу и задремал.

— Ну, так зачем ты это сделал? — спросил Уилл Бентлин.

Боб Гринхилл смотрел на баранку и на свои руки, которые ни с того, ни с сего откололи такую штуку.

— Что-то заставило меня. Зачем? — Он поднял глаза. Мышцы его расслабились, взгляд смягчился. — Чтобы полюбоваться этим видом, только и всего. Отличный вид. Все как миллиард лет назад.

— Кроме этого города, — сказал Уилл Бентлин.

— Города? — повторил Боб.

Он повернулся. Вот пустыня и вдали горы цвета львиной шкуры, и совсем, совсем далеко, взвешенное в волнах горячего утреннего песка и света, плавало некое видение, смутный набросок города.

— Это не может быть Феникс, — сказал Боб Гринхилл. — До Феникса девяносто миль. А других городов поблизости нет.

Уилл Бентлин зашуршал лежащей на коленях картой, проверяя.

— Верно», нет других городов.

— Сейчас лучше видно! — вдруг воскликнул Боб Гринхилл.

Они поднялись в полный рост над запыленным ветровым стеклом и смотрели вперед, подставив ласковому ветру морщинистые лица.

— Постой, Боб, знаешь, что это? Мираж! Ясное дело! Так все сошлось: свет, атмосфера, температура. Город лежит где-нибудь за горизонтом. Видишь, он мелькает, то темнее, то ярче! Небо отражает его, как зеркало, как раз сюда, и мы его видим! Мираж, чтоб мне лопнуть!

— Такой огромный?

Уилл Бентлин измерил взглядом город, а тот на глазах у него стал еще отчетливее, порыв ветра, плавно кружащие вдали песчаные вихри, сделали его еще выше.

— Всем миражам мираж! Это не Феникс. И не Санта-Фе, и не Аламогордо, нет Погоди... И не Канзас-Сити...

— Еще бы, до него отсюда...

— Так-то так, да ты погляди на эти дома. Высоченные!

Самые высокие в стране. На всем свете есть только один такой город.

— Неужели... Нью-Йорк?

Уилл Бентлин медленно кивнул, и оба молча продолжали рассматривать мираж. Освещенный утренней зарей город был высокий, сверкающий, все до мелочей видно.

— Да, — сказал наконец Боб. — Здорово.

— Здорово, — согласился Уилл. — Но, — добавил он чуть погодя шепотом, точно боясь, что город услышит, — откуда ему тут взяться, в Аризоне, за три тысячи миль от дома, невесть где?

Не отрывая глаз от города, Боб Гринхилл сказал:

— Уилли, дружище, никогда не задавай природе вопросов. Ей не до тебя, она занята своим делом. Скажем, радиоволны, радуги, северные сияния и все такое прочее, словом, какая-то штуковина сделала этот огромный снимок города Нью-Йорка и проявила его здесь, за три тысячи миль, в тот самый день, когда нас надо подбодрить, нарочно для нас.

— Не только для нас. — Уилли повернул голову вправо. — Погляди-ка!

Немая лента странствий отпечаталась на крупитчатой пыли скрещенными черточками, углами и другими таинственными знаками.

— Следы шин, — сказал Боб Гринхилл. — Знать, немало машин сворачивает сюда.

— Чего ради, Боб? — Уилл Бентлин выпрыгнул из машины, опустился на землю, топнул по ней, повернулся, упал на колени и коснулся земли неожиданно и сильно задрожавшими пальцами. — Чего ради, а? Чтобы посмотреть мираж? Так точно! Чтобы посмотреть мираж!

— Ну?

— Ты только представь себе! — Уилл выпрямился и загудел, как мотор. — Rrrrrrrr! — Он повернул воображаемую баранку. Затрусил вдоль машинного следа. — Rrrrrrrr! Иииии! Торможу! Роберт-Боб, понимаешь, на что мы напали?! Глянь на восток! Глянь на запад! На много миль — единственное место, где можно свернуть с шоссе и сидеть, любоваться!

— Это неплохо, что люди понимают толк в красоте...

— Красота, красота! Чья это земля?

— Государственная, надо полагать...

— Не надо! Это наша земля, моя и твоя! Разбиваем лагерь, подаем заявку, приступаем к разработкам и по закону участок наш... верно?

— Стой! — Боб Гринхилл впился взглядом в пустыню и удивительный город вдали. — То есть ты собираешься... разрабатывать мираж?

— В самое яблочко! Разрабатывать мираж!

Роберт Гринхилл вылез из машины и обошел вокруг нее, разглядывая примятую шинами землю.

— Это можно?

— Можно? Извините, что я напылил!

Уилл Бентлин уже вколачивал в землю колья, тянул веревку.

— Вот отсюда и до сих пор, а отсюда до сих простирается золотой прииск, мы

промываем золото, это корова, мы ее доим, это море денег, мы купаемся в нем!

Нырнув в машину, он выбросил несколько ящиков и извлек большой лист картона, который некогда возвещал о продаже дешевых галстуков. Перевернул его, вооружился кистью и принялся выводить буквы.

— Уилли, — сказал его товарищ, — кто же станет платить за то, чтобы посмотреть на какой-то паршивый, старый...

— Мираж? Поставь забор, объяви людям, что просто так они ничего не увидят, и им сразу загорится. Вот!

Он поднял в руках объявление:

ТАЙНОЕ ДИВО МИРАЖ

ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД

25 центов с машины. С мотоциклов десять.

— Как раз машина идет. Теперь гляди!

— Уильям!..

Но Уилл уже бежал к дороге, подняв плакат.

— Эй! Смотрите! Эй!

Машина проскочила мимо, точно бык, не заметивший матадора.

Боб зажмурился, чтобы не видеть, как пропадает улыбка на лице Уилла.

Внезапно — упоительный звук.

Визг тормозов.

Машина дала задний ход! Уилл бежал ей навстречу, размахивая, указывая.

— Извольте, сэр? Извольте, мэм! Тайное Диво Мираж! Загадочный Город! Заезжайте сюда!

Ничем не примечательный участок исчертило множество, нет, несчетное множество колесных следов.

Огромный одуванчик пыли повис в жарком мареве над выступом, и стоял сплошной гул прибывающих автомашин, которые занимали свое место в ряду — тормоза выжаты, дверцы захлопнуты, моторы заглушены, разные машины из разных мест. И люди в машинах совсем разные, ведь они ехали кто откуда, и вдруг их что-то притянуло, как магнит, и поначалу все говорили разом, но, приглядевшись к далекому виду, вскоре смолкали. Тихий ветер дул прямо в лицо, теребя волосы женщин и расстегнутые воротники мужчин. Люди долго сидели в машинах или стояли на краю выступа, ничего не говоря; наконец один за другим стали поворачивать.

Вот первая машина покатила обратно мимо Боба и Уилла; сидящая в ней женщина благодарно кивнула им.

— Спасибо! Действительно, самый настоящий Рим?

— Как она сказала: «Рим» или «дым»? — спросил Уилл.

Вторая машина повернула к выходу.

— Ничего не скажешь? — Водитель высунулся и пожал руку Бобу. — Так и чувствуешь себя французом!

— Французом?! — вскричал Боб.

Оба подались вперед, навстречу третьей машине. За рулем, качая головой, сидел старик.

— В жизни не видел ничего подобного. Подумать только: туман, все как положено, Вестминстерский мост, лучше, чем на открытке, и Большой Бен поодаль. Как это у вас получается? Дай вам Бог счастья. Премного обязан.

Окончательно сбитые с толку, они пропустили машину со стариком, медленно повернулись и посмотрели туда, где за их участком вдали колыхалась полуденная мгла.

— Большой Бен? — произнес Уилл Бентлин. — Вестминстерский мост? Туман?

Чу, что это, кажется, там, за краем земли, совсем тихо, чуть слышно (полно, слышно ли? Они приставили к ушам ладони) трижды пробили огромные часы? И, кажется, ревуны окликают суда на далекой реке, и судовые сирены гудят в ответ.

— Чувствуешь себя французом? — шептал Роберт. — большой Бен? Дым? Рим? Разве это Рим, Уилл?

Ветер переменялся. Струя жаркого воздуха взмыла вверх, перебирая струны невидимой арфы. Что это, как будто туман затвердел, образуя серые каменные монументы? Что это, как будто солнце водрузило золотую статую на вздыбившуюся глыбу чистого, снежного мрамора.

— Как... — заговорил Уильям Бентлин, — почему все менялось? Откуда здесь четыре, пять городов? Разве мы говорили кому-нибудь, какой город они увидят? Нет. Ну, держись, Боб, держись!

Они перевели взгляд на последнего посетителя, который стоял один на краю выступа. Сделав знак товарищу, чтобы тот молчал, Роберт безмолвно подошел к платному посетителю и остановился сбоку, чуть позади.

Это был мужчина лет под пятьдесят с энергичным загорелым лицом, ясными, добрыми, живыми глазами, узкими скулами, выразительным ртом. У него был такой вид, словно он в жизни немало путешествовал, не одну пустыню пересек в поисках заветного оазиса. Он напоминал одного из тех архитекторов, которые бродят среди строительного мусора подле своих творений, глядя, как железо, сталь, стекло взмывают кверху, заслоняя, заполняя свободный клочок неба. У него было лицо зодчего, глазам которого вдруг, мгновенно, простершись от горизонта до горизонта, предстало совершенное воплощение давней мечты. Внезапно, словно и не замечая стоящих рядом Уильяма и Роберта, незнакомец заговорил тихим, спокойным, задумчивым голосом. Он назвал то, что видел, высказал то, что чувствовал:

В Ксанадупуре...

— Что? — спросил Уильям.

Незнакомец чуть улыбнулся и, не отрывая глаз от миража, стал негромко читать по памяти:

*В Ксанадупуре чудо-парк
Велел устроить Кублай-хан.
Там Альф, священная река,
В пещерах долгих, как века,
Текла в крошечный океан.*

Его голос укротил ветер, и ветер подул на стариков, так что они совсем присмирели.

Десяток плодородных миль

*Властитель стенами обнес
И башнями огородил.
Ручьи змеистые журчали,
Деревья ладан источали,
И древний, словно горы, лес
В зеленый лиственный навес
Светила луч ловил.*

Уильям и Роберт смотрели на мираж и в золотой пыли видели все то, о чем говорил незнакомец: гроздя легендарных восточных минаретов, купола, стройные башенки, выросшие на волшебных посевах цветочной пыльцы из Гоби, россыпи запекшейся гальки на берегах благодатного Евфрата, Пальмира — еще не развалины, только-только построенная, свежей чеканки, нетронутая минувшими годами, вот окуталась дрожащим маревом, вот грозит совсем улететь...

Видение озарило счастьем преобразившееся лицо незнакомца, и отзвучали последние слова:

*Поистине диковинное диво:
Пещерный лед — и солнца переливы.*

Незнакомец смолк.

И тишина в душе у Боба и Уилла стала еще глубже.

Незнакомец тербил дрожащими пальцами бумажник, глаза его увлажнились.

— Спасибо, спасибо...

— Вы уже заплатили, — напомнил Уильям.

— Будь у меня еще, вы бы все получили.

Он стиснул руку Уильяма, оставив в ней пятидолларовую бумажку, вошел в машину, в последний раз посмотрел на мираж, сел, включил мотор, не торопясь дал ему прогреться и укатил. Его лицо светилось, глаза излучали покой.

Роберт, ошеломленный, сделал несколько шагов вслед за машиной.

Вдруг Уильям взорвался, взмахнул руками, гикнул, щелкнул каблуками, закружился на месте.

— Аллилуйя! Роскошная жизнь! Полная чаша! Ботиночки со скрипом! Загребай горстями!

Но Роберт сказал:

— А мне кажется, не надо...

Уильям перестал плясать.

— Что?

Роберт пристально смотрел на пустыню.

— Да разве ж этим завладеешь? Вон как далеко до него. Ну хорошо, мы подадим заявку на участок, но... Мы даже не знаем, что это такое.

— Как не знаем: Нью-Йорк и...

— Ты когда-нибудь бывал в Нью-Йорке?

— Всегда мечтал. Никогда не бывал.

— Всегда мечтал, никогда не бывал. — Роберт медленно кивнул. — Так и они. Слышал: Париж. Рим. Лондон. Или этот, последний: Ксанадупур. Уилли, Уилли, да мы тут напали на такое... Удивительное, большое. Боюсь, мы только все испортим.

— Постой, но ведь мы же никому не запрещаем, верно?

— Почему ты знаешь? Может быть, четвертак кому-то и не по карману. Не годится это — тут сама природа, а мы со своими правилами. Погляди и скажи, что я неправ.

Уильям поглядел.

Теперь город был похож на тот самый первый город в его жизни, который он увидел, когда мать однажды утром повезла его с собой на поезде, и они ехали по зеленому степному ковру, и вот впереди, крыша за крышей, башня за башней над краем земли стал подниматься город, испытующе глядя на него, словно следя, как он подъезжает все ближе. Город — такой невидимый, такой новый, такой старый, такой устрашающий, такой чудесный...

— По-моему, — сказал Роберт, — оставим себе на бензин, сколько на неделю надо, а остальные деньги положим в первую же церковную кружку. Этот мираж, он как чистый родник, пейте, кому хочется. Умный человек зачерпнет кружку, освежит холодком горло в жару и поедет дальше. А если мы останемся, да начнем плотины ставить, чтобы вся вода только нам...

Уильям, глядя вдаль сквозь шуршащие вихри пыли, попытался смириться, согласиться.

— Раз ты так говоришь...

— Не я. Весь здешний край говорит.

— А вот я скажу другое!

Они подскочили и обернулись.

На косогоре над дорогой стоял мотоцикл. А на нем, в радужных пятнах бензина, в огромных очках, с коркой грязи на щетинистых щеках — ну, конечно, старый знакомец, все та же заносчивость, то же неистощимое высокомерие.

— Нед Хоппер!

Нед Хоппер улыбнулся своей самой ядовито-благожелательной улыбкой, отпустил тормоза и съехал вниз, к своим старым друзьям.

— Ты... — произнес Роберт.

— Я! Я! Я! — Громко смеясь, запрокинув голову, Нед Хоппер трижды стукнул по кнопке сигнала. — Я!

— Тихо! — вскричал Роберт. — Разобьешь, это же как зеркало.

— Что, как зеркало?

Уильям, зараженный тревогой Роберта, беспокойно посмотрел на горизонт над пустыней.

Мираж затрепетал, задрожал, затуманился — и снова гобеленом повис в воздухе.

— Ничего не вижу! Признавайтесь, что вы тут затеяли, ребята? — Нед уставился на испещренную следами землю. — Я двадцать миль отмахал, нет как нет, только потом смекнул, что вы где-то позади притаились. Э, говорю себе, разве так поступают старые друзья, которые в сорок седьмом навели меня на золотую жилу, а в пятьдесят пятом осчастливили этим мотоциклом. Сколько лет выручаем друг друга, и вдруг какие-то секреты от старины Неда. И я повернул назад. Полдня вон с той горы за вами следил. — Нед поднял бинокль, висевший на его промасленной куртке. — Я ведь умею читать по губам, вы не знали? Точно! Видел, как сюда заскакивали все эти машины, видел денежки. Да у вас тут

настоящий театр!

— Не повышай голоса, — предостерег его Роберт. — До свидания.

Нед приторно улыбнулся.

— Как, вы уезжаете? Жалко. А вообще-то вам и правда нечего делать на моем участке.

— На твоём! — закричали Роберт и Уильям, спохватились и дрожащим шепотом повторили: — Как это на твоём?

Нед усмехнулся.

— Я как увидел ваши дела, махнул напрямиком в Феникс. Видите, документик у меня в заднем кармане?

В самом деле: аккуратно сложенная бумажка.

Уильям протянул руку.

— Не доставляй ему удовольствия, — сказал Роберт.

Уильям отдернул руку.

— Ты хочешь, чтобы мы тебе поверили? Что ты уже подал заявку на участок?

Нед погасил улыбку в своих глазах.

— Хочу. Не хочу. Допустим, я соврал — все равно я на мотоцикле доберусь до Феникса быстрее, чем вы на своем драндулете. — Нед изучил окрестности в свой бинокль. — Так что лучше выкладывайте все денежки, какие получили с двух часов дня, когда я подал заявку, с того часа вы находитесь на чужой земле — на моей земле.

Роберт швырнул монеты в пыль. Нед Хоппер бросил небрежный взгляд на блестящий сор.

— Монета правительства Соединенных Штатов! Лопни мои глаза, ведь ничегошеньки нет, а эти барашки все равно денежки несут!

Роберт медленно повернулся лицом к пустыне.

— Ты ничего не видишь?

Нед фыркнул.

— Ничего, будто не знаешь!

— А мы видим! — закричал Уильям. — Мы...

— Уилл, — сказал Роберт.

— Но, Боб!..

— Там нет никого. Он прав.

Под барабанную дробь моторов к ним приближались еще машины.

— Извините, джентльмены, мое место в кассе! — Нед метнулся к дороге, размахивая руками. — Извольте, сэр, мэм! Сюда, сюда! Деньги вперед!

— Почему? — Уильям проводил взглядом горланящего Неда Хоппера. — Почему мы ему потакаем?

— Погоди, — кротко сказал Роберт. — Посмотрим, что будет.

Они отошли в сторону, пропуская чей-то «форд», чей-то «бьюик», чей-то престарелый «мун».

Сумерки. На горе, ярдах в двухстах над «Кругозором загадочного Города-Миража» Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл поджарили и принялись ковырять вилками скудный ужин, свинины почитай что и нет, одни бобы. Время от времени Роберт наводил выдавший виды театральные бинокль на то, что происходило внизу.

— Тридцать посетителей с тех пор, как мы уехали, — отметил он. — Ничего, скоро

закрывать придется. Десять минут, и солнце совсем уйдет.

Уильям смотрел на одинокий боб, пронзенный его вилкой.

— Нет, ты мне скажи: почему? Почему всякий раз, как нам повезет, Нед Хоппер тут как тут?

Роберт дохнул на стекла бинокля и протер их рукавом.

— Потому, дружище Уилли, что мы с тобой чистые души. Вокруг нас сияние. И злодеи мира сего, как завидят его вдали, радуются: «Ага, не иначе там ходят этакие милые, простодушные сосунки». И спешат во всю прыть к нам, погреть руки. Как тут быть? Не знаю. Разве что погасить сияние.

— Да ведь не хочется, — задумчиво произнес Уильям, держа ладони над костром. — Просто я надеялся, что наконец настала наша пора. Этот Нед Хоппер, он же только брюхом живет, и когда его гром разразит?

— Когда? — Роберт ввинтил линзы бинокля себе в глаза. — Уже, уже разразил! Позор маловеерам!

Уильям вскочил на ноги рядом с ним. Они поделили бинокль, каждому по окуляру.

— Гляди!

И Уильям, приставив глаз к биноклю, крикнул:

— Семь верст до небес!

— И все лесом!

Еще бы, такое зрелище! Нед Хоппер переминался с ноги на ногу возле автомашины. Сидящие в ней люди размахивали руками. Он вручил им деньги. Машина ушла. Даже на горе были слышны горестные вопли Неда.

Уильям ахнул.

— Он возвращает деньги! Гляди, едва не ударил вон того... А тот грозит ему кулаком! Нед ему тоже возвращает деньги! Гляди, еще нежное расставание, еще!

— Так его! — ликовал Роберт, прильнув к своей половине бинокля.

И вот уже все машины катят прочь в облаке пыли. Старина Нед исполнил какую-то яростную чечетку, швырнул оземь свои очки, сорвал плакат, изрыгнул ужасающую брань.

— Вот дает! — задумчиво сказал Роберт. — Не хотел бы я услышать такие слова. Пошли, Уилли!

Не дожидаясь, когда Уильям Бентлин и Роберт Грин-хилл спустятся на своей машине к повороту на Загадочный Город, разъяренный Нед Хоппер пулей вылетел с выступа. Злобные крики, рев мотоцикла, раскрашенный картон бумерангом взлетел вверх и, со свистом рассекая воздух, чуть не поразил Боба. Нед уже скрылся на своем грохочущем чудище, когда плакат вильнул вниз и лег на землю; Уильям поднял его и обтер.

Сумерки сгустились, солнце прощалось с далекими вершинами, весь край притих и примолк. Нед Хоппер исчез, и двое остались одни на опустевшем выступе, в сетке колесных следов, глядя на пески и заколдованный воздух.

— Нет, нет! — произнес Уильям.

— Боюсь, что да, — отозвался Роберт.

Чуть тронутая розовым золотом заходящего солнца даль была пуста. Мираж пропал. Два-три пыльных вихря прошли вдоль горизонта и рассыпались, и только.

Уильям вздохнул горько-горько.

— Это все он! Нед! Нед Хоппер, вернись, ты!.. Все испортил, окаянный! Чтоб тебе света не видать! — Он осекся. — Боб, как ты можешь — стоит, хоть бы что ему!

Роберт грустно улыбнулся.

— А мне его жалко.

— Жалко?!

— Он не видел того, что видели мы. Все видели, а он не видел. Даже на миг не поверил.

А ведь неверие заразительно. Оно и к другим пристаёт.

Уильям внимательно оглядел безлюдный край.

— По-твоему, в этом все дело?

— Кто его знает... — Роберт покачал головой. — Одно можно точно сказать: когда люди сворачивали сюда, они видели город, города, мираж, назови, как хочешь. Но поди разгляди что-то, когда тебе все заслоняют. Нед Хоппер даже руки не поднял, а все солнце закрыл своей загребушей лапией. И сразу театр — двери на замок.

— А мы... — Уильям помялся. — Мы не можем снова открыть его?

— Как? Что надо сделать, как вернуть такое чудо?

Они медленно обвели взглядом пески, горы, редкие одинокие облачка, притихшее, бездыханное небо.

— Может, если глядеть уголком глаза, не прямо, а как бы невзначай, ненароком...

И они стали смотреть на башмаки, на руки, на камни в пыли у своих ног. Наконец Уильям буркнул:

— А точно ли это? Что мы такие чистосердечные?

Роберт усмехнулся.

— Конечно, детишки тут сегодня побывали, так те куда почище нас, недаром видели все, что хотели, и взрослые — простые души, что выросли среди полей и милостью божьей странствуют по свету, а сами детьми остались. Нет, Уилли, мы с тобой не дети — ни малые, ни взрослые, а есть у нас одно: умеем радоваться жизни. Знаем, что такое прозрачное утро на пустынной дороге, как звезды рождаются и гаснут в небесах. А этот злодей, он давным-давно разучился радоваться. Как его не пожалеть, вот мчится сейчас на своем мотоцикле, и всю ночь так, и весь год...

Он не успел договорить, когда заметил, что Уильям исподволь косит глазом в сторону пустыни. И он тихонько прошептал:

— Видишь что-нибудь?..

Уильям вздохнул.

— Нет. Может быть... завтра...

На шоссе показалась одинокая машина.

Они переглянулись. Глаза их вспыхнули иступленной надеждой. Но руки не поднимались, и рот не открывался, чтобы крикнуть. Они стояли молча, держа перед собой разрисованный плакат.

Машина пронеслась мимо.

Они проводили ее молящими взглядами.

Машина затормозила. Дала задний ход. В ней сидели мужчина, женщина, мальчик, девочка. Мужчина крикнул:

— Уже закрыли на ночь?!

— Ни к чему... — заговорил Уильям.

— Он хочет сказать: деньги нам ни к чему! — перебил его Роберт. — Последние клиенты сегодня, к тому же целая семья. Бесплатно! За счет фирмы!

— Спасибо, приятель, спасибо!

Машина, рывкнув, въехала на площадку кругозора.

Уильям стиснул локоть Роберта.

— Боб, какая муха тебя укусила? Огорчить детишек, такую славную семью!

— Помалкивай, — тихо сказал Роберт. — Пошли.

Дети выскочили из машины. Мужчина и его жена выбрались на волю и остановились, освещенные вечерней зарей. Небо было золотое, с голубым отливом, где-то в песчаной дали пела птица.

— Смотри, — сказал Роберт.

Приезжие стояли в ряд, глядя на пустыню, и старики подошли к ним сзади.

Уильям затаил дыхание.

Отец и мать, неловко шурясь, всматривались в сумрак.

Дети ничего не говорили. Распахнутые глаза их впитали в себя чистый отсвет заката.

Уильям прокашлялся.

— Уже поздно. Кхм... Плохо видно...

Мужчина хотел ответить, но его опередил мальчик:

— А мы видим... здорово!

— Да-да! — подхватила девочка, показывая. — Вон там!

Мать и отец проследили взглядом за ее рукой, точно это могло помочь. И помогло!

— Боже, — воскликнула женщина, — кажется, там... нет... ну да, вот оно!

Мужчина впился глазами в лицо женщины, что-то прочел на нем, сделал мысленный оттиск и наложил его на пустыню и воздух над пустыней.

— Да, — молвил он наконец, — да, конечно.

Уильям посмотрел на них, на пустыню, потом на Роберта: тот улыбнулся и кивнул.

Четыре лица, обращенные к пустыне, так и сияли.

— О, — прошептала девочка, — неужели это правда?

Отец кивнул, осененный видением, которое было на грани зримого и за гранью постижимого. И сказал так, словно стоял один в огромном заповедном храме:

— Да. И, клянусь... это прекрасно.

Уильям уже начал поднимать голову, но Роберт шепнул:.

— Не спеши. Сейчас. Потерпи немного, не спеши, Уилл.

И тут Уильям понял, что надо делать.

— Я... я стану с детьми, — сказал он.

И он медленно прошел вперед и остановился за спиной мальчика и девочки. Так он долго стоял, точно между двумя жаркими кострами в холодный вечер, и они согрели его, и он, не дыша, исподволь поднял глаза и через вечернюю пустыню осторожно стал всматриваться в сумрак — неужели не покажется?

И там из легкого облака пыли высоко над землей ветер снова вылепил смутные башни, шпили, минареты — возник мираж.

Уильям ощутил на шее, совсем близко, дыхание Роберта — тот негромко шептал про себя:

Поистине... диковинное диво:

Пещерный лед — и солнца переливы...

Они видели город.

Солнце зашло, появились первые звезды.

Они совсем отчетливо видели город, и Уильям услышал свой голос — то ли вслух, то ли в душе он повторял:

Поистине диковинное диво...

И они стояли в темноте, пока не перестали видеть.

Жила-была старушка

— Это невозможно, — печально возразил отец. — Каждый из нас встречается со смертью один на один.

— Когда-нибудь все переменится, папа. Отныне я закладываю начало новой философии! Да ведь это просто дурость какая-то — живешь совсем недолго, а потом оглянуться не успеешь, тебя зароят в землю, будто ты зерно; только ничего из тебя не вырастет. Что ж тут хорошего? Люди лежат в земле миллионы лет, а толку никакого. И люди-то какие — милые, славные, порядочные или уж, во всяком случае, старались быть лучше.

Но отец не слушал. Он вдруг побелел и как-то выцвел, точно забытая на солнце фотография. Тилди пыталась удержать его, отговорить, но он все равно умер. Она повернулась и убежала. Не могла она оставаться: ведь он сделался холодный и самим этим холодом отрицал ее философию. Она и на похороны не пошла. Ничего она не стала делать, только открыла тут, в старом доме, лавку древностей и жила одна-одинешенька, пока не появилась Эмили. Тилди не хотела брать девочку. Вы спросите, почему? Да потому, что Эмили верила в смерть. Но мать Эмили была старинной подругой Тилди, и Тилди обещала ей не оставить сироту.

— За все эти годы никто, кроме Эмили не жил со мной под одной крышей, — рассказывала тетушка Тилди черному человеку. — Замуж я так и не вышла. Страшно подумать — проживешь с мужем двадцать, тридцать лет, а потом он возьмет да и умрет прямо у тебя на глазах. Тогда все мои убеждения развалились бы, точно карточный домик. Вот я и пряталась от людей. При мне о смерти никто и заикнуться не смел.

Черный человек слушал ее терпеливо, вежливо. Но вот он поднял руку. Она еще и рта не раскрыла, а по его темным, с холодным блеском, глазам видно было: он знает наперед все, что она скажет. Он знал, как она вела себя во время второй мировой войны, знал, что она навсегда выключила у себя в доме радио и отказалась от газет, и выгнала из своей лавки и стукнула зонтиком по голове человека, который непременно хотел рассказать ей о вторжении, о том, как длинные волны неторопливо накатывались на берег и, отступая, оставляли на песке цепи мертвецов, а луна молча освещала этот небывалый прилив.

Черный человек сидел в старинном кресле-качалке и улыбался: да, он знал, как тетушка Тилди пристрастилась к старым задушевым пластинкам. К песенке Гарри Лодера «Скитаясь в сумерках», и к мадам Шуман-Хинк, и к колыбельным. В мире этих песенок все шло гладко, не было ни заморских бедствий, ни смертей, ни отравлений, ни автомобильных катастроф, ни самоубийств. Музыка не менялась, изо дня в день она оставалась все той же. Шли годы, тетушка Тилди пыталась обратить Эмили в свою веру. Но Эмили не могла отказаться от мысли, что люди смертны. Однако, уважая тетушкин образ мыслей, она никогда не заговаривала о вечности.

Черному человеку все это было известно.

— И откуда ты все знаешь? — презрительно фыркнула тетушка Тилди. — Короче говоря, если ты еще не совсем спятил, так и не надейся — не уговоришь меня лечь в эту дурацкую плетенку. Только попробуй, тронь, и я плюну тебе в лицо!

Черный человек улыбнулся. Тетушка Тилди снова презрительно фыркнула.

— Нечего скалиться. Стара я, чтобы меня обхаживать. У меня душа будто старый тубик

с краской, в ней давным-давно все пересохло.

Послышался шум. Часы на каминной полке пробили три. Тетушка Тилди метнула на них сердитый взгляд. Это еще что такое? Они ведь, кажется, уже только что били три? Тилди любила свои белые часы с золотыми голенькими ангелочками, которые заглядывали на циферблат, любила их бой, точно у соборных колоколов — мягкий и словно бы доносящийся издалека.

— Долго ты намерен тут сидеть, милейший?

— Да, долго.

— Тогда уж не обессудь, я подремлю. Только смотри, не вставай с кресла. И не смей ко мне подкрадываться. Я закрываю глаза просто потому, что хочу соснуть. Вот так. Вот так...

Славное, покойное, отдохновенное время. Тихо. Только часы тикают, хлопотливые, словно муравьи. В старом доме пахнет полированным красным деревом, истертыми кожаными подушками дедовского кресла, книгами, теснящимися на полках. Славно. Так славно...

— Ты не встаешь, сударь, нет? Смотри не вставай. Я слежу за тобой одним глазом. Да-да, слежу. Право слово. Ох-хо-хо-хо-хо.

Как невесомо. Как сонно. Как глубоко Прямо как под водой. Ах, как славно.

Кто там бродит в темноте?.. Но ведь глаза у меня закрыты?

Кто там целует меня в щеку? Это ты, Эмили? Нет, не ты. А, я знаю, это мои думы Только... только все это во сне. Господи, так оно и есть. Меня куда-то уносит, уносит, уносит...

А? Что? Ох!

— Погодите-ка, только очки надену. Ну вот!

Часы снова пробили три. Стыдно, мои дорогие, просто стыдно. Придется отдать вас в починку.

Черный человек стоял у дверей. Тетушка Тилди удовлетворенно кивнула.

— Все-таки уходишь, милейший? Пришлось тебе сдать? А? Меня не уговоришь, где там, я упрямая. Из этого дома меня не выманить, так что и не трудись, не приходи понапрасну!

Черный человек неторопливо, с достоинством поклонился.

Нет, у него и в мыслях не было приходить сюда еще раз.

— То-то, я всегда говорила папе, что будет по-моему! — провозгласила тетушка Тилди. — Я еще тысячу лет посижу с вязаньем у этого окна. Если хочешь меня отсюда вытащить, придется тебе разобрать весь дом по досочке.

Черный человек сверкнул на нее глазами.

— Что глядишь на меня, будто кот, который слопал канарейку! — воскликнула тетушка Тилди. — Забирай отсюда свою дурацкую плетенку!

Четверо тяжелой поступью пошли вон из дома. Тилди внимательно смотрела, как они управляют с пустой корзиной — они пошатывались под ее тяжестью.

— Эй, вы! — Она встала, дрожа от гнева. — Вы что, утащили мои древности? Или может, книги? Или часы? Что вы напихали в свою плетенку?

Черный человек, самодовольно посвистывая, повернулся к ней спиной и поспешил за носильщиками к выходу. В дверях он кивнул на плетенку и показал тетушке Тилди на крышку. Знаками он приглашал ее приоткрыть крышку и заглянуть внутрь.

— Ты это мне? Чего я там не видала? Больно надо. Убирайся вон! — крикнула тетушка

Тилди.

Черный человек нахлобучил шляпу, небрежно, безо всякого почтения поклонился.

— Прощай! — тетушка Тилди захлопнула дверь.

Вот так-то. Так-то оно лучше. Ушли. Будь они неладны, олухи, эка что выдумали. Пропади она пропадом, их плетенка. Если и утащили что, шут с ними, лишь бы ее самое оставили в покое.

«Смотри-ка! — тетушка Тилди заулыбалась. — Вон идет Эмили, приехала из колледжа. Самое время. А хороша! Одна походка чего стоит. Но что это она какая бледная, совсем на себя непохожа и идет еле-еле. С чего бы это? И невеселая какая-то. Вот бедняжка. Принесу-ка поскорей кофе и печенье».

Вот Эмили уже поднимается по ступенькам. Торопливо собирая на стол, тетушка Тилди слышит ее медленные шаги — девочка явно не спешит. Что это с ней приключилось? Она прямо как осенняя муха.

Дверь распаивается. Держась за медную ручку, Эмили останавливается на пороге.

— Эмили? — окликает тетушка Тилди.

Тяжело волоча ноги, повесив голову, Эмили входит в гостиную.

— Эмили! А я тебя жду, жду! Ко мне тут приходил один дурак с плетенкой. Хотел мне что-то всучить совсем ненужное... Хорошо, что ты уже дома, сразу как-то уютнее...

Но тут тетушка Тилди замечает, что Эмили смотрит на нее во все глаза.

— Что случилось, Эмили? Чего ты на меня уставилась? Садись-ка к столу, я принесу тебе чашечку кофе. На, пей!

...Да что ж ты от меня пятишься?

...А кричать-то зачем, детка? Перестань, Эмили, перестань! Успокойся! Разве можно, этак и ум за разум зайдет. Вставай, вставай, нечего валяться на полу и в угол забиваться нечего. Ну, что ты вся съежилась, девочка, я же не кусаюсь!

...Господи, не одно, так другое.

...Да что случилось, Эмили? Девочка...

Закрыв лицо руками, Эмили глухо стонет.

— Ну-ну, детка, — шепчет тетушка Тилди. — Ну успокойся, выпей водички, Эмили, вот так.

Эмили широко раскрывает глаза, что-то видит, снова жмурится и, вся дрожа, пытается совладать с собой.

— Тетушка Тилди, тетушка Тилди, тетушка...

— Ну, хватит! — Тилди шлепает ее по руке. — Что с тобой такое?

Эмили через силу открывает глаза. Протягивает руку. Рука проходит сквозь тетушку Тилди.

— Что это тебе взбрело в голову? — кричит Тилди. — Сейчас же убери руку! Убери руку, слышишь?

Эмили отпрянула, затрясла головой; золотая солнечная копна вся затрепетала.

— Тебя здесь нет, тетушка Тилди. Ты мне привиделась. Ты умерла!

— Тс-с, малышка.

— Тебя просто не может тут быть.

— Бог с тобой, что ты болтаешь?..

Она берет руку Эмили. Рука девушки проходит сквозь ее руку. Тетушка Тилди вдруг вскакивает, топает ногой.

— Вон что, вон что! — сердито кричит она. — Ах ты, враль! Ах, ворюга! — Ее худые руки сжимаются в кулаки, да так, что даже суставы белеют. — Ах, злодей, черный мерзкий пес! Он украл его! Он его уволок, да, да, это все он, он! Ну я ж тебе!..

Она вся кипит от гнева. Ее выцветшие глаза горят голубым огнем. Она захлебывается, ей не хватает слов. Потом поворачивается к Эмили:

— Вставай, девочка! Ты мне нужна!

Эмили лежит на полу, ее трясет.

— Они не всю меня утащили! — провозглашает тетушка Тилди. — Черт возьми, придется пока обойтись тем, что осталось. Поддай мне шляпку!

— Я боюсь, — признается Эмили.

— Кого, меня?!

— Да.

— Но я же не призрак! Ты ведь знаешь меня почти всю свою жизнь. Сейчас не время нюни распускать. Поднимайся, да поживей, не то получишь затрещину!

Всхлипывая, Эмили поднимается на ноги; она совсем как загнанный зверек и словно прикидывает, куда бы удрать.

— Где твоя машина, Эмили?

— Там, в гараже...

— Прекрасно! — Тетушка Тилди подталкивает ее к двери. — Ну... — Ее острые глазки быстро обшаривают улицу. — В какой стороне морг?

Держась за перила, Эмили нетвердыми шагами спускается по лестнице.

— Что ты задумала, тетушка?

— Что задумала? — переспрашивает тетушка Тилди, ковыляя следом; бледные, дряблые щеки ее дрожат от ярости. — Как что? Отберу у них свое тело — и вся недолга! Отберу свое тело? Пошли!

Мотор взревел, Эмили вцепилась в руль, напряжение вглядывается в извилистые, мокрые от дождя улицы. Тетушка Тилди потрясает зонтиком.

— Быстрей, девочка, быстрей, не то эти привереды-прозекторы впрыснут в мое тело какое-нибудь зелье и освежут, и разделают на части. Разрежут, а потом так сошьют, что оно уже никуда не будет годиться.

— Ох, тетушка, тетушка, отпусти меня, зря мы туда едем. Все равно толку не будет. Ну, никакого толку, — вздыхает девушка.

— Вот мы и приехали.

Эмили затормозила у обочины и без сил привалилась к рулю, а тетушка Тилди выскочила из машины и засемила по подъездной аллее морга туда, где с блестящих черных дроб сгружали плетеную корзину.

— Эй! — накинулась она на одного из четверых носильщиков. — Поставьте ее наземь?

Все четверо подняли головы.

— Посторонитесь, сударыня, — говорит один из них. — Не мешайте дело делать.

— В эту плетенку зачихали мое тело! — Тилди воинственно взмахнула зонтиком.

— Ничего не знаю, — говорит второй носильщик. — Не стойте на дороге, сударыня. У нас тяжелый груз.

— Вот еще! — оскорбленно восклицает она. — Да будет вам известно, что я вещь всего сто десять фунтов.

Носильщик даже не смотрит на нее.

— Ваш вес нам без надобности. А вот мне надо поспеть домой к ужину. Коли опоздаю, жена меня убьет.

И четверо пошли своей дорогой — по коридору, в прозекторскую. Тетушка Тилди припустила за ними.

Длиннолицый человек в белом халате нетерпеливо подждал корзину и, завидев ее, удовлетворенно улыбнулся. Но тетушка Тилди на него и не смотрела, жадное нетерпение, написанное на его лице, ее мало трогало. Поставив корзину, носильщики ушли.

Мельком глянув на тетушку, человек в белом халате сказал:

— Сударыня, даме здесь не место.

— Очень приятно, что вы так думаете, — обрадовалась она. — Именно это я и пыталась втолковать вашему черному человеку.

Прозектор удивился.

— Что еще за черный человек?

— А тот, который околачивался возле моего дома.

— Среди наших служащих такого нет.

— Неважно. Вы сейчас очень разумно заявили, что благородной даме здесь не место. Вот я и не хочу здесь оставаться. Я хочу домой, пора готовить ветчину для гостей, ведь пасха на носу. И еще надо кормить Эмили, вязать свитера, завести все часы в доме...

— У вас, я вижу, философский склад ума, сударыня, и приверженность к добрым делам, но мне надо работать. Доставлено тело. — Последние слова он произносит с явным удовольствием и принимается разбирать свои ножи, трубки, склянки и разные прочие инструменты.

Тилди свирепеет:

— Только дотроньтесь до этого тела, я вам...

Он отмахивается от нее, как от мухи.

— Джордж, проводи, пожалуйста, эту даму, — вкрадчиво говорит он.

Тетушка Тилди встречает идущего к ней Джорджа яростным взглядом.

— Пошел вон, дурак!

Джордж берет ее за руки.

— Пройдите, пожалуйста.

Тилди высвобождается. С легкостью. Ее плоть вроде бы... ускользнула. Чудны дела твои, господи. В таком почтенном возрасте — и вдруг новый дар.

— Видали? — говорит она, гордая своим талантом. — Вам со мной не сладить. Отдавайте мое тело!

Прозектор небрежно открывает корзину. Заглядывает внутрь, кидает быстрый взгляд на Тилди, снова — в корзину, вглядывается внимательней... Это тело... кажется... возможно ли?.. А все-таки... да... нет... нет... да нет же, не может быть, но... Он переводит дух. Оборачивается. Таращит глаза. Потом испытующе прищуривается.

— Сударыня, — осторожно начинает он. — Эта дама вот здесь... э... ваша... родственница?

— Очень близкая родственница. Обращайтесь с ней поосторожней.

— Сестра, наверно? — хватается он за ускользающую соломинку здравого смысла.

— Да нет же. Вот непонятливый! Это я, слышите? Я!

Прозектор минуту подумал.

— Нет, так не бывает, — говорит он. И принимается перебирать инструменты. — Джордж, позови кого-нибудь себе в помощь. Я не могу работать, когда в комнате полоумная.

Возвращаются те четверо. Тетушка Тилди вызывающе вскидывает голову.

— Не сладите! — кричит она, но ее, точно пешку на шахматной доске, переставляют из прозекторской в мертвецкую, в приемную, в зал ожидания, в комнату для прощаний, и, наконец, в вестибюль. Тут она опускается на стул, стоящий на самой середине. В сумрачной тишине вестибюля стоят скамьи, пахнет цветами.

— Ну вот, сударыня, — говорит один из четверых. — Здесь тело будет находиться завтра, до начала отпевания.

— Я не сдвинусь с места, пока не получу то, что мне надо.

Плотно сжав губы, она теребит бледными пальцами кружевной воротник и нетерпеливо постукивает по полу ботинком на пуговках. Если кто подходит поближе, она бьет его зонтиком. А стоит кому-либо ее тронуть — и она... ну да, она просто ускользает.

Мистер Кэррингтон, президент похоронного бюро, услышал шум и приковылял в вестибюль разузнать, что случилось.

— Тс-с, тс-с, — шепчет он направо и налево, прижимая палец к губам. — Имейте уважение, имейте уважение. Что тут у вас? Не могу ли я быть вам полезным, сударыня?

Тетушка Тилди смерила его взглядом.

— Можете.

— Чем могу служить?

— Подите в ту комнату в конце коридора, — распорядилась тетушка Тилди.

— Д-да-а?

— И скажите этому рьяному молодому исследователю, чтоб оставил в покое мое тело. Я — девица. И не желаю никому показывать свои родинки, родимые пятна, шрамы и прочее, и что нога у меня подворачивается — тоже мое дело. Нечего ему во все совать нос, трогать, резать — еще, того гляди, что-нибудь повредит.

Мистер Кэррингтон не понимает, о чем речь, он ведь еще не знает, что за тело находится в прозекторской. И он глядит на тетушку Тилди растерянно и беспомощно.

— Чего он уложил меня на свой стол, я ж не голубь какой-нибудь, меня незачем потрошить и фаршировать! — сказала Тилди.

Мистер Кэррингтон кинулся выяснять, в чем дело. Прошло пятнадцать минут; в вестибюле стояла напряженная тишина, а там, за дверями прозекторской шел отчаянный спор; наконец бледный и осунувшийся мистер Кэррингтон возвратился.

Очки свалились у него с носа, он поднял их и сказал:

— Вы нам очень осложняете дело.

— Я?! — рассвирепела тетушка Тилди. — Святые угодники, да что же это такое?! Послушайте, мистер Кожа-да-кости, или как вас там, так, по-вашему, это я осложняю?

— Мы уже выкачиваем кровь из... из этого...

— Что?!

— Да-да, уверяю вас. Так что вам придется уйти. Теперь уже ничего нельзя сделать. — Он нервно засмеялся. — Сейчас наш прозектор произведет частичное вскрытие и определит причину смерти.

Тетушка Тилди вскочила, как ошпаренная.

— Да как он смеет! Это позволено только судебным экспертам!

— Ну, нам иногда тоже кое-что позволяется...

— Сейчас же отправляйтесь назад и велите вашему Режь-не-жалей сию минуту перекачать всю отличную благородную кровь обратно в это тело, покрытое прекрасной кожей, и если он что-нибудь уже выпачкал из него, пускай тут же приладит на место, да чтоб все работало как следует, и бодрое, здоровое тело пускай вернет мне. Слышали, что я сказала!

— Но я ничего не могу поделать. Ни-че-го.

— Ну, вот что. Я не сдвинусь с места хоть двести лет. Ясно? И распугаю всех ваших клиентов, буду пускать им прямо в нос эманацию!

Ошеломленный Кэррингтон кое-как пораскинул мозгами и даже застонал.

— Но вы погубите нашу фирму! Неужели вы решитесь!

— Еще как решусь! — усмехнулась тетушка Тилди.

Кэррингтон кинулся в темный зал ожидания. Даже издали слышно было, как он судорожно крутит телефонный диск. Спустя полчаса к похоронному бюро с ревом подкатили машины. Три вице-президента в сопровождении перепуганного президента прошествовали в зал ожидания.

— Ну, в чем тут дело?

Перемежая свою речь отменными проклятиями, тетушка все им растолковала.

Президенты стали держать совет, а прозектора попросили приостановить свои занятия хотя бы до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение... Прозектор вышел из своей комнаты и стоял тут же, курил большую черную сигару и любезно улыбался.

Тетушка Тилди воззрилась на сигару.

— А пепел вы куда стряхиваете? — в страхе спросила она.

Попыхивая сигарой, прозектор невозмутимо ухмыльнулся.

Наконец совет был окончен.

— Скажите по чести, сударыня, вы ведь не пустите нас по миру, а?

Тетушка оглядела стервятников с головы до пят.

— Ну, это бы я с радостью.

Кэррингтона прошиб пот, он отер лицо платком.

— Можете забрать свое тело.

— Ха! — обрадовалась Тилди. Но тут же опасливо спросила: — В целостности-сохранности?

— В целостности-сохранности.

— Безо всякого формальдегида?

— Безо всякого формальдегида.

— С кровью?

— Да с кровью же, забирайте его ради Бога и уходите!

Тетушка Тилди чопорно кивнула.

— Ладно. По рукам. Приведите его в порядок.

Кэррингтон обернулся к прозектору.

— Эй вы, бестолочь! Нечего стоять столбом. Приведите все в порядок, живо!

— Да смотрите не сыпьте пепел, куда не надо! — прикрикнула тетушка Тилди.

— Осторожней, осторожней! — командовала тетушка Тилди. — Поставьте плетенку на пол, а то мне в нее не влезть.

Она не стала особенно разглядывать тело. «Вид самый обыкновенный», — только и

заметила она. И опустилась в корзину.

И сразу вся словно заледенела; потом ее отчаянно затошнило, закружилась голова. Теперь вся она была точно капля расплавленной материи, точно вода, что пыталась бы просочиться в бетон. Это долгий труд. И тяжкий. Все равно, что бабочке, которая уже вышла из куколки, сизнова втиснуться в старую жесткую оболочку.

Вице-президенты со страхом наблюдали за тетушкой Тилди. Мистер Кэррингтон то ломал руки, то взмахивал ими, то тыкал пальцами в воздух, будто этим мог ей помочь. Прозектор только недоверчиво посматривал да посмеивался, да пожимал плечами.

«Просачиваюсь в холодный, непроницаемый гранит. Просачиваюсь в замороженную старую-престарую статую. Втискиваюсь, втискиваюсь..»

— Да оживай же, черт возьми! — прикрикнула тетушка Тилди. — Ну-ка, приподнимись!

Тело чуть привстало, зашуршали сухие прутья корзины.

— Не ленись, согни ноги!

Тело слепо, ошупью поднялось.

— Увидь! — скомандовала тетушка Тилди.

В слепые, затянутые пленкой глаза проник свет.

— Чувствуй! — подгоняла тетушка Тилди.

Тело вдруг ощутило теплый воздух, а рядом — жесткий лабораторный стол и, тяжело дыша, оперлось о него.

— Шагни!

Тело ступило вперед — медленно, тяжело.

— Услышь! — приказала она.

В оглохшие уши ворвались звуки: хриплое, нетерпеливое дыхание потрясенного прозектора, хныканье мистера Кэррингтона, ее собственный трескучий голос.

— Иди! — сказала тетушка Тилди.

Тело пошло.

— Думай!

Старый мозг заработал.

— Говори!

— Премного обязана. Благодарствую. — И тело отвесило поклон содержателям похоронного бюро.

— А теперь, — сказала наконец тетушка Тилди, — плачь!

И заплакала блаженно-счастливыми слезами.

И отныне, если вам вздумается навестить тетушку Тилди, вам стоит только в любой день часа в четыре подойти к ее лавке древностей и постучаться. На двери висит большой траурный венок. Не обращайтесь внимания. Тетушка Тилди нарочно его оставила, такой уж у нее нрав! Постучитесь! Дверь заперта на две задвижки и на три замка.

— Кто там? Черный человек? — послышится пронзительный голос.

Вы, смеясь, ответите: «Нет-нет, тетушка Тилди, это я».

И она, тоже смеясь, скажет: «Входите побыстрее!», распахнет дверь и мигом захлопнет ее за вами, так что черному человеку нипочем не проскользнуть. Потом она усадит вас и нальет вам кофе и покажет последний связанный ею свитер. Уже нет в ней прежней бодрости, и глаза стали сдавать, но держится она молодцом.

— Если будете вести себя примерно, — провозгласит тетушка Тилди, отставив в сторону чашку кофе, — я вас кое-чем попотчую.

— Чем же? — спросит гость.

— А вот, — скажет тетушка, очень довольная, что ей есть чем похвастать.

Потом неторопливо отстегнет белое кружево на шее и на груди и чуточку его раздвинет.

И на миг вы увидите длинный синий шов — аккуратно зашитый разрез, что был сделан при вскрытии.

— Недурно сшито, и не подумай, что мужская работа, — снисходительно скажет она. — Что? Еще чашечку кофе? Пейте на здоровье!

Далеко-далеко, за лесами, за горами жила Старушка. Девяносто лет прожила она взаперти, не открывала дверь никому — ни ветру, ни дождю, ни воробьям вороватым, ни мальчишкам голопятым. И стоило поскрестись к ней в ставни, как она уже кричит:

— Пошла прочь, Смерть!

— Я не Смерть! — говорили ей.

А она в ответ:

— Смерть, я узнаю тебя, ты сегодня вырядилась девочкой. Но под веснушками я вижу кости!

Или кто другой постучит.

— Я вижу тебя, Смерть, — бывало, крикнет Старушка. — Ишь, точильщиком притворилась! А дверь-то на три замка да на два засова закрыта. Залепила я клейкой бумагой все щели, тесемками заткнула замочные скважины, печная труба забита пылью, ставни заросли паутиной, а провода перерезаны, чтобы ты не проскользнула сюда вместе с током! И телефона у меня нет, так что тебе не удастся поднять меня среди ночи и объявить мой смертный час. Я и уши заткнула ватой: говори, не говори — я тебя все равно не слышу. Вот так-то, курноса. Убирайся!

И сколько помнили себя жители городка, так было всегда. Люди тех дальних краев, что лежат за лесами, вели о ней разговоры, а ребята порой, не поверив сказкам, поднимали шестами черепицу на кровле и слышали вопль Старушки: «Давай проваливай, ты, в черной одежде, с белым-белым лицом!»

А говорили еще, что так вот и будет жить Старушка веки-вечные. В самом деле, ну как Смерти забраться в дом? Все старые микробы в нем давно уже махнули рукой и ушли на покой. А новым микробам, которые (если верить газетам) что ни месяц проносятся по стране все под новыми названиями, никак не прошмыгнуть мимо пучков горного мха, руты, мимо табачных листьев и касторовых бобов, положенных у каждой двери.

— Она всех нас переживет, — говорили в ближайшем городке, мимо которого проходила железная дорога.

— Я их всех переживу, — говорила Старушка, раскладывая в темноте и одиночестве пасьянс из карт, что продают специально для слепых.

Так-то вот.

Шли годы, и уже никто — ни мальчишка, ни девчонка, ни бродяга, ни путник честной не стучались к ней в дверь. Дважды в год бакалейный приказчик, которому самому стукнуло семьдесят, оставлял у порога дома запечатанные блестящие стальные коробки с желтыми львами и красными чертиками на ярких обертках, в которых могло быть что угодно — от птичьего корма до сливочных бисквитов, а сам уходил в шумный лес, что подступал к самой веранде дома. И, бывало, лежит эта пища там не меньше недели, припекает ее солнце, холодит луна; тут уж ни одному микробу не выжить. Потом, в одно прекрасное утро, пища исчезала.

Старушка всю жизнь только и делала, что ждала. И ждала сторожко — держала, как говорят, ушки на макушке, одним глазом спала, другим — все видела.

Так что, когда в седьмой день августа на девяносто первом году ее жизни из лесу вышел загорелый юноша и остановился перед ее домом, врасплох он ее не застал.

Костюм на нем был белый как снег, что зимой шурша сползает с крыши и ложится складками на спящую землю. И не на автомобиле он приехал, пешим ходом долгий путь проделал, а все ж остался с виду свежий и чистенький. Не опирался он на посошок, непокрытый шел — не боялся, что солнце голову напечет. И не взмок даже. А самое главное, не имел он при себе иной поклажи, кроме маленького пузырька со светло-зеленой влагой. Хоть и загляделся он на этот пузырек, но все же почувствовал, что пришел к дому Старушки, и поднял голову.

Юноша не коснулся двери, а медленно обошел вокруг дома, чтобы Старушка почуяла, что он здесь.

Потом его взгляд, проникавший сквозь стены, как лучи рентгеновские, встретился с ее взглядом.

— Ой! — встрепенувшись, вскрикнула Старушка, которая сосала пшеничное печенье, да так с куском во рту и задремала было. — Это ты! Знаю, знаю я, чье обличье ты приняла на этот раз!

— Чье же?

— Юноши с лицом розовым, как мякоть спелой дыни. Но у тебя нет тени! Почему бы это? Почему?

— Боятся люди теней. Потому-то я и оставил свою за лесом.

— Я не смотрю, а все вижу...

— О, — с восхищением сказал юноша. — У вас такой дар...

— У меня великий дар держать тебя по ту сторону двери!

— Мне ничего не стоит с вами справиться, — сказал юноша, едва шевеля губами, но она услышала.

— Ты проиграешь, ты проиграешь!

— А я люблю брать верх. Что ж... я просто оставлю этот пузырек на крыльце.

Он и сквозь стены дома слышал, как быстро колотится ее сердце.

— погоди! А что в нем? Я имею право знать, что на крыльце моем оставляют.

— Ладно, — сказал юноша.

— Ну, говори же!

— В этом пузырьке, — сказал он, — первая ночь и первый день после того часа, когда вам исполнилось восемнадцать лет.

— Ка-а-ак!

— Вы слышали меня.

— Ночь и день... когда мне исполнилось восемнадцать?

— Именно так.

— В пузырьке?

Он высоко поднял пузырек, фигуристый и округлый, как тело молодой женщины. Пузырек вбирал в себя свет, заливавший мир, и горел жарко и зелено, как угольки в глазах тигра. В руках юноши он то ровно светился, то беспокойно полыхал.

— Не верю! — крикнула Старушка.

— Я положу его и уйду, — сказал юноша. — Попробуйте без меня принять чайную ложечку зеленых мыслей, запрятанных в этом пузырьке. И увидите, что будет.

— Это яд!

— Нет.

— Поклянитесь здоровьем матери.

— У меня нет матери.

— Чем же ты можешь поклясться?

— Собой.

— Да я с этого тотчас ноги протяну... вот чего ты хочешь!

— Вы с этого из мертвых восстанете.

— Так я ж не мертвая!

Юноша улыбнулся.

— Разве? — сказал он.

— погоди! Дай спросить себя. Ты умерла? Умерла ты? Да и жила ли ты вообще?

— День и ночь, когда вам исполнилось восемнадцать лет, — сказал юноша. —

Подумайте.

— Это было так давно!

Словно мышь, шевельнулось что-то у окна, заколоченного, как крышка гроба.

— Выпейте, и все вернется.

Вновь поднял юноша пузырек да повернул его эдак, чтобы солнце пронизало эликсир, и он засиял, как сок, выжатый из тысячи зеленых былинки. И чудилось, будто горит он зеленым солнцем ровно и жарко, и чудилось, будто бурлит он морем вольно и неистово.

— Это был прекрасный день лучшего года вашей жизни.

— Лучшего года, — пробормотала она за своими ставнями.

— В тот год вы были как яблочко наливное. Самая пора была испытать радость жизни.

Один глоток, и вы узнаете ее вкус! Почему бы не попробовать, а?

Он вытягивал руку с пузырьком все выше и вперед, и пузырек вдруг обернулся телескопом — смотри в него с любого конца, и нахлынет на тебя та далекая пора, что давно былшем поросла. И зелено, и желто кругом, совсем как в этот полдень, когда юноша заманивает в прошлое пылающей склянкой, стиснутой твердой рукой. Он качнул светлый пузырек, жаркое белое сиянье вспорхнуло бабочкой и заиграло на ставнях, словно на серых клавишах беззвучного рояля. Легкие, будто из снов сотканные, огненные крылья раскололись на лучики, протиснулись сквозь щели ставень, повисли в воздухе и ну хватывать из темноты то губу, то нос, то глаз. Но тотчас глаза и след простыл, да только любопытство взяло свое, и снова он зажегся от луча света.

Теперь, поймав то, что ему хотелось поймать, юноша держал огненную бабочку ровно (разве что едва трепетали ее пламенные крылья), дабы зеленый огонь далекого дня вливался сквозь ставни не только в старый дом, но и в душу старой женщины. Юноша слышал, как она часто дышит, старается страх подавить и восторгу воли не давать.

— Нет, нет, тебе не обмануть меня! — взмолилась она так глухо, будто ее уже накрыло лениво насунувшейся волной, но она и глубоко под водой барахтается, не желает с жизнью расставаться. — Ты возвращаешься в новом обличье! Ты надеваешь маску, а какую, я не могу понять! Говоришь голосом, который я помню с давних пор. Чей это голос? А, все равно! Да и карты, что я разложила на коленях, говорят мне, кто ты есть на самом деле и что ты мне хочешь всучить!

— Всего-навсего двадцать четыре часа из вашей юности.

— Ты мне всучишь совсем другое!

— Не себя же.

— Если я выйду, ты схватишь меня и упрячешь в холодок, в темный уголок, под дерновое одеяльце. Я дурачила тебя, откладывала на годы и годы. А теперь ты хнычешь у

меня за дверью и затеваешь новые козни. Да только понапрасну стараешься!

— Если вы выйдете, я всего лишь поцелую вам руку, юная леди.

— Не называй меня так! Что было, то сплыло!

— Захотите, часу не пройдет, и ваша юность тут как тут.

— Часу не пройдет... — прошептала она.

— Давно ли вы гуляли по лесу?

— Что прошло — поминать на что? Да и мне, старухе, не в память.

— Юная леди, — сказал юноша, — на дворе прекрасный летний день. Здесь, меж деревьев — что в храме зеленом; золотистые пчелы ковер ткут — куда ни глянешь, все узоры новые. Из дупла старого дуба мед течет речкой пламенной. Сбросьте башмачки и ступите по колено в дикую мяту. А в той ложбинке полевые цветы... будто туча желтых бабочек опустилась на траву. Воздух под деревьями прохладный и чистый, как в глубоком колодце, хоть бери его да пей. Летний день, вечно юный летний день.

— Но я как была старой, так старой и останусь.

— Не останетесь, если послушаетесь меня! Предлагаю справедливый уговор, дело верное... мы отлично поладим: вы, я и августовский день.

— Что это за уговор и что мне выпадет на долю?

— Двадцать четыре долгих счастливых летних часа, начиная с этой самой минуты. Мы побежим в лес, будем рвать ягоды и есть мед, мы пойдем в городок и купим вам тонкое, как паутинка, белое летнее платье, а потом сядем в поезд.

— В поезд!

— И помчимся в поезде к большому городу... тут рукой подать — час езды, там мы пообедаем и будем танцевать всю ночь напролет. Я куплю вам две пары туфельек, одну вы вмиг стопчете.

— Ох, мои старые кости... да я и с места не сойду.

— Вам придется больше бегать, чем ходить, больше танцевать, чем бегать. Мы будем смотреть, как звезды по небу колесом катятся, как заря занимается. На рассвете побродим по берегу озера. Мы съедим такой вкусный завтрак, какого еще никто не едал, и провалиемся на песке до самого полудня. А к вечеру возьмем во-от такую коробку конфет, сядем в поезд и будем хохотать всю дорогу, обсыпанные конфетти из кондукторского компостера — синими, зелеными, оранжевыми, будто мы только поженились, и пройдем через городок, не взглянув ни на кого, ни на единого человека, и побредем черев сумеречный, благодным духом напоенный лес к вашему дому...

Молчанье.

— Вот и все, — пробормотала она. — А еще ничего не начиналось.

И потом спросила:

— А тебе-то зачем это? Что тебе за корысть?

Улыбнулся ласково молодой человек.

— Милая девушка, я хочу спать с тобой.

У нее перехватило дыханье.

— Я ни с кем не спала ни разу в жизни!

— Так вы... старая дева?

— И горжусь этим!

Юноша со вздохом покачал головой.

— Значит, это правда... вы и в самом деле старая дева.

Прислушался он, а в доме ни звука.

Совсем тихо, словно кто-то где-то с трудом повернул потайной кран и мало-помалу, по капельке, заработал заброшенный на полвека водопровод. Старушка начала плакать.

— Почему вы плачете?

— Не знаю, — всхлипнув, ответила она.

Наконец она перестала плакать, и юноша услышал, как она покачивается в кресле, чтобы успокоиться.

— Бедная старушка, — прошептал он.

— Не зови меня старушкой!

— Хорошо, — сказал он. — Кларинда.

— Откуда ты узнал мое имя? Никто не знает его!

— Кларинда, почему ты спряталась в этом доме? Еще тогда, давным-давно.

— Не помню. Хотя, да... Я боялась.

— Боялась?

— Чудно. Поначалу жизни боялась, потом — смерти. Всегда чего-то боялась. Но ты скажи мне! всю правду скажи! А как мои двадцать четыре часа выйдут... ну, после прогулки у озера, после того, как вернемся на поезде и пройдем через лес к моему дому, ты захочешь...

Не торопил он ее, своей речью не перебивал.

— ...спать со мной? — прошептала она.

— Да, десять тысяч миллионов лет, — сказал он.

— О, — чуть слышно сказала она. — Так долго.

Он кивнул.

— Долго, — повторила она. — Что это за уговор, молодой человек? Ты даешь мне двадцать четыре часа юности, а я даю тебе десять тысяч миллионов лет времечка моего драгоценного.

— Не забывай и о моем времени, — сказал он. — Я не покину тебя никогда.

— Ты будешь лежать со мной?

— А как же!

— Эх, юноша, юноша. Что-то мне твой голос больно знаком.

— Погляди на меня.

И увидел юноша, как из замочной скважины выдернули затычку и на него уставился глаз. И улыбнулся юноша подсолнухам в поле и их господину в небе.

— Я слепая, я почти ничего не вижу, — заплакала Старушка. — Но неужели там стоит Уилли Уинчестер?

Он ничего не сказал.

— Но, Уилли, тебе с виду двадцать один год всего, прошло семьдесят лет, а ты совсем не изменился!

Поставил он пузырек перед дверью, а сам стал поодаль, в бурьяне.

— Можешь... — Она запнулась. — Можешь ли ты сделать и меня с виду такой молодой?

Он кивнул.

— О Уилли, Уилли, неужели это и в самом деле ты?

Она ждала, глядя, как он стоит, беспечный, счастливый, молодой, и солнце блестит на его волосах и щеках.

Прошла минута.

— Так что же? — сказал он.

— погоди! — крикнула она. — Дай подумать!

И он чувствовал, что там, в доме, она торопливо просеивает сквозь память все былое, как песок сквозь ситечко мелкое, но только вспомнить нечего — все пылью да пеплом оборачивается. Чужая она, горят ее виски — попусту шарит она в памяти, нет ни камешка ни в ситечке, ни в просеянном песке.

«Пустыня без конца, без краю, — подумал он, — и ни одного оазиса».

И когда он это подумал, она вздрогнула.

— Так что же? — сказал он снова.

— Странно, — пробормотала она наконец. — Сейчас вдруг мне почудилось, будто отдать десять тысяч миллионов лет за двадцать четыре часа, за один день — дело доброе, праведное и верное.

— Да, Кларинда, — сказал он. — Вернее быть не может.

Загремели засовы, защелкали замки, и дверь с треском распахнулась. Показалась на миг рука, схватила пузырек и скрылась.

Прошла минута.

Потом пулеметной очередью простучали по комнатам шаги. Хлопнула дверь черного хода. Широко распахнулись окна наверху, ставни рухнули в траву. Вот и до нижних окон старуха добралась. Ставни разлетались в щепки. Из окон валила пыль.

И наконец в широко раскрытую парадную дверь вылетел пустой пузырек и вдребезги разбился о камень.

И вот уже на веранде сама она, быстрая, как птица. Солнце обрушило на нее лучи. Будто на сцене стояла она, будто из-за темных кулис выпорхнула. Потом сбежала по ступенькам и схватила его за руки.

Мальчуган, проходивший по дороге, остановился и уставился на нее, а потом попятился, и так пятился, не спуская с нее широко раскрытых глаз, пока не скрылся из виду.

— Почему он так смотрел на меня? — сказала она. — Хороша я?

— Очень хороша.

— Хочу посмотреться в зеркало!

— Нет, нет, не надо.

— А в городе я всем понравлюсь? Может, мне это только чудится? Может, ты меня разыгрываешь?

— Ты — сама красота.

— Значит, я хороша. Я сама это знаю. А сегодня вечером все будут со мной танцевать? Будут мужчины наперебой приглашать меня?

— Все как один.

И уже на тропинке, где гудели пчелы и шелестели листья, она вдруг остановилась и, посмотрев ему в лицо, прекрасное, как летнее солнце, спросила:

— О Уилли, Уилли, я хочу, чтобы ты был ласков всегда-всегда — и когда все кончится, и когда мы сюда вернемся.

Он заглянул ей в глаза и коснулся ее щеки пальцами.

— Да, — сказал он нежно. — Да.

— Я верю, — сказала она. — Я верю, Уилли.

И они побежали по тропинке и скрылись из виду, а пыль осталась висеть в воздухе;

двери, ставни, окна были распахнуты, и теперь солнце могло заглянуть внутрь, а птицы вить там гнезда и растить птенцов, а лепестки прелестных летних цветов могли лететь свадебным дождем и усыпать ковром комнаты и пока еще пустую постель. И летний легкий ветерок наполнил просторные комнаты особым духом, духом Начала и первого часа после Начала, когда мир еще с иголочки, когда кругом тишь да гладь, а о старости и слыхом не слыхать.

Где-то в лесу, будто быстрые сердца, простучали лапки кроликов. Вдали прогудел поезд и пошел к городу быстрее, быстрее, быстрее.

По колено в воде, с выброшенным волной обломком доски в руках, Том прислушался.

Вечерело. Из дома, что стоял на берегу, у проезжей дороги, не доносилось ни звука. Там уже не стучат ящики и дверцы шкафов, не щелкают замки чемоданов, не разбиваются в спешке вазы: напоследок захлопнулась дверь — и все стихло.

Чико тряс проволочным ситом, просеивая белый песок, на сетке оставался урожай потерянных монет. Он помолчал еще минуту, потом, не глядя на Тома, сказал:

— Туда ей и дорога.

Вот так каждый год. Неделю или, может быть, месяц из окон их дома льется музыка, на перилах веранды расцветает в горшках герань. Двери и крыльцо блестят свежей краской. На бельевой веревке полощутся на ветру то нелепые пестрые штаны, то модное узкое платье, то мексиканское платье ручной работы — словно белопенные волны плещут за домом. В доме на стенах картинки «под тисса» сменяются подделками под итальянский Ренессанс. Иногда, поднимая глаза, видишь — женщина сушит волосы, будто ветер развеивает ярко-желтый флаг. А иногда флаг черный или медно-красный. Женщина четко вырисовывается на фоне неба, иногда она высокая, иногда маленькая. Но никогда не бывает двух женщин сразу, всегда только одна. А потом настает такой день, как сегодня...

Том опустил обломок на все растущую грудку плавника неподалеку от того места, где Чико просеивал миллионы следов, оставленных ногами людей, которые здесь отдыхали и развлекались, и давно уже убрались восвояси.

— Чико... Что мы тут делаем?

— Живем, как миллионеры, парень.

— Что-то я не чувствую себя миллионером, Чико.

— А ты старайся, парень.

Тому представилось, как будет выглядеть их дом через месяц: из цветочных горшков летит пыль, на стенах следы снятых картинок, на полу ковром — песок. Комнаты от ветра смутно гудят, точно раковины. И ночь за ночью, всю ночь напролет, каждый у себя в комнате, они с Чико будут слушать, как набегает на бесконечный берег косая волна и уходит все дальше, дальше, не оставляя следа.

Том чуть заметно кивнул. Раз в год он и сам приводил сюда славную девушку, он знал: наконец-то он нашел ее, настоящую, и совсем скоро они поженятся. Но его девушки всегда ускользали неслышно еще до зари — каждая чувствовала, что ее приняли за кого-то другого и ей не под силу играть эту роль. А приятельницы Чико уходили с шумом и громом, поднимали вихрь и смерч, перетряхивали на пути все до последней пылинки, точно пылесосы, выдирали жемчужинку из последней ракушки, утаскивали все, что только могли, совсем как зубастые собачонки, которых иногда, для забавы, ласкал и дразнил Чико.

— Уже четыре женщины за этот год.

— Ладно, судья. — Чико ухмыльнулся. — Матч окончен, проводи меня в душ.

— Чико... — Том прикусил нижнюю губу и договорил не сразу: — Я вот все думаю. Может, нам разделиться?

Чико молча смотрел на него.

— Понимаешь, — заторопился Том, — может, нам врозь больше повезет.

— Ах, черт меня побери, — медленно произнес Чико и крепко стиснул ручищами

сито. — Послушай, парень, ты что, забыл, как обстоит дело? Мы тут доживем до двухтысячного года. Мы с тобой два старых безмозглых болвана, которым только и осталось греться на солнышке. Надеяться нам не на что, ждать нечего — поздно, Том. Вбей себе это в башку и не болтай зря.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и в упор посмотрел на Чико.

— Я, пожалуй, на той неделе уйду...

— Заткнись! Заткнись и знай работай.

Чико яростно тряхнул ситом, в котором набралось сорок три цента мелочью по полпенни, пенни и даже десятицентовики. Невидящими глазами он уставился на свою добычу, монетки поблескивали на проволоке, точно металлические шарики китайского бильярда.

Том замер недвижно, затаил дыхание.

Казалось, оба чего-то ждали.

И вот оно случилось.

— А-а-а...

Издали донесся крик.

Оба медленно обернулись.

По берегу, отчаянно крича и размахивая руками, к ним бежал мальчик. И в голосе его было что-то такое, от чего Тома пробрала дрожь. Он обхватил себя руками за плечи и ждал.

— Там... там...

Мальчик подбежал, задыхаясь, ткнул рукой назад вдоль берега.

— ...женщина... у Северной скалы... чудная какая-то!

— Женщина?! — воскликнул Чико и захохотал. — Нет уж, хватит!

— А почему она чудная? — спросил Том.

— Не знаю! — Глаза у мальчишки были совсем круглые от страха. — Вы подите поглядите! Страсть, какая чудная!

— Утопленница, что ли?

— Может, и так. Выплыла и лежит на берегу, вы сами поглядите... чудно... — Мальчишка умолк. Опять обернулся в ту сторону, откуда пришел. — У нее рыбий хвост.

Чико засмеялся:

— Мы пока еще трезвые.

— Я не вру! Честное слово! — Мальчик нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Ох, пожалуйста, скорей!

Он бросился было бежать, но почувствовал, что они за ним не идут, и в отчаянии обернулся.

Неожиданно для себя Том выговорил непослушными губами:

— Навряд ли мальчишка бежал в такую даль, только чтоб нас разыграть.

— Бывает, и не из-за таких пустяков бегают, — возразил Чико.

— Ладно, сынок, иду, — сказал Том.

— Спасибо. Ох, спасибо, мистер!

И мальчик побежал дальше. Пройдя шагов тридцать, Том оглянулся. Чико, шурясь, смотрел ему вслед, потом пожал плечами, устало отряхнул руки от песка и поплелся за ним.

Они шли на север по песчаному берегу, в предвечернем свете видны были морщинки, прорезавшиеся на загорелых лицах вокруг блеклых, выцветших на солнце глаз; оба казались моложе своих лет, потому что в коротко остриженных волосах седина незаметна. Дул

свежий ветер, волны океана с протяжным гулом бились о берег.

— А вдруг это правда? — сказал Том. — Вдруг мы придем к Северной скале, а там волной и впрямь что-то такое вынесло?

Но Чико еще не успел ответить, а Том был уже далеко, мысли его унеслись к иным берегам, где полным-полно гигантских крабов, где на каждом шагу — луна-рыба и морские звезды, бурые водоросли и редкостные камни. Не раз ему случалось толковать о том, сколько удивительных тварей живет в море, и теперь, в мерном дыхании прибоя, ему слышались их имена. Аргонавты, — нашептывали волны, — треска, сайда, сарган, устрица, линь, морской ело», — нашептывали они, — лосось и камбала, белуга, белый кит и касатка, и морская собака... удивительные у них имена, и всегда стараешься представить себе, какие же они все с виду. Быть может, никогда в жизни не удастся подсмотреть, как пасутся они на соленых лугах, куда не смеешь ступить с безопасной твердой земли, а все равно они там, и эти имена, и еще тысячи других вызывают перед глазами удивительные образы. Смотришь — и хочется стать птицей-фрегатом с могучими крыльями, что улетает за тридевять земель и возвращается через годы, повидав все моря и океаны.

— Ой, скорее! — мальчишка опять подбежал к Тому, заглянул в лицо. — Вдруг она уплывет!

— Не трепыхайся, малец, поспокойнее, — посоветовал Чико.

Они обогнули Северную скалу. За нею стоял еще один мальчишка и неотрывно глядел на песок.

Быть может, краешком глаза Том увидел на песке что-то такое, на что не решился посмотреть прямо, и он уставился на этого второго мальчишку. Мальчик был бледен и, казалось, не дышал. Изредка он словно спохватывался, переводил дух, и взгляд его на миг становился осмысленным, но потом опять упирался в то, что лежало на песке, и чем дальше он смотрел, тем растерянней, ошеломленней становилось его лицо и опять стекленели глаза. Волна плеснула ему на ноги, намочила теннисные туфли, а он не шевельнулся, даже и не заметил ничего.

Том перевел взгляд с лица мальчика на песок.

И тотчас у него самого лицо стало такое же, как у этого мальчика. Руки, повисшие вдоль тела, напряглись, пальцы сжались в кулаки, губы дрогнули и приоткрылись, и светлые глаза словно еще больше выцвели от того, что увидели и пытались вобрать.

Солнце стояло совсем низко, еще десять минут — и оно скроется за гладью океана.

— Накатила большая волна и ушла, а она тут осталась, — сказал первый мальчик.

На песке лежала женщина.

Ее волосы, длинные-длинные, протянулись по песку, точно струны огромной арфы. Вода перебирала их пряди, поднимала и опускала, и каждый раз они ложились по-иному, чертили иной узор на песке. Длиною они были футов пять, даже шесть, они разметались на твердом сыром песке, и были зеленые-зеленые.

Лицо ее...

Том и Чико наклонились и смотрели во все глаза..

Лицо будто изваяно из белого песка, брызги волн мерцают на нем каплями летнего дождя на лепестках чайной розы. Лицо — как луна среди бела дня, бледная, неправдоподобная в синеве небес. Мраморно-белое, с чуть заметными синеватыми прожилками на висках. Сомкнутые веки чуть голубеют, как будто сквозь этот тончайший покров недвижно глядят зрачки и видят людей, что склонились над нею и смотрят,

смотрят... Нежные и пухлые губы, бледно-алые, как морская роза, плотно сомкнуты. Белую стройную шею, белую маленькую грудь, набегаая, скрывает и вновь обнажает волна — набежит и отхлынет, набежит и отхлынет... Розовеют кончики грудей, белеет тело — белое-белое, ослепительное, точно легла на песок зеленовато-белая молния. Волна покачивает женщину, и кожа ее отсвечивает, словно жемчужина.

А ниже эта поразительная белизна переходит в бледную, нежную голубизну, а потом бледно-голубое переходит в бледно-зеленое, а потом в изумрудно-зеленое, в густую зелень мхов и лип, а еще ниже сверкает и искрится темно-зеленый стеклярус и темно-зеленые цехины, и все это струится, переливается зыбкой игрой света и тени и заканчивается разметавшимся на песке кружевным веером ив пены и алмазов. Меж двумя половинами этого создания нет границы, женщина-жемчужина, светящаяся белизной, вся из чистой воды и ясного неба, неуловимо переходит в существо, рожденное скользить в пучинах и мчаться в буйных стремительных водах, что снова и снова взбегают на берег и каждый раз пытаются, отпрянув, увлечь ее за собой в родные глубины. Эта женщина принадлежит морю, она сама — море. Они — одно, их не разделяет и не соединяет никакой рубец или морщинка, ни единый стежок или шов; и кажется — а быть может, не только кажется, — что кровь, которая струится в жилах этого создания, опять и опять переливается в холодные воды океана и смешивается с ними.

— Я хотел звать на помощь, — первый мальчик говорит чуть слышно. — А Прыгун сказал, она мертвая, ей все равно не поможешь. Неужто померла?

— А она и не была живая, — вдруг сказал Чико, и все посмотрели на него. — Нуда, — продолжал он. — Простоев сделали для кино. Натянули резину на проволочный каркас, да и все. Это кукла, марионетка.

— Ой, нет! Она настоящая!

— Наверно, и фабричная марка где-нибудь есть, — сказал Чико. — Сейчас поглядим.

— Не надо! — охнул первый мальчик.

— Фу, черт...

Чико хотел перевернуть тело, но, едва коснувшись его, замер. Опустился на колени, и лицо у него стало какое-то странное.

— Ты что? — спросил Том.

Чико поднес свою руку к глазам и недоуменно уставился на нее.

— Стало быть, я ошибся... — Ему словно не хватало голоса.

Том взял руку женщины повыше кисти.

— Пульс бьется.

— Это ты свое сердце слышишь.

— Ну, не знаю... а может... может быть...

На песке лежала женщина, и выше пояса вся она была как пронизанный луною жемчуг и пена прилива, а ниже пояса блестели, и вздрагивали под дыханием ветра и волн, и наплывали друг на друга черные с прозеленью старинные монеты.

— Это какой-то фокус! — неожиданно выкрикнул Чико.

— Нет, нет! — так же неожиданно Том засмеялся. — Никакой не фокус! Вот здорово-то! С малых лет мне не было так хорошо!

Они медленно обошли вокруг женщины. Волна коснулась белой руки, и пальцы чуть заметно дрогнули, будто поманили. Будто она звала и просила: пусть придет еще волна, и еще, и еще... пусть поднимет пальцы, ладонь, руку до локтя, до плеча, а там и голову, и все

тело, пусть унесет ее всю назад в морскую глубь.

— Том... — начал Чико и запнулся, потом договорил — Ты бы сходил, поймал грузовик.

Том не двинулся с места.

— Слышал, что я говорю?

— Да, но...

— Чего там «но»? Мы эту штуку продадим куда-нибудь, уж не знаю... в университет или в аквариум на Тюленьем берегу, или... черт возьми, да почему бы нам самим ее не показывать? Слушай... — Он потряс Тома за плечо. — Езжай на пристань. Купи триста фунтов битого льда. Ведь если что выловишь из воды, всегда надо хранить во льду, верно?

— Не знаю, не думал про это.

— Так вот, подумай. Да пошевеливайся!

— Не знаю, Чико.

— Чего тут не знать? Она настоящая, верно? — Чико обернулся к мальчикам. — Вы ж сами говорите, что она настоящая, верно? Так какого беса мы все ждем?

— Чико, — сказал Том, — ты уж лучше ступай за льдом сам.

— Надо ж кому-то остаться и приглядеть, чтоб ее отсюда не смыло!

— Чико, — сказал Том. — Уж не знаю, как тебе объяснить. Неохота мне добывать этот твой лед.

— Ладно, сам поеду. А вы, ребята, подгребите побольше песка, чтоб волны до нее не доставали. Я вам за это дам по пять монет на брата. Ну, поживей!

Смуглые лица мальчиков стали красновато-бронзовыми от лучей солнца, которое краешком уже коснулось горизонта. И глаза их, устремленные на Чико, тоже были цвета бронзы.

— Чтоб мне провалиться! — сказал Чико. — Эта находка получше серой амбры. — Он взбежал на ближнюю дюну, крикнул оттуда: — А ну, давайте работайте! — и исчез из виду.

А Том и оба мальчика остались у Северной скалы рядом с женщиной, одиноко лежащей на берегу, и солнце на западе уже на четверть скрылось за горизонтом. Песок и женщина стали как розовое золото.

— Махонькая черточка — и все, — прошептал второй мальчик.

Ногтем он тихонько провел у себя по шее. И кивнул на женщину. Том снова наклонился и увидел под твердым маленьким подбородком справа и слева чуть заметные тонкие линии — здесь были раньше, может быть давно, жабры; сейчас они плотно закрылись, и их едва можно было различить.

Он всмотрелся в ее лицо, длинные пряди волос лежали на песке, словно лира.

— Красивая, — сказал он.

Мальчики, сами того не замечая, согласно кивнули.

Позади них с дюны шумно взлетела чайка. Мальчики ахнули, порывисто обернулись.

Тома пробирала дрожь. Он видел, что и мальчиков трясет. Где-то рявкнул автомобильный гудок. Все испуганно мигнули. Поглядели вверх, в сторону дороги.

Волна плеснула на тело, окружила его прозрачной водяной рамкой.

Том кивнул мальчикам, чтоб отошли в сторону.

Волна приподняла тело, сдвинула его на дюйм вверх по берегу, потом на два дюйма — вниз, к воде.

Набежала новая волна, сдвинула тело на два дюйма вверх, потом, уходя, на шесть

дюймов — вниз, к воде.

— Но ведь... — сказал первый мальчик.

Том покачал головой.

Третья волна снесла тело на два фута ближе к краю воды. Следующая сдвинула его еще на фут ниже, на мокрую гальку, а три нахлынувшие следом — еще на шесть футов.

Первый мальчик вскрикнул и кинулся к женщине.

Том перехватил его на бегу, придержал за плечо. Лицо у мальчишки стало растерянное, испуганное и несчастное.

На минуту море притихло, успокоилось. Том смотрел на женщину и думал — да, она настоящая, та самая, моя... но... она мертва. А может, и не мертва, но если останется здесь — умрет.

— Нельзя ее упустить, — сказал первый мальчик. — Никак, ну никак нельзя!

Второй мальчик шагнул и стал между женщиной и морем.

— А если оставим ее у себя, что будем с ней делать? — спросил он, требовательно глядя на Тома.

Первый напряженно думал.

— Мы... мы... — загнулся, покачал головой. — Ах ты, черт!

Второй шагнул в сторону, освобождая женщине путь к морю.

Нахлынула огромная волна. А потом она схлынула, и остался один только песок, и на нем — ничего. Белизна, черные алмазы, струны большой арфы — все исчезло.

Они стояли у самой воды — взрослый и двое мальчишек — и смотрели вдаль... а потом позади, на дюнах, взревел грузовик.

Солнце зашло.

Послышались тяжелые торопливые шаги по песку и громкий сердитый крик.

В грузовичке на широких колесах они долго ехали по темнеющему берегу и молчали. Мальчики сидели в кузове на мешках с битым льдом. Потом Чико стал ругаться, он ругался вполголоса, без устали, то и дело сплевывая за окошко.

— Триста фунтов льда. Триста фунтов!! Куда я теперь его дену? И промок насквозь, хоть выжми. Я-то сразу нырнул, плавал, искал ее, а ты и с места не двинулся. Болван, разиня! Вечно все испортит! Вечно одно и то же! Пальцем не шевельнет, стоит столбом, хоть бы сделал что-нибудь, так нет же, только глазами хлопает!

— Ну, а ты что делал, скажи на милость? — устало сказал Том, не поворачивая головы. — Ты-то тоже верен себе, вечно та же история. На себя поглядел бы.

Они высадили мальчиков возле их лачуги на берегу. Младший сказал так тихо, что его слова еле можно было расслышать сквозь шум ветра:

— Надо же, никто и не поверит...

Они поехали берегом дальше, остановили машину.

Чико минуты три сидел, не шевелясь, потом кулаки его, стиснутые на коленях, разжались, и он фыркнул:

— Черт подери. Пожалуй, так оно к лучшему. — Он глубоко вздохнул. — Я сейчас подумал. Забавная штука. Годиков эдак через тридцать среди ночи вдруг зазвонит у нас телефон. Вот эти самые парнишки, только они уже выросли, выпивают где-нибудь там в баре, и вот один звонит нам по междугородному. Среди ночи звонит, понадобилось им задать один вопрос. Это, мол, все правда, верно ведь? Это, мол, на самом деле было, верно? Случилось с нами со всеми такое когда-то там, в девятьсот пятьдесят восьмом? А мы с тобой

сидим на краю постели, ночь ведь, и отвечаем: верно, ребятки, все чистая правда, было с нами такое дело в пятьдесят восьмом году. И они скажут — вот спасибо! А мы им: не стоит благодарности, всегда к вашим услугам. И мы все распрощаемся. А еще годика через три, глядишь, парнишки опять позвонят.

Вдвоем они сидели в темноте на ступенях крыльца.

— Том.

— Что?

Чико договорил не сразу:

— Том... на той неделе ты не уедешь.

Том задумался, сжимая в пальцах давно погасшую сигарету. И понял, что никуда он теперь отсюда не уйдет. Нет, и завтра, и послезавтра, и каждый день, каждый день он будет спускаться к воде и кидаться в темные провалы под высокие, изогнутые гребни волн, и плавать среди зеленых кружев и слепящих белых огней. Завтра, послезавтра, всегда.

— Верно, Чико. Я остаюсь.

И вот на берег, что протянулся на тысячу миль к северу и на тысячу миль к югу, надвигается нескончаемая извилистая вереница серебряных зеркал. Ни единого дома не отражают они, ни единого дерева, ни дороги, ни машины, ни хотя бы человека. В них отражается лишь безмолвная, невозмутимая луна, и тотчас они разбиваются, разлетаются мириадами осколков и покрывают весь берег зыбкой тускнеющей пеленой. Ненадолго море темнеет, готовясь выдвинуть новую вереницу зеркал на диво этим двоим, а они все сидят на песке и смотрят, смотрят не мигая, и ждут.

Среди холодных волн, вдали от суши, мы каждый вечер ждали, когда приползет туман. Он приползал, и мы — Макдан и я — смазывали латунные подшипники и включали фонарь наверху каменной башни. Макдан и я, две птицы в сумрачном небе...

Красный луч... белый... снова красный искал в тумане одинокие суда. А не увидят луча, так ведь у нас есть еще Голос — могучий низкий голос нашего Ревуна; он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной.

— Здесь одиноко, но, я надеюсь, ты уже свыкся? — спросил Макдан.

— Да, — ответил я. — Слава богу, ты мастер рассказывать.

— А завтра твой черед ехать на Большую землю. — Он улыбнулся. — Будешь танцевать с девушками, пить джин.

— Скажи, Макдан, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь один?

— О тайнах моря. — Макдан раскурил трубку.

Четверть восьмого. Холодный ноябрьский вечер, отопление выключено, фонарь разбрасывает свой луч во все стороны, в длинной башенной глотке ревет Ревун. На берегу на сто миль ни одного селения, только дорога с редкими автомобилями, одиноко идущая к морю через пустынный край, потом две мили холодной воды до нашего утеса и в кои-то веки далекое судно.

— Тайны моря, — задумчиво сказал Макдан. — Знаешь ли ты, что океан — огромная снежинка, величайшая снежинка на свете? Вечно в движении, тысячи красок и форм, и никогда не повторяется. Удивительно! Однажды ночью, много лет назад, я сидел здесь один, и тут из глубин поднялись рыбы, все рыбы моря. Что-то привело их в наш залив, и здесь они застыли, дрожа и переливаясь, и смотрели, смотрели на фонарь, красный — белый, красный — белый свет над ними, и я видел странные глаза. Мне стало холодно. До самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост. И вдруг — без звука — исчезли, все эти миллионы рыб сгнули. Не знаю, может быть, они плыли сюда издалека на паломничество? Удивительно! А только подумай сам, как им представлялась наша башня: высится над водой на семьдесят футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом исполина. Они больше не возвращались, но разве не может быть, что им почудилось, будто они предстали перед каким-нибудь рыбьим божеством?

У меня по спине пробежал холодок. Я смотрел на длинный серый газон моря, простирающийся в ничто и в никуда.

— Да-да, в море чего только нет... — Макдан взволнованно пыхтел трубкой, часто моргая. Весь этот день его что-то тревожило, он не говорил — что именно. — Хотя у нас есть всевозможные механизмы и так называемые субмарины, но пройдет еще десять тысяч веков, прежде чем мы ступим на землю подводного царства, придем в затонувший мир и узнаем настоящий страх. Подумать только: там, внизу, все еще 300 000-й год до нашей эры! Мы тут трубим во все трубы, отхватываем друг у друга головы, а они живут в холодной пучине, двенадцать миль под водой, во времена столь же древние, как хвост какой-нибудь кометы.

— Верно, там древний мир.

— Пошли. Мне нужно тебе кое-то сказать, сейчас самое время.

Мы отсчитали ногами восемьдесят ступенек, разговаривая, не спеша. Наверху Макдан выключил внутреннее освещение, чтобы не было отражения в толстых стеклах. Огромный глаз маяка мягко вращался, жужжа, на смазанной оси. И неустанно каждые пятнадцать секунд гудел Ревун.

— Правда, совсем как зверь. — Макдан кивнул своим мыслям. — Большой одинокий зверь воет в ночи. Сидит на рубеже десятка миллиардов лет и ревет в Пучину: «Я здесь, я здесь, я здесь.» И Пучина отвечает — да-да, отвечает! Ты здесь уже три месяца, Джонни, пора тебя подготовить. Понимаешь, — он всмотрелся в мрак и туман, — в это время года к маяку приходит гость.

— Стаи рыб, о которых ты говорил?

— Нет, не рыбы, нечто другое. Я потому тебе не рассказывал, что боялся — сочтешь меня помешанным. Но дальше ждать нельзя: если я верно пометил календарь в прошлом году, то сегодня ночью оно появится. Никаких подробностей — увидишь сам. Вот, сиди тут. Хочешь, уложи утром барахлишко, садись на катер, отправляйся на Большую землю, забирай свою машину возле пристани на мысу, кати в какой-нибудь городок и жги свет по ночам — я ни о чем тебя не спрошу и корить не буду. Это повторяв лось уже три года, и впервые я не один — будет кому подтвердить. А теперь жди и смотри.

Прошло полчаса, мы изредка роняли шепотом несколько слов. Потом устали ждать, и Макдан начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчет Ревуна.

— Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек, остановился, внимая гулу океана, и сказал: «Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда; я сделаю такой голос. Я сделаю голос, подобный всем векам и туманам, которые когда-либо были; он будет как пустая постель с тобой рядом ночь напролет, как безлюдный дом, когда открываешь дверь, как голые осенние листья. Голос, подобный птицам, что улетают, крича, на юг, подобный ноябрьскому ветру и прибою у мрачных, угрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, что его нельзя не услышать, и всякий, кто его услышит, будет рыдать в душе, и очаги покажутся еще жарче, и люди в далеких городах скажут: «Хорошо, что мы дома». Я сотворю голос и механизм, и нарекут его Ревуном, и всякий, кто его услышит, постигнет тоску вечности и краткость жизни».

Ревун заревел.

— Я придумал эту историю, — тихо сказал Макдан, — чтобы объяснить, почему оно каждый год плывет к маяку. Мне кажется, что оно идет на зов маяка...

— Но... — заговорил я.

— Шшш! — перебил меня Макдан. — Смотри!

Он кивнул туда, где простерлось море.

Что-то плыло к маяку.

Ночь, как я уже говорил, выдалась холодная, в высокой башне было зябко, свет вспыхивал и гас, а Ревун все кричал, кричал сквозь клубящийся туман. Видно было плохо и только на небольшое расстояние, но так или иначе вот море, море, скользящее по ночной земле, плоское, тихое, цвета серого ила, вот мы, двое, одни в высокой башне, а там, вдали, сперва морщинки, затем волна, бугор, большой пузырь, немного пены. И вдруг над холодной гладью — голова, большая темная голова с огромными глазами и шея. А затем нет, не тело, а опять шея, и еще, и еще! На сорок футов поднялась над водой голова на красивой тонкой темной шее. И лишь после этого из пучины вынырнуло тело, словно островок из черного

коралла, мидий и раков. Дернулся гибкий хвост. Длина туловища от головы до кончика хвоста была, как мне кажется, футов девяносто-сто.

Не знаю, что я сказал, но я сказал что-то.

— Спокойно, парень, спокойно! — прошептал Макдан.

— Это невозможно! — воскликнул я.

— Ошибаешься, Джонни, это мы невозможны. Оно все такое же, каким было десять миллионов лет назад.

О н о не изменялось. Это мы и весь здешний край изменились, стали невозможными. Мы!

Медленно, величественно плыло оно в ледяной воде, там, вдали. Рваный туман летел над водой, стирая на миг его очертания. Глаз чудовища ловил, удерживал и отражал наш могучий луч, красный — белый, красный — белый. Казалось, высоко поднятый круглый диск передавал послание древним шифром. Чудовище было таким же безмолвным, как туман, сквозь который оно плыло.

— Это какой-то динозавр! — Я присел и схватился за перила.

— Да, из их породы.

— Но ведь они вымерли!

— Нет, просто ушли в пучину. Глубоко-глубоко, в глубь глубин, в Бездну. А что, Джонни, правда, выразительное слово, сколько в нем заключено: Бездна. В нем весь холод, весь мрак и вся глубь на свете.

— Что же мы будем делать?

— Делать? У нас работа, уходить нельзя. К тому же здесь безопаснее, чем в лодке. Пока еще доберешься до берега, а этот зверь длиной с миноносец и плывет почти так же быстро.

— Но почему, почему он приходит именно сюда?

В следующий миг я получил ответ.

Ревун заревел.

И чудовище ответило.

В этом крике были миллионы лет воды и тумана. В нем было столько боли и одиночества, что я содрогнулся. Чудовище кричало башне. Ревун ревел. Чудовище заревело опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, и из нее вырвался звук, в точности повторяющий голос Ревуна. Одинокий, могучий, далекий-далекий. Голос безысходности, непроглядной тьмы, холодной ночи, отверженности. Вот какой это был звук.

— Ну, — зашептал Макдан, — теперь понял, почему оно приходит сюда?

Я кивнул.

— Целый год, Джонни, целый год несчастное чудовище лежит в пучине, за тысячи миль от берега, на глубине двадцати миль, и ждет. Ему, быть может, миллион лет, этому одинокому зверю. Только представь себе, ждать миллион лет. Ты смог бы? Может, оно последнее из всего рода. Мне так почему-то кажется. И вот пять лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего Ревуна, и он ревет, ревет над Пучиной, куда, представь себе, ты ушел, чтобы спать и грезить о мире, где были тысячи тебе подобных; теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос Ревуна то зовет, то смолкнет, и ты просыпаешься на илистом дне Пучины, и глаза открываются, будто линзы огромного фотоаппарата, и ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана, огромная тяжесть. Но зов Ревуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды, и топка в

твоём брюхе развивает пары, и ты плывешь вверх, плывешь медленно-медленно. Пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем: сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще гуще, а Ревун все зовет, и в конце ноября, после того как ты изо дня в день приноравливался к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности, и ты жив. Поневоле всплываешь медленно: если подняться сразу, тебя разорвет. Поэтому уходит три месяца на то, чтобы всплыть, и еще столько же дней пути в холодной воде отделяет тебя от маяка. И вот, наконец, ты здесь — вон там, в ночи, Джонни, — самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя, такая же длинная шея торчит из воды и как будто такое же тело, но главное — точно такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни, теперь понимаешь?

Ревун взревел.

Чудовище отозвалось.

Я видел все, я понимал все: миллионы лет одинокого ожидания — когда же, когда вернется тот, кто никак не хочет вернуться? Миллионы лет одиночества на дне моря, безумное число веков в Пучине, небо очистилось от летающих ящеров, на материке высохли болота, лемуры и саблезубые тигры отжили свой век и завязли в асфальтовых лужах, а на пригорках белыми муравьями засуетились люди.

Рев Ревуна.

— В прошлом году, — говорил Макдан, — эта тварь всю ночь проплавала в море, круг за кругом, круг за кругом. Близко не подходила — недоумевала, должно быть. Может, боялась. И сердилась: шутка ли, столько проплыть! А наутро туман вдруг развеялся, вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картине. И чудовище уплыло прочь от тепла и молчания, уплыло и не вернулось.

Мне кажется, оно весь этот год все думало, ломало себе голову...

Чудовище было всего лишь в ста ярдах от нас, оно кричало, и Ревун кричал. Когда луч касался глаз зверя, получалось огонь — лед, огонь — лед.

— Вот она, жизнь, — сказал Макдан. — Вечно все то же: один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любят его. И наступает час, когда тебе хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило.

Чудовище понеслось на маяк.

Ревун ревел.

— Посмотрим, что сейчас будет, — сказал Макдан, — и выключил Ревуна.

Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца, слышали медленное скользкое вращение фонаря.

Чудовище остановилось, оцепенело. Его глазищи-прожекторы мигали. Пасть раскрылась и издала ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, другую сторону, словно искало звук, канувший в туман. Оно взглянуло на маяк. Снова заворчало. Вдруг зрачки его запылали. Оно вздыбилось, колотя воду, и ринулось на башню с выражением ярости и муки в огромных глазах.

— Макдан! — вскричал я. — Включи Ревуна.

Макдан взялся за рубильник. В тот самый миг, когда он его включил, чудовище снова поднялось на дыбы. Мелькнули могучие лапищи и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз в правой части искаженной страданием морды сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел; чудовище ревели. Оно

обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу; на нас посыпались осколки.

Макдан поймал мою руку.

— Вниз! Живей!

Башня качнулась и подалась. Ревун и чудовище ревели. Мы кубарем покатались вниз по лестнице.

— Живей!

Мы успели — нырнули в подвальчик под лестницей в тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней, Ревун захлебнулся. Чудовище рухнуло на башню. Башня рассыпалась. Мы стояли молча, Макдан и я, слушая, как взрывается наш мир.

Все. Лишь мрак и плеск валов о груды битого камня.

И еще...

— Слушай, — тихо произнес Макдан. — Слушай.

Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха, затем жалоба, растерянность, одиночество огромного зверя, который, наполняя воздух тошнотворным запахом своего тела, бессильно лежал над нами, отделенный от нас только слоем кирпича. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла. Свет исчез. Голос, звавший его через миллионы лет, исчез. И чудовище, разинув пасть, ревели, ревели могучим голосом Ревуна. И суда, что в ту ночь шли мимо, хотя и не видели света, не видели ничего, зато слышали голос и думали: «Ага, вот он, одинокий голос Ревуна в Лоунсам-бэй! Все в порядке. Мы прошли мыс».

Так продолжалось до утра.

Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгрела груды камней над подвалом.

— Она рухнула, и все тут, — мрачно сказал Макдан. — Ее потрепало волнами, и она рассыпалась.

Он ущипнул меня за руку.

Никаких следов. Тихое море, синее небо. Только резкий запах водорослей от зеленой жижи на развалинах башни и береговых скалах. Жужжали мухи. Плескался пустынный океан.

На следующий год поставили новый маяк, но я к тому времени устроился на работу в городке, женился, и у меня был уютный, теплый домик, окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь заперта, а из трубы струится дымок. А Макдан стал смотрителем нового маяка, сооруженного по его указаниям из железобетона.

— На всякий случай, — объяснял он.

Новый маяк был готов в ноябре. Однажды поздно вечером я приехал один на берег, остановил машину и смотрел на серые волны, слушал голос нового Ревуна: раз... два... три... четыре раза в минуту, далеко в море, один-одинешенек.

Чудовище?

Оно больше не возвращалось.

— Ушло, — сказал Макдан. — Ушло в Пучину. Узнало, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло вглубь, в Бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга! Все ждать, и ждать, и ждать... Ждать.

Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча над Лоунсам-бэй. Только слушал Ревуна, Ревуна, Ревуна. Казалось, это ревет чудовище.

Мне хотелось сказать что-нибудь, но что?

Лошади медленно брели к привалу. Седоки — муж и жена — смотрели вниз, на сухую песчаную долину. У женщины был растерянный вид, вот уже несколько часов она молчала, просто не могла говорить. Ей было душно под мрачным грозовым небом Аризоны, суровые обветренные скалы угнетали ее. На ее дрожащие руки упало несколько холодных дождевых капель.

Она бросила усталый взгляд на мужа. Он был весь в пыли, впрочем, держался в седле легко и уверенно. Закрыв глаза, она думала, как безмятежно прошли все эти годы. Достала зеркальце и посмотрелась в него. Она хотела увидеть себя веселой, но никак не могла заставить себя улыбнуться, сейчас это было совсем не к месту. Давили тяжелые свинцовые облака, удручала телеграмма, принесенная сегодня утром конным посыльным; изматывала бесконечная дорога до города.

Она продрогла, а дороге все не было видно конца.

— Я никогда не была верующей, — произнесла она тихо, не поднимая век.

— Что? — оглянулся на нее Берти.

— Нет. Ничего, — прошептала она, покачав головой.

Все эти годы она прожила беззаботно, ни разу не испытыв потребности пойти в церковь. Она слышала, как почтенные люди говорят о боге, о полированных церковных скамьях, о каллах в больших бронзовых ведрах и о колоколах, таких огромных, что звонарь раскачивается в них вместе с языком. Все эти высокопарные, страстные и проникновенные речи были ей одинаково безразличны. Она даже представить себя не могла на церковной скамье.

— Да мне просто ни к чему было ходить в церковь, — пробормотала она, словно оправдываясь.

Она никогда не придавала этому значения. Жила своими заботами, ходила по своим делам. От работы ее маленькие ручки стали гладкими, как галька. Труд отполировал ее ногти лаком, какого не купишь ни в одном магазине. Воспитание детей сделало ее руки ласковыми и сдержанно-строгими, а любовь к мужу — нежными. Теперь же нависшая тень смерти заставила их дрожать.

— Сюда, — позвал Берти.

Их лошади спустились по пыльной тропе туда, где в стороне от пересохшего ручья стояло старинное кирпичное здание. В окна были вставлены зеленые стекла, крыша — из красной черепицы. Внутри синели машины, а множество проводов тянулось далеко в пустыню. Она посмотрела на уходящие за горизонт мачты высоковольтных передач и, все еще занятая своими мыслями, оглянулась на необычные зеленые окна и огненно-красные стены.

Она не помнила ни одного стиха из священного писания и никогда не оставляла в своей библии закладки. Правда, жила она в жаркой пустыне, среди раскаленного солнцем гранита, пот лил с нее ручьями, но тут ей ничего не угрожало. Беды, из-за которых люди не спят по ночам, в память о которых остаются морщины на лице, были ей неведомы. Несчастья проходили стороной, не задевая ее. Смерть была ураганом, гул которого доносился откуда-то издалека.

Двадцать лет унеслись в прошлое, как перекасти-поле, с тех пор, как она поселилась на

Западе, надела обручальное кольцо одинокого охотника, и пустыня заполнила их жизнь. Ни один из четырех ее детей ни разу не был опасно болен или при смерти. Никогда ей не приходилось становиться на колени, разве только чтобы отдраить и без того хорошо выскобленный пол.

Теперь всему этому пришел конец. Они ехали в далекий городок, потому что утром принесли клочок желтой бумаги, в котором сухо, но ясно говорилось о том, что ее мать умирает.

И сколько она ни думала об этом, как ни пыталась представить себе, все это никак не укладывалось у нее в голове. Она лишилась привычной опоры и оказалась в беспомощном положении. Ее мысли лихорадочно метались, как стрелки компасов в магнитную бурю, все привычные представления о том, где север и где юг, где верх и где низ, вдруг пошатнулись, рухнули, и все беспорядочно закружилось и завертелось. Рука Берти лежала у нее на плече, но даже от этого она не чувствовала себя уверенней.

Словно настал конец красивой сказки и началась страшная. Умирала ее мама. Это было невыносимо.

— Давай остановимся — не в силах справиться со своим страхом, она очень нервничала и говорила с раздражением.

Берти оставался невозмутимым, его не ввела в заблуждение раздражительность жены. Он-то знал, что это не в ее характере — у нее была ясная голова. Дождь все накрапывал. Он повернулся к ней и нежно взял за руку.

— Конечно, нужно остановиться. — Берти покосился на небо. — Тучи с востока. Надо переждать, будет ливень. Не хватало еще вымокнуть.

Она разозлилась на себя из-за собственной несдержанности. Как-то против ее желания одно потянуло за собой другое. Она была не в состоянии говорить и расплакалась навзрыд, сотрясаясь всем телом. Ее лошадь сама остановилась у кирпичной стены и мягко переступала с ноги на ногу.

Поникая, с застывшим взглядом, она скользнула из седла на руки Берти и обняла его.

— Похоже, никого нет, — сказал он, опуская ее на землю. — Эй, есть тут кто-нибудь? — позвал он и увидел табличку на дверях:

«СТОЙ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Комитет по электроэнергии»

В воздухе висело густое жужжание. Провода пели на одной ноте, непрерывно, то слегка повышая, то чуть снижая тон, как хозяйка, которая гудит себе что-то под нос и готовит на плите в мягком сумраке кухни. В здании никого не было видно. Все вокруг дрожало от вибрации. Так, кажется, должен гудеть горячий воздух, когда он плывет и струится над раскаленным полотном железной дороги в жаркий солнечный день. А слышно только, как звенящая напряженная тишина давит на барабанные перепонки.

Дрожь от вибрации пробегала через пятки по ее изящным ногам и, разливаясь по всему телу, подобралась к сердцу, коснулась его, и она заволновалась, словно в очередной раз увидела Берти сидящим на верхней балке загона. Дрожь проникла в мозг, пленила каждую его клеточку, и ей вдруг захотелось запеть. Так с ней бывало, когда она читала хорошие книги или слышала красивые песни.

Все вокруг было насыщено гудением. Оно пронизывало раскаленный воздух, пустыню и даже кактусы в ней — Гудением было охвачено все.

— Что это? — спросила она, растерянно глядя на здание.

— Не знаю. Похоже на электростанцию, — отозвался Берти и толкнул дверь. — Хм, открыто, — удивился он. — Вот только жаль, нет никого.

Дверь широко распахнулась, и в виски им ударил сильный как порыв ветра, гул.

Они вступили под своды таинственного поющего зала. Она шла под руку с Берти, крепко прижавшись к нему.

Тут было сумрачно, как в подземном царстве. Все вычищено, отшлифовано до блеска, словно какие-то невидимки упорно, день и ночь, без усталости, без конца терли, терли и терли пол, стены и машины. Им показалось, будто Они шагают сквозь строй молчаливо стоящих людей. Но люди превратились в круглые, похожие на снаряды машины, поставленные в два ряда и гудящие во всю мочь. Из черных, серых, зеленых машин тянулись золотистые кабели и белые провода, поблескивали серебристые коробки с малиновыми контактами и белыми надписями. В полу было углубление и там бешено крутилось, с неразличимой для глаз скоростью полоскалось что-то невидимое. (Центрифуга вертелась очень быстро, казалось, она застыла на месте.) С темного потолка гигантскими змеями свисали медные провода, переплетения труб поднимались от цементного пола по огненно-красным кирпичным стенам. Пахло озоном, как после грозы. Время от времени раздавался треск, что-то шуршало, щелкало, шипело; там, где провода подходили к фарфоровым и стеклянным изоляторам, иногда проскакивали искры.

А за стенами, в мире реальном, начался дождь.

Ей не хотелось тут оставаться. Все здесь было ей чуждо: люди оказались серыми машинами, а музыка звучала как орган, гудевший то на высокой, то на низкой ноте. Но по окнам уже растекались дождевые струи.

— Похоже, это надолго. Придется тут заночевать. Да и поздно уже, — сказал Берти. — Пойду занесу вещи.

Она молчала. Ее тянуло дальше. Куда, к чему? Она не знала. Наверное, в город. Там бы она купила билеты и, крепко зажав их в руке, побежала бы к поезду, и поезд помчался бы с грохотом, а потом, проехав сотни миль, она бы сошла с него и пересела на лошадь или машину и снова в путь. И, наконец, увидела бы свою маму, живую или мертвую. Только бы хватило времени и сил. Где бы ни проходила ее дорога, она будет довольствоваться лишь воздухом, чтобы дышать, пищей и водой, чтобы смочить пересохшие губы, да твердой землей под ногами, чтобы ходить. Но уж лучше вообще не испытывать всего этого. «Ну зачем ехать к маме, к чему слова, волнения? — спрашивала она себя. — И кому от этого легче?»

Пол под ногами блестел, как замерзшая речка. Шаги отдавались сухим гулким эхом, ясно и четко. Каждое произнесенное слово летело обратно, будто из каменной пещеры.

Она слышала, как Берти за ее спиной складывает на пол вещи. Он расстелил пару серых одеял и достал несколько банок консервов.

Была ночь. Потоки дождя все текли и текли по высоким зеленым окнам, струи воды свивались в тончайшие узоры. Удары грома рвали дождевую завесу, молнии врезались в каменистую землю и переламывались.

Она положила голову на подвернутое одеяло, но как ни старалась устроиться поудобнее, гудение огромной электростанции не давало покоя. Она перевернулась на другой бок, закрыла глаза, постаралась уснуть, но в голове по-прежнему гудело от вибрации. Тогда она встала, расправила одеяло и снова легла.

Гудение однако не отступало.

Какое-то чувство подсказывало ей, что и Берти не спит. Интуиция никогда не

подводила ее. В том, как он дышал, была едва уловимая разница. Он дышал беззвучно, совсем неслышно, но она знала, что он сейчас задумчиво смотрит на нее в темноте. Она обернулась.

— Берти?

— Что?

— Я тоже не сплю.

— Знаю.

Она лежала, вытянувшись, неподвижно и была вся напряжена, а он расслабился и чуть поджал ноги. Она смотрела на него и дивилась его спокойствию.

— Берти, — сказала она и, помолчав, продолжала: — Как тебе здесь?

Он ответил не сразу.

— О чем это ты?

— Как ты можешь тут отдыхать? — сказала и запнулась. Нехорошо вышло. Получалось, что она его упрекает, а ей вовсе этого не хотелось. Она знала его как человека, который видит скрытое от глаз других, которого ничто не оставляет равнодушным, но эти качества не мешали ему оставаться добрым и простым. Его мучили те же мысли, что и ее, и он переживал за ее маму, но внешне выглядел хладнокровным и безразличным. Все его мысли и переживания были скрыты от глаз, запрятаны глубоко в душе, где жила его вера, его внутренняя сила, она-то и не позволяла ему быть в разладе с самим собой. Он умел встретить любую неприятность. Уверенность и стойкость делали Берти неуязвимым, он был защищен ими, как лабиринтом или сетью, в которой запутывались и терялись все надвигающиеся напасти, и никакие беды, кажется, не могли причинить ему боли. Глядя на его спокойствие, она иногда, сама того не желая, выходила из себя, но тут же подавляла в себе бессмысленную злость, понимая, что злиться на него — это все равно, что обижаться на природу за то, что она в каждый персик вложила по косточке.

— Почему я так и не научилась этому? — сказала она наконец.

— Чему?

— Ты научил меня всему... Ты заставил меня по-своему смотреть на мир. Я знаю только то, чему ты меня научил. — Она остановилась. Трудно это было выразить словами. Их жизнь текла спокойно, как кровь в жилах.

— И вот только верить ты меня не научил, — сказала она. — Я никогда об этом от тебя не слышала.

— Этому не учатся, — ответил он. — Просто однажды ты расслабишься, тебе станет легко. Вот и все.

«Расслабишься, — думала она. — Почувствую облегчение? Но только телесное. А как избавиться от того, что в мыслях?» Ее пальцы вдруг сами собой сжались. Взгляд блуждал по залу огромной электростанции. Над головой возвышались мрачные силуэты машин, вспыхивали искры... Вибрация пронизывала все тело.

От усталости ее клонило ко сну. Глаза слипались. Ее тело наполнилось гудением, словно затрепетали крылышки тысячи крошечных колибри.

Она проводила взглядом теряющиеся во мраке под потолком трубы, посмотрела на машины, услышала вой центрифуг... И тут ее дремота исчезла и ею овладело беспокойство. Стены, пол, потолок — все запрыгало и заплясало перед глазами, гудение нарастало и нарастало, и к ней пришла вдруг удивительная легкость, она увидела в зеленых окнах очертания высоковольтной линии, убегающей в сырую мглу.

Ее тело дрожало и гудело. Ей показалось, что ее вдруг рвануло и оторвало от земли. Бешено крутящееся динамо подхватило ее и завертело, она стала невидимой и током потекла по медным проводам!

В какой-то миг она стала вездесущей!

Она пронеслась по проводам, оставляя позади громадные мачты высоковольтных передач, прожужжала в проводах над бесчисленными опорами, увенчанными изоляторами из зеленого стекла, похожими на хрустальных птиц, держащих в клюве высоковольтную линию. Провода несли ее через города, городки и поселки, фермы и ранчо, гаспенды, разветвляясь в четыре стороны, потом еще в восемь. Она скользила по паутине проводов, наброшенной на пустыню!

И мир стал вдруг чем-то большим, чем проста дома, горы, дороги и пасущиеся кони, покойник под каменной плитой, колючка кактуса или город, искрящийся в ночи своими огнями. Мир уже не был раздроблен, расколот на части. Охваченный сетью гудящих проводов, он стал вдруг единым целым.

С потоком света она влилась в каждый дом, в каждую комнату, и туда, где жизнь только пробудилась от шлепка по попке новорожденного, и туда, где жизнь в человеке уже едва теплилась, как свет в лампочке, горела неровно, тлела и гасла совсем. Поток электричества увлекал ее за собой. На сотни миль вокруг в окнах загорелся свет, и все стало доступно ее зрению и слуху, одиночество ушло. Теперь она стала такой же, как все, одной из многих тысяч людей, о чем-то размышляющих, в чем-то убежденных.

Она трепетала, как сухая, безжизненная тростинка. От высокого напряжения ее мысли металась и запутывались в переплетении проводов.

Во всем царило равновесие. В одном месте она видела, как жизнь увядает, а рядом, всего в какой-нибудь миле, люди поднимали бокалы за новорожденного, передавали сигары, улыбались, хохотали, жали друг другу руки. Она видела бледные, вытянутые лица умирающих в белых постелях, слышала, как они начинают постигать и принимать смерть, смотрела на их движения, угадывала чувства и понимала, как они одиноки и замкнуты, понимала, что им уже никогда, ни за что не увидеть мир в равновесии, каким его видит она.

Она проглотила слюну, коснулась пальцами шеи — шея горела. Веки дрожали.

Она не была одинока.

Динамо-машина раскрутила ее, а центробежная сила пустила по проводам, как из пращи, к миллионам стеклянных колбочек, привинченных под потолками. Нужно только потянуть за шнурок или повернуть рубильник, или нажать на выключатель — и они вспыхнут.

Зажечь свет можно везде, его надо только включить. Пока света не было, в домах было темно. Но вот она сразу очутилась во всех домах, вошла в каждую комнату. И она уже не одинока. И ей досталась частица большого, общего горя и страха. Но вокруг не только одни страдания. Можно посмотреть на все и с другой стороны. Жизнь начинается с рождения — это нежный, хрупкий младенец. Это тело, согретое обедом, свежие краски и звуки, запахи полевых цветов.

И как только свет где-то гаснет, жизнь зажигает его снова, и в домах опять светло.

Она очутилась сразу у Кларков и Греев, Шоу и Мартинсов, у Хэнфордов и Фентонов, у Дрейков, Губбельсов и Смитов. Она была одна, но не знала одиночества. В голове у человека есть разные отверстия. Пожалуй, это звучит странно, даже несколько глупо, но все же это отверстия. Сквозь одни мы смотрим на мир и на людей в нем, таких же беспокойных, разных

и непростых, как и мы сами. Другие отверстия помогают нам слышать, и есть еще одно, чтобы поведать о своем горе, когда оно нас тяготит. Запахи пшеницы, льда, костров проникают через другие отверстия, и мы узнаем через них времена года — лето, зиму или осень. Все это дано человеку, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Зажмурьтесь — вы окажетесь в одиночестве. Чтобы верить во что-то, нужно просто открыть глаза.

Электрической сетью опутался весь мир, знакомый ей уже столько лет. Она вжилась в каждый провод этой сети. В ней светилась и дрожала каждая клеточка. Ее ласкало бесконечное легкое полотно, которое мило за милей укутало землю мягким, гудящим покрывалом.

В электростанции пели работающие турбины, искры, яркие, как свечи, вспыхивали и соскакивали вниз по согнутым локтям труб и кабелей. Ряды машин казались хором святых, их нимбы переливались то красным, то желтым, то зеленым, их мощные гимны возносились под самую крышу, и в зале все дрожало от эха. Снаружи порывы ветра с воем разбивались о стены, дождь заливал окна. Некоторое время она лежала, положив голову на свернутое одеяло, а потом вдруг расплакалась.

Какие мысли заставили ее плакать? Были это слезы радостного облегчения или смирения — она не знала. Торжественные звуки взлетали все выше и выше. Казалось, целый мир хлынул в ее душу. Она протянула руку и дотронулась до Берти. Он все еще не спал и смотрел в потолок. Наверное, его мысли тоже витали сейчас где-то в переплетении проводов, и в его душе отзывалось все, что ни есть на свете. Он чувствовал себя частицей целого, и это придавало ему силы и уверенности. Но ее это новое ощущение единства со всем миром ошеломило. Гудение все нарастало. Руки мужа обняли ее, она уткнулась в его плечо и снова разрыдалась, горько и неудержимо...

Утром небо над пустыней было яркое, чистое. Они неторопливо вышли из электростанции, оседлали лошадей, привязали вещи и двинулись в путь.

Над нею сияло голубое небо. Она не сразу почувствовала, что держится в седле прямо, не сутулясь, взглянула на свои руки — они не дрожат, а раньше были как чужие. Видны были горы вдалеке, краски не блекли и не расплывались перед глазами. Все было неразрывно связано: камни с песком, песок с цветком, а цветок с небом. И так бесконечно.

— Но! Пошли! — раздался в душистом прохладном воздухе голос Берти, и лошади ускорили шаг, оставляя позади кирпичное здание.

Она держалась в седле легко и изящно. В ней пробудилось чувство безмятежной легкости, и она не смогла бы теперь прожить без этого. Это было бы так же немислимо, как персик без косточки.

— Берти, — позвала она. Он чуть придержал лошадь.

— Что?

— Мы могли бы... — начала она.

— Что бы мы могли? — переспросил он, не расслышав.

— Мы могли бы приехать сюда еще раз? — спросила она, показывая на электростанцию. — Ну, как-нибудь, в воскресенье?

Он задумчиво посмотрел на нее и кивнул:

— А что ж. Приедем, конечно, приедем.

Когда они въехали в город, она гудела себе под нос какую-то странную мелодию. Он оглянулся и прислушался.

Так, наверное, гудит горячий воздух, когда плывет и струится над раскаленным

полотном железной дороги в Жаркий летний день. Гудит в одном ключе, на одной ноте. Гудение то чуть повышается, то понижается, но звук непрерывный, нежный и приятный на слух.

Они долго стояли под палящим солнцем, поглядывая на горящие циферблаты своих старомодных часов, а тем временем их колеблющиеся тени удлинялись, из-под сетчатых летних шляп струился пот. Когда они обнажили головы, чтобы вытереть морщинистые лбы, оказалось, что их вымокшие насквозь шевелюры такие белые, словно годами не видели света. Один из них пробурчал, что ступни его стали похожи на хлебные лепешки, и добавил, вдохнув горячего воздуха:

— Ты уверен, что это тот самый дом?

Второй старик, по имени Фокс, кивнул в ответ так, будто опасался вспыхнуть от любого резкого движения и возникающего при этом трения.

— Я видел ее три дня кряду. Она появится. Если еще жива, конечно. погоди, Шоу, ты сам ее увидишь. Боже, какой случай!

— Ну и дела, — сказал Шоу, — если б только люди могли заподозрить в подглядывании нас, двух старых дураков. Ей-богу, мне делается не по себе.

Фокс оперся на свою трость.

— Все разговоры я беру на себя... постой-ка! Вот она! — Он перешел на шепот. — Смотри, выходит из дому.

Страшно громыхнула входная дверь. На верхней, тринадцатой ступеньке крыльца появилась полная женщина и осмотрелась, бросая по сторонам резкие, колкие взгляды. Сунув пухлую руку в сумочку, вытащила несколько скомканных долларовых бумажек, тяжело топая, спустилась по лестнице и решительно двинулась вниз по улице. Сверху из окон смотрели ей вслед жильцы дома, привлеченные обвальным грохотом двери.

— Давай, — шепнул Фокс, — идем к мяснику.

Женщина распахнула дверь и ввалилась в лавку.

Старики успели заметить, как мелькнули ее жирно намазанные губы. Брови смахивали на усы, искоса поглядывали вечно подозрительные глаза. Поравнявшись с дверью, они услышали ее визгливый голос:

— Мне нужен кусок мяса поприличнее, ну-ка, посмотрим, что вы там припрятали для себя?

Мясник не проронил ни слова. На нем был захватанный, испачканный кровью фартук. В руках — ничего. Старики вошли вслед за женщиной, делая вид, что любят нежно-розовым филеом.

— От этой баранины меня тошнит! — кричала она. — Почему эти мозги?

Мясник сухо ответил.

— Ладно, взвесьте мне фунт печени! — велела женщина. — И пальцы свои держите от нее подальше.

Мясник, не спеша, принялся взвешивать.

— Пошевеливайтесь! — набросилась она.

Теперь рук мясника не было видно из-за прилавка.

— Смотри, — прошептал Фокс. Шоу слегка запрокинул голову, чтобы увидеть, что делается под прилавком.

Окровавленная рука мясника крепко держала блестящий топор. Его пальцы то сжимались на рукоятке, то снова разжимались. Мясник возвышался над белым мраморным

прилавком; женщина выкрикивала ему что-то в побагровевшее лицо, тот смотрел на нее голубыми, угрожающе спокойными глазами.

— Теперь убедился? — шепнул Фокс. — Она и в самом деле нуждается в нашей помощи.

Они посмотрели на красные ломтики мяса, на борозды и вмятины, выбитые десятками ударов стального топора на поверхности разделочного стола.

Скандал разразился и у бакалейщика, и в мелочной лавке. Старики двигались за женщиной на почтительном расстоянии.

— Миссис Убей Меня, — пробормотал мистер Фокс. — Это то же самое, что смотреть на двухлетнего ребенка, который выбегает на поле боя. В такую погоду она может, так сказать, налететь на мину. Ба-бах! И жара подходящая, и влажность хуже некуда, все чешутся, потеют, раздражаются. И тут, на тебе, заявляется эта дамочка и начинает вопить. И — привет. Ну как, Шоу, беремся за это дело?

— Ты что же-хочешь вот так просто взять и подойти к ней? — Шоу и сам опешил от собственного предложения. — Я надеюсь, мы не собираемся этого делать? Я ведь думал, мы идем просто из любопытства. Ну там, люди, их повадки, привычки и прочее. Это все очень занятно, конечно, но лезть в такое дело... У нас, слава Богу, есть чем заняться.

— Есть? — Фокс кивнул на дорогу, женщина переходила улицу, едва уворачиваясь от проезжавших машин, надсадно скрежетали тормоза, отчаянно гудели клаксоны и ругались шоферы. — Мы же христиане. Неужели мы позволим ей подсознательно отдать себя на съедение львам? Или же мы вернем ее обратно?

— Вернем ее?

— Ну да, вернем ее к любви, спокойствию, к долгой жизни. Ты только посмотри на нее. Ей не хочется больше жить. Она же нарочно выводит людей из себя. И уже не далек тот день, когда кто-нибудь угостит ее молотком или стрихнином. Когда люди идут ко дну, они становятся невыносимыми — орут, кричат, хватаются за что попало. Давай пообедаем и протянем ей руку помощи. Хорошо? А не то она будет продолжать в том же духе, пока не напорется на своего убийцу.

Лучи солнца вдавливали Шоу в кипящий белесый асфальт тротуара, и ему на мгновение померещилось, будто улица качнулась у него под ногами, опрокинулась и превратилась в отвесную стену, с которой навстречу огненному небу летела женщина.

— Ты прав, — сказал он. — Не хотелось бы мне брать на душу такой грех.

Под солнцем выгорала и осыпалась с фасадов краска, жара выпарила влагу из воздуха и сточные воды из канав. Изнуренные старики стояли в подъезде дома, по которому носились иссушающие потоки воздуха, как в пекарне. Когда они разговаривали, до них из душных комнат доносились приглушенные голоса жильцов, до одури измотанных жарой.

Открылась входная дверь. Вошел мальчик с буханкой хорошо выпеченного хлеба. Фокс остановил его.

— Сынок, мы тут разыскиваем одну женщину, ту, что страшно грохочет дверь, когда выходит из дому.

— А-а, эту! — обернулся мальчик, взбегая по лестнице. — Миссис Крик!

Фокс сжал руку Шоу.

— Боже праведный! Вот так совпадение!

— Мне что-то домой захотелось, — сказал Шоу.

— Да, действительно! — воскликнул Фокс, не веря своим глазам и постукивая тростью

по списку жильцов в холле. — Мистер и миссис Альберт Крик, квартира 331, наверху. Муженек у нее грузчик, этакий верзила, с работы приходит весь грязный, замызганный. Видел я их однажды в воскресенье. Она — тараторит без умолку, а он даже ухом не ведет. Даже не взглянет на нее. Идем, Шоу.

— Бессмысленно, — сказал Шоу. — Таким, как она, можно помочь только тогда, когда они сами этого хотят. Ты это знаешь, и я знаю. Она тебя просто растопчет, если ты окажешься у нее на дороге. Не делай глупостей.

— Но кто же тогда поговорит с ней? С такими, как она? Муж? Друзья? Бакалейщик мясник? Они споют ей зауспокойную! Разве они ей подскажут дорогу к психиатру? А сама она знает? Нет. А кто знает? Мы. И ты станешь скрывать от жертвы такую жизненно важную информацию?

Шоу снял свою намокшую шляпу и хмуро посмотрел внутрь.

— Как-то раз, давным-давно, на уроке биологии учитель спросил нас, могли бы мы скальпелем удалить нервную систему у лягушки, да так, чтобы не повредить. Вырезать всю эту тончайшую, подобную паутине систему со всеми ее мелкими узелками и узелочками, которых и не разглядеть толком. Это, конечно, невозможно. Нервная система вросла в плоть лягушки настолько, что ее не вытянуть. От лягушки ничего не останется. То же и с миссис Крик. Большой нервный узел не прооперируешь. В ее безумных слоновьих глазках одна желчь. С таким же успехом ты бы мог попытаться навсегда удалить у нее изо рта слюну. Как это не прискорбно, но я думаю, мы зашли уже слишком далеко.

— Ты прав, — сказал Фокс серьезно. — Но моя цель всего лишь поставить предупредительный знак — «опасность». Заронить в ее подсознании зерно сомнения. Я хочу сказать ей: «Ты — жертва убийства. Ты ищешь место, где тебя прикончат». Я хочу посеять семя в надежде, что оно взойдет и расцветет. Есть еще слабая, хилая надежда на то, что она соберется с духом и пойдет-таки к психиатру!

— Слишком жарко сегодня для разговоров.

— Тем больше оснований действовать! При температуре девяносто два градуса по Фаренгейту совершается больше убийств, чем при какой-либо другой. Когда выше ста, жара мешает убийце двигаться. Ниже девяносто — достаточно прохладно, и у жертвы больше шансов уцелеть. Но на девяносто два градуса приходится самый пик раздражительности, человек выходит из себя буквально из-за любой мелочи. Мозг превращается в крысу, бегающую по раскаленному докрасна лабиринту. Достаточно самого малого — взгляда, звука, прикосновения волоска, и — зверское убийство! Зверское. Какие страшные слова. Взгляни-ка на термометр. Восемьдесят девять градусов. Подползает к девяносто. Свербит и чешется — девяносто один. Пот градом — девяносто два. И это через каких-то один-два часа. Вот первый лестничный пролет. Будем переводить дух на каждой площадке. Итак, вперед!

Старики двигались в сумраке третьего этажа.

— Не нужно сверяться с номерами квартир, — сказал Фокс. — Давай угадаем, какая квартира ее.

За последней дверью тишину разорвало радио. От стены отрывались кусочки старой краски и бесшумно сыпались на потертый коврик, дверь сотрясалась вместе с косяком.

Приятеля переглянулись и мрачно кивнули друг другу.

И тут словно кто-то долбанул топором в стену — пронзительный женский голос кричал что-то в телефонную трубку кому-то на другом конце города.

— Зачем ей телефон, пусть откроет окно и орет себе.

Фокс постучал.

Радио доорало наконец свою песню, но крик женщины не умолкал. Фокс постучал снова, подергал дверную ручку. К его ужасу, она подалась под его пальцами, медленно поплыла внутрь и они оказались в положении застигнутых врасплох актеров, когда занавес поднимается раньше времени.

— О боже! — вскричал Шоу.

На них обрушилась лавина звуков. Было такое ощущение, словно стоишь у плотины и открываешь шлюз. Старики машинально закрыли глаза руками, словно это был не шум, а ослепительный, режущий свет.

Женщина (это и в самом деле оказалась миссис Крик) стояла у настенного телефона и с невероятной скоростью разбрызгивала во все стороны слюну. Крупные белые зубы ее сияли. Монолог грохотал, раздувались ноздри, набухала, билась жилка на взмокнувшем лбу, свободная рука то сгибалась, то разгибалась. Плотно зажмурив глаза, женщина вопила:

— Передайте моему зятю, чтоб не показывался мне больше на глаза, лентяй чертов!

И вдруг, по подсказке какого-то животного инстинкта, миссис Крик широко открыла глаза. Она продолжала вопить в трубку и одновременно буравила их ледяным взглядом. Поорала еще с минуту, бросила трубку и, не переводя дыхания, процедила:

— Н-ну?

Старички сблизили плечи, словно ища защиты друг у друга. Их губы зашевелились.

— Громче! — гаркнула женщина.

— Не могли бы вы, — попросил Фокс, — сделать потише радио?

По движению его губ она уловила слово «радио». С обожженного солнцем лица на них все так же злобно смотрели ее глаза. Женщина хлопнула по приемнику. Так, не глядя, шлепают ребенка, орущего целыми днями напролет. Радио умолкло.

— Покупать я ничего не собираюсь!

Она разодрала пачку дешевеньких сигарет, как раздирают мясо, когда едят его с кости, достала сигарету, зажала ее на помаженными губами, прикурила и жадно затянулась. Выпустила дым из тонких ноздрей, и вот уже перед ними огнедышащий дракон в наполненной клубами дыма комнате.

— У меня дел по горло. Выкладывайте, что у вас там!

Они огляделись: журналы разбросаны по линолеуму, словно крупные пестрые рыбины, поломанное кресло-качалка, рядом немытая кофейная чашка, покосившиеся, захватанные абажуры, окна замызганы, стопка тарелок в раковине, в них капает вода из крана, да из крана, в углах под потолком колышется, словно мертвая кожица, паутина. А надо всем этим висит густой запах слишком долгой, слишком длинной, проведенной взаперти жизни.

Они посмотрели на стенной термометр — температура — девяносто градусов по Фаренгейту. Старики обменялись встревоженными взглядами:

— Меня зовут Фокс, а это мистер Шоу. Мы — отставные страховые агенты. Мы и теперь занимаемся еще страхованием для пополнения нашего пенсионного фонда. Но большую часть времени мы особенно ничем...

— Вы хотите мне страховой полис всучить! — Из сигаретного дыма высунулась голова миссис Крик.

— Нет, деньги тут ни при чем.

— Ну, дальше, — сказала она.

— Я даже не знаю, как начать. Можно присесть? — Фокс посмотрел по сторонам и пришел к выводу, что в комнате нет ничего, на что можно было бы сесть без опаски. — Ладно. — Он увидел, что она собирается снова наброситься на него с криком, и торопливо заговорил: — Мы вышли на пенсию после сорока лет работы: мы сопровождали человека от колыбели до кладбищенских ворот, если можно так выразиться. За это время мы сделали некоторые обобщения. В прошлом году мы сидели как-то в парке, разговаривали и, сопоставив факты, пришли к такому выводу: многие из тех, кому на роду написано умереть молодыми, могли бы уцелеть. Если как следует изучить вопрос, страховые компании могли бы в виде дополнительных услуг предложить клиентам новую разновидность...

— Я ничем не болею, — перебила Фокса миссис Крик.

— В том-то и дело, что болеете! — воскликнул мистер Фокс и тут же с перепугу зажал себе рот рукой.

— И вы смеете говорить мне, больна я или нет!

Фокс ринулся вперед.

— Позвольте, я разъясню. Люди умирают каждый день. С точки зрения психологии, где-то в человеке скапливается усталость. И вот она-то пытается погубить его. Взять к примеру... — Он посмотрел по сторонам и заговорил о первом, что попало ему на глаза. — Ну, хотя бы эта лампочка. Она висит на перетертом шнуре, прямо над ванной. Однажды вы поскользнетесь, схватитесь за нее... и конец!

Миссис Альберт Джей Крик покосилась на лампочку в ванной.

— Ну и что с того?

— Люди, — продолжал мистер Фокс, увлеченный своей темой, в то время мистер Шоу, не зная, куда ему деться, краснел, бледнел, и бочком пробирался к двери, — они, как автомобили, им нужно проверять тормоза, эмоциональные тормоза, понимаете? Фары, аккумуляторы, свои взгляды на жизнь, свои ответные реакции...

— Вы потратили две минуты, а толком еще ни черта не сказали, — фыркнула миссис Крик.

Мистер Фокс взглянул сначала на нее, потом на безжалостно палящее солнце за пыльными окнами. По его лицу струился пот. Он улучил момент, чтобы посмотреть на настенный термометр.

— Девяносто один, — проговорил он.

— Что у вас на уме? — поинтересовалась миссис Крик.

— Прошу прощения. — Он, как замороженный, смотрел на раскаленный ртутный столбик, который полз вверх по тоненькой трубочке термометра на противоположной стене. — Порой... порой мы все сбиваемся с пути. Взять хотя бы выбор партнера по браку. Плохая работа. Денег в обрез. Болезни. Мигрени. Железки пошаливают. Уйма всяких мелких неприятностей. Но пока мы об этом догадаемся, мы обрушиваем все это на головы окружающих.

Она следила за его губами, словно он говорил на каком-нибудь иностранном языке; смотрела на него недобро, искоса, набычившись, склонив голову вперед, в ее пухлой руке тлела сигарета.

— Мы носимся взад-вперед, наживаем себе врагов. — Фокс сглотнул слюну и посмотрел мимо женщины. — Мы доводим людей до того, что им уже хочется, чтобы мы убрались куда-нибудь с глаз долой... заболели... умерли даже. Людям хочется ударить нас, врезать как следует, пристрелить. Вы понимаете?

Боже, до чего же тут жарко, думал он. Хоть бы одно окно было открыто. Хоть бы одно. Одно.

Глаза у миссис Крик раскрывались все шире и шире, словно для того, чтобы собрать в себя все сказанное.

— Есть люди, подверженные несчастным случаям, — это те, кто хочет наказать себя физически за какое-нибудь преступление, как правило, мелкий, безнравственный поступок, о котором, как им казалось, они давным-давно позабыли, выбросили из головы. Но подсознание толкает их в опасные переделки, заставляет быть беспечными, когда они переходят улицу, заставляет... — Он запнулся и капля пота скатилась с его подбородка. — Заставляет их не обращать внимания на потертые шнуры лампочек над ванными... Эти люди — потенциальные жертвы. Они носят эту отметину на своих лицах, она как татуировка, только скорее с обратной стороны, чем снаружи. Убийца, встретив на улице человека, который навлекает на себя беду, заметит эти скрытые отметины, повернется и пойдет вслед за ним, сам не отдавая себе отчета, до ближайшей аллеи. Если повезет, пути потенциальной жертвы и потенциального убийцы не пересекутся и за пятьдесят лет. Но... однажды... роковое стечение обстоятельств! Эти несчастные, задевая самые неподходящие струнки душ и нервы прохожих, так и напрашиваются на убийство.

Миссис Крик медленно раздавила окуроч в грязном блюде.

Фокс переложил трость из одной дрожащей руки в другую.

— И вот год назад мы решили поискать таких людей, нуждающихся в помощи. Ведь они даже не догадываются, что им нужна помощь. Им и во сне не придет в голову обратиться к врачу-психиатру. Сначала мы решили проверить свою догадку. Шоу был всегда против этого, только разве что ради времяпрепровождения, этакий разговор по душам. Вы, наверное, думаете, я спятил. Ну так вот, проверки продолжались целый год. Мы наблюдали за двумя мужчинами, изучали их окружение, их работу, семейные дела, все — на почтительном расстоянии. Вы скажете, какое наше дело? Но оба они плохо кончили. Одного убили в баре. Другого выбросили из окна. А женщину, за которой мы наблюдали, переехал трамвай. Совпадение? А старик, который случайно отравился? Как-то ночью не включил свет в ванной. О чем он думал, что ему помешало включить свет? Что заставило его войти и выпить лекарство в темноте? А на следующий день он умер в больнице, и, умирая, все твердил, что хочет жить и только жить. У нас достаточно доказательств, вполне достаточно. Целых два десятка. За короткий промежуток времени добрую половину из них унесла могила. Довольно проверять. Пора пустить в ход наши знания, чтобы не случилось беды. Настало время работать с людьми, пока с черного хода к ним не юркнул гробовщик.

Миссис Крик стояла так, словно он ударил ее чем-то тяжелым по голове.

Потом, едва шевеля своими расплывшимися губами, произнесла:

— И тогда вы пришли сюда?

— Ну...

— Вы за мной наблюдали?

— Мы только...

— Вы за мной следили?

— Чтобы...

— Вон отсюда! — крикнула женщина.

— Мы можем...

— Вон отсюда! — повторила она.

— Если вы только нас выслушаете...

— О-о, я так и з н а л, — прошептал Шоу, закрывая глаза.

— Вон отсюда, грязные старикашки! — орала миссис Крик.

— Деньги здесь ни при чем...

— Я вас вышвырну, вышвырну! — визжала она, сжимая кулаки и скрежеща зубами. Ее лицо окрасилось в непостижимый цвет. — Вы кто такие? Вы старые, дряхлые бабки, шпики, недоумки! — вопила она, срывая шляпу с мистера Фокса и выдирая из нее подкладку. — Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь! — Бросила шляпу на пол, раздавила каблуком, пнула ногой. — Вон! Вон!

— О, но ведь мы вам нужны! — Фокс в отчаянии смотрел на свою шляпу, а тем временем женщина осыпала его самой отборной бранью. Не было таких слов, которых она постеснялась бы употребить. Она изрыгала громы, молнии, дым и винные пары.

— Вы кем себя возомнили? Вы что, Бог? Бог и Святой Дух, снисходящие до людей, вынюхивающие да высматривающие; ах вы, старые калоши, перечницы, хрычовки! Вы, вы... — Она сыпала и сыпала им на голову такие ругательства, что они, ошеломленные, попятились к двери. Она обзывала их самыми что ни на есть распоследними словами, затем умолкла, набрала полные легкие воздуха и обрушила на стариков новый поток помоев, еще более грязных и гнусных, чем предыдущие.

— Послушайте! — сказал Фокс с металлом в голосе.

Шоу стоял за дверью и умолял своего друга выйти, все кончено, они это так себе и представляли, они оказались в дураках, они заслужили все эти ругательства. Боже, боже, какой позор!

— Старая дева! — орала миссис Крик.

— Я бы попросил вас выбирать выражения!

— Старая дева, старая дева!

Это почему-то оказалось страшнее всех действительно страшных ругательств.

Фокс пошатнулся, у него отвисла челюсть. Потом захлопнулась. Потом снова отвисла.

— Старуха! — вопила миссис Крик, не унимаясь. — Старуха, старуха, старуха!

Он стоял посреди выжженных желтых джунглей. Комната потонула в огне, сдавила его, мебель сдвинулась с места и пустилась в пляс, солнце било сквозь задраенные окна, обжигающая пыль взлетала с ковра колючими искрами, стоило только прожужжать какой-нибудь мухе и описать в воздухе спираль. Рот миссис Крик, ее зловеще красные губы наполняли воздух непристойностями, копившимися всю долгую жизнь, а термометр на стене показывал девяносто два градуса. Фокс еще раз взглянул на термометр — девяносто два. А женщина визжала, как колеса поезда, снимающие с рельс стружку на повороте. Ее визг напоминал скрежет ногтей по классной доске, скрип железа по мрамору.

— Старая дева! Старая дева! Старая дева!

Фокс отвел руку с зажатой в ней тростью за спину и ударил.

— Не-ет! — закричал откуда-то сзади Шоу.

Женщина поскользнулась и упала на бок, пытаясь упереться руками в пол, издавая нечленораздельные звуки. Над ней стоял Фокс с явным недоумением на лице. Он смотрел на свое плечо, запястье, руку и пальцы, сквозь окутавшую его раскаленную завесу из дымчатого хрусталя. Он смотрел на трость, словно это был какой-то невероятный восклицательный знак, который появился неизвестно откуда зримо и явственно, прямо посреди комнаты. Его рот так и остался открытым, тлеющими искорками оседала и гасла пыль. Он почувствовал,

как от его лица отхлынула кровь, словно у него в желудке распахнулась настезь маленькая дверца.

— Я...

На губах миссис Крик выступила пена.

Она ползала на четвереньках, а члены ее тела, казалось, оторвались от туловища и превратились в независимых существ. Ее ноги, руки, голова вели себя как отрубленные части какого-то животного, жаждущего вновь стать самим собой, но тщетно ищущего пути к желанному восстановлению. Грязные слова все еще извергались из ее рта, хотя теперь они и на слова-то не были похожи. Фокс смотрел на женщину и никак не мог прийти в себя. До сегодняшнего дня она разбрызгивала свой яд налево и направо. Теперь же он вызвал на себя поток, который скапливался годами и должен был утопить его. Фокс почувствовал, что кто-то тащит его за воротник. Вот проплывает мимо дверной проем. Он услышал, как трость выпала у него из рук, загремела по полу и отчего-то ему вдруг почудилось, что его ужалила страшная оса-невидимка. Но вот он выбрался из комнаты, шагая как автомат, начал спускаться по лестничным маршам разогретого дома, мимо опаленных стен. Сверху на него гильотиной обрушилось.

— Вон! Вон! Вон!

Звуки затихли, словно вопль человека, сброшенного в черноту колодца.

На нижней ступеньке последнего лестничного пролета, уже у выхода из подъезда, Фокс высвободился из-под опеки своего друга и надолго привалился к стене, его глаза увлажнились, единственное, на что он еще был способен, оказался стон. В это время его пальцы шарили в пустоте в поисках оброненной трости. Не найдя ее, он провел ладонью по голове, коснулся мокрых век и с удивлением опустил трясущиеся руки. Старики уселись на нижнюю ступеньку и просидели минут десять в молчании, приходя в себя с каждым вдохом, который давался не так-то легко. Мистер Фокс наконец поднял глаза на мистера Шоу, который уставился на него в испуге и изумлении.

— Ты в и д е л, что я наделал? Да-а, еще бы чуть-чуть и... — Фокс покачал головой. — Какой же я дурак. Бедная, бедная женщина. Она была права.

— Ничего не поделаешь.

— Теперь я убедился в этом. Надо ж было такому случиться.

— Ну-ка, дай я тебе вытру лицо. Так-то лучше.

— Ты думаешь, она пожалуется на нас мистеру Крику?

— Нет, нет.

— А не попробовать ли нам...

— Поговорить с н и м?

Поразмыслив над этим, они лишь покачали головами. Распахнулась входная дверь, с улицы пахнуло жаром, как из печки. И тут их чуть не сбил с ног какой-то здоровенный детина.

— Смотреть надо, куда прете! — рявкнул он.

Они обернулись и поглядели ему вслед. Он шагал тяжелой поступью в раскаленной тьме, поднимаясь через одну ступеньку. Это было чудовище с ребрами мастодонта, буйной львиной гривой, огромными мясистыми ручищами; до тошноты волосатый, до боли обожженный солнцем. Они увидели его лицо лишь на мгновение, когда он расталкивал их своими плечами; то было лоснящееся от пота, облупившееся под солнцем свиное рыло, пот капельками выступил под красными глазами, капал с подбородка, покрывая разводами

майку от подмышек до пояса.

Они осторожно прикрыли входную дверь.

— Это он, — сказал мистер Фокс, — ее муж.

Они стояли в маленьком магазинчике напротив дома, где жила миссис Крик. Было половина шестого, солнце закатывалось, тени под редкими деревьями на аллеях окрасились в цвет спелых гроздьев винограда.

— Что это висело у него из заднего кармана?

— Крюк. Грузчики такими пользуются. Стальной. Острый, тяжелый. Вроде тех, что когда-то носили однорукие инвалиды вместо протеза.

— Сколько градусов? — спросил мистер Фокс спустя минуту.

— Здесь, в магазине, термометр все еще показывает девяносто два. Тютелька в тютельку.

Фокс сидел на ящике, едва удерживая в руках бутылку апельсинового сока.

— Надо открыть, — проговорил он. — Да. Никогда в жизни мне так не хотелось апельсинового сока, как сейчас.

Они продолжали сидеть в этой топке и, глядя вверх на одно из окон противоположного дома, терпеливо ждали, ждали...

Изголовье кровати сияло под солнцем, как фонтан, брызжущий ослепительным блеском. Оно было украшено львами, химерами и сатирами. Кровать внушала благоговейный ужас даже посреди ночи, когда Антонио, развязав ботинки, касался натруженной рукой изголовья и оно вздрагивало как арфа.

— Каждую божью ночь, — раздался голос его жены, — у нас начинает играть этот орган.

Жалоба больно задела его. Он лежал, не решаясь провести огрубевшими пальцами по холодному ажурному металлу. За долгие годы струны этой лиры спели немало прекрасных, пышущих страстью песен.

— Это не орган, — ответил он.

— Но играет-то как самый настоящий орган, — возразила Мария. — Миллионы людей во всем мире спят сейчас в кроватях. А мы чем хуже, господи!

— Это и есть кровать, — сдержанно произнес Антонио.

Бережно касаясь пальцами медных струн воображаемой арфы, он подбирал какую-то мелодию. Ему казалось, что это «Санта Лючия».

— Эта кровать горбатая, словно под ней спит стадо верблюдов.

— Ну, что ты, Мамочка, — попытался успокоить ее Антонио. Он всегда называл ее Мамочкой, когда она выходила из себя, хотя детей у них не было. — С тобой это началось пять месяцев назад, — продолжал он, — когда внизу, у миссис Бранкоци, появилась новая кровать.

— Кровать миссис Бранкоци... — мечтательно проговорила Мария. — Она как снег, вся белая, ровная, мягкая.

— Не хочу я никакого снега, ни белого, ни ровного, ни мягкого! — вскричал он сердито. — Ты только попробуй, какие пружины! Они узнают меня, когда я ложусь. Они знают, что сейчас я лежу так, в два часа — этак, в три часа — таким образом, в пять — этаким! Мы сработались за много лет, как акробаты, мы знаем, когда чья очередь делать трюки.

— Иногда мне снится, будто мы попали в конфетницу, что стоит в кондитерской у Бортоле, — сказала со вздохом Мария.

— Эта кровать, — раздался в темноте голос Антонио, — служила нашей семье еще до Гарибальди! Она дала миру целые округа честных избирателей, взвод бравых солдат, двух кондитеров, парикмахера, четырех артистов, исполнявших вторые партии в «Трубадуре» и «Риголетто», двух гениев, таких одаренных, что за всю жизнь они так и не решились, за что взяться! А сколько в нашем роду было прекрасных женщин! Они уже одним своим присутствием украшали все балы. Это не просто кровать, а рог изобилия! Конвейер!

— Уже два года, как мы поженились, — с трудом владея собой, сказала Мария. — Где же наши с тобой исполнители вторых партий для «Риголетто», где наши гении, наши красавицы, которые будут украшать балы?

— Терпение, Мамочка.

— Не называй меня «Мамочкой»! Пока эта кровать по ночам ублажает только тебя, а меня она даже дочкой не осчастливила!

Он сел в кровати.

— До чего же тебя довели твои соседки со своей болтовней о том, кто сколько тратит и сколько получает. Есть у миссис Бранкоци дети? Уже пять месяцев как у нее новая кровать.

— Нет. Но скоро будут! Миссис Бранкоци говорит, что... А кровать у нее замечательная!

Он откинулся назад и натянул на себя одеяло. Кровать завизжала, как стая ведьм, пролетающих по ночному небу в предрассветный час.

В окне стояла луна. Тени от рамы на полу с каждым часом становились короче. Антонио проснулся. Марии рядом не было.

Он встал и пошел посмотреть, что делается за полузакрытой дверью ванной. Перед зеркалом стояла его жена и разглядывала свое усталое лицо.

— Я себя неважно чувствую, — сказала она.

— Мы поспорили. — Он с нежностью похлопал ее по плечу. — Извини. А насчет кровати я что-нибудь придумаю. Посмотрю, как у нас с деньгами. Если и завтра тебе будет нехорошо, сходи к доктору, ладно? Ну, пошли спать.

На следующий день после полудня Антонио прямо с работы отправился в магазин, где в витрине стояли отличные новые кровати. Уголки их покрывала были соблазнительно откинута.

— Я — чудовище, — прошептал он себе под нос.

Антонио посмотрел на часы. Сегодня утром Мария была холодна как лед. Сейчас она, наверное, у врача. Он подошел к витрине кондитерского магазина и смотрел, как конфетница растягивает, мнет и нарезает массу для леденцов. «Интересно, а леденцы кричат? — подумал он. — Может, и кричат, только таким тоненьким голоском, что их не слышно». Он улыбнулся, и тут в растянутой леденцовой массе ему померещилось лицо Марии. Антонио помрачнел, повернулся и пошел обратно, к мебельному магазину. Нет. Да. Нет... Да! Он прижался носом к холодному стеклу витрины. А будет ли моей спине хорошо на этой кровати?

Он не спеша достал бумажник, пересчитал деньги. Вздохнул, бросил долгий взгляд на белоснежное покрывало. В витрине стояла его новая кровать — неразгаданная загадка, таинственный сфинкс. Зажав в руке деньги, он с унылым видом вошел в магазин.

— Мария! — Антонио взлетел по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Было девять вечера, он отпросился со сверхурочной работы на лесном складе и сразу побежал домой. Дверь была открыта. Он вбежал в комнату. На лице у него сияла улыбка.

В квартире было пусто.

— У-у, — протянул он разочарованно. Положил чек на комод, чтобы Мария сразу его заметила. В те редкие вечера, когда он работал допоздна, она гостила у нижних соседей.

«Пойду поищу ее, — решил он, потом передумал. — Нет, скажу наедине». Антонио сел на кровать.

— Старушка кровать, — сказал он, — прощай. Прости. — Он нетерпеливо постучал пальцами по медным львам. Прошелся по комнате. — Ну, где же ты, Мария! — Он представил ее улыбку.

Антонио ждал, что сейчас услышит, как она легко взбегает по лестнице, но вместо этого до него донеслись чьи-то медленные, осторожные шаги. «Нет, моя Мария так не ходит», — подумал он.

Дверная ручка повернулась.

— Мария!

— Ты рано! — сказала она со счастливой улыбкой на лице. Догадывалась ли она? Видно ли было что-нибудь по его лицу? — А я была внизу, — продолжала она звонким голосом, — и всем рассказывала!

— Всем рассказывала?

— Я была у доктора!

— У доктора? — изумился он. — И что же?

— Что? А то, ты — папочка!

— Ты хочешь сказать, я...

— Да, ты — папочка, папочка, папочка!

— О-о, — вырвалось у него, — вот почему ты так осторожно поднималась по лестнице.

Он обнял ее. Не слишком крепко. Расцеловал в обе щеки. И завизжал от радости, зажмурив глаза. Потом поднял с постели соседей и им рассказал, потом, окончательно прогнав у них сон, рассказал все снова. Было немного вина, вальс, бережные объятия. Он целовал ее брови, веки, нос, губы, виски, уши, волосы, подбородок. Было уже за полночь.

— Чудо! — вздохнул он.

Они опять остались одни в своей комнате, было душно, их веселые, шумные гости ушли. Они опять остались одни.

Антонио уже собирался выключить свет, как вдруг заметил чек на бюро. Озадаченный, он стал думать, как бы потоньше и поделикатнее сообщить ей эту новость.

Мария, как замороженная, сидела в темноте, на своей половине кровати. Она двигалась, словно была какой-то диковинной куклой, словно ее разобрали и снова собрали по частям. Ее движения были плавны, будто она жила на дне теплого сумрачного моря.

Наконец, осторожно, чтобы не сломаться, она легла на подушку.

— Мария, мне надо тебе что-то сказать.

— Да? — отозвалась она чуть слышно.

— Теперь в твоём положении, — он нежно сжал ее руку, — тебе нужна удобная, мягкая кровать.

Она не вскрикнула от радости, не повернулась к нему, не бросилась обнимать.

— Это же орган, фисгармония какая-то, а не кровать.

— Это — кровать, — сказала она.

— Да под ней же стадо верблюдов спит!

— Нет, — возразила она тихо, — эта кровать еще даст миру целые округа честных избирателей, командиров, которых хватит на три армии, двух балерин, одного высокого полицейского и семь басов, альтов и сопрано.

Антонио покосился на чек, белевший в темноте на комод. Пощупал износившийся матрас. Пружины плавно сжались, узнавая хозяина, каждый его мускул, каждую утомленную косточку.

Он вздохнул.

— Мы не будем больше ссориться, моя маленькая.

— Мамочка, — поправила она.

— Мамочка, — повторил Антонио.

Потом он лег, закрыл глаза, натянул на себя одеяло. Рядом, в темноте, бил великолепный фонтан. Он лежал под суровыми взглядами свирепых медных львов, на него смотрели янтарные сатиры, хохочущие химеры. Он лежал и прислушивался. И слышал.

Звуки доносились словно издалека, еле слышно, потом яснее, яснее...

Мария держала руку над головой и осторожно подбирала на блестящих медных трубках старинной кровати, на дрожащих струнах арфы какой-то мотив. Это была... Это была... Ну, конечно, «Санта Лючия»!

Вытянув губы, он стал напевать: «Санта Лючия! Санта Лючия!»

О, это было восхитительно!

Посылку доставили с полуденной почтой. Мистер Эндрю Лемон потряс ее и сразу же, по звуку, догадался, что там, внутри. Мелькнула мысль об огромном волосатом тарантуле.

Прошло немало времени, прежде чем он собрался с духом, дрожащими пальцами разорвал шелестящие обертки и поднял крышку картонной коробки.

На снежно-белой парчовой подушечке, оцетинившись, лежало нечто безликое, этакий лохматый ком из конского волоса, каким набита старая софа. Эндрю Лемон хихикнул.

— Индейцы приходили за этим и уходили, оставляя после себя кровавую память. Итак, приступим.

Приложив паричок с подкладкой из новой лакированной кожи к своему голому черепу, он приподнял его, как приподнимают шляпу, чтобы поздороваться с прохожим.

Паричок сидел как влитой, скрыв аккуратную, размером с монету, дырку, уродовавшую верхнюю часть лба. Эндрю Лемон, взглянув на странного человека, отразившегося в зеркале, издал восторженный вопль.

— Эй, ты кто такой? Лицо вроде знакомое, но ей-же-ей, пройдешь мимо и не оглянешься! А почему? Потому что теперь этого больше нет! Проклятая дыра исчезла, никто и не подумает, что она когда-то украшала мой лоб! С Новым Годом вас, мужчина, да, вот именно — с Новым Годом!

И он, улыбаясь, кругами заходил по комнатке, раздираемый желанием выйти на улицу, но страшась распахнуть дверь и удивить мир. Он походил перед зеркалом, искоса поглядывая на незнакомца, снующего за поверхностью стола, и всякий раз, встречаясь с ним глазами, смеялся и тряс головой от радости. Затем сел в кресло-качалку и, ухмыляясь, покачался, перелистывая номера «Дикого Запада» и «Захватывающих фильмов». Но не смог удержаться, чтобы не провести правой дрожащей рукой по лицу, постепенно подбираясь к краешку хрустящей осоки, нависшей над его ушами.

— Разреши угостить тебя, парень!

Он распахнул покрытую пятнышками дверцу аптечки и трижды глотнул из горлышка. На глаза набежали слезы, и он хотел уже было отрезать кусок жевательного табака, как вдруг остановился, прислушиваясь.

За дверью, в темном коридоре, раздался едва различимый шорох, словно мышь пробежала по истертой ковровой дорожке.

— Мисс Фремвелл, — пояснил он своему отражению в зеркале.

В одно мгновение паричок был содран с головы и брошен обратно в коробку. Лемон, покрывшись холодным потом, захлопнул крышку, не в силах вынести даже звука шагов этой женщины, двигавшейся мимо, словно летний ветер.

На цыпочках мужчина прокрался к запертой двери, ведущей в смежную комнату, и склонил голую, яростно полыхающую от возбуждения голову. Он услышал, как мисс Фремвелл вошла к себе в комнату и принялась готовить себе ужин, позвякивая фаянсовой посудой, ножами и вилками. Затем отошел от запертой на задвижку, засов и замок, да еще и забитой намертво четырехдюймовыми гвоздями двери. Мужчина вспомнил о ночах, когда просыпался в своей одинокой постели, представляя, как она вытаскивает гвозди, откидывает засов, отодвигает задвижку... И как после подобных мыслей ему требовалось минут сорок, чтобы снова погрузиться в сон.

Теперь еще около часа она будет шелестеть в своей комнате. Наступит темнота. На небо высыплют звезды, когда он постучит к ней и спросит, не хочет ли она посидеть на крыльце или прогуляться в парке. И тогда, если она захочет узнать о его третьем, слепом глазе, то ей придется вот так, плавно и мягко, провести ручкой по его голове. Но ее маленькие беленькие пальчики никогда не подберутся к шраму души его ближе, чем на тысячу миль, и он так и останется для нее, словно, ну, словно... вон те оспины на лице луны. Пальцем ноги он взлохматил номер «Удивительных Научных Сказок» и фыркнул. Быть может, если она начнет фантазировать по этому поводу — ведь каждый хотя бы раз в жизни написал песенку или стишок? — то ей представится, как давным-давно на него налетел метеор, стукнул по лбу и исчез в таких далях, где нет ни кустов, ни деревьев, только пустота. Он снова фыркнул и покачал головой. Возможно, возможно. Но что она подумает, станет ясно только на закате.

Эндрю Лемон подождал еще час, изредка поплеывая из окошка в теплую летнюю ночь.
— Восемь тридцать. Пора идти.

Он распахнул дверь в холл и на мгновение задержался, оглянувшись на скрывающийся в коробке паричок — новый, отличный паричок. Нет, пока он еще не мог выйти в нем на люди.

Он прошел по коридору к дверям мисс Наоми Фремвелл, таким тонюсеньким, что, казалось, сквозь эту перегородку можно услышать биение ее сердца.

— Мисс Фремвелл, — прошептал он.

Он захотел взять ее, словно птичку, в свои большие ковшеобразные руки и тихонько поговорить. А она будет молчать. Но вытирая пот, внезапно набежавший на лоб, он вновь наткнулся на впадину и только в самый последний момент удержался, а то бы рухнул на дверь, задыхаясь от крика, ввалился в чужую комнату! Он приложил руку ко лбу, пытаясь скрыть зияющую пустоту. И ему стало страшно, он ни за что не хотел опускать ладонь. Все изменилось. Только что он боялся ввалиться в комнату, а теперь испугался, что нечто ужасное, тайное, личное может вырваться из-за этой двери и захлестнуть его.

Свободной рукой он еще раз царапнул по панели, словно стирая въевшуюся пыль.

— Мисс Фремвелл?

Он немного отступил, пытаясь определить, сколько ламп зажжено у нее в комнате. Ведь свет от них может ударить ему в лицо в тот момент, когда она распахнет дверь, отбросить его руку и обнажить зияющую рану. И тогда она будет внимательно, как в замочную скважину, смотреть в нее, разглядывая его жизнь.

Сквозь щель под дверью пробивался тусклый свет одной лампы.

Он сжал пальцы в кулак и трижды опустил его на дверь мисс Фремвелл.

Створка распахнулась и медленно отошла вбок.

Позже, сидя на веранде, в лихорадочном бесчувствии переставляя ноги, потя, он попытался набраться храбрости и завести разговор о женитьбе. Когда луна поднялась в полный рост, дыра на его голове стала выглядеть, как тень от листа. Если он постарается держаться к ней в профиль, то кратер и вовсе не будет заметен, он растворится в черноте обратной стороны его лица. Но, повернувшись боком, Эндрю Лемон понял, что половина его словарного запаса бесследно испарилась, а сам он превратился в какой-то пень.

— Мисс Фремвелл, — выдавил из себя Эндрю Лемон.

— Да? — Она смотрела сквозь него.

— Мисс Наоми, я думаю, что до последнего времени вы меня совсем не замечали.

Она ждала. Он продолжил.

— Но я-то вас видел. Дело в том, что ну-у, сейчас я должен наконец сказать вам все до конца. Мы с вами сидим здесь, на этом крыльце, в течение последних нескольких месяцев. Я хочу сказать, что теперь мы знаем друг друга довольно неплохо. Конечно, вы на целых пятнадцать лет моложе, но я хотел бы спросить: что вы скажете, если мы объявим о нашей помолвке?

— Спасибо вам большое, мистер Лемон, — сказала она быстро и вежливо. — Но я...

— О, понимаю! Я понимаю! Это все из-за моей головы, все из-за этой проклятой штуки! Она посмотрела на его профиль в неверном свете луны.

— Нет, мистер Лемон, я бы так не сказала, то есть я бы сказала, что это здесь вовсе не при чем. Я, разумеется, не слепая, но вряд ли э т о может стать действительной помехой. Моя подруга, очень близкая, кстати, вышла замуж за человека с деревянной ногой. Так после она рассказывала мне, что некоторое время вообще об этом не подозревала.

— Все из-за этой проклятущей дыры! — горько воскликнул мистер Лемон. Он вытащил плитку прессованного табака, прикинул, удобно ли будет куснуть разочек, передумал и убрал ее в карман. Руки его сжались в кулаки, и он уныло уставился на них, словно на две каменных глыбы. — Ну, что же, я расскажу вам об этом все, мисс Наоми. Я расскажу, как все произошло.

— Если не хочется — тогда лучше не надо.

— Когда-то я был женат, мисс Наоми. Я был женат, черт побери! И вот в один прекрасный день моя женушка взяла молоток и просто-напросто ударила меня прямо по лбу!

Мисс Фремвелл задохнулась. Словно тот давний удар настиг ее сейчас.

Мистер Лемон рубанул кулаком теплый вечерний воздух.

— Да, мэ, она стукнула меня прямо в лоб, вот так. И мир взорвался, уверяю вас! Все обрушилось; так здание обращается в руины. Один-единственный ударчик похоронил меня! Что боль? Это не поддается описанию!

Мисс Фремвелл углубилась в себя. Она закрыла глаза и принялась размышлять, покусывая губы. Затем сказала:

— Бедный, бедный мистер Лемон.

— Она сделала это так спокойно, — в смятении произнес мистер Лемон. — Она просто встала надо мной, когда я лежал на кушетке, было два часа пополудни, вторник, и сказала: «Эндрю, проснись!» Я открыл глаза, посмотрел на нее, и все, и она ударила меня молотком. О Боже!

— Но почему? — спросила мисс Фремвелл.

— Да просто так, действительно: просто так. Ох, до чего же невыносимая была женщина!

— Но почему ей взбрело в голову сделать это!

— Я же говорю вам: просто так.

— Она что, была сумасшедшей?

— Вполне возможно. О, да, даже наверняка.

— И вы подали на нее в суд?

— Да нет, не стал. В конце концов, она же не соображала, что делает.

— Вы потеряли сознание?

Мистер Лемон задумался, в его мозгу вырисовывалась картинка — настолько четкая и навязчивая, что ему не оставалось ничего другого, как облечь ее в слова.

— Нет, я помню, как встал. Я встал и сказал ей: «Что же ты делаешь?», и потом

заковывлял в ее сторону. Там было зеркало. Я увидел дыру в голове, глубокую-глубокую, и кровь, вытекающую из нее ручьем. Я стал похож на жертву индейца. А она, моя жена, просто стояла. Потом закричала от ужаса, уронила молоток и убежала.

— И после этого вы упали в обморок?

— Нет, не упал. Каким-то образом я вышел на улицу и промычал, что мне нужен врач. Потом сел в автобус, представляете себе, в автобус! Да еще заплатил за проезд! И попросил высадить меня возле какой-нибудь больницы. Тут все как закричат, представляете? Потом я отключился, а, очнувшись, понял, что над раной колдует врач, прочищает ее, копается там.

Он поднял руку, и его пальцы запорхали над раной, ощупывая ее со всех сторон, — так язык дотрагивается до пустого места, на котором совсем недавно рос отличный, здоровый зуб.

— Аккуратная работа. Доктор смотрел на меня так, словно я — без минуты покойник.

— И сколько же дней вы провели в больнице?

— Два. Потом встал и принялся бродить, чувствуя себя непонятно как. А в это время жена упаковала свои вещички и улепетнула.

— Боже мой, боже мой, — вновь обретя дыхание, произнесла мисс Фремвелл — Мое сердце стучит, как сумасшедшее. Я словно бы все это вижу, слышу, чувствую. Почему, почему, ну почему же она так поступила?

— Я говорил вам: не вижу никакой причины. Просто спятила, так я думаю.

— Но, может, была какая-нибудь ссора?!..

Кровь прихлынула к щекам мистера Лемона. Он почувствовал, что дыра на лбу запыхала, словно жерло вулкана.

— Да не было никакой ссоры, просто сидел совершенно спокойно, вот как сейчас. Днем я люблю сидеть, сняв башмаки, расстегнув рубашку...

— Может... может, у вас была другая женщина?

— Нет, никогда, ни одной!

— А вы не... выпивали?

— Нет, так, иногда, капельку; знаете, как это приятно...

— В карты играли?

— Нет, нет, нет!

— Но дыра у вас в голове, мистер Лемон?! Ее что же — просто так проделали, из-за ничего?!

— Вы, женщины, похожи друг на друга. Обязательно подавай вам какую-нибудь гадость! Говорю вам — не было никакой причины. Она просто обожала молотки.

— А что она сказала перед тем, как вас стукнуть?

— Только «Эндрю, проснись», — и все.

— А перед этим?

— Да ничего. Ну, то есть, она говорила что-то насчет магазинов, что ей нужно сделать кое-какие покупки, но я сказал, что слишком жарко. Что я лучше полежу, потому как не очень хорошо себя чувствую для подобного похода. Но ее не заботило мое самочувствие. Она просто психанула, а затем, с часок об этом поразмышляв, схватила молоток и сделала из моей головы яичницу. Я думаю, это погода так на нее повлияла.

Мисс Фремвелл задумчиво сидела в тени, расчерченной квадратами решетки, потихоньку поводя бровями.

— И как долго вы были женаты?

— Год. Помню, что поженились мы в июле и тогда же я захандрил.

— Захандрили?

— Я никогда не был особенно здоровым человеком. Работал в гараже. Вот там-то и подхватил поясничные боли, и не мог больше работать, а лежал целыми днями на кушетке. А Элли, она служила в Первом Национальном Банке.

— Все ясно, — сказала мисс Фремвелл.

— Что?

— Ничего.

— Со мной вообще-то легко ужиться. Я попросту не болтаю. Характер мягкий, спокойный. Деньги зря не трачу — экономлю. Даже Элли признавала это. А еще не люблю ссор. Иногда Элли выпячивала челюсть и начинала меня заводить, словно кидая мячик, но я не возвращал подобные подачи. Сидел и молчал. Я отношусь к этому просто. Что за польза, если все время шебуршиться и чесать языком, не так ли?

Мисс Фремвелл посмотрела на лоб мистера Лемона при лунном свете. Губы ее задвигались, но он не расслышал ее слов.

Внезапно она вскочила на ноги, глубоко вздохнула и, оглядевшись вокруг, заморгала, словно удивляясь тому, что за стеклами веранды существует мир.

Некоторое время дорожные звуки были почти не слышны, и тут их словно кто-то включил. Мисс Фремвелл со стоном вздохнула.

— Как вы сами только что сказали, мистер Лемон, чесание языков вас никуда не приведет.

— Правильно, — воскликнул он. — Я человек спокойный, неразговорчивый...

Но мисс Фремвелл не смотрела на него, рот ее кривился. Увидев это, он замолчал.

Вечерний ветерок раздул ее платье и рукава его рубашки.

— Уже поздно, — сказала мисс Фремвелл.

— Но сейчас всего девять часов!

— Завтра мне рано вставать.

— Но вы так и не ответили на мой вопрос, мисс Фремвелл.

— На вопрос? — Она моргнула. — Ах да, на вопрос. — Она поднялась с плетеного стульчика и попыталась на ощупь отыскать ручку-кнопку от входной двери. — Мне необходимо хорошенько обдумать все сказанное вами, мистер Лемон.

— Но я же прав! Вся эта болтовня ни к чему хорошему не ведет!

Дверь закрылась. Он слышал, как девушка проходит по темному теплому холлу, и часто-часто дышал, чувствуя на лбу свой третий глаз — глаз, которому никогда не прозреть.

Он ощутил, как в грудной клетке зашевелилось нечто смутное, словно там поселилась болезнь от затянувшейся беседы. А затем, вспомнив о новой белой подарочной коробке, ожидающей его прихода на столе, заспешил к себе. Открыл дверь и направился к своей комнате. Войдя, он чуть было не растянулся, поскользнувшись на номере «Романтических сказок». Лемон порывисто включил свет, несколько неуклюже открыл коробку, заулыбался и поднял паричок с подушек. Он стоял перед зеркалом и, следуя инструкциям, поправлял и подтыкал свой шлем. Причесался, затем вышел из комнаты и постучал в дверь мисс Фремвелл.

— Мисс Наоми? — позвал он, улыбаясь.

При звуке его голоса лампа за дверью погасла.

Еще не веря, он приник к темной замочной скважине.

— Мисс Наоми? — повторил он торопливо.

Но в комнате ничего не изменилось. По-прежнему было темно. Чуть погодя он подергал дверную ручку. Она не поддалась. Он услышал вздох мисс Фремвелл и несколько слов, но ничего не разобрал. Ее маленькие ступни прошлепали к двери.

Включился свет.

— Да? — сказала она.

— Посмотрите на меня, мисс Наоми, пожалуйста, — умолял он. — Откройте дверь и посмотрите.

Звякнула задвижка, и дверь приоткрылась на дюйм. Его внимательно осмотрели.

— Посмотрите, — произнес мистер Лемон гордо, натянув паричок на вмятину. Он представил, что видит себя отраженным в ее зеркале, и приосанился. — Вы только посмотрите сюда, мисс Фремвелл.

Щель немного увеличилась, но дверь тотчас же хлопнула; щелкнула задвижка, и девушка за тонкой преградой бесстрастно приговорила его:

— А голова-то у вас, я гляжу, все-таки дырявая.

- Он высокий, — сказала семнадцатилетняя Мэг.
- Темноволосый, — добавила Мари, на год старше сестры.
- Красивый.
- И сегодня вечером он придет к нам в гости.
- К обеим? — воскликнул отец.

Он всегда восклицал. За двадцать лет супружества и восемнадцать лет отцовства он почти разучился разговаривать иначе.

- К обеим? — повторил он.
- Да, — подтвердила Мэг.
- Да, — повторила Мари, улыбаясь бифштексу на тарелке.
- Не хочется есть, — сказала Мэг.
- Не хочется, — отозвалась Мари.
- За это мясо, — воскликнул отец, — платили больше доллара за фунт! И сейчас вы хотите есть.

Дочери умолкли и стали жевать, но явно проявляли признаки беспокойства.

- Не ерзайте! — воскликнул отец.
- Девушки посмотрели на дверь.
- Не вертитесь! Попадете вилкой в глаз.
- Такой высокий, — сказала Мэг.
- Такой темноволосый.

— И красивый, — завершил отец, обращаясь к матери, которая вошла с кухни. — Скажи, пожалуйста, в какое время года женщины чаще сходят с ума? Весной?

- Как правило, лечебницы переполнены в июне, — ответила та.
- Сегодня с четырех часов дня наши дочери как-то странно себя ведут, — сказал отец. — Юношу, который придет вечером, они собираются поделить на двоих, словно торт. А можно сравнить это с бойней, где еще минута, и бычка стукнут по башке, а потом разрежут пополам. Интересно, мальчик знает, что его ждет?

— Мальчики друг друга предупреждают, насколько я помню, — сказала мать.

— Мне легче не стало, — продолжал отец, — я знаю, что мужчина в 17 лет — идиот, в 18 — болван, к 20 развивается до придурка, в 25 он простофиля, в 30 — ни то ни се, и только к славному 40-летнему возрасту становится обычным дураком. И сердце мое обливается кровью при мысли о «бычке», которого эти девицы принесут вечером в жертву, как древние инки.

— Ты прямо из себя выходишь, — сказала мать.

— Они не воспринимают. Сейчас для них все пустой звук. Кроме отдельных слов. Хочешь убедиться? — Отец наклонился к дочерям, безучастно уставившимся в свои тарелки, и произнес:

- Любовь.
- Девушки очнулись.
- Настоящий роман.
- Встрепенулись.
- Июнь, — произнес отец, — свадьба.

Легкая конвульсия передернула его дочерей.

— А теперь передайте мне подливку.

— Добрый вечер, — сказал отец, открывая парадную дверь.

— Здравствуйте, — ответил парень, высокий, темноволосый и красивый, — меня зовут Боб Джонс.

«Редкое имя, ничего не скажешь», — подумал отец и сказал:

— Пожалуйста, проходите. Мои дочери наверху, меряют все свои платья. Хотят произвести на вас впечатление.

— Спасибо, — ответил Боб Джонс, который возвышался над отцом, как башня.

— Вас довольно много, Боб, — сказал отец. — Чем вы занимались, когда вам был месяц от роду? Толкали вагоны?

— Не совсем, — улыбнулся Боб. Здороваясь с отцом, он так тряс его руку, что тому пришлось сплясать что-то вроде танца шотландских горцев.

С обреченным видом отец провел «бычка» в любовно разукрашенную «бойню».

— Садитесь, — пригласил он, — нет, не на этот стул: он современный, больше одного человека не выдерживает. Лучше вот на этот. С которой из девушек вы встречаетесь?

— Они еще этого не решили. — Боб улыбнулся.

— А у вас что, нет права голоса? Надо постоять за себя.

— Одна мне нравится больше, но, честно говоря, я боюсь об этом даже заикнуться: растерзают.

— Да, — сказал отец, — и ногтями, и пилками для ногтей. Жуткая смерть. Позвольте дать вам один совет. Впрочем, скажите сначала, чем вас угостить, ведь это ваша последняя трапеза. Сандвичи, фрукты, сигареты?

— Я съем немножко фруктов, — сказал парень. Он сгреб охалку персиков с кофейного столика; отец не успел глазом моргнуть, как их поглотила доменная печь в образе человека.

— Что же вам еще посоветовать? — начал отец. — Мэг красивее, зато у Мари есть индивидуальность. Это лотерея. Впрочем, любая из них будет прекрасной женой.

— Э-э-э-э, не торопите меня со свадьбой.

— А я и не тороплю. Хорошенько подумав, вы можете жениться в любой день на этой неделе. Интересно, как мои дочери решат, которой из них вы достанетесь?

— Они мне устроят экзамен.

— Экзамен?

— Ну да, устный и письменный, как в школе.

— Боже милостивый, никогда про такое не слыхал.

— Да, суровое испытание. Я дрожу, как кролик.

— И вы считаете это правильным?

— Видите ли, сэр, нельзя заставить баскетбольного болельщика встречаться с тем, кто баскетбол терпеть не может. Мы подошли к вопросу научно, как нас учили на уроках психологии.

— Звучит не так уж глупо.

— Совершенно верно, — ответил серьезно Боб Джонс. — Итак, девушки будут задавать вопросы мне, вопросы друг другу, а я им, а потом мы все вместе сделаем вывод.

— Вот это да! — воскликнул отец.

— А вы не знаете, сэр, — юноша смутился, — какого рода вопросы они будут мне

задавать? За столом не обсуждали?

— Боб, с моей стороны это было бы нечестно.

— Вы правы. — Боб нервно хихикнул и уничтожил еще один персик, куснув пару раз.

— Хотя, честно говоря, я действительно ничего не видел и не слышал, — сказал отец, — эти ведьмы варили свое зелье без свидетелей. Впрочем, они скоро спустятся сюда и принесут перстни Борджиа^[4] или что-нибудь в этом роде. Съешьте еще персик.

— Съем, если вы не против.

Дом задрожал, словно предвещая бурю.

— Живи мы в Калифорнии, — сказал отец, глядя на пляшущую люстру, — я решил бы, что начинается землетрясение или на дне океана произошел геологический сдвиг. Но поскольку мы в Иллинойсе, я думаю, что просто мои дочери спускаются по лестнице.

Так оно и было.

— Боб! — воскликнули обе девушки еще в дверях и сразу смолкли. Как последний ружейный залп, на который ушли все патроны. Они смотрели на Боба, на отца, друг на друга.

— Я, пожалуй, пройду по саду, — сказал отец — Или даже по улице. А может, мне быть вашим рефери?

— Как хочешь, — сказали дочери, и отец поспешил выскользнуть на улицу, обойдя девушек и гостя, занятых рукопожатиями.

Вернувшись с прогулки, отец застал мать в гостиной.

— Как продвигается большой любовный экзамен? — спросил он.

— Сидят в саду под лампой и почти все время молчат, — ответила та. — Только и делают, что смотрят друг на друга.

— А что, если я немного подслушаю?

— Нет, что ты, это нечестно.

— Милая женушка, не так часто приходится присутствовать при грандиозном явлении природы. Я, может, никогда не доберусь до Парикутина или Кракатау^[5], не увижу Большого Каньона, но уж если в моем собственном саду происходит расщепление атомного ядра... стоит взглянуть хотя бы на дым. Я останусь незамеченным.

Он вошел в темную кухню и стал внимательно слушать.

— Итак, сколько вам лет? — спросила Мэг.

— Восемнадцать ему, глупая, — вмешалась Мари.

— Что вы любите больше всего: баскетбол, бейсбол, танцы, плавание или хай-алай?^[6]

— Да не так! — запротестовала Мари — Ты бери спорт отдельно от развлечений! Если ты все смешиваешь, любой парень скажет тебе, что любит бейсбол, и замолчит. Нужно спросить, например: вы любите больше танцы или кино? Что вы скажете, Боб?

— Танцы, — ответил Боб.

Взвизгнув от восторга, девушки сделали пометки в своих карточках, где вели счет очкам. Дипломат, подумал отец, ничего не скажешь.

— Плаванье или теннис? — спросила Мари.

— Плаванье.

Девушки взвизгнули снова. Гений, подумал отец.

Сестры порхали вокруг Боба, словно птички, строящие гнездо. Любит ли он пиво или пломбир, спрашивали они, свиданья в пятницу или в субботу, с одной девушкой или несколькими, какой у него рост, нравится ли ему больше английский или история, спорт или

общественная работа?

Боб Джонс уже начал отвлекаться и поглядывать в сад. Девушки, однако, писали без усталости, шуршали листками, слагали и вычитали очки.

Отец хотел было оторваться от волнующего зрелища — и как раз в этот момент раздался звонок у парадной двери. Когда он ее открыл, в дом впорхнула Пери Ларсен, подвижная хорошенькая блондинка со сверкающими глазами. Смотреть на Пери было все равно что наблюдать море в солнечную погоду: все время что-то происходит, меняется то тут, то там — и всюду сразу.

— Это я! — воскликнула Пери.

— Действительно, это вы, — сказал отец.

— Меня позвали судить.

— Не может быть.

— Да-да, Мэг и Мари позвонили мне и сказали, что не могут довериться друг другу подсчет очков. А Боб уже здесь?

— А вон гора в саду, вокруг которой кружатся две птицы.

— Бедный Боб. Жуть как интересно! — Пери прыгнула мимо отца, пролетела сквозь кухню; хлопнула дверь, ведущая в сад.

Отец стоял, держась за подбородок: он пытался вспомнить, как выглядит Пери. Потом повернулся к жене.

— Ты знаешь, меня терзают предчувствия, — сказал он, — надвигается трагедия. Наши дочери будут рыдать, стенать и рвать на себе волосы.

— Увидим сцену из «Медеи»?

— Или из «Грозового перевала»^[7]. Ты когда-нибудь приглядывалась к Пери Ларсен? Я, к сожалению, ее рассмотрел. Если у нашей Мэг внешность, а у Мари индивидуальность, то у Пери и то и другое плюс голова на плечах. И все в одном человеке! Так что будь уверена: разразится буря.

Она разразилась довольно скоро.

В саду раздался истошный крик, потом пререкания. Женские голоса спорили на все более высоких нотах. Снова подсчитывали очки, слагали, вычитали, делили и выражали алгебраической формулой. Отец стоял не двигаясь в центре гостиной и «переводил» матери вопли, доносившиеся из сада.

— Пери говорит, что по очкам Боб достается Мари. — В саду кто-то взвыл. — Поясняю: воеет Мэг.

— Боже, — вздохнула мать.

— Так, немного изменилась расстановка сил. — Он подвинулся в сторону кухни. — Пери ошиблась: если взять за основу футбол, хоккей и молочные напитки, то Боба получает Мэг.

Из сада донесся рык раненой львицы.

— А это Мари. Глодает муравьиный яд, не сходя с места.

— Стоп! — раздался голос.

— Стоп! — Отец поднял руку, призывая к вниманию гостиную и все, что находится в ней, вплоть до каждого стула.

— Проверяют снова? — спросила мать.

— Именно, — сказал отец. — Теперь получилось, что количество очков одинаковое, значит, Бобу придется встречаться с обеими.

— Не может быть!

— Да, да.

По саду прокатилось, как гром, рычание попавшего в капкан медведя.

— А это Боб Джонс.

— Пойди посмотри, какое у него лицо, — сказала мать.

— Милая Пери Ларсен, я думаю, она...

Дверь, ведущая из сада, распахнулась, Мэг и Мари влетели в дом, размахивая карточками:

— Папа, посчитай, вычисли сам, папа. Помоги, пожалуйста!

— Ну хорошо, хорошо. — Отец оглянулся на дверь, ведущую в сад, где Пери и Боб остались наедине. Он прикрыл глаза, прочистил горло, словно собираясь что-то сказать, потом взял в руки карандаш.

— Пока я тут подсчитываю, почему бы вам не вернуться в сад и...

— Мы здесь подождем.

— Вам бы лучше...

— Считай же, мы подождем.

— Однако...

— О господи, папа!

— Ну ладно, начнем. Два очка за футбол, два за коктейль, дайте-ка подумать...

Он считал какое-то время, а дочери стояли рядом, дрожа от нетерпения. В саду царил зловещая тишина. Отец поднимал глаза, говорил «м-м-м», ошибался в расчетах. Наконец дверь черного хода распахнулась, и Пери Ларсен, улыбаясь, пересекла дом.

— Как дела? — спросила она на ходу. — Идут?

— Медленно, — ответил отец. — А может быть, и быстро. Это как смотреть.

— Я вспомнила: есть работа по дому. Надо бежать! — В мгновение ока Пери была на парадном крыльце.

— Пери, вернись! — вскричали девушки, но она была уже далеко.

За дверью черного хода было тихо. К концу подсчетов эта дверь отворилась, и великан Боб Джонс ввалился в дом, как-то глупо мигая.

— М-да, неплохо было... навестить вас, — сказал он с таким видом, словно ему дали по голове, и при этом хихикнул.

— Боб, вы уходите?!

— Только что вспомнил! Сегодня вечером тренировка по бейсболу. Ну прямо вон из головы! Спасибо за персики, мистер Файфилд.

— Скажите спасибо моей жене, это она их вырастила.

Боб Джонс — он все еще выглядел так, словно его оглушили чурбаном, — бродил по комнате, прощаясь со всеми, натываясь на предметы и бормоча извинения, пока наконец не оказался за парадной дверью. Было слышно, как он свалился со ступенек, а потом со смехом поднялся.

— Папа! — воскликнули сестры.

— Ну и ну, — сказала мать.

Отец снова погрузился в расчеты: он боялся смотреть вверх, на бледные лица своих дочерей. А они наблюдали, как он расставляет последние знаки в своих вычислениях.

— Папа, — спросили девушки, — что у тебя получилось?

— Дети мои, — сказал он, набравшись решимости, — сдастся мне, что Мэг набрала

полный красивый нуль, а у Мари символ примерно той же формы и содержания. Другими словами, девочки, ни одна из вас не получит этого мужественного юношу. Вы забыли о двух простых вещах.

— Каких?

Отец молча прошел в спальню и вернулся с сумочкой матери, из которой извлек флакончик духов и тюбик красной губной помады.

— Вот об этом вы забыли, — сказал он. — И еще: видели вы, какое было у Боба лицо, когда он выбирался из дома?

Сестры молча кивнули.

— Это выражение вам следует запомнить: оно обозначает, что вам давным-давно следовало замолчать. Не думаю, что вы увидите мистера Джонса еще раз.

Девушки тихо застонали.

— А теперь, — сказал отец, взглянув на часы, — ровно через пятнадцать минут в «крематории» позади нашего дома состоится небольшая церемония, на которую вас просят явиться, захватив учебники психологии, а также результаты тестов, экзаменов, конкурсов. Совершать обряд сожжения буду я. Потом мы все направимся в ближайший кинотеатр, посмотрим удлиненную программу и выйдем оттуда обновленными. Мы осознаем, что жизнь продолжается, что Боб Джонс не так уж высок, темноволос и красив, как нам когда-то казалось.

— Есть, — сказала Мэг.

— Есть, — сказала Мари.

Написав поперек карточек для подсчета очков: «Пери Ларсен— 1, семейная команда — 0», отец добавил:

— А теперь одеваться! Одна нога здесь, другая там.

Девушки медленно поднимались по лестнице и лишь на самом верху побежали. Отец сел в кресло, раскурил свою трубку и сделал несколько затяжек с видом философа.

— Научатся, — сказал он наконец.

Мать кивнула, не произнося ни слова.

— Тебе придется дать им несколько уроков, — продолжал он.

Она снова молча кивнула.

— Ну и вечером, — сказал отец.

Мать снова ничего не сказала: ведь она была из тех женщин, какими ее муж надеялся увидеть своих дочерей.

Так же молча она встала со своего стула, улыбаясь, подошла к мужу и поцеловала его в щеку. Потом, тихо ступая и не произнося ни слова, оба пошли в другие комнаты, чтобы собраться в кино.

Отец втянул носом воздух:

— Чем это пахнет?

— Наши дочери пишут маслом, — ответила мать.

— Мэг и Мари? — Повесив шляпу, отец взял мать под руку и повел в гостиную. —

Пишут картины?

— Да, в своем святилище наверху. Если ты трижды постучишь в дверь и очень вежливо попросишь, может, новоявленные Ван Гоги тебя впустят.

— Обязательно попрошу. Я должен быть в курсе.

Поднявшись на второй этаж, в более изысканную часть дома, где пахло пудрой и загаром, духами и экстрактом для ванны, отец осторожно постучал в дверь, ведущую в комнату дочерей. Здесь запах был сильнее: резкая, отдающая осенью смесь скипидара и красок — так пахнет в обители воображения, может быть, гения. Отец улыбался своим мыслям, когда ему открыли дверь.

— Привет, папа, — сказала Мари.

— Входи, — сказала Мэг, — посмотри. — Она стояла у старого камина, служившего ей мольбертом, с кистью в руке, на носу мазок белой краски.

Отец подошел поближе.

— Хотите сказать, что соперничаете с Рембрандтом?

— О, ничего подобного!

— Ну что ж, если в двух девицах, семнадцати и восемнадцати лет, бурлит и прорывается творческое начало — это приятно. А может, живопись нужна вам по программе колледжа?

— Боже, конечно, нет. Мы просто пытаемся создать портрет идеального мужчины.

— Пытаетесь... Как вы сказали?

— Пытаемся показать, какие мальчики нам нравятся.

У каждого из приятелей берем лучшее. Плюс творческое воображение. Понимаешь?

— Кажется, да.

— Десять учениц пишут портреты ребят, с которыми им хотелось бы встречаться. Это конкурс школьного клуба.

— Все это очень хорошо, — ответил отец, — но что вы будете делать, окончив портреты? Разыскивать Прекрасных принцев в жизни?

— Попытка не пытка, папа.

— Да, конечно. — Отец придал своему голосу самый дружеский тон. — Ну что ж, посмотрим?

Мэг отступила от своего полотна.

— У меня глаза не получаются.

Держась за подбородок, отец долго смотрел на портрет.

— Да, действительно. Один глаз отклонился почему-то к западу, а другой — к востоку.

— Я, конечно, все время что-то меняю, — поспешно объяснила Мэг, — добавляю новое каждый день.

Отец молчал, поглощенный творением Мэг. Потом перевел взгляд на работу Мари, стоящую рядом на камине.

— То мне кажется, что у него должны быть голубые глаза, то карие, — сказала Мари. —

Просто ужас, до чего я непостоянна. Ну как, нравится парень? Правда, шик-блеск?

— Разве и сейчас говорят «шик-блеск»? — удивился отец. — Это словечко было в ходу еще у нас в колледже, году в тридцать четвертом. Да, этот парень почти что «шик-блеск».

— «Шик-блеск», папа, не может быть «почти». Или да, или нет.

— У него не ладится с подбородком. — Отец прищурился. — Он что — жует конфету, жвачку или грызет леденец?

— Да нет, у него просто волевая челюсть. Я люблю волевою челюсть у мужчин.

Отец удрученно потер свою собственную.

— Этот портрет тоже не окончен?

— Нет, конечно. Пишу понемножку. Так интереснее.

— А что думают о вашей работе Еж и Шутник?

Еж получил свое прозвище за стрижку, напоминающую щетку-скребницу; в последнее время он тихо торчал возле дома по вечерам. Шутник был совсем в другом духе: отец назвал его так потому, что смех этого парня, вернее, хохот, ржанье и гоготанье, сопровождавшиеся судорогами, можно было слышать за версту; иногда этот смех раздавался ясной лунной ночью где-то на ферме. Обычно Шутник рассказывал какой-нибудь анекдот, до сути которого приходилось долго и настойчиво добираться, а потом заходил в пароксизме смеха, повиснув на собеседнике, чтобы не упасть. Но, вообще говоря, Еж и Шутник были симпатичные ребята, совсем непохожие на эти портреты.

— Мы им еще не показывали, — медленно проговорила Мари.

— Наверное придется показать.

— Да, но мы знакомы всего несколько недель.

— Должны же ребята знать своих соперников. А вдруг им захочется подтянуться?

— Папа!

В этот самый момент снизу, со двора, донеслись звуки, от которых мурашки пошли по коже; отец весь сжался, несмотря на свою твердость. Такой же страх испытывали, видимо, миллион лет назад первобытные люди, когда их глубокую спячку нарушали невообразимые звуки, издаваемые динозаврами. Пещерные жители вскакивали и кутали головы в шкуры, а чудовища громоздились у входа, с хрустом перемалывая чьи-то кости. Что касается отца, то и он — вполне человек двадцатого века, в костюме за 75 долларов, с масонским кольцом на пальце и сознающий к тому же, что святость брака и семьи должна придавать ему мужества, — он содрогнулся от этого хохота, и волосы на его голове встали дыбом.

— Шутник, — прошептала Мари.

— Шутник, — ответил отец.

— Я думаю, его лучше впустить.

— Пусть идет по лестнице медленно, — посоветовал отец, — ведь если он сломает ногу, придется пристрелить.

Еж и Шутник стояли в центре гостиной, расставив на ковре здоровенные ноги и разглядывая ногти на руках, отнюдь не идеально чистые. Пока отец спускался по лестнице и здоровался, он успел рассмотреть животных, которых его дочери пригнали с пастбища. Парни были сложены одинаково, и оба напоминали фигуры, наспех собранные из крупных детских кубиков, нанизанных на кости старого мамонта. Их локти вечно отскакивали в стороны, натываясь на предметы — на ребра стоящих рядом людей, на двери, рояли и вазы. Вазам особенно везло: эти локти, казалось, обладали какой-то особой, неизъяснимой силой,

заставлявшей вазы лететь через всю комнату, рикошетом отскакивать от стены, а то и прыгать с каминной полки. Не зря, видно, в свое время в посудных лавках вывешивали объявления, где говорилось без обиняков, что внутрь впускают только мальчиков, умеющих держать руки по швам. Вот и сейчас Еж, которого по-настоящему звали Честер, и Шутник — на самом деле Уолт — изо всех сил старались совладать со своими локтями, ожидая, когда девушки пригласят их в дом.

Отец видел, что у каждого из них было еще по две задачи: первая — удержать на плечах огромную голову, что было довольно трудным жонглерским трюком, потому что она все время куда-то клонилась, сгибая шею; и вторая — следить за тем, чтобы ступни, такие же своенравные, как и локти, не стукнули кого-то по щиколотке или не задела стул. Ноги под стать головам и рукам были здоровенными, и, присмотревшись, отец понял, что от них можно каждую минуту ждать чего угодно.

— Эй, — сказал Шутник, — как насчет того, что кто-то пишет портрет Прекрасного принца?

Девушки молчали в изумлении.

— Об этом вся школа гудит, — сказал Еж. — Дайте взглянуть!

— Нет, нет! — воскликнула Мэг.

— Они еще не закончены, — сказала Мари.

— Да ну, — сказал Еж, — не вредничайте!

Сестры посмотрели на отца, отец на сестер.

— Ну что ж, — сказала Мэг, — пошли.

Молодежь поднялась наверх. Чувствуя себя виноватым, отец стоял внизу и прислушивался. Наверху хлопнула дверь, протопали большие ноги. Повисла долгая, напряженная тишина. Отец повернулся было, чтобы уйти на кухню; его остановил рев животного, в которого вонзили нож. Потом последовали выкрики и громовые раскаты.

Шутник хохотал. Он топал ногами как сумасшедший, сотрясая дом. «Боже» — подумал отец.

Но вот и Еж присоединился к нему: он заухал, как филин, потом набрал побольше воздуха и издал вопль. Дочери зловеще молчали. Отец слышал, как парни перекликались: «Посмотри на это!», «А тут что?», «А тут? О-ой!». Наверное, они, раскачиваясь, держались друг за друга, чтобы не упасть и не покатиться по полу.

Отец стоял, схватившись за перила.

Сестры заговорили. Не повышая голоса, но гневно. Потом громче. Шутник и Еж не слышали, потому что продолжали дико хохотать, якобы объясняя друг другу, как хороши оригиналы — их рубиново-красные губы, золотые кудри, тела древних греков. Опьяненные бурным весельем, они, конечно, ходили ходуном перед портретами — это можно было себе представить.

— Честер! Уолт!

Это был пронзительный крик — крик джунглей.

Смех прекратился.

Отец почувствовал, что покрывается испариной. Девушки говорили очень тихо, ледяным тоном, словно с чердака подул зимний ветер. В мертвой тишине их голоса звучали ровно, они почти шипели, как змеи. Отец представил себе, как парням указали на дверь жестко вытянутой рукой. И в самом деле, через минуту Честер и Уолт скатились с лестницы, зажимая рты руками. Они взглянули на отца, а он — вопросительно — на них. В глазах

мальчишек плясали черти. Прижимая ладони к губам, они выскочили из дома. Отец сжался, зная, что дверь грохнет изо всех сил, так и случилось.

— И не возвращайтесь! — крикнула Мэг, стоя на лестничной площадке. Но было поздно.

В сумерках за дверью дома какое-то время было тихо, потом — новый взрыв ненасытного животного смеха. Отец провожал парней глазами, пока они не скрылись из виду: они шли спотыкаясь, облапив друг друга и закинув головы к звездам, совершенно как два пьянчуги, что вывалились из кабака, где провели ночь в загуле.

Позже, к вечеру, зазвонил телефон. Говорил Еж.

— Э-э-э, я просто хотел сказать, что мы оба сожалеем...

— Боюсь, что я не смогу позвать дочерей к телефону, — сказал отец.

— Даже и извиниться нельзя?

— У них наверху дверь заперта.

— Мы все испортили, — сказал Еж несчастным голосом.

— А вы не сдавайтесь. Все станет на свои места.

— Как раз когда все наладилось... — продолжал Еж, — мы уже две недели пытаемся их куда-то пригласить, а они все отнекиваются. И вот мы пришли взглянуть на картины... — Он подавил смешок. — Извините, я и не думал смеяться.

— Я вас вполне понимаю, — сказал отец, — если вам от этого легче.

— Передайте им, что мы очень сожалеем, — сказал Еж. — И раскаиваемся.

Отец поднялся наверх, чтобы передать разговор. Он все сказал через закрытую дверь, но ему даже не ответили. Пожав плечами, он раскурил трубку и сошел вниз.

Всю следующую неделю отец был порядком занят. В те три вечера подряд, что он возвращался со службы раньше обычного, он не видел ни Ежа, ни Шутника. Дочери меж тем рисовали в своей комнате с каким-то рьяным упорством. На четвертый день Еж и Шутник мелькнули в самом конце улицы — что называется, в туманной дали. На пятый день позвонили по телефону. На шестой Мэг сказала им с десяток слов. На седьмой, то есть в воскресенье, парни удостоились высокой чести беседовать с сестрами на крыльце не более пяти минут. К следующей среде ребята уже забегали по три-четыре раза за вечер, пытаясь уговорить девушек пойти с ними в кино или на танцы (то самое свидание, которого они добивались теперь уже больше месяца).

— Как вы считаете, пойдут они с нами, мистер Ф-ай-филд? — спросили они отца, встретив его однажды вечером.

— Все в руках божиих, мальчики, — ответил он.

— По-моему, мы ведем себя прекрасно, — сказал Еж.

— Каемся как черт знает что, — добавил Шутник.

— Мы даже не вспоминаем проклятых портретов!

— Это мудро, — сказал отец и похлопал парней по плечу.

Отношения отца с дочерьми были в ту неделю несколько отчужденными: похоже было, что они и его причислили к мужскому заговору. А он, проявляя благоразумную деликатность, не интересовался тем, как развивается новая форма искусства.

— Ну как, готово? — спросил он однажды.

— Почти, — ответили сестры.

— Нашли ребят, похожих на портреты? — Это прозвучало как бы между прочим.

— Почти.

— Что ж, не теряйте надежду.

На десятый день после ссоры отец улучил момент, чтобы взглянуть на рождение великих полотен, когда дочерей не было дома. Потом он спросил у жены:

— Тебе не кажется, что портреты слегка меняются?

— Не заметила.

— Волосы, например. Ведь оба были блондинами?

— Разве?

— По-моему, и глаза у обоих были сначала небесно-голубыми.

— Может, ты и прав.

— А девчонки говорят тебе что-нибудь... м-м-м... о том, что трудно найти ребят, похожих на идеал?

— Они все время не в духе. Пора бы им прекратить это дурацкое занятие.

— Ерунда. Они умеют приспособливаться, вернее, закаляться в борьбе. Жизнь никогда их не скрутит. Впрочем, эти портреты... Мне кажется, девчонки похудели... Костлявые какие-то. Не могу понять, в чем дело.

— Можно сказать, что этой живописью они сами себя загнали в тупик, — ответила мать, — и не видят выхода. А что там творится с портретами?

— Еще не закончены. Будем ждать. Однако, должен признаться, эта неопределенность меня убивает. — И отец снова побрел наверх, в комнату дочерей.

На одиннадцатый день, а именно в пятницу вечером, придя с работы, отец был удивлен тишиной, царившей в доме. Он подошел к жене, сел рядом и чмокнул ее в щеку.

— Что за безлюдье? — спросил он.

Обеденный стол сверкал серебром и белизной салфеток, но все было не тронуто.

— А где дочери? — продолжал отец.

— Наверху, болеют.

— Болеют?!

— Ты же знаешь, каждый раз, когда у них свидание, они заболевают. Когда появляются кавалеры, они выздоравливают. А к десяти вечера, после кино, каждая сможет выпить по четыре эля^[8]. Кстати, сегодня великий день: они нашли своих Прекрасных принцев.

— Не может быть.

— Так они сказали.

— Я знал, они своего добьются. И кто же герои дня?

— Это большой сюрприз. Они будут здесь через пять минут. Нам придется решать, соответствуют ли они своим портретам.

— Горжусь дочерьми. Молодцы. Поставили цель и достигли ее.

— Они еще после обеда работали: последние мазки, говорят.

— Ну что ж, теперь нам только остается повторить за Малюткой Тимом: «Да осенит нас всех господь своею милостью!»^[9] — сказал отец. — Такое событие следует отпраздновать. Честно говоря, сначала я думал, что девчонки метят слишком высоко.

На улице за углом послышался странный грохот, словно неслась лавиной огромная консервная банка. Дешевый автомобильчик остановился возле дома, наткнувшись на собственные тормоза. Напоследок он подпрыгнул, как на ухабах, и издал скрежет, в котором слышались жалобы и стоны мертвецов.

— Приехали, — сказала мать.

— Я должен их видеть, — сказал отец, сияя. — Будем надеяться, что у избранников есть мозги, соответствующие их красивым лицам.

Пройдя в холл, отец подождал звонка, потом щелкнул выключателем, чтобы осветить крыльцо. Фонарь не зажегся.

— Простите, пожалуйста, — сказал он двум незнакомцам, стоявшим в сумерках. — Все собираюсь сменить проклятую лампочку. Рад познакомиться, я отец девушек. Проходите. Как вас зовут?

Две фигуры неловко протиснулись вперед, к свету.

— А-а вы знаете нас, мистер Файфилд.

Раздался взрыв смеха, внезапный, как порыв зимнего ветра, и сразу же стих, сменившись красивым, застенчивым хохотком.

Молчание.

— Еж, — произнес отец, — Шутник.

— Привет, — ответили парни.

— Я хотел сказать — Честер и Уолт. — Отец поспешно отступил, чтобы пропустить их в холл. — А это... не ошибка? Девушки ждут именно вас?

— Кого же еще? — крикнул со смехом Шутник. Потом опустил голову и сделал новую попытку: — Кого же еще? — На этот раз тихим, деликатным голосом, как настоящий джентльмен.

— Марта, — отец повернулся к жене, — мне кажется, ты сказала...

— Проходите, мальчики, проходите, — поспешно пригласила мать.

— Спасибо. — Парни неловко приблизились и встали под лампой — странные, непохожие, совсем другие.

— Наконец-то нам удалось их пригласить.

— Сломали сопротивление противника, — добавил Уолт.

— Дайте на вас посмотреть, — сказал отец. — Так. Волосы причесаны.

Парни улыбнулись.

— Брюки отглажены.

Посмотрели на свои брюки.

— Руки отмыты, — сказал отец испуганно. Они взглянули на свои руки.

— Надели белые рубашки и галстуки!

Парни поправили галстуки; лица их покрылись бисеринками пота — видимо, от гордости.

— Ботинки сверкают, — продолжал отец. — Я с трудом узнал тебя, Шут... я хотел сказать, Уолт.

— Для ваших дочерей не жаль усилий, сэр.

— Я это каждый день говорю. — Отец продолжал смотреть на лица ребят, на их тела в аккуратной одежде. Казалось, какая-то особая деликатность зарождалась в них в выходной день с наступлением темноты.

Девушки сбежали по лестнице бегом, потом резко сменили темп и пересекли комнату не спеша, стряхивая друг с друга тончайшие ниточки и следы пудры. Они принесли с собой запах масляной краски и запах духов.

— Я думаю, у нас все же есть головы на плечах, — сказала Мэг.

— Еще как есть! — крикнул Шутник, а потом, при бегнув к новому способу, повторил всю фразу снова, вполголоса: — Еще как есть, Мэг.

— До свиданья, папа, мама. — Девушки весело кружились по комнате, раздавая поцелуи. — Мы вернемся к одиннадцати.

— Я не волнуюсь, — сказал отец.

— Вы можете быть совершенно спокойны, сэр, — сказал Шутник, подавая руку отцу. Торжественным рукопожатием они словно скрепили договор.

Парадная дверь закрылась бесшумно. Отец удивился: он ждал, что она грохнет. Уводя мать под руку из передней, он спросил:

— Мне казалось, ты говорила...

— Я удивилась не меньше, чем ты.

— Знаешь, когда парни приоделись, оказалось, что они не так уж плохи. Если дать им еще с годик времени, подкормить овощами и молоком... — Он остановился. — Слушай, мне страшно интересно, что с портретами? Не мое собачье дело, конечно, но что они сделали? Выбросили их, прекратили поиски оригинала? Это можно узнать, только увидев.

— Ты думаешь, что имеешь право?

— Никогда им не признаюсь. Я пошел. — И он поспешил по лестнице вверх.

Отец открывал дверь так осторожно, словно духи дочерей витали в комнате. Он тихо вошел и остановился перед двумя портретами, освещенными лампой «молния». Сначала он долго смотрел на работу Мари, потом столь же долго на работу Мэг.

Портрет, что писала Мари, был таким же, каким он видел его четыре дня назад, и в то же время не таким. Нижняя челюсть юноши таинственным образом убавилась, зубы выдались вперед, локти, казалось, готовы были подняться вверх, как два летающих ящера, а ноги зашагать сразу в нескольких направлениях. Портрет дышал великолепной ленью, беспечным и красивым равнодушием. Глаза были бледно-голубого, размытого дождями цвета, а волосы, еще недавно такие длинные, белокурые, свисавшие прядями, стали грязновато-коричневыми, как перья воробья, и торчали жесткой, сердитой армейской щетиной.

Отец мягко улыбался, подвигая портрет поближе к свету. Рассматривая второе творение, он услышал легкие шаги и обернулся. Жена его вошла в комнату, подошла поближе, встала рядом.

— Как же так, — произнесла она через минуту, — ведь это же...

— Да, — сказал отец. — Прекрасный принц.

Мать поднесла руки к лицу.

— Ты знаешь, это и грустно, и глупо, и мило с их стороны — все сразу. Девочки, девочки...

— А что ты скажешь о работе Мэг? Ты как раз вошла, когда я начал ее рассматривать.

Оба долго изучали портрет.

— Не похож ни на одного мальчика, с которым она знакома, — сказал отец. — Я думал, раз портрет Мари так напоминает Ежа, этот должен быть...

— Похож на Шутника?

— Да.

— А он и похож немножко. И в то же время нет. Он напоминает... — Мать задумалась на мгновение, потом взглянула на мужа. — Он напоминает тебя.

— Ничего подобного!

— Но это так.

— Нет, нет.

— Но он похож.

Отец только фыркнул в ответ:

— Этот контур челюсти...

— У меня не такая волевая челюсть.

— Такая.

— Вы обе слепые, и ты, и Мэг.

— Неправда. И глаза тоже твои.

— У меня они не такие голубые.

— Ты споришь со своей бывшей невестой?

— Все равно голубые, но не настолько.

— Напрашиваешься на комплимент. А уши? Это отчасти ты, отчасти Шутник.

— Я оскорблен.

— Наоборот, — тихо сказала мать, — ты польщен.

— Тем, что моя дочь перемешала меня с Шутником?

— Нет, тем, что она вообще писала с тебя. Ты польщен и тронут. Ну пожалуйста, Уилл, согласишься.

Отец долго стоял перед портретом; на сердце у него было тепло и светло, щеки его зарделись.

— Ладно, сдаюсь. — Он широко улыбнулся. — Я польщен и тронут. Ох эти девчонки!

Жена взяла его под руку.

— Знаешь, Шутник вообще немного похож на тебя.

— Опомнись, что ты говоришь?!

— Я видела фото, на котором тебе семнадцать: ты был похож на скелет в перьях. А если подождать пару лет, Шутник раздастся в плечах, остепенится и будет как две капли воды похож на тебя. Это твой непарадный портрет, если хочешь.

— Никогда не поверю.

— Не слишком ли ты протестуешь?

Он промолчал, но вид у него был застенчивый и довольный.

— Ну ладно. Завтра, заканчивая портреты, девицы опять все изменят, они ведь еще не готовы. — Отец протянул руку и прикоснулся к холстам. — Черт возьми...

— Что случилось?

— Потрогай, — сказал отец. Он взял руку жены и провел ее пальцем по портрету.

— Осторожно, смажешь!

— В том-то и дело, что нет. Чувствуешь?

Портрет был сухим. Они оба были сухими. Их сбрызнули фиксатором и подержали у огня, чтобы закрепить краски. Портреты были закончены — полностью закончены — и высушены.

— Закупорили и выставили на обозрение, — заключил отец.

Далеко за стенами дома, в прохладе ночи, снова прогрохотала огромная консервная банка, было слышно, как засмеялись сестры, что-то выкрикнул Еж, захохотал Шутник, испугнул стаю ночных птиц, которые панически взметнулись в небо. Дребезжа всем корпусом, автомобиль мчался дальше, по улицам окраины, навстречу городским огням.

— Пойдем, Шутник, — тихо позвала мать.

Она повела отца из комнаты; они выключили свет, но, прежде чем закрыть за собой дверь, бросили последний взгляд на два портрета, стоящих в темноте.

Увековеченные в масле лица улыбались праздной, небрежной улыбкой; тела стояли неуклюже, стараясь уравновесить головы, прижимая локти, готовые в любой момент отскочить в стороны, а главное, заботясь о том, чтобы огромные ноги не ринулись бог знает куда, на бегу высадив из окон прохладные темные стекла.

Молча улыбаясь, отец и мать вышли из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь.

Мысль возрастала три дня и три ночи. Днем голова вынашивала ее, словно зреющую грушу. А ночью он позволял мысли обретать плоть и кровь и висеть в тишине комнаты, освещаемой лишь деревенской луной да деревенскими же звездами. В молчании перед рассветом он рассматривал эту мысль со всех сторон. На четвертое утро протянул руку, уже невидимую, взял мысль в ладонь, поднес ко рту и сжевал всю, без остатка.

Он вскочил так быстро, как только мог, затем сжег старые письма, упаковал несколько самых необходимых вещей в крохотный чемоданчик и надел вечерний костюм, повязав к нему галстук цвета воронова крыла, словно шел на поминки. Спиной он чувствовал, что в дверях стоит его жена и, словно критик, который в любую минуту может ворваться на сцену и остановить представление, оценивает его маленькую пьеску.

Протискиваясь мимо, он пробормотал:

— Извини.

— Извинить?! — закричала она. — И это все, что ты можешь сказать, ползая тут и что-то замышляя?!

— Я ничего не замышлял, просто так получилось: три дня назад мне был Голос о смерти.

— Прекрати болтать, — сказала она. — Это меня бесит.

Линия горизонта мягко раздвоилась в его глазах.

— Я почувствовал, как медленно кровь струится в моих венах. Слушая, как скрипят мои кости, можно подумать, что это ходят ходуном стропила на чердаке и осыпается пыль...

— Тебе всего лишь семьдесят пять, — упрямо буркнула жена. — Ты стоишь на своих двоих, все видишь, слышишь, нормально ешь, спишь, разве нет? Так к чему эта трепотня?

— Это природа говорит со мной, — сказал старик. — Цивилизация отдалила нас от нашего истинного «я». Возьми, например, островитян-язычников...

— Не хочу...

— Всем известно, что островитяне-язычники точно знают время, когда умрут. Тогда они начинают ходить по деревне, пожимать руки, обниматься с друзьями, раздавать накопленное...

— А их жены имеют право слова?

— Они и женам отдают кое-что.

— Хотелось бы надеяться!

— А кое-что друзьям...

— Ну, с этим можно и поспорить!

— А кое-что друзьям. Затем они садятся в каноэ и медленно плывут к закату. И больше никогда не возвращаются...

Жена посмотрела на него снизу вверх так, словно он был деревом, а она лесорубом.

— Дезертирство, — сказала она.

— Нет, нет, Милдред — просто смерть. Они называют это — «Время уходит».

— А кто-нибудь когда-нибудь нанимал каноэ и ездил за ними, чтобы проверить, как это дурачье устраивается дальше?

— Конечно же, нет, — слегка раздраженно проговорил старик. — Это бы только все испортило.

— Ты хочешь сказать, что они заводят себе жен и друзей на другом острове?

— Да нет же, нет! Просто, когда соки жизни начинают остывать, человек нуждается в одиночестве и покое.

— Если ты сможешь доказать, что это дурачье в самом деле откидывается — я заткнусь. — Жена сощурила один глаз. — А кто-нибудь находил их кости на этих дальних островах?

— Все дело в том, что они просто уплывали навстречу закату, словно животные, — животные ведь понимают, когда настает их Великое Время. И я не хочу ничего больше знать!

— Что же, зато знаю я, — сказала женщина. — Последняя цитата из этой проклятой статейки в «Нейшнл Джиогрэфик», о свалке слоновьих костей.

— О кладбище, а не о свалке! — закричал он.

— Кладбище, свалка — без разницы. Я надеялась, что спалила все эти журнальчики. Ты что, спрятал где-нибудь несколько шгук?

— Послушай меня, Милдред, — сказал он сурово, вновь берясь за свой чемоданчик. — Мои мысли устремлены на север, и что бы ты ни говорила, они не изменятся. Я настроен в унисон с бесконечными тайными струнами простой жизни.

— Ты настроен в унисон с тем, что последним вычитал в этой паршивой газетенке! — Она наставила на ней) палец. — Ты считаешь, что у меня склероз?

Его плечи поникли.

— Только давай не будем начинать все сначала. Я прошу тебя.

— Помнишь случай с мамонтами? — спросила она. — Когда тридцать лет назад в русской тундре нашли этик замерзших волосатых слонов? Тогда ты и этот старый ввел, Сем Херц, придумали замечательную шгуку: завалили мировой рынок консервированным мамонтовым мясом! Думаешь, можно забыть, как ты говорил тогда: «Представь себе, как члены правления Национального Географического Общества будут платить за то, чтобы в их домах появилось нежное мясо сибирского мамонта, умершего десять тысяч лет назад!» Ты думаешь, время способно излечить подобные раны?

— Я все это прекрасно помню, — вздохнул он.

— Ты думаешь, я позабыла, как ты сбежал, чтобы найти в Висконсине «Затерянное Племя Оссеос»? Как ты на собаках добрался до городка Субботний Вечер, нализался, загремел в этот чертов карьер, сломал ногу и провалялся там целых три дня?

— На память тебе грех жаловаться.

— Так скажи мне, что это еще за новости о дикарях и о Времени Уходить? А хочешь, я скажу тебе, что это за время? Это — Время Быть Дома! Это время, когда фрукты уже не падают с деревьев прямо тебе в руку — за ними нужно идти в магазин. И, кстати, почему мы ходим в магазин, а? Потому что кое-кто в этом доме — не будем указывать пальцами, кто именно — несколько лет назад разобрал нашу машину на винтики и оставил ржаветь во дворе. В этот четверг можно будет справить десятилетие «починки». Еще одно десятилетие — и от нее останется несколько кучек ржавчины! Выгляни в окно! Это — Время-сгребать-и-сжигать-листья. Это — Время-чистить-пе-чи-и-навешивать-ставни! Это — Время-чинить-крышу — вот что это за время! И если ты думаешь, что сможешь улизнуть от всего этого — не обольщайся!

Он приложил руку к груди.

— Мне больно, что ты не можешь поверить в мои ощущения надвигающейся Судьбы!

— Это мне больно от того, что «Нейшнл Джиогрэфик» попадает в руки старых выживших из ума людей! Я же прекрасно вижу, как ты читаешь эти газетки, а затем впадаешь в маразм и видишь прекрасные сны, которые мне потом приходится выметать вместе с мусором. Нужно было бы издателям «Джиогрэфик» и «Попьюлар Мекэникс» показать недоделанные шлюпки, вертолеты и одноместные планеры, что валяются у нас на чердаке, в гараже и в подвале. И чтобы они не только посмотрели на это, но и развезли всю эту рухлядь по своим домам!

— Можешь болтать, — сказал он. — Я стою рядом с тобой, как белый камень, тонущий в водах Забвения. Ради всего святого, женщина, может быть, ты разрешишь мне уйти, чтобы спокойно умереть?!

— У меня будет достаточно времени для Забвения, когда я обнаружу тебя замерзшим насмерть на поленнице.

— Господи ты, Боже мой! — вскричал он. — Неужели мысль о собственной бренности кажется тебе обыденной и тщеславной?

— Ты жуешь эту мысль, словно табак.

— Хватит! Все накопленное мною выставлено на заднем крыльце. Отдай людям из Армии Спасения.

— И «Нейшнл Джиогрэфик»?

— Да! Черт бы их побрал, и «Джиогрэфик»! А теперь — отойди!

— Если ты собираешься умереть, тогда тебе не понадобится битком набитый чемодан!

— Руки прочь, женщина! Смерть все-таки займет какое-то время. Неужто мне отказываться от последних удобств? Это должна была быть нежная сцена прощания. Вместо нее я получил взаимные упреки, сарказм, сомнения, и тра-ля-ля-ля-ля...

— Ну, ладно, — сказала она. — Иди, проведи ночку в лесу.

— Почему же обязательно в лесу?

— А куда еще человек из Иллинойса может пойти помирать?

— Н-ну, — на мгновение он задумался. — Есть еще шоссе.

— Ты предпочитаешь, чтобы тебя задавили?

— Нет, нет! — Он крепко зажмурил глаза, затем снова открыл их. — Пустые проселочные дороги, ведущие в никуда, через ночные леса, пустыню, к далеким озерам...

— А что, разве тебе не хочется нанять где-нибудь каноэ и грести, грести?.. А помнишь, как ты однажды свалился в воду и чуть было не утонул у пожарного причала?

— А кто хоть слово сказал о каноэ?

— Да ты же, ты! Твои дикари — или забыл? — уплывают таким образом в великую неизвестность.

— Так то в южных морях! Здесь же человеку необходимо самому передвигать ноги, чтобы вернуться к истокам и встретить свой естественный конец. Я могу пройти северным берегом озера Мичиган, среди дюн, волн, ветра.

— Уилли, Уилли, — прошептала она мягко, покачивая головой. — Ох ты, Уилли, Уилли мой, что же мне делать с тобой?

Он понизил голос:

— Дать мне самому распорядиться своей головой.

— Да, — сказала она тихо. — Да.

На глазах ее выступили слезы.

— Ну, будет, будет, — прошептал он.

— Ох, Уилли... — Она долго-долго смотрела на мужа, Можешь ли ты, положив руку на сердце, сказать, что это твоя смерть пришла?

Он увидел свое маленькое четкое отражение в ее зрачке и смущенно отвернулся.

— Всю ночь я думал о вселенском потоке, его отливах и приливах, которые приносят человека в этот мир и уносят его обратно. А теперь утро — и прощай.

— Прощай? — Она смотрела на него так, словно слышала это слово впервые.

Его голос был нетверд.

— Конечно, если ты так настаиваешь, Милдред...

— Нет! — Она взяла себя в руки, вытерла слезы и высморкалась. — Ты чувствуешь то, что чувствуешь. С этим я бороться не могу!

— Ты уверена?

— Это ведь ты у в е р е н, Уилли, — сказала она. — Ну, а теперь — иди. Возьми теплую куртку — ночи сейчас действительно холодные...

— Но... — сказал он.

Она принесла его куртку, поцеловала в щеку и отошла раньше, чем он успел заключить ее в медвежьи объятия. Такой и стоял: глядя на кресло у камина и двигая челюстями. Она распахнула дверь.

— Ты взял с собой поесть?

— Мне не нужно... — начал было он. — Я взял бутерброд с ветчиной и несколько пикулей. Один, точнее. Вот и все, я подумал, что хватит...

Он спустился с крыльца и направился по тропе к лесу. Потом обернулся, словно собираясь что-то сказать, но передумал, махнул рукой и зашагал дальше.

— Уилл! — крикнула женщина ему вслед. — Смотри, не переусердствуй! Чтобы твой уход не слишком затянулся. Как устанешь — присядь! Как проголодаешься — поешь! И...

Но в этом месте ей пришлось прерваться, она отвернулась и вытащила платок.

Через мгновение вновь взглянула на тропу — та выглядела так, словно последние десять тысяч лет по ней никто не ходил. Тропа была пустынна, женщина вошла в дом и захлопнула за собой дверь.

Вечер, девять часов, девять пятнадцать, высыпали звезды, луна кругла, земляничным светом горят сквозь занавески огни в доме, дымоход вытягивает из горящих поленьев длинные фонтаны искр, тепло. Вверх по трубе поднимаются звуки гремящих кастрюль, сковородок, ножей-вилков, огня, мурлыкающего в очаге, словно огромный оранжевый котик. В кухне, на безбрежной металлической плите, через конфорки которой прорываются язычки пламени, кипят кастрюли, сковороды жарят, наполняя воздух ароматами и паром. Время от времени старая женщина отворачивается от плиты, и тогда по глазам ее и широко раскрытому рту видно, что она прислушивается к тому, что происходит за пределами этого дома, вдалеке от огня.

Девять тридцать. Где-то далеко, но достаточно громко, неуклюже затопали.

Старая женщина выпрямилась и положила ложку на стол.

А снаружи, где одна лишь луна, топ-топ — тяжело и тупо. Так продолжалось три-четыре минуты, и за это время она не шелохнулась, только сжала кулаки и крепче стиснула зубы. А потом бросилась к столу, к плите, засуетилась и принялась наливать, поднимать, тащить, ставить...

Она закончила кухонную возню как раз, когда звуки снова пришли из темной дали,

раскинувшейся за окнами. По тропе прогрохотали медленные шаги, и тяжелые ботинки замесили снег на парадном крыльце.

Она подошла к двери и стала ждать стука.

Но не услышала.

Она ждала.

Там шевелилось что-то большое. Кто-то переминался с ноги на ногу и неловко сопел.

В конце концов она вздохнула и резко, обращаясь к дверям, спросила:

— Уилл, это ты, что ли?

Ответа нет. Молчание.

И тогда она широко распахнула дверь.

На пороге стоял старик, держа в руках охапку дров. Из-за поленьев выплыл его голос:

— Увидел, что из трубы дым идет, подумал, дрова, наверное, понадобятся...

Она посторонилась. Он вошел и, не глядя в ее сторону, аккуратно положил полешки у очага.

Она глянула за порог, взяла чемоданчик и внесла в дом. Потом закрыла дверь.

Он сидел за обеденным столом.

Она помешала стоящий на плите суп.

— Ростбиф в духовке? — спросил он тихо.

Она открыла дверцу. Запах выплыл и окутал его. Он сидел, закрыв глаза, и принюхивался.

— А это еще что такое? Жжешь что-нибудь? — спросил он через минуту.

Она выждала какое-то время и произнесла, не поворачиваясь.

— «Нейшл Джиогрэфик».

Он медленно кивнул, не произнеся ни слова.

Потом еда оказалась на столе — ароматная, пышущая жаром, и внезапно, после того как старуха опустилась на стул, наступило мгновение полной тишины. Она покачала головой. Посмотрела на него. И еще раз покачала головой.

— Ты не хочешь попросить благословения? — спросила она.

— Лучше т ы начни.

Они сидели в теплой комнате у яркого огня, склонив головы и закрыв глаза. Она улыбнулась:

— Возблагодарим Господа...

РЭЙ БРЭДБЕРИ — ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА И ЛЕГЕНДА О ЖИЗНИ

Рэй Дуглас Брэдбери был до недавнего времени одним из самых публикуемых в нашей стране западных фантастов. Рассказы его с начала 60-х годов появляются на страницах периодических изданий, печатаются в сборниках зарубежной фантастики. Его книги выходят в центральных издательствах и сейчас, когда отечественный читатель открывает для себя множество новых имен, среди которых такие мастера фантастики, как Роджер Знллзни, Андре Нортон, Стерлинг Ланье, Майкл Муркок, Ли Брекет. Оттого-то современному русскому издателю Брэдбери и следует обратиться к его непереволенным ранее произведениям, к тем массивам творчества американского фантаста, которые представляются русскому читателю такой же новинкой, как и произведения перечисленных выше писателей. Тем более, что на русский язык переведено не так уж много из созданного Брэдбери, написавшего более 800 произведений. Среди написанного им и не переведенного у нас статьи, кино-, радио- и телесценарии, пьесы, стихи, сказочная повесть «Древо Осени» (1972 г.), детективный роман «Смерть — дело одиноких» и сотни рассказов. Не переведены они были по вполне понятным причинам и поэтому знакомство с ними для отечественного читателя будет весьма интересным и позволит по новому взглянуть на известного писателя. Эту-то цель, то есть помочь широкому читателю познакомиться с новыми произведениями Брэдбери и исправить сложившееся о нем несколько одностороннее впечатление и преследовали создатели нового сборника.

Роман «...И духов зла явилась рать» (1962 г.), известный в советской публицистике под заголовками «Недобрый гость» и «Чую, что Зло грядет» (название взято Брэдбери из шекспировского «Макбета» и вызывает разночтение у переводчиков) печатается на русском языке впервые, хотя наша критика уже неоднократно упоминала о нем, как о заметном литературном явлении, «программном» для того Рэя Брэдбери, о существовании которого мы прежде могли лишь догадываться. Впервые публикуются рассказы «Шлем», «Время уходить», «Бред». Рассказы «Электростанция», «Прикосновение пламени», «Примирительница», «Город», «Акведук», «Подарок», «Маленький убийца», «Поиграем в «Отраву»», «Верхний сосед» и «Призраки нового замка» знакомы ограниченному кругу читателей, поскольку выходили всего один раз в тоненьких книжечках-брошюрах, выпущенных небольшим тиражом республиканскими издательствами. Остальные рассказы включены в подборку, чтобы создать единую, насколько это позволяет объем книги, картину творчества Рэя Брэдбери, первый раз «взявшегося за перо» 60 лет тому назад, 12 лет от роду.

«В двенадцать лет я не мог позволить себе купить продолжение «Марсианского воина» Эдгара Берроуза, ведь мы были бедной семьей... и тогда написал свою собственную версию», — рассказывал Брэдбери в одном из интервью. Мысль о том, что писатель создает легенду о своем детстве, приходит, когда сравниваешь приведенную выше цитату с другим рассказом писателя, из которого следует, что уже с 10 лет, когда другие ребята гоняли мяч по улицам, маленький Рэй каждый понедельник проводил вечера с братом Леонардом в

городской библиотеке. В 12 лет ему подарили пишущую машинку и он начал писать свои первые рассказы о Луне и Марсе. «Каждый день я вскакивал с кровати, ожидая, что вселенная упадет мне на голову. Воображал себя великим и безрассудным ученым... или самим Эдгаром Берроузом» Картина древнего, умирающего Марса, созданная пером Берроуза, по-видимому, так запала в душу Брэдбери, что подвигла его впоследствии написать собственный «марсианский» цикл, известный нам под названием «Марсианские хроники». Из приведенных воспоминаний писателя обращает на себя внимание и упоминание о городской библиотеке, находившейся рядом с родительским домом Рэя. Образ библиотеки — не просто хранилища книг, но цитадели знаний, крепости добра, появляется в рассказе Брэдбери «Лучезарный феникс», явившимся как бы эскизом к «451° по Фаренгейту», и в романе «...И духов зла явилась рать». Интересно отметить, что замыслы крупных произведений вынашивались Брэдбери подолгу, свидетельствами тому служат некоторые рассказы, послужившие своеобразной «пробой пера» перед созданием больших вещей. Кроме «Лучезарного феникса» и повести «Пожарный» (1951 г.), из которых впоследствии вырастает роман «451° по Фаренгейту», стоит указать на рассказ «Чертво колесо», темы «Темного карнавала» и «Людей осени» (так Брэдбери озаглавил два своих ранних сборника), которые блестяще были развиты им в романе духов зла явилась рать». А рассказ «Вельд» предшествовал созданию одноименной одноактной пьесы.

Вернемся, однако, к легендам о Рэе Брэдбери, которые, будучи им же самим и созданы, настолько тесно переплетаются с реальными событиями его жизни, творчеством, взглядами и убеждениями, что отделить одно от другого порой просто невозможно, а быть может и не нужно. В конце концов писателю виднее, что было в его жизни главным, а что второстепенным, внимания читателей не стоящим. Казалось бы, что нам за дело до предков Рэя Брэдбери, мы и о нем самом-то мало знаем, но, вероятно, неспроста рассказ о себе писатель начинает обычно с того, что первые Брэдбери, приехавшие в Америку из Англии в 1630 году, были пуританами. Семейное предание, которым писатель весьма дорожит и гордится, гласит, что прапрапрабабушка его Мэри Брэдбери считалась колдуньей и была сожжена на костре в 1692 году во время знаменитого Салемского процесса над ведьмами. Дед Рэя был первым литератором в семье, он издавал газету в штате Иллинойс на рубеже XIX–XX веков. Он умер, когда будущему писателю было шесть лет, однако память о нем сохранилась не только в благодарной душе Рэя Брэдбери, но и в его произведениях. Это он послужил прототипом дедушки Дугласа в рассказах «Верхний сосед», «Лучшее из времен» и в романе «Вино из одуванчиков». Прототипом того самого дедушки, который, приготавливая диковинное вино, придумал «отличный способ сохранить живьем июнь, июль и август», «поймать и закупорить в бутылки лето». Боль от ранней утраты не просто любимого человека, но целого мира, умершего вместе с ним, выразит позднее Брэдбери устами маленького Дугласа, потрясенного смертью старого полковника Фрилея: «До меня только сейчас дошло... Вчера умер Чин Лин-су. Вчера, прямо здесь в нашем городе навсегда кончилась Гражданская война. Вчера, прямо здесь умер президент Линкольн и генерал Ли, и генерал Грант, и сто тысяч других, кто лицом к югу, а кто к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилея ухнуло на скалы, в самую что ни на есть бездонную пропасть целое стадо бизонов и буйволов, огромное, как весь Гринтаун, штат Иллинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навеки. А я-то сначала ничего не понял! Ужасно, Том, просто ужасно! Как же нам теперь быть? Что теперь будем делать?.. Вот уж не думал, что сразу может умереть столько народу! А ведь они умерли, Том, это уж точно».

Об отце — электромонтере Леонарде Сполдинге Брэдбери и матери писателя — Эстер Мари, легенда говорит мало, так же как и о самом моменте рождения — 22 августа 1920 года, когда маленький Рэй Дуглас Брэдбери появился на свет. Известно только, что второе свое имя он получил в честь популярнейшего артиста немого кино Дугласа Фербенкса. «Будучи уже взрослым, — рассказывал Брэдбери, — я написал рассказ о самом себе под названием «Маленький убийца», в котором изображен ребенок, родившийся в полном сознании и памяти и вознамерившийся отомстить своим родителям за то, что они произвели его на свет...» По утверждению писателя он обладает удивительной памятью, и сильнейшее впечатление, определившее быть может весь его жизненный путь, произвел на него увиденный им в четырехлетнем возрасте кинофильм «Собор Парижской богородицы».

Детство Рэя проходит в большой и дружной семье в городке Уокиган, расположенном к северу от Чикаго на берегу озера Мичиган. Название городка ничего не говорит отечественному читателю до тех пор, пока он не узнает, что Уокиган — это реальный двойник Гринтауна, знакомого ему по множеству произведений Брэдбери. Это городок, где деревья, смыкая свои кроны, образуют зеленый коридор, где улицы перед старыми двухэтажными домами вымощены красным кирпичом и зияет провал таинственного и страшного даже днем оврага.

С пяти лет Рэй становится страстным слушателем, а потом и читателем. Он залпом проглатывает истории о стране Оз Фрэнка Баума, рассказы Эдгара По, романы Диккенса, Жюль Верна, Берроуза, Уэлса, Честертона, Хемингуэя, а в 1928 году соседская девочка приносит ему научно-фантастический журнал «Удивительные истории», основанный Хьюго Гернсбеком.

В восемь лет Рэй становится не только поклонником фантастики, но и начинает мечтать о том, как сам он когда-нибудь станет известным писателем-фантастом. Впрочем, мечты меняются, после встречи с популярным фокусником «Магом Блэкстоу-ном», гастролировавшим в Уокигане в 1931 году, он решает стать «величайшим волшебником мира», потом его соблазняет карьера актера... Мечты остаются мечтами, жизнь идет своим чередом. В 1932 году, во время Великой депрессии отец Брэдбери теряет работу и в поисках заработка ездят с семьей по стране. Где-то в Аризонской пустыне двенадцатилетний мальчик увидел устойчивый мираж — сказочный город, погруженный в мерцающее озеро. Не это ли воспоминание послужило впоследствии толчком для написания рассказа «Диковинное диво»? Не дядюшка ли Эйнар, пригласивший в 1934 году безработного отца Брэдбери в гости в Лос-Анджелес, становится прототипом героя рассказа «Дядюшка Эйнар»? Годы скитаний легли в основу легенды о том, что Брэдбери видел в детстве слишком много автомобильных катастроф, и потому до сих пор терпеть не может никакой техники: не умеет водить машину, никогда не летал на самолете, а лучшим средством передвижения считает велосипед.

За годы скитаний Рэй дважды пересекает страну, меняет одну школу за другой, участвует в любительских спектаклях в качестве актера и помощника режиссера, прирабатывает на радиостанции, продает газеты. Он не получил высшего образования — помешала бедность, но книги заменили ему университет, не зря одна из его автобиографических статей называется: «Как вместо колледжа я окончил библиотеку». «У меня не было средств, — писал он, — чтобы поступить в университет... Я посещал публичную библиотеку, работал там часами, но три, четыре дня в неделю. К двадцати годам я прочитал все значительные пьесы, знал американскую, французскую, английскую

историю, знаменитые повести и рассказы»).

Когда Брэдбери исполнилось 16 лет в Уокиганской газете появилось стихотворение «Памяти Вилла Роджера» — это была первая публикация будущего писателя. Через год, в одной из лос-анджелесских газет было помещено стихотворение «Голос Смерти», а в 1938 году в любительском журнальчике «Воображение» появился его первый рассказ «Дилемма Холлербахена». По воспоминаниям самого Брэдбери, увлечение фантастикой не встречало сочувствия у родных. «Все, что я любил, было любимым лишь для меня одного. Никто из близких, по-видимому, не разделял мою слепую, почти одержимую увлеченность космосом, волшебством». Это не поколебало настойчивости молодого литератора, он решает писать по рассказу в неделю и выполняет зарок, несмотря на то, что публикуется очень немногое из созданного им в то время. Большую часть написанного он потом сжигает. Легенда этой поры его жизни похожа на историю Мартина Идена: днем Брэдбери работает, а ночью пишет. Он рассылает свои произведения по редакциям, но отовсюду получает стандартные отказы.

В 1937 году Брэдбери обзаводится единомышленниками, вступив в лос-анджелесскую «Лигу научных фантастов», где знакомится с супругами Хайнлайнами, Форрестом Аккерманом, Рэем Харрихоузенем и Генри Каттнером. Одновременно он продолжает участвовать в самодеятельных театральных постановках, поэтических вечерах. Времени и сил хватает на все.

В 1939 году Брэдбери принимает участие в первой международной конференции научных фантастов в Нью-Йорке и начинает выпускать собственный журнал «Футуриа фантазия», но дело оказывается убыточным, и Рэй бросает его после вьвсода в свет четвертого номера. 22 лет от роду он перестает продавать газеты и переходит на литературный заработок, создавая по 52 рассказа в год, но доходы его оставляют желать лучшего. Из-за близорукости Брэдбери не берут в армию — идет Вторая мировая война — и молодой писатель продолжает наряду с литературной работой усиленное самообразование. Он изучает философию, психиатрию, историю, много времени проводит в библиотеках, рыщет по букинистическим лавкам, в одной из которых в 1946 году знакомится со своей будущей женой Маргарет Сусаной Маклюр, которой впоследствии посвящает свой первый роман «Марсианские хроники». В следующем 1947 году его радиопьеса «Луг» признается одной из лучших одноактных пьес сезона, а вслед за этим выходит первый сборник рассказов Брэдбери «Темный карнавал».

Известность писателя растет, но настоящую славу ему приносят «Марсианские хроники», первый рассказ из которых «Миллионнолетний пикник» был написан им в 1946 году. Роман Брэдбери не случайно сразу же привлек к себе внимание современников. Помимо занимательности и изящества формы, в нем четко оформились носившиеся тогда в воздухе тревожные предчувствия. Перенося читателя в завтра, Брэдбери в своих «хрониках» рассматривает проблемы, во весь рост вставшие перед человечеством: экологическую катастрофу, угрозу ядерной войны, нетерпимость к инакомыслящим, стремление к решению любых споров с позиций силы, технизацию общества, обгоняющую уровень его морального и социального развития, несовершенство общественной жизни, порождающее стремление людей эмигрировать куда бы то ни было, даже на Маре. Поразительные по своей убедительности и красочности картины рисует писатель, моделируя результаты такой эмиграции, действия людей, которые, не изменившись внутренне, получают технические возможности покинуть Землю и обрести новый мир. «Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево в уголь, воду в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло; оно

лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками: перековать на привычный лад чужой мир, стесать все необычное. «...Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря. Имена чародеев, чей прах покоится в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушивались на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов, и над грудями обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями: Айронтаун, Стилтаун, Алюминий-сити — и знакомые, металлические названия с Земли».

С историей создания «Марсианских хроник» связана, разумеется, и легенда, согласно которой Брэдбери, испытывавший трудности с изданием сборника коротких научно-фантастических рассказов, пожаловался своему другу — кинорежиссеру Норману Корвину. Тот посоветовал писателю самому отправиться в Нью-Йорк и поискать там издателя. Несмотря на финансовые затруднения — его жена ждала тогда первую из четырех дочерей, он все же собрал необходимую сумму и поехал в Нью-Йорк. Несколько дней он, проводя ночи в благотворительной ночлежке, бегал по редакциям огромного города без ощутимых результатов, пока наконец опытный редактор не посоветовал ему объединить все написанные им «марсианские» рассказы в роман. Совет оказался дельным, через год после поездки в Нью-Йорк (в 1950 г.) «Марсианские хроники» увидели свет.

Любопытно, что редактора, давшего Брэдбери добрый совет, звали Уолтер Брэдбери и ему-то писатель и посвятил свой автобиографический роман «Вино из одуванчиков», вышедший отдельной книгой в 1957 году со следующим обращением на титульном листе: «Уолтеру А. Брэдбери, не дядюшке и не двоюродному брату, но, вне всякого сомнения, издателю и другу».

Романы «Марсианские хроники», «451° по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков» и «...И духов зла явилась рать», вышедшие один за другим с промежутками в 3–4 года, принесли Брэдбери известность не только в Америке и Англии, но и во всем мире. Романами и рассказами его зачитывались и зачитываются взрослые и дети, любители фантастики и те, кто равнодушен к ней или даже вовсе ее не жалуется. Причин популярности Брэдбери несколько, но вероятно главная заключается в том, что большинство из написанного им — это настоящая Литература. В его прозе много новых, нетрафаретных мыслей, она стремительна, лаконична, изобилует неожиданными поворотами захватывающего сюжета, язык по-настоящему поэтичен и исчерпывающе точен. Вторая причина его популярности — в позитивной, созидательной программе, которая очень четко сформулирована им в «451° по Фаренгейту»: «Каждый должен что-то оставить после себя. Сына или книгу, картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив... Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником... Первый пройдет, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение». Из приведенного отрывка видно, что Брэдбери иногда несколько прямолинеен и грешит морализаторством, но

благородство измерений, чувство ответственности литературы за будущее мира и искренность писателя не вызывают сомнений и искупают присущую ему порой декларативность.

Третья причина популярности Брэдбери видится в том, что среди множества произведений, написанных им в самых разных жанрах, любой читатель может отыскать что-то соответствующее его литературным вкусам. Такие рассказы как «Лед и пламя», «Здесь обитают тигры», «Нескончаемый дождь» — оценят любители «жесткой» научной фантастики. «Акведук», «Смерть и дева» — это скорее притчи, лишь чуть-чуть замаскированные под космическую фантастику, так же как декорированы фантастической атрибутикой рассказы «Человек» и «Подарок», носящие откровенно религиозный характер. Работает Брэдбери и в чисто реалистической манере: «Шлем», «Время уходить» и «Примирительница» сделаны в традициях О'Генри, Марка Твена, Джека Лондона. Много у писателя рассказов о детях: «Верхний сосед», «Поиграем в «Отраву»», «Здравствуй и прощай». Есть, наконец, сказки для взрослых, мудрые и печальные, близкие по интонации к «Маленькому принцу» Экзюпери, «Жила-была старушка», «Диковинное диво», «Человек в воздухе».

Порой Рэя Брэдбери обвиняют в том, что фантастика его «Не научит», к месту и не к месту поминая любовь его к технике. Писатель и сам охотно признает, что техника всегда интересовала его «неизмеримо меньше, чем связанные с ними моральные и социальные вопросы — влияние техники на отношения между людьми». И это естественно — в центре внимания хороших писателей всегда остается человек — кому был бы интересен «Наутилус», не будь на нем капитана Немо? И чего бы стоил Солярис без трагедии Кельвина, Сарториса, других обитателей орбитальной станции и их «гостей»? А разве идеи и футурологические прогнозы Брэдбери в области *социологии и психологии* не являются научными в том смысле, в каком литература, а фантастика — это прежде всего литература, может быть научной?

Как и многие другие писатели: Честертон, Конан-Дойль, О'Генри, Айзек Азимов Брэдбери часто Объединяет рассказы по темам, а одни и те же герои нередко переходят у него из произведения в произведение. Такими «сквозными» героями являются сестры Мари и Мэг в рассказах «Научный подход» и «Знали, чего хотят». Дядюшка Эйнар, Сиси и другие члены Семьи в рассказах «Апрельское колдовство», «Дядюшка Эйнар», «Та, которая странствует», «Семейный сбор» — цикле, чем-то напоминающим каттнеровскую серию рассказов о Хогбинах. Рассказы «Лучшее из времен» и «Верхний сосед» непосредственно примыкают к роману «Вино из одуванчиков». Одной темой объединены «Тот, кто ждет», «Голубая бутылка» и «Были они смуглые и золотоглазые», лишь формально не вошедшие в «Марсианские хроники». «Нескончаемый дождь» и «Все лето в один день» — фрагменты так и не состоявшейся «венерианской» серии, а «Диковинное диво», «Берег на закате», «Почти конец света» близки не только по авторской интонации, но и по сюжету, по структуре текстов. Есть и другие, связанные между собой, продолжающие друг друга произведения, с которыми любители творчества Брэдбери были знакомы уже давно, с представителями же некоторых «жестоких» или «чернушных» циклов они в этом сборнике встретились впервые.

В принципе уже появление таких рассказов как «Вельд», «Детская площадка» и «Урочный час» должны были развеять придуманный соцреалистическими критиками миф о добреньком сказочнике Брэдбери, однако растворенные в массе других рассказов,

снабженные соответствующими комментариями и пояснениями, они воспринимались как нечто писателю не свойственное. Между тем даже включенные в этот сборник не самые «чернушные» рассказы: «Акведук», «Город», «Бред», «Маленький убийца», «Поиграем в «Отраву»», «Прикосновение пламени» показывают, что Брэдбери творит отнюдь не в розовых очках и мир его произведений совсем не такой «праведный», как это у нас долгое время пытались представить, а яростный, страшный, часто иррациональный и несправедливый. Что Брэдбери вовсе не добряк и записной оптимист, лишь чуть-чуть «недоросший» до понимания классовой теории, а скрупулезный и порой жестокий исследователь, изучающий современное общество, пути его развития и место человека в нем. Исследователь, уделяющий особое внимание тем потаенным уголкам человеческой души, где дремлют до поры до времени весьма мерзкие инстинкты, где подобно жутким доисторическим рептилиям притаилась жестокость, подлость, предательство.

По прошествии времени видно, что иные рассказы Брэдбери, написанные некогда «на злобу дня» с праведным гневом, болью и скрежетом зубовым, такие, например, как «Мусорщик», «Око за око?», «Вышивание», кажутся ныне несколько архаичными. Мир меняется на глазах, старые проблемы как-то решаются, рассасываются, на смену им приходят новые, предугаданные, предвосхищенные писателем и вот уже целый ряд произведений, представлявшихся прежним издателям страшноватыми, жестокими и надуманными: «...И духов зла явилась рать», «Бред», «Маленький убийца», «Поиграем в «Отраву», неожиданно оказываются откровениями. В их свете фигура Брэдбери приобретает объемность и подлинный масштаб, ибо разве может настоящий «сказочник», если уж использовать этот так долго приклеиваемый Брэдбери ярлык, особенно странный в применении к человеку, написавшему «451° по Фаренгейту», не рассказывать в числе прочих и страшные сказки? Причем по-настоящему страшен не роман «451° по Фаренгейту», где показано зло явное, бесспорное, с которым можно и должно бороться, а произведения, в которых автор заглядывает в глубины человеческих душ, где не так уж редко ему встречаются червоточины, мелкое, ползучее зло: зависть, жадность, равнодушие, которое, вовремя не замеченное, не выкорчеванное, в конечном счете и превращает нас в «людей осени», участников «темного карнавала» — фигуры более жуткие, чем любые инопланетные монстры, рожденные буйной фантазией собратьев Брэдбери по перу.

Возможно, все сказанное выше несколько смещает привычные акценты, но ни в коем другом случае не умаляет заслуги писателя в борьбе со злом явным, видимым даже не вооруженным литературным талантом глазом: милитаризмом, расовой дискриминацией, бюрократизмом, воинствующим невежеством и скудоумием. Его публицистика и такие рассказы как «Ржавчина», «И камни заговорили. «Акведук», романы «451° по Фаренгейту», «Марсианские хроники» не потеряли своего блеска и актуальности и по-прежнему являют образцы гражданской позиции. Кроме того, Брэдбери, согласно легенде, давний противник любых войн, любого мракобесия.

Исследования творчества Рэя Брэдбери и споры о нем не сегодня начались, не завтра кончатся. Споры о том, насколько соответствует реальности созданная им легенда, тоже, по-видимому, будет немало, когда Творец вселенной призовет к себе Творца романов, повестей, рассказов, пьес и стихов. Однако главное, что Брэдбери-человек достоин всяческого уважения и может служить примером целеустремленности, трудолюбия и верности идеалам, а Брэдбери-писатель, в каком бы жанре он не работал, делает настоящую литературу, всегда держа сторону гуманизма и человечности — остается несомненным.

Новые переводы и публикации позволяют лучше понять многообразие его таланта, оценить скрытые до этого грани творчества, но не разочаровывают. Поэтому всем нам, его читателям, остается пожелать, чтобы этих переводов и публикаций становилось как можно больше.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Содержание

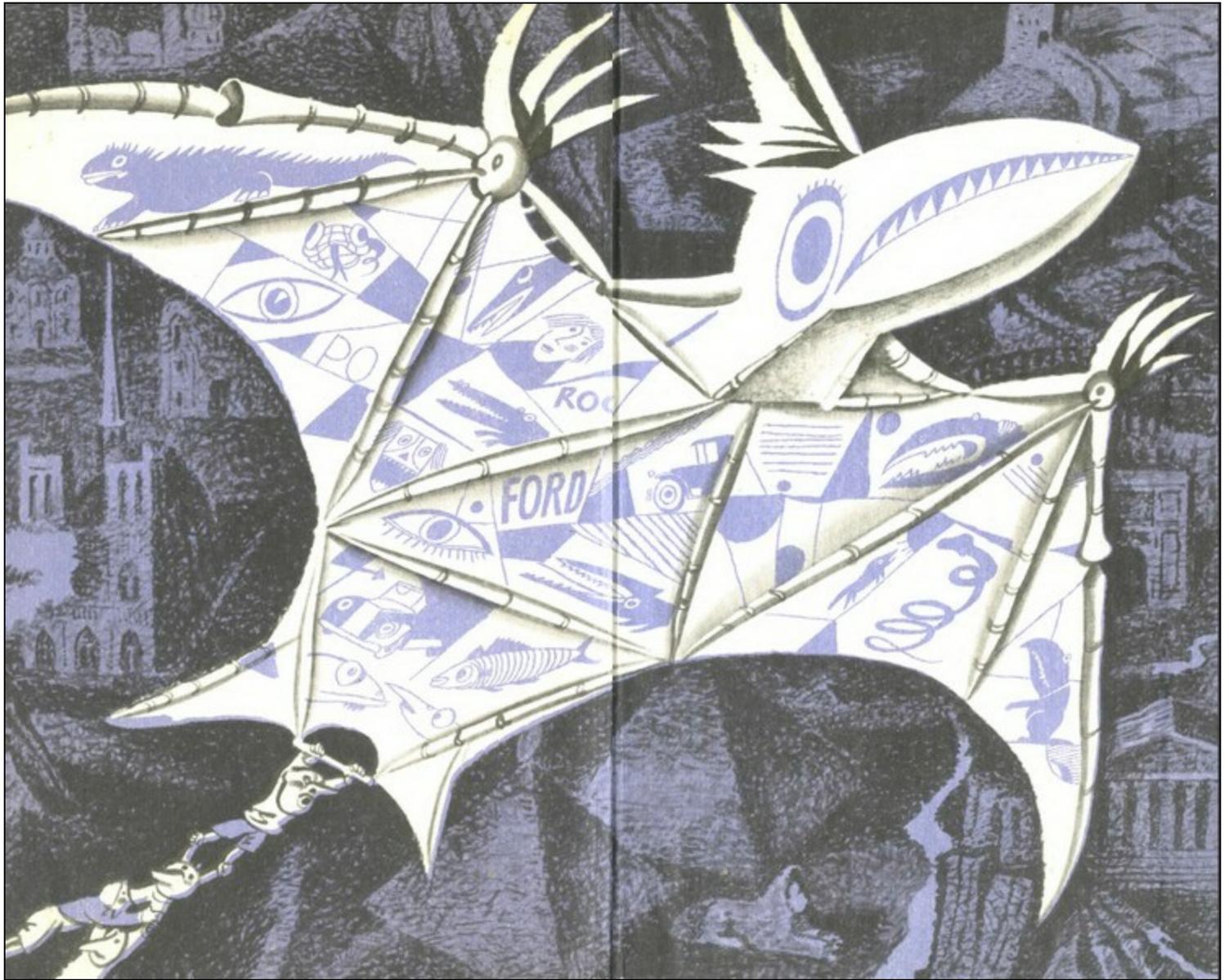
...И ДУХОВ ЗЛА ЯВИЛАСЬ РАТЬ. Роман. Пер. Н. В. Димчевского, Е. Н. Бабаевой	5
--	---

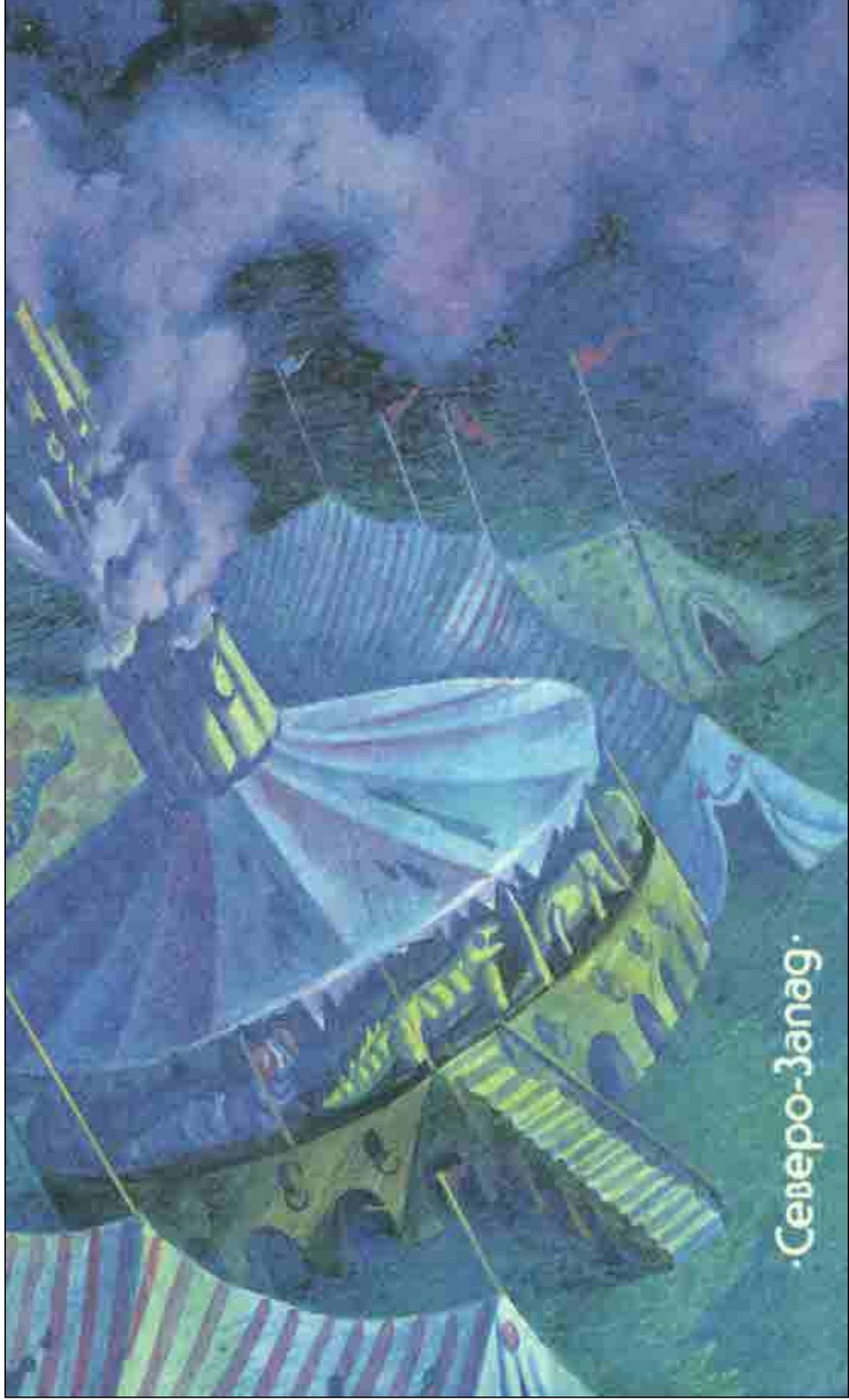
РАССКАЗЫ

ЛЕД И ПЛАМЯ. Пер. Л. Жданова	225
ТОТ, КТО ЖДЕТ. Пер. А. Лебедевой, А. Чайковского	268
ЗДЕСЬ МОГУТ ВОДИТЬСЯ ТИГРЫ. Пер. Д. Лившица	273
ГОРОД. Пер. А. Оганяна	288
АКВЕДУК. Пер. А. Оганяна	296
ЧЕЛОВЕК. Пер. Н. Коптюг	297
НЕСКОНЧАЕМЫЙ ДОЖДЬ. Пер. Л. Жданова	310
ВСЕ ЛЕТО В ОДИН ДЕНЬ. Пер. Л. Жданова	323
ПОДАРОК. Пер. А. Оганяна	328
ВЕЛЬД. Пер. Л. Жданова	330
СУЩНОСТЬ. Пер. Д. Лившица	344
БРЕД. Пер. А. Хохрева	354
КАНИКУЛЫ. Пер. Л. Жданова	361
МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА. Пер. К. Шиндер	368
ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ. Пер. Л. Жданова	384
ПОИГРАЕМ В „ОТРАВУ“. Пер. К. Шиндер	393
ВЕРХНИЙ СОСЕД. Пер. А. Оганяна	398
ЛУЧШЕЕ ИЗ ВРЕМЕН. Пер. А. Башиловой	411
ОЗЕРО. Пер. М. Хазина	428
ЧЕЛОВЕК В ВОЗДУХЕ. Пер. З. Бобырь	434
ДЯДЮШКА ЭЙНАР. Пер. Л. Жданова	439
АПРЕЛЬСКОЕ КОЛДОВСТВО. Пер. Л. Жданова	447
ПОЧТИ КОНЕЦ СВЕТА. Пер. А. Оганяна	456
ПРИЗРАКИ НОВОГО ЗАМКА. Пер. А. Оганяна	465
ДИКОВИННОЕ ДИВО. Пер. Л. Жданова	482
ЖИЛА-БЫЛА СТАРУШКА. Пер. Р. Облонской	497
СМЕРТЬ И ДЕВА. Пер. Д. Жуковой	508
БЕРЕГ НА ЗАКАТЕ. Пер. Н. Галь	517

РЕВУН. Пер. А. Оганяна	526
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. Пер. А. Оганяна	534
ПРИКОСНОВЕНИЕ ПЛАМЕНИ. Пер. А. Оганяна	543
ПРИМИРИТЕЛЬНИЦА. Пер. А. Оганяна	555
ШЛЕМ. Пер. А. Хохрева	560
НАУЧНЫЙ ПОДХОД. Пер. А. Башиловой	568
ЗНАЛИ, ЧЕГО ХОТЯТ Пер. А. Башиловой	576
ВРЕМЯ УХОДИТЬ. Пер. А. Хохрева	587

Павел Молитвин Рэй Брэдбери — грани творчества и легенда
о жизни 595





•Севепо-Занаг•



*FB2 created by
mefysto*

notes

Вельд — название диких степей Южной Африки

Песочный человек — персонаж из волшебных сказок

Имеется в виду Эмили Дикинсон (1830–1886), американская поэтесса.

Такие перстни применялись для отравления ядом при дворе Борджиа (Италия XV–XVI веков).

Парикутин — вулкан в Центральной Мексике, Кракатау — вулканический остров в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра

Хай-алай — испанская игра на открытом воздухе

Роман английской писательницы Эмили Бронте

Легкий напиток, сорт пива.

Отец приводит цитату из «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса.